

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
имени Г. ИБРАГИМОВА

Я. Г. Сафиуллин

**ОТ РОМАНТИЗМА
К СОПОСТАВЛЕНИЮ ЛИТЕРАТУР**

КАЗАНЬ 2021

УДК 82.091
ББК 83.3
С 21

*Печатается в рамках мероприятий государственной
программы Республики Татарстан «Сохранение национальной
идентичности татарского народа (2020-2023 годы)»*

Научный редактор

М.И. Ибрагимов, кандидат филологических наук

Составители:

В.Р. Аминева, Э.Ф. Нагуманова, А.З. Хабибуллина

С 21 Сафиуллин Я.Г.

От романтизма к сопоставлению литератур / Я.Г. Сафиуллин; науч.ред. М.И. Ибрагимов; сост.: В.Р. Аминева, Э.Ф. Нагуманова, А.З. Хабибуллина. – Казань, 2021. – 576 с.: 20 л. ил.

ISBN 978-5-93091-386-6

В книге представлены труды Я. Г. Сафиуллина по широкому кругу литературоведческих проблем. В центре внимания автора – проблема национальных литератур, их роли в современной культуре.

В издание включены воспоминания коллег и друзей об ученом, статьи, посвященные его научному творчеству.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся литературной теорией, судьбами национальных литератур в современном мире.

УДК 82.091
ББК 83.3

ISBN 978-5-93091-386-6

©Я. Г. Сафиуллин, 2021
©Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова, 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

С Ямилем Галимовичем Сафиуллиным судьба свела меня в начале 2000-х годов. В 2001 году в университете проходили выборы ректора, и я, на тот момент заведовавший кафедрой оптики и спектроскопии, заручившись поддержкой своих коллег, принял решение участвовать в них. Откровенно говоря, на успех не особенно рассчитывал, учитывая, что среди претендентов были ректор университета Ю.Г. Коноплев, первый проректор Н.К. Замов, несколько деканов. Каждый из претендентов имел большой опыт административной работы, авторитет у коллектива вуза, поддержку со стороны влиятельных в университете людей. К таковым относился и Ямиль Сафиуллин, возглавлявший в то время филологический факультет, а до этого в течение ряда лет (во второй половине 1980-х гг.) занимавший должность секретаря партийной организации университета. Я, конечно, знал его и раньше. Председателю жилищно-бытовой комиссии профкома, мне, по заведенному тогда порядку, часто приходилось совместно с парткомом хлопотать перед райкомом партии об улучшении жилищных условий преподавателей.

Должность руководителя партийной или комсомольской организации в те времена ко многому обязывала. Мэр Казани Камиль Исхаков, Шамиль Агеев (в конце 1970-х первый секретарь обкома комсомола), Альберт Фахрутдинов (в 1980-е – первый секретарь Советского райкома партии) – все они прошли школу комсомола, руководили комсомольскими и партийными организациями различного уровня. Тогда на такие должности человека просто так не ставили: нужно было зарекомендовать себя хорошим руководителем, обладать силой убеждения, способностью выстраивать отношения как внутри коллектива, так и с вышестоящими партийным руководством, госучреждениями. Плюс ко всему, обладать талантом стратегического мыш-

ления, предвидеть развитие разных ситуаций. Все эти качества были присущи и Ямилю Галимовичу. Для меня они в полной мере открылись, когда он по моему предложению начал работать советником ректора.

На тех выборах, как известно, никто из претендентов не набрал нужного для победы числа голосов. Через год состоялись новые выборы, на которых я был избран ректором. Не скрою: в этом была и немалая заслуга Ямиля Галимовича. Он искренне был убежден в необходимости перемен в университете и, как мне кажется, смог убедить в этом и многих своих коллег, руководителей разного ранга, которые относились к нему с большим уважением. Ямиль Галимович, действительно, обладал талантом убеждения. В его основе – искренняя вера в то, о чем он говорил с собеседниками. В полной мере я оценил это качество позднее, когда он работал моим советником. Мне очень импонировала его манера общения. Будь то частный разговор, деловая беседа, публичное выступление перед аудиторией, Ямиль Галимович всегда отталкивался от собеседника или аудитории. Он был хорошим оратором, делился со мной секретами своего мастерства. Но запомнился он мне не только этим, а еще своей мудростью. В общении со мной, другими коллегами Ямиль Галимович не разговаривал с позиции больше знающего и более опытного человека. Напротив, в его обыкновении было в первую очередь дать выговориться своим собеседникам, принять во внимание их точку зрения, и только в завершении высказать свою. При этом ему удавалось сделать это таким образом, что никто из участников общения не чувствовал себя в чем-то уязвленным или неправым. Это, конечно, очень располагало к нему собеседников, аудиторию, перед которой он выступал. Думаю, что этот его талант проистекал из особого, диалогического склада мышления. Конечно, в любом разговоре он знал, чего хочет добиться и последовательно шел к своей цели. Но при этом никогда не замыкался на ней, был готов на какие-то уступки в деталях, частностях, не отступая от главного, стержневого в намеченной им линии. Он никогда не лукавил, не пытался играть с собеседником, хотя при этом мог и не говорить открыто о какой-либо проблеме, а излагать свои мысли косвенно, подталкивая собеседника к принятию нужного решения. Думаю, что это не столько приобретенное за

время руководящей работы качество, сколько данный ему богом талант, который он с успехом реализовывал на разных должностях: и как парторг, и как декан, и как советник ректора, наконец, как преподаватель, которого любили и уважали студенты.

Опыт совместной работы с Ямилем Галимовичем был для меня очень ценным. Конечно, не со всем, что он предлагал в решении разных вопросов, я соглашался, но его мнение всегда было для меня значимо. За время его работы в должности советника у нас сложились по-настоящему дружеские отношения. Они сохранились и после того, как я ушел работать в Академию наук. Мы постоянно с ним созванивались, часто встречались. Я советовался с ним по разным вопросам, он приходил ко мне со своими идеями, статьями. Запомнилась его статья об алфавитах, опубликованная в одном из журналов. Его заботила судьба национальных языков, литературы. В разговорах со мной он говорил, что на протяжении последних десяти лет увлечен этой темой. С воодушевлением участвовал в наших конференциях и круглых столах по этой проблеме. Он был искренне убежден в том, что Академия наук должна объединить ученых Поволжья, занимающихся изучением национальных литературу, стать в этом направлении центром притяжения научных сил.

Последний раз мы разговаривали с Ямилем Галимовичем в середине июля прошлого года. Он звонил мне из больницы, поздравлял с днем рождения, говорил о своих планах завершить работу над монографией о национальных литературах. К сожалению, болезнь не позволила осуществиться его планам. Уверен, что идеи Ямиля Галимовича Сафиуллина, ученого-мыслителя не канут в Лету. Остались его ученики, коллеги, с которыми он работал, друзья, единомышленники. Благодарную память о Ямиле Галимовиче сохранят их труды, деяния, наши сердца

*МЯКЗЮМ САЛАХОВ,
Президент Академии наук Республики Татарстан
доктор физико-математических наук, профессор*

СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

30 июля 2020 года ушел из жизни ученый-литературовед, организатор науки Ямиль Галимович Сафиуллин. Его судьба была неразрывно связана с Казанью, Казанским университетом. Окончив с отличием в 1963 году историко-филологический факультет одного из старейших российских вузов, он впоследствии учился в аспирантуре; под руководством видного теоретика литературы Н. Гуляева защитил кандидатскую диссертацию, работал ассистентом кафедры русской и зарубежной литературы, а с 1972 года – доцентом. Много лет Ямиль Галимович возглавлял филологический факультет: обязанности декана он исполнял в 1980–1985 и в 1990–2002 гг. В течение пяти лет, с 1985 по 1990 гг., был секретарем парторганизации университета, с 2003 по 2007 – советник ректора КГУ.

За этим служебным списком стоят его дела, научные труды и, самое главное – люди: коллеги, с которыми в разные годы он вместе работал на родном факультете, ученики, друзья, единомышленники. В этой книге собраны воспоминания о Ямиле Галимовиче его коллег, друзей, собеседников. В жизни многих из них Ямиль Галимович играл поистине судьбоносную роль: способствовал их профессиональному становлению, формировал мировоззрение, систему ценностей. Авторы этой книги с благодарностью вспоминают Ямиля Галимовича как блестящего лектора, оригинального ученого-мыслителя, декана-новатора, при котором создавались условия для развития научных школ и направлений.

Студенты, аспиранты, преподаватели разных лет, друзья, узнав об уходе Ямиля Галимовича, откликнулись своими постами в социальных сетях. В них горечь утраты соединяется со светлыми, добрыми чувствами к учителю, коллеге, другу.

В первой части книги собраны труды Ямиля Галимовича. Написанные и опубликованные в разные годы, они свидетель-

ствуют о многообразии научных интересов ученого. Теория романтизма, поэзия как философствование, сопоставительная филология, национальные литературы – таков тематический диапазон включенных в книгу трудов. Они различны по жанру: начиная от автореферата кандидатской диссертации и заканчивая научно-популярными статьями, опубликованными в казанских журналах («Казань», «Казан утлары», «Казанский альманах»).

Одна из тем, волновавших Ямиля Галимовича – национальные литературы. В своих опубликованных статьях он предлагает новое понимание концепта «национальная литература», размышляет о судьбах национальных литератур в современности. Запоминающимися стали его выступления на ставших традиционными круглых столах в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ «Национальные литературы: исследовательские парадигмы и практики», статьи, опубликованные в сборниках этой серии. Они способствовали теоретическим поискам, расширили научный тезаурус исследователей национальных литератур из разных республик.

Неизменный интерес Ямиль Галимович проявлял к татарской литературе, творчеству татарских поэтов (Г. Тукая, Дардменда, Ш. Бабича). Их творчество он включал в широкие ряды сопоставлений с русской, восточной, европейской поэзией, давал оригинальные интерпретации произведений сквозь призму различных философских систем. Эти научные опыты представляют собой яркие образцы сопоставительной герменевтики, перспективного направления в татароведении.

В последние пять лет Ямиль Галимович печатался в «Казанском альманахе». Здесь увидели свет его статьи о Чадаеве, Ш. Бабиче, алфавитах, рассказы «Яблоко от яблони» и «Ева на пашне». Все они также включены в эту книгу.

Публикуются в ней и некоторые материалы из личного архива Ямиля Галимовича, за что особая благодарность его вдове, Татьяне Александровне, любезно предоставившей возможность работать с архивом ученого.

*Марсель Ибрагимов,
заведующий отделом текстологии ИЯЛИ АН РТ,
кандидат филологических наук*

**НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
(1969–2020)**

Н.А. ПОЛЕВОЙ КАК ТЕОРЕТИК РОМАНТИЗМА¹

Автореферат диссертации

Время прогрессивной критической деятельности Н.А. Полевого (1796–1846) относится к 1825–1834 годам. Это была эпоха политической и идеологической реакции, наступившей после поражения восстания декабристов. Характеризуя то «глубокое отчаяние и всеобщее уныние», которое после неудавшегося восстания овладело передовыми людьми времени, видевшими подавление всех истинно человеческих чувств и гуманных мыслей, А.И. Герцен в своей работе «О развитии революционных идей в России» пишет: «Первые годы, последовавшие за 1825-ым, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа»².

В своем определении эпохи Герцен далее говорит о той задаче, которая была поставлена исторической необходимости, вновь объединить по-настоящему живые силы, восстановить угасшую во времена безнадежности и упадка веру в будущее родины.

И среди деятелей, которые способствовали этому благородному делу, он выделяет прежде всего А. С. Пушкина и Н.А. Полевого. В эту эпоху Полевой, как считает Герцен, был первый «публицист», мужественно возвысивший свой голос, чтобы объединить боязливых» (7, 215). И пытался он провести это объединение на основе демократизма, идеи с исторической точки зрения наиболее перспективной. В самые мрачные времена этот «мятежный журналист» умел в каждом вопросе выделить его «гуманистическую сущность» и первым «начал демократизировать русскую литературу» (7, 216).

Очень высокую оценку Полевой получил в высказываниях и других революционных демократов. Так, Белинский, имея в виду первый период его критической деятельности, пишет: «Три человека, нисколько не бывшие поэтами, имели сильное влияние на русскую поэзию и вообще русскую изящную лите-

¹ Н.А. Полевой как теоретик романтизма: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Казань, 1969. – 28 с.

² Герцен А.И. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т.7. М.: АН ССРР, 1954–1965. – С.214.

ратуру в три различные эпохи ее исторического существования. Эти люди были Ломоносов, Карамзин и Полевой...»¹. По словам Чернышевского, Полевой был «одним из предводителей в литературном и умственном движении своей эпохи»; и его идеи способствовали «переходу от прежней закоснелости и иезуитского обскурантизма к более здравым воззрениям»².

В течение целого тяжелого десятилетия, последовавшего после поражения восстания декабристов, Полевой оставался первым критиком своего времени. И свои прогрессивные идеи он проводил под флагом романтизма, который имел для него широкое художественное, социальное, политическое содержание. «Романтизм вот слово, которое было написано на знамени этого смелого, неутомимого и даровитого бойца», пишет об этом Белинский (9, 684).

Однако достаточно целостного представления о литературно-критических взглядах этого признанного главы русского романтизма до сих пор нет, хотя они и составили, если присоединиться к мнению Белинского, высшее достижение романтической эстетики.

В критике Полевого романтизм как теория находит свое определенное завершение и начинает испытывать (под влиянием нового творческого опыта и обобщающих его идей) серьезный кризис. Вполне очевидно, что без всестороннего анализа мировоззрения и литературно-эстетических взглядов Полевого невозможно делать полноценные выводы о сущности и оригинальности русского романтизма.

Настоящее исследование ставит своей основной целью способствовать решению этой серьезной проблемы современного литературоведения.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения.

Во введении даны основные этапы изучения литературно-критических взглядов Полевого, очерчен круг встающих в работе проблем и характер существующей между ними связи, определены методологические принципы исследования.

¹ Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 9. М.: АН СССР, 1953–1959.– С. 672.

² Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. 3. М.: АН СССР, 1939–1953. – С. 23–24.

В дореволюционном литературоведении о Полевом писали А. Скабичевский, П. Милюков, Н. Козмин, И. Замотин¹. Однако, игнорируя один из главных моментов в предмете исследования, связь литературной теории Полевого с его социальными, общественно-политическими взглядами, они закрывали тем самым пути к правильной оценке его места в русской критике. Связывая ценность той или иной теории с ее формальной философской законченностью, исследователи приходили к выводам, односторонне подчеркивающим «эклектизм», непоследовательность взглядов критика. Исходя из теории филиации идей, они характеризуют Полевого в основном как посредника между западноевропейскими романтическими теориями и русской литературой.

В советское время было опубликовано значительное число работ, в которых рассматриваются различные стороны мировоззрения и литературно-критической деятельности Полевого. Последовательно выходят исследования П. Когана, А. Лаврецкого, С.С. Степанищева, Н.В. Здобнова, Н.Л. Степанова, В.Г. Березиной, В.Е. Евгеньева-Максимова, А.Г. Гукасовой, Е.Н. Купреяновой, Л.Е. Татариновой, В.К. Ганичевой, В.Н. Орлова, Л.А. Хмелецкой, Н.А. Гуляева, Л.М. Крупчатова.

Продолжая традиции революционных демократов и руководствуясь марксистской методологией, советские исследователи исходят из единства социальных и эстетических взглядов критика, справедливо связывая прогрессивные достижения Полевого с демократизмом и историзмом его мировоззрения.

Однако не все работы, посвященные этой проблеме, имеют, как нам кажется, одинаковую ценность.

¹ См.: А.Скабичевский. Сорок лет русской критики. В его кн.: Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 2. СПб., 1889; П. Милюков. Главные течения русской исторической мысли. Т.1., М., 1889; Н.К. Козмин. Очерки из истории русского романтизма. Н.А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. Пб., 1903; И.И. Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. Пб., 1903–1907.

Большой вклад в исследование мировоззрения и критических взглядов Полевого внесли работы Орлова В. Н¹., Березиной В. Г². Евгеньева-Максимова В. Е., Купреяновой Е. Н. ³, Татариновой Л. Е. ⁴ В них рассматривается то, как демократизм и историзм мировоззрения Полевого способствовали прогрессивному характеру его критической деятельности; доказывается, что противоречия во взглядах критика объясняются не его «принципиальным эклектизмом», а тем, что он в условиях, неблагоприятных как для художественного творчества, так и для литературной теории, пытался продолжить в новой форме многие традиции декабристской критики. По выводам этих исследователей критик стоит на главной магистрали развития русской общественной и литературной мысли.

Наконец, только с 1954 года, благодаря серьезным изысканиям Березиной В. Г., стало возможным поставить на должную историко-литературную базу изучение литературно-эстетических взглядов Полевого периода издания им «Московского телеграфа»⁵.

Одной из главных проблем изучения критических взглядов Полевого является вопрос об их отношении к формированию мировоззрения и эстетики Белинского. Однако вплоть до последнего десятилетия нашего времени в его решении наблюдалось фактически следование традициям дореволюционного академического литературоведения. В ряде исследований Полевой

¹ Орлов В.Н. Полевой литератор 30-х годов // Н.Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов. Л.: «Изд-во писателей в Л.». 1934. С. 11–76; Его же: И.А. Полевой и «Московский телеграф» // Очерки по истории русской журналистики и критики. Т.1. Л.: Ленинград. ун-т, 1950. – С. 256–299; Его же: Н.Полевой и его «Московский телеграф» // Пути и судьбы. – М.-Л., СП., 1963. – С. 181–318.

² Березина В.Г., Евгеньев-Максимов В.Е. Н.А. Полевой. Очерк жизни и деятельности. – Иркутск, 1947; Березина В.Г. Н.А. Полевой в «Московском телеграфе» // Уч. записки ЛГУ, сер. филолог. наук, вып.20. – 1954; Русская журналистика второй четверти XIX века (1826–1839 годы), изд-во ЛГУ, 1965. – С. 24–39.

³ Купреянова Е.Н. Н.А. и К.А. Полевые // История русской критики. т.1. – М.-Л.: АН СССР, 1958. – С. 239–261.

⁴ Татаринова Л.Е. Журнал «Московский телеграф» (1825–1834). М., 1959.

⁵ См. ее работу «Н.А. Полевой в «Московском телеграфе».

рассматривался как «принципиальный эклектик» и постоянный противник Белинского¹.

В последние годы наметилось положительное решение вопроса о том, насколько Полевого (первого периода его критической деятельности) можно рассматривать одним из прямых предшественников Белинского. Работы Гуляева Н.А.², Крупчатова Л.М.³, выполненные в этом плане, открывают новые аспекты изучения его мировоззрения и критической деятельности.

В данном исследовании делается попытка дать более или менее целостное представление о литературно-эстетических взглядах Полевого, определить их значение в идейной и общественной жизни его времени и для формирования последующих теорий в русской критике. При этом рассматриваются особенности его критического метода, учение об искусстве, творческом процессе, жанровом своеобразии романтизма.

Проводимое сопоставление взглядов Полевого с эстетическими высказываниями прогрессивных французских романтиков В. Гюго, Ф. Стендalu, а также А. Мицкевича служит как задаче установления его близости к ним в ряде литературных вопросов, так и выяснению оригинальности критика.

В работе прослеживаются возможные пути влияния идей Полевого на Белинского.

¹ См. А.Лаврецкий. Историко-литературная концепция Белинского, ее предшественники, последователи и критики // Белинский – историк и теоретик литературы. М.-Л.: АН СССР, 1949. С.46; Гукасова А.Г. Из истории литературно-журнальной борьбы второй половины 20-х годов XIX века // Уч. зап. Москов. пед. ин-та им. В.И. Ленина, 1957, вып.7. С.3–30; Хмельницкая Л.А. А.С. Пушкин и журнал Н.А. Полевого «Московский телеграф» // Уч. записки Москов. город. пед. ин-та им. В.П. Потемкина. т. 94, вып. 8. – М., 1959; Ганичева В. К полемике В. Белинского с Н. Полевым // Уч. зап. Ленинградского ун-та, 1960. № 295.

² Гуляев Н.А. Литературно-эстетические позиции «Московского телеграфа». В кн.: Вопросы романтизма в русской литературе. Изд-во Казанского ун-та, 1963. С. 3–29.

Литературно-эстетические взгляды Н.А. Полевого // Вопросы литературы. – 1964. – № 12.

³ Крупчатов Л.М. Н.А. Полевой и Н.И. Надеждин как предшественники В.Г. Белинского в литературной критике // Уч. записки Московского гос. пединститута им. В.И. Ленина. – 1966. – т. 248. – С. 381–416.

В хронологическом плане рассмотрение поставленной темы ограничено 1825–1834 годами, то есть временем наиболее плодотворной и оригинальной критической деятельности Н. Полевого.

В работе не ставится задача специального анализа самого процесса формирования и развития взглядов критика, а исследуется в основном тот высший уровень, которого они достигли на данном этапе, и та роль, которую они сыграли в современной им критике.

Первая глава диссертации «Н. Полевой о возникновении романтизма и его особенностях» посвящена анализу теоретического осознания русским критиком нового литературного направления, его генезиса и сущности, а также рассмотрению некоторых особенностей его критического метода, опираясь на который он устанавливает причины возникновения романтизма и обосновывает правомерность его существования.

Классицисты, как известно, давали романтизму субъективно-психологическую мотивировку, считая его явлением случайным. По словам Полевого, они «...почитали романтизм делом временного кружения голов, начатого Шатобрианом и г-жою Сталь, а кончаемого В. Гюго»¹.

В противовес им романтики стремились представить новое литературное направление как закономерный результат всего предшествующего развития искусства, оправданное, таким образом, своей исторической необходимостью.

В русской критике подобные идеи развивались в первую очередь «любомудрами» (Д. Веневитиновым, В. Одоевским и другими), которые разработали своеобразные модели развития искусства и становления романтизма в нем. Опираясь на принцип историзма (что было большим достижением для того времени), они, однако, отдавали явное предпочтение чисто логическому, философскому методу исследования. Это приводило к обеднению действительного хода истории литературы, а при анализе романтизма к абсолютизации его отдельных сторон.

¹ «Московский телеграф», 1832 год, часть 43. С. 218. В дальнейшем ссылки на этот журнал даются без повторения его названия, с последовательным указанием года издания, части и цитируемой страницы.

При этом большее внимание обращалось на внутреннее совершенство самой теории, чем ее соответствие фактам¹.

Как и остальные романтики, Полевой оправдывает существование романтизма его исторической необходимостью, соответсвием потребностям времени. Однако он отходит от свойственных его времени формально-логических способов анализа литературы. Если у «любомудров» романтизм стал возможным в силу развития объективной идеи, как они полагали, то у Полевого он порождение социально-политических преобразований в Европе, вызванных Французской революцией конца XVIII века. «Когда прошли громы политических бурь, пишет критик, имея в виду эту революцию, Европа начала переворот литературный»². Не случайно свои главные критические статьи (о В. Гюго, Пушкине, Державине, Жуковском) он начинает не с общих логических построений, а с конкретного рассмотрения тех политических, общественных, литературных изменений, которые произошли в Европе после революции 1789–1794 годов.

Оставив чисто философский подход к объяснению литературы, Полевой оправдывает романтизм не путем чисто логических доказательств, а указанием на его практическое соответствие вкусам и потребностям читательской массы, понимаемой критиком в широком демократическом плане. Для Полевого сам факт успеха нового литературного направления в широкой публике имеет непосредственную силу доказательства правомерности его существования. Такая постановка вопроса отличает критика от немецких романтиков и «любомудров», которые решали проблемы романтизма прежде всего в пределах замкнутой эстетической системы, редко соотнося ее с реальной действительностью, а со вкусами и потребностями публики тем более.

В главе (на конкретном материале) прослеживается положительное влияние такого подхода Н. Полевого к литературе на решение им ряда вопросов романтизма.

Существенное влияние на характеристику Полевым причин возникновения романтизма оказал демократизм его убеждений.

¹ Достижения и известная историческая ограниченность эстетики «любомудров» проанализированы в работах Ю. Манна: «Русская философская эстетика», изд-во «Искусство», М., 1969; «Иван Киреевский» // Вопросы литературы. – 1965. – № II.

² 1832, 47, 376.

Он неоднократно указывает на связь классицизма со старым политическим строем Европы, с абсолютной монархией и дворянской государственностью. Классицизм, как считает критик, потерял свою опору и свое влияние, когда «разрушена была политическая система прежней монархии» и когда последняя «исчезла в вихрях революции, потрясшей едва ли не весь мир»¹. Критикуя классицизм, Полевой отмечает прежде всего сословный характер этого искусства. По его мнению, в эпоху классицизма «словесность была отголоском ложных понятий мнимо-большого света, не сообразных ни с духом остальной, многочисленнейшей части народа, ни с истиною изящного»². Подобная критика классицизма сближает Полевого (как это показывается в диссертации) с прогрессивными романтиками (В. Гюго, А. Мицкевичем); реакционные же романтики, как известно, не принимали классицизм прежде всего за его культивизм.

Полевой впервые в русской критике последовательно развивает идею о романтизме и классицизме как своеобразных противоположных методах подхода к жизни, возможных в литературе, философии, истории.

Классицизм, по теории Полевого, характеризуется особым политическим строем, философией, литературой, моралью. Это определенное состояние общественного мира, целостное мировоззрение.

Романтизм в литературе, как считает критик, был подготовлен самыми различными обстоятельствами, он составная часть нового умственного движения, охватившего философию, литературу, политику, технику.

Благодаря особенностям своего критического метода, Полевому удалось представить романтизм как живое, разнообразное движение, в котором не все может поддаться строгому логическому определению.

Далее в диссертации рассматривается теория Полевого о романтизме как создании самобытных национальных литератур. Показывается, что развивающаяся им теория национальной самобытности включала в себя некоторые достижения декабристской критики по этому вопросу, раскрывая одновременно

¹ 1832, 43, 99.

² 1832, 43, 102.

новые аспекты проблемы, поставленные другими историческими условиями. Так, он в своих статьях о В. Гюго, Пушкине, Державине, Жуковском впервые в русской критике дает широкую исторически-конкретную картину движения различных национальных литератур (Германии, Англии, Франции, Италии, России...) к самобытности, связывая одновременно это движение с политическими, экономическими и другими изменениями в европейском мире.

Обоснование права каждой национальной литературы на самостоятельность проводится Полевым, как это доказывается исследованием, на уровне лучших теоретических достижений его времени. Главным принципом, на основе которого доказывается им право на самобытность искусства, выступает романтический историзм, требующий, чтобы историческое развитие рассматривалось в индивидуальной неповторимости его отдельных этапов и компонентов. При этом он широко опирается на идеи Вико, Гердера, Сисмонди и современных ему французских и немецких историков. На основе такого историзма, который сыграл несомненную положительную роль в критике, Полевой объясняет многообразие национальных форм романтизма, не ограничивая его истоки пределами Германии или Франции. Романтизм для него это неизбежный фазис духовного развития каждого народа; поэтому критик предпочитает говорить о «самозарождении» романтизма в литературе той или другой страны, чем о его развитии через заимствования. «Романтизм, как он пишет, образовался... отдельно каждым народом»¹. Тезис этот, несомненно, направлен против тех классицистов, которые, как пишет Полевой, полагали, что романтизм есть то же, что атеизм, шеллингизм, либерализм, терроризм, чадо безверья и революции²; то есть явление, занесенное в Россию из Германии и Франции. Полевой же истоки русского романтизма находит в отечественной народной поэзии, задавленной до поры до времени «западной схоластикой», перенесенной в Россию аристократическим сословием.

В диссертации на основе определенных фактов утверждается далее, что историзм, который развивался критиком, имел в свое время большое положительное значение, так как, призна-

¹ 1832, 43, 372.

² 1832, 43, 86.

вая равнозначность различных национальных культур, он приводил к идее справедливости. «Мы решительно утверждаем, пишет Полевой, что относительного, превышающего достоинства в истории одного государства или народа против других нет и быть не может»¹. Этим же путем обосновывается право на существование исторических художественных произведений на материале национальной истории, доказывается необходимость полного изучения истории России, с самых древнейших времен и до современности.

Анализируется в работе и развиваемая Полевым мысль о взаимоотношении национального и общечеловеческого в литературе, показывается, что в первый период своей деятельности критик не впадал в крайности, а наоборот, воспринял многое у Гердера и предвосхитил некоторые идеи Белинского.

Одним из главных требований нового, романтического искусства Полевой выдвигает «истину изображения», которая становится как бы универсальным критерием оценки различных сторон художественного произведения. Романтизм, как считает критик, «узнает самые мелкие черты различных народностей» и проникнет «до крайней степени познания сердца человеческого и тайн природы»².

Истина и ее содержание, пути, которыми познание приходит к ней не только в искусстве, но и в науке это вопросы, которые рассматриваются во многих статьях критика. Они были выдвинуты всем ходом развития науки и искусства того времени.

Полевой понимает истину не как простое логическое извлечение из фактов, их механическую совокупность в конечном счете. Для него истина связана и с фактом и с идеей, и с логическим и с интуитивным способами познания. В этом он, как и все романтики, отличается от рационалистов.

Однако при всем положительном значении в своей общей постановке этот тезис в конкретной разработке имел существенные недостатки, которые были вызваны разрывом между фактом и идеей, между логическим и интуитивным. Хотя Полевой и пишет, что «романтизму потребно глубокое познание человека в мире действительном и высокая философия и всемирность в

¹ 1833, 49, 446–447.

² 1832, 43, 374.

мире фантазии»¹, ему все-таки не удалось достичь диалектической взаимосвязи между этими моментами познания.

С точки зрения современности учение Полевого об истине в искусстве грешит, несомненно, серьезным искажением реальной действительности. Но в историческом плане оно имело большое значение, потому что введение критерием ценности романтической литературы «истины изображения» позволяло Полевому освободиться при оценке произведения от сословного понятия «вкус», соотносить искусство прежде всего с жизнью. Эта особенность его критики была высоко оценена в свое время Белинским. «Полевой показал первый, пишет Белинский, что литература не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть ее главный предмет и что истина не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и приязненным отношениям» (9, 689).

Вторая глава «Н. Полевой о специфике искусства, художнике, творческом процессе» дает определенное целостное представление об учении критика о своеобразии литературы, выявляет оригинальные моменты этого учения и прослеживает его значение в дальнейшем развитии русской критики.

Полевой, как и все романтики, определяя своеобразие литературы, отделяет (более или менее радикально) поэзию от науки, отграничивает эстетическую область как особую сферу духовной жизни и творчества. Он с достаточной обоснованностью критикует то отношение между наукой и искусством, которое устанавливали классицисты.

Однако, по мнению критика, исключительность искусства не входит в противоречие с его общедоступностью и общезнанием. Эстетический аристократизм в любой его форме был чужд демократическим убеждениям Полевого, что отличало его от немецких реакционных романтиков, а также русских «любомудров».

Касаясь проблемы синтеза научного, художественного, нравственного способов освоения действительности, Полевой решает ее также своеобразно. В его эстетике эта проблема становится не в плане их взаимоподчинения (растворения науки в искусстве, как было у немецких романтиков и у «любомудров»), а в плане их общей обусловленности общественной жизнью.

¹ Там же.

Тем самым критик выступает против шеллинговской концепции «исключительности» искусства.

На конкретизацию Полевым общеромантической теории о взаимоотношениях науки и искусства, как это показано в диссертации, оказали влияние материалистические тенденции его эстетики и демократизм мировоззрения.

Рассматривая общеромантическую идею о самоцельности искусства, критик развивает ее положительные возможности, хотя декларируемый романтиками лозунг «поэзия сама себе цель» мог означать не только защиту специфики литературы, но и требование лишить ее общественного назначения. «Поэт, художник, говорит Полевой, будучи гражданином, будучи философом, должен быть собственно поэтом, собственно художником; но он не будет ни тем, ни другим, если откажется в произведениях своих от прав философа и гражданина»¹.

Самоцельность искусства для него, как и для прогрессивных романтиков (В. Гюго, А. Мицкевича), означает не только его своеобразие по отношению к науке, этике, но и призыв освободить литературу от правил и условностей аристократического общества, враждебного, по его мнению, истинному творчеству.

На основе анализа имеющегося материала в диссертации подчеркивается, что учение Полевого о специфике поэзии сыграло положительную роль в романтической критике и оказалось влияние на становление взглядов Белинского.

Критик разделяет общеромантическую мысль о противоположности художника и общества, их трагического разлада. Главным, однако, в его эстетике является противопоставление художника не всему обществу в целом, а его небольшой части дворянскому сословию. Как он считает, «никакой гений в мире не может сказать, что он выше всей массы своих сограждан. Народ всегда умнее одного лица»². В таком случае противопоставление гения и общества не означает апологии литературного аристократизма. Это обстоятельство, несомненно, отличает Полевого от реакционных романтиков, которые рассматривали искусство как область, противостоящую обыденному здравому рассудку.

Развивая общеромантическую теорию гения, Полевой обращает особое внимание на те аспекты, которые наиболее близки

¹ 1823, 43, 223.

² 1831, 37, 83.

демократизму его убеждений. Критик, говоря о врожденном характере гениальности, как бы демократизирует это положение романтической эстетики. Он настойчиво подчеркивает, что гениальность не привилегия аристократического сословия и в своей персонификации она не считается с сословными, аристократическими соображениями. «Сын природы, пишет о Державине критик, ей одной он был всем обязан, как ей всем был обязан сын торговца шерстью Шекспир, подлекарь Шиллер, солдат Сервантес»¹.

Идея о врожденном характере гениальности была наполнена у Полевого явным демократическим содержанием, и была направлена также против попыток правительства подчинить себе поэтов или создавать поощрительными мерами угодную ему литературу. Продолжая идеи К. Рылеева и А. Бестужева, он отмечает принципиальную вредность монарших и меценатских покровительств при любых исторических эпохах. По его словам, литературу нельзя завести, «как заводят бумагопрядильную или суконную фабрику». «Награды и поощрения, пишет он, произведут торгашей, наемников, льстецов... а не литераторов и литературу»².

В диссертации рассматривается далее представление критика о творческом процессе, его основных компонентах (творческом воображении и опыте, размышлении), связанных с бессознательным и сознательным в художественной деятельности. В конкретном толковании и этого положения романтической эстетики Полевой проявляет демократизм, а также уважение к непосредственному исследованию жизни. Так, бессознательную деятельность гения, как свободу творчества, он связывает, прежде всего, с независимостью гения от предрассудков света и установленных им рассудочных норм творчества. Гениальность, по мнению критика, не дает художнику права отказываться от изучения жизни, не означает необузданной фантазии поэта. Он систематически выступает против тех, кто полагает «всю сущность романтизма в нарушении единства места, времени и действия»³.

¹ 1832, 47, 233.

² 1831, 42, 406.

³ 1829, 29, 521.

Полевой с особым вниманием разрабатывает и психологию восприятия произведений литературы, поставив тем самым перед русской критикой очень важную проблему. Ее возникновение было связано с ростом демократизации читательской среды, с развитием эстетических вкусов, с новыми, романтическими произведениями, которые требовали большей активности сознания читателя. Эта тема была близка критику еще и потому, что он придерживался мысли о высоком просветительском назначении искусства, которое, по его мнению, должно влиять на самую широкую читательскую среду. В диссертации прослеживается непосредственное решение Полевым этого вопроса, выделяются развивающиеся им оригинальные идеи.

Полевой поставил чрезвычайно интересные и важные для своего времени вопросы о личности автора, особенностях его поэтического характера и творчества. Идея самостоятельного, целостного рассмотрения творчества отдельного художника, которую развивает критик, находится в тесной связи с его романтическим историзмом. При анализе творчества того или иного художника важно, как считает Полевой, учитывать то, что поэт неповторим, представляет совершенно оригинальное сочетание своих духовных качеств. Задача критики в таком случае состоит в том, чтобы оценить художника в его единичной неповторимости. «Державина должно отделить от всех его современников и последователей»¹, – пишет Полевой, приступая к анализу его поэзии. Творческое развитие Державина прослеживается критиком в связи с поисками поэтом своего «особого пути», в связи со становлением его оригинальности.

Требование отделить художника по его чертам характера и творчества от предшественников и современников имело в свое время большое значение. Оно позволяло поставить вопрос об индивидуальном стиле, давало возможность определить место того или иного поэта среди других поэтов и в общем ходе литературного развития. Этот принцип при своей абсолютизации мог привести, правда, и к отрицательным последствиям, что нередко случалось в романтической критике, когда история литературы превращалась в историю творчества отдельных писателей, практически ничем не связанных друг с другом. Полевой в основном развивает положительные возможности этой теории.

¹ 1832, 47, 210.

Романтический историзм применяется Полевым и к оценке отдельного художественного произведения, которое рассматривается им в своем органическом, внутреннем единстве, а не просто сопоставляется с жанровыми показателями, как это нередко делалось классицистами.

Полевой требует анализа творчества художника в порядке его хронологического развития, а не путем простого разделения произведений на жанры. Литература, в представлении критика, является не только выражением всеобщих принципов, но и отдельного духовного мира художника, его неповторимой индивидуальности. Он правильно считает, что при критическом анализе необходимо учитывать все произведения писателя, даже варианты их, чтобы охватить «всю поэтическую общность его созданий»¹.

Новые принципы критики, развиваемые Полевым, дали ему возможность создать первые критико-биографические статьи о Державине, Жуковском, высоко оцененные, как известно, Белинским (3, 502).

Поставленные Полевым вопросы о единстве и внутренней целостности личности художника, отдельного произведения и его творчества в целом разрабатывались в русской критике в дальнейшем Белинским (7, 106).

В конце второй главы исследуется развитие Полевым свойственной многим романтикам идеи о двух типах художественного творчества. На Западе она была достаточно основательно разработана, как известно, Ф. Шиллером в его статье «О наивной и сентиментальной поэзии»; в России ее отдельные моменты рассматривались декабристами, в частности Кюхельбекером².

Основным различием типов творчества, как это представляет себе Полевой, является противоположность между непосредственным, целостным подходом к миру и подходом рефлексирующим, субъективным. К первому типу он относит обычно Шекспира, Державина, Пушкина; ко второму Шиллера, Байрона, Жуковского. Правда, такое деление критик не делает абсолютным. Возможны, по его мнению, писатели как бы промежуточного типа, к которым близок, например, Гете. В каждом

¹ 1832, 47, 384.

² См.: Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX в. С. 218.

из этих типов творчества критик находит большие художественные возможности, и будущее литературы представляется ему как их взаимопроникновение.

В диссертации показано, что мысль Полевого о синтезе в романтизме различных типов творчества была связана как с декабристскими традициями оценки Гомера, Шекспира, Байрона, Шиллера как романтиков, так и с состоянием самой романтической художественной практики в России, которая была осложнена традициями классицизма, сентиментализма и тенденциями становящегося реализма.

Определенный интерес может представить сопоставление идеи Полевого о типах творчества с учением Белинского об идеальной и реальной поэзии.

Третья глава диссертации «Н. Полевой об исторических жанрах романтической литературы» посвящена в основном теории жанров, развиваемой критиком, и его учению об историческом романе, положительное значение которых было обусловлено сильными сторонами его мировоззрения историзмом и демократизмом.

Полевой подверг обоснованной критике формально-логическую теорию жанров, подчеркивая зависимость жанра произведения от изображаемого предмета и тех задач, целей, которые ставит перед собой автор. В этом отношении он близок к передовым критикам своего времени (В. Гюго, Пушкину) и предвосхищает идеи Белинского.

Характеризуя происходящие в романтизме процессы разделения жанров и их синтеза, он правильно уловил причины и основания этого явления. Единение жанров происходит, по его мнению, на основе лиризма и драматизма, которые как бы выводятся им за пределы собственных родов и делаются особенностями романтического творчества вообще. Исследование показывает, что в объяснении причин столь широкого распространения лиризма и драматизма Полевой полнее улавливал истину, чем большинство романтиков, в том числе и В. Гюго, который был близок к нему по своим эстетическим взглядам. Его высказывания о лиризме перекликаются с идеями Гегеля и Белинского, которые, как известно, полагали лиризм одной из основных стихий романтизма. В диссертации утверждается

возможность влияния идеи Полевого о синтезе жанров в романтизме на формирование взглядов Белинского.

Полевой первым в России создал более или менее законченную теорию исторического романа под влиянием широкого опыта исторических художественных произведений западноевропейской и русской литературы.

В рассмотрении причин возникновения нового исторического романа он становится на верный путь, находя их в объективных обстоятельствах времени, выходящих за пределы авторской личности. «Новому времени, пишет критик, когда события обнажили жизнь человека, когда герои явились людьми, был общественный раскрытся... когда изменился образ взрения на предметы... роман должен был преобразоваться»¹. Такой точки зрения придерживались В. Гюго, Ф. Стендаль², она будет воспринята и Белинским (I, 271).

Полевой не ограничивает пределы романа сферой любовных, семейных отношений, как это делали, например, Греч, Плаксин, Титов, а указывает на более широкое, общественное содержание романа, отвечающее тем многообразным связям и отношениям, которые существуют между человеком и обществом. Таким образом, он ставит перед романом задачу, близкую к той, которая будет ставиться перед ним и Белинским.

Новым историческому роману и драме приходилось завоевывать право на свое существование, преодолевая упорное сопротивление противников. И Полевому принадлежит важная заслуга их теоретического оправдания.

Следовало прежде всего обосновать взаимоотношения между историей как наукой и историческим художественным произведением. Критик попытался преодолеть то четкое разграничение между ними (как между областями «истины» и «лжи»), которое проводили классицисты. Он доказал, что по отношению к истине и истории, и роман имеют как бы равное значение, а в процессе ее раскрытия взаимно дополняют друг друга. Как отмечает критик, «историк может изучать Шекспирову драму, чтобы после того лучше понимать Юма и летописцев англий-

¹ 1832, 43, 233.

² См. Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., ГИХЛ, 1958. С. 92.

ских»¹. Рассматривая произведения В. Гюго, А. де Виньи, Пушкина, Полевой говорит об их авторах как о талантливых художниках и историках одновременно.

Полевой правильно охарактеризовал то взаимопроникновение истории и романа, которое наблюдалось при романтизме вследствие изменений, произошедших в каждой из этих областей и имеющих общую направленность. История как наука, перестав быть описательной (историй фактов), стала философской (историей идей). В ней повысилась роль личности самого исследователя, его философских и нравственных убеждений. Аналогичные изменения происходили и в романе, который претендует теперь не просто на умелое комбинирование, соединение исторических фактов, а на раскрытие их философской, нравственной значимости. На основе философской или нравственной идеи, к которой они стремятся, историк и романист сближаются настолько, что провести четкую границу между ними и результатами их деятельности становится невозможным. Разумеется, в этом положении критики Полевого оказались и недостатки его романтического мировоззрения.

По-своему пытается решить Полевой и другую важную проблему, возникающую перед историческим романом задачу синтеза факта истории и вымысла художника, выдвинув на первый план воображение романиста. Факт истории в его учении оказывался все-таки подчиненным идеи, хотя Полевой и придерживался более рационального их соотношения, чем А. Бестужев и В. Одоевский, открыто декларировавшие свое пренебрежение к историческим фактам.

Полевой впервые в русской критике теоретически обосновывает право художника обращаться в своем творчестве к отдаленным историческим эпохам, настаивая на том, что в историческом художественном произведении уход в прошлую историю хронологически по сути не ограничен. Такая точка зрения вытекала из его исторической концепции, проникнутой сильным демократическим чувством и противопоставленной исторической концепции Карамзина и Н. Надеждина. Представитель среднего сословия, он решительно выступает против того, чтобы «отдавать историю царям» (развивая мысли Н. Муравьева). Для Полевого историческое движение это пре-

¹ 1833, 49, 321.

жде всего «развитие духа народного и быта общественного». Поэтому истинный историк всегда увидит в древней истории, несмотря на кажущееся однообразие и беспорядок, эти «характеристические отличия главных действователей русской земли»¹. Естественно, это требует нового отношения и художника к прошлой истории. Поскольку он должен изображать составляющие исторический процесс «дух народа» и «общественный быт», то и степень его «ухода в историю» должна соответствовать степени древности отмеченных стихий. Это же означает, что художник практически не ограничен какими-либо хронологическими рамками. В споре, который разгорелся между Полевым и Надеждиным (по мнению которого, вся история до Петра I «представляет не роскошную жатву для русского исторического романа»²), Белинский занял сторону Полевого (3, 19).

В своем стремлении оправдать обращение писателей к отдаленным историческим эпохам Полевой опирался также на романтический историзм, который допускает воскрешение прошлого силой художественного воображения, не останавливающегося даже перед отсутствием необходимых фактов и документов. Эта сторона теории критика наряду с положительными моментами имела и существенные недостатки, так как допускала нарушение объективно и исторической истины.

Полевой выступил с требованием исторической оценки смысла и значения каждой исторической эпохи в отдельности, как и каждой национальной цивилизации. Это привело к обоснованию правомерности обращения к национальной истории в поисках художественного материала, к провинции страны, к жизни ее различных народностей. По мнению критика, историческое художественное произведение, как и научное исследование, должно передать индивидуальное своеобразие каждой исторической эпохи, ее целостность, законченность, неповторимость, внутреннее движение. За этим тезисом мог стоять и исторический иррационализм, отрицающий всеобщие закономерности в развитии истории. Однако Полевой развивает прежде всего его положительные стороны.

Учение Полевого об идее, организующей единство художественного произведения, имело противоречивое значение.

¹ 1833, 49, 447.

² «Телескоп», 1832, ч. X. С. 244.

Оно помогало выступить против сплошного эмпиризма, описательности, за единство произведения, его художественную убедительность. Но в то же время сама идея оказывалась слабо связанной с фактами, практически не вытекающей из них. Так, дисгармонию человека и общества, которую Полевой наблюдал в современной ему действительности, он переносил, подобно многим романтикам, на все предшествующие исторические эпохи, делая ее как бы универсальным свойством развития человечества. История человечества в одном из своих аспектов – это история извечных «противоречий сердца с общественными условиями»¹.

Важным составляющим моментом исторического художественного произведения, вокруг которого могут быть объединены остальные элементы произведения, как считает Полевой, является изображение человеческого характера. Нередко главным в историческом романе или драме он выдвигает изображение «глубин сердца человеческого»². И тогда остальные элементы произведения, исторические события, подробности места, колорит превращаются в фон, на котором развертывается «рассказ о событиях человеческого сердца»³. При этом психологическую правду характеров он видит в сочетании в художественном образе общечеловеческого и национального, вечного и исторически конкретного, оставаясь тем самым на типичных романтических позициях. Именно в таком изображении человека критик находил один из существенных моментов интернационального, гуманистического назначения литературы.

Решая вопрос о том, насколько образ исторической личности, представленной в художественном произведении, должен соответствовать своей подлинной достоверности, Полевой высказывает идеи, которые были поддержаны Белинским в ранний период своей критической деятельности.

Значительное внимание было уделено Полевым и композиции исторических художественных произведений, которая должна была почти полностью измениться в зависимости от задач, поставленных перед ними.

¹ 1831, 38, 240.

² 1832, 47, 102.

³ 1832, 43, 380.

Критик ведет плодотворную борьбу с авантюрным направлением в развитии русского исторического романа, представленным Булгариным, Масальским, Загоскиным.

Полевой требует избирательного подхода к изображаемому в романе материалу, чтобы охватить наиболее характерное и имеющее центральное значение. Критик приветствует романы В. Скотта, обращенные к революционным периодам истории Англии, Шотландии, а также русские романы о временах Смуты на рубеже 16 и 17 веков, Петра I, об эпохе 1812 года.

Полевой правильно замечает и характеризует ту драматизацию, которую испытывал новый исторический роман, приобретая напряженный сюжет, ярко очерченные характеры героев, обладая способностью создать у читателя представление о том, что он как бы является соучастником происходящих событий.

Развиваемый Полевым тезис о том, что «роман сам себе цель», имел положительное значение, так как на его основе критик выступал против дидактического направления в современном историческом жанре, представители которого Булгарин, Загоскин, Зотов, Масальский подчищали историю в угоду реакционным идеям. Борьба, начатая критиком против дидактического направления, была с успехом продолжена Белинским.

В заключении излагаются краткие итоги исследования и отмечаются новые проблемы, возникшие в процессе его выполнения.

Впервые в русской критике Н. Полевой дает последовательную социальную и историческую характеристику западноевропейского и русского романтизма. Разумеется, и до него мы встречаем замечания различных критиков о связи романтизма с новым политическим состоянием Европы. Однако от простой констатации такой связи до осознания ее важности и особенно до выдвижения на первый план социальных элементов его предшественники и современники не дошли.

Мировоззрение Полевого было типичным для представителя переходного периода, того времени, когда в пределах сравнительно небольшой исторической эпохи наблюдалось существование различных художественных методов, столкновение противоположных идей, философских убеждений, критических приемов и т. д. Полевой в своем мировоззрении представляет тип романтика с сильно выраженной просветительской идеологией.

гией, что сказалось на своеобразии его критики. В этом плане представляется весьма интересной проблема отношения главы русского романтизма к просветительству и к его философской основе рационализму. Так, Полевой не отвергает лучшие традиции рационализма просветителей, которые, опираясь на мысль о могуществе человеческого разума, глубоко верили в постоянный общественный прогресс. Этим он отличался от реакционных романтиков, воспринявших, как известно, прежде всего теневую, разрушительную сторону исторического процесса и не видевших в современной действительности высшей, по сравнению с прошлым, ступени общественного развития. Обращаясь к проблемам искусства, научного познания, критик, как и просветители, интересуется преимущественно вопросами о смысле, назначении, гуманистической значимости литературы и науки. Он был проникнут глубокой верой в познавательные способности человека, видел назначение наук в их практическом содержании, стремился воплотить мысль в действие,нести разум в общественное самосознание. Поэтому практическая направленность просветительской философии XVIII века вызывала его несомненные симпатии.

Все это позволяет говорить о том, что проблема взаимоотношений просветительства и романтизма должна рассматриваться не только в плане их противопоставления (в качестве рационального и интуитивного способов познания, как это делается некоторыми современными исследователями), но и в положительном аспекте их взаимосвязей и в первую очередь влияний просветительства на романтизм. В декабристской литературе, как известно, выделяется целая ее линия, тесно связанная с просветительством. Такое явление, как показало исследование критических взглядов Полевого, остается и в романтизме 30-х годов и не просто как традиция (тем более пережиток), но как существенная, органическая особенность русской литературы, которая будет ее отличать и на этапе реализма.

Литературно-критические взгляды Полевого, как и его мировоззрение в целом, отличались большой сложностью, так как они зависели прежде всего от непосредственной литературной практики, которая, как известно, во время его лучшей критической деятельности характеризовалась большим разнообразием. Созерцание, осмысление этой практики давало для

его эстетической теории значительно больше, чем замкнутость какой-нибудь философской системы. Поэтому настоящее значение взглядов критика может быть оценено только в их соотношении с действительностью, а не с теми или иными философскими системами (Кузена, Шеллинга, любомудеров и др.).

Следует подвергнуть большому сомнению или вовсе счи-тать ошибочной распространенную в критике точку зрения, которая возводит истоки философских убеждений Полевого к Шеллингу или Кузену. Она высказана представителями дореволюционного литературоведения, но, к сожалению, остается господствующей и теперь. Если говорить о каких-либо влияниях, то конкретное изучение материала показывает, что воздействие, например, Гердера, Д. Вико, В. Гюго, А. Мицкевича на формирование мировоззрения критика было не меньшим, чем Шеллинга или Кузена. И вообще, как известно, нельзя рассматривать то или иное влияние как оторванную от жизненных условий филиацию идей и понятий. Философия Полевого отражает современную ему эпоху русской жизни, и основные принципы его непосредственной литературной критики были выведены практическим путем, а не через простые заимствования.

Ограничено пределами данной работы изучение литературно-критических взглядов и некоторых сторон мировоззрения Н. Полевого показывает их значительную оригинальность, сложность и положительное влияние на развитие русской критики и литературы. Возникает задача дальнейшего более глубокого и разностороннего их исследования, основанного на анализе процесса их формирования, различных взаимосвязей и судеб.

В 1846 году Белинский писал: «Полевой еще ждет и, может быть, не скоро дождется истинной оценки; но он дождется ее, и имя его навсегда останется в истории русской литературы и в призательной памяти общества...» (9, 502). Никоим образом не претендую на выполнение всей этой большой задачи, поставленной Белинским, мы попытались решить хотя бы отдельные, но существенные, как нам кажется, ее моменты.

К диссертации дано приложение «Опыт атрибуции некоторых статей «Московского телеграфа»».

В процессе изучения материалов «Московского телеграфа» были обнаружены новые факты, которые позволяют говорить

об авторстве Н. А. Полевого по отношению к ряду анонимных публикаций журнала.

В своих изысканиях по определению авторства, опираясь в основном на систему доказательств, разработанную В. Г. Березиной в ее работе «Н. А. Полевой в «Московском телеграфе»», мы пытаемся установить принадлежность Н. А. Полевому следующих статей и рецензий журнала.

1. «Английское посольство в Китае». Повесть из первой половины XVIII столетия. Соч. Фан-дер-Фельде.

«Гусситы». Исторический роман из времен тридцатилетней войны. Соч. Фан-дер-Фельде.

«Богемские амазонки». Соч. Фан-дер-Фельде (1830, ч. 32, стр. 86–93).

2. Французский театр («Тереза», романтическая драма, в 5 действиях, соч. А. Дюма. «Сплетни», водевильная шалость, соч. Кармуша (Бенефис г-на Карона, 7 ноября) 1832, ч. 46, стр. 588–603.

3. «Плик и Плок». Сцены на море. Соч. Евгения Сю (1833, ч. 50, стр. 113–117).

4. «Монастырка». Соч. А. Антония Погорельского (1833, ч. 50, стр. 582–584).

Следующие три рецензии (до обнаружения дополнительных фактов и доказательств) могут быть включены, по нашему мнению, в «Приписываемое Н. А. Полевому».

1. «Теодор, летний король, или Корсика в 1736 году». Исторический роман Соч. Ф. Фан-дер-Фельде (1832, ч. 47, стр. 392–394).

2. «Темные сказки». Соч. Бальзака (1832, ч. 47, стр. 395–401).

3. Руководство к познанию истории литературы, составленное Василием Плаксиным (1834, ч. 55, стр. 319–326).

Нами учтены также следующие вводные абзацы и комментарии, сделанные Н. А. Полевым к следующим переводным статьям, напечатанным в журнале.

1. О Гердере. Статья, переведенная с немецкого (1828, ч. 20, стр. 137–139).

2. А. Мицкевич. «О критиках и рецензентах варшавских» (1829, ч. 29, стр. 4–5).

3. А. Гумбольдт. «О степях» (1829, ч. 29, стр. 151).

4. А. де Виньи. «О драматической реформе» (1830, ч. 34, стр. 423–424).

5. В. Гюго. «О поэзии древних и новых народов» (1832, ч. 47, стр. 297).

6. Мишле. «Введение во всеобщую историю» (1833, ч. 49, стр. 3).

Работы, опубликованные по теме диссертации:

1. Журнал «Московский вестник» и вопросы романтизма // Сборник студенческих работ историко-филологического факультета КГУ. вып. 1. Казань: изд-во КГУ, 1964. – С. 68–86.

2. Н. А. Полевой об историческом романе // Материалы X научной конференции литературоведов Поволжья (Мелекесс, май, 1969 г.). Ульяновск, 1969. – С. 54–56.

3. Н. Полевой о жанрах романтической литературы // Аспирантский сборник. Гуманитарные науки. Кн. 2. Филология. Журналистика. Казань: Изд-во Казанского университета, 1969. С. 55–64.

4. Н. Полевой о специфике литературы // Там же. С. 106–116.

5. Н. Полевой о возникновении романтизма и некоторых его особенностях // Там же. С. 117–129.

6. Державин в оценке Н. Полевого // Очерки по истории русского языка и литературы XVIII века (Ломоносовские чтения). Вып. III. Казань: Изд-во КГУ, 1969.

В. А. ГРЕХНЕВ¹

**ОТЗЫВ О КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Я. Г. САФИУЛЛИНА**

(Казань, 1969, 236 стр. машинопись)²

Диссертация Я.Г. Сафиуллина «Николай Полевой как теоретик романтизма» зрелое исследование, обнаруживающее у докторанта хорошую литературоведческую школу.

Свежесть и значительность выводов этой диссертационной работы в первую очередь предопределена научной четкостью исследовательских подходов: автор избегает модернизаций в истолковании эстетической концепции Полевого, критерии литературоведческих оценок здесь строго выверены и обладают достаточной мерой гибкости, сочетая возможности логического и исторического методов изучения. Удачное совмещение этих аналитических принципов позволяет докторанту нашупывать историко-литературную перспективу теоретических идей Полевого даже в тех случаях, когда они чреваты внутренними противоречиями.

Историзм исследования обогащается широтой его эрудиции, хорошим знанием литературной эпохи, истории и теории романтизма. Немецкая эстетическая и философская мысль конца 18 начала 19 вв., эстетика французского романтизма, теоретическая мысль русских любомудров этими широкими напластованиями идей и фактов докторант оперирует свободно и веско, энергично сдвигая историко-культурный материал, прослеживая в сцеплениях и отталкиваниях идей своеобразие эстетической программы одного из крупных русских теоретиков романтизма. Здесь напрашивается одно замечание: сопоставляя критический метод Полевого с абстрактнологизирующими, философскими принципами исследования

¹ Грехнев Всеволод Алексеевич (1938–1998) – российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета, пушкинист, исследователь русской литературы XIX века, а также творчества Тютчева, Боратынского, Фета, Жуковского; член Пушкинской комиссии Российской академии наук, член Ассамблеи Всероссийского Пушкинского общества, член Союза писателей России.

² Из архива Я.Г. Сафиуллина.

любомудров, Я. Сафиуллин, пожалуй, излишне спешит представить Н.А. Полевого единственным в критике первой половины 30-х годов поборником конкретно-исторического подхода к проблемам художественного творчества (см. стр. 21 и следующие). Картина эта может обернуться осложнениями, если вспомнить, что уже в начале 30-х годов в университетских лекциях, а позднее в работе «История поэзии» (1835) упорно разрабатывает исторические критерии в осмыслении литературных явлений Шевырев, эстетическая мысль которого, к сожалению, выпала из поля зрения диссертанта.

Имея в виду широту охваченных в диссертации историко-литературных фактов, высокий уровень их исследования, работу Я.Г. Сафиуллина можно считать удачным опытом монографически-целостного изучения романтической эстетики Полевого в современной литературоведческой науке.

Особый интерес для наших оценок эстетического наследия 30-х годов прошлого столетия представляет 3-я глава диссертаций. Учение Н.А. Полевого о литературных жанрах, всесторонне проанализированное Я.Г. Сафиуллиным, раскрывается такими гранями, которые в полной мере позволяют оценить серьезность и глубину эстетических представлений русского критика. Исследуя в первых главах диссертации проблемы историзма в эстетике Полевого, взаимосвязи интуитивного и рационального, идеи и факта в процессе художественно о постижения истины, анализируя учение Полевого о специфике поэзии, о личности художника в творческом процессе, Я.Г. Сафиуллин высказывает много ценных наблюдений, весомость которых, бесспорно, выигрывает оттого, что автор постоянно соотносит эстетические построения критика с демократизмом его общественно-литературной позиции.

Общее наше заключение: Я.Г. Сафиуллин, судя по его работе, достоин ученой степени кандидата филологических наук.

Опубликованный реферат отражает содержание диссертации.

*Г. В. Краснов, зав. кафедрой русской литературы
Горьковского университета
имени Н.И. Лобачевского, профессор
В.А. Грехнев, кандидат филологических наук*

В. А. БОЧКАРЕВ
ОТЗЫВ О КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Я. Г. САФИУЛЛИНА¹

Диссертация Ямиля Галимовича Сафиуллина написана на весьма актуальную тему. Проблема романтизма принадлежит к числу таких литературоведческих проблем, от разработки которых зависит решение многих общих и частных вопросов эстетики, теории и истории литературы. В диссертации дается целостная характеристика романтических взглядов виднейшего русского критика-публициста Н.А. Полевого.

Определяя задачи своего исследования, автор диссертации справедливо замечает, что «без всестороннего анализа мировоззрения и литературно-эстетических взглядов Н. Полевого невозможно делать полноценные выводы о сущности и оригинальности русского романтизма...» (стр. 16).

Диссертант подвергает критическому разбору высказывания о Полевом А. Скабичевского, П. Милюкова, Н.К. Козмина, И.И. Замотина, а также рассматривает работы ученых А. Лаврецкого, Н.А. Гуляева, В.Г. Березиной, В.Н. Орлова, В.Е. Евгеньева-Максимова и других. Диссертант указывает, что рассмотрение поставленной темы он ограничивает в хронологическом плане 1825–1834 годами.

Рассмотрев высказывания Н.А. Полевого по вопросу о возникновении романтизма, связывавшемся критиком с французской революцией, диссертант делает обоснованный вывод, говоря, что «Н. Полевой впервые в русской критике дает последовательную социальную и историческую характеристику западноевропейского и русского романтизма» (стр. 25).

¹ Из архива Я.Г. Сафиуллина.

Бочкарев Виктор Алексеевич (1906–1994) – заслуженный деятель науки РСФСР, литературовед, доктор филологических наук, заведующий кафедрой советской литературы Куйбышевского государственного педагогического института (Самарский педагогический университет). В течение многих лет он был членом научного совета по проблеме «Русская классическая литература и ее международные связи» в Институте мировой литературы АН СССР. В.А. Бочкарев ежегодно принимал участие в межвузовских научно-методических конференциях, проводившихся в Москве; вел большую работу по рецензированию кандидатских и докторских диссертаций.

Весьма содержательным и глубоким является проведённый диссертантом анализ романтического историзма Полевого. «Главным принципом, пишет Я. Г. Сафиуллина, основе которого доказывается право на самобытность искусства, выступает романтический историзм, требующий, чтобы историческое развитие рассматривалось в индивидуальной неповторимости его отдельных этапов и компонентов» (стр. 42). В свете этой идеи романтического историзма диссертант характеризует учение Полевого и других романтиков о самобытных национальных литературах, а также прослеживает развивающуюся Полевым «диалектику отношений между единичностью данного народного духа и всеобщностью общечеловеческих принципов» (стр. 48.) Диссертант справедливо замечает, что проводимая Н. Полевым идея о самоценности истории отдельных народов обосновывала также расширение тематики, содержания литературных произведений, оправдывала существование исторических сочинений с национальной темой» (стр. 50).

Проводимый диссертантом тонкий анализ романтического толкования «истины изображения» помогает понять часто наблюдаемые в литературе и критике романтизма явление, когда правдивым и истинным объявлялось такое изображение действительности, которое с обычной точки зрения представляется далеким от жизненной правды.

Вторая глава диссертации посвящена характеристики взглядов Н.А. Полевого на специфику искусства, сущность творческого процесса, на отношения между художником и обществом. Здесь же рассматриваются вопросы о гении и характере его творческой деятельности, о восприятии художественного произведения, о задачах романтической критики, о типах художественного творчества. Диссертант справедливо утверждает, что Н.А. Полевой оригинально трактовал вопросы специфики искусства, внося в эту важную для романтизма теорию новые идеи. Оригинальность Полевого в этом вопросе связывается диссертантом с наличием в эстетике издателя «Московского телеграфа» материалистических и демократических тенденций. «В эстетике Н. Полевого, утверждает диссертант, проблемы взаимоотношений науки и искусства ставились главным образом не в аспекте их взаимозависимости, а в плане их общей обусловленности общественной жизнью» (стр. 73–74).

Рассмотрев вопросы специфики искусства в освещении Полевого, Я.Г. Сафиуллин делает правильный вывод, утверждая, что «учение Н. Полевого о специфике поэзии сыграло положительную роль в романтической критике и оказalo влияние на становление взглядов В.Г. Белинского» (стр. 82).

В третьей главе диссертации речь идет о воззрениях Н.А. Полевого, связанных с оценкой исторических жанров романтической литературы. В главе содержится большое число интересных наблюдений и выводов, касающихся развития исторического романа и исторической драмы в русской и зарубежной литературе.

Строго соблюдая научную объективность анализа, диссертант смог правильно определить место и значение Полевого в истории русской критики и русской литературы.

Диссертация написана хорошим, строгим, точным и выразительным языком.

Недочеты, имеющиеся в работе, носят частный характер и ни в какой мере не колеблет общую весьма положительную оценку диссертации.

Я.Г. Сафиуллин является вдумчивым, вполне созревшим молодым исследователем, написавшим полезную работу, которая, безусловно, войдет в научный обиход и явится ценным вкладом в изучение теоретического наследия Полевого.

Автор диссертации Я.Г. Сафиуллин, безусловно, заслуживает присуждением ученой степени кандидата филологических наук.

*В. Бочкарев,
доктор филологических наук,
профессор*

ОБ АВТОРСТВЕ Н. А. ПОЛЕВОГО ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕКОТОРЫМ СТАТЬЯМ «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА»¹

Многочисленные критические и публицистические статьи, рецензии, помещенные в «Московском телеграфе», в основном не были подписаны или подписаны буквами и псевдонимами. Большая и важная работа по определению их авторства начата сравнительно недавно В. Г. Березиной, опубликовавшей выводы своих изысканий в 1954 г².

Изучая материалы «Московского телеграфа», мы обнаружили новые факты, позволяющие продолжить поиски по определению меры участия Н. Полевого, как автора, в издаваемом им журнале.

Методика установления авторства, как известно, до сих пор разработана еще недостаточно полно. Поэтому мы придерживаемся в основном системы доказательств по определению авторства Н. Полевого, разработанной В. Г. Березиной и, как нам кажется, полностью отвечающей требованиям данного конкретного случая.

В существующих библиографических указателях произведений Н. Полевого рассматриваемые публикации не отмечены, хотя могут иметь немаловажное значение при изучении его мировоззрения.

1. Обозрение «Иностранный литература 1825-го г.». «М.Т.», 1825, ч. 3, № 10, стр. 169–180. Без подписи.

Установить авторство Н. Полевого позволяют материалы спора, возникшего между «Московским телеграфом» и «Северной пчелой» о книге француза Бутервека «История немецкой литературы».

Автор обозрения, давая характеристику «Истории греческой литературы», написанной Шеллем, поставил ее в один ряд с сочинениями Женгене и Бутервека. «История греческой литературы» Шелля, пишет он, была издана в 1812 г. под названием «Сокращенной» истории, но тогда же получила классическую

¹ Романтизм в художественной литературе / Науч. ред. Н.А. Гуляев. Казань, 1972. – С.3–22.

² Березина В.Г. Н.А. Полевой в «Московском телеграфе» // Уч. записки ЛГУ, сер. филолог. наук, вып. 20. – 1954. – С. 86–142.

славу и переведена на немецкий, английский, даже греческий языки... Таким образом, сочинение г-на Шелля делается для греческой литературы тем же, что для итальянской сочинение Женгене и для немецкой Бутервека» (стр. 172).

Вскоре в «Северной пчеле» было заявлено, что Бутервек не писал особой «Истории немецкой литературы», и последняя явилась лишь результатом неосведомленности «Московского телеграфа». «Он, писала газета, имея в виду автора рассматриваемого обозрения, ставит наряду с «Историей итальянской литературы» Женгене «Историю немецкой литературы» Бутервека, а Бутервек не писал особой и подробной истории оной» («С.П.», 1825, № 82).

Ответ на выступление «Северной пчелы» содержится в антикритике «К читателям “Телеграфа”», приложенной к 14-ому номеру журнала за 1825-ый год. Ее автор Н. Полевой, обвиняя издателей газеты в преднамеренном искажении фактов, пишет: «Самонадеянность еще несколько извинительна; но как можно печатать, что я «говорю о книгах, несуществующих в мире!» «Он ставит наряду с «Историей итальянской литературы» Женгене «Историю немецкой литературы» Бутервека, а Бутервек не писал особой и подробной истории оной («С.П.», № 82)» пусть же издатели «С.П.» спросят у книгопродаца Грефа, в С.П.-бурге, против Адмиралтейства, в доме Щербакова под № 91, Бутервекову «Geschichte der Poesie und Beredsamkeit», пусть развернут 9 том (печатанный в Геттингене, 1812 г., XXII и 528 стр.), 10 том ... Представляю на суд читателей смелость журналистов, утверждающих, что Бутервекова «История немецкой литературы» не существует! Положим, однако ж, что я ошибся в переводе и ошибочно толковал о предметах, не совсем близких к нам: я мог бы оправдаться...» («М.Т.», 1825, ч. 4, № 14, стр. 8–9).

Замечание «Северной пчелы» оказалось неверным, и «Телеграф» неоднократно возвращается к этой ошибке своего противника. Так, в «Особенном прибавлении» к 17-ому номеру журнала Н. Полевой пишет: «Полгода устремлялись на «Телеграф» с разных сторон нападения журналистов и некоторых литераторов, которым открыто говорил я правду и полгода не дорожил я их претензиями. Видя, наконец, что на меня возводят небылицы, я долгом почел оправдаться не перед ними, но перед читателями «Телеграфа» («М.Т.», 1825, ч. 5, № 17, стр. 1).

«Например, что я говорю о книгах, несуществующих в мире, что я пристрастно критикую, браню всех, стараюсь унижать людей известных, сужу о том, чего сам не знаю, и проч. и проч.».

Авторство Н. Полевого доказывается, таким образом, его собственными признаниями, о чем свидетельствуют приведенные выше цитаты. Дополнительным подтверждением этому может служить «Особенное прибавление» к 22-ому номеру «Телеграфа», подписанное псевдонимом Киотский. В нем, в частности, говорится: «Спор о Бутервеке также невыгоден для издателей «Сев. Архива», ибо здесь они прекрасно высказали свои познания. Прежде всего они объявили, что Бутервекова «История немецкой литературы» не существует; но когда издатель «Телеграфа» доказал ее существование...» («М.Т.», 1825, ч. 6, № 22, стр. 43).

В дальнейшем на это обозрение была дана ссылка во вводном замечании, идущем от имени издателя, которым сопровождалась публикация в «Телеграфе» отрывка из «Истории герцогов Бургундских» Баранта. «Мы упоминали («Тел.», № X, стр. 169) о блестящем успехе сочиненной г-м Барантом «Истории герцогов Бургундских» («М. Т.», 1825, ч. 4, № 15, стр. 181). Ср. в обозрении: «... весьма блестящий успех имела во Франции «История герцогов Бургундских», соч. г-м Барантом» («М. Т.», 1825, ч. 3, № 10, стр. 169).

2. Рецензия на «Записки полковника Вутье о нынешней войне греков». Перевел с французского О. Сомов. «М. Т.», 1825, ч. 3, № 12, стр. 247–249. Без подписи.

Авторство Н. Полевого обнаружилось в ходе полемических замечаний об О. Сомове, как переводчике, которыми обменялись «Сын Отечества» и «Московский телеграф».

Автор антикритики в «Сыне Отечества», обращаясь к Н. Полевому, писал: «Вы сами сказали в 12 кн. «Телеграфа» на стр. 248: искренне желаем, чтобы все хорошие книги находили на Руси переводчиков, подобных г. Сомову» («С.О.», 1825, ч. 104, стр. 25–26).

Действительно, в рассматриваемой рецензии говорится: «Перевод очень хорош. Г. Сомов соблюл военную краткость, силу и простоту, замечаемые в подлиннике ... Искренне желаем, чтобы все хорошие книги находили на Руси переводчиков, подобных г. Сомову» (Стр. 248).

Приписывание этой рецензии Н. Полевому, проведенное «Сыном отечества», не оспаривалось в особенном прибавлении к «Московскому телеграфу», а, наоборот, было сочтено правильным. «Издатель «Телеграфа», сказано в нем, назвал г. Сомова за перевод «записок» Вутье хорошим переводчиком» (1825, ч. 6, № 23, стр. 25).

3. Рецензия на книгу И. Д. Ертова «Всеобщая история о разрушении Западной и ослаблении Восточной империи, о переселении народов и образовании новых государств в Европе, Азии и Африке, до основания государства Российского. СПб., 1830». «М. Т.», 1830, ч. 31, № 2, стр. 238–241. Без подписи.

Написана от имени издателя «Телеграфа». «По некоторым статьям в переменных изданиях и по отзывам в книгах, г-м Ертовым издаваемых, Издатель «Телеграфа» может заключить, что он не имел удовольствия угодить г-ну Ертову некоторыми своими мнениями. Издателю «Телеграфа» снова достается в Предисловии к новому сочинению г-на Ертова, о коем мы извещаем читателей. Оставим шутки и объяснимся. Я никогда не думал оскорблять г-на Ертова своими замечаниями; говорил ему правду, желая добра» (стр. 239).

4. Рецензия на романы: «Английское посольство в Китае». Повесть из первой половины XVIII столетия. Соч. Фан-дер-Фельде.

«Гусситы». Исторический роман из времен тридцатилетней войны. К. Ф. Фан-дер-Фельде.

«Богемские амазонки». Соч. Фан-дер-Фельде. М. Т., 1830, ч. 32, стр. 86–93. Без подписи.

Эта рецензия принадлежит Н. Полевому, на что указывают следующие обстоятельства.

1) Сноска: «Все это случается и не в одной Германии. Прим. Изд-во Тел.», (стр. 89).

2) Ссылка на эту рецензию, данная в статье Н. Полевого «Обозрение изданных в 1830 году исторических романов и повестей русских и переводных» (1830, ч. 36, стр. 357–368).

Она выглядит так: «Пять чучел Фан-дер-Фельде (иначе нельзя назвать его романов) пугают нас после того своим безобразием, пошлостью и нелепостью. Мы уже говорили о сочинениях сего писателя («Телеграф», 1830, т. 35, стр. 86 и след.)» (стр. 363).

В данном случае Н. Полевой с указанием года, тома и страниц «Телеграфа» дает ссылку на предыдущее суждение о немецком романисте. Правда, он ошибочно указывает номер тома «Телеграфа», в котором была помещена интересующая нас рецензия. Она находится не в 35-ом томе, а в 32-ом. Внимательный просмотр всего 35-го тома показал, что такой рецензии в нем нет вообще. А на его 86-ой странице речь идет не о Фан-дер-Фельде, а об «Истории Малой России» Бантыш-Каменского в статье, принадлежащей тоже Н. Полевому. Поэтому данную им ссылку необходимо уточнить: «Телеграф», 1830 г., т. 32, стр. 86 и след.». Год издания и страница, на которую ссылается критик, полностью совпадают с рецензией на романы Фан-дер-Фельде.

3) В своих основных положениях эта рецензия отвечает той отрицательной оценке творчества Фан-дер-Фельде, которая была характерна для Н. Полевого и высказывалась им неоднократно в статьях о В. Гюго, Пушкине, а также в рецензиях на русские переводы произведений иностранных авторов.

5. Рецензия на переведенное с французского сочинение К. Дюпена «Геометрия и механика искусств, ремесел и изящных художеств. СПб., 1830». «М. Т.», 1830, ч. 33, № 11, стр. 351–357. Подпись А.

Псевдонимом А., как это доказано В. Г. Березиной, в «Московском телеграфе» подписывал свои статьи Н. Полевой.

6. Рецензия на книгу Ф. Улегова «Гостиный двор Российской словесности. М., 1830». «М. Т.», 1830, ч. 35, № 17, стр. 110–111. Без подписи.

В ней, в частности, говорится: «Сочинитель поставил Издателя «Телеграфа» в затруднительное положение... . Во многом, признаемся, мы вовсе не согласны с ним, но многое замечено у него дельно. Как приняться за критику Издателю «Телеграфа», сами посудите! Автор представляет Карамзина и его, беседующих дружески о русской истории, и уверяет, что сам слышал, как Карамзин хвалил «Историю русского народа»! Нельзя не поблагодарить, что хотя во сне слышал это г-н Улегов. Впрочем, несмотря на веру к русским пословицам, Издатель «Телеграфа» не смеет сказать: добрый сон, как в руку. Подобное самолюбие было бы в сем случае вовсе неуместно» (стр. 111). Так мог писать только Н. Полевой в ответ на высокую оценку его «Истории русского народа», содержащуюся в книге Ф. Улегова.

7–8. В «Указателе...», составленном В. Г. Березиной, допущена незначительная, на первый взгляд, ошибка, которая, однако, во-первых, приводит к необходимости атрибутировать одну из статей журнала, включенную без таковой в «Указатель...»; во-вторых, позволяет включить в число написанных Н. Полевым произведений новую рецензию.

Под номером 29 за 1830-ый год в «Указателе...» В. Г. Березиной значится: Рецензия на «Полное собрание законов Российской империи». Подпись Н. П. 1830, ч. 35, стр. 423–437.

В действительности рецензия эта заканчивается на 435-й странице журнала, а не на 437-й; к тому же она не подписана. А на 436–437-й страницах находится другая рецензия на книгу «Краткое извлечение из «Истории государства Российского», для юношества», подписанная Н.П. и пропущенная В.Г. Березиной. Таким образом, две статьи оказались «объединенными» в одну, и подпись ко второй была отнесена к первой.

Исправляя эту ошибку, следует теперь включать в число написанных Н. Полевым произведений и рецензию на «Краткое извлечение из «Истории государства Российского»», для юношества. СПб., 1830 г.» Подпись Н.П.М.Т., 1830, ч. 35, № 19, стр. 436–437.

Что касается первой статьи, то она должна быть «лишена» своей подписи Н. П., следует уточнить ее страницы (423–435) и заново рассмотреть вопрос авторства Н. Полевого.

В рецензии дана ссылка на предшествующую статью Н. Полевого, некоторые существенные положения которой повторены дословно: «Здесь осмелимся мы сказать, что уже четыре года тому, говоря о вышедших тогда юридических книгах, мы утверждали нечто подобное, говорили о плане, который должно нам принять для познания отечественных законов, и доказывали необходимость систематического их познания («Телеграф», 1827, февраль, стр. 310–315). С тем вместе мы опровергали мнение о невозможности сбора законов и о законах противоречащих; говорили, что прежде всего должно собрать законы, все, сколько их есть, и издать; потом уже приводить в систему, и что без первого труда за второй нельзя приниматься. Далее, обозревая деланные до 1827 года покушения к сим трудам, мы находили в сборе законов решительный неуспех; в приведении законов в систему несколько удачных частных опытов и ни одного удачного опыта общего» (стр. 423–424). Эта ссылка относится

к статье Н. Полевого о нескольких книгах по юриспруденции, вышедших в 1826–1827-ом годах (М. Т., 1827, ч. 13, № 4, стр. 309–325).

Следовательно, рассматриваемая рецензия может быть оставлена в указателе произведений Н. Полевого.

9. Статья о романе А. Вельтмана «Странник». М. Т., 1831, ч. 38, № 5, стр. 103–105. Без подписи.

А. Вельтман был одним из тех исторических романистов, произведения которого в «Телеграфе» оценивались всегда положительно. Были дружескими также и отношения между ним и Н. Полевым. Рассматриваемая рецензия написана издателем «Московского телеграфа», о чем говорит следующее место из нее: «В наше не дружное время, когда всякому святому чувству дружбы верят еще менее, нежели векселям мужчин и любовным клятвам женщин, всего невыгоднее хорошему литератору быть приятелем журналиста, а журналиstu другом плохого литератора. Журналисты так изверились, что похвала сочинению друга многими считается не надежнее брани, и журналисты в странном затруднении, чем доказать дружбу недоверчивому читателю и добруму приятелю, о сочинении которого будут судить по статье журнала.

Издатель «Телеграфа», журналист по занятию, хотя и исключает себя из общего упрека, приличного многим журналистам (разумеется, не русским, а парижским), хотя и уверен в этом собственным сознанием и отзывами людей, достойных вероятия, но за всем тем соблюл возможную осторожность перед читателями по поводу «Странника». Читатели «Телеграфа» видели отрывок из сей книги в № 20-м «Телеграфа» на 1830-й год и стихотворение «Эскандер», из него же взятое («Тел. 1831, № 2). Следовательно, они могут судить сами: справедливо ли мнение Издателя «Телеграфа» о сочинении г-на Вельтмана, и точно ли подсказала это мнение истина, а не дружба к любезному сочинителю.

Нам кажется, что «Странник» г-на Вельтмана есть самый свежий и прекрасный цветок на тощей почве русской литературы...» (стр. 103–104).

Далее, рассмотрев положительные стороны романа, рецензент заканчивает свою статью обращением к читателям: «... Вы согласитесь, что «Странник» точно есть явление совсем неожи-

данное и радостное для бледной и бедной русской словесности и что это мнение подсказано нам точно истиною, а не дружбою» (стр. 105).

10. Рецензия на несколько различных (художественных, исторических и географических) книг. «М. Т.», 1831, ч. 38, № 7, стр. 396–400. Без подписи.

Среди рассматриваемых произведений находится и написанная историком Руссовым брошюра «Замечание на бранчивую статью в 17 и 18-й книжках «Московского телеграфа» на 1830-й год, помещенную по случаю издания г-м Балтыш-Каменским Малороссийской истории», направленная против Н. Полевого как автора названной в брошюре статьи.

В рецензии сказано: «Г-н Руссов опять привязывается к Издателю «Телеграф», уверяет, что он «откритиковывается за себя», ибо издатель «Телеграфа» оскорбил его в замечаниях на книжку г-на Остромыслинского. Итак, почтенные читатели,

«Обида личная меж нас раздору,

И вашему она не подлежит разбору!».

И по долгу христианской любви, помня слова: любите враги ваши, я прошу г-на Руссова перестать откритиковываться: его нападки смешны и жалки. До сих пор он не сказал еще ничего дельного в этом уверяю его честным словом; а на брань и придирики я решительно не буду отвечать ни ему, ни другим критикам, в роде г-д Руссова, И. Ф. Калайдовича, М. П. Погодина, Аргуса Галатейного, Молвы Телескоповой и т. п. В истине сих слов пора им убедиться опытом» (стр. 399–400).

Из данной цитаты становится очевидным, что автор статьи издатель «Телеграфа».

11. Статья «Французский театр». («Тереза», романтическая драма в 5 действиях, соч. А. Дюмаса. «Сплетни», водевильная шалость, соч. Кармуша). Бенефис г-на Карона, 7 ноября. «М. Т.», 1832, ч. 46, стр. 588–603. Без подписи.

Нам представляется возможным доказать, что и эта статья принадлежит Н. Полевому.

В пользу его авторства говорят следующие факты.

1) Автор этой статьи дает ссылку на рецензию Н. Полевого.

Эта ссылка выглядит таким образом: «До сих пор издал Дюмас несколько исторических драм («Генрих III и его Двор», «Стокгольм и Фонтенбло», «Карл VII»), сочинил большое пред-

ставление из жизни Наполеона («Наполеон», или тридцать лет из французской истории») и две драмы: «Антоний» и «Тереза».

О первой из сих пьес мы говорили подробно в «Телеграфе» и поместили суждения французских критиков о второй пьесе» (стр. 597).

Действительно, подробный анализ первой пьесы («Генрих III и его Двор») дан в рецензии Н. Полевого (1829, ч. 29, стр. 517–527). О второй пьесе была помещена переводная с французского статья (1830, ч. 35, стр. 465–474). В том, что ссылки даны именно на эти публикации, нет сомнения потому, что тщательный просмотр «Московского телеграфа» показал, что других рецензий на указанные сочинения А. Дюма в нем нет.

Однако интересующая нас ссылка сделана в форме первого лица множественного числа («мы говорили...»). Поэтому она, разумеется, еще не может иметь силу абсолютно бесспорного аргумента, хотя, как отмечает В. Г. Березина, «Н. Полевой ни разу не применил этот оборот при ссылке на чужую статью, ранее напечатанную в «Московском телеграфе»¹. Тем не менее нужны дополнительные факты и доказательства.

Оказывается, было не два, а три специальных выступления «Московского телеграфа» о драматургии А. Дюма. Но об одном из них (рецензии «Наполеон Бонапарте», соч. Александра Дюма. «Московский телеграф», 1832, ч. 46, стр. 407–412) автор статьи «Французский театр» ничего не говорит.

Вполне естественно предположить, что если бы автор, говоря «мы», выступал не только от своего собственного имени, а прежде всего от лица всей редакции журнала, то он обязан был бы (ради полноты и объективности) отметить и эту рецензию. Поскольку она вышла в журнале лишь номером раньше, чем его собственная статья, он вряд ли мог о ней просто забыть (помнит же он хорошо то, что было напечатано в «Телеграфе» за 1829 год).

Это обстоятельство наталкивает на мысль, что авторами двух анонимных рецензий на пьесы А. Дюма «Наполеон» и «Тереза» являются разные лица.

При первом же взгляде на статьи обращает на себя внимание тот факт, что их авторы по-разному переводят названия драм

¹ Березина В.Г. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». С. 91.

А. Дюма и имеют не во всем совпадающее представление об объеме его творчества.

Рецензия

на драму «Наполеон».

«Дюмас написал уже несколько драм в этом роде: «Генрих III и Двор его», «Стокгольм, Фонтенбло и Рим», «Наполеон Бонапарте», «Тереза». (1832, 46, 407).

Статья

«Французский театр».

«До сих пор издал Дюмас несколько исторических драм («Генрих III и его Двор», «Стокгольм и Фонтенбло», «Карл VII»), сочинил большое представление из жизни Наполеона («Наполеон», или тридцать лет из французской истории) и две драмы: «Антоний» и «Тереза» (1832, 46, 597).

Если бы эти рецензии были написаны одним лицом, то почему понадобилось бы автору статьи «Французский театр», посвященной в основном анализу драмы А. Дюма «Тереза», давать одновременно оценку и «Наполеону», хотя ему было бы значительно проще сослаться на специальную статью об этой драме, которая появилась только в предшествующем номере журнала. Ведь о «Генрихе III», например, он ничего не говорит в этой статье, просто отослав читателя к рецензии 1829 года. Наверное, потому, что он имеет свою, иную точку зрения на драму «Наполеон», чем другой ее рецензент.

Рецензия на драму «Наполеон», как нам кажется, не могла быть написана Н. Полевым, потому что ее основные положения противоречат литературно-эстетическим убеждениям критика.

Так, важное место в ней занимает резкое разграничение между историей, как наукой, и поэзией, между реальной действительностью и искусством, истинным и прекрасным, что никак не было свойственно Н. Полевому. В ней нет также попыток представить творчество А. Дюма на фоне общественной и литературной жизни его времени, хотя бы даже намеков на эти обстоятельства. Н. Полевой, как известно, придерживался других принципов анализа творчества того или иного писателя.

Таким образом, анализ имеющейся в статье «Французский театр» ссылки хотя и не позволяет прямо утверждать авторство Н. Полевого, но дает для этого некоторые основания.

2) Существует еще один довод примерно такого же рода. Авторская ссылка на эту статью «Французский театр», сделанная Н. Полевым в его работе «О сочинениях Пушкина».

Она произведена при следующих обстоятельствах. В начале статьи о Пушкине Полевой дает развернутую характеристику тем литературным изменениям, которые произошли, по его мнению, в первую четверть XIX века. При этом он говорит последовательно о своеобразии «литературных переворотов» в Германии, в Англии, опуская, однако, анализ состояния французской литературы, так как читатели могут об этом судить, как полагает критик, по тем статьям, которые были опубликованы в «Московском телеграфе» ранее.

Эта ссылка Н. Полевого такова: «И все это (речь идет о литературном, умственном движении в Европе – Я. С.) поверглось в живую, в обобщительную душу французов. Мы не будем здесь входить в изложение фактов того, что произошло через сие во Франции. Отчасти старались уже мы изъяснить современную историю французской литературы в статьях о романах В. Гюго, о Французском театре, и вообще в статьях об исторической современной словесности, какие помещались в «Телеграфе» разных годов. Укажем еще здесь на статьи критические и теоретические, какие были переводимы и почти беспрерывно помещались в «Телеграфе» в течение нескольких лет. Читатели видели даже мнения самых реформаторов французских Гюго, де Виньи, издателей «Глобус», «Французского обозрения», и проч., и проч.» (1833, ч. 49, стр. 126-127).

Поскольку интересующая нас ссылка опять-таки сделана от первого лица множественного числа («отчасти старались уже мы изъяснить ...»), попробуем выявить значение этого оборота в цитате, определить конкретное содержание слова «мы» в данном случае.

Приведенная из статьи Полевого цитата органически распадается на две части. Первая указывает на оригинальные (отечественные) статьи «Московского телеграфа», по которым можно получить представление о современной французской литературе, вторая на статьи переводные, которые могут служить тем же источником.

Наше внимание привлекает, конечно, первая половина цитаты: «Отчасти старались уже мы изъяснить современную

историю французской литературы в статьях о романах В. Гюго, о французском театре, и вообще в статьях об исторической современной словесности, какие помещались в «Телеграфе» разных годов». И она, в свою очередь, содержит два различных момента: вначале в ней отмечаются две совершенно конкретные статьи, затем лишь в общей форме названы другие статьи журнала.

Первая из приведенных в цитате статей Н. Полевого «О романах В. Гюго и вообще о новейших романах» («Московский телеграф», 1832, ч. 43, стр. 85–104, 211–238, 370–390) хорошо известна. Она является одним из программных сочинений критика.

За ней сразу же следует статья «Французский театр», занимая тем самым очень важное место в ссылке.

Нам кажется, что в подобном контексте и в такой форме Н. Полевой не мог указывать на чужую статью. Важно и то обстоятельство, что ссылка содержитя в серьезном, претендующем на полноту и точность, исследовании творчества Пушкина.

Критик, однако, не называет то место «Московского телеграфа», где находится статья «Французский театр».

Просмотрев журнал, нетрудно установить, что она была напечатана в нем за 1832 год, ч. 46, стр. 588–603. Это единственная в «Московском телеграфе» статья под таким заглавием, в которой достаточно широко рассматривается состояние современной французской драматургии.

3) Основные положения статьи совпадают с суждениями Н. Полевого о французской литературе, содержащимися в его различных выступлениях.

Так, ее автор считает, что современная ему французская драма находится на переломном этапе своего развития и поэтому пока нельзя ожидать от драматургов великих созданий, ибо они больше борются и разрушают, чем творят. Он пишет: «Огромность и сила литературного переворота так были велики и так еще они свежи, что из всего теперь видимого во французской драме, едва ли внесет что-нибудь история в вековые страницы своих летописей... Время борьбы и разрушения не бывает временем создания» (1832, 46, 590).

Подобной точки зрения придерживается и Н. Полевой в своей статье о «Борисе Годунове» Пушкина, где он, в частно-

сти, пишет: «Надобно согласиться, что новая драма еще не произвела ничего векового, великого (исключаем из сего немногие опыты германской драмы века Гётева). Бессспорно, что еще и некогда ей было произвести, ибо она еще слишком нова» (1833, 49, 294).

В статье «Французский театр» дана типичная для Н. Полевого оценка А. де Винни как драматурга, который в своем творчестве следует системе, а не вдохновению. По словом ее автора, «он в своей пьесе («Маршальша д'Анкр» – Я. С.) грешит от излишества системы. Он выдумывает, а не создает свою драму» (1832, 46, 592). Н. Полевой находит основной недостаток драм А. де Винни в том, что их автор стремится «слишком строго отдавать отчет местности и приводить все в философскую перспективу» (1833, 49, 295).

Автор «Французского театра» и Н. Полевой одинаково оценивают творчество К. Делавиня, видя в нем переход от классицизма к романтизму. Так, по словам первого из них, Делавинь «последний классик..., как умный, сметливый человек, отрекся он от классицизма и в «Людовике XI» хотел воспользоваться свободою романтическою...» (1832, 46, 592). Этую же мысль развивает и Н. Полевой в своей статье «О романах В. Гюго...», называя французского драматурга, вовремя покинувшего лагерь классицистов, «... смелый Делавинь» (1832, 43, 217).

4. Ряд словесных конструкций и стилистических приемов, которые используются автором статьи «Французский театр», совпадают с некоторыми особенностями языка и стиля Н. Полевого.

Статья

«Французский театр».

«Не будем упоминать об опытах Диттмера и Каве, Мериме и других...» (1832, 46, 591).

«О романах В. Гюго ...»

Статья Н. Полевого.

«В драме он (романтизм – Я. С.) уже нашел язык истинный, и в опытах Вите, Мериме, Диттмера и Каве, показал свои исполнинские силы...» (1832, 43, 217).

Романтизм, по мнению автора, начался «ознакомлением с творениями Шекспира, Гете, Шиллера...» (Там же).

Автор пишет, что у А. Дюома все дано «без окончательности, очеркнутое карандашом рисовальщика, не кистью живописца».

(Там же, стр. 598).

«Могла ли, например, она, пишет о широкой публике Н. Полевой, не видеть разницы нынешних французских переводов Шекспира, Гете, Шиллера ...» (Там же).

Н. Полевой находит у Вальтера Скотта «искусство рисовальщика, даже если угодно, живописца...» («Обозрение изданных в 1830-м исторических романов и повестей», 1830, 36, 362).

12. Рецензия на роман «Плик и Плоко». Сцены на море. Соч. Евгения Сю. М. Т., 1833, ч. 50, стр. 113–117. Без надписи.

На авторство Н. Полевого указывает ссылка в следующем (6-ом) номере журнала: «В 5-й книжке «Московского телеграфа», говоря о сочинениях Сю, мы назвали рассказы его блестящими и цветистыми. Изд-во» (1833, ч. 50, стр. 173).

Действительно, в 5-ом номере журнала, в рецензии, которая рассматривается нами, о Евгении Сю сказано так: «Передать содержание «Эль-Хитано» и «Кернока» нельзя, ибо в кратких очерках они потеряют даже и ту мишурную красивость, которую придает им рассказ автора, вообще живой, быстрый, цветистый» (1833, ч. 50, стр. 116).

Рецензия начинается с характерного для Н. Полевого установления связи французского романтизма с политическими событиями эпохи: «Новое поколение французских писателей вступило в союз с идеями политической жизни своей и перенесло в умственные труды весь характер ужасного переворота, ознаменовавшего летописи Франции в конце XVIII столетия» (1833, ч. 50, стр. 113). Рецензент продолжает: «как в политической жизни французов, так и в жизни их словесности, почти все остается в бытии приуготовительном» (1833, ч. 50, стр. 113). То же о французской литературе у Н. Полевого в статьях о В. Гюго и о «Борисе Годунове» Пушкина. (См., например, 1832, ч. 43, стр. 214, 370).

13. Рецензия на роман «Монастырка». Соч. Антония Погорельского. М. Т., 1833, ч. 50, стр. 582–584. Без подписи.

Рецензент ссылается на предыдущую свою статью, написанную И. Полевым. (На рецензию «Монастырка» Погорельского и «Федора» П. Сумарокова. «Московский телеграф», 1830, ч. 32, стр. 93–95).

Эта ссылка такова: «Давно издана первая часть «Монастырки». В 1830 году («Телеграф», часть XXXII, стр. 95) извещали мы о появлении в свет этого романа и отчасти сказали о нем свое мнение. Но теперь читатели, вероятно, забыли не только известие наше о ней. Советуем им, для собственного их удовольствия, перечитать «Монастырку» с первой части, а мы скажем здесь мнение о ней вообще, то есть об обеих частях ее» (1833, 50, 582).

Из нее становится ясным, что обе рецензии на «Монастырку» Антония Погорельского написаны одним автором, то есть Н. Полевым.

В данном случае критик, очевидно, выполняет свое обещание читателям, данное им в первой рецензии: «По выходе в свет окончания сего романа, мы надеемся поговорить о нем подробнее» (1830, 32, 95).

В этой рецензии, как и в первой, Н. Полевой, отказывая А. Погорельскому в богатстве поэтического воображения, признает, однако, за ним мастерство занимательного рассказа о простых, обыкновенных событиях жизни. ««Монастырка», пишет критик, создание не высокое, не гениальное, но чрезвычайно приятное, милое. Занимательность ея так естественна, так проста и следственно близка всякому, что искусство автора почти незаметно» (1833, 50, 583).

Следующие рецензии могут быть включены в «Приписываемое Н. Полевому», пока не будут обнаружены новые факты и доказательства, подтверждающие это предположение.

1. Рецензия на переводы И. Мартыновым трагедий Софокла и «Илиады» Гомера. «М. Т.», 1826, ч. 8, № 6, стр. 150–152. Без подписи.

В ней дана ссылка на «Обозрение русской литературы в 1824 году», написанное Н. Полевым: «В обозрении русской литературы 1824 г. мы упоминали уже о полезном и великую благодарность заслуживающем труде И. И. Мартынова. Он печатает

текст греческих классиков с прозаическим русским переводом (le texte en regard) и с примечаниями» (стр. 150).

2. Обозрение альманахов «Северные цветы на 1826 год» и «Урания». «М. Т.», 1826, ч. 8, стр. 357–352. Без подписи.

«О «Невском альманахе» и «Календаре муз», пишет рецензент, мы уже говорили, или, лучше сказать, об них нечего было говорить. «Северные цветы» и «Урания» совсем не то, и потому содержанию сих альманахов мы посвящаем отдельный разбор» (стр. 359).

Рецензия на «Невский альманах» была написана Н. Полевым и опубликована в «Московском телеграфе» за 1826 год, ч. 7, № 1, стр. 104–106.

3. Рецензия на книгу «Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах». Соч. К. Друвиля. Пер. с французского. М., 1826. «М. Т.», 1827, ч. 15, № 10, отд. 1, стр. 135–142. Без подписи.

Дана ссылка на статью Н. Полевого «Иностранный литература в 1825 году»: «Упомянув о новом (без всякой перемены против первого петербургского) парижском издании Друвилева «Путешествия», мы обещали читателям нашим («Тел.», 1825, т. III, 63) поговорить подробнее об этой книге, когда будем иметь русский перевод, напечатанный уже тому года два» (стр. 135–136).

4. Рецензия на два учебника русского языка для иностранцев, изданные Гердом. М. Т., 1827, ч. 18, № 24, стр. 303–304. Без подписи.

«Мы извещали читателей наших о полезной учебной книге русского языка для англичан, изданной г-м Гердом. Ныне он издал те же самые примеры русские, которые находятся в упоминаемой нами книге... почитаем излишним повторять сказанное прежде» (стр. 304).

О русской грамматике, изданной Гердом, до этого говорилось в рецензии Н. Полевого. См. «М. Т.», 1827, ч. 15, № 9, стр. 53–58.

5. Рецензия на «Записки о Монголии» О. Иакинфа и переведенную им же с китайского книгу «Описание Тибета». «М. Т.», 1828, ч. 23, № 19, стр. 329–334. Без подписи.

Рассматривая в дальнейшем другое сочинение того же автора, Н. Полевой пишет: «Говоря о трудах почтенного О. Иакинфа («Тел.», 1828, т. XXII, стр. 329–334), мы упомянули, что, кроме изданных уже им тогда двух важных книг («Описание Тибета» и «Записки о Монголии»), сей знаменитый ориен-

талист наш готовит еще много других сочинений и переводов, не менее важных и любопытных» (1829, ч. 25, № 4, стр. 532). Правда, Н. Полевой ошибочно указывает на 22-ую часть журнала, в действительности же речь идет о 23-ей ее части.

6. Рецензия на две книги по естествознанию М. Максимовича. «М. Т.», 1828, ч. 24, № 22, стр. 200. Без подписи.

«Издатель «Телеграфа», говорится в ней, должен ограничиться здесь только извещением о появлении сих двух книг, сочиненных и изданных другом его и сотрудником по журналу... С удовольствием, однажды, готов он поместить в «Телеграфе» дельный разбор книг г-на Максимовича, дабы показать тем свое совершенное беспристрастие к другу и недругу» (стр. 200).

7. Рецензия на книгу П. Эннекена «Упрощенный синтаксис причастий». «М. Т.», 1829, ч. 25, № 1, стр. 100. Без надписи.

«Когда г-н Эннекен издал «Риторику», пишет автор, мы сказали ему правду, что «Риторика» его плоха; теперь скажем тоже правду: изданный им ныне синтаксис французских причастий очень хорош...» (стр. 100). Сказанная ссылка относится к рецензии, написанной Н. Полевым. («М. Т.», 1828, ч. 21, № 11, стр. 380–386).

8. Рецензия на книги: «Метрология». Соч. Ф. Петрушевского. СПб., 1831, «Геометрия и механика искусств, ремесел и изящных художеств». Соч. К. Дюпена. СПб. 1831, ч. I и II. «М. Т.», 1831, ч. 37, № 3, стр. 391–394. Без подписи.

Дана ссылка на статью Н. Полевого: «Мы уже говорили о начале русского перевода Дюпенова курса механики и геометрии этого драгоценного творения, печатаемого у нас на издании правительства («Тел.», 1830, книжка XI, стр. 351 и след.)» (стр. 393).

9. Рецензия на сборник «Русская библиотека для немцев», изданный К. Кноррингом. «М. Т.», 1831, ч. 38, № 6, стр. 245–246. Без подписи.

В ней, в частности, сказано: «В первую книжку «Русской библиотеки для немцев» переводчик поместил: «Симеона Кирдяну», повесть, напечатанную в «Телеграфе» 1829 года, и «Три пояса», сказку Жуковского. Издатель «Телеграфа» должен благодарить за честь, оказанную отрывку его сочинения, но вместе и жалеть об этом: после сего предприятия г-на Кнорринга не может ожидать благоприятного отзыва от многих русских жур-

налистов. Имя Полевого в глазах почти всей его журнальной собратии все равно, что признак отвержения» (стр. 245–246).

10. Рецензия «Теодор, летний король, или Корсика в 1736-ом году». Роман С. Ф. Ван-дер-Вельде. Перевод с французского, 1832. «М. Т.», 1832, ч. 47, 392–394. Без подписи.

Эта рецензия, возможно, написана Н. Полевым.

Для этого существуют следующие факты.

1) В ней есть ссылка: «Мы имели случай говорить подробно о его даровании...» (1832, ч. 47, стр. 394).

Как показал просмотр «Московского телеграфа», эта ссылка имеет в виду рецензию на романы Фан-дер-Фельде (1830, ч. 32, стр. 86–93), о принадлежности которой Н. Полевому мы говорили выше.

2) Индивидуальные особенности языка автора рецензии. а) Словоупотребление «обверточная бумага» (стр. 394)¹. б) Перевод имени писателя Фан-дер-Фельде, а не Ван-дер-Вельде, как поступил переводчик его романа².

3) Основные положения статьи совпадают с резко отрицательным отношением Н. Полевого к творчеству немецкого романиста. Ср. у Н. Полевого: 1830, ч. 36, стр. 363; 1830, ч. 32, стр. 89; 1832, ч. 43, стр. 231.

11. Рецензия на сборник «Contes bruns, par de Balsac» («Темные сказки». Соч. Бальзака.). Париж, 1832. «М. Т.», 1832, ч. 47, стр. 395–401. Без подписи.

Следует предположить, что эта рецензия могла быть написана Н. Полевым, хотя полностью доказать это авторство пока не представляется возможным.

Для такого предположения существуют следующие основания.

1) Ссылка, сделанная автором рецензии: «Здесь, с первого взгляда, находим мы то же, что в драме, о чем говорили уже мы в «Телеграфе» (№ XVI, стр. 588)». (1832, ч. 47, стр. 396).

В XVI номере «Телеграфа» помещена статья «Французский театр», которая как раз начинается с 588 страницы журнала. Об авторстве Н. Полевого по отношению к ней речь шла выше.

¹ В.Г. Березина считает, что словоупотребление «обвертка» было свойственно Н. Полевому. Его брат К. Полевой употреблял другой вариант «обертка».

² Н. Полевой везде переводит Фан-дер-Фельде, в отличие от принятого в его время Ван-дер-Вельде.

2) Характерное для Н. Полевого противоречивое отношение к французской «неистовой литературе», в частности, к произведениям раннего Гюго и Бальзака. (Ср. 396-ую, 399-ую страницы рецензии со статьей Н. Полевого «б романах В. Гюго...». 1832, ч. 43, стр. 387).

12. Рецензия па «Руководство к познанию истории литературы», составленной Василием Плаксиным. СПб., 1833. «М. Т.», 1834, ч. 55, стр. 319–326. Без подписи.

Возможно, эта рецензия написана Н. Полевым, на что указывает следующее заявление ее автора: «В этом отношении нам приятно указать на прекрасные суждения г-на Плаксина о Ломоносове, Державине и Карамзине. Никто еще не говорил о сем последнем с таким беспристрастием, с такою благородною откровенностью! Издатель «Телеграфа» выдержал много нападений за подобный образ мыслей о Карамзине; желаем, чтобы г-н Плаксин не подвергся подобной участи» (стр. 326).

Далее рецензент пишет: «Издатель «Телеграфа» должен благодарить г-на Плаксина лично за себя, видя самый лестный его отзыв о романе: «Клятва при гробе господнем»». (Там же).

В журнале от имени издателя выступал только сам Н. Полевой, и доказательство подобного рода В. Г. Березина, например, относит к бесспорным аргументам.

К АТРИБУЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.А. ПОЛЕВОГО В «МОСКОВСКОМ ТЕЛЕГРАФЕ»¹

Обращаясь к «Московскому телеграфу» (1825–1834) лучшему русскому журналу своего времени, каждый исследователь неизбежно сталкивается с проблемой авторства текстов, которые по ряду причин публиковались без подписи или под псевдонимами.

Раскрытие авторства этих произведений, выполненное с возможной в таких случаях полнотой, позволит не только уточнить состав сотрудников «Московского телеграфа» и определить меру участия каждого из них в журнале. Оно станет подспорьем и для тех, кто изучает развитие художественной литературы и общественной мысли в десятилетие, последовавшее после восстания декабристов. Как известно, это сложное и противоречивое развитие, еще недостаточно исследованное нашими литературоведами, интересно как само по себе, так и с точки зрения тех условий, в которых формировалось мировоззрение В.Г. Белинского.

В ходе разысканий необходимо учитывать некоторые особенности журнала и ту роль, которая принадлежала в нем Н. Полевому. «Московский телеграф» отличался от современных ему изданий оригинальностью занимаемых им литературно-критических позиций, неизвестной до него энциклопедичностью содержания и четкой организацией редакционной работы. Круг активных сотрудников журнала был сравнительно невелик, и каждый из них (особенно с 1829 года) совершенствовался и предпочитал выступать в излюбленной им области знаний, критики или библиографии. Но положение его издателя Н. Полевого было особым. Он систематически публиковал собственные художественные произведения, писал статьи на эстетические, исторические, экономические, юридические, педагогические темы, рецензировал все, начиная с романов и кончая учебниками по арифметике и грамматике, помещал свои переводы, заполнял разделы «библиография» и «смесь». Н. Полевому по демократизму мировоззрения и критическому таланту был намного выше остальных систематически публиковавшихся в

¹ Романтизм в русской и зарубежной литературе. Казань, 1974. С.163–176.

«Московском телеграфе» сотрудников, что стало особенно очевидным после того, как в 1828 году П. Вяземский покинул журнал. Пожалуй, ни в одном из журналов той эпохи («Московский вестник», «Атеней», «Галатея», «Сын отечества» и др.) не была столь активной и решающей роль одного ведущего критика, являющегося одновременно и издателем.

Поэтому нетрудно понять, почему так часто стремление историков литературы свести всю работу журнала к деятельности очень плодотворного и энергичного его издателя. Так, Н.К. Козмин в составленном им указателе произведений Н.А. Полевого¹ и В. Зелинский² без мотивировок ряд анонимных статей «Московского телеграфа» приписывали Н. Полевому. Хотя дальнейшие исследования и показали, что они в ряде случаев правильно «угадали» авторство Н. Полевого, эти догадки не имели научного обоснования.

Разрешение проблемы авторства анонимных и псевдонимных статей «Московского телеграфа» было начато сравнительно недавно В.Г. Березиной, доказавшей на основе внимательного анализа текстов журнала принадлежность Н.А. Полевому многих его публикаций³. Оно продолжено в исследовании М.И. Гилльельсона, который, изучив материалы журнала и архивные документы, определил авторство П.А. Вяземского по отношению к ряду статей «Московского телеграфа»⁴.

Надо полагать, что и дальнейшие разыскания в этом направлении небесполезны и могут привести к определенным достижениям. Некоторые результаты таких поисков были уже сообщены нами в предшествующей статье⁵. В этой же статье приводятся

¹ Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903.

² Русская критическая литература о произведениях Н.В. Гоголя. Собрал В. Зелинский. М., 1907; Русская критическая литература о произведениях А.С. Пушкина. Собрал В. Зелинский. М., 1913.

³ Березина В.Г. Н.А. Полевой в «Московском телеграфе» // Уч.зап. Ленинградского ун-та. Сер.филол. наук, вып. 20, 1954. С. 86–142.

⁴ Гилльельсон М.И. Указатель статей и других прозаических произведений П.А. Вяземского с 1808 по 1837 год // Уч. зап. Горьковского ун-та. Сер. ист.-филол. 1963. вып. 58. С. 313-322.

⁵ Сафиуллин Я.Г. Об авторстве Н.А. Полевого по отношению к некоторым статьям «Московского телеграфа» //Романтизм в художественной литературе. Казань: Изд-во КГУ, 1972. С. 3–22

новые наблюдения и материалы, которые позволяют судить о Н. Полевом как авторе еще нескольких публикаций «Московского телеграфа», поставить вопрос о возможном его авторстве по отношению к другим, усилить дополнительными фактами убедительность некоторых выводов В.Г. Березиной.

Н. Полевой выступал в журнале не только как критик и автор художественных произведений, но и в качестве переводчика. А переводная часть «Московского телеграфа» не шла в сравнение ни с одним из современных ему журналов. Однако в существующих указателях эта сторона деятельности его издателя не отражена совсем. Поэтому в статье учитываются и те произведения иностранных авторов, опубликованные в «Московском телеграфе», переводчиком которых, очевидно, был Н. Полевой.

Некоторые из немногих сохранившихся архивных материалов, относящихся к журналу, оказывают существенную помощь в определении меры личного участия Н. Полевого как автора в его издании. Это прежде всего «Опыт словаря русских анонимов и псевдонимов в «Московском телеграфе»», составленный С.Д. Полторацким при участии К. Полевого. Оба они, как известно, сотрудничали в «Московском телеграфе». Однако и их свидетельства могут приобрести силу решающих доказательств только в единстве с другими фактами. Поэтому при отсутствии дополнительных доводов те произведения, по отношению к которым С. Полторацкий и К. Полевой утверждают авторство Н. Полевого, отнесены в раздел «приписываемое».

Не все из того нового, что определяется как принадлежащее Н. Полевому, имеет одинаковую ценность. В принципе оно, конечно, не может изменить главного в оценке деятельности этого прогрессивного в период издания им «Московского телеграфа» журналиста. Но при изучении формирования и развития эстетических и литературных взглядов критика оно может иметь определенное значение.

1825 год

1. Перевод с французского отрывка из воспоминаний Флэтчера «Смерть лорда Байрона» (ч. 1, № 1, стр. 40–47).

Об авторстве Н. Полевого свидетельствует следующее вступительное примечание: «Мы не переменили ни одного слова, переводя сие описание из книги «*Essai sur la caractere, les*

moeurs et l' esprit de L. Byron», где заимствовано из «Westmister Rewiew». Изд-во» (стр. 40).

2. Перевод отрывков из книги «Путешествие английского флота капитана Кохрена пешком из Петербурга в Камчатку», а также комментарии к ним (ч. 1, № 1, стр. 53–63; № 2, стр. 119–125).

1) Во вступительной заметке (о Кохрене) говорится: «Он намерен опять отправиться в ... путь, а в ожидании того издал в Лондоне описание совершенного им путешествия, из которого мы заимствуем некоторые отрывки» (стр. 53). Подпись «Изд-во».

2) Все комментарии (стр. 54, 55, 58 и т. д.) подписаны «Изд-во».

3. К читателям (ч. 1, № 2, стр. 1–2, 202–203).

Это обращение написано от имени издателя журнала (Н. Полевым), о чем свидетельствуют следующие места из него:

1) «Издатель Телеграфа обязанностью почитает благодарить публику за лестный прием его журнала». 2) «Сам издатель всячески постарается не заводить литературных битв; принужденный к тому другими будет отвечать коротко и, удаляя пустое многогоречие, говорить только *о сущности дела*» (стр. 2).

4. Перевод отрывка из книги, изданной Клапротом, «Историческое и географическое описание России» (ч. 1, № 3, стр. 218–225; № 4, стр. 311–321).

1) Имеется следующее вступительное примечание: «Переводим сей отрывок из любопытной книги, изд-во г. Клапротом под названием: «*Memoirs relatifs à L'Asie*» (Париж, 1824)». Подпись Изд-во

2) Переводчик допускал сокращения: «Здесь выпускаем нелепое повествование о народах, прежде обитавших в России и Сибири». Подпись «Изд-во».

5. Вступительная заметка к переводу отрывков из «Записок» Гете (ч. 2, № 5, стр. 3–13). Подпись «Изд-во».

6. Перевод с латинского отрывка «Две песни скандинавских витязей», взятого из книги Ф. Бартоллина (ч. 2, № 7, стр. 221–230).

1) Во вступительной заметке говорится: «Переводим сей отрывок из любопытной книги «*Датские древности*» (соч. Ф. Бартоллином и напечатанной в 1689 г.)...» Подпись «Изд-во».

2) Переводчик пишет: «Здесь в подлиннике идет исландский текст с точным латинским переводом. Мы должны были выпустить исландский текст за неимением в типографии букв» (стр. 225). Подпись «Изд-во».

7. Вступительная заметка к переведенной с немецкого рецензии на книгу Ф. Сегюра «История Наполеона и французского войска в 1812 году» (ч. 2, № 7, стр. 230–248). Подпись «Изд-во».

8. Перевод с французского рецензии Шези на «Бхагавад-Гиту», переведенную А. В. Шлегелем (ч. 5, № 17, стр. 64–70).

1) Вступительная заметка: «Ав. Вил. Шлегель, человек необыкновенный по своему необъятному учению и литературным трудам, ныне преимущественно занялся санскритским языком и издал в прошлом году текст «Бхагавад-Гиты» с латинским переводом... Мы переводим рецензию сей книги, сочиненную г-м Шези. Изд-во» (стр. 64).

2) Переводчик, подписавшийся «Изд-во», делает комментарии к рецензии Шези, сообщает, что им в процессе перевода опущены некоторые места из рецензии (см. стр. 69, 70).

1826 год

9. Перевод из «Journal des Savans» статьи о диалоге Платона «Филеб» (ч. 7, № 1, отд. 1, стр. 5–26; № 2, отд. 1, стр. 119–132).

Принадлежность этого перевода Н. Полевому устанавливается:

1) библиографической записью, сделанной К. Полевым в «Опыте словаря русских анонимов и псевдонимов», составленном С. Д. Полторацким (Рукописный отдел ГБЛ, фонд 233, картон 80, ед. хр. 13)¹; 2) примечанием на стр. 5, поданным «Изд».

10. Рецензия на «Драматический альбом для любителей театра и музыки» (ч. 7, № 3, отд. 1, стр. 272–292).

Принадлежность этой рецензии Н. Полевому доказана В.Г. Березиной. Правильность ее выводов подтверждается свидетельством К. Полевого. Однако, по словам К. Полевого, в переводе цитируемых в рецензии стихов В. Альфьери прини-

¹ В дальнейшем, делая ссылку на этот архивный документ, мы будем называть его сокращенно «Опыт словаря...» С.Д. Полторацкого и указывать в тексте статьи лишь изменяющуюся единицу хранения.

мал участие В. Одоевский. На полях «Опыта словаря...» С.Д. Полторацкого он пишет: «Статья Н.А. Полевого. Буквальный перевод из «Ореста» Альфьери принадлежит князю В. Ф. Одоевскому. Н.А. Полевой не знал итальянского языка» (ед. хр. 10).

11. Перевод (из «*Mémoires de Napoléon*») отрывка «Падение Венецианской республики», а также примечания к нему (ч. 8, № 5, отд. 1, стр. 5–28; № 6. отд. 1, стр. 95–106).

Об авторстве Н. Полевого можно судить, во-первых, по библиографической заметке С. Д. Полторацкого (ед. хр. 13); во-вторых, по подписям Изд-во, которыми сопровождаются примечания.

12. Рецензия на роман В. Скотта «Аббат, или некоторые черты жизни Марии Стюарт, королевы шотландской». Подпись Ал. (ч. 8, № 7, отд. 1, стр. 255–256).

1) Библиографическая запись, сделанная К. Полевым в «Опьте словаря...» С. Д. Полторацкого (ед. хр. 10).

2) Написана от имени редакции журнала: «Мы так часто уведомляли наших читателей о чрезвычайных успехах сочинений В. Скотта...» (стр. 255).

3) Типичная для И. Полевого характеристика английского романиста: «В. Скотт великий живописец сердца человеческого и неподражаем в своем роде...» (Ср., напр., 1830, ч. 36, стр. 362).

13. Рецензия на «Избранные сочинения из русского театра» (ч. 9, № 9, отд. 1, стр. 43–57).

Запись К. Полевого в «Опьте словаря...» С. Д. Полторацкого (ед. хр. 13) является дополнительным доказательством в пользу выводов В. Г. Березиной о принадлежности этой рецензии Н. Полевому.

14. Перевод статьи (из датского журнала) «О проекте Мардохея Ноя...» (ч. 9, № 19, отд. 1, стр. 164–172).

На стр. 166 имеется примечание, подписанное «Изд-во», в котором по поводу необоснованных, как считает переводчик, предложений датскою журналиста сказано: «Мечты! Но мы передаем их по причине оригинальности».

Примечания на стр. 165, 167, 171 также подписаны «Изд».

15. Вступительная заметка к переведенной с французского статье С. де Саси «Могаммед Али правитель Египта» (ч. 9, № 12, отд. 1, стр. 260–279). Подпись «Изд-во».

К. Полевой отмечает, что переводчиком этой статьи, вероятно, также был Н. Полевой (ед. хр. 13).

16. Вступительная заметка к переведенной с французского статье Монтжери «Об учреждении обществ для споспешествования всеобщему благосостоянию и успехам промышленности...» (ч. 10, № 13, отд. 1, стр. 5–7). Подпись Изд-во

И эта статья, по мнению А. Полевого, могла быть переведена самим издателем (ед. хр. 12).

17. Участие в переводе статьи Дмоховского «О состоянии, духе и стремлении новейшей польской поэзии» (из журнала «Польская библиотека»), а также вступительная заметка к ней (ч. 10, № 15, отд. 1, стр. 183–196; № 16, отд. 1, стр. 265–279).

1) Во вступительной статье говорится: «Статья о поэзии польской переведена нами из журнала «Польская библиотека»... Изд-во Тел.» (стр. 104).

2) В дальнейшем на эту заметку сослался Н. Полевой в статье о сероском народном творчестве: «Говоря в прошедшем году о польской литературе, мы заметили читателям и литературное богатство новой Польши, и пользу, какую может литература русская получить от ближайших сношений с новейшею польскою» (1827, ч. 13, отд. 1, стр. 137).

3) В «Опыте словаря...» С. Д. Полторацкого об участии Н. Полевого в переводе этой статьи К. Полевой написал следующее: «В 1826 году жил в Москве Мицкевич с друзьями своими Манезским и Ежовским, эллинистом. Еще был младший их поляк Дацкевич... Все они были искренними людьми у Ник. Алекс., и при пособии их перевел он эту статью, зная немного польский язык. Вероятнее, что переводил Дацкевич, а Н. А. только поправил слог. Помню, что он много хлопотал об этой статье. Тут участвовал и кн. Вяземский» (ед. хр. 13).

4) Примечания на стр. 265, 270, 271 и др. имеют подпись Изд-во Тел.

18. Прибавление к переведенной с французского статье Абель Ремюза «Гоа Тзиан. Китайская поэма» (ч. 11, № 18, отд. 1 стр. 128–131). Подпись «Н. П.»

19. Рецензия на «Записки, изданные государственным адмиралтейским департаментом», ч. IX (ч. 11, № 18, отд. 1, стр. 131–132).

В следующей непосредственно за этой рецензии Н. Полевого сказано: «Мы упомянули выше сего, что в IX томе зап. адм. деп. помещено жизнеописание графа Ф. М. Апраксина. Сие самое жизнеописание г. Берх издал отдельно книжкою» (стр. 133).

1828 год

20. Рецензия на книгу Г. Геранова «Путевые записки по многим Российским губерниям в 1820 г.» (ч. 20, № 5, стр. 96–98).

Она написана Н. Полевым, о чём свидетельствуют:

1) Следующие места из текста: «Издатель «Телеграфа» имел честь и удовольствие получить от почтеннейшего автора экземпляр сей книги с собственноручной его высокородия надписью: *«Н. А. П. в знак его особенного прилежания к улучшению словесности русской»*. Развернув книгу, Издатель «Телеграфа» увидел... предисловие; как оно грозно, страшно, разительно! У кого после этого подымутся руки на критику?.. Итак, нам ли, молодым литераторам, молодым критикам, судить о «Путевых записках г-на Геракова»? Положим, что Издатель «Телеграфа» *особенно прилежен к улучшению словесности российской*; но это ученическое достоинство. Издатель «Вестника Европы» учит уже других, как писать прозу, так предоставим же ему судить, ему и книги в руки!»

2) Замечание на стр. 96, подписанное Изд-во «Тел.».

21. Рецензия на романтическую трагедию В. Н. Олина «Корсер». (ч. 20, № 6, стр. 224–233).

Принадлежность этой рецензии Н. Полевому была определена В. Г. Березиной. Приводим документальные факты, которые служат подтверждением правильности ее доказательств.

После выхода в свет трагедия «Корсер» была подвергнута отрицательной оценке «Северной пчелой» (1828 г., №№ 24, 27, 29). Тогда Олин пытается опубликовать в «Московском телеграфе» «Ответ на критику... «Северной пчелы»», написанный в форме письма от 17 марта 1828 года к издателю журнала.

Н. Полевой приготовил это письмо к публикации, снабдив его (поскольку он не был согласен с Олиным) следующим примечанием: «Помещая сей ответ, по желанию г-на Олина, Издатель «Телеграфа» должен прибавить, что он совершенно согласен с мнением издателей «Северной пчелы» и справедливость

своего согласия докажет разбором трагедии г-на Олина в следующем № Телеграфа».

Однако цензор С.Т. Аксаков запретил печатать эти материалы, которые хранятся в ГБЛ (Рукописный отдел, Музейное собрание, фонд 178, картон 8567, ед. хр. 9).

Таким образом, авторство Н. Полевого по отношению к рассматриваемой рецензии подтверждается и его собственным признанием.

В рецензии по поводу обстоятельств, которые способствовали ее появлению, говорится, что Войков «даже поместил ответ г-на Олина на рецензию «Северной пчелы», ответ, который прежде был прислан от г-на Олина к нам и который хотели мы напечатать как образчик *отрицательного умения отвечать и оправдываться*».

22. Вводная заметка к статье «Рассмотрение исторических карт, изданных Христианом Шлецером под названием «Начало Российского государства»» (ч. 20, № 8, стр. 436–469). Подпись «Изд-во Тел.».

23. Статья «Собрание актов публичного заседания Санкт-Петербургской Академии наук» (ч. 22, № 13, стр. 102–107 I статья; № 14, стр. 274–284 II статья; № 16, стр. 432–447 III статья).

1) Имеется ссылка на рецензию Н. Полевого: «Мы означали в известиях о разных книгах, изданных Академией, «Труды почтенных членов ее», как в общем обзоре оных за 100 лет существования Академии, так и при уведомлении о выходе 9 и 10-го томов записок Академии» (стр. 275); 10-му тому записок была посвящена заметка Н. Полевого (1827 год, ч. 17, № 20, отд. 1, стр. 273–277).

2) Автор статей развивает типичную для издателя «Телеграфа» идею о «вещественном» и «невещественном» капиталах.

3) Характерное для Н. Полевого словоупотребление «спопечествовать» (стр. 276).

1829 год

24. Перевод статьи из английского журнала «The Foreign Quarterly Review» «Римской истории» и других сочинениях Нибура, а также вступительная и заключительная заметки к ней (ч. 26, № 8, стр. 438–478; № 9, стр. 82–112).

Во вступлении утверждается, что труды Нибура не переводились еще на русский язык и мало известны в России и что в этом «равнодушие русских литераторов и ученых людей непостижимо». «В сих словах, говорится далее, читатели «Телеграфа» могут видеть причину, побудившую нас перевести большую, важную статью о Нибуровой «Римской истории»». Подпись Изд-во Тел.

Большая заключительная заметка также написана переводчиком (Н. Полевым), который, в частности, отмечает, что в процессе перевода им осуществлены некоторые сокращения: «Здесь исключаем мы три страницы английской рецензии, ибо содержание их не относится собственно к творению Нибура».

25. Сообщение «Новости польской литературы» (ч. 29, № 17, стр. 100–103).

Она написана от имени издателя «Московского телеграфа»: «Желание передавать читателям нашим сведения о новостях современной польской литературы доныне не приведено Издателем «Телеграфа» в надлежащее исполнение... Не говоря о препятствиях, скажем, что *с сего времени Издатель «Телеграфа» надеется иметь более средств* к достижению предположенной им цели и постараётся поддержать известия о новостях польской литературы постоянное».

1830 год

26. Статья «Изъяснение картинки» (ч. 31, № 4, стр. 541–542).

В ней, в частности, говорится: «Вместо других двенадцати Издатель обещал списки иностранных карикатур. Теперь он долгом почтает известить читателей «Телеграфа», что по некоторым обстоятельствам исполнение сего оказалось невозможным».

27. Перевод статьи «Нынешняя Италия» (ч. 35, № 18 стр. 275–305; № 19, стр. 447–464; № 20, стр. 570–575). Подпись с франц. Н. П.

28. Вступительная заметка к статье И. М. Ястребцова «Об умственном воспитании детского возраста» (ч. 36, № 21, стр. 3) Подпись «Изд-во Тел.».

29. Рецензия на книгу П. Кеппена «Об устройстве училищ» (ч. 36, № 24, стр. 511–513).

В ней, в частности, сказано: «В «Телеграфе» поместили мы сочинение г-на Ястребцова «О воспитании» и отчет об учебных заведениях Франции. Надеемся получить окончание начатой статьи о системе Жакото. После сего желательно бы нам было изложить свои мысли о воспитании публичном и частном и предложить читателям нашим краткую историю педагогии в Европе вообще и в России особенно. Предполагая себе сей труд в 1832 году, мы просим читателей обратить внимание на означенную здесь книгу г-на Кеппена как на изложение классической педагогии, с которою мы решительно не можем согласиться почти ни в чем... Подробные объяснения спора предоставим будущему времени» (стр. 513).

1) Как видно из приведенной цитаты, рецензия написана от имени редакции журнала.

2) В 1832 году именно Н. Полевой опубликовал статью «Об умственном воспитании детского возраста», в которой дана ссылка на рассматриваемую рецензию (ч. 47, № 17, стр. 65–90).

3) По вопросам педагогики в «Московском телеграфе» преимущественно выступал Н. Полевой, который систематически критиковал «классическую педагогию» (типичное для него понятие, употребляемое и в данной рецензии).

1831 год

30. Заметка «Отечественные известия» (ч. 38, № 5 стр. 134–141).

Составлена Н. Полевым на основе опубликованных в печати статистических данных. Об этом сказано в 8-ом номере журнала за этот же год: «В № 5-м «Телеграфа» просвещенные читатели, конечно, заметили статью о народонаселении России, извлеченную Издателем из сведений, обнародованных от министерства внутренних дел» (стр. 567).

31. Перевод статьи Клапрота, в которой рассматривается сочинение И. Бичурина по истории монголов (ч. 38, № 7, стр. 361–377; № 8, стр. 513–534). Подпись с франц. «Н.П.»

32. Рецензия на романы и повести (всего восемь произведений) А. Орлова, И. Гурьянова и др. (ч. 39, № 12, стр. 485–490).

1) Ее автор выступает от имени редакции журнала: «В 12-ти книжках «Телеграфа», составляющих ровно полугодовое изда-

ние сего журнала, мы поместили библиографические известия почти о 200-х различных новостях русской литературы...».

2) В пользу авторства Н. Полевого говорит и следующее место из рецензии: «Не помню, когда-то сердились журналисты на Издателя «Телеграфа», что он сказал: *в Англии, во Франции, в Германии в один год выходит хорошего более, нежели у нас в десять лет*. Теперь после издания Телеграфа в течение почти семи лет, можно бы подтвердить сии слова верными вычетами».

3) В рецензии проводится типичная для Н. Полевого мысль о необходимости создавать литературные произведения, доступные для «простолюдинов».

33. Смесь (ч. 42, № 24, стр. 500–503).

Этот раздел журнала заполнен Н. Полевым. Такой вывод можно сделать из следующих цитат:

1) «Благоприятный случай доставил нам много собственноручных писем, заметок и бумаг знаменитого князя Потемкина-Таврического. В свое время Издатель «Телеграфа» не оставит сделать из них надлежащее употребление, то есть довести их до сведения публики» (стр. 500).

2) «Один почтенный негоциант пишет к Издателю «Телеграфа» об ошибке, вкравшейся в замечание об английской торговле, в Смеси № 13 «Телеграфа» сего года (стр. 141). Издатель покорно благодарит за указание грубейшей этой ошибки...» (стр. 501).

1832 год

34. Вступительная заметка к статье В. Гюго «О поэзии древних и новых народов» (ч. 47, № 19, стр. 297–331; № 20, стр. 435–471). Подпись Изд-во Тел.

1833 год

35. Извещение (ч. 50, № 6, стр. 278). Подпись Изд-во Тел.

36. Извещение (ч. 50, № 7, стр. 457). Подпись Изд-во

37. Рецензия на «Сказания князя Курбского». Часть 11 (ч. 51, № 11, стр. 476–477).

Дана следующая ссылка на статью Н. Полевого, в которой наряду с другими историческими исследованиями была рас-

смотрена и первая часть «Сказаний...», изданных Н. Устряловым: «Мы говорили об этом труде г-на Устрялова, уже оцененном теперь знатоками и простыми любителями книг полезных, труде, достойном всякого уважения соотечественников. Прибавим здесь одно: и Второй том «Сказаний Курбского» издан так же хорошо, «тщательно и красиво, как и первый»» (см. 1833, ч. 49, № 3, стр. 429–457).

38. Вступительная заметка к статье О. Бальзака «Нынешнее состояние французской литературы» (ч. 52, № 14, стр. 145–169). Подпись «Изд-во»

39. Вступительная заметка к отрывку из романа О. Бальзака «Деревенский лекарь» (ч. 53, № 18, стр. 187–215; № 19, стр. 343–367). Подпись «Изд-во Тел.».

ПРИПИСЫВАЕМОЕ Н. А. ПОЛЕВОМУ

1826 год

В «Опыте словаря...» С. Д. Полторацкого, на основе заметок К. Полевого, Н. Полевой назван автором следующих публикаций «Московского телеграфа» за 1826 год:

1. Биографические известия о знатнейших вельможах двора императрицы Екатерины I (ч. 7, № 1, отд. 1, стр. 41–52).

2. Рецензия на «Письма морского офицера» В. Броневского. Подпись Θ Θ Θ (ч. 7, № 1, отд. 1, стр. 100).

3. Новый год (ч. 7, № 1, отд. 2, стр. 45–49). Подпись «Θ Θ Θ».

4. Гостиная после бала (ч. 7, № 2, отд. 2, стр. 102–110) Подпись «Θ Θ Θ».

5. Литературные надежды. Подпись С. П. (ч. 7, № 2, отд. 2, стр. 111–116).

6. Перевод романа В. Ирвинга «Вольфер Веббер, или золотые сны» (ч. 7, 2, 3, 4, отд. 2, стр. 62–102; 130–150; 167–196).

7. Рецензия на книгу Г. И. Морина «Друг здоровья» (ч. 8, № 7, отд. 1, стр. 258–261). Подпись Ал.

8. Рецензия на «Письма морского офицера», ч. II (ч. 8, № 8, отд. 1, стр. 347–356).

9. Сообщение о «Записках графа Сегюра» (ч. 8, № 8, отд. 1, стр. 368–371).

10. Статья «Ученый спор о дамских локонах» (ч. 8, № 8, отд. 2, стр. 152–160).

-
11. Стихотворение «Гений» (ч. 9, № 9, отд. 2, стр. 3–4).
 12. Некролог Карамзину (ч. 9, № 9, отд. 2, стр. 80–87).
В. Г. Березина считает автором этой статьи Н. Полевого. Однако К. Полевой, отвечая на вопрос С. Д. Полторацкого («чья некрология?»), пишет на полях «Опыта словаря...»: «Не помню. Или Николая или Ксеноф. Полевого. Кажется, последнего» (ед. хр. 11). Доказательства, которые приводятся В. Г. Березиной в пользу авторства Н. Полевого, не являются настолько исчерпывающими, чтобы не считаться с этим замечанием К. Полевого. Поэтому нам кажется, что эту статью (до привлечения новых доказательств) следует отнести к разделу «приписываемое Н. Полевому».
 13. Библиографическая заметка о «Русской истории» Сергея Глинки (ч. 9, № 10, отд. 1, стр. 155).
Дана ссылка на статью Н. Полевого; «Мы уже сказали мнение наше о сей книге (смотр. «Телеграф», 1825, ч. 1, стр. 79)».
 14. Перевод повести Алибера «Кураме» (ч. 9, № 10, отд. 2, стр. 78–102).
 15. Перевод повести В. Ирвинга «Безголовый мертвец» (ч. 9, № 11, стр. 116–142; № 12, стр. 161–187).
 16. Кто прав? Кто виноват? (ч. 9, № 12, отд. 2, стр. 188–193).
Подпись «***».
 17. Рецензия на роман «Edouard»...» (ч. 10, № 14, отд. 1, стр. 169–171). Подпись «П. Р.».
 18. Перевод стихотворения Шиллера «Закрытый истукан» (из соч. Шиллера) Подпись «П***» (ч. 10, № 15, отд. 2, стр. 102–106).
 19. «Мысли и замечания Наполеона Бонапарта» (ч. 10, № 16, отд. 2, стр. 136–150; ч. 11, № 20, отд. 2, стр. 154–165).
- Н. Полевой предваряет эту публикацию следующей редакционной заметкой: «Полагая, пишет неизвестная особа, доставившая нам сию статью, что мнения такого человека, каков был Наполеон, любопытны во всех отношениях, в бытность мою в Париже, я выбрал из разных книг, изданных сотоварищами Наполеона, бывшими вместе с ним на острове Св. Елены, разные мысли его и замечания. Препровождаю к вам образчик и, если вам годятся мои выписки, охотно сообщу продолжение их». Мы усердно просим об этом. Изд-во Тел.» (стр. 166).
- Отвечая на вопрос С. Д. Полторацкого об авторе этих выписок («неизвестная особа?»), К. Полевой написал на полях «Опыта

словаря...»: «Вранье для цензуры. Выборки из «Memorial...» Н. Полевого» (ед. хр. 12).

20. Стихотворение «Русская песня» (ч. 11, № 17, отд. 2, стр. 7). Подпись «Θ. И.».

21. Стихотворение «Русская песня» (ч. 11, № 18, отд. 2, стр. 51–52). Подпись «Θ. И.».

22. Некролог К. Р. Матюрину (ч. 11, № 19, отд. 1, стр. 241–242).

23. Вольный перевод отрывка (под названием «Рыцарь кровавой звезды») из романа «Альбигойцы» английского писателя К. Р. Матюрина (ч. 11, № 19, отд. 2, стр. 109–138; № 26, стр. 166–196).

24. Недомолвки (ч. 12, № 21, стр. 43–45).

Автором этой статьи мог быть и П. Вяземский; не исключено также, что, будучи написана Н. Полевым, она подверглась правке П. Вяземского. См. об этом: М. И. Гиллельсон, указанная выше работа, стр. 320.

1827 год

Следующие две публикации за 1827 год К. Полевым в «Опыте словаря...» С. Д. Полторацкого отмечены как принадлежащие Н. Полевому.

25. Перевод сочинения Наполеона «Корсика» (ч. 13, № 2, отд. 1, стр. 121–136; № 3, отд. 1, стр. 179–198).

26. Статья «Бентам» (ч. 13, № 2, отд. 1, стр. 172–178).

1828 год

27. Разговор о философии «Атенея». Подпись «Θ Θ Θ». (ч. 20, № 6, стр. 204–215).

28. О физике «Атенея». Подпись М. (ч. 20, № 7, стр. 344–354).

29. Комментарий на возражения «Атенея». Подпись «М. М.» (ч. 21, № 10, стр. 234–245).

Эти статьи, очевидно, принадлежат Н. Полевому, если судить по его собственному признанию, сделанному в ответ на требование председателя московского цензурного комитета С. Т. Аксакова назвать автора второй из них.

В отношении, адресованном издателю «Телеграфа», говорилось: «Московский цензурный комитет требует от вас уведомления, кто сочинитель статьи «О физике «Атенея», в 7-ом

номере «Телеграфа» напечатанной, которую господин попечитель находит неблагонамеренной».

Такой строгий запрос был, по-видимому, вызван тем, что издателем «Атенея» и автором критикуемых в «Московском телеграфе» сочинений, являлся известный физик и философ-шеллингианец М. Г. Павлов, который обвинялся рецензентом в плагиате из трудов Шеллинга и Окена.

Н. Полевой ответил: «Автор может оскорбляться приведением источников, из коих заимствовал он свои мысли, выдавая их за собственные. Если сии мысли опровергаются, то все сие есть законом позволенное право, даже обязанность рецензента, и таковое право употреблено уже было мною в статье «О философии «Атенея» («Телеграф», № 6), где разобрана мною статья, в которой основания философии выведены издателем «Атенея» из Шеллинга, так же, как в статье о физике основания взяты им из Шеллинга и Окена, что доказано мною цитатами, в верности коих убедится каждый, кто примет на себя труд справиться с цитируемыми сочинениями» (Рукописный отдел РГБ, фонд 233, картон 41, ед. хр. 9).

Во-вторых, в пользу авторства Н. Полевого свидетельствует и псевдоним Θ. Θ. Θ., который, по заметкам С. Д. Полторацкого и К. Полевого, использовался им в «Московском телеграфе» 1826–1827 гг. (Рукописный отдел ГБЛ, фонд 233, картон 80, ед. хр. 14).

30. Рецензия на «Собрание российских законов о медицинском управлении», сост. Е. Петровым, ч. II и III (ч. 21, № 10 стр. 315–319).

Имеется ссылка на статью Н. Полевого: «Мы говорили о первом томе сей книги («Тел.», X, стр. 335); вновь изданными двумя томами г-н Петров закончил «Собрание российских законов о медицинском управлении» по 1827 г. Читателям нашим известно уже («Тел., XIII, 322), что труд г-на Петрова принадлежит к «Собранию российских законов, издаваемому П. В. Хавским...».

31. Рецензия на учебную книгу по географии Т. Каменецкого «Краткое всеобщее землеописание». 5-е издание (ч. 21, № 12, стр. 515–516).

В ней, в частности, сказано: «Может быть, читатели припомнят статью, которая лет пять тому назад помещена была

в «Отечественных записках» и содержала в себе подробное рассмотрение четвертого издания географии Каменецкого. Он отвечал на сей разбор в «Сыне Отечества» и не оправдался ни в одной ошибке... Воспользовался ли автор сделанными замечаниями? Изменил ли свою неудобную систему, расположил ли географию по лучшему плану? Нет!».

Действительно, в «Отечественных записках» за 1823 год (ч. 15, № 39, стр. 81–102; № 40, стр. 275–284) была большая статья Н. Полевого, критикующая недостатки сочинения Каменецкого, вышедшего к этому времени четвертым изданием. «... К сожалению, писал тогда Н. Полевой, находим в нем пороки, общие многим географиям русским: сбивчивость, недостатки плана и ошибки» (стр. 83).

На этой основе можно предположить, что и рецензия в «Московском телеграфе» была написана Н. Полевым.

32. Рецензия на «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина». СПб., 1828 г. (ч. 22, № 16, стр. 577–588).

Дается следующая ссылка на статью Н. Полевого: «Что значит: науки *естественные*? Встретив уже один раз это слово (Тел., 1828 г., кн. XV, стр. 463), заметим здесь единожды навсегда... слова *естественные науки* нового никакого слова не представляют, кроме противоположности слова *неестественные науки*» (стр. 581).

В 15-ом номере «Московского телеграфа», подчеркивая неправомерность, с его точки зрения, употребления словосочетания *естественные науки*, Н. Полевой писал: «Издатель обещает статьи о науках военных, политических, словесных, естественных и проч... . Не почтает ли он бессловесными и неестественными науками грамматику и логику...» (стр. 463).

33. Рецензия на «Путешествие от Триеста до С. Петербурга г. 1810 году» В. Б. Броневского (ч. 24, № 22, стр. 207–223).

С.Д. Полторацкий считает ее автором Н. Полевого (ед. хр. 13).

34. Статья «Дополнения и поправки к истории русских газет и журналов (Письма к Издателю «Телеграфа»)». Подпись «С.П.-ий» (ч. 24, № 22, стр. 225–235).

На принадлежность ее Н. Полевому указывает С. Д. Полторацкий в «Библиографических заметках о статье Н. А. Полевого «Обозрение русских газет и журналов с самого начала их

до 1828 года»: «Будто бы «Письмо к Издателю «Телеграфа» от С.П.-го». Но это не от меня письмо, и моим псевдонимом вздумалось подписаться самому Полевому». (Рукописный отдел ГБЛ, фонд 233, картон 5, ед. хр. 6).

35. Вступительная заметка к статье Бальби «Систематическое обозрение всех языков земного шара» (ч. 36. № 22, стр. 272–273).

Дана ссылка на статью Н. Полевого: «Читателям «Телеграфа» известно уже сочинение А. Бальби, изданное в 1826 году под названием «Этнографический атлас земного Шара, или распределение древних и новых народов по языкам их»... Уведомляя читателей «Телеграфа» о книге г-на Бальби, Мы обратили внимание их особенно на *Введение* и на плохую статью о *Русской литературе...*» (см. 1827, ч. 15, № II, отд. 2, стр. 122–124).

36. Смесь (ч. 38, № 6, стр. 288–293).

«Издатель «Телеграф», сказано в ней, имел честь получить из Тобольска письмо, в котором находится любопытное замечание касательно одного непонятного места в “Русской правде...”» (стр. 292).

37. Вступительная заметка к статье В. Гюго. «Зодчество и книгопечатание» (ч. 52, № 13, стр. 3–34).

В ней говорится: «Превосходное творение Виктора Гюго «Notre Dame de Paris» оправдало последствиями то, что мы предрекали в «Телеграфе», едва узнав это неподражаемое сочинение». Как известно, статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» (1832, ч. 43), которая упомянута в этой заметке, принадлежала Н. Полевому.

1831 год

38. Рецензия на вторую часть романа А. Вельгмана «Странник» (ч. 41, № 18, стр. 211–215).

Оригинальный роман-путешествие А. Вельтмана получил в «Московском телеграфе» высокую оценку. В журнале было опубликовано три анонимных рецензии, появлявшиеся вслед за выходящими частями романа. О том, что первая из них (1831, ч. 38, № 5, стр. 103–105) принадлежала Н. Полевому, было доказано в предыдущей нашей статье. Следует предположить, что и две остальные написаны также издателем «Московского телеграфа».

В рецензии на вторую часть романа А. Вельтмана говорится: «Мы радостно приветствовали «Странника», извещая о первой части его, преданной благосклонным и неблагосклонным читателям несколько месяцев назад. Кажется, публика подтвердила наше мнение. Даже ненавистники всего хорошего отзовались милостиво о путешественнике нового рода. Вот и вторая часть «Странника» перед нами! Не удивляться ли читатели наши, не удивится ли сам милый автор, если мы пожелаем, чтобы эта вторая часть была и последнею? *Non plus ultra, г. Странник!*». О первой части романа писал в «Московском телеграфе» Н. Полевой, и именно на эту его рецензию ссылается автор приведенной цитаты.

1832 год

39. Рецензия на третью часть романа А. Вельтмана «Странник», (ч. 48, № 21, стр. 89–98).

Эта третья в «Московском телеграфе» рецензия на произведение А. Вельтмана принадлежит автору (возможно, Н. Полевому), написавшему вторую, о которой говорилось выше. «Рассматривая вторую часть «Странника», мы предвещали г-ну Вельтману зло: мы не думали, чтобы он мог быть так же весел, остроумен, мил в третьей части, как был в двух первых... Теперь мы прочли третью часть «Странника» и обрадованы, изумлены, оспорены этим неутомимым путешественником! Он не только не устал от первых двух переходов, но, право, кажется, стал еще бодрее, мужественнее, милее» (стр. 89).

1834 год

40. Рецензия на роман М. Загоскина «Аскольдова могила» (ч. 55, № 1, стр. 166–176).

На возможное авторство Н. Полевого указывают следующие места из рецензии: «С нами, конечно, согласятся, что основная идея романа г-на Загоскина уже не новая на русском языке: она послужила основою «Клятвы при гробе господнем». Не смеем решать: удачно ли была изложена сия мысль в «Клятве»... Успел или не успел в том Полевой не наше дело судить: посмотрим, как является сия идея у г-на Загоскина» (стр. 170–171).

В рецензии также проводится типичная для Н. Полевого идея о том, что и русская история предоставляет романистам

достаточно богатый материал для художественного творчества: «Обращаясь к роману, спрашиваем: может ли быть создано романическое творение из древней русской истории? По нашему мнению, очень может. Жили тогда люди; следовательно, были у них и страсти». (Ср., напр., 1833, ч. 49, стр. 444–447; 1833, ч. 51, стр. 325; 1833, ч. 49, стр. 298).

20–30-ЫЕ ГОДЫ

(Из монографии «Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX в.»)¹

Первая треть XIX в. занимает особое место в русской критике. Это было время перелома в ее развитии и начала нового этапа.

XVIII век в критике это эпизодические выступления отдельных писателей и журналистов (М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин и др.). Выступления талантливые, положившие начало ряду замечательных, особенно гражданственных и гуманистических, традиций, но слабо связанные единство в понимании природы и задач самой критики, в принципах анализа и оценки художественных произведений. В XVIII веке критика еще не оформилась в постоянно функционирующее течение литературно-эстетической мысли.

Начиная с первых десятилетий XIX в. русская критика вступает в период интенсивного своего становления как специфической формы литературной и общественной деятельности. Она становится обязательной частью большинства журналов и альманахов («Полярная звезда», «Мнемозина», «Московский телеграф», «Телескоп» и др.), начинает целенаправленно и активно воздействовать на эстетические вкусы читателей, на художественное творчество. В ходе теоретических споров о сущности и призвании критики, острой, нередко ожесточенной полемики по оценке современной литературырабатываются принципы передовой критики, прокладываются пути ее развития. Систематические занятия литературной критикой не только журналистов, но и ведущих писателей времени становятся правилом.

Происходящие в критике первой трети XIX в. поистине революционные изменения были в конечном счете продуктом того духовного подъема в русском обществе, который возник под влиянием общественно-политических событий национального масштаба, в фокусе которых находились Отечественная война 1812 года и движение декабристов. Но ближайшие причины этих изменений были связаны с состоянием художественной литературы, являющейся предметом критики.

¹ Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX в. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. С. 14–29.

По динамизму и насыщенности различными, часто противоположными тенденциями русская литература первой трети XIX в. была исключительно интересной и богатой. В пределах сравнительно короткого отрезка времени в ней произошли события исключительного значения. Романтизм в схватке с классицизмом одержал уверенную победу, став ведущим художественным методом. В свою очередь развитие романтизма шло очень быстро (В.А. Жуковский, декабристы, Д.В. Веневитинов, А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин...), оно сопровождалось выявлением внутренних противоречий нового метода, его постепенно нарастающим отставанием от потребностей времени. Уже к концу периода становится ясным, что главные художественные открытия будут за реализмом.

Конкретная литературная практика отличалась большей сложностью и пестротой, чем приведенная схема. Художественные методы не были четко разграничены, они нередко сосуществовали, частично вызревали один в другом. Например, творчество последовательного романтика Бестужева-Марлинского и Пушкина, ставшего на реалистические позиции, хронологически совпадают и в целом относятся к рассматриваемому времени.

То, что происходило в самой литературе, сопровождалось резким возрастанием ее воздействия на то, что формально находится за ее пределами, на общественную жизнь. Литература становится основной сферой духа, в которую устремилось свободомыслие времени и преимущественно в которой было возможным выражение передовых общественных идеалов.

Повышается роль общественного сознания, более сложными и разносторонними становятся ее взаимоотношения с читателями, число которых быстро растет. Наблюдается большое разнообразие художественных вкусов, расширяется круг эстетически осваиваемых читателем проблем и прежде всего за счет национальной исторической и современной тематики. В то же время восприятие литературы, ее оценка читателями характеризовались противоречивыми тенденциями. Мысли о высоком призвании литературы и взыскательный вкус нередко соседствовали с безвкусицей и потребительским отношением к искусству. На последнее опиралась так называемая «торговая» литература, рассчитанная на дешевый успех и довольно широким потоком устремившаяся к читателям (переводная и отечественная).

Особенности развития русской литературы первой трети XIX в., расширение и углубление ее общественных функций, рост и демократизация читательской массы, изменения в ее эстетическом сознании все это нуждалось в осмыслиении. Критика как самопознание литературы, как сознательная рефлексия по поводу творчества (совместная писателя, читателя и критика) должна была взяться за решение столь важной задачи.

И наибольший вклад в дело развития критики был внесен писателями. Декабристы, писатели романтической направленности, А. С. Пушкин систематически выступают и в роли критиков. Критика оказывается в основном писательской. (Правда, в области эстетики наблюдается определенный профессионализм (А.Ф. Мерзляков, А.И. Галич, Н.И. Надеждин и др.)). Творчество и размыщение о нем, его сущности и призвании концентрируется в одной и той же личности. Критика проявляет себя прежде всего как самопознание художника и искусства.

Тяготение писателей первой трети XIX в. к занятиям критикой это не только дань традиции, достаточно широко распространенной в русской литературе, и не просто результат еще слабой дифференциации художественного творчества и рационального размыщения о нем. В полной мере оно станет понятным, если иметь в виду, что речь идет о писателях-романтиках. Романтизм по сути своей рефлексивен. В нем слиты и изображение, и оценка жизни. Романтик не только создает произведение, но и постоянно размышляет и о себе, и о своих созданиях. Критика органически включается в его творческую деятельность. П.Б. Шелли, В. Гюго, Дж. Леопарди, А. Мицкевич... немецкие, русские романтики выступают с рядом ярких критических статей, манифестов, трактатов нередко эпохального значения.

Литературная критика первой трети XIX в. в отдельных своих представителях достаточно хорошо изучена советским литературоведением. Существуют монографии, учебники и пособия¹. Особую ценность представляют издающиеся с начала 80-х годов в серии «История эстетики в памятниках и документах» сборники критических и эстетических работ известных

¹ Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX в. М.-Л., 1959; Кулешов В.И. История русской критики XVIII–XIX вв. М., 1978.

русских писателей и критиков того времени¹. Предисловия в этих сборниках написаны видными советскими исследователями. Подобные сборники выходят также в сериях «Библиотека русской критики», и «Любителям российской словесности»².

В данном разделе пособия ставится задача обозначить наиболее общие, методологические особенности и принципы, характерные для критики первой трети XIX в.

В первую треть XIX в. происходило изменение сущности критики и ее места в литературном процессе и общественной жизни. Критика XVIII в. была в целом умозрительной, оказывалась приложением к эстетике. Критик в своих суждениях опирался на правила (жанровые, идеинные, языковые и т. д.), на основе которых и подвергал оценке художественное произведение. Накладывая на произведение формальную схему, критика обнаруживала только соответствие или несоответствие его содержания и формы эстетическим нормам. Выходящее за пределы схемы, оригинальное в нем или отрицалось, или оставалось вообще незамеченным.

Чтобы сделать столь необходимый критике новый шаг, следовало осознать ее специфику, которая заключается в том, что критика, в отличие от эстетики, имеет своим предметом живую литературу, дает объяснение прежде всего оригинальным в ней явлениям.

Новый шаг был совершен романтиками и среди них и основном писателями. В этом есть закономерность. Романтизм и самопознание, рефлексия по поводу собственного творчества совпадают по своей природе. В писателе, принадлежащем романтическому методу, органически заложена тяга к критической деятельности.

Движение критики к своей специфике могло идти только через сближение с самим художественным творчеством, потому что старой критике недоставало непосредственного чувства,

¹ Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. В 2 т. М., 1974; Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1989; Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984; Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985.

² Литературно-критические работы декабристов. М., 1978; Литературная критика 1800–1820-х гг. М., 1980; Одоевский В.Ф. О литературе и искусстве. М., 1982; Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985.

фантазии и образного мышления, которые составляют творческую сторону критики, позволив донести до читателя содержание произведения и красоты его формы. Как отмечается в статье Ю. Прозорова: Нараставшее соответствие теоретико-литературного, сознанию опыта литературы в большой мере помогло русской критике выйти из полемик о самой ее целесообразности на пути, ведущие к ее руководству литературным процессом¹.

В чем это сближение выразилось? Прежде всего в отказе от догматической системы анализа, широком использовании живых впечатлений как особой формы доказательств, стремлении открыть внутренний смысл произведений, следовать при анализе за автором, воспроизводя его творческий процесс.

Романтическая критика, даже философской направленности (Д. Веневитинов, И. Киреевский, Н. Надеждин), не оформилась в виде строгой и четкой системы взглядов. В каком бы жанре она ни проявлялась, критика судила об искусстве, широко используя ее же выразительные средства. Это не значит, что романтическая критика была неконцептуальной; но ее система опиралась во многом на образность. Последняя использовалась романтической критикой не в целях оживления или украшения логических рассуждений, а как форма наиболее соответствующая содержанию, которое в принципе не может оформиться в силлогизмы. Ведь литература, с точки зрения романтиков, своего рода откровение, которое не всегда доступно и понятно во всей своей глубине и находит соответствующую логическую форму. На это содержание можно намекнуть, но отнюдь не представить его во всей полноте и точности. Творческие идеи в полной мере никогда не могут быть переданы словами². Поэтому образность в романтической критике играет важную функциональную роль. Она выступает как передаточное звено между

¹ В. А. Жуковский – критик. М., 1985. С. 11.

² Так, И. Киреевский защищает права гиперлогического знания, невыразимого. По его мнению, слово только не в силах охватить содержание идеи, но оно в сущности убивает жизненную силу идеи. Мысль и чувство тогда только могущественны, пока они не вполне высказаны. Раз они совершенно уяснились для разума и нашли выражение в слове – они превратились в цветок, изображенный на бумаге, он не растет и не пахнет. Так и совершенно изъяненная мысль утрачивает свою власть над душой человека: «Она рождается втайне и воспитывается молчанием». Цит. по кн.: Иванов Ив. История русской критики. СПб., 1898. С. 293.

художественным текстом и понятийным мышлением. Образность в критике позволяет установить непосредственную, бессознательную связь между художником и читателем. Это один из самых целесообразных способов передачи идей в искусстве.

Критика находилась в тесном духовном родстве с творчеством. Вдохновение столь же здесь привычно, как и анализ. В лице почти каждого критика мы встречаем и поэта¹. Таковы, например, В. Кюхельбекер, В. Жуковский, К. Рылеев, Д. Веневитинов и др. Полны лиризма рассуждения Кюхельбекера о русской национальной поэзии; в них мало спокойных логических доказательств, но сколько метких замечаний, аналогий и сопоставлений. Рылеев в своих немногочисленных критических заметках скорее вдохновляющий, а не анализирующий критик. В статье «Несколько мыслей о поэзии» он отказывается дать теоретическое определение поэзии. «Идеал поэзии, как идеал всех других предметов, которые дух человеческий стремится обнять, бесконечен и недостижим, а потому и определение поэзии невозможно, да мне кажется и бесполезно»².

В связи со сказанным выше в романтической критике возникает проблема сотворчества писателя, критика и читателя. Это общение на уровне других, чем логические, категорий, эстетических, эмоционально-интуитивных. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина выходит, как известно, с предисловием, написанным Вяземским в виде диалога классика и издателя. Статья критика таким образом близка по форме к художественному произведению. В ней возникает и образ читателя, к представлениям которого обращаются спорящие стороны. Способность поэта развить воображение читателя и способность последнего дорисовать в своем сознании эпизоды и чувства оцениваются критиком как единый творческий процесс. «В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца, пишет Вяземский, до этой тайны иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога... Читатель в подобных случаях должен быть подмастерьем автора и за него доказывать»³.

¹ В. Жуковском «...теоретик все-таки не существовал отдельно от художника и в конечном счете только в творчестве художника мог находить источники своего содержания». // В. А. Жуковский – критик. С. 11.

² Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 222.

³ Вяземский П. Эстетика и литературная критика. С. 52.

Стремление к сотворчеству внесло много нового в понимание как специфики и задач критики, так и ее форм и приемов. Критик стремился быть прежде всего современным, жить в сфере вопросов, которые могут быть поставлены и решены в современности. Он активный участник диалога.

Начатое в русской литературе первой трети XIX в. творческое взаимодействие писателя и критика оказалось исключительно плодотворным. Это было не что иное, как общий анализ закономерностей и тенденций общественной жизни. Критика, разбирая литературное произведение, разбирала и нарождающееся явление жизни. Фактически предмет русской критики не ограничивался только литературой. Критика, имея и собственно творческие устремления, обращалась непосредственно и к самой жизни, становясь и союзником, и соперником литературы. Именно в эти годы начинается то, что значительно позднее увидит в ней Достоевский: «Но критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство... Она сознательно разбирает то, что искусство представляет нам только в образах»¹.

Образность вела к новым взаимоотношениям между критикой и читателями. Отказавшись от рациональных доводов как единственного средства доведения содержания художественного произведения до сознания читателя, критика стала апеллировать к его чувствам и переживаниям. Она заводит речь о новых критериях истинности в искусстве. В. Одоевский пишет: «Есть люди, которые любят разбирать по частям жизнь художника, отгадывать, зачем он избрал тот или другой предмет, зачем он не избрал такой именно, но большее число мало обращают внимания на эти обстоятельства, сводящие поэта на степень обыкновенного человека, они безотчетно любуются великим художником, ибо он говорит им тем языком, которого нельзя передать словами, он беседует с теми силами, которые углублены в безднах души, которые человек иногда сам в себе не ощущает, но которые поэт ему должен высказать, чтобы он их понял»².

¹ Достоевский Ф. Об искусстве. М., 1973. С. 149.

² Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1982. С. 58.

Романтическая критика проявляла устойчивый интерес к читателю, к изучению его психологии, художественных вкусов, к способам и формам воздействия на него. Подобно тому, как в искусстве и критике возникает образ писателя, в критических статьях и литературе много говорится о читателе. С общественной точки зрения, в условиях роста значения литературы и критики, развитие внимания к читателю вполне объяснимо.

Многочисленны обращения к читателю в стихах того времени. Читатель становится нередко одним из участников критических диалогов как жанра; письма на литературные и художественные темы, публикуемые в журналах, воспринимаются читателем как обращенные к нему.

Романтики стремились поднять читателя до уровня высоких своих идеалов, окрыляя мечтой, увлекая горячей фантазией. «Способность представлять живо отсутственные предметы, давать им посредством воображения бытие, пишет Жуковский об обязательных с его точки зрения достоинствах поэта, которые своеобразно должны переходить и в читателя, ... сильнее других трогаться всем тем, что может быть согласовано с естественными склонностями человеческого сердца, словом, мечтательность, дар воображать, остроумие, тонкая чувствительность вот истинные качества стихотворца! Красоты, которые производит гений, одаренный сими необыкновенными силами, не могут иметь влияния на читателя, если в душе его не будут пробуждены ими те же самые силы»¹.

Пробуждая и культивируя интерес к литературе, рассматривая ответную эстетическую реакцию читателя как необходимое условие художественного творчества, романтическая критика решительно способствовала резкому подъему популярности литературы в первую треть XIX в. Быстро растут тиражи издаваемой литературы, возникают новые журналы, выходят из печати многочисленные альманахи и т. д. Правда, далеко не всегда качество художественной и критической литературы, следовательно, и уровень культуры читателя отвечают тем представлениям и оценкам, о которых вели речь лучшие писатели и критики.

Русская критика первой трети XIX в. пришла к глубокому осознанию своего общественного предназначения. Она не была

¹ В. А. Жуковский – критик. С. 47.

чисто академической или отвлеченно философской. Она внесла большой вклад в формирование передового общественного мнения, в котором столь нуждалась литература, ибо только в условиях общественной оценки ее положительных устремлений она получала дополнительные стимулы своего совершенствования. Характеризуя то, как необходимо развитое общественное мнение и сколь тягостным может быть его отсутствие, Пушкин писал Чаадаеву: «Наша общественная жизнь письма печальна. Это отсутствие общественного мнения, но равнодущие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циническое презрение к мысли и человеческому достоинству действительно приводят в отчаяние»¹.

Декабристы и романтики в целом сделали многое, чтобы создавать у публики общественные идеалы, которые противостояли официальным. В этом они оказались предшественниками Белинского и революционных демократов Журналы претендуют быть в роли руководящих общественных органов, они стремятся открыть самостоятельные идеинные течения. По мысли Н. Полевого, журналист является «колонновожатым». В целом прогрессивность журналов, стоящих на романтических позициях, известна. Не случайно Уваров назвал «Московский телеграф» «органом декабристов». Журнал этот, как позже «Телескоп» в «Европеец», был закрыт правительством.

Романтическая критика давала теоретическое объяснение своему вниманию к общественной жизни. В виде одною из центральных своих принципов она выдвинула и по своему обосновала связь между общественным движением, с одной стороны, и научным и художественным с другой. И. Киреевский, Н. Полевой, Н. Надеждин, А. Бестужев-Марлинский в своих статьях устанавливают связь между художественным творчеством и общественной жизнью. Рассматривая творчество тех или других писателей, они рисуют картины эпохи, в которую они жили, и общественной жизни, участниками которой они были. Так, Полевой, приступая к анализу творчества Державина «набрасывает имена екатерининских фаворитов, напоминает о многочисленных просветительских учреждениях, открытых ею, и таким образом подготовляет фон, на котором выросли державинские оды»².

¹ А. С. Пушкин – критик. М. 1978. С. 488.

² Очерки по истории русской критики. М.-Л., 1929. С. 169.

В этом включении писателя в общественную жизнь были и характерные для романтизма особенности. Романтическая критика не достигла понимания того, что писатель и действительность находятся вialectическом взаимодействии. Однако начало историзму было положено. Развивалась идея изменчивости художественного творчества, следовательно, и вкусов, оценок. Д. Веневитинов в «Разборе рассуждения г. Мерзлякова о начале и духе древней трагедии...» писал: «Всякий век имеет свой отличительный характер, выражющийся во всех умственных произведениях». По его мнению, каждый век, создавая свои творческие ценности, создает и систему их оценок. Он создает правила, но не вечные, а исторически изменчивые, и по правилам одной эпохи нельзя судить творения других.

Интерес к общественной обусловленности творчества и к истории, следовательно, выступает противовесом индивидуализму, возникновению и развитию которого в романтизме имелись предпосылки. Личность включалась в систему времени, в историю и судьбу своего народа. В романтической критике велись поиски твердой опоры за пределами субъективного сознания и «низкого эгоизма». Писатели входили в историю, обычаи, поверья и привычки своего народа, чтобы отразить его «особенную физиономию» в зеркале искусства. Именно такие идеи будет проводить, например, и Пушкин в записке «О народном образовании».

Литературная критика рассматриваемого времени отличалась разнообразием жанров. Спектр форм критической деятельности простирается от критических мыслей и афоризмов до статей монографического характера и больших исследований. Такая свобода форм была обусловлена типологией романтического мировоззрения, ориентированного на эмоционально-чувственную оценку воспринимаемых явлений. Кроме литературных форм оценки, закрепленных в виде журнальных публикаций, в эпоху романтизма значительную роль в создании общественного мнения вокруг художественного произведения играли устные дискуссии и обсуждения. Если к этому прибавить то, что в самих художественных текстах значительно чаще и основательнее, чем в XVIII в., существовало содержание литературно-критического характера, станет понятным, как разносторонне было представлено в это время познание и само-

познание искусства, стремление воспитать и совершенствовать вкусы и идеалы.

Претерпевали глубокое изменение традиционные жанры литературной критики, например, письма (предназначенные для печати) и диалоги.

Жанр письма был характерным для сентиментализма, особенно для его художественной критики. Романтики очень широко используют его в своей критической деятельности. При этом они интенсивно развиваются ту свободу повествования, которая свойственна письму, свободу размышления и общения, высказывания индивидуальной гипотезы зрения. Происходит постепенное стирание границ между «дружеским письмом» (не предназначенный для печати) и письмом как определенным жанром.

Не случайно многие «дружеские письма» становятся широко известными, они читаются многими, обретают фактически функции печатного произведения. Причина заключается в том, что романтизм придает субстанциальную значимость субъективным переживаниям и рассматривает сам факт обмена искренними чувствами и идеалами как момент познания мира, достижения в нем гармонии. Письма служат переходом из мира личности в мир общественный, которые находятся, как полагают романтики, в органическом единстве. Нередко письма содержат идеи, которые потом разрабатываются в отдельных статьях. Таково, например, происхождение «Двух заметок о Гоголе» В. Одоевского, который одним из первых оценил талант Гоголя в самом начале его литературной деятельности.

Романтической критике было свойственно широкое использование диалога как одного из основных средств выражения литературно-критического и эстетического содержания (П. Вяземский, Д. Веневитинов, В. Одоевский, Н. Надеждин и др.).

Романтизм и диалог имеют типологическую общность: культ чувства, интуиции, целостности человеческой личности, характерный для романтизма, соглашается с «естественнотью диалога», с фрагментарностью и прерывностью диалога.

Романтическая установка на слияние мышления, искусства с жизнью нашла в диалоге как форме непосредственных речевых взаимодействий один из путей своей реализации.

Диалог был противопоставлен традиционным монологиче-

ским жанрам журналльных статей. Как форма непосредственного, живого общения, столкновения различных точек зрения диалог был призван оградить критическую мысль от спекулятивного теоретизирования и монополии авторитетов. Диалог, беседа, письмо рассматривались русскими романтиками как мир свободы (Н. Тургенев).

Критический диалог как оригинальный жанр выражения эстетического содержания, возможности которого были существенно расширены романтиками, привлекал внимание А.С. Пушкина, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского и других писателей и критиков.

Именно романтическая критика начинает вводить в практику статьи критико-биографического характера, которые претендуют на анализ художественного произведения в единстве с жизнью писателя, историей и обществом, что давало возможность создавать целостные историко-литературные концепции. Эти статьи также соответствовали принципу историзма, единственному романтической критике. Здесь следует отметить Н. Полевого, А. Бестужева-Марлинского, П. Вяземского.

Широкое распространение в первой трети XIX в. получили так называемые «литературные обозрения». Они обычно связывались с итогами литературного года. Жанр этот сочетал в себе многие достоинства романтической критики. Литературные обозрения претендуют на рассмотрение художественных произведений с точки зрения современных литературных и общественных интересов, публицистичны, выражают позицию автора обозрения и журнала, в котором они публикуются. Именно в обозрениях осуществлялась попытка теснее связать литературу с жизнью. Не случайно то, что в практику литературной критики обозрение было введено декабристами в журнале «Полярная звезда», А. Бестужевым и В. Кюхельбекером. В дальнейшем с большим успехом развивают этот жанр И. Киреевский и П. Вяземский.

Романтическая критика оказывала все возрастающее внимание к писателю как субъекту художественного творчества, к его индивидуальности. Это ее типологическая особенность, отличающая от классицизма.

В критике классицизма писатель не ставился на первый план. Его произведения брались как готовый продукт, отдель-

ный от автора, и сопоставлялись с общепринятыми канонами и принципами. По мере выявления общего индивидуальное, неповторимое отсекалось как несущественное.

Романтизм не только противостоит такому обезличиванию художественного творчества, он рассматривает личностные, субъективные истоки последнего в качестве основных.

Исследование, оценка писателя как субъекта творчества нашли в критике первой трети XIX в. разнообразные, практически все возможные формы своей реализации. В журналах того времени достаточно широко представлены биографические материалы о писателях, различного рода сведения о развитии их творчества. Отрывки из дневников, письма, извлечения из записных книжек, отдельные афоризмы и мысли Ломоносова и Державина, Вольтера и Гёте, Байрона, Гюго, Мицкевича, Веневитинова, Одоевского, Вяземского, Пушкина и т. д., все, что составляет сущность и элементы духовной биографии писателей (в каждый раз своеобразной биографии), свободно рассыпаны на страницах «Московского вестника», «Телескопа» и других журналов. Н. Батюшков в статье «Нечто о поэте и поэзии», впервые опубликованной в «Вестнике Европы» в 1817 г. под названием (в данном случае это интересно отметить) «О впечатлениях и жизни поэта», рассуждает о сущности поэзии, психологии творчества. Он подчеркивает, что «образ жизни имеет... сильное влияние на произведения поэта»¹, считает, что подробное знание жизни великих писателей дало бы представления о тех сильных ощущениях, которые оставили следы в их произведениях.

Появляются исследования, которые можно назвать работами о жизни и творчестве писателей, например, Н. Полевого о Г. Державине, П. Вяземского о Д. Фонвизине. В них есть стремление рассматривать жизнь и творчество в органическом единстве и в развитии, опираясь на историзм как методологический принцип.

Критика возбуждает у читателя интерес к индивидуальности художника, к её становлению. П. Вяземский свою статью о «Цыганах» А. С. Пушкина, опубликованную в «Московском телеграфе», начинает со слов: «Всесело и поучительно следо-

¹ Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985. С. 132.

вять за ходом таланта, постепенно подвигающегося вперед»¹. Все это переходило в оправдание стилевого многообразия в литературе, которая представлялась для романтической критики прежде всего в движении, как деятельность отличных друг от друга писателей, стоящих далеко не всегда на одинаковых творческих позициях. Поэтому не с жанровых характеристик, не с образцов и канонов начинает обычно романтическая критика свой анализ художественных произведений. Для нее художественное и идейное разнообразие естественное и желательное явление в литературе. Если так, то критика не может быть только приложением общих положений к частным фактам, она становится творчеством, потому что каждый раз, обращаясь к подлинно художественному произведению, она имеет дело с оригинальностью, с открытием, которые нуждаются в новых формах критического осмысления.

Подчеркивание особой роли субъективного фактора в творчестве, которое было свойственно критике первой трети XIX в., есть одно из частных проявлений романтического мировоззрения в целом. Оно шло параллельно с развитием темы поэта и поэзии в самом художественном творчестве. Ни одна литературная школа не возносила поэта на столь высокий уровень, как романтизм.. В самых различных вариациях предстает поэт как образ романтической литературы. Но всегда основание остается общим свободы, независимость от пийтик, возвышенное вдохновение как источник творчества. Н. Полевой, например, решительно отходит от эстетических систем при анализе трагедий Шекспира, так как, по словам критика, «его система в душе, его философия в сердце, его тайна в великой идее, которую угадал его гений»². Романтическая критика «понимает искусство как проявление самостоятельной, устанавливающей собственные законы, свободной творческой деятельности человека»³.

В русской романтической критике и литературе при разработке и оценке значения индивидуального в творчестве была проявлена исключительно интересная и ценная особенность, которая была обусловлена сложностью и противоречивостью

¹ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 72.

² См., например: Конспект по истории русской литературы Жуковского // Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 317.

³ В. А. Жуковский – критик. С. 15.

общественного сознания того времени. Дело в том, что логически последовательное претворение в практику идеи об исключительном значении субъективного в творчестве должно было привести к замкнутости художественного творчества в самом себе, к отрыву писателя и критика от жизни, от общественно значимых целей. Но случилось нечто обратное. Создавая апофеоз поэту, гениальной личности, наделяя писателя совершенно новыми общественными и нравственными правами, романтическая критика связывала все это и само искусство с идеей самоотверженного служения отечеству. Начало было положено декабристами. В творчестве и в революционной деятельности К. Рылеева, например, идея высокого общественного призыва поэта нашла блестящее выражение. В поэме «Наливайко» устами ее героя К. Рылеев восклицает:

*Известно мне: погибель ждет
Того, кто первым восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?*

Формы общественной деятельности писателя, которые провозглашались декабристами и находили конкретное жизненное преломление, с поражением восстания по существу стали невозможными в России. Однако идея высокой общественной значимости поэта и поэзии продолжала жить, трансформировалась, обрела свои новые глубины. Д. Веневитинов, например, как и К. Рылеев, отвергает самодовлеющее искусство: с его точки зрения, для общества бесполезен поэт, который наслаждается только своим собственным миром, мысль которого вне себя ничего не ищет и, следовательно, уклоняется от цели всеобщего совершенствования. Веневитинов ведет речь о познающем поэте, проникающем в сущность не только своего, но общественного бытия и способствующем его развитию. Рассуждение более соответствующее специфике искусства и практически поднимающее идею декабристов на новый уровень. В критике Пушкина можно видеть синтез этих двух моментов, то есть традиций декабристов и достижении романтической критики.

Личность писателя в романтической критике, не теряя своей самостоятельности и исключительности, включается в широкие исторические, географические и социальные обстоятельства, она рассматривается в различных аналогиях и сопоставлениях. Ценность этой личности можно понять с точки зрения крупных масштабов судеб национальной литературы, страны и даже мира. Так, русская критика переживала смерть Д. Веневитинова как потерю для всей русской литературы, ее будущего. «Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии»¹, писал И. Киреевский.

Романтическая критика, склонная, как и все романтическое мировоззрение, к максимализму, стремилась понять писателя во всей глубине его индивидуальной неповторимости, проникнуть в его творческие тайны или обозначать их, с одной стороны; с другой она включала его в мировую систему, делала ее элементом. Но органического единства между этими двумя способами рассмотрения достичь ей не удалось, хотя оно и существует. Эти две тенденции оказывались параллельно идущими, жизнь писателя, его индивидуально неповторимое творчество развивались на фоне исторических и общественных событий. От рядоположенности до подлинной взаимосвязи перехода еще не было. В значительной мере результатом такого подхода были моменты трагизма, жертвенности, определяющие судьбу писателя.

Но в целом романтическая критика начала осознавать, что писатель в России становится центральным лицом ее общественной жизни, и в огромной степени способствовала этому. Именно отсюда идут нити к Белинскому, к революционным демократам.

Среди основных проблем, которые ставила и решала романтическая критика, была и проблема романтизма как направления и художественного метода литературы.

Свое понимание сущности романтизма его представители развивают на основе историзма, который являлся сильной стороной критического мышления романтиков. Они стремились представить романтизм как необходимый результат всего предшествующего развития литературы, то есть как явление объективное. Н. Полевой, А. Бестужев-Марлинский, П. Вязем-

¹ Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 67.

ский связывают возникновение романтизма в конечном счете с социально-политическими преобразованиями в Европе, вызванными французской революцией конца XVIII века. «Когда прошли громы политических бурь, говорится в “Московском телеграфе”, Европа начала переворот литературный»¹. В условиях 30-х годов Н. Полевой и А. Бестужев-Марлинский продолжают говорить о литературном романтизме как составной части буржуазно-демократического движения.

Романтизм осознается его представителями как создание самобытной национальной литературы. Как известно, эта идея особенно последовательно развивалась декабристами (в статьях К. Рылеева, О. Сомова, В. Кюхельбекера, А. Бестужева), которые впервые дали целостную ее концепцию в наиболее прогрессивном для своего времени истолковании. Быть национально самобытным в творчестве для декабристов означало не только свободу от подражательности, но и стремление воспитать в молодом поколении героизм, мужество, гордость за лучшие традиции прошлого.

Достижения декабристской критики органически вошли в развивающуюся в дальнейшем передовыми романтиками теорию национальной самобытности литературы. А. Бестужев и В. Кюхельбекер не отказались от своих прежних взглядов, за высокую гражданственность литературы ратует П. Вяземский, Н. Полевой стремится ее демократизировать.

В целом романтическая критика в первую треть XIX в. находит свое определенное завершение и становится достаточно законченной системой, в которой должное место находят такие проблемы, как литература и действительность, писатель и характер его творческой деятельности, художественные жанры и др. Она опиралась на многообразный творческий опыт своего времени. В то же время она начинает испытывать кризис (из-за собственных противоречий, но главным образом под влиянием реалистических произведений и соответствующих им новых литературных взглядов). Ее слабые стороны были вскрыты и отвергнуты реалистической критикой. Ее достижения, обусловленные историзмом и демократизмом передовых романтиков, были подхвачены и развиты применительно к новым историческим условиям революционными демократами.

¹ Московский телеграф. 1832. ч. 47. С. 376.

ВОЗВЫШЕННОЕ В РУССКОЙ ЭСТЕТИКЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.¹

В русской эстетике категория возвышенного занимает в целом незначительное место. Литература о ней бедна. В то же время возвышенное как художественное явление в русской литературе всегда имело большое значение. Осознанию причин возникшего таким образом противоречия может способствовать исторический анализ.

Первая треть XIX в. время появления в русской эстетике категории возвышенного и становления устойчивого интереса к ней. Русская мысль втягивается в орбиту идей о возвышенном Лонгина, Берка, Канта, Шеллинга..., которые ею оригинально осознаются и нередко развиваются. Прослеживание судьбы различных по своим основаниям идей Лонгина и Канта о возвышенном позволяет обозначить тенденцию формирования теории возвышенного в русской эстетике. Трактат Лонгина «О возвышенном» в переводе И. Мартынова за сравнительно короткое время был дважды (в 1803 и 1826 годах) издан в России. Лонгин приобретает известность, его влияние испытывают А. Мерзляков, А. Галич, П. Георгиевский и др. В теории Лонгина особенноозвучными русской эстетике оказались ее ориентированность на реальность и прикладной характер. Книга Лонгина трактовалась в основном как поэтика. С ней были связаны и активные терминологические поиски, которыми сопровождалось осмысление возвышенного в русской эстетике. Лонгин способствовал становлению в русской эстетике той концепции возвышенного, которая в дальнейшем нашла наиболее полное выражение у Чернышевского.

Теория возвышенного, развиваемая Кантом и получившая к началу XIX века широкую известность на Западе, имела иную судьбу в России. Она излагалась в трактатах, учебных пособиях, статьях (Л. Якоби, И. Кронбергом и др.), но содержащиеся в ней пафос субъективности и идея свободы вступали в противоречие с характерными для русского эстетического сознания

¹ Литература и язык в контексте культуры и общественной жизни: Тезисы межгосударственной научной конференции (Казань, 26–29 мая 1992 г.). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1992. С. 108–109.

телеологизмом, устремленностью к общему, объективно значимому. Прямое влияние Канта на становление теории возведенного в первую треть XIX века было незначительным. Оно сказывалось опосредованно, через эстетику Шеллинга.

Первую треть XIX века можно считать периодом начала и активных поисков в теории возведенного, сыгравшим особую роль в русской эстетике.

ДЕРЖАВИН В ОЦЕНКЕ РОМАНТИКОВ¹

Внимание к Державину в русской критике не было устойчивым. Сравнительно небольшие периоды повышенного интереса к нему сменялись долгими годами почти забвения. Наиболее продолжительным и высоким был интерес к Державину в первую треть XIX в., в эпоху расцвета романтизма [1]. Написанное о нем в эти годы и по объему, и по разнообразию жанров, в которые оно выливалось, значительно превосходит то, что о Державине было сказано в любое другое время.

Имя Державина мы встречаем в эстетических трактатах: практически ни одна из статей, посвященных Ломоносову, Карамзину, Жуковскому, Пушкину, не обходится без обращения и к Державину; появляются первые монографические работы о Державине, которые еще долго будут оставаться единственными; журналы систематически публикуют статьи заметки, эссе о Державине; о нем говорятся речи на заседаниях литературных обществ; Державин тема многочисленных стихотворений, переписки, дневниковых записей.

Идеи, которые этот большой поток литературы о Державине объединяют, известны: Державин считается первым оригинальным русским поэтом, поэтом национального значения, которому суждено занять особое место в истории русской литературы.

Есть в этом первом периоде активного освоения Державина следующая особенность: основной тон в нем задавали романтики (В. Жуковский, П. Вяземский, О. Сомов, К. Рылеев, П. Плетнев, Н. Полевой, А. Бестужев, В. Кюхельбекер и др.). Они во многом содействовали славе Державина, стремясь свою высокую оценку его творчества сделать общепризнанной. Они выдвигали новые идеи и разрабатывали новые концепции, объясняющие Державина. Многое из того, что было сказано романтиками о Державине, надолго сохранило ценность. Это в целом известно и уже становилось предметом исследований [2].

Однако в оценке, даваемой романтиками Державину, есть, кроме содержательной, и методологическая сторона (своего

¹ Г. Державин: История и современность [Ст. и материалы к конф., май 1993 г. / редкол.: Сафиуллин Я. Г. (отв. ред.) и др.]. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1993. С. 113–125.

рода технология оценки), которая менее исследована. В последующих заметках приводятся наблюдения над особенностями романтических принципов и методов оценки Державина.

Оценивая Державина, романтики опирались на идею свободной личности. Являясь составным элементом мировоззрения романтиков, эта идея выступала и принципом их литературной критики. Державин поэт с яркой индивидуальностью был созвучен романтической идеей свободной личности, и приложение последней к осознанию его жизни и творчества оказалось плодотворным.

Романтики первыми стали говорить о Державине как самостоятельном художественном явлении, интересном, в самом себе и потому требующем нестандартных подходов в оценке. Оригинальность, тайна, проблема Державина как отдельно взятого писателя темы для русской критики непреходящие впервые были поставлены романтиками.

Прежде всего романтики стремятся вывести Державина из списка писателей мирового значения, в который он вставлялся нормативной критикой. Для последней включение Державина в один ряд с Горацием, Пиндаром, Анакреонтом было свидетельством высшей оценки, выставляемой ею русскому поэту.

Так как нередко сами же романтики формально поступают таким же образом и почти во всей последующей литературе о Державине его имя часто соседствует с именами античных поэтов, необходимо провести следующую дифференциацию. Когда Мерзляков ставит Державина в один с античными авторами ряд, то он тем самым прикрепляет его к определенной традиции (к жанру горацианской оды, например); для него оригинальность Державина это в первую очередь мастерство, свой стиль в реализации традиционного. Так что для Мерзлякова и других классицистов включение Державина в список великих поэтов исследовательский принцип, основанный на преодолении, поглощении индивидуального общим. Но когда Вяземский в послании «К Жуковскому» говорит о Державине: «... Он Гораций, Пиндар наш и наш Анакреон», то «список» античных поэтов выполняет здесь функции метафоры, которая предполагает сравнение, сопоставление русского поэта с античными, как бы указывает на то, что Державин столь же значительное в русской литературе явление, как Гораций в древнеримской... Не

случайно то, что именно в поэзии, где высока роль ассоциативного, романтики продолжают включать Державина в один ряд с античными поэтами; но в статьях, где определяющее значение имеет рациональное, они отказываются от использования этого приема.

Романтики выделяют Державина и из общего потока перечисляемых в одном ряду с ним русских писателей. С некоторыми вариациями в составе и последовательности выстраивались обычно имена: Ломоносов, Сумароков, Херасков, Озеров, Дмитриев, Державин, Карамзин, Жуковский и т. д. И здесь перечисление претендовало на то, чтобы быть способом познания и оценки, но оказывалось таким способом, при котором столь разные по таланту и индивидуальным особенностям писатели подводились под общие определения, очень бедные по содержанию, так как они обобщали явления совершенно разных уровней.

Выделив Державина из общего потока писателей, романтики в своих попытках его характеризовать должны были опираться на какие-то категории. При этом возникала сложность: категории, с романтической точки зрения, не должны подавлять, нивелировать индивидуальное; в то же время романтики понимали, что категории имеют обобщающие, коммуникативные функции.

Самое простое, с чего романтики при решении этой проблемы начинают и что находится в соответствии с контрастным стилем их мышления, это обращение к определениям, содержащим в себе отрицание стандартного. Их цель в том, чтобы обособить Державина, выделить его в отдельный предмет внимания. Так, Жуковский утверждает, что Державин «единственный, истинный представитель русской поэзии» и что он «не принадлежит ни к какой школе» [3]. «Державина должно отделить от всех его современников и последователей... Исполинский образ Державина стоит уединенно» [4], пишет Н. Полевой. И. Киреевский относит Державина к «необыкновенным явлениям» в русской литературе.

Возможно, познавательное значение этих и подобных им («неподражаемый», «самобытный», «исключительный», «непостижимый» и т. п.) определений, которыми полна романтическая литература о Державине, может быть подвергнуто сомнению. Но они были рассчитаны прежде всего на то, чтобы указать на

факт бытия Державина как индивидуального, свободного явления, созерцание которого в его внутренней сущности должно предшествовать познанию в обычном смысле слова. Тем самым романтики через определения, которые недостаточно строги в научном отношении и нередко метафоричны, обозначают важную проблему.

В романтической критике о Державине есть определения и с более выраженным познавательными и коммуникативными функциями. Одно из них «особый путь» Державина. Оно, как известно, было высказано вначале самим поэтом для обозначения нового, самостоятельного этапа в его творчестве. Романтики подхватили это определение; в качестве основного оно фигурирует чуть ли не в каждой статье о Державине, является канвой многих стихотворений, посвященных поэту.

Чтобы представить то, какое содержание вкладывают романтики в слова «особый путь» Державина, приведем цитату из статьи Плетнева: «Всех выше, вдохновенное, разнообразнее, оригинальнее между поэтами нашими Державин. Он больше всех оправдал собою мнение древних, что поэтами рождаются. Его гений открыл себе собственное поприще, обнял на нем все поэтическое, создал свой язык и никому не передал тайны своего искусства, как будто потому, что сам ни от кого ее не заимствовал» [5]. Это типично романтические представления об «особом пути» Державина, они развиваются Н. Полевым, П. Вяземским, А. Бестужевым и др. Так что понятие «особый путь» Державина достаточно определено в своем содержании, оно выступает основным тезисом статей о Державине, вносит в них динамизм, ведет к тому, что критики смотрят на творчество как на деятельность, борьбу, стремление к свободе.

Романтический принцип оценки Державина, в основе которого лежит интерес к индивидуальному, не был теоретически добытым инструментом, романтики не стремились дать ему серьезное логическое обоснование. Его появление, кроме влияния идеи свободной личности, было следствием воздействия оригинального творчества Державина на романтиков, которые отнеслись к нему свободно, непредвзято, без предваряющих восприятие теоретических схем. Это была как бы трансформация предмета в метод собственной оценки. Попробуем пояснить сказанное через замечательное суждение И. Киреевского о лите-

ратурной критике. В статье, посвященной стихотворениям Языкова, он пишет: «...Критика произведений образцовых должна быть не столько судом, сколько простым, свидетельством». Она не может «доказывать красоту и заставлять... наслаждаться по правилам». Подлинное («образцовое») произведение «должно быть прямо понято сердцем, либо просто принято на веру». И критика, по мнению Киреевского, свидетельствует это.

В приемах оценки Державина, которым следуют романтики, во многом реализуется именно такое представление о критике. Романтики стремятся просто описывать, развертывать, фиксировать свои впечатления от поэзии Державина, считая, что просеивание их через теоретические установки не обязательно. Не случайно то, что именно в эпоху романтизма разнообразие форм, в которых выражалось отношение к Державину, было особенно широким. Кроме обычной критической литературы, это стихотворения, письма, дневниковые записи и другие формы, тяготеющие к сохранению непосредственности впечатлений и субъективности оценок.

Освобождая восприятие Державина от обязательного теоретического контроля, допуская возможность различных, и по содержанию и по формам, толкований его творчества, говоря о самоценности простого эстетического наслаждения, доставляемого поэзией Державина, романтики способствовали не только росту популярности поэта, но и возникновению новых взглядов на его творчество.

Будучи уверенными в том, что непосредственные впечатления от поэзии Державина имеют силу факта, что на уровне этих впечатлений, не обязательно переводимых в логические категории, можно говорить о Державине, романтики отказывались от участия в дискуссиях, оторванных от непосредственной эстетической ценности, например, о том, насколько оды Державина выдерживают требования жанра или насколько язык его поэзии грамматически правилен. Вместо этого они говорят о державинской оде как таковой, о слоге Державина, о конкретной их эстетической значимости.

Большая часть наиболее значительных идей, высказанных романтиками при оценке Державина, была следствием непредвзятого, непосредственного восприятия личности и творчества поэта. Так, в статьях Вяземского «О Державине»,

О. Сомова «О романтической поэзии», в «Письме к графине С. И. С.» П. Плетнева, во фрагменте, посвященном Державину, из «Конспекта по истории русской литературы» Жуковского, в статье Н. Полевого «Сочинения Державина» содержатся идеи, которые являются центральными в романтических оценках Державина и во многом сохранят свое значение в последующей критике. Но как авторы представляют их читателям? Не как логически выводимые или доказываемые аналитически. Они просто выдвигаются, выставляются, потому что авторы не сомневаются в их истинности.

Превратив индивидуальное в Державине в предмет особого внимания, романтики пытаются понять его в своей спонтанности, в собственном движении. Это, в частности, привело и к тому, что романтики первыми стали говорить о творческой биографии Державина и предложили опыты ее написания. Они выделили духовную, творческую сторону в биографии поэта в отдельную ценность, которая, как они полагают, должна быть понята и исследована. Романтики тем самым становятся на путь преодоления серьезного недостатка в критике своего времени, который в 1825 году был так определен Пушкиным: «... Мы в биографии славных писателей наших довольствуемся ознакомлением года их рождения и подробностями послужного списка...» [6].

Жизненная биография Державина, полная драматизма, служебных взлетов и неудач, приключений и т. д., была для современников чрезвычайно интересной и поучительной. Она, наряду с поэзией Державина, являлась важным составляющим его широкой известности. А. Бестужев не совсем неправ в своем заявлении: «... Едва ли успех Державина заключался в его таланте. Все поклонялись ему, потому что он был любимец Екатерины, потому что он был тайный советник» [7].

Романтики создают параллельно этой жизненной, внутри нее или в противопоставлении с ней творческую биографию Державина, в которой, как они полагают, не меньше динамики и интересного; по своему же значению она сущность или выше первой, потому что связана с призванием, предназначением поэта. Типичный пример подобной творческой биографии это статья Н. Полевого «Сочинения Державина». Определяющее в ней столкновение природного вдохновения, гения Державина

с действительностью. На этом центральном конфликте строит критик жизненную и творческую биографию поэта. Не станем входить в подробности статьи. Принципы и методы, на которые критик опирается, заявлены им четко и заметны с первого взгляда. Теоретические и нередко переходящие в полухудожественные построения Н. Полевого во многом искусственны, конкретные факты, которые включаются в них, часто произвольно скомпонованы. Но нельзя за всем этим не видеть очень важного: Н. Полевой, как и другие романтики, прав в своем представлении, что главное в Державине это особенности его таланта, становление и развитие художественных идей, образов, отношение его творчества к действительности.

Идея саморазвития индивидуального, на которую, создавая творческую биографию Державина, опираются романтики, приводила еще к одному из принципов, ими отстаиваемых, располагать произведения Державина в хронологическом порядке, не по родовым, жанровым, тематическим подразделениям, а в последовательности их написания. «Сочинения Державина, пишет Н. Полевой, нельзя делить на роды, и в издании их всего вернее принять порядок хронологический. Тогда получили бы мы поэтическую летопись внутренней жизни его и могли видеть, как и что делало впечатление на пламенную душу поэта, вместо того, что, какие бы ни приняли мы деления, всегда будем путаться в них» [8].

Романтикам казалось, что предлагаемый ими принцип отказа от предварительной классификации произведений Державина при составлении его творческой биографии или издании сочинений позволяет увидеть талант поэта и его развитие в «чистом» виде, потому что он останавливает внимание на субъективном, внутреннем, которое не организуется извне в жанровые формы, а самовоплощается в них. Оценивая Державина, они находят интерес не в демонстрации аналитических способностей или памяти критика, когда творчество поэта оказывается в основном предметом их приложения; они считают, что созерцание того, как это творчество саморазвивается, мысленное следование за этим развитием и ценное, и интересное занятие. «Наслаждение удивительное наблюдать ход человека, отмеченного гением!», говорится в «Московском телеграфе» [9].

Так думали Н. Полевой, Плетнев, И. Киреевский, А. Бестужев и другие романтики.

В романтической критике, на основе ее представлений об индивидуальном как целостном, едином в своих элементах, рождается и мысль о полном, по современной терминологии, издании Державина. Наиболее последовательные из романтиков настаивают на том, чтобы собрать и издать, расположив в хронологическом порядке, все написанное Державиным, откававшись от предварительной критической цензуры, делящей его произведения на достойные быть изданными и подлежащие забвению.

Если издание произведений Державина на основе хронологического принципа должно было, по замыслу романтиков, дать и «поэтическую летопись внутренней жизни» писателя, то стремление к публикации всего написанного им это желание увидеть «внутреннюю жизнь» в ее полноте и разнообразии.

«Надобно читать все, что он написал, говорит о Державине Н. Полевой, иначе никогда его не узнаете... Жаль, что нет вариантов; жаль, что и не все собрано» [10]. Даже незначительные и слабые произведения Державина при таком подходе приобретают смысл. Кюхельбекер, один из наиболее внимательных и постоянных читателей поэта, отмечает в своем дневнике: «Признаюсь искренно, что гораздо более люблю Державина, гораздо более удивляюсь ему в его безделках, нежели в больших одах» [11]. В другом месте дневника, фиксируя свои впечатления от анакреонтических стихотворений Державина, Кюхельбекер пишет: «Они истинно бессмертны; тут почти нет ни одной, в которой не было бы хоть чего-нибудь прекрасного, даже в самых слабых найдешь или удачную черту, или счастливый оборот, или хоть живописное слово» [12].

Как известно, и по принципу хронологического расположения произведений Державина при их издании, и по вопросу о том, насколько необходимо их полное собрание, в критике 20–30-х годов были разные точки зрения. Довольно решительную позицию по отношению к «слабым», «варварским» сочинениям Державина занимали Пушкин и Гоголь [13]. Белинский, особенно после периода «Литературных мечтаний», начинает резко критиковать в этих вопросах Н. Полевого и других романтиков.

Излагать ход этой интересной полемики в данном случае невозможно, но отметим следующее: за противопоставлением различных точек зрения находилась общая проблема принципы издания и оценок произведений Державина. Романтики первыми ее поставили, и многое из того, что они предлагали в качестве ее решения, оказалось плодотворным. Однако в нашем литературоведении это обстоятельство, под сильным воздействием того, что с романтиками полемизировал Белинский, осталось почти не замеченным.

Романтики первыми сделали шаг к тому, чтобы включить Державина в историю русской литературы и обозначить его место в ней. Распространенная практика, против которой они выступали, вставлять имя Державина в один ряд с именами других писателей, лишь внешне имела нечто историческое, потому что перечисление велось обычно в хронологическом порядке, внутри которого в конечном счете не оказывалось движения. Только вырвав Державина из этого ряда, как поступали романтики, индивидуализировав его, представив как исключительное, неповторимое явление, можно было превратить его в момент истории. Ведь индивидуальное, которое мыслится только в соотнесении со всеобщим, не получает места в истории как таковой.

Оригинальность Державина и движение русской литературы романтики связывают в органическое единство. Сомов в статье «О романтической поэзии» утверждает, что «Державин сообщил новую силу языку русскому, разгадал его средства и возможности...». Жуковский в «Конспекте по истории русской литературы» говорит о том, что Державин «во все вкладывает свою собственную поэзию» и в то же время находит в нем «единственного и истинного представителя русской поэзии». Одним из тех, кто постоянно настаивал на исключительности Державина, его «особом пути», был Н. Полевой, который одновременно называл его и «первым национальным поэтом России». В романтической критике часто повторяются слова «первый», «начало», «эпоха», которыми определяется место и значение Державина в истории русской литературы. Вопрос о том, удается или нет романтикам решить возникающую при их способе оценки Державина теоретическую проблему сочетание

индивидуального и общего, без чего история невозможна, особая тема. Но можно утверждать, что романтики ее увидели и в целом правильно поставили.

Благодаря Державину и новым принципам оценки его творчества (в особенности тому, что опирается на индивидуальное как самоценное), романтики внесли движение, динамизм в представления о литературном процессе. Они переосмыслили отношение к Ломоносову, Сумарокову и в целом к литературе XVIII века, стали обращаться в критике к новым для того времени методам противопоставления, сравнения, сопоставления писателей, творческих манер. Романтики ставят темы Державин и Ломоносов, Державин и Жуковский, Державин и Пушкин...

Так как на принцип свободы индивидуального романтики опираются не только при оценке Державина, в их сознании возникает идея о литературном процессе как сосуществовании различных талантов, направлений творчества, стилей.

Пытаясь объяснить творчество Державина как явление свободное, которое пребывает в собственной сущности, романтики отождествляют его с природой.

Тема Державин и природа типичная для критики первой трети XIX в. и не только романтической ее части. Яркое природное дарование поэта и его оригинальность в воспроизведении природы вызывали эту тему к жизни.

Мерзляков дает наиболее характерное для классицизма ее решение. Его анализы содержат противопоставление высокого природного таланта Державина и недостатков в «плане», «тоне», «языке» его сочинений. Причина последних, по Мерзлякову, в том, что поэт «не мог быть напитан злаговременно нужнейшими правилами искусства» [14]. Так же, как Мерзляков, думали и многие из критиков. Катенин писал: «Державин получил от природы творческое, блестящее крылатое воображение, какого ни прежде, ни после ни в ком не видали; но ему недоставало образования, и даже языка своего он порядком не знал» [15]. К такой точке зрения был близок и Пушкин, когда в письме к Дельвигу пространно характеризовал Державина.

Романтики по-новому осмысливают соотношение природного и рационального в творчестве Державина. Они

стремятся на основе природного начала преодолеть отмеченный выше дуализм. Но достичь этого можно было, лишь принципиально по-новому, чем классицисты, рассматривая, что такое природа и природное.

Известно, что природа в романтическом сознании это не только окружающий человека мир, естественные условия и не только врожденные натура, талант человека; природа для романтиков универсум, с собственной организацией, независимый, гармоничный в самом себе; в нем скрыта бессознательная творческая сила, которая выражает себя прежде всего в искусстве. «Природа, пишет И. Кронберг, излагая взгляды Шеллинга, которые разделялись русскими романтиками, не вне художника, но в художнике, и творения искусства суть творения природы через посредство человека... Природа же образцы иметь не может. Она сама себе образец и в материи и в форме» [16]. Природное в художнике, таким образом, оказывается свободным, в согласии с самим собою развивающимся явлением и потому его ценность признается исключительной.

Романтики не противопоставляют различные начала в творчестве Державина, не рассматривают их в качестве равноправных элементов; они отдают предпочтение врожденному творческому дару Державина, который, с их точки зрения, безотчетно, не считаясь с правилами и нормами, ведет поэта к истине и природе. «...Жизнь Державина доказывает, пишет Н. Полевой, что он не получил никакого образования... Державин худо знал стопсложение... Державин дурно читал свои стихи... Тем величественнее этот огонь во льдах, тем драгоценнее доказательство, что гений выше всех вещественных целей» [17].

«Ошибки» в языке Державина, его отступления от стихотворных, жанровых канонов и другие «нарушения» не рассматриваются романтиками в их обязательной соотнесенности с нормативным, находящимся вне творчества поэта, что было свойственно критике классицизма. Романтики пытаются объяснить «ошибки» Державина внутренними причинами, как следствие особой энергии, силы его поэтического вдохновения. А. Бестужев пишет о Державине: «Лирик-философ, он ... открыл тайну возвышать души, пленять сердца и увлекать их то порывами чувств, то смелостью выражений, то великолепием

описаний. Его слог неуловим как молния, роскошен как природа. Но часто восторг его упреждал в полете правила языка, с красотами вырывались ошибки» [18]. Достоинства и «ошибки» поэзии Державина включаются романтической критикой в единое эстетическое как взаимосвязанные явления, вследствие чего границы между ними размываются. Романтики близки к идеи, что «ошибки», «недостатки» поэзии Державина являются способом существования каких-то неординарных сторон эстетического содержания. О таких «недостатках», «иногда неразлучных с красотами, одному Державину... свойственными», пишет, в частности, Кюхельбекер [19].

Романтики отождествляют бессознательное творческое начало в природе с вдохновением Державина. Как говорит Надеждин: «Его дивный гений изобразил сам себя в величественной картине водопада, составляющего содержание прекраснейшего стихотворения» [20]. Самоценностю природы служит для них обоснованием свободы творчества Державина, его новаторства, объяснением «ошибок». Природа в том содержании, которое вкладывалось в это слово романтиками, находится в основании их эстетической теории. Она предмет постоянного их внимания и анализа.

Однако природа для романтиков перестает быть только предметом; трансформируясь, она становится категорией их собственного мышления. Романтические статьи и другие материалы, посвященные Державину, полны сравнений, метафор, аллегорий, аналогий, в которые в качестве составных элементов включены Державин и природа. Эти «фигуры» не просто средства украшения, они имеют познавательные функции, ими замещаются традиционные категории, что позволяет увидеть творчество Державина в новом свете, в необычных измерениях.

Конкретизируем сказанное через некоторые факты. В статье Мерзлякова «Державин» есть следующее сравнение: «Рассматривая внимательно все превосходства и недостатки Державина, я часто воображаю, что смотрю на открытую, великолепную и разнообразную до бесконечности природу» [21]. Сравнение это не обладает познавательными функциями, оно завершает логические рассуждения Мерзлякова случайной поэтической ассоциацией. Его место в тексте статьи не обязательно, так как содержание последней очевидно и без него. Иные функции у

метафоры из статьи Вяземского «О Державине»: «Вся природа говорит сердцу и воображению творца «Водопада» поэтическим и таинственным языком, и мы слышим отголоски сего языка» [22]. Она находится в тексте, где речь идет об «особом пути» Державина, о том, что его оды не традиционны и по всей справедливости должны называться «державинскими», что его произведения это настоящие «рудники поэзии», что Державина нельзя сравнивать с Ломоносовым, иными словами, о том, что через систему устаревших категорий Державина трудно понять. Оказавшись в таком контексте, метафора активизирует мышление, сталкивает его с новым, необычным миром, познание которого возможно через развитие, обновление самого мышления. То же можно сказать и о функциях сравнения в статье Н. Полевого «Сочинения Державина». Критик рассуждает о своеобразии лиризма Державина, его живописном мастерстве, об оригинальности его стихов, говорит, что Державин в своей поэзии «спешит импровизировать, сыплет картины, сравнения, яркие краски слова...». Как естественное, но уже не в логической форме выражаемое, продолжение этой цепи рассуждений появляется сравнение: «Песнь Державина кипит шумною рекою и блещет ярким отражением солнца...» [23]. Оно как бы расширяет предмет критики, свидетельствует о его неисчерпаемости и возможности свободной его трактовки.

Метафорическое мышление, которое проявляется себя в романтической критике, оценивающей Державина, не ограничивается единичными примерами; оно входит в сущность этой критики. В последней есть метафоры, которые, не переставая быть таковыми, берут на себя функции познавательных категорий и служат средством обмена представлениями и идеями интуитивного уровня. Это своего рода «сквозные» метафоры, то есть такие, что повторяются многими критиками и продолжаются во времени: «комета», «заря», «рассвет» русской поэзии, «дикий», «величавый»...

В том, что романтики, оценивая Державина, тяготеют к метафорическому мышлению, есть причины и объективного характера. Державин уникальное, неожиданное, загадочное явление в русской литературе. Это романтики первыми увидели и пытались объяснить. Тайну Державина они стремились понять через нечто подобное ей, но более доступное природу,

что естественно вело к метафоризации их мышления. Все это не причуды романтиков и не короткий эпизод в истории критики. И в дальнейшем недоступность Державина для рядового логического анализа была очевидной для многих: раннего Белинского, в особенности Гоголя, для И. Аксакова, Хомякова, критиков начала XX века.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О широкой известности Державина в первую треть XIX в. Я. Гrot пишет: «Потомкам трудно представить себе неимоверную славу, какою Державин пользовался в свое время. После Ломоносова в русской литературе только и было два писателя, к которым так чутко и восторженно прислушивалось общество: Державин и Пушкин. Всякое новое произведение их переписывалось сотнями рук, быстро разносилось в отдаленнейшие концы России и выучивалось наизусть». (Я. Гrot. Жизнь Державина. СПб., 1880. С. 1027).
2. См.: Базанов В. Очерки декабристской литературы. М., 1953; Державин и Карамзин в литературном движении XVIII начала XIX в. Л., 1969; работы Г. Гуковского, А. Западова. Г. Макогоненко и др.
3. Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 321.
4. Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика: Статьи и рецензии. Л., 1990. С. 192.
5. Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 1. С. 164.
6. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Л., 1978. Т. 7. С. 23.
7. Цит. по книге «Их вечен с вольностью союз». М., 1983. С. 91.
8. Полевой И. А. Указ, соч. С. 178.
9. Московский телеграф. 1829. Ч. 27. № 11. С. 390.
10. Полевой Н. А. Указ. соч. С. 156.
11. Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 343.
12. Там же. С. 351.
13. «У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь», пишет Пушкин в известном письме к Дельвигу. См.: Пушкин А. С. Т. 10. С. 116.
14. Труды общества любителей российской словесности при Московском университете. 1820. Ч. XVIII. С. 33.

15. Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 218.
16. Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. М., 1974. Т. 2. С. 301.
17. Полевой Н. А. Указ. соч. С. 188.
18. Марлинский А. Полное собрание сочинений. СПб., 1847. Ч. XI. С. 141.
19. Кюхельбекер В. К. Указ. соч. С. 493.
20. Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 250.
21. Труды общества любителей российской словесности. С. 15.
22. Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1878. Т. 1. С. 19.
23. Полевой Н. А. Указ. соч. С. 211.

РОМАНТИКИ ОБ «ОСОБОМ ПУТИ» ДЕРЖАВИНА¹

В истории русской критики самый высокий и продолжительный интерес к Державину был проявлен в первую треть XIX века, в эпоху расцвета романтизма. Нечто подобное повторится лишь в начале XX века, когда русская литература вновь окажется на переходном этапе.

Романтики первыми начали говорить о Державине как свободной личности и поэтической индивидуальности. Они вывели его из списка античных классиков (Гораций, Пиндар, Анакреонт), из общего ряда отечественных писателей (Ломоносов, Сумароков, Петров, Дмитриев, Жуковский...), в которые он почти автоматически включался нормативной критикой. Они «открыли» Державина.

Одно из повторяющихся романтиками определений – «особый путь» Державина. Оно было высказано самим поэтом при анализе своего творчества. Романтики (Вяземский, Плетнев, Н. Полевой, А. Бестужев и др.) сделали его исходным принципом при оценке личности и творчества Державина. Развертывая тезис «особый путь» Державина, пытаясь обосновать и объяснить индивидуальное, неповторимое в его творчестве, романтики обратились к новым идеям и критическим приемам.

1. Поэзия Державина, с точки зрения романтиков, интересна и ценна сама по себе и не нуждается в теоретическом оправдании. Непосредственные впечатления от нее, эстетическое наслаждение, доставляемое ею, имеют для них значение самоценных фактов, которые не обязательно переведены в теоретические понятия. Романтики освободили, «демократизировали» непосредственное восприятие поэзии Державина. В широкой известности, которой пользовался Державин в первую четверть XIX в., значительна и заслуга романтиков.

2. Романтическая оценка Державина тяготеет к таким формам, в которых простое описание, изображение непосредственных впечатлений, выходит на первый план. Державину посвящаются многочисленные стихотворения, о нем идут дискуссии

¹ Г. Державин: История и современность [Ст. и материалы к конф., май 1993 г. / Редкол.: Сафиуллин Я. Г. (отв. ред.) и др.]. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1993. С. 113 –125.

в письмах, его имя постоянно встречается в дневниковых записях, в журналах печатаются материалы о нем, организованные не в традиционные формы.

3. Одной из основных идей, призванных объяснить «особый путь» Державина, было отождествление его вдохновения, таланта с творческими потенциями самой природы. Именно эта идея позволила романтикам (Н. Полевому, А. Бестужеву и др.) настаивать на естественном праве Державина быть свободным в своем творчестве.

4. Отказавшись от типичного для классицизма принципа оценивать индивидуальное через обязательное соотнесение его со всеобщим, романтики стали говорить о проблеме, «тайне» Державина, понять, осмыслить которую они стремятся через сущность и противоречия личности и творчества поэта. Вопросы стиля, слога Державина, своеобразия содержания и жанров его произведений впервые были поставлены романтиками.

5. Романтики активно сопоставляли Державина с Ломоносовым, Жуковским, Пушкиным и некоторыми другими поэтами. Тезис «особый путь» Державина способствовал тому, что это сопоставление проводилось на основе равенства, выявления неповторимого, своеобразного.

6. Будучи убежденными в том, что индивидуальное в творчестве Державина ценно в самом себе, неповторимо, то есть в подлинном смысле слова есть творческое, романтики рассматривают Державина как момент, этап в истории русской литературы. Они были правы в том, что история русской литературы не может быть представлена как преодоление индивидуального, неповторимого в Державине.

СУДЬБА ОДНОЙ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В РОССИИ¹

В этой статье речь пойдет об одном эпизоде из истории русско-немецких культурных связей начала XIX века, эпизоде небольшом, но достаточно типичном для этих связей.

В 1813–14 годах в издательстве Казанского университета выходит в переводе на русский язык книга профессора из Гиссена Снелля «Начальный курс философии»[1].

Внешне этот факт не может быть отнесен к разряду исключительных. В России того времени, особенно после войны 1812 года, быстро растет интерес к немецкой философии, науке, литературе, и переводы немецких книг становятся обычным явлением. Но у книги Снелля своя, в чем-то интересная и поучительная, история.

О том, в каких обстоятельствах появился перевод книги Ф. Снелля, какое место она занимает в образовании студентов и учащихся, в научных дискуссиях, о ее судьбе, оказавшейся, в конечном счете, драматичной, и пойдет дальнейшее повествование. Но предварительно несколько слов об общественном и научном контексте, в который она включилась.

Первую четверть XIX века в истории России А. Герцен назвал «великим временем». «Это была эпоха университетов и лицеев, – пишет он, – Пушкина и 1812 года, эпоха гражданственного сознания и государственной мощи» [2]. Важно сейчас подчеркнуть, что в своей характеристике «великого времени» Герцен придает особое значение университетам и лицейм, которые действительно оказались центрами просвещения, науки и культуры. И, в первую очередь, именно через эти центры и развились русско-немецкие научные и культурные связи.

Роль Казанского университета в этом процессе была значительной. Основанный в 1804 году, он оказался четвертым по времени открытия российским университетом[3]. Для заведования кафедрами, лабораториями нового университета, для преподавания в нем приглашались иностранные ученые и, в

¹ Deutsch-russische Sprach-und Literatur-beziehungen im 18. und 19. Jahrhundert / H.Jelitte, V.N. Konovalov, G.A. Nikolaev, Ja.G. Safiullin (Hrsg.) – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1994. – (Beiträge zur Slavistik; bd. 23). – P. 171–186.

основном, из Германии [4]. В первые (примерно 15 лет) годы его существования в Казанском университете работало более 20 профессоров и преподавателей, приехавших из Германии. Около половины из них получили образование или научные степени в Геттингенском университете, остальные – Галльском, Йенском, Марбургском и других университетах. Среди них были и известные ученые: Бартельс И. М. Х., Литтров И. А., Френ Х. Д., Фукс К. Ф. и некоторые другие [5]. Хотя в эти годы в Казанском университете и не было (как можно судить по имеющимся материалам) ученых из Гиссенского университета, перевод и публикация работы Ф. Снелля в Казани – явление, которое можно расценивать как особую форму научных и учебных связей между этими университетами.

Книга Ф. Снелля в качестве своего рода программы и руководства для преподавания стала использоваться в Казанском университете еще до перевода на русский язык. В университете на 1809–10 годы назначены были лекции по истории философии (2 часа) и логике (2 часа) «по Снелю или Шнелию...»[6]. Они должны были читаться профессором умозрительной и практической философии Фойгтом К.Т., выпускником лейпцигского университета и «последователем системы Канта»[7]. И на следующий, 1810–11, учебный год объявлялись занятия по практической или прикладной логике на основе учебника Снелля[8].

Снелль в своих философских взглядах был последователем И. Канта, что также сыграло свою роль в том внимании, которое было оказано его книге в Казанском университете, в решении ее перевести на русский язык и, наконец, в печальной ее судьбе.

Интерес к философии Канта в Казанском университете был достаточно высоким и напряженным, хотя и непродолжительным по времени, всего около 10 лет, потому что уже к 20-ым годам XIX века Кант оказывается в числе запрещенных к изучению и преподаванию в университетах философов. Многие из приехавших в Казань ученых хорошо знали философию Канта, некоторые из них следовали ей. К таковым, кроме К. Фойгта, о котором говорилось выше, относились И. Бартельс, К. Броннер, К. Реннер, Э. Эверсман, Г. Бюнеман и другие. С 1812 года начал работать в Казанском университете и А. Лубкин, который в 1805 году в журнале «Северный Вестник» опубликовал первую в России серьезную статью о Канте[8]. Интерес к Канту

проявляли И. Срезневский, П. Кондырев, Г. Солнцев и другие молодые русские ученые. О Канте велись споры, которые иногда перерастали в научные дискуссии. Казанский университет (наряду с Харьковским) оказывается в эти годы одним из первых в России центров внимания к философии Канта, ее изучения и оценки[9].

Не только то, что кантианец Снелль воспринимался как представитель современной философии, но и проблемы чисто прикладного, учебного характера повлияли на решение перевести его книгу: в университете, в гимназиях и училищах Казанского учебного округа почти не было философской литературы на русском языке.

Переводчиками книги Снелля были адъюнкты П. Кондырев и А. Лубкин. 13 марта 1813 года они представили совету Казанского университета книгу Снелля, чтобы совет, если сочтет возможным, одобрил ее в качестве учебного пособия и рекомендовал для перевода на русский язык. Обосновывая необходимость перевода, Кондырев и Лубкин особо обращали внимание совета на то, «что на российском языке никакого учебного курса философии еще нет» [10]. Ходатайство было поддержано советом университета, затем и попечителем Казанского учебного округа М. Салтыковым [11]. И в тот же, 1813-й, год две первые части книги Снелля успели выйти в свет на русском языке.

Между переводчиками произошло определенное разделение функций. Если молодой, но к тому времени уже имевший переводческий опыт Кондырев[12] перевел большую часть сочинения Снелля, то в философском отношении более подготовленный Лубкин составил основные примечания и комментарии к тексту книги, которые заслуживают того, чтобы на них подробнее остановиться.

О том, что в книгу Снелля вставлены примечания и прибавления, сделанные переводчиками, заявлено уже на титульном ее листе. Их оказалось достаточно много. Так, почти 1/3 объема пятой части книги – это примечания и прибавления, в основном Лубкина, к тексту Снелля, которые носят характер дискуссий с автором книги.

Включение в книгу чужого текста трансформировало ее жанр, превратив в оригинально построенный учебник. Появление в ее составе иных, чем у автора, точек зрения придало

ей диалогичность. Именно в таком виде она становилась более интересной учебной книгой, развивающей более творческое мышление студентов и учащихся. Но очень скоро это ее достоинство вступит в противоречие с официальными инструкциями по образованию, призванными обеспечить однообразие, стандартность мышления студентов. Преподавателям эти инструкции предпишут читать лекции по заранее утвержденным университетской комиссией конспектам, студентам – записывать и заучивать их. Книга Снелля в таких условиях превратится, естественно, в неудобное и даже опасное учебное пособие.

Многочисленные примечания и прибавления, существующие в виде текста, параллельного к основному, позволяют также судить о том, какие идеи немецкого философа оказались близкими или неприемлемыми для русских переводчиков, какие из этих идей не вызвали ответной реакции и т. д. В целом это интересный фактический материал для исследования конкретного содержания и форм взаимодействия отдельных сторон немецкого и русского образов мышления и культуры в начале XIX века. Подробный сопоставительный анализ основного текста книги с текстом примечаний и прибавлений представил бы, с этой точки зрения, определенный интерес.

Меньше всего примечаний содержится в 3-ей («Эстетика, или критика вкуса») части книги Снелля. Если они и встречаются, то носят в основном историографический или терминологический характер. Переводчик данного раздела Кондырев не обладал достаточными познаниями в области эстетики; преподавание этой дисциплины в Казанском университете находилось в те годы на сравнительно невысоком уровне [13].

И напротив, активным было отношение переводчиков к содержанию 4-ой («Нравоучение и право естественное») части книги Снелля. Ее перевод осуществлен Кондыревым, но основные примечания к ней составлены Лубкиным. Дискуссии, которые в них ведутся со Снеллем, касаются преимущественно религиозных основ нравственности. Но показательно: естественное право в его кантианском варианте, представленном Снеллем, русским ученым в целом не оправдывается. Ряд положений книги Снелля, в которых говорится о самоценности и свободе личности, об общественном договоре, даже конституции и др.,

оставлены без комментариев. Процитируем некоторые из них: Параграф 3. Учение о правах, подобно как о должностях, основывается на том высочайшем разуме, что мы с собою и с другими людьми должны поступать не как с простыми средствами, но как с целями для себя... Параграф 7. Первое первоначальное право. Право личности. Каждый человек может... требовать, чтобы никто не употреблял его за простое средство..., но поступал бы с ним как с разумным существом. Параграф 15. При общественном договоре все члены общества имеют соединительную волю... Параграф 16... Все соединенное общество может издать для самого себя законы. Они составляют уложение (конституцию) общества». Но то, что Лубкин оставил без комментариев, как бы молча соглашаясь со Снеллем, не мешало резких оценок М. Магницкого, когда он через некоторое время принимал решение о запрещении этой книги.

Интересны и весьма обширны примечания Лубкина и к другим разделам книги Снелля. Они могут стать предметом отдельного анализа. Пока же изложенного, видимо, достаточно для того, чтобы получить общее представление о сочинении Снелля, форме и обстоятельствах его издания в Казани.

К экземплярам книги Снелля, печатаемым в типографии Казанского университета, прибавлялись, по существующей тогда книгоиздательской традиции, списки с обозначением учебных заведений и отдельных лиц, подписавшихся на нее. На основании этих списков можно утверждать, что по России разошлось около 600 экземпляров книги Снелля. Значительное их число, более 80-ти, осело в Казани. Остальные были отправлены в гимназии, училища и семинарии Нижегородской, Пензенской, Пермской, Тамбовской, Симбирской, Вятской, Иркутской и других губерний, входивших в огромный по масштабам (почти 3/4 России) Казанский учебный округ. Книга Снелля имела заказчиков в Москве, Киеве, Костроме и других городах. Она стала включаться в списки рекомендуемой учащимся литературы, а имя ее автора, хотя и не особенно часто, упоминается в трактатах того времени [14].

Свободное обращение книги Снелля в качестве учебного пособия в Казанском университете, в гимназиях и училищах находящегося под его управлением учебного округа продолжал-

лось недолго, около 6 лет. В это относительно свободное для образования и науки время, когда в обществе существовала заметная тяга к знаниям, книга Снелля, несомненно, имела научное и педагогическое значение [15].

Однако в сентябре 1819 года в ее судьбе наступает резкий поворот. Она была запрещена. Только что приступивший к обязанностям попечителя Казанского учебного округа известный обскурант М. Магницкий обращается к совету университета с предложением изъять из студенческой библиотеки вредные, с его точки зрения, книги.

Первым в списке книг, предлагаемых Магницким к запрещению, стоит «Курс философии Снелля», затем идут сочинения Вольтера, «Начальные основания нравственной философии» А. Фергюсона и другие издания [16]. Магницкий требовал, чтобы указанные в его списке и подобные им «вредные» книги были изъяты и из библиотек гимназий и училищ, расположенных в учебном округе. Они должны были быть собраны и истреблены.

Попечитель Казанского университета действовал в духе известных карлсбадских (1819) решений Священного союза, направленных против университетских свобод и демократических движений в Европе и России.

Магницкий ненавидел печатное слово; охота на «опасные» книги, гонения на книги были его страстью. При этом изобретательность и особый стиль отличали его действия. Так, он приказал из всех экземпляров собрания сочинений Фонвизина, находящихся в библиотеках учебного округа, вырезать «опасные» страницы. Он создал сеть агентов, занятых поисками и обезвреживанием неугодных, с его точки зрения, книг.

Что же в книге Снелля казалось Магницкому особенно опасным? Оно было заключено главным образом в 4-ой ее части – «Нравоучение и право естественное», – в которой излагались основы кантовской этики и утверждались естественные права и свободы человека. Некоторые цитаты, дающие представление о конкретном содержании этой части, приводились выше.

В преподавании естественного права, которое успешно осуществлялось в Казанском университете в первые полтора десятилетия его жизни, книге Снелля принадлежит особое место.

Она была первым учебным пособием на русском языке, в котором содержался специальный раздел, посвященный естественному праву. Вообще в преподавании этой дисциплины и издании книг по естественному праву Казанский университет занимал приоритетное положение. В 1816 году в типографии университета было напечатано «Естественное частное, публичное и народное право», автором которого был профессор Казанского университета Финке И.А. [17]. В предисловии к изданию говорилось, что эта «книга... первая на русском языке, которая касается всех частей естественного права» [18]. В Казани же впервые на русской языке и также в 1816 году выходит «Естественное право» Рейнгарда Х. Ф. [19].

Книга Снелля была первой жертвой преследований естественного права, начатых Магницким. Своего апогея они достигнут в 1821–1823 годах, когда по указанию Магницкого будет организован суд над преподававшим естественное право профессором Солнцевым Г. И. Магницкому тем самым удалось остановить научное преподавание естественного права, ведение исследований в этой области, столь рано и удачно начатых в Казанском университете.

Еще одна из причин запрета книги Снелля заключалась в том, что она была учебником по философии, которую Магницкий вообще не жаловал. К тому же Снелль в своих философских взглядах следовал Канту, что делало его книгу еще более неприемлемой. Магницкий, проводивший государственную политику в области образования, считал, что цель последнего – готовить верных религии, государю и отечеству чиновников. Поэтому философия как свободное, бескорыстное мышление исключалась из системы университетского образования. Она должна была, по замыслу Магницкого, соединиться с религией, в конечном счете – подчиниться ей, то есть, если воспользоваться выражением Канта, стать служанкой теологии и нести шлейф своей госпожи [20].

Как уже отмечалось выше, около 600 экземпляров книги Снелля было распространено по России. Даже при большой своей власти Магницкий не мог добиться ареста и возвращения всех этих экземпляров в Казань. Дело в том, что большинство из них оказалось вне его власти: в частных руках, в духовных

учебных заведениях, за пределами Казанского учебного округа. Только около 140–160 экземпляров изданной книги попали в библиотеки университета, гимназий и училищ Казанского учебного округа. Они-то и могли быть подвергнуты аресту. Однако скорый и полной реализации этой возможности мешали плохо поставленный учет книг, отсутствие каталогов в большинстве библиотек, слабая дисциплина чиновников.

Тем не менее в отчете, представленном министру народного просвещения в декабре 1824 года, Магницкий писал: «Библиотеки училищ Казанского округа рассмотрены. Вредные из книг, приобретенные в прежнее управление, запрещены, запечатаны и хранятся особно» [21]. Так образовалась в университете кипа книг, в которую были заключены выбранные из библиотек экземпляры сочинения Ф. Снелля (число которых теперь вряд ли можно установить), кипа, содержание которой было изолировано от внешнего мира печатью Магницкого.

Случилось так, что в эту же кипу оказались заключенными и экземпляры книги А. Лубкина «Начертание метафизики», издание которой было начато в 1817 году (уже после смерти автора) в университетской типографии. Печатание книг Лубкина не было доведено до конца, в 1819 году оно по указанию Магницкого было приостановлено, а отпечатанные части книги были конфискованы.

«Начертание метафизики» Лубкина рождалось в значительной мере в полемике с Кантом, многие его положения были высказаны автором на полях книги Снелля в виде комментариев и прибавлений к ней. Но оригинальный и свободный в философском мышлении Лубкин был, с точки зрения Магницкого, не менее опасен, чем его немецкие оппоненты [22]. Поэтому немецкий философ и его русский переводчик, комментатор и оппонент подверглись одной участии.

Что же произошло в дальнейшем с книгами Снелля и Лубкина? Об этом имеются следующие сведения у Н. Загоскина. В 1828 году (уже после ухода Магницкого с поста попечителя) университет обращается к министерству народного просвещения с предложением пересмотреть отношение к книге Снелля. Однако на это было отвачено, что последняя навсегда исключена из числа учебных пособий и возврату в библиотеки не подлежит. Позже, в 1841 году, университет вновь обращается

к министерству, но уже с просьбой дать разрешение вернуть книги Снелля и Лубкина в типографию с тем, чтобы обратить их в макулатуру. На это тоже не было получено согласия.

В августе 1842 года Казань подверглась опустошительному пожару, который охватил и здание университета. Есть предположение, что книги Снелля и Лубкина, хранящиеся в университете «особенно» погибли в этом пожаре[23].

Книга профессора из Гиссена Ф. В. Д. Снелля, несмотря на преследования и печальную свою судьбу, а может быть благодаря именно этим обстоятельствам, оставила заметный след в истории Казанского университета; она один из примеров непростого, подчас драматического развития русско-немецких научных и культурных связей в первую четверть XIX века.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Начальный курс философии. Соч. Г. Снелля. Казань. В университетской типографии, 1813–1814.

Первые две части книги (I. Эмпирическая психология или наблюдательное душесловие. II. Логика и краткая метафизика) переведена Лубкиным, остальные три (III. Эстетика, или критика вкуса. IV. Нравоучение и право естественное. V. Нравственное вероучение и обозрение истории философии) – Кондыревым. К пятой части книги Снелля добавлены «Краткое обозрение истории философии», которое было, как сказано в примечании переводчика, «заимствовано... из сочинений Г. Фруза».

В предисловии авторы перевода пишут, что Снелль является «профессором философии в Гиссене».

Переводчики не указали имени Снелля, не обозначили при фамилии хотя бы инициалы его. И в дальнейшем в работах по философии, эстетике, критике Снелль назывался только по фамилии. Правда, в современном учебном пособии «Лекции по истории эстетики» (Изд-во Ленинградского ун-та, 1974, кн. 2, С. 193) среди источников к разделу «Философская эстетика в Германии» значится: «Снелль Г. Эстетика, или критика вкуса. Казань, 1814». Таким образом, Снелль получил имя, но, к сожалению, не свое. Мифическое имя возникло в результате метаморфозы: в казанском издании перед фамилией автора книги стоит буква «Г», но она обозначает не имя, а сокращенное вежливое обращение («господин»).

В России были известны работы, по меньшей мере, двух Снеллей, которые из-за отсутствия должной дифференциации часто приписывались одному автору – просто Снеллю. Для устранения существовавшей и возможной путаницы необходимо установить полное авторство книги, о которой идет речь в этой статье.

В библиотеке Казанского университета удалось обнаружить оригинал, с которого сделан перевод. Это: «Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie Von Fried. Wilx. Dan. Snell, ordentlichen Professor der Philosophie in Giesen. Giesen und Darmstadt, 1806».

Сопоставление двух текстов дает основание считать, что автором книги «Начальный курс философии», которая была переведена П. Кондыревым и А. Лубкиным и издана в Казани, является профессор Фридрих Вильгельм Даниэль Снелль (1761 – 1827).

В фондах библиотеки Казанского университета имеется еще одна книга, изданная в Гиссене, авторами которой являются Х. В. Снелль и Ф. В. Д. Снелль: «Enziclopädie der Schulwissenschaften für höhere Bildungsanstalten, ausgearbeitet von einer Gesellschaft von Gelehrten und herausgegeben. Von Christian Wilhelm Snell, Professor und Rektor des Gymnasiums zu Idstein: Friedrich Wilhelm Daniel Snell, Professor der Philosophie Zu Giesen. Erste Abteilung: Philosophie 3 r Logik von F. W. D. Snell. Giesen, 1805».

2. Сочинения А. И. Герцена. СПб. 1908, т. 6, С. 262.
3. Вслед за Московским (1755), Дерптским (1802) и Виленским (1803) университетами.
4. В начале XIX в. многие ученые уезжали из Германии, потому что там складывались неблагоприятные для научной деятельности условия, порожденные прежде всего военными событиями. Известно, что Наполеон закрыл университет в Галле.

5. Более подробные сведения см.: Загоскин Н. П. История императорского Казанского университета за первые 100 лет его существования. 1804–1904. В 4-х томах. Казань, 1902–1906.

6 Булич Н. Н. Из первых лет Казанского университета (1805–1819). Часть II. Казань, 1891, с. 46. Чтение лекций на основе учебных пособий, написанных известными авторами, было обычным и в Казанском, и в других университетах явлением. В Казанском университете в это время читались лекции не только

по Снеллю, но и по учебникам Г. Сарториуса, Л. Якоба и др.

7. Там же, с. 43.

8. Там же, с. 46. До этого курс философии в университете читался Л. Левицким по вольфгангу Баумейстеру Ф. Х. Обращение к Снеллю в этих условиях было явлением новым, можно сказать, поворотным. В «Истории Казанского университета» (т. II, с. 647) Н. Загоскин и в его же «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Казанского университета» (часть I, Казань, 1904, с. 123) при составлении библиографии работ А. Лубкина была допущена ошибка: статья А. Лубкина «Письма о критической философии» обозначена как опубликованная в журнале «Вестник Европы» за 1805 год. На самом деле она была опубликована в 7 и 8 номерах журнала «Северный вестник» за 1805 год. Эта ошибка перешла и в «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, где неправильно указан и год смерти А. Лубкина, последовавшей не в 1829, как отмечено в словаре, а в 1815 году.

В книге Э. Радлова «Очерки русской философии» также содержится ошибочное утверждение, связанное с А. Лубкиным. Э. Радлов пишет: «В печати о Канте первый заговорил Лубкин, профессор Казанского университета, поместивший в 1805 г. в «Северном вестнике» письмо о критической философии». (Цитируется по книге: «Русская философия. Очерки истории», Изд-во Уральского университета, 1991, т. 1, с. 107.) Дело в том, что в момент написания указанной статьи А. Лубкин был ректором и преподавателем философии в Петербургской армейской семинарии. В Казанском университете он начал работать с 1812 года.

9. Об этом говорят видные историки русской философии: А. И. Введенский, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет.

10. Центральный государственный архив республики Татарстан. Фонд 977, опись «Совет», ед. хр. 73, с. 1.

11. Там же, с. 3.

12. П. Кондырев перевел с немецкого на русский язык и опубликовал сочинение профессора Геттингенского университета Г. Сарториуса «Начальные основы народного богатства и государственное хозяйство, следя теории Адама Смита». Казань. В университетской типографии, 1812. По этой книге он читал студентам курс политической экономии. – Центр, гос. архив... Фонд 977, опись «Совет», ед. хр. 96, с. 4.

13. Тем не менее издание «Эстетики, или критики вкуса» Снелля, осуществленное в 1814 году в Казани, имело значение для ознакомления русских читателей с эстетическими идеями Канта. «Эстетика...» Снелля должна быть поставлена в один ряд с книгой тоже кантианца Л. Г. Якоба «Начертание эстетики» (СПб., 1813).

14. Так, И. Войцехович в трактате «Опыт начертания теории изящных искусств» (М., 1823) в число рекомендуемых для учащихся пособий включает и казанское издание книги Снелля. Л. Якоб в «Начертании эстетики, или науки вкуса» (СПб., 1813) говорит о Снелле как одном из последователей Канта. Отдельные замечания о Снелле встречаются в работах И. Кронеберга, И. Ср.-Камашева.

15. В 1814 году попечитель Казанского учебного округа А. Разумовский запросил сведения о том, по каким учебникам в университете ведется преподавание. В ответе Лубкина на этот вопрос говорится: «Настоящий учебный курс преподавал следующим образом. Логику по своим тетрадям, следуя расположению г. Якоба. Эмпирическую психологию по Снеллю; метафизику, как-то онтологию, психологию, космологию и богословие умозрительное (rationale) по своим тетрадям, а нравоучительную философию теперь прохожу по Снеллю». – Центр, гос. архив... Фонд 977, опись «Совет», ед. хр. 96, С. 4. Книга Снелля использовалась как учебная и в Казанской гимназии. – Там же, С. 7.

16. Процесс запрещения книги Снелля, а также личное участие в этом Магницкого освещены в 1-ом (С. 290–291) и 3-ем (С. 484–487) томах «Истории» Н. Загоскина.

17. «Естественное частное, публичное и народное право, сочиненное И. Х. Финке». Казань. В университетской типографии. 1816. ХХI. 312 с. Выпускник и доктор права Геттингенского университета И. Х. Финке преподавал естественное право в Казанском университете в 1809–1814 годы. Книга Финке (как об этом он сам заявляет) основана на кантовской философии. В ней естественные права и свободы человека, разумные основания нравственности и другие прогрессивные для того времени идеи развиты и отстаиваются с большей, чем у Снелля, глубиной и последовательностью. Хотя Магницкий и дал сочинению Финке резко отрицательную оценку, высказав ее даже в письменной форме, поступить с ней так, как с книгой Снелля,

не решился: Финке напечатал свой труд «в пользу русских инвалидов» и на частные пожертвования. Более 300 экземпляров этой «зловредной» книги разошлись почти по всей России.

18. Получившая широкую известность в истории русского просвещения книга А. П. Куницына «Право естественное» вышла в 1818–1820 годах.

19. Рейнгард Х. Ф. Естественное право. Пер. с лат. Казань, 1816.

20. В «Инструкции ректору Казанского университета» от 17 января 1820 года Магницкий указывает, что философия отныне не может претендовать на самостоятельную роль, что она «в воспитание допускается как полезное только упражнение разума для изощрения сил его...» Центр, гос. архив... Фонд 977, опись «Совет», ед. хр. 497.

21. Загоскин Н. История..., т. IV, с. 627.

22. О том, почему «Метафизика» Лубкина была осуждена и в российских университетах, было ограничено преподавание философии, см.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры. СПб., 1892, с. 128–149.

23. В статье Л. Тузова «Полемика А. С. Лубкина против кантовской философии» утверждается (к сожалению, без приведения фактов), что издание «Метафизики» Лубкина, конфискованное Магницким, сгорело во время пожара в библиотеке университета. См.: Уч. записки Казанского гос. университета, т. 116, кн. 5, 1956, с. 271.

О ФУНКЦИЯХ ПОНЯТИЯ «РОМАНТИЗМ» В РУССКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА ХХ В.¹

В начале ХХ в. возрождается интерес к романтизму. В художественном творчестве, в критике и теории искусства, в философии. Почти сто лет спустя пришла вторая высокая волна романтизма. «... Русский культурный ренессанс начала ХХ века, – писал Н. Бердяев, – можно назвать русским романтизмом, и он бесспорно нес в себе романтические черты»².

О романтизме и русской культуре начала ХХ в. написана не одна работа. Но многие стороны этой темы до сих пор мало изучены или вовсе не исследованы. Так, обходились стороной взгляды на романтизм и романтическое в образе мышления Н. Бердяева, Ф. Степуна, С. Франка, С. Гессена и других «запрещенных» философов. Редко включались в научный оборот исследования и статьи на романтические темы В. Жирмунского, Б. Эйхенбаума, Л. Гуревич, З. Венгеровой, В. Гиппиуса, написанные в 10-е годы и по-новому трактующие романтизм.

Недостаточное внимание к романтической стороне художественной и интеллектуальной жизни начала ХХ в. обедняет ее целостную картину, оставляет в тени интересные идеи относительно сущности и истории романтизма, бытовавшие тогда и, возможно, не теряющие своего значения до нашего времени.

В последующих заметках речь пойдет в основном об одном из аспектов обозначенной выше темы – функционировании категории «романтизм» в русской мысли. То есть не о сущности романтизма в литературе и искусстве начала ХХ в., не о соотнесенности теоретических представлений того времени о романтизме с современными, а прежде всего о том, в каких целях и как использовалось тогда понятие «романтизм».

Бурное литературное движение, начавшееся в конце прошлого века, в центре которого был символизм, в 10-е годы как бы приостановилось и вступило в полосу самооценки. Ведущие поэты и писатели (В. Иванов, А. Белый, Д. Мережковский и др.) обратились к теории; возродились критические, теоре-

¹ Учён. зап. Казан. ун-та. 1995. Т. 131. С. 150-153.

² Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М.: Мысль, 1991. С. 93.

тические отделы журналов; вопросы литературы и искусства стали занимать все большее место в работах философов. В это же время заканчивается период широкого увлечения в русской философии материализмом и позитивизмом, предпринимаются попытки обосновать «новое религиозное сознание». В целом новая эпоха обретала более четкие контуры, и становилось возможным ее осознание.

Категории «романтизм» было суждено сыграть в этих условиях своего рода интегрирующую роль: ею стали объединять различные и нередко далекие друг от друга культурные явления. Повторилось то, что уже было при классическом романтизме, когда к романтикам относили Данте, Шекспира, Гете, Байрона, Пушкина, говорили о романтизме не только в литературе и искусстве, но и в философии, политике, стиле жизни. «Наше время стоит вполне определенно под знаком возрождающегося романтизма, — писал Ф. Степун. — Обращение естественных наук к витализму, обращение искусства к мистицизму и мифотворчеству и философии к жизни, — все это, вне всякого сомнения, признаки романтического миоощущения и романтического миротолкования»¹.

Романтизму придавалась роль общего определения нового не только во всей культуре времени, но и отдельных ее составляющих (литературы, музыки, философии). С. Венгеров и Ф. Браун обратились к понятию «неоромантизм», пытаясь обозначить типологическое в новой литературе. Вагнер в музыке, Беклин в живописи, Чаадаев, славянофилы, Ницше в философии, У. Джеймс в психологии... представлялись выражением романтических явлений в различных видах и течениях культуры.

Почему в своей автохарактеристике начало XX в. обращалось к романтизму? Прежде всего потому, что между ним и классическим романтизмом существовало родство, которое и начало осмысляться. Это известно и уже неоднократно исследовалось. Дополнительно отметим следующее.

В начале века новые течения в культуре декларировали свою оригинальность, противопоставляя себя непосредственным по исторической линии соседям — реализму, натурализму, позитивизму, традиционным формам религии и т.д. Однако по причине

¹ Логос, 1911–12. Кн. II, III. С. 309.

исторического же образа мышления, от которого им не удавалось оторваться, они искали оправдание себе тоже в истории, в прошлом, но не в ближайшем, а в отдаленном прошлом. Они обращались поверх голов рядом стоящих по истории противников к далеким романтикам как к своим истокам, собственной предтече¹. Казалось, чем выше вкорененность современных течений в историю и глубже их родословная, тем больше у них прав на существование и культурное призвание².

Не случайно поле функционирования слова «романтизм» в русском сознании расширялось, привлекательность романтизма росла и уверенность в его возрождении в новом искусстве укреплялась по мере того, как все дальше в историю уходило познание романтизма. В 10-е годы происходит открытие иенского романтизма³, начинается изучение раннего английского романтизма («озерная школа»)⁴, выходит ряд работ о русском романтизме. И соответственно все настойчивее проводится сближение раннего романтизма с современностью.

Наделение категории «романтизм» широкими обобщающими функциями размывало ее границы, обедняло содержание, превращало ее в нечто трудно определяемое. То, что происходило с этой категорией, многим современникам представлялось отступлением от последних достижений в исследовании романтизма. Действительно, в 10-е годы были изданы серьезные работы по русскому романтизму И. Замотина, П. Сакулина, А. Веселовского, П. Дацкевича и др., в которых как будто намечалось приближение к разгадке романтизма, к его определению. Основанные на анализе фактов и идеи в основном романтической эпохи эти работы строились на представлении о романтизме как исторически конкретном явлении. В этих условиях обращение к терминам «неоромантизм» и «романтизм» приме-

¹ Повторялось то, что было отмечено Ю. Тыняновым в литературе начала XIX в.

² Б. Эйхенбаум в рецензии на книгу В. Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» писал, что автор ее «...обосновывает символизм, узаконяет и ставит его на твердый фундамент традиции». (См: Заветы. 1913. №12. С. 96).

³ В первую очередь в работах Ф. Брауна, Ф. Степуна, В. Жирмунского.

⁴ Выходит, например, монография М. Жерлицина «Кольридж и английский романтизм» (Одесса, 1914).

нительно к течениям современного искусства многим казалось неудачным, превращением слова «романтизм» в чисто условное, бессодержательное понятие. Об этом спорили, в частности, С. Венгеров, П. Сакулин, В. Гиппиус, З. Венгерова и др.¹ Многие представители академического литературоведения были склонны видеть в типологической категории «романтизм» лишь научообразный теоретический прием, рассчитанный на обоснование некоторых течений в современном искусстве, или демонстративное пренебрежение критиков и начинающих учеников к традициям.

Не все в подобной оценке безосновательно. Однако обращение к слову «романтизм» в его типологическом, внеисторическом значении вело к новым темам в исследовании романтизма, к темам, которые при чисто историческом взгляде на романтизм оказывались в тени или вовсе не могли быть поставлены. Назовем лишь некоторые из них, так как цель этих коротких заметок не в их анализе.

Целый круг таких тем был связан, например, с попытками обосновать романтизм, объяснить его вечное пребывание в культуре факторами, коренящимися в самой природе человека: особенностями мировосприятия и мышления. Вышедшая в 1914 г. и сразу получившая известность книга В. Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» развивала новый взгляд на романтизм. Последний рассматривался в ней прежде всего как особый тип мировосприятия, возможный в различных национальных и исторических условиях. Литературно-эстетическая мысль 10-х годов (в статьях Ф. Степуна, Н. Бердяева, В. Иванова, А. Белого и др.) истоки романтизма находила в постоянной устремленности человеческого познания к целостности, в непреходящем значении интуиции, общей трагедийности искусства, в персонализме и т. д.

Расширение значения слова «романтизм» до включения в него современности вело к движению познающей романтизм мысли от современной культуры к прошлому, «к переносу» ее особенностей на классический романтизм. В таком способе познания нередко было больше собственной рефлексии, чем

¹ См.: Гиппиус В. Узкий путь // Русская мысль. 1914. №12; Сакулин П. Романтизм и неоромантизм // Вестник Европы. 1915. №3.

раскрытия подлинных черт исторического романтизма. В то же время только таким путем – путем нисхождения от современности к прошлому – и возможно было осознать традиции романтизма, выяснить в нем черты, остающиеся не замечаемыми при строго историческом подходе. В журнале «София» за 1914 г. публикуется программное предисловие с демонстративным названием «Наследие романтизма», в котором проводится параллель между искусством начала XX в. и классическим романтизмом. В основе параллели – «пробуждение доверия к искусству», «свобода художественного самоопределения», «освобождение творческой силы воображения», «эстетизм»¹.

Очевидно: начало, основа этой параллели – современное искусство; но она построена и на идее классического романтизма «искусство само себе цель». Именно в 10-е годы особенности классического романтизма, связанные с отстаиванием самоценности искусства, не нуждающегося в оправданиях извне, были впервые по-настоящему обозначены и подвергнуты осмыслинию.

Категория «романтизм» сыграла заметную роль и в развернувшихся в начале XX в. сопоставлениях русской литературы с западноевропейскими (в первую очередь немецкой) литературами. Романтизм выполнял роль своего рода общего знаменателя при сравнениях.

Именно на романтической основе проводились в 10-е годы аналогии между русской и немецкой литературами. В 1908 г. В. Иванов в лекции «Голубой Цветок», посвященной в основном творчеству немецкого романтика Новалиса, говорил: «Романтиков томила память о «Голубом Цветке» как о чем-то желанном, несбыточном и прекрасном. Не наступило ли для нас уже время томиться той же мечтой, что увлекала поэтов и мудрецов столетие тому назад»². Типична в этом отношении и статья Л. Гуревич «Немецкий романтизм и символизм нашего времени», в которой, в частности, проводятся аналогии между Новалисом, Тютчевым и русским символизмом³. В. Жирмунский в упомянутой выше книге и ряде статей писал о том, как прямо или опосредованно к «немецкой романтической стихии»

¹ София. 1914. №6. С. 4-5.

² Аполлон. 1909. №3. С. 41.

³ См.: Русская мысль. 1914. №4.

приобщались Белинский, Гоголь, Тютчев, Тургенев, Достоевский. Исследованию романтизма он придавал исключительное значение. «До тех пор, – утверждал Жирмунский, – пока не написана история русского романтизма и связанная с ней история немецкого романтизма в России, не может быть речи о научной истории русской литературы XIX века»¹.

Романтизм стал одной из ведущих категорий и при характеристике русской философии, истории как науки, при осмысливании их национального своеобразия и путей развития.

В 1910 г. Ф. Степун публикует прозаическую статью «Немецкий романтизм и русское славянофильство», в которой определяет славянофильство как «романтическое миросозерцание»². Романтизм для автора статьи – основа сопоставлений между славянофильством и западным образом мышления. Также в книге Н. Бердяева «А.С. Хомяков», вышедшей в 1912 г., романтизм выступает в роли одной из центральных категорий. Прежде всего в романтизме он находит круг ценностей, вошедших в мировоззрение славянофилов. «Лишь в недрах романтического движения, – пишет Бердяев, – зародился интерес к «историческому». Была поставлена проблема истории, было признано органическое, национальное, иррациональное»³. В целом в работах, написанных в 10-е годы о славянофильстве, в дискуссиях о нем взаимоотношения славянофильства и романтизма были одной из главных тем. Романтизм при этом выполнял роль типологической, более широкой, чем славянофильство, категории.

Самооценка культурной эпохи начала XX века была разнобразной, пестрой и во многом противоречивой. Но в ней существовали стержневые понятия, вокруг которых кристаллизовались в нечто общее разные точки зрения, возникали дискуссии. К их числу относится и романтизм.

¹ Русская мысль. 1917. №7. С. 34.

² Русская мысль. 1910. №3. С.70

³ Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С.147.

ИЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ И РУССКАЯ МЫСЛЬ XX ВЕКА¹

В истории русско-немецких культурных взаимоотношений были две высоких волны интереса в России к немецкому романтизму: первая – в 20-е годы XIX в., и вторая почти сто лет спустя – в 10-е годы XX в.

Обе они объясняются прежде всего романтическим «встречным течением» (Ни терминологии А. Веселовского) в самой русской культуре. Начало прошлого века – это становление русского романтизма в его классическом варианте; начало XX – бытование «неоромантизма» в различных формах.

Вторая волна активного интереса к немецкому романтизму ознаменовалась «открытием» иенского романтизма, который в своей собственной сущности, «тайне» оставался до этого почти неизвестным в России.

Имена отдельных представителей иенского романтизма встречались в русской критике первой трети XIX в. и их произведения переводились на русский язык. Так, в 1826 г. было издано в русском переводе сочинение Вакенродера «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного»¹. В 1829–1830 гг. вышла также на русском языке «История древней и новой литературы» Ф. Шлегеля². В русской романтической критике 30-х годов делались попытки сопоставления иенского романтизма с русской литературой: Надеждин намечал параллели между Л. Тиком и Гоголем, говорил о значении Новалиса для современности³; И. Киреевский сопоставлял идеи Шлейермакера с собственными религиозными взглядами⁴. Однако в России иенский романтизм как явление особенное в немецкой литературе, сердцевина ее романтизма, еще не воспринимался.

Заметную роль в том забвении, в котором оказались многие ранние немецкие романтики, сыграла большая и долгая популярность Ф. Шеллинга. Вообще в России XIX в. была устойчивой традиция сводить немецкий романтизм, сложный и во

¹ Deutsch-russische Sprach-, Literatur- und Kulturbeziehungen im 20 Jahrhundert. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996. – (Beiträge zur Slavistik; bd. 28).

многом противоречивый, к отдельным, пусть ярким и талантливым, его представителям: к Шеллингу, к оказавшему заметное влияние на русскую литературу Гофману, а начиная со второй половины века и к Гейне, почти все творчество, которого было переведено на русский язык, а его трактат «Романтическая школа» воспринимался как авторитетный источник суждений о немецком романтизме.

О том, почему «открытие» иенского романтизма состоялось именно в 10-е годы XX в., как оно изменило понимание романтизма вообще, к каким последствиям в трактовке русско-немецких культурных связей вело, что выяснило в типологической общности и различиях в немецком и русском романтизмах, – и пойдет речь в этой статье. Прежде изложим факты, свидетельствующие о том, как шло «открытие» иенского романтизма.

Начало исследованиям иенского романтизма в России было положено академическим литературоведением. В 1912 г. вышел в свет первый том «Истории западной литературы»⁵, в которой есть разделы, посвященные немецкому романтизму (авторы: Ф. Браун, В. Жирмунский, Э. Радлов, М. Петровский, П. Коган). Статьи о иенском романтизме принадлежат Ф. А. Брауну, одному из ведущих германистов того времени⁶.

Браун воспроизвел биографии и творческий путь первых немецких романтиков (Ф. Шлегеля, Новалиса, Л. Тика, Вакенродера, Шеллинга), тщательно систематизировал библиографические материалы и, что следует особо отметить, высказал две идеи методологического значения, которые будут приняты не только наукой, но и журнальной критикой того времени, найдут отражение и в философской литературе.

Во-первых, он решил открыть «подлинный романтизм», очистив представления о нем от позднейших наслоений, «восстановить перед глазами читателя первоначальный чекан» его⁷. Во-вторых, Браун утверждал, что «история романтизма далеко не закончена», так как романтизму, по его словам, «суждено было возродиться уже на наших глазах, возродиться в новых формах, но со старым идейным содержанием, в живописи Беклина и его школы, в музыке Вагнера..., в философии Ницше, в последних драмах Ибсена, в поэзии Метерлинка, Кнута Гамсона, нашего Баль蒙та...»⁸.

Однако привлечь внимание значительной части русского общества к проблемам иенского романтизма, к сопоставлению его с современностью Брауну не удалось: его статьи публиковались в научных изданиях и поэтому были лишены полемической направленности, отличались усложненным стилем.

Соединить серьезный анализ иенского романтизма со свободным стилем изложения, дать почувствовать почти каждому читателю те живые нити, что связывают далекий романтизм с современностью, подтолкнуть общество к спорам о иенском романтизме было суждено В. М. Жирмунскому.

В 1914 г. вышла ставшая ключевым в «открытии» раннего немецкого романтизма событием его книга «Немецкий романтизм и современная мистика»⁹; в 10-ые же годы появились посвященные немецкому романтизму статьи, рецензии, обзоры Жирмунского: «Современная литература о немецком романтизме», «Из эпохи романтизма», «Гейне и романтизм»¹⁰. В самом конце десятилетия отдельным изданием вышла его работа «Религиозное отречение в истории романтизма»¹¹.

Названная выше книга Жирмунского написана с любовью к раннему немецкому романтизму, щедро оснащена переведенными с большим вкусом цитатами из иенских романтиков и, что особенно существенно, написана с очень современных позиций.

Характеризуя иенский романтизм в его собственной, имманентной сущности, Жирмунский не претендует на особую оригинальность: он использует, сочетает идеи, высказанные до него в книгах, работах В. Дильтея, Р. Гух, Э. Кирхера, К. Иозля, О. Вальцеля, Фр. Штриха и др.¹².

Известно, что в самой Германии начала XX в. был совершен настоящий переворот в оценке романтизма и особенно его иенского этапа. Новый немецкий взгляд на романтизм существенно повлиял на первооткрывателей иенского романтизма в России: Ф. Брауна, В. Жирмунского, Ф. Степуна. Это влияние могло бы быть отдельным исследованием. Здесь же отметим, что Жирмунский сочетал уже известные идеи и собственные наблюдения так искусно и с такой направленностью в сторону русского сознания, что у читателя рождался образ уникальной романтической эпохи, хронологически столь далекой от него и в то же время такой близкой к настоящему.

Растущий в России интерес к иенскому романтизму не ограничивался чистой наукой. Он характеризовал общество в целом, проявляя себя в различных областях культуры. Яркое подтверждение тому – активные переводы на русский язык и издания ранних немецких романтиков, осуществленные на сравнительно коротком отрезке времени.

В 10-ые годы впервые на русском языке выходят «Гейдрих фон Офтердинген», «Фрагменты», стихи Новалиса¹³, переиздается упомянутая выше книга Вакенродера в том же переводе 1826 г.¹⁴, возрождается интерес к переводам Шеллинга на русский язык¹⁵. Одновременно читатель получает возможность ознакомиться с переведенными на русский язык произведениями немецких философов романтической направленности – Ф. Шлейермахера, М. Эккарта, Я. Беме¹⁶, – близость которых к иенскому романтизму представляется в печати очевидной. Ему предлагаются также переведенные на русский язык и содержащие анализ раннего немецкого романтизма работы Р. Гайма, К. Фишера, О. Брауна¹⁷.

Все, что шло от иенского романтизма или было связано с ним, вызывало в русском обществе напряженный интерес¹⁸. Книга Жирмунского была встречена с большим вниманием, в целом высоко оценивающие ее рецензии появились в нескольких журналах¹⁹. Перевод на русский язык Шлейермахера, «видного классика немецкого романтического движения», был сочен «не только желательным, но прямо-таки отвечающим самой насущной потребности времени»²⁰. Имена Баадера, Беме, Эккарта, Новалиса начинают часто встречаться в русской философской литературе, соседствуют с именами Шеллинга, Платона, Канта.

Почему же русская мысль «открыла» иенский романтизм, а ее определенная часть с таким энтузиазмом устремилась навстречу к нему, даже стала видеть в нем, как будет показано ниже, ключ к решению некоторых национальных проблем? В чем суть того «встречного течения» в русской культуре, которое было направлено в сторону раннего немецкого романтизма и привело к его «открытию»?

Краткий ответ на эти вопросы – русская идея «целостности» («соборности», «всесоединства»), которая в своем инобытии была или воспринималась как существовавшая в иенском романтизме.

Эта традиционная русская идея в начале XX века возрождается: в получившей к тому времени национальное признание философии В. Соловьева, сердцевину которой она образует; в миросозерцании неославянофилов; в идеях поэтов, писателей, художников... «Интересно, что в то время, — писал о начале XX века Н. Бердяев, — очень хотели преодолеть индивидуализм, и идея «соборности», соборного сознания, соборной культуры была в известных кругах очень популярная»²¹.

«Целостность» ввели в философское обращение И. Киреевский и Хомяков. Постепенно она стала традиционной категорией русского мышления. Ее сущность достаточно хорошо известна. Поэтому кратко обозначим в ней то, что идет от романтизма и перекликается с идеями иенского романтизма.

Целостность — единство различных сторон душевной жизни человека и (чувств, воли, разума); постижение природы, жизни целостным человеком, не рассекающим на элементы ее живую сущность; пребывание в любви и единстве с жизнью, с ее божественной сущностью; духовное равновесие и гармоничное состояние человека, в котором индивидуальное и всеобщее примирены.

Жирмунский и большинство из тех, кто еще писал о иенском романтизме (Ф. Браун, З. Венгерова, Л. Гуревич, Ф. Степун, В. Иванов и др.), говоря о том, что в раннем немецком романтизме может быть названо русским словом «целостность», почти не пользуются последним. Они описывают «целостность» в основном в словах самих немецких романтиков, часто оперируя романтической лексикой, образными формами.

Вот что и как говорит о иенском романтизме Жирмунский. Романтизм — «новое переживание жизни», «непосредственное чувство бесконечного или мистическое чувство». «При свете этого нового чувства весь мир как будто наполняется теплым дыханием божественного. За гранью конечного открывается бесконечная даль; но и близко в этот мир, в самую душу человека входит бесконечное; оно наполняет собой деревья и травы, поля, покрытые цветами, свободные реки и дальние светлые горы; оно открывается и в глубине души человеческой, в переживаниях любви, подчиняет себе поэзию и становится высшим содержанием человеческой культуры»²². Каждое романтическое переживание поэтому в глубине своей светло и значимо как таящее божественный смысл. В нем достигается примирение мира

и божественного, индивидуального и бесконечного, культуры и религии.

В поисках слов и понятий, идентичных сущности романтизма, Жирмунский возвращается к широко бытовавшему в русской критике 20–30-х годов XIX в., но затем почти забытому определению романтизма – «бесконечное в конечном», – заимствованному в свое время из немецкой эстетики, пользуется свойственными для самого немецкого романтизма понятиями и образами «томуление», «голубой цветок»...

Так описывалась Жирмунским и в таком же, примерно, стиле Л. Гуревич, З. Венгеровой, Ф. Степуном и др. «целостность» в «чужой» (немецкой) культуре, в другом (XVIII в.) времени. Она не переводилась сразу в категории русского мышления или в понятия XX в. И это помогало представить «целостность» как общечеловеческую ценность, как бы свидетельствовало о том, что она многолика в своих национальных формах и историческом развертывании.

Иенский романтизм и близкая по своей природе к нему тяга к целостности, которая явно обозначилась в русском сознании 10-х годов, привели к рождению новой, оказавшейся рядом с традиционной, теории романтизма. В новой теории романтизм идентифицируется с иенским своим вариантом, а также с рядом философов мистического мировоззрения. Очень широко бытующее и в критике, и в философии того времени слово «романтизм» теперь начинает предполагать сравнительно устойчивый набор имен: Новалис, Ф. Шлегель, Вакенродер, Тик, Шеллинг, Эккарт, Беме, Баадер.

В соответствии с новым взглядом на романтизм начинается пересмотр и всей истории немецкого романтизма. Теперь в ее центр ставятся иенские романтики с их оригинальными философскими воззрениями и творческими принципами. Пример такого пересмотра – статья Жирмунского «Гейне и романтизм». В ней автор, объявив иенский романтизм «подлинным» и обозначив его сущность как целостность и «мистический реализм», отдал от него «дуалистов» Гофмана и Гейне, творчество которых основано на противопоставлении мечты и реальности. Гофман и особенно Гейне, по определению Жирмунского, – «эпигоны романтизма». Они оторвались от романтического мистицизма, который «носит подлинно реалистический харак-

тер» и «принимает жизнь во всем ее многообразии и во всей ее полноте». У Гофмана и Гейне бесконечный мир, единственно ценный и желанный, противопоставляется миру низкой действительности. «Гейне, – пишет Жирмунский, – характерный представитель позднего романтизма. В нем завершается процесс саморазрушения романтического чувства»²³.

В сфере активных интересов русской мысли иенский романтизм находился менее десяти лет. За это короткое время понастоящему не развернулись исследования его внутренней сущности. Феномен иенского романтизма был обнаружен, описан; он был уловлен русской мыслью скорее интуитивно, чем изучен рационалистически. Речь в большей степени шла о функциях этого феномена в русских условиях, чем о его имманентной природе.

Однако и в эти годы были отдельные попытки анализа иенского романтизма с точки зрения его собственных закономерностей. Приоритет здесь принадлежит, видимо, Ф. Степуну. Уже в 1910 г. он публикует в международном журнале «Логос» объемную статью «Трагедия творчества (Фридрих Шлегель)».

Степун сосредоточил внимание на основном противоречии в мировоззрении и творческом методе Ф. Шлегеля, которого он называет «душою романтизма». Через трагедию философии и творчества Ф. Шлегеля он намеревался проникнуть в глубинную «сущность подлинного романтизма».

Статья настолько концептуальна и логична по форме, что напоминает схему. Но в ее основе оригинальная и подтверждаемая фактами идея. Вкратце она сводится к следующему. В Ф. Шлегеле было постоянным стремление к «положительному всеединству». «Единый и всеобъемлющий дух – вот основная проблема и величайшая ценность романтизма, – пишет Степун. – Фридрих Шлегель... словно болеет какою-то страшною жаждой, какою-то палящею тоскою по этому всеединому духу»²⁴. «Полному разъединению и обособлению человеческих сил», расцветшему в современных условиях, Ф. Шлегель противопоставлял идеальную «цельность, полноту и свободу всех внутренних сил человека». Трагедия Ф. Шлегеля, считает Степун, в том, что он поставил недостижимую цель: найти для выражения безграничной полноты переживания, целостности духа такие теоретические и художественные формы, которые

бы никак не ограничивали, ни в чем не нарушали это «святое всеединство». Но творчество (и философское, и художественное) никогда не будет в состоянии передать всю полноту и конкретность жизни, так как оно, осуществляясь в определенных формах, являясь фактом общей культуры, требует от автора «внутреннего самоограничения». «Как объять безграничность переживания ограниченную формою художественного творчества – вот... основная проблема «Люцинды»²⁵, – пишет Степун. В этом в принципе неосуществимом стремлении «сделать форму всеединства жизни формою художественного и философского творчества», по словам Степуна, «сгорела творческая сила Шлегеля, и в этом огне родилась его трагедия».

К природе иенского романтизма Степун в 10-ые годы постоянно возвращается. Так, в статье «Жизнь и Творчество»²⁶ он рассматривает философские воззрения романтиков в контексте Кант – Фихте – Гегель, а также на фоне «аналитического духа современной философии». Он продолжает говорить об отмеченной выше антиномии романтизма и обращается к новым темам: «структура культурного идеала романтизма», «современный неоромантизм», будущее романтизма.

О противоречиях иенского романтизма и с той же их оценкой, какая дается у Степуна, говорилось и в статье С. И. Гессена «Мистика и метафизика»²⁷, хотя она в целом и не была посвящена романтизму.

Иенский романтизм содействовал также обогащению и в некотором отношении пересмотру представлений о русском романтизме.

10-е годы – это время активного осмысления русского романтизма: переиздаются и публикуются впервые многие произведения и письма И. Киреевского, П. Чаадаева, Н. Станкевича, после долгого перерыва вновь выходят из печати «Русские ночи» В. Одоевского и т. д.; появляется ряд исследований, посвященных русскому романтизму И. Замотина, П. Сакулина, М. Гершензона и др. Журналы, нередко и газеты очень внимательны к русскому романтизму, к тому, как он исследуется; в них возникают дискуссии по проблемам романтизма.

Одна из таких дискуссий, в которую оказался включенным и иенский романтизм, – это спор между П. Сакулиным и В. Гиппиусом о В. Одоевском. Началом его явилась рецензия

Гиппиуса «Узкий путь» на исследование Сакулина «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский». Гиппиус критиковал Сакулина за то, что он, говоря о романтизме Одоевского, о влиянии на последнего Шеллинга и Гофмана, оставил почти без внимания иенский романтизм. «Иенского романтизма, этой бурной идейной атмосферы, отзвуком которой был русский романтизм, для Сакулина как будто не существует; щедрый на сопоставления разного рода, он избегает сравнений Одоевского с романтиками, даже тех, которые напрашиваются»²⁸, – писал автор рецензии. В ответной статье «Романтизм и неоромантизм» Сакулин говорил о невозможности «подходить к Одоевскому с иенским аршином», так как, по его словам, «с Шлегелем, Тиком и Новолисом у Одоевского очень мало общего»²⁹. Разногласия Сакулина и Гиппиуса касались также «подлинного романтизма», «неоромантизма», «романтизма и мистики» и других связанных с разным пониманием иенского и русского романтизмов вопросов. Более подробное изложение и оценка дискуссии, которая имела продолжение, – самостоятельная тема. Здесь она приведена лишь в качестве примера того, как иенский романтизм в роли активного фактора включался в обсуждение своеобразия русского романтизма.

Если проведение аналогий, связей между ранним немецким и русским романтизмами было естественным и понятным, так как речь шла о сопоставлении родственных явлений, то возникшие в 10-е годы попытки включить иенский романтизм в контекст русской классической литературы XIX в., выходящей за пределы романтизма, казались смелыми и неожиданными.

Вновь здесь приходится возвращаться к имени Жирмунского, который, в частности, писал о том, что тип романтического художника, созданный Вакенродером в образе Иосифа Берлингера, явился родоначальником целого семейства романтических типов в европейских литературах и дал «в русском романе три замечательных отражения: в безумном музыканте Ефимове из «Неточки Невзоровой» Достоевского; Лемме, старом учителе Лизы Калитиной у Тургенева; и, наконец, в добром и милом Карле Ивановиче... из «Детства и Отрочества» Толстого...»³⁰.

Прямо или опосредованно к «немецкой романтической стихии» приобщались, как считает Жирмунский, Белинский,

Гоголь, Тютчев, Тургенев (в «Призраках», «Песне торжествующей любви», «Кларе Милич»), Достоевский (в «Двойнике», «Хозяйке», «Неточке Незвановой»).

Именно в романтические 20–30-ые годы XIX в., когда в России происходит перелом от рационализма XVIII в. в сторону мистического, религиозного сознания, по словам Жирмунского, «зарождается та глубокая и религиозная струя, которая кладет неизгладимую печать на русскую литературу эпохи ее расцвета». Поэтому Жирмунский придавал методологическое значение исследованию романтизма. «До тех пор, – утверждал он, – пока не написана история русского романтизма и связанная с ней история немецкого романтизма в России, не может быть и речи о научной истории русской литературы XIX века»³¹.

То, что говорил Жирмунский о связях раннего немецкого романтизма и русской классической литературы, не получило в 10-е годы заметного распространения, хотя оно поддерживалось в печати и обсуждалось в литературных кругах. Оно не было развито и самим автором, осталось в основном в виде тезисов и программ возможных исследований. Однако некоторые из идей Жирмунского стали вновь актуальными, когда в 60–80-е годы XX века в России возникла новая волна интересов к романтизму, когда опять развернулись дискуссии о его сущности, начались исследования романтизма Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чехова...

Еще одна область русской литературы, которая тянулась к иенскому романтизму и декламировала свои связи с ним, – это символизм. В русском символизме были черты, роднящие его с ранним немецким романтизмом. Символисты так же, как иенские романтики или славянофилы, стремились к целостности. «Нет никакой раздельности. Жизнь едина. Возникновение многого только иллюзия»³², – писал А. Белый в статье «Апокалипсис в русской поэзии». «Цель поэзии, – продолжал он здесь же, – найти лик музы, выразив в этом лице мировое единство вселенской истины»³³. Связь мыслей А. Белого, как и аналогичных высказываний В. Иванова, Д. Мережковского, К. Бальмонта и других символистов, с романтической теорией искусства как «бесконечного в конечном» очевидна.

В 10-е годы русский символизм вступил в кризис. Началось его активное теоретическое обоснование; сторонники сим-

волизма в своих трактатах и статьях стремились представить его как искусство с глубокими историческими корнями. Иенский романтизм – миросозерцание и искусство другого народа и далекого прошлого, – в котором действительно содержались родственные символизму начала, оказался для них благодатным материалом. Теперь, не останавливаясь на французских только источниках символизма – Верлэне и Бодлере, – можно было обратиться и к более глубоким, как думалось русским символистам, его корням – творческому опыту Новалиса, Тика, немецких мистиков.

В 1908 году В. Иванов, глава русского символизма, выступает с лекцией «Голубой Цветок», посвященной в основном Новалису. Эта лекция в изложении С. Ауслендера была опубликована в журнале «Аполлон». «Романтиков томила память о «Голубом Цветке» как о чем-то желанном, несбыточном и прекрасном, – говорилось в лекции. – Не наступило ли для нас уже время томиться той же мечтой, что увлекала поэтов и мудрецов столетие тому назад». Иванов провел параллели между романтическим «Голубым Цветком» и символами современной поэзии: «Мировая Душа», «Вечная Дама», «Вечная Женственность». Он также сопоставил «магический идеализм» (этими словами Новалис определял свое миросозерцание) с «мистическим реализмом» символического искусства. Новалис для Иванова – это начало пути, ведущего к постижению жизни. «Новалис должен быть дорог нам как первый предтеча последнего проникновения в тайну Мировой Души»³⁴.

Оценки символистами иенского романтизма, как и лекция В. Иванова, сплетены, как правило, из интуитивных догадок, аналогий, свободной игры понятиями. Они пронизаны удивлением и радостью их авторов от неожиданной встречи с очень родственным в чужой культуре. И по содержанию, и по форме это в основном романтические оценки романтического же предмета.

Типична в этом отношении статья Л. Гуревич с демонстративным названием «Немецкий романтизм и символизм нашего времени», указывающим на явную цель автора связать историю с современностью.

Гуревич обращается к иенскому романтизму прежде всего для того, чтобы углубить «родословную... символизма» и тем

самым укрепить его позиции. Она пишет: «Да, наши связи с иенским романтизмом гораздо значительнее, чем это до сих пор осознано в нашей литературе. В поэтике Тика мы находим уже и принцип Верлэна *«de la musique avant toute chose»*, из которого проистекает особый интерес романтиков к вопросам ритма и метра. Наконец, и основной мотив знаменитых бодлеровских *«Соответствий»*, этого краеугольного камня новейшей символической поэзии, тоже заимствован у немецкого романтизма, – и не в том только смысле, что в нем отразились идеи Якова Беме и Сведенборга, которым увлекались романтики, но в том, что этот мотив почти полностью встречается у Тика».

Критик проводит аналогии между Новалисом, Тютчевым и современным символизмом: «...Новалис так близок нам, столько путей ведет от него к настроениям и идеям, которое мы находим у вдохновителей нашей эпохи. Его *«Гимны к ночи»* роднят его с Тютчевым»³⁵.

В статье Гуревич говорилось также о близости идей Ф. Шлегеля, Достоевского, Ницше, З. Гиппиус, сопоставлялась субъективность романа Л. Тика *«Виллиам Ловель»* с *«солипсизмом Сологуба»*, с культом *«дерзновения»*, воспеваемого... Мережковским и Бальмонтом».

Для тех направлений русской мысли, где целостность играет ведущую роль, было важным обнаружить ее и в других национальных сознаниях. Стремление, объяснимое условиями времени: культура России начала XX в. находилась в интенсивном взаимодействии с европейской культурой и определяла свое место в ней. И иенский романтизм часто представлялся в этих условиях инобытием органичной для русского сознания идеи целостности.

Поэтому совершенно неслучайно в русской мысли 10-ых годов возникает желание отводить иенскому романтизму особое место в русско-немецких культурных связях; обозначает стремление рассматривать его не в обычном ряду влиявших на русскую культуру немецких факторов (Гердера, Гете, Ницше и др.). Русская мысль оказывается склонной видеть в иенском романтизме выражение того в природе немецкой культуры, что свойственно и русской. Иенский романтизм и своего рода русские эквиваленты его – это, с ее точки зрения, родственные, совпадающие элементы в структурах немецкого и русского сознаний.

В связи с этим существенный интерес представляет то, что в русской мысли 10-х годов рождается тема «немецкий романтизм и славянофильство». Иенский романтизм оказывается «втянутым» в развернувшуюся в эти годы дискуссию о славянофильстве, как бы допускается в особую сферу русской идеи.

Первым, кто выдвинул обозначенную выше тему, был Ф. Степун, опубликовавший в 1910 г. пространную статью «Немецкий романтизм и русское славянофильство»³⁶. Не противопоставление Востока и Запада было в центре этой статьи: автора преимущественно занимали параллели и сходства между славянофильством и романтическим направлением в западном образе мышления.

Славянофильство Степун называет «романтическим миро-созерцанием» Общее в славянофильстве и иенском романтизме, с его точки зрения, – это: «страдание под гнетом атомизма жизни и формализма мысли, глубокая жажда универсального синтеза, ясное понимание, что он возможен только на почве религиозного преображения жизни, и стремление определить религиозную природу души как соборную целостность сил ее»³⁷. Степун прослеживает проникновение немецких романтических идей в Россию, пишет о том, почему «наивное» и религиозное в своей сущности русское сознание прошло мимо Канта и Фихте и обратилось к Шеллингу, Новалису, Шлегелю; как славянофилы в центр известного «романтического постулата целостности личности» поставили православие; как романтическая проблема особой задачи и особого назначения каждого народа, выдвинутая еще Гердером, трансформировалась в славянофильстве в известную идею «о мессианской роли России как о завершении европейской культуры»³⁸; как оценивали славянофилы движение Шеллинга «навстречу восточной мистике и учениям византийских отцов церкви». При этом он тонко сопоставляет и переплетает идеи немецкого и русского романтизмов.

Говоря о кризисе славянофильства, Степун также обращается к аналогиям: кризис был, с его точки зрения, следствием типичных для романтического мировоззрения противоречий, проявивших себя еще в иенском романтизме.

Тезис о глубоком влиянии раннего немецкого романтизма на славянофилов и русское сознание в целом Степун настойчиво повторял. Как только в 1912 г. вышла книга Бердяева

«А.С. Хомяков», он пишет рецензию на нее, в которой утверждает, что славянофильские «мотивы можно без малейшей натяжки извлечь из сочинений и дневников романтической школы»³⁹. И книга Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика», которая оказалась в русле идейных исканий Степуна, послужила для него еще одним поводом для того, чтобы, теперь уже более развернуто и четко, высказать близкую ему идею. В рецензии на нее он писал: «...Немецкому романтизму довелось сыграть в истории образования русского мировоззрения совершенно исключительную роль. Все мировоззрение и литературная манера князя Одоевского, весь образ мысли раннего славянофильства, концепция Чаадаева, «Критика западной философии» Вл. Соловьева и его попытка построить «Органическую логику», наконец, такие сознания наших дней, как эстетическое учение Вяч. Иванова и «Философия хозяйства» С.Н. Булгакова, – все это многообразно и многомотивно связано с произведениями Фихте, Шиллера, Шеллинга, Шлегеля, Новалиса и других»⁴⁰.

Взгляды Степуна претерпели эволюцию. В статье «Прошлое и будущее славянофильства», вышедшей в 1913 г. (не очередной рецензии, а небольшом самостоятельном исследовании), он уже не так прямолинеен в утверждениях о зависимости славянофилов от ранних немецких романтиков. Правда, и в ней он вновь повторяет мысль об общем в их философии. Здесь, по его мнению, «громадное сходство прямо-таки бросается в глаза». В то же время Степун теперь не останавливается на чисто философских сопоставлениях, так как «славянофильство представляет собою отнюдь не исключительно философскую концепцию». Как историко-культурное явление и историко-психологическое переживание славянофильство, по его словам, «органично», оно «копировалось на самое существенное, чем создавалась духовная Россия – на внутренний опыт всего русского народа»⁴¹. Степун пишет о новых функциях немецких романтических идей в русском сознании. Эти идеи находили у славянофилов «вполне самостоятельное и оригинальное применение». В частности, центральная из них – идея «всесоединства», «целостности духа», – идущая, как считает Степун, от Эккарта, Беме, иенских романтиков, Баадера, была использована в противопоставлении Запада и России. На ее основе славянофилы «Россию...

решительно возвысили над Западом как единственную страну целостного переживания и подлинной религиозной свободы»⁴².

Степун высказывал свои идеи, как правило, категорично, полемически заостряя их; они редко разворачивались им в исследования. Как нетрудно было заметить, он недостаточно отличал типологические совпадения в немецкой и русской культурах от совпадений, вызванных влияниями. Но он первым обратил внимание на большее, чем представлялось до него, значение раннего немецкого романтизма для русской культуры⁴³. Он стоит у истоков исследования иенского романтизма и как самостоятельного явления, и в его связях с русским сознанием.

Понимание того, что и в раннем немецком романтизме, и в русской культуре есть общие начала фундаментального свойства, было достаточно глубоким и устойчивым. Оно сохранилось даже в годы первой мировой войны, когда в печати противопоставление русской и немецкой культур стало правилом.

Новалис и Шеллинг, к примеру, продолжают ассоциироваться в русском сознании с общечеловеческими ценностями, которые выше военного противостояния. «Не с Германией Лессинга, Гердера, Шиллера, Гете и Шопенгауэра, этих учителей как русских славянофилов, так и русских западников, не со всей великой культурой недавнего прошлого боремся мы»⁴⁴, утверждал Г. Рачинский.

Даже наиболее истовый из неославянофилов Ф. Эрн, автор получившей широкую известность речи «От Канта к Круппу»⁴⁵, в которой германский милитаризм выводился из немецкой философии, признал, отвечая на критику и внося поправки в радикальные свои взгляды, что в немецкой культуре есть «линии духовного развития... глубочайшей, вселенской значительности». К ним он относил «прежде всего чистейшую не только в классическом, но и в религиозном смысле линию старой немецкой музыки, а затем светлые вершины немецкой поэзии: Шиллера, Гете, Новалиса»⁴⁶.

Популярная в годы войны антитеза культур строилась не только по национальным признакам, она проводилась и по принципам национального характера. Ряд русских философов и писателей (С. Булгаков, В. Иванов, Е. Трубецкой, Г. Рачинский и др.) выдвинули идею, в соответствии с которой война – это столкновение машинной цивилизации, эгоизма и безрелигиоз-

ногого позитивизма с высшей духовностью, с целостным человеком и вечными религиозными ценностями⁴⁷. Романтическая основа этой идеи очевидна; она, как известно, нашла отражение и в немецком национальном сознании.

Иенский романтизм в 10-ые годы XX в. вошел в русское сознание в качестве немецкой темы, был воспринят и описан прежде всего как уникальное явление немецкой культуры.

Но, оказавшись в орбите русской мысли, он не превратился в рядовой, пассивный предмет исследований. Ответное воздействие иенского романтизма на русскую мысль было значительным. Он выступил в роли своего рода катализатора новых тем, теорий и взглядов.

За пределами 10-ых годов изучение раннего немецкого романтизма надолго прерывается войной и последствиями революции. Один из его сторонников и исследователей (Жирмунский, Эйхенбаум, Гиппиус, Гуревич) были вынуждены отказаться от него как самостоятельной научной темы, другие (Степун, Франк) были высланы из страны.

Возрождение интереса к немецкому романтизму, включая ранний этап его становления, начинается в 70-ые годы. Выходят серьезные исследования Н. Берковского, З. Каменского, А. Дмитриева, Р. Габитовой, А.В. Михайлова, В. Грешных и др. Однако и в них проблема взаимодействия иенского романтизма в русской мысли начала XX века практически не ставилась, так как она автоматически вела к «запрещенным» именам и идеям.

Теперь в новых, более свободных условиях судьба раннего немецкого романтизма и его идей в России может быть изучена во всей своей сложности и противоречиях. Попыткой исследовать некоторые грани этой судьбы и была данная статья.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного. М.: «Изд-во Л. Тиком», 1826.
2. История древней и новой литературы. СПб., 1829–1830.
3. См.: рецензию Н. Надеждина на повесть Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»; «Письма из Киева о русской литературе (письмо первое)».
4. См. его письма к А. Елагиной (в частности, от 3/15 марта 1830 г.)

5. История западной литературы (1800–1910 гг.). М.: Мир, 1912.
6. Браун Ф. А. (1862–1942) – известный филолог-германист, внесший вклад в изучение взаимных влияний германских и славянских культур. Профессор Петербургского, а с 1923 г. – Лейпцигского университетов.
7. История западной литературы. Т. 1. С. 207.
8. Там же. С. 209.
9. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914.
10. В журнале «Русская мысль»: 1913. №11. С. 31–18; 1914. № 5. С.90–116; 1914. № 7. С. 28–34.
11. Религиозное отречение в истории романтизма. – М., 1919.
12. Конкретные работы этих немецких авторов и их идеи, представляющие интерес для читателя того времени, названы и проанализированы в отмеченной выше статье Жирмунского «Современная литература о немецком романтизме».
13. Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Пер. с нем. Зин. Венгеровой и Василия Гиппиус (стихи). М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1914.
- Новалис. Фрагменты. В пер. Григория Петинкова. М.: изд-во «Лирень», 1914. Издание всего в 32 с., содержащее незначительную часть оригинала.
- Стихи Новалиса в переводах В. Иванова // Аполлон. 1910. № 7.
14. С послесловием и примечаниями П. Сакулина. (М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1914.)
15. Шеллинг. Философские письма о догматизме и критицизме. Иммануил Кант // Новые идеи в философии. Сборник 12 СПб.: Образование, 1914.
16. Шлейермакер Ф. Речи о религии. Монологи. Пер. и вступ. ст. С. Л. Франка. – М.: Русская мысль, 1911.
- Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912.
- Я. Беме. Аврора или утренняя заря в восхождении / Пер. А. Петровского. – М.: Мусагет, 1914.
17. Соответственно: Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. М., 1891; Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905; Шеллинг и наше время. М., 1913.
18. На заседаниях Неофилологического общества при С.-Петербургском университете читались доклады Ф. Брауна

«Эволюция романтической теории», о Новалисе, В. Жирмунского – «Иенский романтизм и мистика жизни», которые вызывали оживленные споры. См.: «Записки Неофилологического общества...», вып. VII, СПб., 1914.

Иенские романтики в 10-ые годы были предметом обсуждения в переписке В. Жирмунского и Б. Эйхенбаума. См.: Тынновский сборник. Третий тынновские чтения. – Рига: изд-во Зинанте, 1988. Дополнительные материалы о том, какое место иенский романтизм занимал в дискуссиях 10-ых годов XX в., содержатся в комментариях Е. А. Тоддес к работам Б. Эйхенбаума. См.: Эйхенбаум Б. О литературе. – М.: Сов. писатель, 1987.

19. Б. Эйхенбаума в «Заветах», 1913, №12; Ф. Степпуна в «Северных записках», 1914, №4; П. Когана в «Современном мире», 1914, № 9.

20. Из рецензии Ф. Степпуна на издание Шлейермахера в русском переводе. Логос, 1911–1912, кн. II и III, С. 308.

В дальнейшем фамилию «Степпун» мы будем давать в современном написании, с одним «п».

21. Бердяев Н. Самопознание. М.: Мысль, 1991. С. 135.
22. Русская мысль. 1914. № 5. С. 91.
23. Там же. С. 96.
24. Логос. 1910. кн. I. С. 176.
25. Там же. С. 191.
26. Логос. 1913. кн. III и IV.
27. Логос. 1910. кн. I.
28. Русская мысль. 1914. № 12. С. 1-2.
29. Вестник Европы. 1915. № 3. С. 155.
30. Русская мысль. 1914. № 7. С. 29.
31. Там же. С. 34.
32. А. Белый. Луг зеленый. М.: Изд-во «Альциона». 1910. С. 222.
33. Там же. С. 230.
34. Аполлон. 1909. № 3. С. 41.
35. Русская мысль. 1914. № 4. С. 106–107.
36. Русская мысль. 1910. № 3. С. 65–91.
37. Там же. С. 73.
38. Там же. С. 75.
39. Логос. 1911–12. кн. I и II. С. 283.
40. Северные записки. 1914. № 2. С. 186.

41. Северные записки. 1913. № 11. С. 127.
42. Там же. С. 135.
43. Среди других исследователей, близких к Степуну в развитии этой темы, можно отметить Е. Трубецкого, Н. Устрялова.
44. Русская мысль. 1914. №12. С. 85.
45. Речь Ф. Эрна «От Канта к Круппу», произнесенная на заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 6 окт. 1914 г., опубликована в 12-ом номере «Русской мысли» за 1914 г. Вновь она была перепечатана в 1989 г. в 9-ом номере журнала «Вопросы философии», сопровождаемая предисловием С. Киселева и статьей Ю. Шеррер.
46. Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 327–328.
47. См. речи С. Булгакова «Русские думы», В. Иванова «Вселенское дело», Г. Рачинского «Братство и свобода», Е. Трубецкого «Война и мировая задача России», произнесенные на том же заседании памяти Вл. Соловьева и опубликованные в 12-ом номере «Русской мысли» за 1914 г.
48. Например, в «Размышлениях аполитичного» Т. Манна. Об этом: статья Б. Парамонова «Шедевр германского “славянофильства”» // Звезда. 1990. №12.

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВА «РОМАНТИЗМ» (начало XX века)¹

В 10-е годы нашего столетия слово «романтизм» резко расширяет поле своего употребления, проникая в художественную критику, публицистику, философию и другие области знания. Оно стало объединять различные и нередко далекие друг от друга культурные явления. «Наше время стоит вполне определенно под знаком возрождающегося романтизма, писал Ф. Степун. – Обращение естественных наук к витализму, обращение искусства к мистицизму и мифотворчеству и философии к жизни – все это, вне всякого сомнения, признаки романтического мироощущения и романтического миротолкования» (Логос, 1911–12. Кн. 11. III. С. 309). Повторилось то, что уже было в начале XIX в., когда говорили о романтизме не только в литературе и искусстве, но и в философии, естествознании, стиле жизни.

Однако возврат к обобщающему смыслу слова «романтизм» проходил в новых условиях, он совершался после долгих исследований романтизма, в результате которых была достигнута, казалось, терминологическая ясность (И. Замотин. П. Сакулин. А. Веселовский и другие представители академического литературоведения под романтизмом понимали исторически-конкретное литературное движение первой трети XIX в.). Новое значение, придаваемое слову «романтизм», размывало границы установившегося термина, вновь возвращало романтизм в разряд трудно определяемых явлений. То, что происходило с этим словом, многим представлялось результатом бессодержательной игры фантазии.

Расширение пространства, на котором стало функционировать слово «романтизм», его приложение к разным сферам жизни сопровождались возвращением к нему нетерминологических (оценочных, эмоционально-экспрессивных, житейских и др.) значений, что было свойственно, как известно, и началу прошлого века. Слово «романтизм» приобретает оценочную

¹ Языковая семантика и образ мира. Тез. Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию университета. Кн. 2. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997. С. 96–97.

семантику, становясь часто средством выражения отношения (возвеличивающего, уничижительного и т. п.), а не обозначением объективного содержания.

По мере выхода слова «романтизм» из сферы академического литературоведения в художественную критику, философию, на страницы журналов и даже газет возрастало внимание к его типологическому значению, к пониманию романтизма как мировосприятия, возможного в различных исторических и национальных условиях (об этом писали В. Жирмунский, Ф. Степун, Н. Бердяев, В. Иванов, А. Белый). Так слово «романтизм» оказалось в орбите полисемии, имевшей значение для его судьбы в дальнейшем. Изучение романтизма в его конкретно-историческом облике и одновременно в типологическом его значении остается в центре и современных исследований.

ОБ ИСТОЧНИКАХ «ПОДРАЖАНИЙ КОРАНУ» А.С. ПУШКИНА¹

Еще в 1930 году К.С. Кашталева в статье «Подражания Корану и их первоисточник» («Записки коллегии востоковедов». Т. V. С. 243–270) доказала, что, создавая осенью 1824 года свой знаменитый цикл из 9 стихотворений, Пушкин опирался на перевод Корана (с французского языка на русский), выполненный М. И. Веревкиным (1732–1795) и изданный в 1790 году.

В последующие десятилетия источники «Подражаний Корану» и условия, в которых последние писались, исследовались в работах Б. Томашевского, И. Брагинского, Н. Нольмана и, наиболее целенаправленно, Д. Белкина («Тема зарубежного Востока в творчестве А. С. Пушкина» // Журнал «Народы Азии и Африки», 1965, № 4) и Н. Лобиковой («Пушкин и Восток. Очерки». – М., 1974). В них воссоздан тот достаточно высокий интерес к Востоку, которым характеризовалась атмосфера интеллектуальной и художественной жизни первой трети XIX века и в которой становилось творчество Пушкина, обозначены личности (И. Кайданов, А. Болдырев, Х. Френ, С. Уваров, О. Сенковский и др.), прямо или косвенно повлиявшие своим ориентализмом на поэта, отмечены и мотивы биографического характера, обращавшие внимание Пушкина к Востоку.

Значительную роль в той увлеченности Востоком, которая была свойственна пушкинскому времени и как составляющая общей культуры повлияла и на обращение Пушкина к Корану, играла Казань. Именно в Казани М. Веревкин, Коран в переводе которого был настольной книгой поэта во время работы над «Подражаниями...», начал проявлять активный интерес к восточным языкам и истории. В 1759–1762 годы он работал директором 1-ой Казанской гимназии, открытой под патронажем только что основанного Московского университета. Находившийся под влиянием идеи Ломоносова о создании центра по изучению языков и культур восточных народов, Веревкин в 1759 представил в Московский университет рапорт с пред-

¹ А. С. Пушкин и взаимодействие национальных литератур и языков [Текст]: Тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Казань: УНИПРЕСС, 1998. 154 с.

ложением открыть при Казанской гимназии класс татарского языка. Предложение Веревкина стало реализовываться лишь 10 лет спустя, но это было началом казанской ориенталистики, которой предстояло большое будущее. Веревкин приобщил к Востоку и своего ученика гимназиста Г. Державина. Изучение и описание развалин столицы древнего Булгарского ханства, сделанные юным Державиным, выполнялись под руководством Веревкина. Внимание к Востоку обострялось у Веревкина, как и у Державина и позже у Пушкина, и генеалогическими мотивами; в семье Веревкиных сохранялось предание, что их род вышел из татар при великом князе Иоанне Васильевиче.

Перевод Корана, исполненный Веревкиным, выгодно отличался от других переводов (Д. Кантемира, А. Колмакова) тем, что, «написанный простым, но сильным языком», он «был самым поэтическим из всех переводов своего времени» (Кашталева). Мастерство Веревкина было столь значительным, что Пушкин очень часто следовал за ним, заимствуя почти буквально множество выражений из его текста. Поэтически осмысливая Коран, поэт вступал в сотворчество с его переводчиком.

Творческие принципы, которым следовал Веревкин, переводя Коран, и которые преломились в «Подражаниях...» Пушкина, принципы, основанные на восприятии Корана как целостности, сочетающей глубину содержания с высокой поэтичностью формы, были продолжены сложившейся в XIX веке казанской школой переводчиков и исследователей Корана (М. Казем-Беком, Г. Саблуковым и др.).

В библиотеке имения Осиповых Тригорское, в которой Пушкин, находившийся в Михайловской ссылке и работавший над «Подражаниями Корану», часто бывал, сохранилась книга, переведенная также Веревкиным и изданная в том же 1790 году. Это описание жизни и философии Конфуция. Она, несомненно, перекликается с Кораном и с теми размышлениями о величии и ничтожестве человека, о роли слова, о призвании поэта, которые в это время глубоко занимали Пушкина.

«Подражания Корану» оказались целым событием в творчестве Пушкина, важной вехой в его творческих отношениях с Востоком; и в последующем внимание Пушкина к Востоку скорее росло, чем иссякало. И оно развивалось не без влияния ориенталистов (И. Бичурина, К. Фукса и др.), тесно связанных с Казанью.

ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ В ПОЭЗИИ Е. БАРАТЫНСКОГО¹

Безусловное признание поэзия Баратынского получила поздно, только в начале XX в. Пушкинская ее оценка долго оставалась исключением. И. Киреевский, Гоголь, Белинский, как и многие другие критики, отмечая высокий талант и оригинальность Баратынского, писали об отсутствии идейного ядра в его произведениях и о своего рода гамлетизме в самом их авторе. По словам П. Вяземского, написанным в 1869 г., Баратынский, свернувший «с столбовой дороги» русской поэзии, был почти забыт «поколением ему современным» и оказался «совершенно незнакомым поколению новейшему». Возвращение Баратынского, «одинокого», неповторимого поэта, состоялось во время интенсивных художественных и философских поисков, означененных особым вниманием к человеческой личности, стремлением понять смысл бытия и построить культуру на ее существовании; в то время, когда в философских сочинениях, в первую очередь Н. Бердяева и Л. Шестова, во многом опиравшихся на опыт русской литературы, вызревали идеи экзистенциализма.

Баратынский в своей поэзии уходит от типичной для философской лирики его времени (Веневитинова, Батюшкова, Шевырева и др.) метафизики, от попыток сгруппировать свои мысли и чувства вокруг предзданного идейного центра, сделав их элементами гармонии или оценивая их на ее фоне. Экзистенциальное в поэзии Баратынского – это прежде всего осознание самоценности, самодостаточности духовного опыта отдельно взятой личности («Поэзия индивидуальная одна для нас естественна...», «Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе»). Баратынский пытался выразить в своем творчестве в основном то, что с ним как отдельным человеком случилось, независимо от того, было это обусловлено чем-то извне или нет. Он воспроизводит в поэзии свою ничем неповторимую индивидуальную судьбу, свое индивидуальное видение, которое ничем нельзя заменить («Поэзия

¹ Слово и мысль Е. А. Баратынского: тезисы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Е. А. Баратынского, Казань, 21 - 24 марта 2000 г. – Казань, 2000. – С.69-70.

есть полное ощущение известной минуты». «Каждый из нас имеет собственные истины». «Мгновенье мне принадлежит, / Как я принадлежу мгновенью»).

Постоянная обращенность Баратынского к собственным мыслям и чувствам отличается от внешне близкой к ней романтической субъективности тем, что она, не будучи освещенной гармонией или онтологией, останавливается, как в последующем у экзистенциалистов, перед ничто и одиночеством. Основная тема поздней лирики Баратынского экзистенциальна – «трагическое самосознание человека, изолированного, отторгнутого от общих ценностей» (Л. Гинзбург).

Творчество для Баратынского есть не столько оформление, мастерство, то есть искусство в строгом смысле слова, сколько жизненный акт. Литература не была вынесена им за пределы обычного жизненного процесса и превращена в нечто украшающее или развлекательное. Она не ангажирована идеино или философски. Поэзия – конкретные жизненные вопросы, то, к чему человек ежедневно причастен: любовь, сострадание и смерть, надежды, достоинство существования... Вопросы, заключенные в самой экзистенции человека и не решаемые вне ее.

Баратынский был поэтом, если воспользоваться старой терминологией, в большей степени «выражения», чем «изображения». Для него важнее процесс рождения и развертывания чувств и мыслей, чем их итог, то есть путь ценнее, чем результат. Путь, свободный от преданной истины, путь формирования, созидания себя, но горький, совершаемый в одиночестве, разобщении с другими и без надежды на гармонию. На нем экзистенция истощает, исчерпывает себя, ведет к пустоте; и человеку остаются только воля и мужество («От медленной отравы бытия / В покое раболепном я / Ждать не хочу своей кончины»).

«Я» Баратынского оказывается лицом к лицу с реалиями жизни во всей их полноте и противоречиях. Они не просеиваются, чтобы быть оцененными, сквозь сите общественных норм и правил, смягчающих остроту непосредственных столкновений с ними. У Баратынского даже нет персонифицированного лирического героя, что дало бы возможность ему занять позицию авторской вненаходимости, позволяющую более свободно и спокойно относиться к изображаемому. Вся жизнь в ее

разных проявлениях как бы впервые видится и осмысливается Баратынским. Без четкой дифференциации на разноценостные уровни, опять-таки как движение, процесс, в котором остановки и определенности скорее исключение, чем правило («Благословен святое возвестивший! / Но в глубине разврата не погиб / Какой-нибудь неправедный изгиб / Сердец людских пред нами обнаживший. / Две области: сияния и тьмы / Исследовать равно стремимся мы ...»).

И особенности поэтики Баратынского, лексика и синтаксис языка его произведений – формы существования, реализации незавершенных мыслей и душевных движений. Они далеки от риторической языковой культуры классицизма и имеют мало общего с метафоризмом языка романтической литературы. «Неправильности» языка Баратынского, неожиданные словосочетания, сложные синтаксические построения, нередко кажущиеся придуманными, и т. п. – это в первую очередь при-норовление языка к нестандартным или полагаемым таковым движениям души и мысли, это производное от сознания, что каждое чувство, каждый оттенок мысли должны иметь свое слово. Язык, в представлении Баратынского, не является чем-то предзаданным до экзистенции и подчиняющим ее своим правилам, а выступает ее и содержанием, и формой одновременно.

Различные и, возможно, неожиданные подходы к осмыслинию и анализу поэзии Баратынского совершенно необходимы. Иначе «ее лица необщее выражение» не будет открываться каждому поколению по-новому и слова поэта «читателя найду в потомстве я» перестанут быть живыми.

СОФИЯ В ПОЭЗИИ В. СОЛОВЬЕВА¹

(Заметки)

Образ В. Соловьева в русском сознании тесно связан с Софией. В 1911 году А. Блок, выступая в сборнике, посвященном памяти философа и поэта с небольшим эссе «Рыцарь-монах», говорил, что все в Соловьеве («огромный книжный труд», «земные дела»...) было только средством для освобождения пленной царевны, Мировой души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе с «космическим умом» [1]. В этом же сборнике молодой философ В. Эрн в статье, претендующей по своему названию («Гносеология В.С. Соловьева») на абстрактность, также пишет о Софии как «живой Идее», вдохновлявшей Соловьева всю его жизнь и окрылявшей «его философским Эросом» [2]. Н. Бердяев счел удачной образную находку Блока [3]. В. Иванов называл Соловьева «певцом божественной Софии», «поэтом небесной Софии» [4]. В статьях и книгах Е. Трубецкого, С. Булгакова, П. Флоренского и др. исследователей 10–20-х годов также особо выделялось значение Софии в творчестве Соловьева. В более позднее время А. Лосев напишет: «... София у В.С. Соловьева – это основной и центральный образ, или идея, всего его философствования» [5]. Современные исследователи возвращаются к отмеченной традиции. В вышедших в последние годы философских энциклопедиях и справочниках появляются статьи о целом направлении в русской философии – «софиологии», основателем которой был Соловьев [6].

О Софии в поэзии Соловьева написано значительно меньше, чем в философии. Между тем первая высокая волна внимания (в 10-е годы) к Соловьеву была порождена прежде всего его поэзией и личностью. И решающую роль в этом сыграли в первую очередь поэты – А. Белый, С. Соловьев, В. Иванов, Г. Чулков, А. Блок и др., а также философы и публицисты с явно выраженным эстетическим компонентом в мировоззрении – С. Булгаков, Е. Трубецкой, В. Эрн, Н. Бердяев.

¹ Сафиуллин Я.Г. София в поэзии Вл. Соловьева // Deutsch-russische Dialog in den Philologien [Немецко-русский диалог в филологии]. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. С. 425–431.

В последующих заметках речь идет в основном о своеобразии стихотворений Соловьева, посвященных Софии, их связях с традициями классической русской поэзии, а также оригинальности, о типологических параллелях, которые можно, с точки зрения автора заметок, проводить между ними и произведениями Я. Беме и Гофмана, об оценках этих стихотворений современниками Соловьева и некоторых других вопросах. Они никак не претендуют на систематический и законченный анализ места и роли Софии в художественном творчестве Соловьева и могут служить лишь подступами к нему.

Соловьев в формах своей лирики демонстрирует верность традициям. Здесь он ничего не изобретает. Наоборот, открыто подражает Фету, А. Толстому, Полонскому. В его стихах легко узнаются сюжетные ходы и мотивы отечественных и иностранных авторов. Не только Лермонтова, Пушкина, даже Надсона, но и Шелли, Гейне. В имеющем для него программное значение стихотворении «Три подвига» открыто использованы отдельные формы и мотивы Ф. Шиллера. Переведенные Соловьевым Петрарка, Данте оставили заметный след в его собственном творчестве. Стихи Соловьева полны реминисценций, цитат, перефразировок из других поэтов [7].

Однако критики начала века, для которых подражательность Соловьева тоже была очевидной, не фиксировали внимание на этом обстоятельстве, более того, самые известные из них принимали его за оригинальнейшего поэта. Это противоречие объясняется не только романтическим синтетизмом, к которому испытывали пристрастие художественные вкусы и идеи того времени, когда подражательность и заимствования легко прощались, если оказывались лишь элементами возвышающегося над ними содержательного контекста, но и тем, что поэзия Соловьева на самом деле, несмотря на подражательность, была оригинальной.

Используя традиционные формы в целях выражения нового содержания, Соловьев осознанно или стихийно вступает фактически в соперничество со своими учителями и прошлым поэтическим опытом. В собственном поэтическом творчестве, как бы продолжая приемы рационализма, характерные для его фило-

софии, Соловьев не отбрасывает образы и идеи предшествующей поэзии, а пытается на манер ученых найти для них новый уровень интерпретации и обобщения. Историцизм Соловьева, которого он придерживался во взглядах на взаимоотношения прошлого и настоящего в обществе, толкал его к предположению, что Красота постепенно развертывается в истории поэзии и современные поэты могут и должны идти дальше своих предшественников в развитии таящейся в жизни Идеи. На этом основаны и литературно-критические статьи Соловьева. Как правило, в них говорится о том, к чему поэт был призван своим гением, как он совершил свое предназначение, что осталось от него в виде традиций и заветов, которые можно продлить или необходимо исполнить. «... Мы знаем, – пишет Соловьев, – что как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова и так же низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга – развить тот задаток, великолепный и божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, – но этого мы от него не получили» [8]. В статье «Поэзия гр. А. Толстого» есть место, где Соловьев сравнивает «рефлексивную» и «разочарованную» поэзию Баратынского и Лермонтова с «поэзией гармонической мысли» Тютчева и А. Толстого. Русская поэзия не могла остановиться, считает Соловьев, на субъективной, противоречивой лирике Баратынского и Лермонтова, и потому «после них явились поэты положительной мысли, сознательно понимавшие значение красоты в мире, примирявшие ум с творчеством и оправдывавшие поэзию как выражение истины». Более того, по словам Соловьева, А. Толстой, поэзия которого продолжалась по времени дольше, чем у Тютчева, присоединил к общему для них миропониманию «элемент деятельной воли и борьбы», что сделало его творчество «более разнообразным, ярким и доступным» [9].

С аналогичных позиций подходил Соловьев и к собственному творчеству. Оно было для него поиском нового в поэзии. Соловьев идет дальше любимых и являвшихся образцами для подражания Фета, А. Толстого, Полонского.

Эта целевая направленность творчества Соловьева, его новаторство стали выделяться и подчеркнуто высоко оцени-

ваться вскоре после его смерти, когда в обществе родились и стали настойчиво культивироваться надежды на новое искусство и его теургическую роль. А. Белый в статье «Апокалипсис в русской поэзии» (1905) представил Соловьева как поэта, соединившего «... Фетовский пантеизм, Лермонтовский индивидуализм с лучезарными прозрениями христианских гностиков» [10], как поэта, имеющего свое, оригинальное место «в общей системе развития национального творчества» [11]. Несколько лет спустя (1911 г.) В. Иванов делает еще более решительное заявление: «Значение Соловьева... определяется и по плодам его поэтического творчества: он начал своею поэзией целое направление, быть может, – эпоху отечественной поэзии» [12]. Столь же высоки были оценки творчества Соловьева в книгах, статьях, отдельных отзывах Е. Трубецкого, С. Булгакова, П. Флоренского, В. Эрна [13].

Должны были быть испытаны в русской поэтической практике и прежде всего в творчестве А. Блока новаторские установки Соловьева, должны были быть поставлены самой жизнью под сомнение теургические надежды, подогреваемые поэзией Соловьева, чтобы отношение к последней стало более ровным и трезвым, чтобы София в том восприятии, в каком она была у Соловьева, оказалась вытесненной из большой поэзии и стала в основном предметом философских исследований.

София – это центральная тема и поэзии, и философии Соловьева; это идея, придавшая смысл всей его собственной жизни. И разговор о ней может быть начат практически с любой точки его мировоззрения или жизненного пути.

О том, как представлял себе Софию Соловьев, написано достаточно много. Е. Трубецкой, С. Булгаков, П. Флоренский, В. Зеньковский, А. Лосев и др. исследовали в основном философские, религиозные и частично эстетические аспекты проблемы. Художественные функции Софии в поэзии Соловьева все еще остаются недостаточно изученной областью.

На своем пути к Софии Соловьев следовал не только за различными религиозными, философскими и мистическими традициями, но и за опытом русской классической литературы. Но каким образом он трансформировал этот опыт?

Темы, которые он ставил в связи с Софией, – это одновременно и известные субстанциальные темы русской литературы и искусства вообще: трагическая разорванность мира на духовное и телесное, вечное и временное, добро и зло, логос и материю...

София в сознании Соловьева означает гармонию, всеединство, божественный замысел о целостности всего. Она в то же время воспринимается и как олицетворение идеальной сферы литературы, символ все растворяющего в себе, все объединяющего собой единства художественного произведения. В своей поэзии Соловьев и реализовывал такую идею (представить Софию как объединяющее художественное творчество начало), что и придавало его поэзии оригинальность, нередко скрытую за формами, повторяющими, как отмечалось выше, формы классической лирики.

Чтобы яснее представить то, в чем сказалась оригинальность Соловьева как поэта, остановимся несколько подробнее на сфере гармонии в классической поэзии, ее источниках и способах формирования.

Все, что изображается в классический лирике, погружено в некую целостность, в эфир гармонии. Герои и события, мир преходящих чувств и мыслей и даже то в самом авторе, что стало предметом поэзии. В этой гармонии противоречия и контрасты, добрые и злые герои и дела поглощаются позицией понимания, прощения и надежды. «Конструктором» этой гармонии (реальной, желаемой, нарушенной...) выступает автор. Это он, встав над героями, заняв по отношению к ним позицию «вненаходимости» (М. Бахтин), видит и чувствует, мыслит более их, включает их в сущностное бытие, бытие такое, каким он себе его представляет [14].

Из сказанного нельзя, однако, делать вывод, что герои и события в классической поэзии есть только частности, подлежащий обобщению материал и что гармония независима от них, известна автору как бы заранее и в полной мере подвластна ему. Гармония в этой поэзии возникает в том числе и из трансценденции героев. Они выходят в своей духовной сущности за сферу ограниченного, конечного существования в эмпиическом мире. Само противоборство чувств, поступков, состояний, а также взаимопереходы между ними таковы, что в конечном

счете они ведут за пределы конкретного и оказываются объяснимыми более высоким уровнем их единства. Трансцендирование – необходимый элемент классической поэзии.

Отношение Соловьева к той сфере в лирике, о которой говорилось выше, было особым. Если для его предшественников она оставалась областью миросозерцания, то есть в основном интуитивного приятия жизни, которое сопровождалось верой в нее, надеждами на ее мудрость и т. д., то Соловьев этот мир высокой и целостной гармонии переливает в конкретные формы, находит для него символы, ищет соответствия в религии, короче, как систематик, пытается определить его, соотнося с известными идеями. На волне целевой установки Соловьева, заключавшейся в желании довести до логического завершения лирическое миросозерцание своих предшественников, придать конкретность и в конечном счете практическую приложимость их «стихийным» представлениям о гармонии мира и рождается София в его поэзии. София – это персонификация абсолютных ценностей, мудрость божественная, воплотившаяся в человеческий облик; в ней заключено (подобно тому, как тонут в эфире гармонии герои, события, автор и читатель в классической поэзии) все: смысл жизни, любовь, добро и зло, прекрасное и безобразное, вечность и время... *Что есть, что было, что грядет вовеки – / Все обнял тут один недвижный взор... / Все видел я, и все одно лишь было – / Один лишь образ женской красоты... / Безмерное в его размер входило, – / Передо мной, во мне – одна лишь ты.* [15]

То, что могло быть источником представлений Соловьева о Софии (гностицизм, новозаветный Апокалипсис, Кабалла, Я. Беме, Сведенборг, православные традиции и др.), достаточно изучено, хотя и здесь, естественно, далеко не все определено. Но как София бытует в его поэзии и что происходит в последней от факта ее присутствия? Это вопрос иной направленности.

Можно сказать, что София предстает в поэзии Соловьева как «чистый» предмет творчества. «Чистый» в том смысле, что предмет взят в своей свободе, в независимой от автора, собственной определенности. Вернее, это даже не предмет (потому что слово «предмет» предполагает не только свободу, но и зави-

симость от субъекта; особенно в поэзии он изменяется вместе с автором), а феномен (в смысле «чистой сущности», платоновской «идеи» или «прафеномена» Гете).

Соловьев верил в объективное существование Софии, в ее совершенство и не допускал мысли о каком-либо авторском вмешательстве в ее сущность и т. д. Он декларировал себя поэтом Софии. Если исходить из сознательных установок Соловьева, у Софии нет прототипов, в отличие от женских образов в классической поэзии; она не есть обобщение каких-то конкретных переживаний и состояний. [16]

Вера Соловьева в реальность Софии, в то, что она представляет собою абсолютную ценность и что он сам должен быть поэтом, насколько возможно точно и полно воспроизводящим ее, во многом определила своеобразие поэтики его софийных стихотворений.

Совершенная, носительница полной гармонии, высшей красоты, София могла только являться автору, как Христос, Богоматерь. И вся софийная поэзия Соловьева – это история и факты явлений Софии, ожидания ее, встречи, свидания с ней. Явление Софии образует сюжетную канву многих стихотворных произведений поэта («У царицы моей есть высокий дворец...», «Близко, далеко, не здесь и не там...», «Три свидания» и др.).

Состояние, в которое впадает лирический герой Соловьева при явлении Софии – это созерцание. «Чистое», не замутненное прагматизмом восприятие красоты и целостности мира. Созерцание свободное, лишенное утилитарных целевых установок и потому эстетическое в своей основе. Лирический герой, оказавшийся перед лицом «святой гармонии», олицетворенной в Софии, освобождается «от пламени страстей, нечистых и жестоких» и уходит «ввысь от суетных тревог». *Одна, одна над белою землею / Горит звезда / И тянет вдаль эфирною стезею / К себе – туда. / О нет, зачем? В одном недвижном взоре / Все чудеса, / И жизни всей таинственное море, / И небеса. / И этот взор так близок и так ясен, – / Глядись в него, / Ты станешь сам – безбрежен и прекрасен – / Царем всего [17].*

Созерцательное отношение к миру, при котором открываются красоты природы, самого человека, космоса в той или дру-

гой степени своей выраженности входит в поэтическое творчество вообще. Оно дает возможность человеку остановиться в своей утилитарной, разрушающей гармонию деятельности. Созерцание – перерыв в необузданном, беспорядочном движении, позволяющий путем восстановления памяти о гармонии оценить это движение и придать его хаосу порядок. Особенно романтики превратили созерцание в форму художественного постижения мировой целостности.

Только актом своего обращения к созерцанию Соловьев, естественно, не совершил поэтического открытия; здесь он находился в русле в основном романтических традиций. Более того, даже в лучших своих стихотворениях созерцательного характера он уступает по мастерству многим поэтам так называемого «чистого искусства».

Оригинальность же Соловьева в том, что, несмотря на самую высокую роль созерцания в его поэзии, оно существенно отступает от своей классической формы и функций. Правда, и для Соловьева созерцание, как и для Пушкина, Тютчева, Фета и др., – слияние с прекрасным, преодоление противоречий жизни, приобщение к вечности ... – в целом самодостаточная ценность, не отягченная ничем другим, не относящимся к его природе.

Но это традиционное представление о созерцании оказывается у Соловьева вставленным в особую систему его поэтического мышления, в котором, как уже отмечалось выше, были сильны рационалистические тенденции, и подвергается в нем переосмыслинию. Соловьеву было недостаточно находиться в состоянии поэтического созерцания и воспроизводить его в творчестве; он рефлексирует над ним, рационализирует и «дисциплинирует» его.

Душа мира, гармония, вечность и другие ценности, которые рождаются при созерцании классического типа не только из объективного, но и из мира самого поэта и образуют неразложимое единство, Соловьевым персонифицированы в Софии, перемещены таким образом в область преимущественно объективного и превращены в предмет творчества. К тому же слово «созерцание» в приложении к поэзии Соловьева теряет метафоричность своего употребления, возвращаясь к конкретным значениям «видеть», «лицезреть». София – поэтическая икона

Соловьева. Он созерцает ее, молится на нее, она вселяет в него надежды, прощает, зовет его...

Стремление Соловьева рационализировать созерцание реализовывалось не только в том, что он в облике Софии постулировал его предмет и содержание, но и в определении им тех условий сознания и поведения лирического героя, при которых оно становится возможным. Созерцание Софии – дар, и дается он тому, кто, духовно очищаясь, как в исповеди или молитве, готовится к встрече с ней, откликается на ее зов. Недаром тема пути занимает особое место в софийных стихотворениях Соловьева. *Лазурное око / Сквозь мрачно – нависшие тучи... / Ступая глубоко / По снежной пустыне сытучей, / К загадочной цели / Иду одиноко. / Раскинулась озера ширь – в своем белом убore, / И вслух тишина говорит мне: нежданное сбудется вскоре* [18].

И в остальной его поэзии путь к вершинам духа оказывается определяющим. Стихотворения Соловьева более всего говорят о том, как преодолеть ограниченное в повседневном и прозреть через него красоту вечного, как преобразовать преходящее в мыслях и чувствах и достичь истины, как прийти, вступая в отношения с людьми и обществом в борьбу со злом, к вселенской любви.

Такой путь, естественно, сопряжен с подвигом. Поэт преодолевает себя, свою земную ограниченность, чтобы следовать Софии, которая ведет «туда, где немеркнущий свет». Он монах, подобно Фр. Ассизскому, отдающий себя служению духу; он рыцарь, призванный освобождать красоту из заточения и защищать ее в реальной жизни.

Эта столь обязывающая ко многому позиция, определившая в самом существенном содержание и поэтику стихотворений Соловьева и превратившая его собственную жизнь тоже в подвиг, больше напоминает позицию протопопа Аввакума, Радищева, декабристов, чем поэтов классической лирики. То же почти полное слияние автора с лирическим героем и представление о своем творчестве и жизни как служении высокой идее.

Созерцание Софии как вечной гармонии и красоты и обретение «в царстве мистических грез, в мире, невидимом смертным очам», своей духовной «отчизны» являлись для поэта высокой целью, отдохновением от повседневности, романтическим уходом «в новую страну неистощимой грэзы». «Благодатная»,

«ласковая» София низвергает во прах «темные силы», во власти которых оказывается лирический герой, спасает его от деспота – холодного «я» в нем самом, окрывает его душу, озаряет всю красоту земли. Поэт растворяет себя в ней. *Все, чем живет мое сердце и ум, / Все, что трепещет в груди, / Все силы чувства, желаний и дум / Отдал я в руки твои* [19].

И все же состояние нирваны не было присуще Соловьеву. Полного и безмятежного слияния с миром Софии, при котором исторически-конкретное перестает интересовать и отодвигается в сторону, у него нет. Духовное и земное у Соловьева, как правило, соотнесены, идут рядом, хотя и являются ценностями разных уровней. Их абсолютного противостояния, при котором одно обязательно отрицается другим, тоже нет. *Милый друг, иль ты не видишь, / Что все видимое нами – / Только отблеск, только тени / От незримого очами? / Милый друг, иль ты не слышишь, / Что житейский шум трескучий – / Только отклик искаженный / Торжествующих созвучий* [20].

Противостояние земного и божественного, устремленность поэзии Соловьева к ценностям более высоким, чем земные, дают нередко повод исследователям видеть в творчестве поэта проявление романтизма гофмановского типа. Соловьев действительно очень ценил Гофмана. В конце века в его переводе издается сказка «Крошка Цахес». В некоторых творческих приемах Соловьева можно видеть параллели к гофмановскому стилю. Таковы, например, юмор и ирония в поэме «Три свидания» (ее герой по внешнему облику и формам поведения напоминает Ансельма из «Золотого горшка», равно как и генерал, принявший рассказ героя о чудесном ему видении за плод разгоряченной фантазии, очень похож на прозаичных филистеров из этой же повести). Но у Соловьева, как было отмечено выше, нет двоемирия в гофмановском понимании, а есть существование двух стихий бытия, имеющих в конечном счете одну (духовно-природную) онтологическую сущность, что нередко подчеркивалось и сами поэтом... *Под личиной вещества бессстрастной Везде огонь божественный горит...* [21] Эти звезды мне стезю млечной / Насылают верные мечты / И растянут в пустыне бесконечной / Для меня нездешние цветы [22].

Если говорить о соотношении небесного и земного, их противостоянии и единстве в поэзии Соловьева, пытаясь одновре-

менно проводить сопоставления с немецкими литературными и философскими явлениями, то творчество немецких мистиков, особенно Я. Беме, а также иенских романтиков (Новалиса прежде всего), Ф. Шеллинга, окажется, видимо, более интересным материалом.

София родилась в сознании Соловьевы на основе русской религиозной традиции [23]. Но в ее трактовке Соловьевым было немало модернистских подходов. Не случайно то, что приняли соловьевскую Софию с энтузиазмом в первую очередь представители так называемого «нового религиозного сознания». Показательно и то, что развернувшиеся в 20–30-е годы дискуссии о Софии, в том числе в творчестве Соловьева, были в основном о том, как согласовать новые представления о ней с догматами православия.

В выяснении специфики соловьевского понимания Софии, в определении того, насколько оно оригинально или имеет параллели в русском или западноевропейском культурном опыте, значительная роль принадлежит возможным сопоставлениям этого понимания с интерпретациями Софии у некоторых немецких философов и писателей.

Не ставя далее своей задачей проследить пути и конкретные формы возможного немецкого влияния на софиологию Соловьева, остановимся лишь на некоторых наблюдениях об общем и своеобразном в понимании и изображении Софии у Соловьева, с одной стороны, и у Я. Беме – с другой.

Беме так же, как впоследствии Соловьев, воссоздавая в своих произведениях Софию, модернизировал традиции католицизма. В его творчестве София занимает более самостоятельное и значительное место, чем это принято в католицизме, где она в целом замещается девой Марией. Соловьев внимательно изучал сочинения мистиков, в том числе Беме, и был достаточно хорошо знаком с литературой иенского романтизма [24].

Проводимое далее сопоставление имеет право на существование еще и потому, что особо заинтересованное внимание к софиологии Соловьева в русском обществе совпадает по времени с возрождением в нем интересов к философии Беме, вообще к немецкой мистике и иенскому романтизму [25].

У Соловьева, как и у Беме, Новалиса, других романтиков, София эстетизирует религиозное сознание. Она оживляет его, возвращает права конкретно-чувственным началам в нем. София, будучи воплощением духа, остается одновременно видимой, слышимой. У нее, по словам Соловьева, «есть высокий дворец» с «зеленым садом», в котором пышно расцветают розы и лилии; ее одеяние «лучезарно», чело – «в золоте чудных кудрей»... [26].

Заметим, однако, что для Соловьева, как и для мистиков, возвращение к конкретному в религиозном сознании, в частности, приданье человеческого облика божественному, не было просто эстетизацией, а скорее восстановлением религиозных реалий, забытых или недоступных сухому рациональному мышлению. Так, многие слова и их сочетания из софийных стихотворений Соловьева, воспринимаемые современным читателем, эстетическое чувство которого воспитано на классической поэзии, как метафоры, таковыми фактически не являются: *свет, лазурь, лазурные очи, божественный глагол, блеск небесный, чистое пламя, созвучие вселенной* и др. К примеру, слово «лазурь» и производные от него слова обозначали в поэзии Соловьева голубой цвет. И одновременно цвет лазури в этой поэзии – это и сущность вечной истины [27]. И когда поэт говорит о *лазурных очах* Софии, то он употребляет слово «лазурный» не в переносном смысле. В подобных особенностях своей поэзии Соловьев примыкает к тем же формам религиозного мышления и натуралистической философии, что и Беме, для которого, как известно, слова *свет, цвет, огонь...* – это тоже сущность божественного. «Духовный мир, – пишет Беме, – из огня, света и тьмы состоящий, находится скрыт в стихийном мире» [28].

Существуют совпадения и во взаимоотношениях, которые есть у лирического героя и Софии в поэзии Соловьева и у человеческой души и Софии у Беме. Если оставить пока в стороне вопрос о возможном прямом влиянии Беме на Соловьева, то объяснить эти совпадения можно, во-первых, тем, что оба автора, изображая Софию, обращались к общим христианским первоисточникам, в частности, к «Причтам Соломоновым»; во-вторых, тем, что они независимо друг от друга разрабатывают один сюжет (ставят своего рода один и тот же экспери-

мент), в котором абсолютная духовная ценность персонализирована и встречается с отдельной человеческой личностью.

И у Соловьева, и у Беме София тоскует по человеку, она возлагает надежды на его возрождение, она любит его. Как пишет Беме: «... Благородная София приближается к душе в эсценции души, лобзает ее дружественно, тингирует мрачный огонь ее лучами любви своей и просиявает душу своим лобзанием» [29]. Лирический герой Соловьева и душа у Беме перед лицом Софии в равной степени должны проявлять мужество в противостоянии злу, в покаянии, рыцарски защищать красоту и любовь от неправды временного мира [30].

Так сюжет, о котором сказано чуть выше, развертывается в драматических, свойственных в первую очередь произведением искусства, формах. При этом, однако, само драматическое трактуется авторами в духе классицизма: оно ведет к заранее известному, при котором абсолютная ценность побеждает или должна восторжествовать. Предзаданность такого рода дисциплинировала как творческий процесс самих авторов, придавая ему рациональный колорит, так и чувства изображаемых героев. В поэзии Соловьева, как и у Беме в заметной степени, есть движение чувств, но не в виде взаимопереводов на конкретном уровне как только чувств, а в виде включенности каждого из них в единый поток, направленный к общей ценности. Чувства динамичны, но не в силу собственных между собой противоборств, а как организованное, преодолевающее хаос жизни движение к свету, к притягивающему их центру. Они тонут в этом центре, замирают в созерцании его. Направленные потоки чувств, а не их переплетение, высокая романтическая накаленность каждого чувства, замкнутого в самом себе и рядом, вместе с другим чувством идущего к единой цели, – все это входит в сущность поэтики Соловьева и Беме.

Может показаться странным то, что «старомодная» по своей поэтике и предзаданности цели до творческого акта поэзия Соловьева, как и типологически во многом схожая с ней философия Беме, воспринимались почти как откровение самой утонченной критикой начала века и оказали серьезное влияние на художественную и философскую культуру того времени, притом в новейших ее направлениях.

Но если иметь в виду, что в критике 10-ых годов преобладало интерпретационное (не исторически-конкретное или исследовательское) начало и, соответственно, в Соловьеве и Беме «открывалось» ей далеко не всегда то, что в их произведениях действительно содержалось, и последние нередко таким образом превращались в провозвестников идей, к которым имели мало отношения, – то причины их особой известности, как и некоторых других «открытых» в начале века поэтов, писателей, философов прошлого, в какой-то степени становятся объяснимыми.

Есть, однако, в отношениях русского художественного и философского сознания начала XX в. к Соловьеву и в значительной степени к Беме такая объективная основа, которая снимает вопрос о поверхностном, конъюнктурном их характере. Сущность значительного влияния на русскую культуру (и не только начала века) Соловьева и Беме в том, что они ясно обозначили и по-своему решали проблему о роли субъективного, личностного фактора, воли отдельного человека в созидании религиозных и других культурных ценностей. В поисках ответов на вопросы, поставленные ими, можно было прийти к результатам, выводящим за пределы их собственного мировоззрения, к мыслям о том, что духовное не есть простая вера в догматы, что оно рождается в поступках отдельного человека, вступающего в диалогические отношения с так называемыми «вечными» ценностями.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сборник первый о Владимире Соловьеве. М.: Путь, 1911. С. 101.
2. Там же. С. 131–132. «Лучезарной подруге» посвящена не только поэзия Соловьева, – говорится далее в этой статье Эрна, – ей посвящено в Соловьеве все: и гносеология, и эстетика, и публицистика, и этика». С. 137.
3. Сборник первый... С. 107. Бердяев и сам, особенно в ранних работах, обращался к словам «рыцарь», «монах», характеризуя писателей и поэтов. К примеру, в статьях «Мистика и религия», «Метафизика пола и любви», «Рыцарь нищеты» и др.
4. Иванов В. Борозды и Межи. М.: Мусагет, 1916. С. 100, 114.

5. Лосев А. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. С. 210.
6. См., например: Русская философия. Малый энцикл. слов. М.: Наука, 1995; Новейший философ. слов. Минск, 1999.
7. Многое, но не все из этой особенности в творчестве Соловьева отмечено в «Примечаниях» З. Г. Минц в издании «Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы». Л.: Сов. писатель, 1974».
8. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1999. С. 397–398.
9. Там же. С. 488–489.
10. Белый А. Луг зеленый. М.: Альциона, 1910. С. 229; Там же. С. 231.
11. Вячеслав Иванов. Борозды и Межи. С. 114.
12. Так, Е. Трубецкой называл Соловьева «величайшим из русских... поэтов и философов» Софии. – Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1999. С. 357.
13. Здесь использованы и идеи М. Бахтина из его работы «Автор и герой в эстетической деятельности».
14. Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л.: Сов. писатель. 1974. С. 130. В дальнейшем цитаты из стихотворений Соловьева даются по этому изданию.
15. Значение слова «образ», принятое в научном обращении, вряд ли приложимо к Софии в поэзии Соловьева, хотя в литературе о последней словосочетание «образ Софии» нередко и употребляется. У А. Лосева, например, Слово «образ» по отношению к Софии целесообразнее употреблять в его религиозных, иконографических значениях.
16. С. 115.
17. С. 110.
18. С. 63.
19. С. 93.
20. С. 61.
21. С. 95.
22. Об этом: Скопцова Б. Мироусперцание Вл. Соловьева. Paris: YMCA-Press, 1929. С. 21–22.
23. В молодости Соловьев работал над оставшимся незаконченным сочинением «София», в котором, как и Беме в своей «Христиофии», использовал диалогическую форму.

24. В переводах на русский язык издаются: В 1911 г. «Речи о религии. Монолог» Ф. Шлейермакера; в 1912 г. «Духовные проповеди и рассуждения» М. Экхарта; в 1914 г. «Аврора, или Утренняя звезда в восхождении» Я. Беме; в 1914 г. «Гейнрих фон Офтердинген» Новалиса; ряд статей Ф. Шеллинга. Также в 1914 году переиздается русский перевод книги В. Ваккенродера «Об искусстве и художниках».

25. С. 68.

26. Достаточно развернуто о Софии и лазурном цвете см.: П.А. Флоренский. Столп и утверждение истины. Т. 1 (ч. II). М.: Правда, 1990. С. 552–576.

27. Якоб Беме. *Christosophia*. СПб. А-САД. 1994. С. 159.

28. Там же. С. 34. Просиявает от просиевать – проникать лучами света сквозь что-то; излить лучи света на что. – Даль В. Толковый словарь живаго великорусского языка. Т. 3. СПб., М. 1882.

29. В изображении рыцарского отношения к Софии лирического героя у Соловьева и души у Беме немало типологических сходств.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

(Заметки)¹

Философия Н. Бердяева выросла из русской литературы (Достоевского, Толстого, Лермонтова...) прежде всего и во многом ею может быть объяснена. Из западных писателей Ибсен, Л. Блуа были очень близки русскому философу. Кроме известных отдельных работ о писателях, Н. Бердяев практически в каждом из философских своих сочинений говорит о литературе.

Свободное перемещение в литературном пространстве и хронологии – характерная особенность бердяевского отношения к искусству слова. Не история литературы как таковая и не теория последней в чистом виде интересовали Бердяева; он был занят преимущественно тем, как литература отражает дух человека и формирует его.

Сопоставление разных национальных литератур (определение типологически общего и отличий между ними, рассмотрение взаимовлияний и др.), хотя и не ставилось Бердяевым в виде отдельной проблемы, фактически проводилось им постоянно (начиная с ранней книги «Философия свободы» и кончая поздним сочинением «Дух и реальность»).

Принципы, на основании которых сопоставляет разные литературы Бердяев, немногочисленны и достаточно просты; извлечены они не из самой литературы как предмета анализа, а из философских размышлений о природе, сущности человека, из религиозных представлений философа.

1) Бердяев при взгляде на литературу, как и в собственной философии, исходит из принципа свободной личности, творческой индивидуальности. Сопоставляя различные романтизмы в европейских и русской литературах, творчество Достоевского, Толстого и Ницше, Р. Роллана и русскую литературу, Толстого и буддизм, русскую литературу начала XX в. с аналогичными по времени литературными явлениями в Европе (к примеру, символизм в России и на Западе) и т. д., он опирается в основном на мысль о том, насколько они, по его мнению, освобождают лич-

¹ Закономерности развития и функционирования национальных языков и литератур: Материалы итоговой научной конференции. Казань: ДАС, 2001. С. 147–151.

ность, формируют ее независимое бытие, насколько они экзистенциальны. В статье «Генрих Ибсен» (1928) Бердяев пишет: «Ибсен с гениальной остротой пережил и поставил проблему личной судьбы и проблему конфликта творчества и жизни... . Ибсен верил в качество неповторимой, единственной индивидуальности». Именно идея неповторимости личности и становится основой для сопоставления Ибсена с Толстым, Достоевским, Ницше.

Показательно само название одной из статей Бердяева о Достоевском – «Откровение человека в творчестве Достоевского». «У Достоевского ничего и нет, кроме человека, все раскрывается лишь в нем, все подчинено лишь ему... Достоевский прежде всего великий антрополог, исследователь человеческой природы, ее глубины и ее тайны». Идея личности («антропологизм») становится парадигмой сопоставлений Достоевского с Толстым, у которого «человеческий лик тонет в органической стихии, с немецкими идеалистами, у которых человеческое поглощается божественным».

В большой работе Бердяева «Смысл творчества» достаточно много страниц посвящено живописи, литературе, архитектуре. При этом автор легко проходит через разные эпохи, ставит рядом имена художников из разных стран, «смешивает» разные виды искусств. Но всегда при этом общим знаменателем сопоставлений выступает у него движение за духовную свободу личности. Тем самым Бердяев допускает возможность сопоставительного литературоведения на этой теоретической основе.

2) Сопоставление разных литератур Бердяев проводит и на основе религиозных представлений, которые, как он считает, первичны по отношению к литературе, философии, этике.

Так, романтизм оказался одной из любимых Бердяевым тем. Сопоставляя русский романтизм с западноевропейским, Бердяев заявляет, в отличие от большинства русских ученых и критиков, что романтизм в русской литературе не органическое, а заимствованное явление. К такому выводу он приходит в результате констатации различий в католическом и православном мировосприятии. В католицизме человек и Христос разделены. Бог предстает как объект, вне человека. Отсюда готические храмы, устремленные к небу. Возможны тяга к Христу, тоска по нему. Человек страстно обращается к Христу, вступает в своем вооб-

ражении в диалог с ним. Человек деятельно, активно пытается достичь божественной, духовной высоты. В православии, наоборот, человек пассивен, он, по словам Бердяева, «распластан перед Христом», он ждет благодати, которая должна снизойти на него, не вытягивается к Христу, не рвется вверх к нему как к предмету своей любви. «В храм православный и в душу православную нисходит Христос и согревает ее. И нет в православной мистике томительной страсти. Православие не романтично, оно реалистично».

Действительно, можно согласиться с Бердяевым, романтизм – это недостижимость идеала, это тоска по нему, динамизм, действенность человека, стремящегося к идеалу. С этой позиции на самом деле «температура» романтизма в русской литературе существенно ниже, чем в западноевропейской.

Представляется возможным означеный выше принцип – человек и Бог – использовать при сопоставительном анализе, включающем в себя не только европейские и русскую литературы, но и те восточные, что взращены на исламском религиозном мировосприятии. Видимо, такого напряженного, личностного отношения к Богу, что характерно католицизму, и такого спокойного, относительно пассивного ожидания человеком благодати от него, в исламе нет или выражено слабо. Влияло ли это обстоятельство на татарскую культуру и литературу?

3) Бердяев вовлекает нас в исследования сопоставительного типа на путях использования принципов, все еще сохраняющих свой новаторский характер.

К ПОЭТИКЕ ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО¹

Он шел своею дорогой один и независим.

А. Пушкин

Слова Пушкина о Баратынском, взятые эпиграфом к следующим заметкам, написаны в одно время с сонетом «Поэту» и перекликаются с ним («Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя свободный ум...»). Баратынский и поэт (в его свободе, индивидуальности) были для Пушкина синонимами. Как и для И. Киреевского, правда, менее решительно и последовательно говорившего об этом. Однако такое отношение к Баратынскому было исключением. Для подавляющего большинства современников поэта его одиночество и независимость, не сопряженные с возвышенным, героическим, лишенные романтической риторики и театральности, казались незначительными, замкнутыми в узком пределе личного.

По словам Вяземского (1869 г.), Баратынский, свернувший «с столбовой дороги» русской поэзии, был почти забыт «поколением ему современным» и оказался «совершенно незнакомым поколению новейшему». И это продолжалось до начала XX века, времени интенсивных художественных поисков, озабоченных живым вниманием к человеческой личности.

Тогда-то особый путь Баратынского, его оригинальность стали вновь восприниматься как пример той неповторимости, которой жива поэзия вообще. Так, Н. Гумилев в «Письмах...» («Читатель») в свои рассуждения о «единственности» поэта как условии его бытия, о «чувстве катастрофичности», которым сопровождается каждое его слово, включает стихи Баратынского. Несколько позже «единственность» Баратынского и «магнитическая притягательность» его поэзии не однажды становятся предметом внимания Пастернака. В русской поэзии постепенно возрастает интерес к исключительности Баратынского, возвращается пушкинская оценка его творчества. В «Нобелевской лекции» (1987 г.) И. Бродского, во второй ее части, где речь идет о том, чему учит искусство («частности человеческого существования») было сказано: «Великий Бара-

¹ Поэтическое перешагивание границ: юбил. сб. к 65-летию почётного д-ра Казан. ун-та Герхарда Гиземанна / Сост. и науч. ред. Г. А. Фролов. Казань, 2002. С.68–73.

тынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В изобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования...».

Литературоведческое исследование неповторимости Баратынского как поэта, его стиля имеет свои истоки также в начале прошлого века (Б. Грифцов, Н. Котляревский); затем в работах Л. Гинзбург, А. Чичерина, С. Бочарова и др. оно обретает целенаправленный характер, выливается в ряд интересных наблюдений, плодотворных идей. И все же загадочность Баратынского, тайна его мастерства не уменьшаются, они требуют постоянно растущего внимания и новых к себе подходов. Предлагаемый далее опыт анализа небольшого стихотворения из «Сумерек», написанного в 1839 г., с выходами в творчество Баратынского в целом, направлен на то, чтобы попытаться уловить и осмыслить хотя бы некоторые черты в оригинальном стиле Баратынского.

*Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадет:
Закон небес постигнул человек
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.*

Вначале о том, что в этом стихотворении не могло быть принято критикой 30-х годов. Это, прежде всего, отступление от романтической идеи о высоком (пророческом, жертвенном, свободоутверждающем и ином) предназначении поэта и поэзии, ставшей одной из самых значительных традиций в русской литературе. Идеи, организующей целостность произведения, в котором речь идет о сущности творчества. С точки зрения подобной идеи, ясной и формализуемой, стихотворение Баратынского, как и многие другие его произведения, неопределенно; перепады в движении темы и мысли в нем представляются искусственными, неоправданными...

Действительно, текст дискретен, он «распадается» на отдельные формальные и смысловые единицы, связи между которыми, выражаемые на вербальном уровне, ослаблены или вовсе отсутствуют.

Первая строка «Благословен святое возвестивший!» – самодостаточна; она лексически, интонационно, конструктивно отделена от всего остального текста. Звучит торжественно-литургически; равновесно, музыкально построена. Ее содержание непреходяще-ценно (безглагольность предложения лишает его динамики, подчеркивает устойчивость истины). Страна имеет собственное существование, воспринимаема как самостоятельное произведение.

Последующие единицы текста (в 3,2, 4 строки) в содержаниях своих также автономны, имеют свои лексико-сintаксические и интонационные отличия. Особенно две строки, расположившиеся в середине стихотворения, обособлены уверенной и ясной интонацией, легки и лаконичны по форме. Они так же, как и первая строка, которой по содержанию противостоят, могли бы существовать в своей отдельности (как тезис, афоризм и т. п.). Так в тексте возникают два похожих друг на друга по своей формальной организованности и функциональности, но контрастных по содержанию образования.

Дедуктивные, причинно-следственные связи между единицами текста ослаблены, вследствие чего значение времени как переходов от одного к другому стало несущественным, зато возросла роль пространственной рядоположенности частей стихотворения. Заметна построенность, «архитектурность» текста. Такова структурная особенность и многих других произведений поэта. При этом разнообразие факторов, разделяющих тексты на относительно свободные единицы, оказывается, естественно более широким, чем в рассматриваемом стихотворении.

Так, в «Осени» есть: отдельные строки, обретшие содержательную и формализованную самостоятельность; безглагольность, тормозящая движение; бессоюзие, ослабляющее связи между словами и предложениями и создающее эффект перечисления; различного рода грамматико-сintаксические «нарушения», заставляющие читателя останавливаться в поисках смыслов и т. д.

В «разрывах» текста, которые образуются на «стыках» между самостоятельными его элементами, возникают паузы.

На них читатель, не ведомый далее словом и логикой, останавливается. Он может оценить эту остановку как бессодержательную, механическую, вызванную недостаточным мастерством или экспериментаторством поэта и т. п. Или превратить ее в поле развертывания ассоциаций, связывающих текст воедино, а также выводящих к другим произведениям Баратынского. Таким образом, эти «искусственные» пространства, остановки между единицами текста, становятся порождающими дополнительные смыслы моментами, полем продуктивного воображения читателя.

Вообще-то они существуют в любом стихотворном тексте, который, как известно, сплетается, в том числе и из противостояний смыслов, из рядоположенности строк, повторяющихся пауз и т. д. Но у Баратынского порождающая дополнительные смыслы функция такого рода «стоянок» воображения и мысли чрезвычайно высока и ее источники иные, чем у его романтических современников.

Вернемся к приведенному выше стихотворению. В пространстве между первой и последующими тремя строками, образовавшемся не только из-за естественной стихотворной паузы, но и перепадом различных интонаций, а также по-разному построенных стихотворных конструкций, размещено содержание, в данный момент невербализованное. Здесь эхо дискуссии, которую вел Баратынский с Надеждиным (после публикации «Наложницы») о том, что значит быть нравственным в поэзии. Как известно, он настойчивее и горячее, чем любой другой поэт или критик его времени, отстаивал правду искусства как нравственную его ценность. Здесь же в сознании внимательного читателя всплывают строки и из других стихотворений поэта («Гнедичу», «На смерть Гете», «Нам надобны и страсти и мечты...», «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...»).

И по обе стороны двухстрочного единства в середине стихотворения, тесно сомкнутого в себе ясностью содержания, смежной рифмой, фонетическими повторами и другими отмеченными выше особенностями, – пространства. Между ними – глубокая лирическая взволнованность, уверенная авторская позиция. В отличие от других частей произведения, эпически спокойных и воспроизводящих истины, представляемые как всеобщие.

Содержательная, организующая роль этих пространств очевидна. Обособляя часть стихотворения, они подчеркивают ее особую значимость для текста в целом. В то же время, наделяя ее свободой (не случайно кажется, что две строки, о которых идет речь, могли бы стать на любое место в тексте), они «освобождают» ее, дают ей право «бродить» в своих вариантах по остальному творчеству Баратынского, подобно другим его строчкам («Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Царь небес! Успокой / Дух болезненный мой...», «Нет на земле ничтожного мгновенья»).

Далее выясняется, что в пространстве между последним четверостишием воображение читателя должно совершить новый поворот; вернее, оно обязано вернуться в него, чтобы каким-то образом связать содержание этой части стихотворения, где упоминается миф о том, как Ньютон открыл закон всемирного тяготения, есть реминисценции библейского предания («плод яблони», «порок»), с предшествующими его частями. Именно в этом формально пустом месте стихотворения «запрятано» характерное для Баратынского представление о сущности творчества вообще, независимо оттого, реализуется оно как художественное, научное или нравственное.

Баратынский в этом стихотворении, как и во многих других, уходит от линейности, типичной для подавляющего большинства произведений его времени. От однонаправленного движения, когда образы и переживания, связанные нитью сюжета и идеи, выстраиваются в некую единую цепь. Против подобной линейной дедукции он выдвигает мышление, основанное на противоположностях, стоящих рядом. Сознание оказывается в состоянии медитации между ними; и истина не есть обязательное преодоление одной из них. «Святое возвестивший» и посвящающий в «дикий смысл порока» – сосуществующие крайности.

Дискретное в текстах Баратынского отлично от романтической фрагментарности. Романтики (А. Бестужев, Дельвиг и др.) это видели. Они не находили в поэзии Баратынского той целостности, которая ощущаема через частное («Бесконечное в конечном»). Даже И. Киреевский оставивший ряд блестящих и до сих пор сохраняющих свою ценность замечаний о Баратынском, писал о его поэзии: «... нет средоточия для чувства... нет одной составной силы, в которой соединились бы и уравновесились все душевные движения».

Романтический фрагмент символичен. Он действительно «обломок», «отрывок» (лат. *fragmentum*) целостного бытия, которое романтики, как им казалось, интуитивно постигали и в конечном счете рационально конструировали. Произведение искусства, с романтической точки зрения, – это модель мироздания. Соответственно, и фрагмент – символ, часть известного до него, свободного от него содержания.

Баратынский, в отличие от большинства русских романтиков, не был шеллингианцем, остался в 40-е годы в стороне и от модных увлечений Гегелем. Воспринимать мир пантеистически или как развертывание идеи не было ему свойственно.

Баратынскому ближе стиль мышления Декарта (французский философ упоминается в одном из ранних стихотворений поэта), с пристальным вниманием к конкретному, к самому процессу и психологии мышления, чем к обобщениям. Он возвращает образам, мыслям и словам конкретность (связанность с данным моментом), воспроизводит в своем творчестве неповторимое, индивидуальное («Поэзия есть полное ощущение известной минуты». «Каждый из нас имеет собственные истины». «Мгновенье мне принадлежит, / Как я принадлежу мгновенью»). Историческая тема Баратынского мало интересовала (в этом он также не похож на романтиков), потому что история поступательна, телеологична, в ней одно поглощается другим.

Постоянная обращенность Баратынского к собственным мыслям и чувствам отличается от романтической субъективности тем, что в ней нет трансценденции; она останавливается перед ничто и одиночеством. Основная тема поздней лирики Баратынского экзистенциальна – «трагическое самосознание человека, отторгнутого от общих ценностей» (Л. Гинзбург). Так возникают разбросанные в пространстве отдельные состояния, в которых телесное (вещественное) и духовное сращены: их редукция невозможна. Они атомарны, самодостаточны. Жизнь в ее разных явлениях просто видится, созерцается. Без дифференциации на разноценостные уровни; как смешение противоположностей.

*Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! Тебе забвенья нет;
Все тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.*

Баратынский, таким образом, не разделяет принципы дедуктивной лирики; он в стороне и от романтической трансценденции, преодолевающей жизненную раздробленность и способной излечить поэта от одиночества. Но и простая фиксация жизненных явлений, собственных переживаний, перечисляющая описательность и т. п. не могли быть для него целью творчества. Роль дискретного начала в поэзии Баратынского была выше нарочито подчеркнута, чтобы сделать ее более ощутимой, противопоставить романтическому восприятию жизни.

Специфика поэзии, улавливающая целостность бытия, указующая на нее, в представлениях Баратынского, его творчестве, конечно же, не исчезает. Она реализуется. Но не стандартным, уже известным образом. Без опорной идеи, более или менее ясно выговариваемой.

Место романтической идеи, которая собирает распадающийся на множество осколков мир, придает смысл разрываемому противоречиями человеческому существованию, наконец, организует целостность произведения искусства, у Баратынского занимает «бессодержательная» гармония («Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех своих скорбей...»). При этом речь идет не о том, что гармония рождается поэтическим воображением, есть результат художественной техники. Она онтологична («И бытия мятежным голосам, / В великом гимне примиренным»). Она вкоренена в сам мир, открывается человеку, вносит в его душу порядок, удерживает ее от распада («Болящий дух врачует песнопение»). Здесь Баратынский близок античному мировосприятию. Эту особенность стиля Баратынского первым заметил И. Киреевский, который писал, что в его поэзии «самые разногласия являются... не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию». Совсем не случайно то, что Баратынский заключает «Сумерки» стихотворением «Рифма», в котором гармония предстает не как поэтический символ или олицетворение частного явления, а как разрешающая жизненные противоречия форма.

Различные и, возможно, неожиданные подходы к осмыслинию и анализу поэзии Баратынского совершенно необходимы. Иначе «ее лица необщее выраженье» не будет открываться каждому поколению по-новому и слова поэта «читателя найду в потомстве я» перестанут быть живыми.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА (*к теории вопроса*)¹

Слово «идентичность» редко встречается в нашей теории литературы. Его нет в литературоведческих словарях, учебных пособиях и т. д. Но смыслы, которые принято обозначать этим словом или могли быть обозначены им, широко бытуют в современной науке и художественной практике. И диапазон взаимо-переходов и столкновений между ними очевиден. От «кризиса идентичности» (вариант – «смерть автора») до ее апологии. От В. Пелевина до А. Проханова. На левом краю трактовок – личностная идентичность (французские постструктуралисты Ж. Делез, Ж. Деррида и др.). Самотождественность, постоянное возвращение в себя. Ни язык, ни народ не властны над ней. Так понимаемая идентичность не обязательно эгоцентризм. Наоборот, она может рассматриваться как непременное условие интерсубъективности. На другом краю – национальная идентичность. Тождество индивидуума с коллективом. Самообраз, самооценка личности в контексте национальных ценностей, принимаемых за константные величины, определяющие ее целостность. И здесь есть аналогичное первой половине обозначенной антимонии: идентифицировать себя с народом не значит потерять свободу и индивидуальность, которые получают в конечном счете смыслы и могут реализовываться только в единстве с другими.

Идентичность в разных аспектах своего бытия – постоянная тема русской литературы, литературной критики и теории, но представлена она преимущественно как национальная, коллективная. Писатель – совесть народа, пророк, на нем груз ответственности за народные, общественные судьбы и др. Категория «народность» в ее интегрирующей и возвышающей функции была, пожалуй, главной в русской критике и одной из системообразующих в теории литературы. В советское время традиция была продолжена, но будучи обедненной и искаженной в своем содержании и превращенной, в конечном счете, в форму принудительной идентификации. Идентичность как самоопределение

¹ Сопоставительная филология и полилингвизм. Материалы Международной научной конференции (Казань, 29 сентября – 1 октября 2010). – Казань, 2010. С. 280–283.

ние, состояние свободного выбора осуществляемого писателем в сомнениях, разочарованиях, страхах, надеждах и т. п., то есть все то, что может быть в идентичности (от элементарного конформизма до нравственного подвига) было второстепенным для теории или вовсе не существовало для нее. Идентифицирующее мышление выхолащивало из идентичности, пожалуй, главное – чувство причастности писателя к общей истине, но не к готовой и для него кем-то предварительно сформулированной, а достигаемой (творимой) обязательно им тоже вместе с другими. Исследование национальной идентичности также ограничивалось сложившейся теоретической парадигмой, предусматривающей движение от общего к частному. Так, при изучении межлитературных взаимодействий широко использовались понятия «национальное своеобразие», «национальная специфика» с вполне определенными и лексически маркируемыми содержаниями. Речь могла идти только о своем, национальном варианте образа советской литературы вообще или о специфике чего-то тоже сверхнационального (к примеру, романа как жанра, темы, конфликта произведения и т. п.) в его абстрактном инварианте, в котором предзданы результаты возможных конкретных исследований.

Национальная идентичность к настоящему времени стала одной из ключевых проблем российского общественного сознания. Особенно актуальна она для общественного сознания в странах постсоветского пространства. Идентичность можно осознавать и декларировать, можно пытаться быть равнодушным к ней, скрывать ее и т. п. Но она в чувствах, представлениях, поведении и др. подавляющего большинства людей. Она в основе национальной идеи. В литературе и искусстве идентичность вербализуется, символизируется, принимает ощущимые формы, продуцируется и возвращается. Поэтому «национальная идентичность и литература» – дискуссионная тема. Что значит в современных условиях быть русским, татарским, литовским, грузинским писателем? Русский или украинский писатель Гоголь? Как идентифицировать писателей-билингвов (В. Набокова, Ч. Айтматова и др.)? Возможна ли чистая самореализация писателя, свободного от национальной идентичности? Чем больше таких конкретных, прикладных вопросов и чем шире бытование идентичности в массовом сознании, тем

разнообразнее и богаче становится ее содержание и, соответственно, сложнее теоретическое ее определение.

В отечественной науке национальная идентичность имеет, как правило, свой коррелят. Она соотносится с национальной ментальностью – категорией более широкой в отношении к ней и имеющей онтологические основания. Идентичность – осознавшая себя ментальность, и с этой точки зрения она субъективная реальность [Попова 2006: 7].

Не случайно ментальность – более разработанная в науке проблема. Начало систематическому ее исследованию было положено А. Я. Гуревичем книгой «Категории средневековой культуры», изданной в 1972 году. Начиная примерно с середины 80-х годов прошлого века, литература по национальной ментальности быстро растет и теперь уже труднообозрима. Существуют научные центры по изучению национальной ментальности. Известным среди них является Воронежский университет, издающий по теме ментальности монографии, сборники, научных работ, материалы, организуемых им конференций. Национальной ментальностью занимаются представители практических всех гуманитарных наук, лингвисты и литературоведы (например, Ю.С. Степанов, Г.Д. Гачев). Содержание ментальности в целом осознано и редуцировано до терминологической определенности, фиксируемой в словарях. Ментальность – стереотипы коллективного сознания, склад ума, образные комплексы и т. п., через которые и в которых человек, представляющий ту или другую культуру, воспринимает, воспроизводит мир. Ментальность коренится в языке, формах мышления, в жизненном укладе и др. Силы, которыми она удерживают в поле притяжения сознание человека и целого народа, схожи с природными. Они поэтому представляются объективными и, соответственно, не до конца познаваемыми.

Обозначенная выше координация понятий, одно из которых первично и по своему содержанию шире, а другое – осознание его, опирается на традицию в нашем гуманитарном знании, предпочтаемом идти от общего к частному. Однако идентичность может выступать в конструирующей ментальность роли. Так, русское художественное сознание формировалось под определяющим влиянием творчества классиков литературы и искусства, которые идентифицировали себя не только с «наци-

ональным», но и со своей свободной, преодолевающей его индивидуальностью. Обособление идентичности от ментальности условно. Она в том изменяющемся, что всегда происходит в последней. Активизируется идентичность в переломные моменты истории, в эпохи духовных кризисов, возрождения существующих или рождения новых литератур и т. д. Она связана с волевым началом в человеке и народе и поэтому может политизироваться.

Могут существовать обстоятельства, при которых понятие «идентичность» оказывается достаточным, оттесняющим «ментальность» при исследовании той или другой культуры. Пример – книга американского автора С. Хантингтона «Кто мы? Вызовы американской идентичности».

Американская культура на фоне большинства других культур сравнительно молода. Американская мультикультура предполагает формирование идентичности в динамике, в движении, а не в опоре на исторически сложившиеся стереотипы. С. Хантингтон в своем исследовании обходится без «ментальности». Если она и встречается в его работе, то не как эвристический термин, а явление, о котором читатель просто получает определенную информацию. Исследование межлитературных процессов в современной России и постсоветском пространстве требует новых подходов, сопровождаемых, в том числе, и пересмотром, обновлением литературоведческой терминологии. Характерная для советской литературы идея о том, что разные литературы идут к общей цели и в этом движении исчезают различия между ними, имела уходящие в досоветскую историю корни. Как нечто своего рода идеал она привлекательна и сейчас, продолжает жить в представлениях значительной части современного общества.

Однако она в советское время казалась достижимой в недалеком будущем, разрабатывались пути ее реализации, национальные литературы выстраивались в один ряд, расположенные друг за другом по мере близости к общей цели, среди них определялись ведущие и ведомые и т. д. Планы такого рода оказались утопичными. Последовавшее за распадом единого государства возрождение национальных литератур, каждая из которых демонстрировала теперь самостоятельность, возвращает идею об общем между разными литературами к своему началу, вновь

актуализирует ее в виде идеала. В этих условиях в теории, обращенной и претендующей на системность, понятие «идентичность» может занять одно из центральных мест. Приведем некоторые из доводов, обосновывающих такую точку зрения.

Если идентичность понимать и определять как самотождественность той или другой литературы, как замкнутую в себе целостность и исходить из того, что эта целостность должна быть каким-то образом сохраняется при типологических исследованиях, то можно прийти к выводам о необходимости обновлять методы последних, обратиться к новым теоретическим категориям, переосмысливать некоторые из существующих и др.

Идентичность представима, прежде всего, в категориях и терминах, соответствующих ее природе. Стандартизирующая логика, построенная на опыте другой идентичности или даже целой группы других идентичностей, может ее разрушить. Описание (нарратив), созерцание и иные методы, свободные от абстракций, возникших на «чужом» опыте, способны ее воспроизводить в обращенном к ней сознании.

Пребывающие каждая в собственной идентичности литературы могут оказаться в одном пространстве (читательского восприятия, территории, времени и др.). Тогда возможно их существование рядом друг с другом, а не расположность на иерархической лестнице. Это явление можно обозначить слово-сочетанием «множественность литератур», которое своим значением отличается от распространенного в теории литературы слова «разнообразие». «Множественность» – сосуществование литератур, а «разнообразие» варианты уже известного общего, открыто декларируемого или легко подразумеваемого канона.

Идентичность – основа различий, которые в традиционной теории оценивались как постепенно изживающиеся, обреченные к исчезновению. В реальности различия – активный фактор межлитературных взаимодействий. Благодаря им разные литературы, оказавшиеся в одном пространстве, сталкиваются, сближаются, в конечном счете, дополняют друг друга. «Принцип дополнительности» И. Бора используется в современной гуманитарной науке, и обращение к нему при исследовании межлитературных взаимодействий представляется целесообразным.

«Идентичность» и производные от него или близкие к нему понятия, которые обозначены выше, могут прийти в движение и

во взаимопереходы будучи включенными в «межлитературный диалог». Сущность межлитературного диалога была обозначена еще М. Бахтиным. По его словам, две культуры при встрече «не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность ... они взаимно обогащаются» [Бахтин 1986: 354]. При диалоге из столкновения различий рождаются новые смыслы. К примеру, есть литературы, в которых автор творит бытие, и литературы, в которых, наоборот, бытие овладевает автором. При встречах они проблематизируют друг друга. Теряется определенность границ между ними. Различия могут восприниматься как разные формы общего для них третьего, содержание которого не сводимо к дилемме «автор – бытие». Но это общее скорее взаимопонимание, переходы друг в друга, процесс, чем история с целевой установкой. Именно при диалоге идентичность осознает свою уникальность, изменяется в ней, чтобы в обновленном содержании вновь вернуться к себе.

Национальная идентичность в своей литературной представленности, отдельные стороны которой в данном выступлении затронуты, нуждается в своей дальнейшей теоретической разработке. Ее актуальность в сохранении и возрождении межлитературных связей в России и постсоветском пространстве.

Литература

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. М.: Искусство, 1986. 444 с.

Гачев Г. Д. Ментальность народов мира / Г.Д. Гачев. М.: Алгоритм, 2003. 541 с.

Попова М. К., Бородина П. Л., Тернова Т. А. Национальная ментальность и национальная литература в (пост) имперскую эпоху / М.К. Попова, П.А. Бородина, Т.А. Тернова. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. 166 с.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. М.: Академ. проект, 2001. 990 с.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской идентичности / С. Хантингтон. М.: Аст, 2008. 635 с.

О МЕЖЛИТЕРАТУРНОМ ДИАЛОГЕ¹

Исследование взаимодействия национальных литератур постсоветского пространства требует новых подходов. Центробежные тенденции, порожденные стремлением отдельных литератур осознать и утвердить свою идентичность, вошли в противоречие с идеями реально существующего единства между ними. Межлитературный диалог в этих условиях и как тема, и как теоретическая категория становится актуальным. В следующих далее тезисах основное внимание будет обращено на теоретический его аспект.

Слово «диалог» в теории литературы принято относить, как правило, к композиционным и жанровым особенностям художественных текстов. Однако еще М. Бахтин вывел его значения за пределы поэтики и использовал диалог как инструмент содержательного анализа творчества Ф. Достоевского. Ему же принадлежат идеи, которые могут быть положены в основу современной трактовки межлитературного диалога.

Диалог возможен там, где существуют различия (несходства) в литературах, которые в него вступают. Под различием здесь имеются в виду не разница между учителем и учеником в обучающем диалоге, когда первый ведет второго к заранее известному знанию, и не разница между философами в спекулятивном диалоге, построенном на основе логики, которую они обязались соблюдать. Также слова «национальное своеобразие», «специфика» не могут быть синонимами к «различию». Они обозначают нечто, привязанное к своему рационализированному инварианту (национальное своеобразие художественного идеала, специфика исторического романа в той или другой литературе и т. п.).

Различие укоренено в национальной идентичности отдельно взятой литературы и демонстрирует ее уникальность. Синонимом к «различию» можно было бы считать «самобытность» – слово из классической русской критики, не нашедшее, однако, места в теории литературы.

Различие не может быть в полной мере рационализировано и выражено в логических категориях, хотя обратное, как

¹ Проблемы сравнительного и сопоставительного литературоведения Поволжья: сб. науч. ст. Чебоксары, 2010. С.92–95.

правило, делается в компаративистике. Так, одним из основных принципов различия западных и восточных литератур является в компаративистике соотнесенность субъективного и объективного в деятельности автора, а также при интерпретации его творчества. Однако этот принцип исследования соответствует природе только первого из сравниваемых предметов. В восточном литературном сознании, в отличие от западного, нет дифференциации на субъективное и объективное. Поэтому приведенное выше различие, построенное на такой дифференциации, не является продуктивным. Это не снимает само существование различий, которые можно увидеть, описать, метафорически обозначить и др.

Межлитературный диалог – столкновение различий. Но не в целях победы одного из них над другим. Оно сопровождается пониманием другого. Здесь нет ведущего и ведомого. Нет также и синтеза в традиционном значении этого слова. Различия выступают в отношениях взаимной дополнительности. Так, продолжая интерпретировать выше приведенный пример, можно сказать следующее: европейская традиция дихотомического деления на субъективное и объективное как в литературном творчестве, так и при трактовках последнего, и восточная традиция, в целом лишенная такой дихотомии, вступая в диалог, проблематизируют друг друга. Ни одна из традиций уже не претендует на то, чтобы именно ее идентичность стала непременным условием согласия. Общее предстает как новые смыслы, порождаемые процессами диалога.

Можно выделить следующие сферы литературы, в которых реализуется диалог. 1. Взаимоотношения между авторами, представляющими разные литературы. При этом контактные связи между писателями и совпадения во времени творчества не обязательны (Ф. Достоевский и Ж. Санд, В. Шекспир и А. Пушкин, А. Чехов и Г. Ишаки и др.). 2. Встреча разных литератур в читательском восприятии. Она может быть организованной и руководимой сверху, как это происходит, например, в образовательном процессе, или быть результатом самостоятельного выбора читателей. Владение двумя или несколькими языками, позволяющее читать литературные тексты в оригиналах, углубляет и обогащает диалог. Включение читателей в диалог делает его практически бесконечным. Более того, диалог, функционирующий в читательском (особенно массовом) сознании

нии, – фактор, конкретно влияющий на межкультурные взаимодействия. Однако он до сих пор остается мало исследуемым предметом.

Особенно благоприятными для диалогов являются переходные эпохи в истории литературы, когда актуализируются проблемы соотношения традиций и новаторства, национальной самобытности и «чужого» художественного опыта. Такими эпохами в русской литературе были, к примеру, авангард 10-х – начала 20-х годов прошлого века, в национальных литературах – первое послереволюционное десятилетие. Как уже отмечалось выше, и современность является переходной эпохой для литератур постсоветского пространства.

Для межлитературных диалогов нет временных и пространственных границ. Литературное произведение – открытый в прошлое и будущее текст. Однако диалогические отношения реализуются при конкретных географических и исторических обстоятельствах. Приведенные выше примеры иллюстрируют различия между западной и восточной литературами в самой общей форме. Между тем существуют литературы, занимающие пограничные позиции. Их идентичность не определяется строгой принадлежностью к западной или восточной цивилизации. Они диалогичны по своей природе. К ним, в частности, можно отнести татарскую и некоторые другие литературы современной России.

Свести все межлитературные взаимодействия только к диалогу невозможно. Существуют бесспорные и связывающие самые разные литературы художественные ценности, а также влияния, подражания, заимствования, существенно ослабляющие или даже исключающие диалогизм. Диалогические отношения могут деформироваться под влиянием навязываемых писателям, читателям и ученым идеологем, стандартизирующих национальные литературы, или, наоборот, абсолютизирующих национальные идентичности.

Кроме приведенных выше понятий «различие», «идентичность», близкими к межлитературному диалогу являются «понимание», «интерпретация», «коммуникация», «параллизм», «аналогия», «множественность культур» и, возможно, некоторые другие. Межлитературный диалог мог бы выступить как систематизирующая их категория.

ИЗ СЛОВАРЯ «ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»¹

ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ. Слово «идентичность» (лат. *identitas* – тождественность) в словарях означает, как правило, полное совпадение одного явления с другим (точек зрения разных людей на тот или другой предмет, перевода – оригиналу, приемов исследования и т. п.). Однако в современной теории литературы И. используется и для обозначения тождественности отдельно взятой литературы самой себе, ни оказывается целесообразным при исследовании межлитературных взаимодействий, когда участвующие в них литературы выступают в роли самостоятельных образований.

И. – это содержание и формы, отличающие одну литературу от другой. Так, сопоставление татарской литературы с русской может привести к следующим наблюдениям. Материальное и духовное в татарской литературе не противопоставляются. Отвлеченное философствование в творчестве в основном не практикуется. Автор не предстает перед читателем в роли пророка, он на одном с ним уровне. Время имеет функции, сохраняющие, не разрушающие единство духа. Малые художественные формы (в частности афористические) играют значительную роль в жанровой системе литературы. Естественно, имеются и другие различия, образующие И. татарской литературы.

Основой И. является язык, на котором существует литература. И языке рождаются и фиксируются типичные для его носителей формы мышления. Они, многократно повторяясь в течение долгого времени, становятся нормативными (традиционными). Язык можно представить в виде мощной центростремительной силы, удерживающей в сфере своего бытия и писателей, и читателей. Различным И. соответствует разнообразие

¹ Все представленные далее категории и понятия вошли в словарь «Теория литературы» (2010). См.: Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и сопоставительной филологии / Науч. ред. Я.Г. Сафиуллин, сост.: Я.Г. Сафиуллин, В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина и др. Казань: Изд-во Казан ун-та, 2010. 147 с.

Словарные статьи, написанные Я.Г. Сафиуллиным: «Идентичность литературная» (С.29–31), «Межлитературный диалог» (С.53–55), «Множественность литератур» (С.58–59), «Принцип дополнительности» (С. 79–80), «Сопоставление литератур» (С.97–99).

языков. Язык, по В. Гумбольдту, «первостепенным образом формирует и определяет национальный характер» [Гумбольдт, 1985: 363]. И. литературы и культуры в целом того или другого народа определяется также природными (климатическими, ландшафтными, пространственными и др.) условиями его существования, его историей и религией.

Начало активного исследования истоков и сущности И. было положено еще в XVIII веке (Д. Вико, Вольтер, Гердер и др.). И. оказалась в центре внимания романтической, в том числе и русской, эстетики (у Ж. де Сталь, немецких романтиков, декабристов, П. Киреевского А. Хомякова и др.). С конца прошлого века внимание к ней снова активизировалось (особенно у французских постмодернистов Ж. Делеза, Ж. Дерриды, Ю. Кристевой и др., испытавших существенное влияние М. Хайдеггера). Причина – движение против логоцентризма в гуманитарных исследованиях, сводящего разные культуры к общим универсалиям, постулируемым из опыта ограниченного их числа и, соответственно, против идеологии и практики глобализма в культуре. В советской науке И. как тождественность той или другой литературы самой себе практически не исследовалась. Слова «своеобразие», «специфика», «особенности», которые использовались при сравнении разных литератур, сводили И. к вариантам «идеальной» литературы, конструируемой рационалистическим способом. К числу немногих исключений, возвращающих И. собственный смысл, относились работы Г. Гачева, посвященные «национальным образам мира».

И. – самореализация литературы. Она целостна и конкретна. Ее можно «видеть», ощутить как «чужое», понять, описать. Стандартизированная логика разрушает И. По отношению к общему она первична.

Как было отмечено выше, И. удерживает в поле своего притяжения писателей и читателей, «расторвя» их в своей целостности. Но ее активность не сводится только к этому. Под «контролем» И. находятся заимствования, влияния, переводы и другие формы взаимодействий «своего» и «чужого» в литературных процессах.

И. – один из факторов, определяющих межлитературные взаимодействия. Она превращает ту или другую литературу

в полноценного участника *межлитературных диалогов*. Различные И., вступая в отношения взаимной дополнительности, порождают новые и общие для них смыслы. В результате наступают изменения в содержаниях участвующих в диалоге И.

И. находится в центре внимания современной культурологии. Она актуализируется и в теории литературы. Это обусловлено главным образом противоречиями между тенденцией к интеграции разных культур и процессами самоидентификации, наблюдаемыми в каждой отдельно взятой из них.

Лит.: Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. Гачев Г. Д. Серия книг «Национальные образы мира», изданных начиная с 1981 по 2002 гг. Попова М. К. Национальная идентичность и ее отражение в литературе. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. Проблема национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках XX в. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000.

МЕЖЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ. Слово «диалог» (греч. *dialogos* – разговор двоих) имеет следующие традиционные значения: а) речевое общение между двумя и более лицами; б) форма литературного текста, основанная на разговоре персонажей; с) литературный жанр, написанный в форме беседы (у Платона, Дидро, В. Соловьева и др.). С конца XX в. слово «диалог» в сочетании с определениями «межкультурный», «межлитературный», «межконфессиональный» становится одним из ключевых терминов при сопоставлении разных национальных культур и цивилизаций.

М. д. – обмен идеями, образами, художественными формами и другими эстетическими ценностями. Его условие – движение к общему при сохранении различий. По словам М. Бахтина, внесшего значительный вклад в теорию М. д., две культуры при своей встрече «не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, ... они взаимно обогащаются» [Бахтин, 1986: 354].

Можно выделить следующие сферы литературы, в которых реализуется М. д. 1. Взаимоотношения между авторами, представляющими разное литературы. При этом контактные связи между писателями и совпадения во времени творчества не обя-

зательны (Ф. Достоевский и Ж. Санд, В. Шекспир и А. Пушкин, А. Чехов и Г. Ишаки и др.). 2. Встреча разных литератур в читательском восприятии. Она может быть организованной и руководимой сверху, как это происходит, например, в образовательном процессе, или быть результатом самостоятельного выбора читателей. Владение двумя или несколькими языками, позволяющее читать литературные тексты в оригиналах, углубляет и обогащает М. д. Включение читателей в М. д. делает его практически бесконечным. Более того, такой диалог, функционирующий в читательском (особенно массовом) сознании, – фактор, конкретно влияющий на межкультурные взаимодействия. Однако он до сих пор остается мало исследуемым предметом.

М. д. изменяет литературы, участвующие в нем. Столкновение различий, существующих в них, порождает в сознании читателей новые смыслы. Так, субъективное и объективное (в частности, автор и действительность) в западных литературах, как правило, разделены. В восточных литературах подобного разделения нет, или же оно представлено в менее определенных формах. Такие разные подходы, встретившись в сознании читателя, проблематизируют друг друга. Возникают условия для того, чтобы снять представление о возможном превосходстве одного из них над другим. Противоположности вступают в отношении взаимной *дополнительности*, объединяющей их на новом витке сознания. Диалогизм возможен и на других уровнях (тематики, жанров, концептов и т. д.) встретившихся литератур.

Особенно благоприятными для М. д. являются переходные эпохи истории литератур, когда актуализируются проблемы соотношения традиций и новаторства, национальной самобытности и «чужого» художественного опыта. Такими эпохами в русской литературе были, к примеру, авангард 10-х – начала 20-х годов прошлого века, в национальных литературах – первое послереволюционное десятилетие. Также современность, которая оказалась переходной эпохой в национальных литературах постсоветского пространства, диалогизирует отношения между ними.

Для М. д. нет временных и пространственных границ. Литературное произведение – открытый в прошлое и будущее текст. Однако диалогические отношения реализуются при конкретных

пространственных и исторических обстоятельствах. К примеру, существуют литературы, занимающие пограничные позиции. Их идентичность не определяется строгой принадлежностью к западной или восточной цивилизации. Они диалогичны по своей природе. К ним, в частности, можно отнести татарскую и некоторые другие литературы современной России.

Свести все межлитературные взаимодействия только к диалогу невозможно. Есть бесспорные, общие для самых разных литератур художественные ценности, а также влияния, подражания, заимствования, существенно ослабляющие или даже исключающие диалогизм. Диалогические отношения могут деформироваться под влиянием навязываемых писателям, читателям и ученым идеологем, стандартизирующих национальные литературы или, наоборот, абсолютизирующих национальные идентичности.

М. д. – динамичный процесс сосуществования разных литератур. Его ход и результаты зависят от множества факторов и трудно предсказуемы. Однако взаимопонимание, толерантность участников диалога (писателей, критиков, ученых, просто читателей) в состоянии определять его гуманистическую направленность.

Лит.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986; Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура // Одиссей. М., 1989; Диалог культур – культура диалога. М.: РГГУ, 2002; Яусс Г.-Р. К проблеме диалогического понимания // Бахтинский сборник. М.: Лабиринт, 1997. Вып. 3.

ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ был введен в науку в 1920-е годы датским физиком Н. Бором. Изучая явления, которые относятся к микромиру, он пришел к выводу, что они могут быть описаны не традиционными способами, а во взаимоисключающих друг друга терминах. Так, свет – волны и частицы одновременно. По мысли Бора, только одной логической системы недостаточно для описания картины мира; она должна дополняться другими системами. Идея Бора постепенно приобрела философское значение. Она проникла в современную культурологию. Ю. Лотман в работе «Феномен культуры» дает следующее объяснение П. д. Деятельность человека протекает в условиях неполной информации о действительности, недо-

статочность которой компенсируется знаниями, добытыми его партнерами, действовавшими другими путями ее постижения.

Сопоставление литератур опирается на П. д. Каждая из сопоставляемых литератур обладает собственной *идентичностью*, и они представляют нам разные картины мира. В то же время литературы открыты друг другу и находятся в состоянии взаимодополняемости. Так, есть литературы, в которых автор мыслит и творит бытие, и литературы, где, наоборот, бытие овладевает мышлением и творчеством автора. При встречах (межлитературных диалогах) они проблематизируют друг друга. Границы между приведенными антиномиями размываются, возрастает их метафоричность. Они воспринимаются как противоположные варианты описания явления более сложного, чем оно в каждой из них в отдельности представлено, и которое, возможно, вообще не подлежит описанию через «автор – бытие».

П. д. придает теоретическим понятиям и терминам подвижность, освобождает их от избыточной абстрактности, вызванной привязанностью к сравнительно узкому литературному опыту. В целом он приближает теорию межлитературных взаимодействий к процессам, которые существуют в реальности.

Лит.: *Бор Н.* Атомная физика и человеческое познание. М., 1960; *Лотман Ю. М.* Избранные статьи: в 3-х т. Таллинн, 1992. Т. 1; *Руднев В.* Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2003.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУР. Слово «сопоставление» в теории литературы встречается, как правило, в виде синонима к слову «сравнение». Последнее входит в состав термина «сравнительно-исторический метод». Необходимость наделить слово «сопоставление» самостоятельным значением возникла в связи с новыми подходами к изучению межлитературных взаимодействий, которые существенно отличаются от принципов сравнительно-исторического метода.

Корень слова «сравнение» (-равн-) указывает на то, что разные литературы в ходе исследования выравниваются по общему признаку (например, по наличию в них категории «трагическое», представленности жанра фантастического романа, уровню насыщенности художественных текстов метафорами и

т. д.). Различия литератур при этом редуцируются или рассматриваются как варианты общего в них.

Понятия, термины, на которые опирается сравнительный метод, извлекаются в основном из опыта европейских и близких к ним литератур, которые связаны между собой генетически, развивались в совпадающих во многом условиях. Они соответствуют природе этих литератур и обеспечивают успех сравнительных исследований, проводимых на их материале. Однако представители сравнительного метода экстраполируют такого рода понятия и термины на любые сравнения, включающие в свой круг самые разные, в том числе и так называемые «восточные», литературы. И это оказывается недостаточно плодотворным научным приемом.

В восточных литературах, в отличие от западных, трагическое не играет роли одной из ведущих категорий, жанр фантастического романа представлен редкими примерами, метафоры менее разнообразны и частотность обращений авторов к ним сравнительно низка. Поэтому сравнение западных и восточных литератур по отмеченным выше и другим подобным им меркам приводит к выводам о том, чего в восточных литературах на фоне западных нет, что в них находится в начальных формах становления и т. д.

При определении общности разных литератур можно опираться только на такие единицы измерения, которые репрезентативны для каждой из них. Но какими, если не основанными только на опыте европейских или, наоборот, только восточных литератур, они могут быть? Представителями сравнительного метода этот вопрос, как правило, не ставится. Они выравнивают разные литературы по образцу европейских.

Слово «сопоставление» семантически отличается от «сравнения». «Сопоставлять» (-став-) означает процесс, в ходе которого изучаемые литературы ставятся рядом. Приставки со- и по- указывают на возможные сочинительные связи между ними. Словами, близкими по структуре и смыслам к «со-поставлению», будут «со-существование», «со-гласие», «со-общество» и др.

С. предполагает сохранение уникальности (самобытности) каждой из литератур, включаемых в круг исследования. Этому может способствовать описание как исследовательский прием. Оно должно вестись в таких содержаниях терминов и понятий,

в таких сочетаниях последних, которые соответствуют природе описываемой литературы. Описание не может быть «опрокидыванием» на разные литературы одной и той же исследовательской модели, источником которой являются одна или группа из них. Описание производится без целевой установки на последующее выравнивание литератур, в нем, наоборот, фиксируется идентичность каждой из них. Возможно описание, ориентированное на воспроизведение как целостности той или другой литературы, так и отдельных явлений в ней (системы жанров, тропов, представленности авторского «я», художественной фонологии и т. п.). Разнообразие в масштабах и формах описания будет зависеть от конкретной тематики исследований и путей решения задач, в них поставленных. Но оно будет иметь место при любом С. Описание, проводимое обозначенным выше образом, оказывается связанным с понятием множественность литератур.

По основной своей интенции – стремлению постичь общее в разных литературах – С. не противостоит сравнительному методу, но принципиально отличается от него в том, что понимать под таким общим и как трактовать его образование. Сравнение предполагает идею «совершенной» литературы, которая в конкретно выражаемых или в латентных формах сопровождает сравнение литератур и служит своего рода эталоном для их оценок.

Общее между разными литературами С. рассматривает как основу их сосуществования, как состояние межлитературного диалога, в ходе которого различные литературы дополняют друг друга. При этом рождаются новые смыслы, которые трансформируют существующие теоретические категории.

Таким образом, С. не абсолютизирует идентичность той или другой литературы. Наоборот, столкновение идентичностей оно рассматривает как возможность достижения согласия между разными литературами через взаимопонимание.

Существуют обстоятельства, актуализирующие С. литератур. Это протестные настроения против унификации (глобализации) литератур по подобию отдельных из них. Это и возрождение национальных традиций в различных литературах большого постсоветского пространства. С.озвучно таким

процессам. Оно воздерживается от деления литератур на ведущие и ведомые, от выстраивания их друг за другом в пути к уже известной цели.

Лит.: Сравнительное и сопоставительное литературоведение: хрестоматия. – Казань: ДАС, 2001. *Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток – Запад.* – М.: Наука, 1989.

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» И «РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» – СИНОНИМЫ?¹

Тема последующего текста – отождествление и разграничение обозначенных в его заглавии терминов, к которым проявляется повышенное внимание в современной теории литературы и культурологии. В последние двадцать лет нашей истории, в которые распалось единое советское государство и общее культурное пространство стало разделяться границами, литературная теория вместе с теориями других гуманитарных наук существенно перестраивается. За пределы активного ее словаря оттесняются или переосмысливаются бывшие системообразующими для науки советского времени термины («метод», «идея», «форма и содержание», «сравнительно-исторический метод» и др.), их место начинают занимать термины, находившиеся на периферии научной мысли или впервые вводимые в последнюю. Активность этого процесса особенно заметна в разделе теории, изучающей межнациональные литературные взаимодействия. Здесь в научный оборот включаются термины «литературная идентичность», «множественность литератур», «диалог», «принцип дополнительности», «сопоставление» и др. Как правило, они оказываются связанными с новыми подходами в исследовании межлитературных взаимодействий, при которых изучаемые литературы располагаются в одном пространстве, а не выстраиваются в линейный ряд с разделением их на ведущих и ведомых.

Содержание термина «русская литература» начиная с 80-х годов прошлого века заметно трансформируется. Оно обогатилось за счет так называемой эмигрантской литературы. В то же время миллионы родных для русской литературы читателей оказались в условиях вынужденной эмиграции. Роль русской литературы как примера, образца творчества для большинства национальных литератур единого в прошлом культурного пространства ослабла. Вновь, как уже бывало в ее истории, возникла проблема обновления ее самоидентификации. Однако не только русская, но и другие национальные литературы России

¹ Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Казань, 2011. С. 7–11.

и постсоветского пространства находятся сейчас в активных поисках и утверждениях своей идентичности. Национальные литературы стремятся по-новому соотносить себя с русской в первую очередь и с другими литературами.

В этих условиях термин «русскоязычная литература» надеяется нередко коннотациями, позволяющими использовать его как эвристическую категорию при исследовании межлитературных взаимодействий. Последующие рассуждения связаны в основном с вопросами об образовании термина «русскоязычная литература», его содержании, а также о его реальных и мнимых функциях.

Начнем их с попыток осмыслить слово «русскоязычный», частотность использования которого в современной практике письма и речи существенно возросла. Это слово, как правило, выступает в сочетаниях с другими словами, что разнообразит его значения. Мы говорим, к примеру, о русскоязычном населении Эстонии, о русскоязычных школах в Азербайджане, о русскоязычной газете того или другого района, о русскоязычной речи на улицах зарубежного города и т. д.

Приведенные выше и подобные им другие словосочетания являются терминами с достаточно ясными и четко формулируемыми значениями, началом которых могут быть общечеловеческие ценности, бытующие в наднациональных пространствах (равные права на образование, труд, свободу слова и т. д.). Они используются как инструменты в социологических исследованиях, в экономической и культурной политике. Их роль в отмеченных выше областях науки и политики чрезвычайно актуализировалась в связи с распадом когда-то общего государства, за пределами которого оказались десятки миллионов людей, идентифицирующих себя как «русскоязычные», права которых нуждаются в постоянной защите.

Словосочетание «русскоязычная литература» является экстраполяцией значений и функций рассмотренных выше словосочетаний на область художественной культуры как таковой, что представляется спорным. Предварительно рассмотрим то, что кажется основанием для такой экстраполяции. Одно из них и, возможно, самое главное при данном обсуждении, следующее.

В разных национальных культурах современной России существуют субкультуры, представители которых не владеют

языком своего этноса, но продолжают идентифицировать себя с ним по образу мышления, этическим, религиозным и другим убеждениям. Предполагается, что русскоязычная литература призвана удовлетворять их эстетические потребности. Каким образом? Темами, сюжетами, образами и другим, взятыми из истории и современной жизни собственного народа, национальным пафосом и т. п. произведения? Если – да, то здесь можно поставить точку. Потому что существование в современных национальных культурах отдельных субкультур с особой ментальностью, в которой произошла смена языковой ее составляющей, а также, порождаемых этим процессом литератур, – реальный, не подлежащий оспариванию факт. Но проблема все-таки остается, она дает о себе знать при попытках определить, что такое «русскоязычная литература» в ее соотнесенности с «русской литературой», а также с той национальной литературой, в одном контексте с которой она находится. Она – отличающееся от русской литературы явление (на это указывает слово «русскоязычная») в составе той или другой национальной литературы (татарской, башкирской, чувашской и т. д.)? Или вообще наднациональное образование? Возможные ответы на эти вопросы надо искать, с нашей точки зрения, во взаимоотношениях языка и литературы. Попробуем это предпринять.

Может ли русскоязычная литература быть не русской, а литературой другого народа, скажем, литовского грузинского, татарского, чувашского и т. д.? Да, если допустить мысль, что язык и литература разделимы. То есть предположить невозможное. Язык – в основе литературы. Он первичен по отношению к ней. Кроме того, именно язык определяет образ мышления народа, формы его самосознания, к которым относится и литература. Не случайно между языком и народом, носящим, как правило, его имя, нередко ставится знак равенства, как это делал, к примеру, Пушкин: *«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, // И назовет меня всяк сущий в ней язык, // И гордый внук славян, и ныне дикой // Тунгус, и друг степей калмык»*. Сказанное выше о первичности языка по отношению к литературе и духовной жизни того или другого народа становилось предметом ряда выдающихся исследований отечественных и зарубежных авторов (В. Гумбольдта, А. Потебни, Л. Витгенштейна, Г. Шпета, М. Хайдегерра, М. Бахтина и др.).

Наставление на особой природе русскоязычной литературы, будто бы способной преодолеть отмеченное выше единство языка и литературы, может основываться и на следующем предположении. Разные литературы не только разделены их языками, но и связаны между собой общечеловеческими ценностями (к примеру, так называемой антропологической тематикой: война и мир, любовь и ревность, добро и зло, милосердие и др.). На уровне этих ценностей различия между литературами стираются и возникают возможности их освобождения от строгой привязанности к тому или другому языку. Однако изложенный выше тезис не выдерживает следующих возражений.

Литературы на уровне только общих тем не могут существовать, их стихия область конкретного, неповторимого. Общечеловеческое в них достигается не на путях редукции национальных различий, оно представляет собой взаимодополняемость последних. По словам М. Бахтина, две культуры при своей встрече «не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, ... они взаимно обогащаются» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. С. 354). В национальных языках вербализуются различия, ведущие к межлитературным диалогам, в ходе которых порождаются объединяющие разные литературы смыслы.

Сфера функционирования термина «русскоязычная литература», если сравнить ее со сферой функционирования термина «русская литература», весьма ограничена. В нее, к примеру, можно включить творчество писателя, пишущего на русском языке, но пребывающего по разным причинам в чужом языковом пространстве (Бунина, Солженицына, Бродского и др., писателей в государствах на территории бывшего Союза). Целью такого включения, скорее всего, будут не литературные, а политические, социологические, экономические и иные мотивы (число так называемых русскоязычных писателей, их правовое и материальное положение и др.), то есть те же мотивы, по которым мы ведем подсчеты, оценку положения русскоязычного, к примеру, населения, проживающего в других странах. Но как только речь заходит об основном, то есть об их творчестве, они для нас «русские» писатели. Термин «русскоязычная литература» в этом случае теряет смысл, он оказывается лишь формальным, бессодержательным синонимом к термину «русская

литература». Дело со словоупотреблением «русскоязычная литература» не меняется и тогда, когда характеризуется творчество пишущего на русском языке, но не идентифицирующего себя с русской нацией писателя. На русском языке он не может создавать отличную от русской, другую литературу, хотя и заимствует материал для своих произведений из жизни своей нации. Дело в том, что главное в литературе не темы, сюжеты, идеи, к которым обращается писатель. Их не так много, и они в основном наднациональны. Главное в проблематизации их, осуществляемой средствами, возможностями языка, во власти которого находится писатель. В русской литературе первой половины 19 века была широко представлена так называемая «кавказская» тема. Она являлась одной из основных в творчестве Лермонтова (поэмы «Мцыри», «Демон», «Аул Бастунджи» и др., повесть «Бэла» в романе «Герой нашего времени», десятки стихотворений). Но это не дает оснований даже вообразить Лермонтова русскоязычным кавказским писателем. Современный прозаик В. Пелевин увлечен Востоком настолько, что один из его главных романов «Чапаев и Пустота» некоторые критики называют дзэн-буддийским произведением. Но это не меняет определения Пелевина как русского писателя.

В теории литературы и в искусствознании в целом не раз уже случалось, когда в научный словарь вводились новые и фактически бессодержательные термины. Повторяясь из работы в работу сотни, тысячи и т.д. раз они не по праву начинали казаться непогрешимыми. Критическое отношение к ним притуплялось. Они приобретали власть над сознанием исследователей. Какая судьба ожидает термин «русскоязычная литература»?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ И НАЧАЛА СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ¹

Литература в круге научных интересов Гумилева занимает скромное место. К ней как к отдельно взятому предмету исследования он обращался редко. Но то, что он писал о ней в очень небольшом числе статей, ей посвященных, а также во фрагментах других сочинений, оригинально и до сих пор интересно. Так, Гумилев в статье «Монголы XIII в. и «Слово о полку Игореве» включил произведение древнерусской словесности в контекст взаимодействий русской и степной культур, а также предложил датировать время его написания серединой XIII века. Он также впервые в отечественной филологии проанализировал художественные особенности «Тайной истории монголов» (ее жанра, образной системы, композиции, роли автора в ней).

Гумилев не был филологом в традиционном смысле этого слова; в большинстве случаев его обращения к литературе были связаны с ответами на вопрос, которым была озаглавлена одна из его статей «Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником?». Будучи в основном этнологом, историком и в значительной степени культурологом, Гумилев предпочитал обращаться к литературе не как к самостоятельному в своей специфике явлению в культуре, а как к материалу для его собственных идей и гипотез.

Но место литературы в сознании Гумилева не было лишь эпизодически встречающимся в его большом творчестве явлением, к которому он иногда обращался. Литература почти во всех его текстах. Он цитирует Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Блока, Гомера, Данте, Хафиза... Литература – в его стиле, образе мышления, строении его произведений и др. Не в последнюю очередь этим обстоятельством объясняется широкая популярность его сочинений. Роль литературы в становлении мировоззрения Гумилева, место воображения, в том числе и художественного, в методах познания им истории, а также в формах изложения его результатов – отдельная тема.

¹ Языки и литературы народов Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации: сб. трудов I Всероссийской интернет-конференции с международным участием (1–3 октября 2012). Казань, 2012. С.109–114.

Какой же интерес для сопоставительной теории литературы может представлять Гумилев, относительно мало написавший о литературе и в большей степени отличающийся литературностью своих произведений? Представляется, значительный. Именно для начал этой теории, которые соединяют ее с культурологией, историей, философией и другими науками. То есть для такого момента в теории, когда она еще не стала или перестает быть только литературной и предсуществует или растворяется в обновляющемся образе мышления.

Гумилев, как и другие евразийцы, – представитель нового типа гуманитарного мышления, которое по ряду причин далеко не в полной мере конкретизировалось, оставалось во многом на уровне общих идей, гипотез, пафоса и др. Это давало поводы оценивать евразийцев как мифотворцев, романтиков, находящихся в плена утопических «смазанов» (Г. Флоровский). Теперь, когда происходит смена парадигм гуманитарного мышления, евразийская культурология, содержащая в себе и начала нового в теории литературы, оказывается востребованной в сопоставительной филологии. Сопоставление литератур – это расположение их в одном пространстве друг около друга. Оно отличается от сравнения, которое выстраивает разные литературы в линейный ряд с выделением ведущих и ведомых в нем. Сопоставление возможно при допущении в теории идеи постоянно функционирующей самобытности каждой из находящихся во взаимодействиях друг с другом разных литератур. Взаимодействий, сопровождаемых процессами порождения новых смыслов в ходе схождений, а не универсализации различий, взаимодействий, требующих инноваций в своем теоретическом осознании. В философии евразийцев мы находим начала таких представлений о межкультурных взаимодействиях, которые оказались новыми для их времени и во многом предвосхитили основы сопоставления в современной теории литературы. Проиллюстрируем сказанное историей и сущностью понятий «множественность» и «единство» в евразийской культурологии, которые являются ключевыми для сопоставительной филологии сегодня, выполняя в ней генеративные (порождающие такие дополняющие их понятия, как «идентичность», «диалог», «со-существование», «симбиоз» и др.) функции, обратив большее внимание на участие Л. Гумилева в их трактовке и включении в практику научных исследований.

Мир культуры представлялся евразийцам в виде множественности (плурализма) находящихся в нем различных культур. Слово «множественность» в евразийство первым ввел, видимо, Н. Трубецкой, но то, что он употреблял его в значении, которое стало ключевым в сопоставительной теории литературы и в отдельных направлениях современной культурологии, очевидно. Это значение развертывается им, в частности, в статье «Вавилонская башня и смешение языков». Множественность, по мысли Трубецкого, а также других евразийцев, онтологична и как таковая является предпосылкой культурологического мышления. Трубецкой отчетливо представлял и последствия теории множественности как устойчивого состояния культурного многообразия. Основное и наиболее проблемное из них – единство в различиях. Есть оно или нет? Если – да, то как достигается? У Трубецкого на эти вопросы оказываются два пути ответов, по сути различающихся друг от друга. Один из них декларирует единство как сосуществование различий: «При кажущейся анархической пестроте отдельные национальные культуры, сохраняя каждое свое неповторимое индивидуальное своеобразие, представляют в своей совокупности некоторое непрерывное гармоническое единство целого. Их нельзя синтезировать, отвлекаясь от индивидуального своеобразия, ибо именно в сосуществовании этих ярко индивидуальных культурно-исторических единиц и заключается основание единства целого» [1, 376]. На такой же путь в своих культурологических суждениях станет и Гумилев: «Культура каждого этноса своеобразна, и именно эта мозаичность человечества как вида придает ему пластичность, благодаря которой вид *Homo Sapiens* выжил на планете Земля. Итак, этническая пестрота – это оптимальная форма существования человечества, хотя политическое объединение этносов обладает определенной устойчивостью во времени» [2, 22]. Трубецкой, однако, не остановился на понимании единства как взаимодействия различий, их гармонии. Критик попыток культурного объединения человечества по меркам европейского рационализма Трубецкой в свою очередь пытался обосновать достижение его возможного культурного единства на почве «общечеловеческой значимости христианства», которое, по его словам, «выше рас и культур, но не упраздняет ни многообразия, ни своеобразия рас и культур» [1, 377].

Этот, второй, путь поиска Трубецким единства в многообразии культур – дань теологии, характерной для основателей евразийства и вносящей противоречие в их культурологию. Попытки предварять единство различных культур ценностями одной из религий в качестве общего для них знаменателя возвращали их теорию к форме централизующего мышления, от которого они в своем плюрализме активно отстранялись. Последовательное развитие идеи «множественность», которая сопряжена с релятивизмом, сдерживалось в их сознании эсхатологическими (в основном религиозными по содержанию) надеждами. Они опасались неопределенности, и им хотелось предсказать контуры, основы будущего единства культур. И это действительно можно оценивать как утопию.

Должно было пройти время для того, чтобы понятие «множественность», осмысливаемое евразийцами 20–30-х годов и лежащее в основе их культурологии, стало в современной науке (в частности, в сопоставительной филологии) самодостаточной категорией, свободной от иерархических отношений с единством. И в этом преодолении теоретической непоследовательности евразийцев Гумилев играет особую роль.

Л. Гумилева занимает не отвлеченная логика «множественность-единство» в своей рационализируемой сущности, а совместное бытие последних, их реальное со-существование в истории. По Гумилеву, множественность нередуцируема; единство есть скорее движение, состояние взаимодействия составляющих множественность различий, чем объективирующая себя цель. В своих исторических исследованиях Гумилев поэтому придерживается нарратива, позволяющего воспроизводить реальность в ее составляющих, а также в противоречиях и тенденциях, воздерживаться от схематизма и односторонности в ее оценках. Его работам свойственна сюжетность, близкая к литературной и допускающая саморазвертывание событий в своем внутреннем динамизме. История, по Гумилеву, дискретна, прерывиста, нетелеологична. Множественность этносов, языков, литератур, культур – это изначальная данность, сфера естественного, природного, своего рода объективная сила обстоятельств, с которой невозможно не считаться. Из сказанного выше вытекает и следующая актуальная для теории межлитературных взаимодействий особенность историософии Гумилева – принципи-

альная сдержанность в моральных оценках различных этносов и культур, которая открыто или латентно была и остается одной из главных причин ожесточенной критики его работ. «Моральные оценки к этносам, – писал Гумилев, – так же неприемлемы, как ко всем явлениям природы...» [3, 289]. Этическая позиция Гумилева не в приверженности к банальным и разделяющим этносы моральным оценкам, она – в ярко выраженной идее толерантности, следование которой требовало в его время интеллектуального и рядового мужества. Последовательный в своих взглядах Гумилев отказался, как было отмечено выше, от постулирования религиозной основы для возможного единства различных культур. Принципы сосуществования и взаимодействий он распространил и на межрелигиозные отношения, которые, с его точки зрения, не являются основополагающими в истории культур. Его взгляды на межрелигиозные взаимодействия близки к современному экуменизму. Говоря об эволюции культур, их приспособлении к изменяющимся условиям места и времени, Гумилев оперировал понятием «симбиоз», по содержанию и функциям близким к «диалогу» – одному из центральных категорий современной сопоставительной культурологии.

Л. Гумилев является одним из первых теоретиков сопоставительной культурологии в России, и его идеи в этой области науки заслуживают пристального внимания.

Литература

1. Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.
2. Журнал «Наше наследие». 1991. № 3.
3. Гумилев Л. Черная легенда. М.: Айрис-пресс, 2002.

ЕВРАЗИЙСТВО И ПЛЮРАЛИЗМ В КУЛЬТУРОЛОГИИ¹

Евразийство – актуальная для современности тема. Говорить, что она актуальна, потому что занимает в общественном сознании видное место в то время, как наука к ней недостаточно внимательна, было бы неверно. За последние два с небольшим десятилетия основные сочинения евразийцев были переизданы (некоторые из них, Трубецкого, Савицкого, Гумилева, не однажды), был опубликован целый ряд интересных (в том числе и на иностранных языках) работ о евразийстве, стал выходить посвященный ему журнал и др. Однако евразийство все еще исследуется в основном как «идейно-политическое и общественное учение в русском послеоктябрьском зарубежье 20–30-х годов» [5: 148], то есть в его внутренней и замкнутой в себе системности, как своего рода история без продолжения.

Но евразийство – открытое, обращенное и к нашему времени мировоззрение. Оно, в частности,озвучно с такими относящимися к числу центральных в современной отечественной культурологии идеями, как самобытность русской культуры, взаимодействие национальных культур в России и на постсоветском пространстве.

Есть общее в нашей эпохе, начавшейся в 90-е годы прошлого века с распада единого государства, и во времени, наступившем в России после катастрофы 17-го года. Оно – в реальной жизни (в политике, экономике, социальных отношениях и др.). Оно – в стремлении осознать (исторически, философски, художественно) то, что произошло или происходит со страной и с ее местом в мире.

Евразийцам удалось оформить свои представления о начавшемся новом этапе в истории России и отношение к нему в стройную концепцию. У них оказалось достаточно исторической интуиции, а также мужества, чтобы признать революцию как факт истории и говорить о невозможности возврата к прошлому. Причастность к историософии, претендующей быть

¹ Евразийство и проблемы современной науки /сост. Т.В. Сорокина; науч. ред. Р.М. Валеев, Р.Р. Юсупов. Казан. гос. ун-т культуры и искусств. Казань: ИИЦ «Культура», 2012. С. 188–196.

объективной, отличала евразийцев от большинства остальных эмигрантов, сознание которых было отягчено грузом сожалений по уходящему прошлому, утопиями возврата к нему, бессильными обвинениями новой российской власти и т. д. По этому поводу еще в 1925 году Н. Бердяев писал: «Евразийцы признают, что революция произошла и что с ней нужно считаться. Пора перестать закрывать глаза на совершившееся. Ничто дореволюционное невозможно уже, возможно лишь пореволюционное. Евразийство по-своему пытается быть пореволюционным направлением, и в этом его несомненная заслуга и преимущество перед другими направлениями» [4: 101–102]. Евразийство относится к такому типу сознания, которое в переходное время оказывается в состоянии освобождать себя от груза психологии, узких межличностных отношений и других факторов повседневности и обращаться к сущностным вопросам бытия.

Существует аналогии между 20-и и 90-и годами прошлого века как этапами в нашей истории и их осознанием в науке и обществе. К примеру, и сейчас, как и в среде эмигрантов 20-х годов, значительная часть исследователей ведет себя таким образом, как будто в межкультурных отношениях в нашей стране и на постсоветском пространстве ничего принципиального не происходит и, следовательно, изучать их можно категориями советского времени, писать о противоречиях в них с сожалениями по ушедшей в прошлое гармонии.

Начавшееся в 90-ые годы и продолжающееся обособление культур – это факт, и его надо принять. Дело за конструктивными идеями и реальными действиями в сохранении того общего, что в разных культурах России и постсоветского пространства сохранилось и может обогащаться, развиваться на практике, а также осознаваться теоретически. Ряд евразийских идей в движении к этой цели представляют интерес и могут оказаться продуктивными.

Известна и достаточно изучена критика европоцентризма, которая была одной из основных идей в мировоззрении евразийцев. В этой критике у них было немало предшественников (И. Гердер, русские романтики, славянофилы, В. Одоевский, Ф. Тютчев, Н. Данилевский, О. Шпенглер). Она вдохновлялась стремлением утвердить самобытность русской истории и культуры, что тоже хорошо известно. Однако, с нашей точки зрения,

недостаточно обращается внимание на следующее. Не только в критике европоцентризма видели евразийцы свою конечную цель и, конечно, не в национальной изоляции России и ее возврате в свое неевропеизированное прошлое. Они создавали общую теорию культуры, основанную на идеи многообразия и сосуществования различных культур. И критика европоцентризма, и идея русской самобытности – в составе этой теории и в конечном счете ею объяснимы. Эта теория в своей ясности и определенной завершенности представлена в работах Трубецкого, Савицкого, Гумилева и некоторых других евразийцев. Она замалчивалась или резко критиковалась в советское время, продолжает критиковатьсья и теперь за морфологический, пространственно-географический, иррациональный и т. п. подходы при изучении истории и культуры.

Оставим в стороне эту одностороннюю критику (она не входит в задачи данной статьи) и отметим главное, с нашей точки зрения, – сущность того нового, что было в евразийской теории культуры. Оно заключалось в ее онтологии, не сводимой к какой-то одной из культур или к группе из них, к рационализации, практицизму, к коммуникативным технологиям.

Основы культуры того или другого народа, как полагают евразийцы, в органической целостности внешних и внутренних факторов его бытия. Поэтому его культура неповторима, поэтому существует многообразие, многоцветие различных культур. Насколько евразийцы были оригинальными в своих представлениях о культуре как таковой, – отдельная тема. Обратим сейчас внимание на то, что онтология культуры, выходящая за пределы абстрактного рационализма, взаимовлияний и центризма, занимает видное место и в современной культурологии. Это было, в частности, отмечено еще в 1994 году в статье С. Хоружего «Трансформация славянофильской идеи в XX веке». Рассматривая евразийский «тезис о самоценности и равноценности всех культур» и оценивая вклад Трубецкого в его становление и развитие, Хоружий писал: «И здесь Трубецкой опережал свое время. В последние десятилетия идеи культурной автономии, сбережения этнокультурного своеобразия всех сколь угодно малых культур с большой силой вспыхнули на Западе и во всем мире» [3: 58]. В качестве одного из примеров, подтверждающих сказанное, автор статьи приводит постмодер-

нистский философский концепт «номадология», предложенный Ж. Делёзом и Ф. Гваттари и в основе своей очень близкий к евразийской идее о роли пространственных, географических факторов в становлении разных культур и контактах между ними. В дополнение можно было бы назвать как пример и такой концепт постмодернизма, как «ацентризм» (отказ от приоритетных пространственных и смысловых центров), а также ландшафтные концепты «дерево» (символ западного образа мышления по вертикали, иерархического, центрирующего все), «ризома» (альтернативный «дереву» концепт, представление о мире как естественном, имманентном процессе, в ходе которого реализуется его гетерогенное многообразие).

Несколько подробнее остановимся на актуальности некоторых из центральных идей евразийства для современной филологии, особенно теории литературы в ее составе, так как выдающийся вклад в языкознание Трубецкого, единственного среди евразийцев лингвиста, в основном определен. Воздержимся также от попыток рассматривать филиацию евразийских идей в теорию литературы советского времени, которая, несмотря на запреты, имела место в отдельных исследованиях. Какой интерес, не просто в виде предмета историографии, а в качестве способов и форм осознания современных литератур, их изучения могут представлять идеи евразийцев?

Автору статьи представляется, что евразийство подает пример того, как в переходные исторические эпохи, когда переосмысливаются взаимодействия между разными литературами, целесообразно решительно порывать с тем, что в традиционных методах их исследования исчерпало свои эвристические ресурсы. Последнее можно отнести, в частности, к сравнительно-историческому методу в филологии, который господствовал в российской науке в течение практически всего 20-го века. Основная интенция этого метода – познание того общего, что было, есть и должно быть в разных литературах. В нем – идея прогресса на примере достижений одной литературы или литературу отдельных регионов, выравнивание разных литератур по общим для них канонам, взгляд на редуцируемые этим методом различия между ними лишь как на варианты всеобщего. Практически каждый, кто теперь обращается к теме межлитературных взаимодействий, видит малую продуктивность тради-

ционного сравнительно-исторического метода и необходимость новаций при их исследовании. В научном обращении они уже существуют, и часть из них евразийского происхождения.

Культурологическая мысль нашего времени, обновление которой началось во время перестройки, возрождает (независимо от того, осознает она это, или нет), идеи евразийцев. Одна из основных из них, которая в центре современных исследований и споров, – этническая и культурная идентичность. Распад единого государства, разделение границами общего культурного пространства в отдельные регионы, сопровождавшиеся всплесками центробежных тенденций, вернули идею идентичности после десятков лет ее забвения в современное культурное сознание (как в России, так и на всем постсоветском пространстве). При этом происходит возвращение к ее сущности как к тождественности той или другой культуры самой себе, то есть к такой трактовке идентичности, которая была типична для евразийцев. Правда, и в этом у евразийцев были предшественники (Лейбниц, Гердер, Гумбольдт, Данилевский, Шпенглер и др.). Однако они осовременивали традиционную теорию идентичности, наделяя ее функциональностью, углубляя представления о ней за счет интегративных (пространственно-географических, исторических, лингвистических, психологических, политических и др.) подходов в ее исследовании, связывая ее с современной и перспективами возможной государственной политики в межкультурных отношениях.

Евразийцы уходили от односторонних представлений об идентичности как о неподвижном, застывшем в себе и закрытом навсегда для других идентичностей состоянии. Так, Гумилев рассматривал этнос как замкнутую в себе систему, как исходное научное понятие и одновременно как рождающееся в ходе истории (в результате взаимодействия различных, в том числе и межэтнических, факторов) образование, способное далее трансформироваться под влиянием внутренней энергии собственного существования и внешних обстоятельств. Евразийцы не останавливались на абстрагированном, чисто категориальном анализе идентичности, то есть на логике ее определений, что было свойственно для большинства их предшественников и типично для современной культурологов. Областью их размышлений была и пограничная область, в которой разные культуры

соседствуют как идентичности и находятся во взаимодействии друг с другом.

Сказанное выше свидетельствует о том, евразийцы были плюралистами в своем мировосприятии. Они были склонны видеть мир в его текучести, многообразии и свободной гармонии. Жизненный опыт евразийцев – современников разрушения общеевропейского культурного пространства в ходе первой мировой войны и русской революции, – а также их стремление осознать место России в наступившем хаосе, отвращали их от дискредитированного себя монизма.

Они, несомненно, были знакомы с философией плюрализма, получившей в 20-ые прошлого века признание и в гуманитарных, и в естественных науках. Приобщению евразийцев к плюралистическому образу мышления мог способствовать и П. Струве – учитель Савицкого, автор статьи «Заметки о плюрализме», опубликованной в Берлине в 1923 году, то есть в то время, когда еще продолжалось теоретическое оформление евразийства. С. Франк следующим образом характеризовал взгляды самого Струве: «По содержанию своего онтологического мировоззрения он был [...] «плюралистом» [...]. В этом выражалась его основная интуиция, определившая и его социологическое, и его политическое мировоззрение: представление о мире и жизни как системе свободного взаимодействия между единичными конкретными существами, носителями спонтанной активности» [6: 491]. Струве же принадлежит мысль об отличии евразийства, относящегося, по его словам, «к гибридным формам идеологии», от классического славянофильства, которое «было запечатлено широчайшим идейным универсализмом» [6: 411]. Однако последнее (универсализм) в евразийстве, как считал Струве, было выражено гораздо слабее: «Евразийство мыслит себе Россию как главный элемент особого культурного целого [...]. Поскольку у евразийцев есть доктрина, эта доктрина сводится к утверждению культурно-расовых особенностей народов евразийского мира» [6: 411].

Различные стороны философии плюрализма нашли выражение в мировоззрении евразийцев (этническая, экономическая, культурологическая и др.) и преимущественно в их приложении к действительности. Особенный интерес, с этой точки зрения, представляют взгляды Трубецкого, в которых плюрализм

и волевое начало в мышлении, плюрализм и идеология, не разделены жесткими границами как отвлеченные понятия, с одной стороны, и живая реальность – с другой. Основные положения плюрализма Трубецкого представлены в статье В. Кошарного [5: 523–524]. Мы же обратим внимание в основном на те из них, что сохраняют, с нашей точки зрения, эвристическую ценность и при исследовании современных межкультурных взаимодействий.

К числу ведущих среди них относится следующее теоретическое положение, имеющее для культурологии Трубецкого основополагающее значение: «Законы эволюции народов устроены так, что неминуемо влекут за собой возникновение и сохранение национальных отличий в области языка и культуры. [...] И сколько бы люди не стремились противоборствовать факту множественности национальных различий, эти различия всегда будут существовать» [7: 367]. Далее Трубецкой писал: «Многообразие национальных культур и языков есть следствие закона дробления» [7: 373]. Свои представления о «дроблении» как явлении в самой культуре и о понятии, позволяющем его осмысливать, Трубецкой излагает в статье «Вавилонская башня и смешение языков». Отвечая на вопрос, почему и как произошло разделение языков и культур, Трубецкой ограничивается в основном библейским повествованием о смешении языков, осуществленном божественной волей, чтобы положить конец чисто техническому, но духовно бессмысленному замыслу возводить вавилонскую башню. Для Трубецкого «дробление» языков и культур – и онтологическая данность, и опыт его времени, противоречивого, переходного в своей сущности, когда каждая из культур стремится пребывать в собственной идентичности и сохранить ее. И оно же осмысливается им как исследовательский подход, позволяющий объяснить взаимодействия между разными культурами как источник межкультурной гармонии, в необходимости и возможности которой он был уверен. Так, по словам Трубецкого, «в области языка действие закона дробления приводит не к анархическому распылению, а к стройной гармоничной системе, в которой всякая часть, вплоть до мельчайших, сохраняет свою яркую, но повторяющую индивидуальность, и единство целого достигается не обезличением частей, а непрерывностью самой радужной языковой сети» [7: 375–376].

Плюрализм в культурологии Трубецкого сочетался, и это естественно, с прагматизмом. Понятие «союз языков», идея равенства культур, не допускающая их деление на «прогрессивные» и «отсталые», критика нарастающей техннизации и рационализации европейской культуры, разделение «истинного» и «ложного» национализма и др. не были для него отвлеченным от жизни теоретизированием.

Статьи Трубецкого, как и большинства других евразийцев, отличаются свободой переходов от теории к истории, к конкретной политике, экономике, к межнациональным отношениям и др. Во многом этим объясняется внимание евразийцев к культурной политике, проводимой в советской России, которую они оценивали иначе, чем большинство эмигрантов, обвинявших их в соглашательстве с большевизмом. Оставаясь непримирами противниками коммунистической идеологии, евразийцы, однако, находили положительное в той исторической роли, которая выпала на советскую власть, которая в своем стремлении самоутвердиться, противопоставив себя Западу, начала создавать равные условия для развития разных национальных культур и возможного в будущем их содружества в одной евразийской культуре. Тотальное отрицание всего, что было в культурной политике советской власти, не было характерно для евразийцев, что отличает их не только от своих современников, но и от многих культурологов нашего времени.

Евразийцы были увлечены практицизмом идей, их приложением к реальной жизни. Во всем разнообразии их работ мало традиционного академизма, требующего включения каждой претендующей на новизну идеи в контексты различных исследований. По содержанию, жанру, стилю, способам доказательств и опровержений и т. п. большинство работ евразийцев требуют во многом нестандартных подходов в их прочтении и изучении. Во многом поэтому определение оригинальности плюралистического мышления евразийцев и его места в культурологии 20–30-х годов и в последующее время – не простая и, как нам представляется, заслуживающая большего внимания проблема

Плюрализм евразийцев не был исключительным явлением в философии и культурологии. Он вполне соотносим с философией плюрализма У. Джеймса, хорошо известного в России

еще с начала 20-го века своим учением о многообразии событий и форм опыта, с персонализмом Бердяева, а в более позднее время – с положением о независимых друг от друга атомарных фактах, введенным в философию Л. Витгенштейном, с тезисом о существовании множества событий и процессов А. Уайтхеда и др.

Формально советская культурология тоже была плюралистичной. Она должна была быть таковой по особенностям своего предмета – по многообразию языков и культур разных народов, связанных друг с другом общей историей и одной государственностью. Но плюрализм в ней побеждался единством, различия между культурами оценивались как постепенно изживающиеся, обреченные к исчезновению. Плюрализм сводился, в конечном счете, к тезису «единство в многообразии». Но и в науке советского времени существовали близкие к евразийским трактовки плюрализма. Наиболее интересная и актуальная из них принадлежит Бахтину, рассматривавшему межкультурные взаимодействия, прежде всего, как диалогические. Так, еще в 1970 году он утверждал, что при «диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются» [1: 354]. Евразийская идея о роли географических («месторазвитие») факторов в становлении национальных культур имеет место в методах, стиле работ Гачева о национальных образах мира. В последние годы происходит интенсивное обновление культурологии, ее методов, категорий, жанров исследований. Более внимательное отношение к евразийству могло бы ускорить и сделать содержательнее этот процесс.

Литература

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
2. Гачев Г. Ментальности народов мира. М.: Эксмо, 2008. 544 с.
3. Вопросы философии. М.: Российская академия наук, 1994. № 11.
4. Русская философия. Словарь. М.: Республика, 1999. 656 с.

5. Путь. – Париж: Издание религиозно-философской академии, 1925. – №1. 176 с.
6. Струве П. Б. Patriotika. Политика, религия, социализм. М.: Республика, 1997. 527 с.
7. Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000. 560 с.

ЕВРАЗИЙСТВО И ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ¹

*Россия и Восток, культура как органическое целое,
плурализм, открытость, взаимодействие культур*

Определять место и роль русского языка и литературы в современном тюркском мире и строить предположения о возможном их будущем, опираясь только на традиционные методы исследований, непродуктивно. Сказанное относится прежде всего к той части тюркского мира, которая образовалась в результате распада общей советской страны и существует теперь в виде отдельных государств, а также к тюркоязычным республикам и другим государственным образованиям, идентифицирующим себя как самостоятельные культурные целостности в составе России.

Теория межкультурных взаимодействий, сложившаяся в советские годы, по-своему стройная и функциональная, была верной в своей основной, идущей еще от Гердера интенции – «единство в многообразии». Однако эта идея, постоянно пульсирующая в науке как трудно разрешимая проблема, ею упрощалась, в итоге сводилась к превалированию единства над многообразием.

Потребность в новом исследовании того, что происходит сейчас в межкультурных взаимодействиях в современной России и постсоветском пространстве, очевидна.

«Новое» в теории – не обязательно привносимое в нее впервые, в его роли могут оказаться идеи, методы, гипотезы, которые высказывались ранее, но были отодвинуты на периферию науки, запрещены, забыты. С этой точки зрения потенциал евразийства, которое включало в себя оригинальную теорию культуры, в том числе языка и литературы, представляет несомненный интерес.

Евразийство – сравнительно изученное явление, особенно в своей истории и идеологии. Но актуализация его идей при исследовании современных межкультурных взаимодействий

¹ Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2012. С. 260–262.

(особенно русско-восточных) происходит значительно медленнее, чем это, с нашей точки зрения, возможно и необходимо. В данной статье, не претендующей быть историографической или обзорной, речь пойдет лишь о некоторых из числа евразийских идеях, которые представляются ее автору как имеющие фундаментальное значение для современной культурологии, в частности, при исследовании и русско-турецких культурных взаимоотношений. К примеру, о таких связанных между собой и переходящих друг в друга идеях, как самобытность культур, их множественность, диалоги между ними. В такого характера идеях, пусть не всегда последовательно и доказательно развертываемых ими, евразийцы опережали свое время, встречая в основном по этой причине непонимание, критику многих известных современников. Предварительно остановимся на том участии, которое приняли евразийцы в повороте русского культурологического сознания к Востоку.

Хотя тема «Россия и Восток» существовала в русской культуре задолго до них, евразийцы первыми выделили ее в самостоятельную, отошли от традиции понимать «русский путь» главным образом в контексте «Россия – Запад», от свойственных и западникам, и славянофилам представлений, игнорирующих то, что Россия расположена не только в Европе, но и на значительной части азиатского материка. Они разделяли точку зрения Достоевского, сказавшего в «Дневнике писателя»: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии... русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того, в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход» [Достоевский, 1984:27–33]. Их манифест «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев» (1921) был не только реакцией на послевоенный кризис европейского сознания и русскую революцию, он – и теоретическое осознание поворота лицом к Востоку, наметившегося в русской литературе у В. Соловьева, Блока, Хлебникова, Гумилева, Волошина, Бунина... В свою очередь евразийство приняло участие и нашло отражение в очередной волне нарастания интересов к Востоку в литературе уже советского времени (у Пильняка, Леонова, Федина, Платонова, Вс. В. Иванова и некоторых других писателей). Евразийство и русская литература – отдельная

и все еще мало исследуемая тема. Она, естественно, связана с формами и степенью открытости русской литературы для диалогов с восточными, в том числе и с тюркскими, литературами.

Евразийцы вдохновлялись идеей самобытности русской культуры, идеей, противопоставляемой ими европоцентризму. Преодолевать европоцентризм, имеющий большую историю и собственную теорию, значило оспаривать его основы, предлагая новую концепцию культуры, допускающую возможность самобытного существования в ее составе различных национальных, региональных и т. п. культур. «Новая эпоха, – писал П. Савицкий, – предполагает и новую установку сознания... Чтобы заново жить и что-нибудь понимать в новой жизни, нужно переучиваться... критически отнестись к обветшалой традиции, внимательно прислушиваясь к нарождающемуся» [Мир, 1995: 239]. К «обветшалой традиции» евразийцы относили и западноевропейские представления о культуре как системе ценностей, производимых в основном отвлеченным, рационалистическим мышлением, о роли субъекта в ней, нарастающую ее зависимость от технического «прогресса» во имя удовлетворения самодовлеющих потребностей личности. Обозначенные выше в самом общем виде оценки евразийцами западноевропейской культуры и ее теории, широко представлены как в их работах, так и в ряде посвященных им исследований.

Евразийская теория культуры, несмотря на различия во взглядах тех, кто участвовал в ее разработке (в основном П. Савицкий, Н. Трубецкой, Г. Вернадский и Г. Флоровский), на содержащиеся в ней противоречия, непоследовательности и т. п., в своей основе оригинальна, что определяет в конечном счете ее значение для современности. Культура, с точки зрения евразийцев, – синкретичное (целостное) образование с имманентными законами своего бытия. «Культура, – писал Савицкий, – рождается и развивается как органическое целое. Она сразу («конвергентно») проявляется в формах политических и социально-хозяйственных, и в бытовом укладе, и в этническом типе, и – в географических особенностях ее территории» [Мир, 1995: 257–258]. Направление причинных зависимостей при таком суждении несущественно. Евразийцы поэтому не повторяют И. Тэна и представителей культурно-исторической школы, хотя и обращаются к некоторым из центральных для их исследо-

ваний понятиям и терминам («среда», «этнос», «исторический момент» и др.). Евразийцы отличаются также от представителей антропоцентризма; для них человек – в культуре, а не единственное ее начало, он – ее составляющая, как и занимаемая той или другой культурой территория, социально – экономические обстоятельства ее существования и др. Культуру как целостный организм, как своего рода симбиоз различных ее элементов, евразийцы уподобляют личности с самостоятельным характером, своей историей и судьбой. По словам Савицкого, «Евразия – Россия – развивающаяся своеобразная культура – личность» [Мир 1995: 259]. Развертывание идеи, в основе которой понимание культуры как органического и саморазвивающегося образования, – в ряде работ Савицкого, Трубецкого, в сочинениях других евразийцев. При этом они не просто созерцали, изучали культуру, но и стремились действовать в ней. Об этой существенной особенности евразийского мышления Савицкий писал: «Евразийство есть не только система историософских или иных теоретических учений. Оно стремится сочетать мысль с действием; и в своем пределе приводит к утверждению, наряду с системой теоретических воззрений, определенной методологии действия» [Русская 1994, 1: 230].

Хотя евразийская культурология и создавалась как утверждение самобытности прежде всего русской культуры, она претендовала быть и общей культурологией, основанной на принципах плюрализма, противопоставляемого европоцентризму. Несложно предположить, что обозначенные выше культурологические представления евразийцев связаны с плюрализмом, проистекают из него или ведут к нему. И такое предположение соответствует действительности. Время становления и активного функционирования евразийства – это эпоха послевоенного кризиса европейской культуры, ее дезинтеграции, сопровождаемой стремлениями отдельных национальных культур вернуться к собственным началам. Евразийцы были достаточно хорошо знакомы с работами одного из современных им и известных представителей философии плюрализма У. Джеймса; русский экономист и философ П. Струве, плюралист по основам своего миросозерцания, оказал большое влияние на формирование мировоззрения Савицкого, который считается его учеником. Плюрализм в его филологическом варианте нашел последовав-

тельное выражение в работах, прежде всего, Трубецкого. Он основан на следующем аксиоматически звучащем теоретическом положении, высказанном выдающимся языковедом и культурологом в статье «Вавилонская башня и смешение языков»: «Законы эволюции народов устроены так, что неминуемо влекут за собой возникновение и сохранение национальных отличий в области языка и культуры. Сколько бы человек ни изобретал машин, чтобы уменьшить применение своего физического труда, совсем упразднить этот труд никогда не удастся. И сколько бы люди ни стремились противоборствовать факту множественности национальных различий, эти различия всегда будут существовать» [Трубецкой, 2000: 367]. Возникновение «множественности национальных различий» в мировой культуре Трубецкой обосновывает закономерностью, с его точки зрения, онтологического свойства: «Многообразие национальных культур и языков есть следствие закона дробления» [Трубецкой, 2000: 373]. По этому закону, как считает Трубецкой, каждая из культур, сохранив свою идентичность, вступает во взаимодействие с другими (также самодостаточными) культурами, что может вести к межкультурной гармонии, в необходимость и возможность которой он верил. «При кажущейся анархической пестроте отдельные национальные культуры, сохранив каждая свое неповторимое индивидуальное своеобразие, представляют в своей совокупности некоторое гармоническое единство целого. Их нельзя синтезировать, отвлекаясь от их индивидуального своеобразия, ибо именно в существовании этих ярко индивидуальных культурно-исторических единиц и заключается основание единого целого» [Трубецкой, 2000: 376]. Трубецкой объявлял противоестественными попытки разрушить органическое единство индивидуальных культур и заменить его механическим единством безличной общечеловеческой культуры, бедной в своей отвлеченности. Он не исключает влияния одной культуры на другую, так как влияние имеет отношение к существу межкультурных взаимодействий, но в трактовке влияния Трубецкой отличается от представителей сравнительно-исторической школы в культурологии, для которых понятия «влияние», «заимствование», «филиация» были определяющими в выстраивании ими культур друг за другом по уровню их развитости. Отмеченные выше и некоторые дру-

гие из традиционных для культурологии понятий он включает в новые контексты мышления. Для него, как и для остальных евразийцев, существенна не столько констатация явлений, обозначаемых этими понятиями, то есть то, чем в основном была занята, к примеру, культурология начала прошлого века в своем исследовании межкультурных взаимодействий, сколько готовность представить то, какими последствиями для той или другой культуры чреваты эти явления. На последней проблеме он достаточно подробно останавливается в своей работе «Европа и человечество». В ней Трубецкой разделяет «естественное» влияние, которое не ведет к нивелировке национальных различий, и «подавляющее» влияние. С его точки зрения, важно «чтобы культурные заимствования органически перерабатывались и чтобы из своих и чужих элементов создавалось новое единое целое, плотно пригнанное к своеобразной национальной психике данного народа» [Трубецкой, 2000: 379].

Евразийцы осознавали сложность, динамизм и противоречивость межкультурных взаимодействий, характер, интенсивность и результат которых зависят от конкретных исторических, социально-политических и других обстоятельств, от готовности и способности того или другого народа оставаться в своей идентичности. Интерес к чужой культуре, затем «приобщение» к ней, сопровождаемые антропологическим смешением, могут привести к постепенной утрате собственной культуры. По мысли Трубецкого, большей частью этот процесс «идет сверху вниз, т. е. охватывает сначала социальные верхи, аристократию, городское население, известные профессии, а затем уже постепенно распространяется и на остальные части народа» [Трубецкой, 2000: 76].

Есть общее с эпохой, в которую евразийство возникло, и нашей эпохой – временем распада единого советского государства. В 10–20-е годы прошлого века западноевропейская культурология, основанная на идеях центризма, терпела кризис. То, что началось в отечественной культурологии в 90-е годы, тоже было кризисом, последствия которого преодолеваются медленно. Евразийцы не ограничивались только критикой европоцентризма, претендующего утвердить сверхвременные, надпространственные духовные ценности в виде канонов трактуемого особым образом гуманизма и прогресса. Они отказа-

лись от самого способа мышления, производящего разного рода центризмы и предложили свою теорию взаимодействий между разными культурами. Оценивать евразийство в основном как отвержение европоцентризма, энергичное, первым заметное для читателей работ его представителей, недостаточно. В современной культурологии, например, в сопоставительной филологии, такие понятия, как «идентичность», «множественность», «диалог», «принцип дополнительности», в образовании которых или в создании предпосылок для их возникновения евразийцы приняли участие, являются генеративными, системообразующими. Не стоит воспринимать как аксиому то, что писал о евразийцах Флоровский, хотя оно часто повторяется в значении якобы объективной оценки: «История евразийства – история духовной неудачи. Нельзя замалчивать евразийскую правду. Но нужно сразу и прямо сказать – это правда вопросов, а не правда ответов, правда проблем, а не решений» [Русская, 1994, 1: 305]. Евразийцы опережали свое время, предугадали, обосновывали идеи, нередко по причине своей оригинальности воспринимаемые их современниками как «соблазнительные грэзы» (Флоровский), но теперь представимые как обладающие современной ценностью аналитические категории или продуктивные гипотезы.

Литература

1. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984.
2. Мир России – Евразия. М.: Высшая школа, 1995.
3. Русская идея: в 2 т. М.: Искусство, 1994.
4. Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М., 2000.

КОММУНИКАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА¹

Слова «литература» и «коммуникация» в современных научных исследованиях нередко ставятся рядом. Вплоть до конца прошлого века такое не наблюдалось. В ближайшей к теории литературы науке – лингвистике – К. является традиционным термином. Не исключено, что в скором будущем К. станет одной из заметных категорий и в теории литературы, особенно в том её разделе, где изучаются межлитературные взаимодействия. К этому подталкивает теорию литературы и культурология, в терминологическом словаре которой К. широко представлена.

Слово К. теперь не только в языке лингвистов и культурологов, но и философов, социологов, психологов, историков и других гуманитариев, а также представителей некоторых естественных наук. Оно – в языках средств массовой информации. Растет частотность обращений к нему и в разговорной речи. «Популярность» слова К. объясняется не только его основными значениями, о чём будет сказано ниже, но в большой степени и теми *коннотациями*, которыми оно наделяется в сознании современного общества.

С К. связываются надежды на преодоление противоречий между различными культурами, религиями, государственными устройствами и т. д. Многие верят в то, что одна из главных причин отмеченных выше противоречий, а также межличностных столкновений – недостаток информации, знаний друг о друге. Такое представление активно поддерживается средствами массовой информации, заинтересованными, в том числе и материально, в расширении места и роли К. в обществе. Однако в ученом мире нет единодушия в оценках К., в нем немало и тех, кто склонен видеть в ней как достижения, так и недостатки. Один из известных исследователей К. немецкий философ Ю. Хабермас (1929) пишет: «В капиталистической модернизации коммуникативный потенциал разума одновременно развивается и искажается» [Хабермас, 2003: 325].

В первых двух частях данной статьи речь пойдет о К. как таковой и литературной К., в последней – о сущности межлитерату-

¹ Межкультурная коммуникация: филолог. аспект: слов.-справ. Казань: Отечество, 2012. С. 15–31.

ратурной К. Вопросы истории межлитературной коммуникации и традиционные формы ее функционирования рассматриваются в ряде других статей пособия. Поэтому мы остановимся в основном на мало исследованных до сих пор и спорных проблемах межлитературной коммуникации нашего времени, которое нередко называют эпохой «информационной революции».

Коммуникация: за и против

По словам одного из основоположников современной коммуникативистики немецкого философа К. Ясперса (1883–1963), «человеческое бытие безоговорочно связано с коммуникацией» [Ясперс, 1991: 507]. Начала К. в природе самого человека, который не существует в виде изолированной от общества монады. Только в общении с остальными людьми, в единстве с ними, не поступаясь собой и одновременно признавая других, человек сохраняет свою индивидуальность.

Слово «коммуникация» более позднего происхождения, чем то содержание, которое им обозначается. У него латинская этимология. *Communicatio* – сообщение, передача, разговор, общность интересов. В отмеченных выше или в других, но близких к ним значениях, а также в совпадающих во многом своих звучаниях слово «коммуникация» фигурирует теперь во многих языках. Оно в очень высокой степени интернационализированное слово.

Существует немало определений К. (в словарях, учебных пособиях, монографиях, в Интернете). Знакомиться с ними, а также запоминать хотя бы некоторые из них небесполезно. Но важнее видеть за этими определениями то общее, что их объединяет, то есть сущность К. Ее можно представить следующим образом. Если К. – сообщение (вместо «сообщения» можно поставить любое другое из приведенных выше значений слова *communication*), то, о чем оно (каков его предмет), как осуществляется (его средства), каковы его цели? Все виды К. (научные конференции, различные журналы, телевизионные передачи, лекции, выставки живописи, кинофестивали и т. п.) могут быть структурированы по обозначенной выше схеме.

Рассмотрим эту схему несколько подробнее на примере научной К., в которой она особенно успешно демонстрирует свою продуктивность. Может быть, ее потенциал будет реали-

зовываться и в литературной К. ? Предмет научной К. – знание. Знание, претендующее быть истиной. Его отличает то, что принято называть объективностью. Оно свободно от индивидуальности ученого, принимавшего участие в его образовании. Возраст ученого, его национальность, художественные вкусы и даже своеобразие исследовательского таланта выносятся в нем за скобки. В знании нет следов продуцирующего его автора. В ходе межличностной К. (в частной переписке, к примеру) ученые могут обмениваться впечатлениями от прочитанных книг, прослушанной музыки, сведениями о семейных делах и пр., находясь в состоянии свободного, не обремененного обязательствами диалога. Но стоит им начать обмениваться знаниями, как личностное отступает на второй план, и разговор может быть продолжен только по правилам научной логики. Сказанное о знании как предмете научной К. относится и к гуманистальным наукам. Когда речь заходит, к примеру, о диалоге как научном понятии, наше внимание будет сосредоточено на сущности этого понятия, а не на личностях ученых, принимающих участие в его разработке.

Основным средством научной К. является язык. При сохранении естественного языка как средства К. к нему предъявляются требования, исключающие многозначность, метафоричность, коннотативность слов. Слово становится лишь знаком, указывающим на свободное от него содержание. Оно может быть заменено другим знаком (алгебраической формулой, математическим уравнением, символом и т. п.). Главное – обеспечить ясное и совпадающее у всех участников К. понимание ее предмета. Ученые постоянно уточняют значения слов, которыми обмениваются в ходе К., добиваясь того, чтобы они оставались в пределах тех договоренностей, которые достигнуты. Слова естественного языка не всегда поддаются такому дисциплированию. Кроме того, для обозначения открытых наукой новых явлений в природе и обществе может просто не существовать в языке нужных слов. Поэтому место естественных языков в научной К. постепенно уменьшается и повышается роль языковых образований в виде знаковых систем с особыми для них правилами функционирования. Такие искусственные языки оказываются универсальными, преодолевающими традиционные межъязыковые границы и расширяющими возможности К.

У К. есть цель. Эта цель в виде «общности интересов» фиксируется в одном из приведенных выше значений слова «communication». К. объединяет тех, кто в нее включается. Не столько требованиями и приказами свыше, а сколько внутренней устремленностью человека быть частицей общего. По Хабермасу, существует «модель свободного волеобразования в условиях коммуникативного сообщества, принуждающего всех своих членов к сотрудничеству» [Хабермас, 2003: 306]. С точки зрения того, каким образом, на основе чего происходит объединение в целях достижения общего, пример научной К. тоже показателен. Объединяет ученых рациональное мышление и основанное на нем стремление познать законы природы и общества с целью разумно их использовать. К., отличающаяся рационализмом и практицизмом, представляется большинству ученых и обществу условием прогресса или по меньшей мере стабильного существования в настоящем и будущем. И основания для таких надежд существуют.

Представить современную жизнь с ее науками, искусством, формами правления и многим другим невозможно без постоянно прогрессирующей К. Это очевидно и не нуждается в подтверждении примерами. Но почему же в таком случае К. вызывает споры, а у части общества даже неприятие? Кто и почему против нее? Попробуем свести все разнообразие критики современной К. всего к нескольким положениям, вытекающим из сказанного выше и имеющим отношение в основном к литературе и искусству.

Вернемся к процитированным ранее словам Хабермаса о развитии и одновременно искажении коммуникативного потенциала разума в современных условиях. Это сдержанная, стре-мящаяся оставаться объективной оценка К. одним из ее сторонников и видных теоретиков, который усматривает в ее развитии наряду с прогрессивными и опасные тенденции. Так, по его мнению, повышающийся в ходе роста К. «уровень рационализации жизненного мира отнюдь не гарантирует полное отсутствие конфликтов <...>» [Хабермас, 2003:358]. В научной литературе существуют и другие, более радикальные взгляды на К. как на такое явление, в котором отдельное поглощается общим, и, к примеру, искусство, теряющее свою самоценность, становится лишь инструментом реализации материальных целей высокого

индустриального общества. Так, немецкий философ Т. Адорно (1903–1969) называл К. «псевдонаучной идеологией». С его точки зрения, «подлинным... незамутненным, целостным и чистым искусство бывает только тогда, когда оно не участвует в коммуникации, не «подыгрывает» ей» [Адорно, 2001: 457]. Известно критическое отношение и современных постмодернистов, особенно французских, к информационной революции. По словам Ж. Бодрийяра (1929), «мы находимся во вселенной, в которой становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла» [Философия эпохи постмодерна, 1996:41].

Далее назовем только идеи, на которых основана критика современной К. за ее негативное, по мнению многих ученых, влияние на культуру. К. объединяет, она обязывает принимающих участие в ней думать над одним и тем же, действовать сообща, преследовать одну и ту же цель. Общий пафос К. – преодоление индивидуального в человеке, различий в культурах. Она пропагандирует стандартизованные музыку, фильмы, литературу, моду, формы поведения в обществе и т. д. К. не возвышает, а усредняет эстетические вкусы и другие духовные потребности человека. К. – не спор, не общение, не диалог, ее природа монологическая. К. актуализирует и идеализирует будущее взамен прошлого. История, традиции в ней преодолеваются рационализирующим все и ориентированным на построение будущего разумом. К. таит в себе угрозы нового центризма и глобализации, так как ее техническое оснащение, финансовое обеспечение находятся в основном под контролем небольшого числа стран, что дает им возможность навязывать другим странам свои представления о социальных и культурных ценностях.

Литературная коммуникация

Под влиянием средств массовой информации происходит изменение роли и места литературы среди других видов искусства и в обществе в целом. Культура становится все менее и менее литературоцентричной. Мы не можем утверждать, что эстетические вкусы большей части общества формируются и теперь, как это происходило в прошлом веке, литературой. Печатная продукция, в формах которой литература существует, теснится зрительными, звуковыми и другими средствами эсте-

тической информации. Все это дает повод одним исследователям говорить о «кризисе чтения» как симптоме культурной деградации, другим, таким, как канадский ученый М. Мак-Люэн (1911 – 1980), например, – считать происходящее сейчас с литературой началом освобождения человека от диктата письменности в культуре... К. изменяет не только место литературы в современной культуре, перераспределяя роли между носителями художественной информации, но активно воздействует и на природу самой литературы.

Одним из заметных показателей влияния К. на литературу являются изменения в триаде «автор – произведение – читатель». Они происходят в каждой из составляющих этой триады, но особенно глубоки и сравнительно легко наблюдаются в последней из них. Теперь читатель более чем когда-либо свободен в выборе литературного произведения. Электронные СМИ позволяют ему делать это легко, быстро и без заметных материальных затрат. К его услугам, например, электронные библиотеки, некоторые книги, заказанные по Интернету, обходятся ему дешевле, чем продаваемые в магазинах, он имеет доступ также по Интернету ко многим литературным журналам, альманахам и т. д. Он волен ограничиваться собственной трактовкой прочитанного, находить в Интернете статьи и другие материалы, поддерживающие его взгляды на литературу, может участвовать в дискуссиях и даже вступать в переписку с автором прочитанного им произведения и др.

Традиционная роль посредника между читателем и произведением в лице учителя в школе, преподавателя в вузе, библиотекаря, членов семьи и т. п. падает, она замещается СМИ. Большинство современных читателей предпочитают быть с произведением один на один, без вступительной статьи к нему, без комментариев, сопровождающих его содержание, без сведений о его авторе, стране, времени написания, языке оригинала, если оно переводное. По словам итальянского исследователя У. Эко (1932), это «новая практика восприятия художественного произведения», когда оно, будучи изолированным от автора, от привязанности к темам и идеям места и времени своего написания, становится просто «открытым произведением» (Эко, 2004: 64).

Влияние К. на триаду автор – произведение – читатель сопровождается достижениями в культуре. «Открытое произве-

дение» – это актуализированное произведение, в котором читатель ищет, находит ответы на его и его времени вопросы. Оно не окончательное, с замкнутым в себе *каноническим* содержанием произведение, в нем – потенциальные смыслы, обнаруживаемые креативным читателем. Так возникают новая «коммуникативная ситуация», «новое отношение между созерцанием и использованием произведения искусства» [Там же]. Однако экстраполяция «открытости» на произведения прошлого, чему К. способствует, связана с утратами. Так как К., как ранее отмечалось, вдохновлена идеей будущего, она способствует притуплению в читателе чувства различать прошлое и настоящее и, соответственно, воспринимать и ценить разнообразие литературы в ее эволюции. Все, что попадает в круг чтения такого читателя, может интерпретироваться, оцениваться им по параметрам его индивидуального и, как правило, ограниченного по своему содержанию художественного сознания. Кроме того, свобода, предоставляемая читателю средствами современной К., о которой шла речь выше, не абсолютна. Она контролируется так называемыми «централизаторами» в виде компаний, государственных, частных структур, финансирующих К. и извлекающих из нее выгоды. Только сравнительно небольшой части современных читателей удается, опираясь на возможности К., расширять свой художественный мир, оставаясь свободными.

Разговор о литературе и К. как о явлениях, связанных между собой, требует определенных правил своего ведения. Он может развертываться в следующих двух направлениях. Во-первых, коммуникативными будут все рассуждения ученых о литературе вообще, независимо от различий в их взглядах на нее, письменно или устно высказываемые оценки писателями своих или чужих произведений, обмены мнениями о прочитанном между читателями и др. К. такого рода однотипна с научной. Предмет ее – мысли о литературе, чувства, представления и т. п., вызываемые ею, носители которых стремятся превратить их в информацию для своих адресатов, выраженную в словах с их основными и, как правило, общепринятыми значениями. Её цель – приобщить к своим взглядам других, участвовать в дискуссиях, демонстрировать уникальность своей позиции на фоне общих представлений и т. д. К., объединяющая филологов, литературных критиков и других гуманитариев в стремле-

ния осознать, что такое литература, – обязательное условие их деятельности. Её результаты – в монографиях, статьях, учебных пособиях. Она в школьном, вузовском и других формах образования, имеющих отношение к изучению литературы (в лекциях, семинарах, научных работах студентов). К. может быть предметом художественного произведения, к примеру, его темой в виде изображения связей между разными учеными, занятыми исследованием общей проблемы, или взаимоотношений героев, представляющих разные культуры и стремящихся понять друг друга и т. п. Сказанное выше в целом известно и нетрудно для понимания. Несложно также конкретизировать его примерами.

Менее прост второй путь рассуждений на тему «литература и К.». Является ли сама литература К.? Если – да, то, что и как она сообщает? Находятся ли литературные произведения в таких же коммуникативных связях, как писатели, читатели, ученыe между собой? О какой К. между разными национальными литературами можно говорить? Отметим сразу, что эти и другие подобные им вопросы еще мало исследованы, по ним в научном мире существуют разногласия. Далее излагается точка зрения на них в основном автора данной статьи, допускающего, что в ней могут содержаться и спорные идеи.

Начнем с простых наблюдений, с рядового читательского опыта, которые, как будто, подсказывают нам, что литература коммуникативна, то есть способна сообщать знания. Поэмы Гомера свидетельствуют о быте, семейных отношениях, психологии, устройстве общества древних греков. Произведения Гоголя, Достоевского, Блока обогащают наши представления о прошлом Петербурга. Романы Бальзака дают большой материал для изучения буржуазного общества Франции его времени. Уверенность в том, что литература коммуникативна, находит себе поддержку и в обращениях писателей к современным им и будущим читателям как к своим собеседникам (Пушкина в стихотворении «Памятник», Мандельштама в статье «О собеседнике», Маяковского в поэме «Во весь голос», Солженицына и Бродского в их Нобелевских речах).

Обратимся теперь к тому, что может быть противопоставлено сказанному выше или потребует от него уточнений, дополнительных объяснений и пр. В литературном произведении не обязательны исторические, географические и другие

факты, соответствующие действительности и пополняющие тем самым наши знания. Например, в романах Замятиня «Мы», Платонова «Чевенгур» их просто нет, как и во множестве произведений других писателей и поэтов. Пелевин же в романе «Чапаев и Пустота» и в ряде других своих сочинений так переосмысливает факты, что связывать их со знанием становится невозможным. Следовательно, высказанное выше утверждение, что литература коммуникативна, потому что способна обогащать наши знания фактами, не относится к ней в целом. В таком случае, не справедливо ли оно в своем отношении к эпopeям, историческим, биографическим и другим произведениям, в основе которых – события и личности, действительно имевшие место в истории? Но и в данном случае у нас не будет достаточных оснований приписывать литературному произведению ту же коммуникативность, что бытует в научной работе. Обратимся к конкретному примеру и попытаемся в ходе его анализа подтвердить сказанное.

Представленная в романе Толстого «Война и мир» картина дислокации на Бородинском поле французских и русских войск перед началом сражения между ними в целом соответствует реальности. Известно, что при ее воспроизведении Толстой опирался на многие исторические источники. Однако оценивать созданную писателем картину военной дислокации только с точки зрения, того, насколько она соответствует реальности, то есть исторически достоверна, недостаточно. Для ее оценки важны и другие подходы: почему Толстой с такой точностью пытался ее воспроизвести, какое место она занимает в его произведении? Известен фаталистический взгляд Толстого на историю. По его представлению, события на поле сражения развертывались не по тщательно составленным планам военачальников, а по воле независимых от них обстоятельств, а также каждого воина, в нем участвующего. Получается так, что картина дислокации, о которой идет речь, была нужна писателю, чтобы показать, что военные планы, даже самым тщательным образом разработанные, основанные на подсчетах орудий, штыков, конницы и т. п., мало что значат в войне. Это функциональное (своего рода служебное) положение удерживает ее в целостности романа. Извлеченная из текста произведения, отлученная от своих функций в нем, она превращается в рядовой исто-

рический факт, подлежащий проверкам, дополнениям и т. п. В равной степени сказанное будет относиться и к возможности извлечения знаний из произведений не только названных выше Гомера, Гоголя, Достоевского, Блока и Бальзака, но и любых других писателей. Литература вообще не занимается производством знаний, установлением, к примеру, исторических фактов. Она берет их готовыми и использует в своих целях, превращая в элементы художественной целостности.

Литературное произведение что-то нам сообщает, используя язык в качестве средства сообщения, и в ходе чтения мы воспринимаем его содержание, достигая тем самым определенной цели. В самом общем виде это та же схема К., что и в науке. Но обязательна дальнейшая конкретизация этой схемы в ее приложении к литературе, потому что она в ней функционирует настолько своеобразно, что у многих, и не без оснований на то, может возникнуть сомнение в ее реальном существовании в литературе и, соответственно, в целесообразности обращений к ней и к К. в целом в литературоведческих исследованиях.

Начнем с основного тезиса, высказанного в первом предложении абзаца, с уточнений его и комментариев к нему. Литературное произведение не является сообщением только о том, что было известно автору до его написания. Содержание в нем рождается в процессе его создания, и автор в свою очередь может оказаться в его власти как уже свободного от него и развертывающегося само собою явления. Содержание произведения нам трудно представить как нечто, производимое только автором, окончательно завершенное им, то есть как то, что аналогично предмету научной К. Оно так органически сплетено со средством своей передачи – с языком произведения, что в ином, чем в этом, конкретном произведении, языковом исполнении, не может быть в своей полноте выражено. Его невозможно вывести за пределы данной своей языковой явленности и потом сообщить иными, но способными сохранить его уникальность средствами информации (формулами, символами, искусственным языком и т. п.). Кроме того, у читателя есть возможность воспринимать сообщаемое писателем иначе, чем научную информацию. Для него оно не знание в общепринятом смысле слова, не предписание как чувствовать, думать, действовать, а нечто, которое им может свободно переживаться, осознаваться и далее развертываться.

Итак, К. в литературе, если мы допускаем возможность ее существования, основательно отличается от научной К. Ее сложно схематизировать, те элементы, которые сравнительно легко выделяются в научной К., переходят в ней в друг друга, и границы между ними условны. Не случайно в науке (в основном западноевропейской) еще с конца прошлого века стало встречаться определение «литературная коммуникация». Оно фигурирует, к примеру, в статье известного немецкого литературоведа и коммуникативиста Г.-Р. Яусса (1921–1998) «К проблеме диалогического понимания». Автор статьи пишет, опираясь при этом в основном на идеи Бахтина, о «диалогичности литературной коммуникации», отличающей ее от научной и сближающей с религиозной и философской коммуникациями [Бахтинский сборник, 1997:183]. О диалоге как основе культурной, в том числе и ЛК стали появляться работы и в отечественной науке. Однако понятие ЛК еще недостаточно определено, работ, его исследующих, совсем мало. И предлагаемая далее его трактовка не претендует на полноту его раскрытия, и к ней следует относиться как к началу разговоров, дискуссий о его сущности.

То, что литература диалогична по своей природе и взаимодействия в триаде «автор – произведение – читатель», а также между разными литературами предопределены этой ее особенностью, показал в своих работах еще Бахтин, хотя к К. как к исследовательской категории он не обращался. В сферу гуманитарных наук К. как понятие стала проникать значительно позже него. Словосочетание «литературная коммуникация» содержит в своем значении противоречие: литература диалогична, коммуникация монологична. В диалоге – признание каждым из его участников другого (иного, чем он сам) и совместный путь к знанию, смыслам, не обязательно завершающийся согласием. К. монологична, потому что передача и прием информации сопровождаются разделением транслирующей информацию и воспринимающей ее сторон, которые могут попеременно меняться своими местами. Цель К. – знание. Не столько путь к нему, сколько оно само в виде результата, достижение в нем согласия между коммуникаторами. Однако в «литературной коммуникации» как научном понятии наличие такого противоречия недопустимо. Значения слов, из которых оно составлено, должны переходить друг в друга, иметь зоны взаимных пере-

сечений. Поэтому далее остановимся на вопросе о том, в чем и как литература способна быть средством К.

У жанров и других форм литературных произведений есть коммуникативные функции. Достаточно, к примеру, увидеть, что произведение, к чтению которого мы собираемся приступить, называется «трагедия», как в нашем сознании рождается предваряющее его чтение представление о характере и разрешении конфликта в нем. Также басня, сонет, новелла, роман, взятые не в конкретных своих исполнениях, а просто как жанры, информируют нас о содержаниях, которые в них возможны. В литературе есть повторяющиеся во времени и в пространстве, то есть в разных литературах, формы (кроме названных выше, и другие), которые можно рассматривать как знаки относительно устойчивых и примерно одинаково понимаемых всеми авторами и читателями содержаний. Следовательно, их роль в литературе близка к роли знаков в науке. Они указывают на информацию, не зависимую от авторов и читателей и тем самым похожую на научную; информацию, принуждающую последних и при создании произведения, и при его восприятии придерживаться определенных правил.

Элементы, имеющие коммуникативные функции, существуют не только в области формы литературных произведений, но и их содержания. Ими могут быть, к примеру, так называемые общечеловеческие темы (жизнь и смерть, любовь и ревность, добро и зло, милосердие, жажда власти, странствия и др.), многие из которых имеют свое начало в *архетипах мифологии*. Настолько высока их повторяемость в литературах разных времен и народов, настолько они традиционны, что практически каждый читатель, встретившийся, допустим, с одной из них в новом для него произведении, уже знает в общем виде, о чем она, и может строить свои предположения о том, как она будет раскрываться в данном конкретном случае. Он, таким образом, поведет себя как читатель, владеющий информацией, которая окажет влияние на чтение произведения. Коммуникативность присуща также традиционным сюжетам (разлад героя с окружающим его миром, противостояние между разными поколениями, поиски смысла жизни, испытание и возмездие и др.) и исторически повторяющимся, *универсальным мотивам* (земля и небо, свобода, счастье, свет, путь, сон и др.).

Коммуникативность литературных форм и содержаний имеет свою специфику. Она, в отличие от научной К., о которой говорилось в первой части статьи, хранит традиции, удерживает творческое воображение писателя и воспринимающие способности читателя в их круге, не разделяет прошлое с настоящим, не ставит своей целью их преодоление во имя будущего. Всем этим литературная коммуникация способствует установлению и сохранению культурных связей между разными поколениями.

Следующее ее своеобразие в том, что она передает не законченное, а «открытое» знание, которое – лишь инвариант различных своих превращений в художественных текстах. Не просто приобщение к уже известному, общему знанию занимает читателя в произведении, а в большей степени проблематизация его, отступления от него в конкретных событиях и образах. Так, одна из тем романа Тургенева «Отцы и дети» – нигилизм. Читатель, которому это станет известно, приступит, сопровождаемый своими представлениями о нигилизме, к чтению романа, в ходе которого они могут измениться настолько, что потеряют из начальной своей содержательности многое и, не исключено, что все. Открываемое в произведении новое о нигилизме будет доставлять ему эстетическое наслаждение.

Не искусственна ли выстроенная выше схема коммуникативных связей между художественным произведением и читателем? Ведь большинству читателей, в отличие от филологов, занимающихся исследованием литературы, неизвестно, что такое жанры и другие формы литературы, как дифференцируется ее содержание на темы, сюжеты, конфликты и т. п. Полученные ими в школе теоретические знания, как правило, сохраняются недолго и в дальнейшем активного участия в восприятии литературных произведений не принимают. И все же общее между обыкновенным читателем и читателем – филологом есть, они оба – участники коммуникативной связи, о которой идет речь. Просто второй из них осознает свое участие в ней в названных выше и рационально определяемых понятиях (роман, сонет, тема и т. п.), первый – опирается на свой опыт чтения различных произведений, при котором они подвергаются в его сознании интуитивному разделению по жанровым, тематическим и другим признакам.

Межлитературная коммуникация

Современные средства массовой К. оказывают активное влияние на межлитературные взаимодействия. Условно можно выделить две тенденции в этом влиянии. Первая из них ускоряет, облегчает уже известные и ставшие традиционными формы таких взаимодействий. В частности, возросла возможность связей между писателями разных стран, упростилась миграция тем из одних литератур в другие, становится все более и более свободными обмены жанровыми и другими формами творчества, а также языковыми средствами создания литературных произведений и др. Не станем развивать сказанное, приводить примеры в его подтверждение, потому что это известно и легко усвоимо самостоятельно. Вторая тенденция сравнительно нова, мало изучена и, соответственно, требует большего внимания к себе. И в основном о ней нам предстоит далее говорить.

В предыдущем разделе рассматривалось влияние современной К. на триаду «автор – произведение – читатель». При этом были отмечены возрастающая самостоятельность читателя в этой системе, предоставляемая ему освобождением от посредников в его контактах с произведением, а также положительные и отрицательные, с нашей точки зрения, ее последствия. Актуализированное, приближенное к мировосприятию конкретного читателя и тем самым ставшее «открытым» произведение – живое, включенное в жизнь читателя явление, и в то же время оно, изолированное от контекстов места, времени и других обстоятельств своего создания и последующей истории, беднее в глубине и разнообразии содержания, чем есть на самом деле.

Новые возможности, предоставляемые читателям современной К. в выборе, восприятии, оценке произведений литературы, а также ограничения, которыми она в состоянии подчинять читателей себе, действуют в сфере не только отдельно взятой литературы, но и так называемых «межлитературных взаимодействий». Общее в том, как К. воздействует на триаду «автор – произведение – читатель», сохранится и здесь, но будут различия в вариантах его реализации. Посмотрим на это внимательнее, взяв за начало анализа из этой триады «читателя», то есть поступим так же, как это делали выше.

Сущность К. такова, что она предрасположена к тому, чтобы сократить расстояние между произведением и читателем, доста-

вить его ему как можно быстрее и с меньшим числом и объемом всего того, что может его сопровождать (в виде вступительных статей, комментариев и т. п.), то есть экономически наиболее выгодным образом. Именно так издаются теперь большинство переводов на русский язык иностранных авторов. Основная масса такой литературы (детективы, шпионские, женские романы и т. п.) и не нуждается в своем сопровождении критическими, исследовательскими и другими материалами. Она стереотипна по содержанию и доступна для понимания практически любым читателем. Она для него такая же, как и отечественная, но только переводная, что, впрочем, не имеет, с его точки зрения, почти никакого значения.

К. изменяет не только отношение читателя к произведению, но и само произведение. Выражается оно в том, что произведение становится для читателя *текстом*. Под произведением имеется в виду то, что произведено автором и носит следы своей зависимости от него (его индивидуальности, взглядов на мир, манеры письма и т. д.). Содержание произведения не замкнуто только в себе, оно есть концентрация, продолжение, трансформация и т. п. и того, что имеет место за пределами произведения и с ним связано, то есть с тем, что принято называть его *контекстом*. Место, время, интеллектуальные и другие конкретные обстоятельства, при которых было создано произведение и началось его самостоятельное существование, представляют интерес не только с исторической точки зрения. Они помогают разнообразить и наши современные представления о нем. К. же тяготеет к деконтекстуализации литературного произведения, к освобождению его от автора, от связей со временем написания, от последующей собственной истории и др. Внимание читателя сосредотачивается на тексте, производящем содержание при активном участии его сознания, на содержании, ограничивающем кругом его представлений, кругом идей его времени. Мы здесь приводим варианты из сказанного выше в разделе о литературной К., так как они относимы и к межлитературной коммуникации.

Деконтекстуализация (превращение литературных произведений в тексты) оказывает сложное и противоречивое по своему значению влияние на взаимоотношения разных литератур в воспринимающем их сознании. С одной стороны, раз-

ные литературы, отлученные от своих национальных контекстов, легче контактируют в одном пространстве, оказываются более простыми переходы от одной из них к другой, читатель может ограничиваться только чтением текстов, не утруждая себя обращением к дополняющей его занятие информации. С другой – деконтекстуализация расширяет поле того общего, что возможно в разных литературах, усредняет и упрощает это общее. Она способна нивелировать различия между разными литературами на тематическом, содержательном и формальном уровнях творчества и в целом ограничивать или даже прекращать межлитературные взаимодействия, в ходе которых происходит обмен художественными ценностями, обогащающими участвующие в них стороны. Возрастающее влияние К. на взаимоотношения между разными литературами, направленное на то, чтобы преодолевать, разрушать границы между ними, сопровождается образованием так называемой панлитературы, стоящей над национальными литературами и основанной на стандартных темах, идеях и формах творчества. Панлитература призвана удовлетворять эстетические потребности массового и в основном элементарного уровня, она равно доступна для всех читателей независимо от национальных различий между ними.

Когда мы говорим о межлитературной коммуникации, то в соответствии с принятыми в науке правилами должны дифференцировать эту большую проблему, выделяя в ней вопросы, на которые нам предстоит отвечать. Вот некоторые и, с нашей точки зрения, основные из них. Что может быть предметом К. между разными литературами? Все ли в содержании той или другой литературы превратимо в коммуникативы? Если нет, то еще каким образом разные литературы могут общаться между собой? Какое место термин «межлитературная коммуникация» может занять в *сопоставительной* теории литературы среди других используемых в ней терминов?

О том, что существуют общие и связывающие разные литературы коммуникативы (к примеру, в виде содержательных и формальных показателей произведений), говорилось выше. Но почему они повторяются в разных литературах? Первый из возможных ответов на этот вопрос широко известен, и он достаточно прост. Разные литературы функционируют в условиях взаимовлияний и *заимствований*. Опыт французского клас-

сицизма, например, транслировался во многие европейские, в том числе и русскую, литературы. Социалистический реализм в своей устойчивой тематике, канонизируемых образах и идеях и др. внедрялся в разные национальные литературы советского государства в основном через воздействие на них русской литературы. Теория и практика современного западного постмодернизма быстро распространились (благодаря в первую очередь средствам массовой коммуникации) в литературы многих регионов мира.

Другая причина существования межлитературных коммуникативов видится учеными в изначальном, присущем человеку вообще (независимо от его расовой, национальной, социальной и т. п. принадлежности) способе художественного освоения мира, в частности, в мифологическом. В мифах различных народов есть совпадения в темах, сюжетах и мотивах даже там, где при их возникновении не было связей между культурами, к которым они относятся. Известно, что начало словесного искусства – в мифах, которые до сих пор продолжают оказывать на него влияние.

Приведем еще одно, распространенное особенно в западной культурологии, объяснение того общего, что *универсалии* бытуют в разных культурах и литературах. Принадлежит оно Ясперсу, полагавшему, что в современной человеческой культуре продолжают действовать *универсалии*, которые образовались еще в так называемое им «осевое время» (между 800 и 200 гг. до н. э.). По его мысли, в этот период в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга, но в одном направлении и содержании развивался процесс осознания человеком себя и своего места в мире. Как пишет Ясперс: «Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. <...> В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим и по сей день<...>. Во всех направлениях совершался переход к универсальности» [Ясперс, 1991: 32–33].

Все отмеченные выше тенденции, обосновывающие то общее, что есть в разных литературах, имеют место в отечественной филологии нашего времени, но актуализируются по-разному. Так, в последние годы растет внимание к понятию «концепт», которое наделяется функцией коммуникатива

между разными литературами. В них, повторяются, к примеру, такие концепты, как «Надежда», «Вечность», «Путь», «Любовь», «Страх» и др. Многим ученым «концепт» представляется понятием удобным и плодотворным при исследовании межлитературных взаимодействий. Оно кажется синтезирующим обозначенные выше идеи об основах межлитературной коммуникации. Начала концептов можно вести от мифологического сознания, от «осевого времени», изменения в нем объяснять межлитературными влияниями и т. п.

Обратимся теперь ко второму из поставленных выше вопросов: все ли в литературе превращаемо в коммуникативы? Отрицательный ответ на него содержался в предыдущем разделе статьи. В частности, мы говорили о том, что влияние коммуникатива на читателя ограничено его предваряющей и сопровождающей чтение произведения ролью. Содержание же произведения – это не тот остаток, который сохранился в нем после формализации его в коммуникативы, а то, на что последние указывают, о чем символизируют. Сказанное в равной степени относится как к К. в пределах отдельно взятой литературы, так и к межлитературной коммуникации. Но в ее функционировании будут различия, предопределяемые различиями в языках вступающих в К. литературах и в культурах, к которым последние относятся.

При употреблении коммуникативов в роли понятий, обозначающих то общее, что есть в разных литературах, возникают проблемы, на одной из них и основной, с нашей точки зрения, остановимся чуть подробнее. Чем на большее число литератур тот или другой коммуникатив распространяется, тем отвлечённее он становится. Например, коммуникативы «душа», «мило-сердие», «путь», «добро и зло» и некоторые другие широко представлены во многих литературах. Но в таком разнообразии конкретных своих содержаний, что определение того, что может значить тот или другой из перечисленных выше коммуникативов в его приложении к разным литературам, находящимся во взаимодействии, затруднено и возможно лишь на уровне высокой абстракции. Такое необходимое абстрагирование, построенное на упрощении содержаний разных литератур может представляться нежелательным и преодолеваться путем наделения общего для них коммуникатива значениями, в кото-

рых он функционирует в одной или в группе из участвующих в К. литератур. Подобная практика все еще имеет место в исследовании межлитературных взаимодействий. Она опирается на идеи централизма в теории литературы, которые в современной науке критикуются, в частности, и с позиций *идентичности, множественности, диалога литературы*.

Современная К. существует на место литературы среди других видов искусства, влияет на ее функционирование в сознании читателей, расширяет возможности взаимодействий между разными литературами. Однако литература только на одном из уровней своего существования выполняет коммуникативные функции. Поэтому вряд ли целесообразно сводить литературу к К., а последнюю оценивать как генеративную категорию в теории литературы.

Без активного участия К. уже невозможно представить будущее межлитературных взаимодействий, с ней связываются надежды на успехи в их эволюции, и она же вызывает опасения как инструмент, посредством которого возможно выравнивание разных литератур по общему для них образцу

ГЛОССАРИЙ¹

ГЕНЕРАТИВНЫЙ (лат. generare – порождать, производить). Под генеративной в теории литературы имеют в виду категорию, способную порождать другие категории, связанные с ней близостью своих значений.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (лат. globus – шар, относящийся ко всему земному шару). Начало употребления термина Г. в науке относится в 80-м годам прошлого века. Он обозначает экономическое, социальное и культурное сближение народов различных стран на основе становления мирового рынка и воздействия СМИ. В Г. различают как позитивные, так и негативные тенденции. Она способствует культурному сближению народов, расширению обменов художественными ценностями между ними. В то же время она таит в себе опасность утраты отдельными народами своей культурной самобытности под влиянием процессов унификации и стандартизации, которые контролируются небольшим числом развитых стран.

¹ Все словарные статьи данного раздела написаны Я.Г. Сафиуллиным.

ДЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ. Лат. приставка «de» обозначает: отделение, удаление, отмену. В результате Д. произведение ограничивается в содержании, связывающем его с автором, условиями места, времени создания и др.

ИНВАРИАНТ (фр. *invariant* – неизменяющийся) – величина, остающаяся неизменной при преобразованиях.

МЕЖЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – термин в теории литературы, включающий в себя все разнообразие отношений между разными литературами (контакты различного рода, влияния, заимствования, коммуникации, диалоги и др.). Одной из актуальных и мало исследованных сфер МЛВ является их функционирование в сознании современного читателя.

КОММУНИКАТИВИСТИКА – наука, изучающая систему информационных связей, их место и роль в обществе. В качестве самостоятельной отрасли науки она возникла в США в середине прошлого века в связи с широким распространением радиовещания, телевидения и других СМИ. Ее предметом являются различные средства информационных связей, начиная от ранних форм письменности и кончая самыми современными электронно-компьютерными технологиями. К. – интегративная наука, объединяющая социологов, философов, психологов, филологов, а также представителей некоторых других наук. Одной из основных проблем современной К. является сохранение и достижение гармонии между личностью и обществом, между разными культурами в едином информационном пространстве.

КОММУНИКАТИВ – единица К. в пределах отдельно взятой литературы (к примеру, тема «маленького человека» в русской литературе) или в межлитературной К. (тема «потерянного поколения» в разных европейских литературах после второй мировой войны). В роли коммуникативов могут выступать мифологические, антропологические темы литературных произведений, а также жанровые и другие и их формы.

КОММУНИКАТОР – участник К.

КРЕАТИВНЫЙ (от лат. *creatio* – созидание, порождение) читатель воспринимает художественное произведение, полага-

ясь не только на авторское, но и на свое творческое воображение и обогащая тем самым его содержание. Произведение, законченное автором, как бы продолжает созидаться в его сознании.

ПАНЛИТЕРАТУРА. Греческая приставка «рап» означает «все». Панлитература – общая для всех литература.

ПРАКТИЦИЗМ – отдавать предпочтение практике вместо теории, деловой подход к чему-либо.

РАЦИОНАЛИЗМ – направление в философии, считающее разум единственным источником знания. Рассудочное отношение к жизни.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ (МАСС МЕДИА) – пресса (газеты, книги, журналы), телевидение, кинематограф, радио, видео- и звукозаписи, электронные библиотеки, разные (компьютерные, телевизионные, телефонные и др.) линии связи. У них общая особенность – обращение к массовой аудитории с информацией, доступной по содержанию и интересной для нее по форме. СМИ способствуют экономическому и социальному прогрессу, а также межкультурным взаимодействиям. Однако среди коммуникативистов существуют и критики тех тенденций, которые наблюдаются в развитии СМИ. Это их монополизация отдельными экономически сильными компаниями и государствами с целью использования прежде всего в собственных интересах.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ – распространение выводов, полученных в ходе исследования одного явления на другие явления.

Литература

Адорно Т. В. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001; Аминева В. Р. Типы диалогических отношений между национальными литературами. Казань: Изд-во КГУ, 2010; Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М: Искусство, 1986; Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989; Бахтинский сборник. М: Лабиринт, 1997. Вып. 3; Гуревич П. С. Культурология. М: Гардарики, 2004; Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. Толковый словарь терминов и концепций. М: Изд-во МГУ, 1999; Современная литературная теория. М.: Флинт;

Наука, 2004; *Мак-Люэн М.* Галактика Гутенберга. Киев: Ника-Центр, 2003; *Кравченко А. И.* Культурология. Словарь. М.: Академический проект, 2000; Культурология. ХХ век. Словарь. СПб, 1997; *Руднев В.* Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 2003; *Садохин А. П.* Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. М.: Альфа-М; Инфра-М, 2006; Теория литературы. Словарь для студентов. Казань: Изд-во КГУ, 2010; Философия эпохи постмодерна. Минск: 1996; *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2003; *Хабермас Ю.* Между натурализмом и религией. М.: Весь мир, 2011; *Чувакин А. А.* Основы филологии. Учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 2011; Эко У. Открытое произведение: форма и неопределенность в современной поэтике. СПб.: Академический проект, 2004; *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Изд-во полит. лит., 1991; International Encyclopedia of Communications. Univ. of Pennsylvania – Oxford Univ. press. N. Y.; Oxford, 1989. Vol. 1–4.

ПОНЯТИЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»: МЕТАМОРФОЗЫ СОДЕРЖАНИЯ¹

Понятие «национальная литература» в России. Различия в его трактовках: от позитивизма до онтологии. Так называемая «Русскоязычная литература». Фантом или феномен? Признаки её идентификации в контексте национальных литератур. «Сравнение» и «сопоставление» как различные методы исследования национальных литератур.

Ключевые слова: Национальная литература, русскоязычная литература, идентификация, сравнение, сопоставление.

The concept of national literature in Russia. The differences in his interpretations: from positivism to ontology. The so-called «Russian-language literature». Phantom or phenomenon? The signs of identification in the context of national literatures. «Compare» and «contrast» how different methods of study of national literatures.

Keywords: National literature, russian-language literature, identification, comparison, contrast.

Словосочетание «национальная литература» трудно сводимо к термину. В большинстве литературоведческих энциклопедий и словарей отдельное место ему не отводится. Частотность обращений к нему в современных исследованиях о литературе и в устных суждениях о ней неравномерна: высока в национальных регионах и редка в центре нашей страны. И пульс его в истории неровен: учащённый и сильный в одни её периоды и редкий, ослабленный – в другие. Далеко не в каждой научной работе оно, в отличие от давних традиционных понятий, используется как инструмент исследования и фиксации его результатов. Но то, что стоит за этим словосочетанием, на что оно указывает, постоянно – своего рода начало или предел литературной теории. Самое общее определение предмета, которым теория занята, несмотря на то, принимает его исследователь за реальность или нет. Подобно тому, как понятие «нация» встroe-

¹ Национальные литературы на современном этапе: научные концепции и гипотезы: круглый стол, посвящ. 80-летию создания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (11 сентября 2019 года): Сб. ст. Вып. 1. / Сост.: А.Ф. Ганиева, Ф.Х. Миннуллина, Л.Р. Надыршина. Казань: ИЯЛИ, 2019. С. 157–181.

но в повседневное наше сознание помимо нашего ума и воли, оно в нашей экзистенции: вдохновляет, настораживает, тревожит и др. Сказанное выше известно, и подтвердить его фактами было бы несложно.

Цель этой статьи в ином: в стремлении осмыслить содержание понятия «национальная литература», его структуру и функции. Притом в современном, изменяющемся и противоречивом, научном сознании. Встречающиеся в статье экскурсы в историю – лишь начало, фон, противоположность современному.

Слово «понятие», вошедшее в название статьи, более «демократично», чем устойчивое в своих значениях слово «термин». Его родовая черта тяготеет к метаморфизму – способности содержать в себе различные взгляды, толкования одного того же содержания. В этом слабость понятия, но и сила тоже. Большинство исследований, как правило, начинается с понятий, их обзора и систематизации.

В тексте статьи – отдельные темы, идеи, предположения и др. Автор не претендует на обязующую истинность высказываемого в статье, которая в основном проблематизирует свой предмет и поэтому может восприниматься как приглашение к дискуссии.

К чему двойные определения одной и той же литературы: по языку написания и по национальной идентификации? «Национальная литература» становится теоретически осознаваемой темой в эпоху романтизма начала XIX века. В европейских и русской литературах примерно в одну эпоху. На волне протеста против унифицирующего разные литературы классицизма. Уже тогда наметилась тенденция говорить об одной и той же литературе по её языку и отдельно, с приложением к ней определения «национальная», которая, трансформируясь в своём содержании и формах, достигла нашего времени. Воспроизведём её классический, повторяемый во множестве работ вариант.

Когда мы называем ту или другую литературу собственным именем («русская», «татарская», «чувашская» и др.), она представляется нам как самодостаточная целостность (в языке, образной системе, духовности). Её возникновение, эволюцию и современное состояние при этом объясняются условиями и причинами прежде всего внутреннего порядка. Существуют и традиционно сложившиеся методы исследований подобного

рода. Среди ведущих в их числе и нарратив – описание того, что было в отдельно взятой литературе и есть теперь. Невозможно переоценить значение работ этого типа. Литература предстаёт в них в родстве со своим народом и в конкретно-чувственном своём влиянии на его жизнь. Многое из того существенного, что функционирует в понятии «национальная литература», в частности, такое из числа центральных явлений в нём как «универсальность», свою начальную содержательность обретает в исследованиях конкретной литературы.

Однако в современном мире практически не осталось «замкнутых» в себе литератур, они «открыты» друг другу, пребывают во взаимодействиях, в сосуществовании, в соперничестве. Так что понятие «национальная литература» находится на границе разных литератур; в нём и то, что разделяет их, идентифицируя каждую из них в контексте общего, и то единое, что существует или возможно между ними. В нашей стране более десяти национальных литератур со своими историями и судьбами. Поэтому словосочетание «национальная литература» обозначает для нас объективно существующий предмет исследования.

Как отмечалось выше, понятие «национальная литература» сравнительно позднего происхождения. Почему и как оно оказалось в теории литературы, в исследованиях какой проблематики находило своё место, его задачи и методы – из известного в науке. Но происходящее теперь ставит под сомнение право на его существование. Для унифицирующего разные языки и культуры глобализма разнообразие литератур лишь из области истории, теперь – оно помеха в утверждении базовой системы ценностей для всего человечества. Слово «национальное» теряет в своём содержании различающее языки и литературы функции и приравнивается к словам, означающим государственное единство. Сужается не только его содержание, но и сфера пользований им. К примеру, словосочетание «многообразие наций» вытесняется из лексикона словосочетанием «единый народ».

Насколько глобализму удастся глубоко редуцировать значение словосочетания «национальная литература» или вообще вывести его за пределы дискурса, покажет время. Автору же статьи представляется, что ресурсы сопротивления этой тенденции в теории литературы и в культурологии вообще далеко не исчерпаны и могут восполняться новыми идеями.

«Нация» и «литература». О соотношении этих понятий. Которое из них главное? Привычный ответ: конечно, первое. Ответ рядового читателя и совсем нередко ученого. Какова нация, такова и её литература. Национальная литература та, что отражает жизнь нации. Думающий так человек может заменить слово «отражает» в своём толковании национальной литературы другими словами, которые, на первый взгляд, не столь однозначно подчеркивают зависимость литературы от нации: «воспроизводит», «изображает», «выражает» и т. п. И таким образом обратить внимание на более свободную роль автора литературного произведения, а в целом и литературы от того, что называется нацией и является предметом творчества. Однако и в этом случае литература представляется вторичной в связке «нация и литература». Очевидно, что ситуацию не спасает и следующий поворот мысли: писатель открывает, будто бы, таящиеся в нации духовные, интеллектуальные и другие потенции, отчетливо ею не осознаваемые, не обретшие в ней языковые формы, и дает им видимую, образную жизнь.

Трудно отказаться от приведенного выше и привычного образа мышления, господствовавшего в нашем сознании десятилетия и по которому литература национальна тогда, когда «отражает» жизнь нации или открывает таящиеся в последней возможности. Потому что он прост, удобен и коррелятивен с философией «бытие – первично, сознание – вторично». Попробуем противопоставить ему следующее.

Язык в письменной форме и вместе с ним литература участвовали в формировании той или другой нации, будучи тем самым органической её составляющей. Они не просто отражение чего-то в нации, они – в самой этой нации. Когда мы пытаемся уловить и осмыслить духовный мир какой-то нации, то конструируем этот мир в своем сознании, опираясь в основном на литературу и язык этой нации, которые, таким образом, становятся не отражением чего-то, а первоисточниками для наших представлений. Еще в 1929 году Г. Шпет в подготовленной к изданию, но опубликованной только в 2005 году статье «Литература» писал: «В действительности дух народа определяется по его литературе, а не есть нечто, из чего можно было бы её объяснить» [12:169–170]. Для других примеров и места нет, и надо ли это делать. А вот следующее возражение сказанному выше

и ответ на него потребуют доказательств. Если «национальное» в литературе не есть отражение того, что предшествует ему в самой нации, то откуда оно берётся? Из головы писателя, мифа или ещё из чего-то другого, не имеющего прямой связи с действительностью?

В ответ на так, примерно, прозвучавший вопрос можно было бы сказать, что «национальное» в литературе рождается и из всего, что в нем названо. Оно – «изобретение», своего рода «пророчество», пафос утверждения своей нации в среде других. Гоголь первым назвал Пушкина национальным поэтом. Ещё в 1832 году, при его жизни. В статье «Несколько слов о Пушкине» он писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» [4: 50]. Национальным татарским поэтом считается, как известно, Тукай. Потому ли, что он в своём творчестве отразил жизнь своей нации, которая в его время только начала возрождаться? Или преимущественно потому, что во многом определил духовные ориентиры будущего своей нации? Мы скорее ответили бы «да» второму из этих вопросов.

«Национальное» в литературе рождается в свободном творчестве. Оно – не тема, которую кто-то перед автором ставит и предлагает её интерпретацию. Привычное представление, что «национальное» в литературе есть отражение того, что есть и известно, позволяет власти, ангажированной критике и науке навязывать свою волю в искусстве. Такое представление было основой советской литературной политики и до сих пор сохраняется в общественном и научном сознании. «Национальное» кажется императивом – правилом, нормой творчества и восприятия художественных произведений.

Из истории словосочетания «национальная литература». И в чём его актуальность? В русских словарях, в языке науки и публицистики словосочетание «национальная литература» появляется в начале прошлого века. Оно было заимствовано из немецкого языка в Австро-Венгерской империи, где использовалось для обозначения литератур разных народов, входящих в её состав. Не ведущих в империи в основном немецкой и частью венгерской литератур, а ряда остальных, по оценкам власти, второстепенных, «отсталых», бесперспективных, в

отношении к которым должна проводиться политика ассимиляции и сдерживания их развития. Примерно в таком же значении словосочетание «национальная литература» функционировало и в дореволюционной России.

И после революции Россия оставалась империей, и в ней разделение литератур на основную, ведущую и остальные сохранилось, как и проект образования единого языка и литературы в государстве. Словосочетание «национальная литература» считалось обозначением того, что ограничено временем своего существования. Ограничено, как утверждалось, не по политическим и другим причинам, его притесняющим, а по объективным, непреложным законам истории. Предполагалось, что национальные литературы перестанут существовать в силу исчерпания ими собственных ресурсов эволюции и естественного приобщения к основам общей культуры.

В советскую эпоху в нашей стране был реализован грандиозный проект по созданию национальных литератур. Его масштабы и краткость времени, в которое он был осуществлён, поражают воображение. Если к началу 20-х годов их было всего около 20, то к 1934 году (как можно судить по их представленности на Первом съезде советских писателей) стало 52, а к началу 70-х годов – около 90. Национальные литературы конструировались по общей модели: с установлением в каждой из них образцового литературного языка, что сопровождалось подавлением диалектных различий в нём; со стандартной системой управления писательскими организациями; с правилами поощрения ангажированных писателей и ограничения свободы творчества других; и, что особенно существенно, с единым, канонизированным художественным методом для писателей. Нередко на русском языке, в отрыве от традиционных форм мировосприятия, без опоры на собственные начала в эволюции. Части из них теперь уже нет. В ходе реализации проекта понесли потери и те национальные литературы, что существовали ещё задолго до революции. Происходила их денационализация. Путь к естественной эволюции с опорой на традиции оказался для них во многом закрытым.

История по унификации разных литератур, которая проводилась формально под лозунгами их разнообразия и свободы, продолжалась около полувека. К началу 70-х годов частотность

словосочетания «национальная литература» в научном языке резко падает. То индивидуальное, что оно могло бы означать собой, теряется; национальная литература становится только формальным компонентом монолитного единства с названием «советская литература». Это было в унисон с решениями XXIV съезда коммунистической партии 1971 года о новом в стране образовании, получившем название «единый советский народ».

В науке и, особенно в критике, вместо словосочетания «национальная литература» была введена в обращение метафора «братьские литературы», которая указывала на растворение единичных образований в общности, основанной на согласии и взаимопомощи. В «братьской семье литератур» культивировался патернализм, связанный с признанием превосходства одной литературы над остальными, с ожиданиями постоянной помощи и примеров поведения со стороны «старшего брата». Повторявшиеся в течение десятилетий слова о единстве, гармонии, взаимопомощи, которые в реальности означали утверждение однообразия в литературе, вели к атрофии чувства национальной неповторимости в ней. Инерция, заданная советским временем и до сих пор сохраняющая свою силу.

В советское время русская литература не включалась в число «национальных» литератур страны. Вообще определение «национальное» к ней редко прибавлялось и, как правило, только в исследованиях с международной тематикой, касающихся изучения её своеобразия в контексте зарубежных литератур. Такое происходило потому, что в нашей стране у русской литературы был особый статус. Она доминировала в государстве. Подражание ей в других литературах стало правилом. Почти в каждой из национальных литератур обозначались, декларировались свой Пушкин, Шолохов, Маяковский... И сама русская литература представлялась только как часть, правда, основная, определяющая, так называемой «советской литературы», которая была задумана как новое, наднациональное образование. Но возложенная властью на русскую литературу миссия «советизировать» вместе с собой и другие литературы оказалась ущербной для неё самой. Призванная учительствовать, она вынуждалась к отказу от полноты в самореализации.

Ещё один типичный пример словоупотребления «национальная литература» в советское время. Оно, как правило,

встречалось во множественном числе. Даже были случаи «научного» доказательства того, почему грамматическая форма «национальные литературы» предпочтительнее, чем вариант её единственного числа. Такой подход понятен: множественное число, в отличие от единственного, обобщает, редуцирует отдельные литературы, интегрирует их в общее. В самих так называемых «национальных» республиках определение «национальное» к названиям основных в них литератур практически не прибавлялось. Оно, как и слово «нация», употреблялось с большой осторожностью, во многом из-за боязни пишущих или произносящих его быть заподозренными в национализме.

Словосочетание «национальная литература», как видно из сказанного выше, имеет сравнительно долгую историю своего употребления в научном языке. Его содержание, установленное в советское время, было достаточно ясным и настолько устойчивым, что постепенно отставало от того, что происходило в реальной жизни. Но теперь оно получило новые импульсы в своём семантическом развёртывании, стало сложным и противоречивым. Одновременно в нём обозначились симптомы кризиса. Появились серьёзные «за и против» его права на существование в научном языке.

Слово «нация», от которого образовано определение к слову «литература», в содержании своём может быть основательно пересмотрено. Это касается не доминирующей в нашей стране русской нации, сохраняющей в полной мере свою целостность, а ряда других бытующих в ней наций, которые уже потеряли или теряют конструирующие их признаки, включая и такие фундаментальные из них, как язык и духовный склад. Не придёт ли на самом деле время отказаться от слова «нация» в его приложении к нерусским народам нашей страны?

Что такое нация? Общее и различное в её понимании. Словосочетание «национальная литература» стоит особняком в теории. Оно образовано из двух далёких по значениям слов, которые относятся к разным дискурсам в языке. И его устойчивость не абсолютна. Она зависит прежде всего от того постоянства, в котором может пребывать значение слова «нация». А также от наличия в разных предметах, обозначенных словосочетанием, общих для них компонентов, удерживающих их в одной связи. Из возможного их числа автору статьи представляются наибо-

лее существенными язык и то, что принято называть «коллективное бессознательное».

Давно известная и хорошо разработанная тема – роль письменного языка и литературы в образовании и эволюции наций. Особенно в немецкой философии и филологии. У В. Гумбольдта, И. Фихте, М. Хайдеггера и их последователей. Значительным был вклад и русских учёных в разработку этой темы: А. Потебни, Г. Шпета, В. Виноградова и др.

Язык в числе одного из основных факторов, образующих нацию, вошел и в русский вариант марксизма. Ещё в десятые годы прошлого века, когда в России велись острые споры о том, что такое нация, Сталин, также принимавший в них участие, обнародовал в статье «Марксизм и национальный вопрос» собственное её определение: «Нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [10: 6].

После установления советской власти это определение нации получило официальное признание в стране и легло в основу культурной политики, в содержании и в проведении которой были серьёзные противоречия. С одной стороны, она исходила из необходимости поддерживать языковую составляющую каждой из наций, с другой – опиралась на нередко повторяемую Сталиным идею о слиянии всех языков и наций в стоящие над ними общности.

Сталинское определение нации до сих пор в статусе нормативного встречается в научной и учебной литературе, продолжает бытовать в значительной части общественного сознания. Это, видимо, объясняется следующими двумя причинами. Отсутствием в советскую эпоху открытого притеснения наций и их языков, допущением возможности их саморазвития, в ходе которого будут исчерпаны, по мнению власти, их индивидуальные потенциалы, после чего они естественным, добровольным образом сольются в гармоническое целое. Во-вторых, сталинское определение нации построено на позитивизме, который опирается на причинно-следственные связи. Нация в нём берётся как продукт определённых обстоятельств места и времени, которому суждено быть пока они её продуцируют. Конечно, простой, удобный, укоренённый и в большей части

современного общества способ мышления. При нем нация – вторичное, производное и, что очень существенно, только историческое состояние.

Изложенной выше точке зрения на нацию противостоит другое её понимание, истоки которого в русском и частью в немецком интеллектуальном и художественном сознании. Такое, при котором нация – первичное и в самом себе достаточное явление. Ни этнос, ни религия, ни язык, ни экономика не предопределяют её.

Подобное, противоположное позитивизму, понимание нации стало одним из общих мест в русской философии первой трети прошлого века, когда мировая война и Октябрьская революция заставили ревизовать традиционные представления о ней. Описать историю, как это происходило, в небольшой статье невозможно. Приведём лишь цитату из книги статей Н. Бердяева «Судьба России», в которой он в свойственном ему афористическом стиле обозначил то новое в трактовке нации, что сложилось в целом философском течении его времени. «Все попытки рационального определения национальности ведут к неудачам. Природа национальности неопределима ни по каким рационально уловимым признакам. Ни раса, ни территория, ни язык, ни религия не являются признаками, определяющими национальность, хотя все они играют ту или иную роль в её определении. <...> Национальность – таинственна, мистична, иррациональна, как и всякое индивидуальное бытие. <...> творчество национальных культур и типов жизни не терпит внешней, принудительной регламентации, оно не есть исполнение навязанного закона, оно свободно, в нём есть творческий произвол» [2: 354–355]. П. Струве, В. Розанов, Г. Федотов и ещё ряд других его современников, несмотря на различия в словах, стояли на таких же, как и у Бердяева, позициях. То общее, что их объединяло в понимании нации и пространно изложено в цитате из Бердяева, Розанов обозначил одним метафорическим словом – «Судьба». По Розанову, нация – это судьба. Предназначенность, миссия. Кстати, и у Бердяева в его книге «Философия неравенства» нация определяется как «единство исторической судьбы».

Конечно, и к такому ходу мысли возникают вопросы, особенно у тех, кто предпочитает рассуждать последовательно,

устанавливая причинно-следственные связи. Почему нация – судьба? И кем эта судьба предопределена? Или: где источники «свободы» и «творческого произвола» нации? Ответы у Розанова и Бердяева содержались в религиозности их философии, в исходном для них убеждении, что судьба, призвание, миссия нации предопределены божественной волей.

Однако у данного, второго понимания нации, о котором идёт речь, существует и вполне светская трактовка: разделение человечества на этносы и нации – способ его выживания в условиях естественного разнообразия. Национальное в виде отдельных единиц общечеловеческого бытия самодостаточно и в то же время находится в постоянном взаимодействии с другими. Такой точки зрения из отечественных ученых придерживались и в своих работах обосновывали евразийцы, в частности, Н. Трубецкой и Л. Гумилев.

Понятие «нация» в сталинском варианте своего определения находится, как уже говорилось выше, в кризисе, хотя в основе своей сохраняется и в современном сознании. Более того, оно актуализируется теперь и особенно в том, что касается нации как исторической, обречённой преодолению категории. На первый взгляд, сама история подтверждает это ранее выдвинутое предположение. Даже язык и психический склад – наиболее устойчивые признаки нации, постепенно теряют свою роль в качестве факторов идентификации. И само слово «нация» вытесняется из лексики. Не столько, как было ранее, из-за опасения употребляющих его быть обвиненными в национализме, сколько из-за того, что в его содержании мало что осталось. Слово в своем основном значении пустеет. Только коннотации эмоционального характера, сопровождающие его, разнообразятся и нарастают: озабоченности, надежды, разочарования и др.

В будущем возможно расставание со словом «нация» в его привычном для нас определении. Но это не обязательно приведёт к тотальному выравниванию различий, которые им обозначались. Что-то из известных в истории и декларируемых ранее различий может действительно перестать быть функционально значимым. Но его место и роль могут восполняться другими различиями, которые находились в смысловой периферии слова «нация» или как новые образуются в истории. К примеру, лич-

ностной идентификацией национальной принадлежности, которая при определении нации вообще не принималась в расчет.

Приведём пример того, как личностная идентификация оказывается частным проявлением «коллективного бессознательного», в которое включает себя индивидуальное. Почти для одной четверти татар родным языком стал русский, татары разобщены территориально, у них нет экономики, объединяющей их в отдельную общность. И всё-таки большинство из них идентифицируют себя в составе татарской нации. При этом с различиями в вариантах причин, по которым тот или другой представитель из этого большинства относит себя к татарской нации. Родословная, культура быта, религия, общественный престиж и другие ценности, взятые в их сочетаниях или по отдельности, могут оказаться достаточным основанием для определения себя в её составе. Трудно поддающееся классификации по рациональным параметрам разнообразие. Однако за ним – «коллективное бессознательное», стремление быть причастным к единству и пребывать в нём в своей индивидуальности. Типичная для человеческой психологии интенция. Словосочетание «единство исторической судьбы», которое в этом тексте уже встречалось, может быть экстраполировано в данном случае и на татарскую нацию, включающую в себя представителей, для которых татарский язык перестал быть родным.

Своего рода замещением слова «нация» в его функции различать народы, является актуализируемое теперь слово «этнос». Словосочетание «этническая культура», которое чаще стало встречаться в научном языке и имеет как сближающие его со словосочетанием «национальная культура», так и отличающие от него содержания, – показатель поисков обновления того, что до сих пор считалось производным от слова «нация» с фиксированным его значением. Но, как представляется автору статьи, если будут предприниматься попытки сменить традиционное понятие «национальная культура» новым, связанным в основном с этносом, то это может оказаться только очередным вариантом позитивизма.

Словосочетание «русскоязычная литература». Его значения и функции. Одним из явных симптомов, свидетельствующих об изменениях в понимании того, что такое «национальная литература», является возросшее внимание в теории к понятию,

обозначаемому словосочетанием «русскоязычная литература». Что это такое? Русская литература в особых условиях своего бытования? Органическая часть той или другой национальной литературы? Возможно, что-то третье, вообще наднациональное? Об этих и других вопросах, вызываемых словосочетанием «русскоязычная литература», немало научных статей, выступлений и другого материала. В данном случае речь пойдёт в основном об осознании автором этой статьи понятия «русскоязычная литература», о точках соприкосновений и расхождений в его взглядах с другими исследователями.

У словосочетания «русскоязычная литература» есть легко определяемое и простое значение: русская литература в «чужом» контексте. В творчестве эмигрантов, писателей, оказавшихся после распада Советского Союза вне России, а также тех, кто начинает творчество, сознавая себя русскими писателями в условиях доминирования других языков. В примерах нет необходимости, они легко приводимы. Главное в том, что всё это русская литература. С возможными вариациями в тематике, идейном содержании и формах творчества. Название же «русскоязычная» эта литература получила в основном не по литературным, а по социальным причинам, чтобы быть поддерживаемой или ограничиваемой в своих правах на существование, как, к примеру, «русскоязычные» школы, театры, разного рода издания и т. п.

Кроме отмеченного выше, словосочетание «русскоязычная литература» имеет и другие значения, которые частично совпадают с первым и в то же время принципиально отличаются от него. Главное из них следующее: «русскоязычная литература» – та литература, что пишется на русском языке, но находится в составе литературы того или другого нерусского народа. Она тем самым выводится за границы русской литературы и включается в другие литературы не по языку как их определяющему признаку, а по иным показателям, касающимся в основном тематики, идей и других элементов содержания. Такой нетрадиционный способ мышления, когда язык и литература лишаются органического единства и допускается идея существования части национальной литературы на «чужом» языке, имеет историю и своё теоретическое обоснование.

В становлении ряда национальных литератур современной России, к примеру, мордовской, удмуртской, якутской и других,

особую роль сыграл русский язык. Он на время оказался языком новой, письменной литературы. На нём создавались произведения, которые продолжают включаться в истории этих литератур и нередко как классические.

Но функции русскоязычной литературы, которой открывалась та или другая национальная литература, и её же функции в современных национальных литературах различаются и по времени, и по содержанию. Первая волна русскоязычной литературы с её участием в становлении национальных литератур была сравнительно недолгой. Затем следовал значительный по продолжительности период эволюции национальных литератур преимущественно на родных для них языках. Этот процесс поддерживался как государственной культурной политикой, так и достаточно высоким уровнем чувства самоидентификации, присущим разным народам. Теперь же новая и растущая волна русскоязычной литературы во многом иного содержания и роли, чем первая. Русскоязычная литература в своём основном значении вытесняет национальные литературы с исторически освоенных ими территорий, то есть просто их ассимилирует. Или же при определённых условиях она претендует включиться в них, стать их органической частью, будучи, однако, созданной на другом, неродном для них языке. Далее речь будет идти главным образом о том, как теоретически может осознаваться, с точки зрения автора статьи, эта ситуация и в каких словах и терминах описываться.

Имеются, по меньшей мере, две проблемы, от решения которых в свою очередь зависит то, какой можно представить «русскоязычную литературу» в контексте той или другой национальной литературы. Первая из них – соотношения языка и литературы; вторая – устойчивость нации в её традиционных признаках.

Вначале кратко остановимся на варианте, который можно принять за классический, в соответствии с которым «русскоязычная литература» – лишь фантом, на самом же деле это словосочетание является только синонимом к «русской литературе». Он опирается на известную идею о языке как основе любой национальной литературы. Истоки этой идеи в эпохе Возрождения, когда образовывались национальные литературы на собственных, освобождающихся от латинского, языках.

Вера в определяющее влияние языка на литературу и духовное состояние народов, прерванная на значительное время классицизмом, восстановилась в романтизме. Она, в частности, стала основой философии языка В. Гумбольдта, которая, начиная с 30-х годов XIX века, и до сих пор остаётся одной из ведущих в трактовке взаимоотношений языка и литературы. По Гумбольдту, разные языки – это различные видения мира, а не просто разные формы общечеловеческого сознания. «В каждом языке, – писал Гумбольдт, – заложено самобытное мировоззрение. <...> И каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [6: 80].

Идея Гумбольдта о языке как определяющем факторе мировидения нации, в которое включалась и её литература, стала одной из традиционных и в научном, и в художественном мышлении. Она развёртывалась, развивалась известными философами и лингвистами (М. Хайдеггером, Л. Витгенштейном, Г. Шпетом, А. Потебней, Э. Сепирем и другими). В роли одного из возможного множества примеров – лишь лаконичная цитата из Э. Сепира: «Литература, отлитая по форме и субстанции данного языка, отвечает свойствам и строению своей матрицы» [9: 196].

Ещё с большей настойчивостью и нередко в словах с высокой степенью эмоционального в них выражали писатели и поэты свои представления о первостепенной значимости языка в литературном творчестве. «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками <...>», – писал Тургенев в 1883 году в своем предсмертном обращении к Л. Толстому [11: 180]. Некоторые из национальных писателей начала прошлого века и первых лет советской власти, принимавших активное участие в возрождении литератур своих народов, осознавали опасность ассимиляции, которая по разным причинам нависла над их родными языками, и призывали решительно сопротивляться ей. В их числе был и чувашский поэт М. Сеспель, в представлениях которого нация и язык – единое целое. В 1921 году он писал одному из своих корреспондентов: «<...> Что ты думаешь о будущности чувашского народа? <...> Во имя чувашского языка необходимо сплотить, собрать воедино людей с сердцами, пол-

ными любви к родному народу. <...> Если не взяться всем разом, дружно за спасение родного языка, то так и жди исчезновения нашей нации с лица земли» [8: 216]. Восприятие родного языка как независимого бытия, пребывающего вне индивида, но оказывающего тем не менее благотворное воздействие на него, было свойственно и Г. Тукаю, что нашло, в частности, поэтическое выражение в его стихотворении «Родной язык».

Отношение к языку как к существующему в самом себе образованию, с присущей ему энергией в своей эволюции, говорящего словами конкретного писателя, до сих пор удерживается в теоретическом и художественном сознании. И. Бродский в одном из своих интервью говорил: «Язык не средство поэзии; наоборот, поэт – средство или инструмент языка, потому что язык уже существовал до нас, до этого поэта, до этой поэзии и т. д. Язык – это самостоятельная величина, самостоятельное явление, самостоятельный феномен, который живёт и развивается. Это в некотором роде природа» [3: 149].

Существует и иной, чем описанный выше, взгляд на язык, в котором ему отводится подчинённая роль в его взаимоотношениях с литературой. У этого взгляда тоже есть исторические и философские корни, позволявшие ему функционировать параллельно с основным, названным выше «традиционным», представлением, а в отдельные моменты истории претендовать на превалирующую роль, как это, к примеру, наблюдается теперь. В основе его – точка зрения, по которой язык – инструмент познания, в том числе и художественного творчества; лишь форма, способ выражения того, что есть поверх него, за ним и является первичным. Своего рода лингвистический романтизм, стремление преодолеть языковое разнообразие и прорваться через его сеть к первоосновам жизни. Захватывающая, волнующая, вселяющая в человека уверенность быть свободным от привязанности к определённому языку идея. В советское время, вплоть до середины 30-х годов, она имела научную и от власти поддержку, даже стала популярной в обществе. Об этом свидетельствуют, в частности, тот повышенный в Советском Союзе интерес к «эсперанто» как к возможному международному языку и проведённая в стране алфавитная революция.

Полагалось, что языки в своей инструментальной сущности не в равной степени совершенны и дело движется к тому,

чтобы интегрироваться им в наиболее развитом из них и доминирующем в государстве русском языке, который пользовался преимуществами в функционировании. В литературе наблюдалась настоящая эпидемия переводов, основным посредником в которых являлся русский язык. Только благодаря переводам на него, а не взаимным изучениям языков народы страны узнавали литературы друг друга. Не была реализована и вскоре позабыта мысль М. Горького о поощрении переводов без участия в них языкового посредника: «Идеально было бы, если бы каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, переводилось на языки всех других народностей» [5: 65].

Взаимодействие разных литератур, о котором так много писалось в советское время, несмотря на предпринимаемые в науке попытки изображать его как диалогическое, сводилось в основном к мастерству редуцировать различия. За участвующими во взаимодействиях литературами искались, виделись контуры единства. Фундаментального, устойчивого и настолько однообразного, что пребывание в нём могло бы быть сродни состоянию нирваны. Ассимиляция проводилась так настойчиво, искусно и долго, что из народов, являвшихся её предметом, постепенно вытравливалось чувство сопротивления ей.

В предыдущем разделе статьи говорилось о том, что современное понимание нации уже невозможно ограничивать сложившимися в советское время и до сих пор сохраняющими свои позиции представлениями. Теперь и язык – наиболее устойчивый, легко видимый признак нации, не всегда оказывается обязательным условием её идентификации. Пример татарской нации, пребывающей одновременно в двух языках показателен. Не исключено появление и других языков в числе определяющих её существование. Конечно, это только один из вариантов суждений о соотношениях языка и нации, на который опирается автор статьи.

Сказанное выше о новом в понимании нации и языковой составляющей в ней, требует уточнения и даже пересмотра привычных для нас определений как самой «национальной литературы», так и близких к ней или производных от неё понятий. Видимо, по-новому предстоит осмыслить то соотношение между понятиями о той или другой литературе по традиционному языковому признаку (татарская, чувашская, удмуртская

и т. д.) и по её национальной содержательности. То есть между понятиями, которые в нашем сознании, как правило, легко перетекают одно в другое. Но синонимические отношения между ними, к которым мы привыкли, не соответствуют жизненной реальности.

В современной татарской нации существует целая субкультура, состоящая из татар с родным для них русским языком и с литературой на нём, которую они, хотя бы в её части, относят к своей, национальной. Такова реальность, с которой теория не может не считаться. Или мы говорим, что и для них должна быть национальной только та литература, что пишется на татарском языке, или допускаем возможность существования общей для всех татар национальной литературы как на татарском, в роли ведущего, языке, так и частью на русском и других языках. Второй из возможных при решении этой проблемы вариантов представляется автору статьи более продуктивным.

Он позволяет говорить об общем литературном «поле» для всей татарской нации в современных условиях, драматически разделяющих её по языковому принципу. И он же инициирует образование нового термина для обозначения литературы, разносоставной по своей языковой выраженности, но общей для нации. Его можно было бы обозначить словосочетанием «национальная литература татар», в котором главное в его значении передаётся определением «национальное», поставленным в его начало. Употребление же вместо него других, известных и легко конструируемых словосочетаний, вроде «татарская национальная литература», «национальная татарская литература», вряд ли, целесообразно, потому что возвращает нас в русло традиции мыслить синонимами.

Включение русскоязычной литературы в состав национальной возможно при определённых условиях. Они в основном из области известного в теории литературы: автора и его позиции, тематики, содержания и формы, а также интерпретации читателями его произведений и другого. На всём этом остановимся несколько подробнее.

Начнём с самого простого, с этнической принадлежности автора. Она без дополняющих её показателей мало что значит для включения его творчества в ту или другую национальную литературу. По своему происхождению Д. Конрад – поляк,

Ф. Кафка – еврей, Э. Ионеско – румын. Но как писатели они относятся, соответственно, к английской, немецкой, французской литературам. Такого рода примеров множество. Они есть и в наших отечественных литературах. И в то же время обозначенный взгляд, при котором этническая принадлежность автора, взятая в отдельности, не может рассматриваться как достаточное основание для включения писателя в национальную литературу, принятый большинством в современной науке, не единственный. Есть расовые, шовинистические и т. п. подходы при обосновании литературу, при которых он преодолевается, а этническое оказывается в числе ведущих в них. О том, что внимание к «этническому» как к эвристической категории возрастает в современном национальном сознании в кризисных для него условиях, отмечалось выше.

Не является достаточным основанием и тематика литературного произведения на русском языке для включения его в ту или другую национальную литературу. Так, восточные темы и мотивы в русской литературе в последние, примерно, два столетия – хорошо известное явление. В творчестве Пушкина, А. Марлинского, Лермонтова, Л. Толстого, Вс. Иванова, В. Хлебникова, В. Пелевина и других писателей. Главным героем В. Арсеньева, художественные произведения которого в основном на восточные темы, стал гольд по своей этнической принадлежности Дерсу Узала. В. Ян как писатель получил признание прежде всего своей исторической трилогией «Нашествие монголов». Но всё это русская литература. Обращение и русскоязычного писателя к темам из истории, быта, нравов той или другой нации, к которой он себя причисляет, не относит его автоматически к её литературе.

Подобно тематике, и заимствованные формы творчества не играют решающей роли в идентификации национальной литературы. Стихами в формах восточной «газели», в «пятистишиях» японской традиции, в жанре баллады, перенятом у Запада, и в некоторых других заимствованных формах создавалась русская оригинальная поэзия. Элегия в лирике Тукая возникла прежде всего под влиянием Пушкина, силлабо-тоника в чувашском стихосложении родилась также под значительным воздействием форм русской поэзии. Но и Тукай, и чувашские поэты со своими новациями в творчестве – писатели национальные.

Есть ещё один фактор серьёзного значения, который препятствует видеть в произведении, написанном на русском языке, явление той или другой национальной литературы. Это его язык. Он – классический русский язык, основы которого, можно сказать, непоколебимы. Происходившие в истории опыты по его модернизации практически не оставили заметные следы в нём. Русскоязычный писатель даже в большей его власти, чем русский. Вносимые им в своё произведение имена, топонимы, кальки, названия предметов быта, одежды и т. п. не затрагивают основы русского языка. Русский язык – матрица его творчества. Его языковое новаторство – очень узкая сфера, только стиль в узком смысле слова. Такое положение русского языка поддерживалось постоянно самими классиками русской литературы и властью. Устойчивость русского языка более высока, чем у английского, испанского, французского и ряда других языков.

Примером того, как может трансформироваться язык большой нации, когда к нему как к языку своего творчества обращаются писатели той или другой малой нации, зависимой от неё, являются опыты ирландских писателей, творивших на английском языке. Л. Стерна, Д. Джойса, С. Беккета и других. В их текстах – вариации английского языка: лексические, грамматические, синтаксические изменения в нем, которые позволяют воспроизводить то в ирландском мировидении, что невозможно, с их точки зрения, делать на классическом английском языке. Под влиянием англоговорящих американцев и, естественно, их писателей образовался такой вариант английского в США, который называется американским. Представить подобное с русским литературным языком невозможно. Даже в творчестве таких видных русскоязычных писателей, как Ч. Айтматов, В. Быков, Г. Айги, Р. Кутуй и другие. Центростремительная, идентифицирующая сила русского языка чрезвычайно высока.

Выше были названы некоторые показатели, которые, будучи взятыми в отдельности, то есть, в собственной самодостаточности, автоматически не включают русскоязычного писателя в ту или другую национальную литературу. Даже увеличение их числа не изменит эту ситуацию. Но они, каждый в отдельности, по-своему или в общей дружбе с другом связи могут явиться символом, выражением «национального» в литературе, тех особенностей видения мира, которое присуще той или другой нации.

Сказанное – из области логики, рационального мышления, и оно не обязывает писателей воспринимать его как нечто нормативное.

Писатель волен в выборе тем своего творчества, в их трактовке, в формах создаваемых им произведений и, естественно, в личной национальной самоидентификации. Мы же ведём речь о том, что принято называть «объективным» и что позволяет говорить о признаках, по которым писатель, самодостаточный в себе, относится нами к определенной национальной литературе.

Что же может находиться в виде своего рода «константы» над темами, формами творчества, самоидентификацией русскоязычного писателя, дающее нам возможность характеризовать его как представителя той или другой национальной литературы? Говорим же мы о Ч. Айтматове, Г. Айги, Ф. Искандере, В. Быкове и многих других как о национальных писателях народов, к которым они принадлежат, несмотря на то, что частично или даже полностью они создавали свои произведения на русском языке. И не можем этого сказать о целом ряде другого типа русскоязычных писателей, в творчестве которых темы из истории наций, с которыми они себя идентифицируют, имена и так называемый «местный колорит», представленные с разной степенью полноты и разнообразия, – только формы творческой импровизации.

Осознание этой проблемы в теории литературы существует; есть отдельные слова и целые словосочетания, посредством которых обозначается то, что выступает в роли своего рода основного, обобщающего показателя национальной идентификации русскоязычного писателя. «Ментальность», «тип мышления», «национальное самосознание». Исследователи находят стереотипы чувашского народного сознания в поэзии писавшего в основном на русском языке Г. Айги. Восточное художественное мышление в вариантах киргизской мифологии пронизывает всё творчество Ч. Айтматова. У В. Набокова целых восемь романов на английском языке, в которых он по своему мировидению демонстрирует себя как русский национальный писатель.

В этом месте статьи, с точки зрения автора, будет уместным следующее, принципиального значения замечание. То общее,

что названо в предыдущем абзаце и которое подводит темы, сюжеты, мотивы и формы творчества писателя, обобщая их, под знаки «национального», – устойчивая, но не предопределённая раз и навсегда величина. Следование ему, воспроизведение его приближают писателя к его национальной идентификации. Но, как было сказано выше, «национальное» в литературе не ограничивается воспроизведением уже наличного, у него творческие, формирующие функции. Оно подвижно, обновляется, его границы проницаемы, что делает его интересным не только для родного, но и для иноязычного читателя. Постоянно ностальгировать о прошедшем в своей нации, томиться одиночеством, оторванностью от неё и тому подобным может быть интересным при искусном воспроизведении, но превращаемое в основу творчества, что нередко случается, ослабляет, отрывает «национальное» от современности и от новых, продуцирующих его источников. Многим думается, что «национальное» в литературе – это главным образом традиции и их сбережение. За этим может скрываться и рядовой консерватизм. Известно, что традиции и новаторство – это взаимообусловленные понятия. Выживает, крепит себя то «национальное», что в своей уникальности актуализируется и оказывается интересным для современного читателя.

К числу признаков, по которым русскоязычный писатель идентифицируется как национальный, принято теперь относить и его активное участие в деятельности, выходящей за пределы художественного творчества как такового. В переводах, в научной и критической интерпретациях творчества своего народа, в общественной деятельности, направленных к тому, чтобы его искусство и история заняли своё место в контексте всеобщей культурной эволюции. Поэт и драматург И. Йитс (1865–1939), лауреат Нобелевской премии 1923 года, ирландец по происхождению, писал на английском языке, который был для него родным. Но называл он себя ирландским национальным писателем. Был вдохновителем движения «Ирландское Возрождение», много переводил на английский произведения ирландского фольклора. Р. Бухараев относил себя к татарской нации, хотя писал преимущественно на русском языке. Значителен его вклад в переводы татарской поэзии и особенно эпоса на английский язык. Г. Айги, о котором уже говорилось в этой статье,

получил широкое признание своей поэзией, созданной в основном на русском языке. В то же время он, хорошо владевший чувашским языком, переводил на него как собственные стихи, так и поэтов Франции, Венгрии и Польши, включая таким образом их произведения в контекст чувашского художественного сознания.

О новациях в исследовании национальных литератур. В постсоветское время усилились поиски новых подходов к изучению национальных литератур. Они стимулированы кризисом сложившихся ранее идей, объясняющих их историю, современность и будущее и опирающихся на эти идеи методов исследования. Государственных идеологем, в которых национальные литературы, пусть во многом декларативно, но публично, ранее поддерживались, теперь уже нет. Национальные литературы оказались лицом к лицу с усиливающейся ассимиляцией, в ситуации выживания. Для современности типична тенденция – достичь определённости, преодолеть индивидуальное и национальные различия в целях устойчивого единства.

Разнообразие языков и литератур – дар божий, условие выживания человечества в его культуре. Миф о Вавилонской башне – предупреждение об опасности и бесплодности глобализма. Языки несводимы один к другому, несравнимы между собой. Поэтому они и сопричастны в своих судьбах. Сухому рационализму, тому, как универсалии аннулируют оригинальное, противостоят различия, значение которых в аналитике национальных литератур, как правило, недооценивается.

Да и ряд других понятий и терминов, используемых при исследовании национальных литератур и их взаимодействий, нуждается в переосмыслении, обновлении и др. Так, понятие «история» в том содержании, в котором оно многие десятилетия функционировало в научных трудах (прогресс, развитие от простого к сложному, от разнообразия к единству, от начала к эсхатологии и т. п.), является императивом, требующим располагать исследуемый материал в однолинейной последовательности, от уже прошлого к современному. Не лучше ли отказаться от этого термина, пришедшего в теорию литературы из других наук и непосредственно из «истории». Понятие «история» только искусственно приложимо к изучению восточных, к примеру, литератур, об истории которых в том её содержа-

нии, к которому мы привыкли, почти невозможно говорить. Да, суждения о литературе, её критика имеют историю, своё движение от простых форм к более сложным. А литература? К ней больше подходит слово «эволюция», лишённое ценностных коннотаций и не предваряющее, в отличие от «истории», заранее поставленной цели по упорядочиванию конкретного материала.

Далее – всего несколько суждений об одной методологической идее, которая, с точки зрения автора статьи, представляется существенной в поисках новаций, о которых идёт речь. Суть её в разделении сравнительного и сопоставительного методов исследования, которые нередко обозначаются только как разные названия одного и того же научного подхода.

Слова «с-равнивать» и «со-поставлять» не синонимы, хотя в большинстве словарей они так значатся. Подобная же тенденция и в теории литературы. Слово «со-поставление» на её периферии, с низкой частотностью в употреблении и в редких случаях с собственным терминологическим содержанием [7].

В написанных выше словах отделены дефисом приставки от основ, чтобы увидеть несовпадение их значений. «С-равнивать» можно предметы, расстояния, время по общим показателям (по весу, в метрах, секундах). По меркам, которые привносятся человеком в предметы и явления в собственных целях. Есть ещё слова с иными приставками, но с общим корнем и с близкими по своим значениям к глаголу «с-равнивать»: «вы-равнивать», «за-равнивать», «под-равнивать», «у-равнивать». Общее в значениях этих слов – указания на действия по преодолению различий: командир выравнивает шеренгу солдат по росту, рабочий заравнивает игровую площадку, конституция уравнивает граждан в нравах и т. п.

На отмеченных выше приёмах мышления основан, как известно, целый метод в теории литературы, занимающийся главным образом типологическим в разных языках и литературах. Его цель – представить различия в виде конкретных случаев стоящей над ними объективной закономерности, показать, как из различий вырастает общее, или, наоборот, как из него рождается их разнообразие. В советское время этот метод был ведущим в исследованиях, посвященных сущности национальных литератур и взаимодействиям между ними. Он ока-

зался упрощённым вариантом традиционного сравнительного метода, который демонстрировал свою продуктивность при изучении литератур, имеющих общие генетические корни или существенные схождения в своих историях. Однако механическая, как правило, экстраполяция его аналитической техники на большое разнообразие литератур, существующих в нашей стране, нередко далёких друг от друга генетически и в своих историях, приводила к результатам, в которых уникальность каждой из них как сущностное, конкретное бытие выводилась за скобки научной мысли. Такого рода исследовательский метод поддерживался идеологически и соответствовал основной установке в культурной политике – «единство в многообразии». Мы всё ещё в своём научном и обыденном сознании во многом остаёмся во власти этой установки, которая в реальной практике реализовывалась как превалирование «единства» над «многообразием».

Корень слова со-поставление иного значения, чем у слова с-равнение. «Ставить» – это не одно то же, что «равнять». При употреблении слова «ставить» приходят на ум действия по придаче предмету, явлению определённой самостоятельности в пространстве, располагая его в нём одиночно или рядом с другими и т. п. Языки и литературы, подобно сказанному, могут рассматриваться как со-присутствующие единицы, каждая из которых пребывает в самобытности и одновременно в диалогах с другими. «Единство» в таком случае не исходная для теории категория и её конечная цель, а перманентное состояние. Как писал К. Ясперс в книге «Смысл и назначение истории»: «Единство, доступное нам, людям, в своей истине – только единство в коммуникации наших многообразных исторических источников, сопричастных друг другу, но не тождественных в явлении мысли и символа <...> [13: 270].

Но сравнение всегда было и будет на стороне тех, кто задаёт параметры, знаменатели в алгебре филологического мышления в виде стандартных единиц (соотношения объективного и субъективного в творчестве, жанров, тематики и идей произведений, мифологической составляющей в них и т. п.), взятых в основном из опыта западноевропейской и русской литератур. То есть на стороне европоцентризма, который, будучи приспособленным к условиям нашей страны, продолжает оказывать определяющее

влияние на литературоведческие исследования.

Глагол «сравнивать» в своём привычном для нас значении требует активности исследовательской мысли по поиску и установлению закономерностей во взаимодействиях литератур. Она видится – в историзме особого типа, ставящего целью движение к общему и гармоничному будущему; в фактическом разделении литератур и культур на передовые и отсталые, ведущие и ведомые на этом пути. Привычный до сих пор для большинства из нас способ мышления, допускающий, однако, бесследное исчезновение так называемых «малых» языков и литератур с исторической ареной.

Для сопоставления «стрела времени», столь существенная для сравнения, мало значима. Предсказывать будущее, чтобы потом низойти с него к настоящему, оно не берётся. Оно не убаюкивает сознание исследователей и читателей картинами утопии, в которой сольются в единое гармоничное целое разные языки и литературы. Оно, скорее, тревожит его озабоченностью настоящим в литературе своего народа, его судьбой в условиях нарастающей духовной стандартизации.

Истоки сопоставления языков и литератур в романтизме. Особенно в немецком, русском, французском. Во времени крушения канонов классицизма и утверждения самобытности национальных литератур. В идеях В. Гумбольдта об определяющем влиянии языка на духовный склад нации, в творческой практике самих романтиков, которая как предмет изучения требовала новых исследовательских подходов. Интерес к сопоставлению литератур сохранялся и во все последующие годы нашей отечественной науки, но в основном только как момент сравнительного анализа, своего рода вступление к нему в виде описания подлежащих сравнению литератур.

В общем потоке работ советского времени были и такие, в которых содержались начала дифференциации «сравнения» и «сопоставления» в самостоятельные научные методы. Заметное место среди них заняли сочинения М. Бахтина, который представлял национальные литературы как самодостаточные единицы, находящиеся в постоянных диалогических отношениях с остальными литературами. Академик М. П. Алексеев (1896–1981) – выдающийся пушкинист и исследователь западных литератур, в ряде своих работ продемонстрировал воз-

можности сопоставления творчества разных во времени и по национальной идентификации поэтов и писателей. Вот названия некоторых из них: «Монтескье и Кантемир», «Державин и сонеты Шекспира», «Вальтер Скотт и «Слово о полку Игореве», «Гоголь и Томас Мур», «Дневной месяц» у Тютчева и Лонгфелло» [1].

В сопоставлении обозначился круг терминов, из которых оно начинает конструироваться как самостоятельная теория. Многие из них – из арсенала традиционных в теории литературы, но, как правило, обновлённые в своих содержаниях. Так, слово «нarrатив», редкое в теории литературы и трактуемое преимущественно как описательный в стилистике момент творчества, расширяется в своём понимании до способа воспроизводить предметы анализа в непосредственной, чувственной, эстетической их целостности, не ставя обязательной целью редуцировать их до уровня абстрактного в них.

Примерно такое же, как с «нarrативом», случилось и с давно известным в теории литературы словом «диалог». Его значение вышло за частные свои пределы как художественного приёма и расширилось вплоть до метафоры. Им теперь обозначается, к примеру, и предмет научного исследования – состояние связей особого типа, в которых находятся литературы.

В сопоставлении есть и заимствованные из других наук термины. К примеру, «идентичность», «множественность», «цивилизация» и «культура», «эволюция», «своё/чужое», «принцип дополнительности» и др. Терминологические новации в сопоставлении литератур не дань научной моде, они в нём определяются стремлением по-новому интерпретировать взаимодействия национальных литератур в их истории и современном состоянии. В последние, примерно, четверть века в Казанском, Чувашском университетах ведутся работы по сопоставлению национальных литератур, результаты которых опубликованы в ряде изданий. Они имеют место и в некоторых других научных центрах и главным образом в университетах национальных республик страны.

Вместо заключения. Цель этой статьи состояла в том, чтобы в суждениях о том, что такое «национальная литература», опираться в основном на факты, реалии настоящего времени. Они во многом отличаются от тех, что были в советскую эпоху.

Теперь надеяться на линейный исторический прогресс, в ходе которого произойдёт добровольное слияние разных национальных литератур в одно гармоническое целое, нет оснований. Время утопий, необоснованных надежд на то, что сама история станет решать наши очередные проблемы, прошло. Будущее национальных литератур непредсказуемо. Рационалистически непредсказуемо, но оно зависит от воли сопротивления каждой из них ассимиляции, от готовности и способности утверждать себя в общем литературном мире.

Литература

1. Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 1983. 446 с.
2. Бердяев Н. А. Судьба России. М.: Экспо-Пресс, 1998. 736 с.
3. Бродский И. Книга интервью. М.: Захаров, 2010. 784 с.
4. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. М.: Наука, 1952. Т. 8. 814 с.
5. Горький М. Собрание сочинений. – М.: Наука, 1955. Т. 30. 803 с.
6. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 400 с.
7. О разграничении смыслов в словах «сравнение» и «сопоставление» и значении этого в культурологии писал В. Н. Топоров в статье «Пространство культуры и встречи в нём». Но и он сохраняет синонимию между ними. См.: Сборник «Восток – Запад». М.: Наука, 1984. 303 с.
8. Родионов В. Сеспель – цветок неба и земли. Чебоксары: Новое время, 2009. 272 с.
9. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. 652 с.
10. Сталин И. В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М.: Партиздат, 1934. 232 с.
11. Тургенев И. С. Письма. М., Л.: Наука, 1968. 622 с.
12. Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М.: Россспэн, 2007. 712 с.
13. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. 528 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

А. С. ПУШКИН ИЖАТЫНДА КОРЬЭН¹

1820 елларда, әле беренче мәртәбә җәнүб якларына сөргенгә жибәрелгән вакытта, Пушкин Кара дингез ярында кечкенә генә бер тау куышына сыенып, кулындағы китабын мавығып, дөньясын онытып укый. 1825 елда язылган, тәмамланмаган бер шигырендә мондый юллар бар:

*В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран...*

Ялғызлыкка дучар ителгән көннәрендә, Пушкин шулай ук илләреннән куылган мәшһүр шәхесләр белән үз тормышын өтгөнчөлөрдөн көрсөткөн. «В пещере тайной...» «сүзләреюкка гына тумый: риваять буенча, Коръэн Мөхәммәткә қүктән тау куышында индерелә. Димәк, Мөхәммәт образы шагыйрьнең рухи халәтенә ул көннәрдә бик якын булган.

Бу мәкаләдә Пушкинның мул ижатыннан татар укучысында аеруча қызықсыну уятырлык Коръэн, Шәрык темасының үсешен аерып алырга булдык.

Бу юнәлеш, қызғанычка каршы, әлегә житәрлек өйрәнелмәгән. Рус тәнкыйте һәм әдәбият белеме, Пушкинны анлау, күтәрү өчен, барлық чараларны күрде кебек. Пушкин турында язылган материаллар аның үзе язғаннарыннан әллә ничә мәртәбә артык, хәтта, аның мирасы белән француз, инглиз, немец h. b. язучыларның ижатлары арасында ниндидер аһәндәшлек тә әзләп табалар, тик Пушкин ижадтында тамырланган Шәрык темасы, көнчыгыш мотивлары турында бик аз, бик саран язалар. Рус галимнәре евроцентризм шаукымыннан айнып бетә алмыйлар.

Пушкинны Коръэн белән тоташтырган жепләр әлегәчә фәндә қурсәтелгәннән тирәнрәк, ныграк, колачлырак. Шагыйрь ижат иткән «Коръэнгә иярүләр» («Подражания Корану») исемле шигырьләр бәйләмә – аның Шәрыкка карашының, мөнәсәбәтәнең ин югары, ин киеренке ноктасы.

Шәрык Пушкин күңелен һәрдаим үзенә тарткан. Әле 14 яшьлек шагыйрьнең «Натальягә» дигән шигырендә үк көн-

¹ Казан утлары. 1999. № 6. С.92–99.

чыгыш мотивлары ачык ярылып ята. «Руслан һәм Людмила» исемле беренче поэмасында «Мен дә бер кичә»нен тәэсире сизелә, шәрыкъ темалары һәм образлары очрый. Жәнүб сөргене елларында (1820–1824) шагыйрьнен Шәрык белән кызыксынуы көчәйгәннән-көчәя бара. «Кавказ әсире», «Бакчасарай фонтаны», «Чегәннәр» исемле поэмалар, унлаган шигырьләр, хатлар моңа ачык дәлил. «Бакчасарай фонтаны»на Пушкин эпиграф итеп бөек Иран шагыйре Мөслихеддин Сәгъди сүзләрен ала, поэманың өслүбен аңлатып, «Шәрекъ стиле минем өчен өлге булды», – дип икърар итә.

1824 елның сентябрь-октябрь айларында Пушкин Михайловское авылында, сөргендә чагында иҗади жәүһәрләреннән берсе булган «Коръәнгә иярүләр»не язып чыга. Бу шигырьләр бәйләмәнә бөек шагыйрьнен Шәрыкны дөрес булыр. Сан ягыннан исәпләнә торган нәтижә генә түгел, ә бәлки Шәрекъне тирәнрәк анлау, рухи дөньясына үткәрүе дигән караш бу. Телгә алынган романтик поэмаларында Шәрык Пушкин тарафыннан күбесенчә тышкы калып булып, аерым күренешләр, билгә-тамгалар рәвешендәрәк кабул итәлә. «Коръәнгә иярүләр»дә инде шагыйрь Шәрыкны, кабатланмас эчтәлегендә тоемлап, укучы күз алдына сурәтле-кургәзмәле рәвештә бастыра.

Ләкин бу бәйләмне язып та, шагыйрь Шәрык белән саубулашмый. Б. Томашевскийның: «Коръәнгә иярүләр»дә Пушкин Шәрык белән саубуллашты», – дигән фикере белән ризалашасы килми, чөнки соңынан көнчыгыш рухы, аһәне колориты ачылган «Эрзерумга сәяхәт», «Кирджали», «Капитан кызы» кебек мәшһүр әсәрләре языла.

Ни өчен Шәрык темасы Пушкин иҗатында шундый күрекнекле урын алган дигән сорай тууы табигый. Ни сәбәпле шагыйрьне нәкъ Коръән китабы таң калдырган, кат-кат укырга мәжбүр иткән?

Бу хосуста беренче чиратта шагыйрьнен биографиясе мөһим роль уйнаган. Ул һәрвакыт үзенең нәселе, шәжәрәсенең бигрәк тә Африкага кагылышлы тармагы белән кызыксынган. Ибраһим Ганнибал шагыйрьнен ана ягыннан бабасының атасы булган. Сигез яшьлек малайны Россия жиренә алып киләләр, ул Петр I йен тәрбиясендәге яраткан кешесе булып китә, яна

иленә олы хезмәтләр үткәреп, генерал дәрәҗәсенә күтәрелә. Тәрҗемәи хәле нәкъ мәжаралы роман диярсен.

Ибраһим Ганнибал Россиягә килеп чукындырылганчы мәсельман булган, дип фараз кылырга нигез бар. Ибраһимның атасы хакында немец телендә язылган биографиядә болай дип күрсәтелә: «Мәсельман гадәтенчә, аның утызлап хатыны һәм табигый рәвештә күп кенә балалары булган». Пушкин бу турыда хәбәрдәр була, чөнки немецча язылган биографияне ул үзе рус теленә тәрҗемә итә.

Ерак бабасы Ибраһим Ганнибалның гажәеп тормышы һәм язмышы Пушкинны үзенә бер үҗәтлек белән кызыксындыра. Үзенең «кара бабасы» турында ул малай чакта әбисе М. А. Ганнибалдан ишетә һәм, үсеп җиткәч, Ибраһим Ганнибал исемен рус тарихында саклап калырга тырыша һәм, ин әүвәл, аны «Бөек Петр гарәбе» дигән тарихи роман қаһарманы итеп тасвирилый. Қүренекле тарихчы Д. Бантыш-Каменский, Пушкин сүзләренә таянып, И. Ганнибал турында тикшеренү яза һәм аны «Словарь достопамятных людей русской земли» дигән сүзлеккә кертә. Пушкин Ганнибаллар нәселенең башка әгъзалары турында да мәгълүматлар туплый. 1817 елда, лицейны тәмамлагач, ул Ибраһимның икенче улы Петр Ганнибалдан аның хатирәләрен тыңларга һәм Ганнибаллар шәҗәрәсенә караган документларның сакланганмы-юкмы икәнен тикшерү нияте белән аның утарына бара. Соңыннан, Бессарабиядә йөргән чагында, Пушкин өлкән яштәгә кешеләрдән Ибраһимның олы улы – Россия белән Төркия арасындагы дингез сугышларында катнашкан Иван Ганнибал хакында сораشا.

Бөек рус шагыйре Пушкинның тамырларында «чит», Африка каны булган икән, биредә бернинди шаккатарлык нәрсә юк. Күп кенә мәшһүр рус язучыларының тирән тамырларында, аерым алганда, бөтен дөньяга танылган Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевскийларда барыннан да күбрәк татар каны аккан һәм бу – гадәти қүренеш. Рус язучыларының күпчелегенең нәселләренә нигез салган ата-бабалары башка милләттән булу аларда дөньяны яңача, полифоник күзаллау һәм үзләштерү хасиятен тудыра. Дөрес, күбесенең күзалламасында гайре рус ата-бабалар бары тарихи әһәмияткә ия булган, хикмәтле, әмма күптән узган қуренеш булып саналган. Пушкин өчен, үзе әйтүенчә, аның «анасы яғыннан африкалы» булуы биш был-

тыр заманнарда бикләнеп қалмаган, киресенчә, аның сәнгатьле ижатына кискен рәвештә йогынты ясап килгән. Әңгәмәләрдә, хатларында, автопортрет, рәсемнәрендә Пушкин үзенең кыяфәтенә хас африкалы тамгаларны аерымларга яраты: каратутлы, аска таба сузылган бите, қалтырап-калтырап куйган африкалы иреннәре, эре ак тешләре, елгыр йөзе... Шук, ашкынулы, дәртле Пушкинга яшь чагында иптәшләре Шөрчек, Чаткын кебек күшаматлар такканнар. Аның бөтен торышыннан, холык-фигыленнән И. Ганнибал токымы нәсел итеп алган ярсучан холкы ташып тора. Тышкы охшашлык белән генә чикләнмичә, Пушкин үзенең И. Ганнибал белән тугандашлыгын рухи тигезлектә, психологик кичерешләрдә, тормыш-көнкүреш ваклыклатында сурәтләргә тырыша. И. Ганнибал да, нинди генә рәхәт тормышта яшәмәсен, үз илен оныта алмый, ялгызлык хисен кичерә. Петр I вафатыннан соң дошманнары И. Ганнибалны Себергә жибәрәләр. Ул аннан качып кайта, үз авылында яшеренеп ята, кулга алынудан куркып яши. Михайловскоеда гомер кичкән чакта, Пушкин шулай ук ялгызлыгын, дусларыннан ера-клашкан булуын авыр кичерә, «Языковка» дигән шигырендә үзен биләгән уй-кичерешләрен «ерак Африкасы» турында хыялланган И. Ганнибал кичерешләренә тиңли. Овидий, Наполеон, Байрон, Мөхәммәт тә, – Пушкин карашынча, шундый ук сөрген михнәтен татыган шәхесләр.

Пушкин И. Ганнибалда русларга чит булган башка мәдәният, үзгә рухи төзелеш иясен күрә, аны аңларга тели. Кин мәгънәдә, бу теләк – шагыйрьнең башка культуралар, шул исәптән Шәрык дөньясы белән кин аралаша башларга әзер булуы билгесе.

Пушкинның Шәрекъ темасына йөзе белән борылганын тагын бер вазгыять аңлата: XIX гасырның беренче яртысында Россия һәм Көнбатыш Европада Шәрык белән кызыксыну көчәйгәннән-көчәя бара. Россиядә ул чорда Казан университеты галимнәре ориенталистика фәнен алга чыгара, жәмгыятын шәрык проблемаларына кызыксыну уята. Казан университетында 20 ичә елларда татар, гарәп, фарсы, монгол, әрмән телләре өйрәнелә, 30 ичә елларда болар янына төрек, кытай, маньчжур һәм кайбер башка телләр өстәлә. Университет каршында Азия типографиясе ачыла, гарәп, монгол, тибет шрифтларында китаплар басыла. Казанда өстенлек иткән шәрык атмос-

ферасы яшь Пушкинның лицей уқытучысы И. Кайдановны да, Пушкин яратып йөргөн драма, музыка, балет сәнгатьләрен дә, шәрык темасына урын биргән төрле журналларны да үзенә тарта. Турыдан-туры булмаса да, Казан Пушкинга билгеле бер йогынты ясамыйча калмаган. Пушкин Казанны күрә, аның Россия тарихына һәм мәдәниятенә ясаган йогынтысына югары бәя бирә, «Әрзерумга сәяхәт» исемле юль язмаларында: «Әрзерум белән Константинополь арасында, Казан белән Мәскәү арасын-дагы кебек, бер-берсен уздырырга тырышу құзәтелә», – дип қызыклы өзгөштүрү ясый.

Пушкин уқыган Коръән китабын рус теленә тәржемә итүче (1790 елда нәшер ителгән) М. И. Веревкин да Казан белән бәйле шәхес булган. Михаил Иванович Веревкин 1759–1762 елларда Казан гимназиясе директоры булып эшли. Бу чорда шул гимназиядә Г. Р. Державин, С. Т. Аксаков, Н. И. Лобачевскийлар укый Веревкин Казанда беренче театр ача, Болгар жыренә беренче археологик экспедиции оештыра; бу тикшеренүләрдә Г. Р. Державин актив катнаша, борынгы шәһәрнең планын төзи, төзелеш калдыкларын рәсемгә төшерә, жирдән акчалар һәм әйберләр казып таба.

М. В. Ломоносов Россиядә шәрык телләрен өйрәнергә кирәк дигән фикер уздыра. Шул фикергә нисбәтән, Веревкин әлеге гимназиядә татар телен өйрәнү мәсьәләсөн күтәрә. «Здешний город есть главный целого царства татарского национального диалекта. Не позволено ли будет завести при гимназии класс татарского языка...» – дип, Петербург дайирәләренә мөрәжәгать итә. Соңарып булса да, 1770 елдан башлап, гимназиядә татар теле уқытыла башлый. Казим шәһәре Веревкинда Шәрыкка нисбәтән зур қызыксыну уята.

Веревкин Коръәнне А. Де Риэ ясаган французчадан тәржемә итә. Эйтергә кирәк, Казан галименең тәржемәсе Д. Кантемир, А. Колмаков тәржемәләреннән үзенең шигъриятлелеге белән аерылып тора. Пушкин тикмәгә генә ача иярми. Арттырып җибәрмичә, шуны әйтеп була: Коръәнне шигъри үзләштергәндә Пушкин Веревкин белән ижатташлык иткән.

«Коръәнгә иярүләр» бәйләмә тугыз шигырьдән гыйбарәт. 114 сүрәдән торган Коръән белән өзгөштүрүнганда шигырь бик аз булып күренергә мөмкин. Өмма шунысы характерлы: антик

шагыйрьләр – Анакреонт, Овидий, Горацийга, италияле Данте, француз А. Шеньега, иранлы Хафизга, Библиягә ияргәндә Пушкин, кагыйдә буларак, бер-ике тезмә белән чикләнә. Бу юлы, исә тугыз иярү. Шуңа өстәп, Пушкинның башка эсәрләрендә, хатларында, көндәлек дәфтәрләрендә Коръәнне дайими телгә алуын хисаплап чыгарсак, аның бу изге китапка аеруча иғътибарлы булуы турында сөйләргә хаклыбыз.

Иярүләрен Пушкин «ирекле» дип атаган. Бу аңа иҗатында шәкел сайлауда берникадәр иркенлек биргән, ләкин сюжет, образ, мотивларда ул төп чыганактан тайпылмый. Мәсәлән, беренче иярүндә Пушкин 93 нче сүрә үзәгендә яткан хәл-әхвәлне хәтерендә яңарта: ялгыз калган, өзгәләнгән, үз көченә дә, Тәнре ярдәменә дә ышанычын югалта башлаган Мөхәммәткә Алла ярдәмгә килә, Пәйгамбәрен ташламаска, жәбердән сакларга вәгъдә бирә һәм Алла сүзен гавамга таратырга тиешле булуын искәртә:

*Нет, не покинул я тебя.
Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся же, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.*

Тугызынчы иярүдә Пушкин 2 нче сурәдәге 261 нче аятынен сюжетына һәм мәгънәсенә таянган. Бер юлчы, жимерелгән авыл яныннан узганда: «Алла моны җанландыра алмас», – дип шәбәсеп белдерә. Алла юлчыны элек үтертә, аннары терелтә һәм шуның белән үзенең тормышка, үлемгә һәм вакытка хужа булганын исбат итә. Пушкин юлчы образын һәм сюжет агымын бераз үзгәртә төшә, әмма аятынен мәгънәсен саклый. Шигырьдә юлчы чүлдә йөреп адаша һәм эссеlekкә, сусауга, тузанга түзә алмыйча, Аллага ризасызылык белдерә. Алла аның сусавын бастыра, аңа күләгәдә ышык бирә һәм аны озак елларга йокыга талдыра. Картайган юлчы, йокыдан уянып торгач, заяга узган вакытын кызганып, кычкырып еларга тотына. Алла моны күреп, вакытны кирегә бора һәм юлчыга яшьлеген һәм ышанычын кире кайтара.

Бэйлэмдэгэ башка шигырьлэр сюжет һэм мэгънэ ягыннан түбэндэгэ төп нөхчэдэгэ сүрэлэргэ ярашалар: 2нче шигырь – 32 нче сүрэгэ; 3 нче – 80 нчегэ; 4 нче – 2 нчегэ; 5 нче – 21 нчегэ; 24 нчегэ һэм 31 нчегэ; 6 нчы – 48 нчегэ; 7 нче – 73 нчегэ; 8 нче – 2 нчегэ таянып ижат ителгэн.

Өммө Пушкин санап чыгылган сүрэлэр белэн чиклэнмэгэн, башка сүрэлэрдэн тема һэм сурэтлэр алган, анализ курсэтуенчэ, утыздан артык сүрэгэ таянган. Сан ягыннан чагыштырмача аз шигырьлэр язып, шулар ярдэмэндэ Пушкин Коръяннең киң колачлы, бай эчтэлэгэн – Алланың кодрэтэн, нэсийхэтлэрэн, космологияне, эхлак кагыйдэлэрэн, сугыш батырлыкларын һ.б.ны – рус укучысына ирештерергэ тырыша.

Пушкин шигырьлэрэндэ, эчтэлектэн тыш, Коръяннең башка яклары да, хосусан, композицион төзелеш, сэнгатылелек сый-фатлары тиндэшлек таба. Мэсэлэн, «Коръянгэ иярүлэр»дэ, изге китаптагыча, Алла Пэйгамбэргэ, сугышчыларга, юлчыга, юмарт һэм саран кешелэргэ үз исеменнэн, турыдан-туры эндэшэ: Менэ 8 нче шигырь. Алла Мөхэммэтне үгетли:

*Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!*

Пушкин шигырьлэрэндэгэ Алланың кешегэ туп-туры мөрэжэгате рус һэм Ауропа укучыларына көтелмэгэн, чиктэн тыш күренеш булып тоела. Тора һэм Ёвангелиедэ – яхудлэрнең һэм христианнарның изге китапларында, – кагыйдэ буларак, кемдер Ходай турында яза, сөйли, динчелэргэ аның нэсийхэтлэрэн житкерэ, Коръэндэ исэ бөтөнлэй башка төзелеш. Монда Алланың туры сөйлөмэ өстенлек итэ, Коръэн – Алланың үз изге сүзлэрэ, аларны һөркем иштэ. Дингэ инанучының күчеле Алла белэн турыдан-туры аралашу шатлыгын кичерэ. Бу алым

исламның киң тарапуына ярдәм итә, дингә инанучылар, руханилар арасында үзара маҳсус (хәзәрге тел белән әйтсәк, демократик) мөнәсәбәтләр урнашуга гаять әһәмиятле сәбәп булды.

Ауропа тәрбиясен алган Пушкин Коръәннен бу сыйфатын гажәпләнеп кабул итә, аның тәэсир көченә, сәнгать кануннарына туры килгән сыйфатларына, иҗади илһамлану өчен киң мөмкинлекләренә югары бәя бирә. «Коръәнгә иярүләр»дән соң бер ел узуга «Пророк» (Пәйгамбәр) исемле мәшһүр шигыренде туры сөйләм алымын бик иркен файдалана:

*И бога глас ко мне возвзвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли.
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».*

«Пророк» шигыре Пушкин поэзиясенде аерым урын тота: шагыйрьнең иҗади караплары һәм тормыш позициясе шигаре кебек кабул ителә. Аннан да бигрәк, ул – рус әдәбияты өчен программ әсәр. Ләкин Коръәннен бу шигырьгә ясаган йогынтысын рус әдәбият фәне күрмәмешкә салыша. Пушкин әсәрләренең соңғы (1977 елгы) академик басмасында «Пророк» шигыренең ясалган комментарийларда тик Библия мотивларын файдалану турында сүз алып барыла, Коръәннең йогынтысы исәпкә алынмый.

Коръәнне укыганда, Пушкин рус кешесе өчен күнегелмәгән әхлакый, эстетик, фәлсәфи қыйыммәтләр системасын тәшкил иткән яңа дөньяга көргәнен сиземли, үзе ошбу мохиткә гашыйк була, аның шул дөньяны укучыларына да якынайтасы килә. Рус шагыйре Коръәннен тагын бер үзенчәлеген – фикерләү ысулының, дөньяга карашлар структурасын отып ала һәм оста итеп чагылдыра. Күренекле ислам дине белгече Г. Грюнбаум, ислам һәм христиан мәдәниятләрен чагыштырып, беренчесенди бер башкалык – фикерләү «атомарлығы»н («атомарность») күрә. Ислам, барыннан да элек, дөньяны аерым элементлардан төзелгән кыйофәттә күзаллый, тәмамланган вакыйгаларга караганда, күбрәк аерым чагылышларга игътибар итә, дөньяның матдәләрен, күренешләрен, кешенең уй-кичерешләрен бер рәттә һәм бер арада урнаштыра. Мәсәлән, яхшылык-мактаулы тәгаен эшләр бердәмлеке, дөньяның матурлығы, мотлак идеалда булмыйча, әйләнә-тирадәге предметлар, күренешләр,

гамәлләрдә туплана: кеше боларны мантыйкый-нисби рәвештә түгел, ә бәлки конкрет тулылыгында, хисси рәвештә тоемлый, үзләштерә.

«Коръәнгә иярүләр»гә кереш сүзендә Пушкин Коръән аятыләрендә, антларында төрле-төрле предметлар һәм куренешләрнең рәттән тезелеп китүенә ишарә итә. «Коръәннең башка урыннарында, – дип яза ул, – Алла бияләр тояклары, инжир жимешләре, Мәккә азатлыгы, гаделлек һәм бозыклык, фәрештәләр һәм адәм баласы һәм башкалар белән ант итә. Бу сәер риторик алым Коръәндә минут саен очрый». Пушкин, бу ысулны файдаланып, рус укучысы хыялын уятырга тырышкан булса кирәк. «Коръәнгә иярүләр»дә бер рәткә тезү һәм контраст алымнары предметлар тигезлеген дә, рухи биеклекне дә күрсәтүгә хезмәт итә. Чын белән ялган, батырлык белән куркаклык, бүләк һәм жәза, юмартлык һәм саранлык, тыйнаклык һәм бушбугазлык, яшәү һәм үлем – бу төшенчәләр һәм Коръән әчтәлегендә, һәм Пушкин әсәрләренең лексикасында очрый. 6 нчы иярүнең байтак өлеше динамизм, хәрәкәт белән сугарылган аяусыз сугыш күренешеннән гыйбарәт соңғы юлларда исә – тынычлык һәм ләzzәтләнүгә кискен күчү:

*Блаженны падшие в сраженье:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденье,
Не отравленном ничем.*

Шулай да, Пушкин әйберләрне һәм күренешләрне санап чыгу һәм каршы кую белән чикләнми. Ул матди һәм рухи куренешләрнең күптөрлелеген уз шигырыләренең ритмнары, рус теленең сыйылмалы кече, аятыләрнең пластикасы, гарәп лисанының аһәнлелеге ярдәмендә исkitкеч тәңгәллектә берләштерә.

Рус шагыйре яна шигъри калыплар һәм фикерләү җәвеше белән бергә христианлыктан (рус аңыннан) үзгә булган әхлакый кыйммәтләр бердәмлелеген таба, мәсельманнар өчен нигез үзәкне тәшкил иткән әхлакый төшенчәләргә тап була. Ислам өйрәтүенчә, батырлык югары сыйфат саналып, аның янәшәсенә юмартлык куела. Юмартлык, гади кунакчыллыктан битәр, сыеныр урыны булмаган фәкыйрьгә ярдәм кулын сузуны таләп итә. Юмартлык намус белән, саранлык түбәнлек белән тиңләштерелә.

*Торгуя совестью пред бледной нищетою,
 Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
 Щедрота полная угодна небесам.
 В день грозного суда, подобно ниве тучной,
 О сеятель благополучный,
 Сторицею воздаст она твоим трудам.
 Но если пожалев трудов земных стяжанья,
 Вручая нищему скучое подаянье,
 Сжимаешь ты свою завистливую длань;
 Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной.
 Что с камня моет дождь обильный.
 Исчезнут, господом отверженная дань.*

Коръяннең әдәп-әхлак таләпләре шагыйрьнең әхлакый әзләнүләренә аһәндәш иде, һәм ул аларны кискенләштерде, көчәйтте. Нәкъ Михайловское авылында, Коръянгә иярүләр»не иҗат иткән чорда, Пушкин, әхлакый мәсьәләләрне алга чыгарып, «Саран пәһлеван», «Моцарт һәм Сальери» исемендә кечкенә трагедияләрен язарга ниятли (алар берничә елдан соң язылачак).

Пушкин Мөхәммәткә мөнәсәбәтендә христианнар ацына сиеша алмаган караш үстерә. Ул замандагы христианнарның күпчелеге Мөхәммәткә ничек караган? Янәсе, ул – алдау һәм ирексезләү нәтижәсендә хакимияткә ирешкән һәм популярлык казанган ялган һәм мәжүси пәйгамбәр.

Пушкинның Мөхәммәткә янача карашы төрле сәбәпләр аркасында калыпдана. «Коръянгә иярүләр»дән күренә ки, Мөхәммәт Алланың кешеләргә юнәлтелгән сүзләрен тапшыручысы – арадашчы хезмәтен башкара. Рус шагыйре бу очракта Алла сүзен иштәктән мөсельман кешесенә әверелә һәм мөсельман кешеседәй уйлый башлый. Ләкин коры мантыйк күшканча фикерләгәндә, Пушкин Мөхәммәтне Коръян авторы дип санау ягына авыша. П. Вяземскийга язган бер хатында Пушкин Мөхәммәтне бөек шагыйрьләр Сәгъди һәм Хафиз белән янәшә куя. Пәйгамбәр белән шагыйрьне бер үк шәхестә тоташтыру, синтезлау Пушкин өчен табигый, аның дөньяга карашына яраша иде һәм шигырьләрендә гәүдәләнешен тапты. Мондый синтез

Пушкинга үзе белән Мөхәммәт арасында чагыштырулар ясарга мөмкинлек бирә. Пушкинга Мөхәммәт рухы башка тарихи шәхесләр рухына караганда якынрак булып чыга. Пушкин П. Вяземскийга үзенең беренче әсәрләр жыентыгының язмыши нурында болай дип яза (1824 ел, 29 ноябрь): «1820 елда мин үземнең үйдүрмамны күчереп яздым һәм аны укучыларым өчен бастырып чыгарырга жыена идем дә, кульязмамны Никита Все-волжский карта уйнап оттырдым (әлбәттә, билгеле бер шарт белән). Шул чакта Мәккәдән Мәдинәгә качарга мәжбүр булдым, минем Коръәнем кулдан-кулга йәри башлады – әлегә кадәр бик ның ышанучылар аны көтәләр. Хәзәр инде мин кульязманы эзләп табуны һәм сатып алуны энемә тапшырдым».

Пушкинның мөстәкыйль фикер йөртүче дуслары, мәсәлән, К. Рылеев, П. Чаадаев Пушкин белән Мөхәммәт арасындагы охшашлык турында ассызыклап әйттәләр. Рылеев һәм Чаадаев, шагыйрьнең, шигъриятнең җәмгыяতтә югары урын тотканина ишарәләп, Пушкинны пәйгамбәрләр, ягъни гражданлык үрләренә күтәрелергә чакыралар һәм бу мөнәсәбәттә Мөхәммәт исемен телгә алалар. «Син безнен Байроныбыз була аласың, – дип яза Рылеев. – Әмма Алла хакына, Гайсә хакына, синең яраткан Мөхәммәтен хакына Байронга иярмә». Чаадаев «Коръәнгә иярүләр»не укып чыккач хәйран кала һәм: «Пушкин бу көннән башлап Коръәнгә һим Мөхәммәткә иярергә тиеш», – дигән фикергә килә. Пушкинга адресланган бер мәктүбендә (1828 ел, март-апрель айлары) Чаадаев мондый сүзләр әйтә: «Бу мескен юлдан язган Россиягә чиксез игелек китерә алугызыга ышанам» һәм: «Сау булыгыз, дустым, Мөхәммәт үзенең гарәпләргә әйткән сүзләрен сезгә әйтәм – эх, белсәгезче!» – дип, хатын тәмамлый.

Ничек итеп гарәп телен белмәгән, исламнан ерак булган үзгә мохиттә тәрбияләнгән Пушкин Коръәнне тик тәржемәдә укып, аның мөндәрижәсен, рухын, калыпларын отып алуга ирешкән? Монда Пушкинның шигъри сиземләве мөһим роль уйнаган. Шуның белән бергә Пушкин башка халыкларның рухи халәтенә үтен керү хасиятенә ия булган. В. Г. Белинский Пушкинны борынгы грек мифология сенәгә Протей исемле алла белән чагыштырган иде (риваять буенча, Протей арыслан, чуар юлбарыс, аккан су, агач, h. б. кыяфәтен алу осталыгына ия). Мон-

дый сыйфатка синестезия (бергэлэп хис иту) дигэн фэнни атама уйлап табылган.

Кайбер карагамаларының кырларына Пушкин гарэп хәрефләрен язып куйган, чөнки ача үз күзләре белән хәрефләрен күрү, мөкиббән киткән Сәгъди һәм Хафизларның язу рәвешен тою, гарэп сөйләмәненең аһәнен тыңлагандай булу кирәк булган. Пушкинның шәхси китапханәсендә француз, инглиз, рус h. б. телләрдә язылган китаплар саны шактый. Үл китапларда гарәп шрифтында язылган сүзләр дә еш очрый.

Кавказда йөргән чакта Пушкин чит телләр, башка мәдәниятләр дөньясына эләгә, башка лисаннарга колак сала, аларны мөмкин кадәр кулланырга тырыша, юл күрсәтүченең төрек телендә сөйләшүен дикъкаты белән тыңлый, сүзләрнең мәгънәсенә төшөнә («жәнүб сөргене» елларында ул төрек телен-нән хосусый рәвеинн дәресләр алган); сәяхәттә вакытында бер тукталышта татар телендә эчәргә су, икенче тукталышта төрек телендә атлар сораган. «Эрзерумгә сәяхәт» әсәренде грузин, әрмән, инглиз, француз, латин, фарсы сүзләре очрый. Пушкин төрле телләрдә өйрәнүне хуп күргән.

«Коръэнгә иярүләр»дә һәм башка «шәркый» әсәрләрендә Пушкин рус укучысы алдында Шәрекъ дөньясын ача, ача бүтән мөхит үзенчәлекләре белән танышырырга мөмкинлек бирә. Христианнар, шул исәптән, рус халкы анында Көнчыгыш гасырлар буена чит, Көнбатышка каршы куелган дөнья сурәтнәнде иде. М. Херасков «Россияда» исемле поэмасында (1779) русларның Казанны яулап алуын менә ничек тасвирилаган: гуманлы христианлык мәжүси, вәхши исламны жиңә, эллә нинди чит-яят нәмәрсәкәйне хаклы рәвештә бастыра. Ислам кылыч һәм алдау юлы белән кертелгән дин буларак бәяләнә. Исламның әхлакый, җәмгыяви кыйммәтләре көлкө итен сурәтләнә. Дөрес, XVIII гасырда башка рухтагы, чын гуман юнәлештәге язучылар да (Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин) әдәбият мәйданына аяк басалар. Гарене Шәрыкка кискен рәвештә каршы кую тенденциясе дә көчсезләнә төшә. Әмма бары тик Пушкин гына «безнеке-чит» антиномиясен жиңеп чыгу юлын күрсәтте. Христиан мәдәнияте, Ауропа мөхите тышында урта гасыр анына «чит планета» булып күренгән кызыклы рухи, матди дөньялар яши икән. Аларга нәфрәт күзе белән карамаска, аларга каршы сугыш

ачмаска, киресенчә, аларны аңларга, дустанә мөнәсәбәт урнаштырып, үз күнел дөньяңын кинәйтергә, яңа эстетик ләззәтләнүләр татырга кирәк. Дөнья мәдәниятләрен бәяләүдә Пушкин евроцентризм карашыннан кискен рәвештә читләшә.

Ислам – үз закончалыкларын саклаган төзек, бердәм мәдәният. Ул башка мәдәниятләр белән диалог алыш бару өчен ачык, ярдәмчел, чөнкән анда аерымлык тик гомумилек белән бәйләнештә чын тәнгәллеккә ирешә. Пушкин исламның үзара аралашу алыш бару мөмкинлекләрен шактый мул файдалана. «Коръәнгә ияруләр»ендә ул салкын күзәтүче, Коръән сюжетларын, идеалларын теркәп баручы булып калмый, аның битләрендә ул «үз» фикерләрен, кичерешләрен таба, аларны иҗатында үстерә. Шул ук вакыт Пушкин Коръәндә яңа образларга, яңа фикри ачышларга юлыга, шулар белән үзенең дөньяга карашын тулыландыра, иҗатына нигез итеп сала. Шәрык шагыйрьләрең һәм Коръән белән иркен диалог алыш бару нәтижәсендә, Пушкин иҗатында Көнбатыш-Көнчыгыш бердәмлекенә юл ачыла. Тора-бара Пушкин даирәсендә Шәрык белән кызыксыну көчәя башлый, Шәрык орбитасына шагыйрь үз дусларын: П.А. Вяземский, К.Ф. Рылеев, П.Я. Чаадаев, А.А. Бестужев, А.А. Дельвигны – тарта; Шәрык темасына бирелеп киткән О.И. Сенковскийга булышлык күрсәтә, үзенең «Современник» журналында Солтан Газый Гәрәйнең Кавказ халыклары тормышыннан язган этнографик новелла хикәяләренә урын бирә, ориенталист Н. Бичурин тәржемәләрен «Литературная газета»да бастыра.

Пушкинның Шәрыккә нисбәтән иҗади планнары тулысынча үтәлми кала. Пушкин Шәрык буенча профессиональ белгеч түгел иде, көнчыгыш телләрен белүе, күбесенчә көндәлек сөйләшү өчен генә ярашлы иде. О. Сенковский, Н. Бичурин һәм күп кенә башка ориенталистлар Шәрык телләрен һәм тарихын Пушкинга караганда күбрәк белделәр. Пушкинның Шәрык турында язганинары да артык күп түгел. Аның замандаши һәм әшнәсе А. Бестужевның Шәрыкка мөнәсәбәтле әсәрләре сан яғыннан күбрәк. Шуңа да карамастан гадәттән тыш сәнгатъле сиземләү һәм кеше хәленә кереп, уртаклашучан сыйфатка ия булу сәбәпле, Пушкин үзенең замандашларын һәм үз чорын узып китте. Ул Россиядә беренче булып ислам даирәсен, мохитен, Шәрык

мәдәниятты жәүһәрләрен үзе өчен ачып, укучыларына житкерде, Шәрыкта гомумкешелек рухын құрде һәм аннан башка, ижатта диалогта кеше хөрлөгө дә мөмкин түгеллелеген күрсәтте.

Бөек державачылық, өстенлек рухы белән агуланган шул чор рус жәмғиятенең күпчелеге Пушкин ачышларын кабул итмәде. «Коръәнгә иярүләр» әдәби тәнкыйт тарафыннан гына түгел, ә бәлки әдәбият белемендә дә үз вакытында тиешле бәясен ала алмады. Чорның Чаядаев, Гоголь, Белинский, Н. Страхов, Достоевский кебек алдынгы шәхесләре қагыйдәдән чыгарма иделәр.

Пушкин рус язучыларының чагыштырмача кечкенә, ләкин иң кыйммәтле өлешен Шәрыкка қызыксынып карарга илһам-ландырды. Л. Толстойның «Хажи Морат» повесте, К. Леонтьев, И. Бунин, В. Хлебников, А. Платонов, Вс. Иванов һәм кайбер башка язучыларының Қөнчыгышка багышланган әсәрләре – нигез ташларын Пушкин салып калдырган традицияләрнең дәвамы.

Шул ук вакытта бөек Пушкин башлап жибәргән шәрекъ традицияләре рус әдәбиятының агым сүйнәне коелгандың кечтеги инеш булып кына калалар. Рус әдәбияты, рус әдәби тәнкыйте күбесенчә, Қөнбатышка күз тота.

1880 елда Мәскәүдә Пушкинга һәйкәл ачу мөнәсәбәте илә Ф. Достоевский рус жәмғиятендә яңғыраш тапкан нотығында: «Дөнья шагыйрләре арасыннан тик Пушкин гына җаны-тәне белән башка, ят куренгән күлтүрага бирелеп, аны үзләштерү хосусиятенә ия булды», –дип сөйләде. «Үз рухы чит халыклар рухына тәңгәл килү»ендә Достоевский «рус кешесенең тәкъдирен» құрде. «Чын рус кешесе булу өчен (моны ахыр чиктә ассызыклагыз), барлық бәшәриятнең туганы, барлық кешеләр өчен кеше булу лязим», – дип, ышанычын белдерде.

Пушкинның милли ижади эшчәнлек программасын төзүенә гасыр ярым, Достоевскийның бу юнәлешне хуплап нотық сейләвенә 100 елдан артық вакыт үтте. Рус әдәбияты бу программаны тормышка ашыра алдымы? Рус хәрактеры гомумкешелек баскычына күтәрелә алдымы? Бу турида күп бәхәсләшергә мөмкин, ләкин ахыр бәяне укучының үзенә калдырыйк.

РАЗГОВОР С ВОСТОКОМ. КОРАН В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА¹

В пещере тайной, в день гоненья

Читал я сладостный Коран.

А. С. Пушкин

Во время своей первой ссылки в 1820-е годы Пушкин любил уединяться в небольшой пещерке на берегу Черного моря и читать...

Именно об этом вспоминал поэт в неоконченном стихотворении 1825 года, начинающемуся строками, которые и предписаны в виде эпиграфа статье. Они были написаны тоже в ссылке, но уже северной.

В годы ссылок, в дни одиночества Пушкин, естественно, искал параллели к своей жизни в судьбах известных изгнанников. В его сознании возникали образы поэта Овидия и пророка Мухаммада. Если вспомнить, что Коран, по преданию, был ниспослан с неба Мухаммаду в пещере горы Тор, то станет очевидным, что в процитированных строках поэт сопоставляет себя с Мухаммадом, что не каждому читателю заметно сразу.

200-летие Пушкина совпало по времени с двумя важнейшими тенденциями в современных литературах и культурах вообще, которые в несколько иных, чем сейчас, формах проявились в литературах пушкинского времени и в его собственном творчестве. Это, во-первых, возрождение национальных литератур – возврат к собственным национальным корням и традициям, служение прежде всего своему народу. И, во-вторых, менее заметная, находящаяся как бы на втором плане тенденция – это поиски новых форм взаимодействия, взаимообогащения разных национальных литератур.

Из большого литературного наследия Пушкина обратимся к тому, что связано с Востоком. И не со всем Востоком, а с исламским, то есть, прежде всего, Востоком Корана. Нити, связывавшие Пушкина с Кораном, были более глубокими и крепкими, чем это представлялось до сих пор. Созданный поэтом цикл стихотворений «Подражания Корану» – это вершина его творческих интересов к Востоку.

¹ Казань. 1999. № 12. С.95–103.

В заметках над творчеством Пушкина, которыми я собираюсь поделиться с читателями, особое место отведено Казани: она сыграла немалую, хотя опосредованную роль в увлеченностях Пушкина Востоком и Кораном. Поэт, как известно, был в Казани, высоко оценивал ее значение в русской истории и культуре. В его путевых записях «Путешествие в Арзрум» есть интересное сопоставление: «Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество как между Казанью и Москвой».

Восток привлекал Пушкина на протяжении всего его творчества. Уже в одном из самых первых стихотворений юного поэта «К Наталье» встречаются восточные мотивы. И первая его поэма «Руслан и Людмила» написана под известным влиянием сказок «Тысячи и одной ночи», в ней также есть восточные темы и образы. Затем годы южной ссылки стали временем настоящего взлета интересов поэта к Востоку. Поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», десятки стихотворений, написанных в этот период, письма Пушкина свидетельствуют об этом. Эпиграфом к поэме «Бахчисарайский фонтан» он берет слова великого персидского поэта М. Саади. Пушкин признавался: «Слог восточный был для меня образцом».

В сентябре – ноябре 1824 года оказавшийся в новой, теперь уже северной, ссылке в селе Михайловском Пушкин создает один из шедевров своего творчества – замечательный цикл стихотворений «Подражания Корану», который можно рассматривать как своего рода итог предшествующих восточных увлечений поэта. Пушкин перешел к новому, более глубокому пониманию Востока. Если в романтических поэмах Восток для Пушкина еще во многом оставался формой, в которую он вкладывал европейское содержание, то в «Подражаниях Корану» он открывает Восток в его собственном содержании, стремясь показывать его таким, какой он есть на самом деле.

Почему восточная тема заняла такое заметное место в творчестве Пушкина? Почему именно Коран был первой религиозной книгой, которая так удивила и восхитила поэта и привела к Библии?

Особую роль здесь сыграла его биография. Пушкин постоянно интересовался своим происхождением. Прежде всего его внимание привлекала африканская линия родословной. Достаточно оснований полагать, что Ибрагим Ганнибал, пра-

дед Пушкина, был по рождению мусульманином, которого по повелению Петра крестили в России. Отец Ибрагима являлся одним из князей африканской Абиссинии, находившейся под властью Турции. В биографии Ибрагима Ганнибала, написанной на немецком языке и составленной, по всей видимости, из его собственных слов, сказано: «...У его отца, по мусульманскому обычаю, было много, и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество детей». В этой же биографии говорится, что в Петербург приезжал и старший брат Ибрагима с целью выкупить его и увезти обратно на родину. Но попытка не удалась; старший брат оставил Ибрагиму в подарок ценное оружие и арабские рукописи, касающиеся его происхождения.

Пушкину это было хорошо известно. Он лично переводил немецкую биографию своего прадеда на русский язык.

Необыкновенная жизнь и судьба Ибрагима Ганнибала захватили воображение Пушкина очень рано и на все будущие годы. О своем «черном деде» (определение Пушкина) он услышал уже в пятилетнем возрасте от бабушки М. А. Ганнибала, не только учившей его читать и писать по-русски (Пушкин, как известно, вначале выучился французскому языку), но и рассказывавшей много историй и семейных преданий о роде Ганнибалов. Пушкин предпринял все, чтобы имя Ибрагима Ганнибала сохранилось в русской истории. Он сделал его героем своего исторического романа «Арап Петра Великого»; именно со слов Пушкина известный историк Д. Бантыш-Каменский составил статью об И. Ганнибale и поместил ее в своем «Словаре достопамятных людей русской земли». Пушкин собирал сведения и о других представителях рода Ганнибалов. В 1817 году только что окончивший Лицей Пушкин едет в имение Петра Ганнибала, второго по возрасту сына Ибрагима, чтобы услышать его воспоминания и узнать, нет ли в его доме документов по истории рода Ганнибалов. Позже, оказавшись в Бессарабии, Пушкин расспрашивал старожилов об Иване Ганнибale, старшем сыне Ибрагима, участвовавшем в морских сражениях между Россией и Турцией.

Естественно, Пушкин интересовался и другой, отцовской линией в своей родословной. Он вел ее, опираясь на легенду, от немца Ратши, приехавшего в Новгород во времена Александра Невского. Многих представителей этого рода, рода Пушкиных, он

упоминает в своей автобиографической прозе, выводит героями в трагедии «Борис Годунов». Но Пушкины представляли для Александра Сергеевича меньший интерес, они были обыкновенными, не так возбуждали его поэтическое воображение, как Ганнибалы. Пик взлета рода Пушкиных относился к концу XVI – началу XVII веков, к отдаленному и «смутному времени», после чего этот род постепенно мельчал и не дал яких личностей. А Ганнибалы – это более близкая Пушкину и хронологически, и идейно эпоха Петра I, и неординарные, в чем-то даже экзотические, личности.

В том, что в жилах Пушкина текла и доля «чужой», африканской крови, нет ничего исключительного. Для многих русских писателей и особенно тех, что получили мировую известность, – Державина, Карамзина, Жуковского, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, – наличие «чужой», чаще всего татарской, крови – явление типичное. Но есть принципиальное отличие Пушкина от большинства русских писателей в том, как оценивалось им это обстоятельством, как оно влияло на его мировоззрение и творчество. Для большинства русских писателей наличие в их родах иноземных предков не определяло их мировосприятие и творческие замыслы. Для них иноземный предок – это любопытное, давнопрошедшее (что чаще всего соответствовало действительности) явление, факт, имеющий чисто историческое значение.

Для Пушкина же то, что он, по его собственным словам, «по матери был происхождения африканского», не замкнулось в прошлом, это активно влияло на ею жизнеощущение, сознание и художественное творчество. Пушкин любил, к примеру, в разговорах, письмах, автопортретах подчеркивать африканские черты своей внешности. Черты лица гармонировали в нем с подвижной, динамичной душевной организацией. В нем явно обнаруживался кипучий темперамент потомка И. Ганнибала. Более того, поэт находил родство с ним и на духовном уровне, в чувствах и переживаниях. По мысли Пушкина, И. Ганнибал не мог забыть свою родину, чувство одиночества было одним из самых постоянных в нем. После смерти Петра I И. Ганнибал был отправлен в Сибирь, откуда тайно вернулся, скрывался в своей деревне, постоянно ожидая и боясь ареста. Оказавшись в михайловской ссылке и переживая свое одиночество, оторванность от друзей, Пушкин в послании «К Языкову» сопоставляет

свои переживания с чувствами И. Ганнибала, который, будучи также в деревенском заточении, мечтал «о дальней Африке своей». Образ Ганнибала оказывается у Пушкина в одном ряду с другими близкими ему по теме изгнанничества образами – Овидия, Наполеона, Байрона, Мухаммада.

Однако хотя личные, биографические мотивы, как и у любого поэта, играли огромную роль в творчестве Пушкина, в том, почему он оказался таким внимательным к Востоку и к Корану в частности, была и другая причина. Это атмосфера всеобщей заинтересованности Востоком, типичная для России и Западной Европы первой трети XIX века. Здесь надо сказать и о мощных импульсах, исходивших тогда из Казани и оказавших одно из решающих влияний на становление и развитие восточных интересов в русском обществе и востоковедения в России. Их источником был Казанский университет, основанный в 1804 году и вскоре ставший ведущим центром ориенталистики в России. Сама Казань оставляла впечатление города, действительно находящегося на границе Востока и Запада, она удивляла путешественников разнообразием языков, костюмов, нравов, лиц и образа жизни представителей разных народов, живущих в ней.

В высокую волну интересов к Востоку в русском обществе, на подъем которой оказала сильное влияние Казань, были втянуты и И. Кайданов, преподававший в Лицее, где учился юный Пушкин, и драматические, музыкальные, балетные театры с широкой восточной тематикой и яркими восточными декорациями, в которых так любил бывать начинающий поэт, и журналы с многочисленными переводами из арабской, персидской и других восточных литератур.

Если обратиться теперь непосредственно к первоисточнику «Подражаний Корану» Пушкина, то и здесь мы обнаружим интересные факты, приводящие нас в Казань.

Пушкин не знал арабского языка. Коран он мог читать на русском или на одном из иностранных (французском или немецком) языках. В 1930 году востоковед К. С. Кашталева убедительно доказала, что, создавая свои «Подражания Корану», Пушкин опирался на русский перевод Корана, выполненный М. И. Веревкиным и изданный в 1790 году.

Михаил Иванович Веревкин, который выступил в роли связующего звена между Кораном и Пушкиным и способствовал возникновению замечательного цикла стихотворений, с 1759 по 1762 год работал директором Казанской гимназии. В ней тогда учились Г. Державин, С. Аксаков, Н. Лобачевский, которых ожидала широкая известность. Веревкин открыл первый, постоянно действующий театр в Казани, организовал первую археологическую экспедицию в Булгар, в которой самое активное участие принял Г. Державин, составивший план бывшего города, рисунки остатков некоторых его строений, собравший монеты и предметы, вырытые им из земли. Опираясь на идею Ломоносова о необходимости изучения в России восточных языков, Веревкин выходит в Петербург с предложением начать изучение татарского языка в только что открытой гимназии. Его рапорт начинался со слов: «Здешний город есть главный целого царства татарского национального диалекта. Не позволено ли будет завести при гимназии класс татарского языка...».

Именно Казань возбудила в Веревкине интерес к Востоку, который подогревался в нем еще и семейными преданиями о татарских корнях дворянского рода Веревкиных.

Переводческая деятельность Веревкина была разносторонней и во многом обращена к восточной теме. Кроме Корана, Веревкин переводил книги о жизни и философии Конфуция, по истории Турции, Китая...

Коран был переведен Веревкиным не с арабского подлинника, а с французского перевода А. де Риэ. Тем не менее перевод Веревкина отличался от других переводов (Д. Кантемира, А. Колмакова) своей поэтичностью. Веревкин обладал художественным даром и для своего времени мастерски выполнил взятую на себя задачу. Не случайно Пушкин часто следовал за ним, заимствуя почти буквально множество выражений из текста Корана в его переводе. Можно без преувеличения сказать, что Пушкин, поэтически осмысливая Коран, вступал в сотворчество с его переводчиком.

В цикл «Подражания Корану» входит всего девять стихотворений. Коран состоит из 114 сур, и на этом фоне девять небольших стихотворений, конечно, немного. Но вот что показательно. Пушкин, будучи любителем этого жанра, подражал многим: античным лирикам Анаkreонту, Овидию, Горацио, итальянцу

Данте, французу А. Шенье, персидскому поэту Хафизу, Библии и т. д. Как правило, при этом он ограничивался одним-двумя подражаниями избранному образцу. Здесь же их целых девять. Если учесть к тому же постоянные упоминания о Коране в других пушкинских произведениях, письмах, дневниках, то можно сказать об исключительном внимании Пушкина к Корану.

Пушкин назвал свои подражания «вольными», что формально давало ему большую свободу в творчестве, которой он искусно воспользовался. Но в сюжетной канве, образах и мотивах своих подражаний он в целом придерживался первоисточника. Так, в 1-м подражании Пушкин воспроизвел известную по 93-й суре Корана ситуацию: к преследуемому, одинокому Мухаммаду, который начал сомневаться не только в собственных силах, но и в поддержке его Всевышним, обращается сам Аллах с клятвой и уверениями в том, что он не только не оставил своего Пророка, но защитил его от гонений, наделил талантами, пользуясь которыми, тот должен идти и проповедовать его Слово.

Нет, не покинул я тебя.

.....
*Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.*

В 9-м подражании Пушкин опирался на сюжет и смысл 261-го аята 2-й суры. В этом месте Корана говорится о том, как некий путник, проходя около мертвого, разрушенного до основания селения, высказался в том духе, что вряд ли Аллаху удастся его оживить. Аллах на примере умерщвления и воскресения самого путника показал ему (и дал этим знамение всем) свою власть над жизнью, смертью и временем.

Пушкин несколько изменил образ путника и развитие сюжета, но смысл аята сохранил. В его стихотворении путник заблудился в пустыне и, измученный жаждой, зноем и пылью, стал роптать на Аллаха. Тогда Аллах утолил его жажду, дал тень и – усыпал

на многие годы. Когда же, проснувшись уже стариком, путник стал, рыдая, горевать над так быстро промелькнувшей жизнью, он повернул время назад, вернул ему молодость и веру.

И остальные стихотворения цикла имеют сюжетные и смысловые соответствия в Коране.

Создавая свой цикл, Пушкин часто, взяв в качестве сюжетного и смыслового ядра своего стихотворения ту или другую суру, одновременно включал в него дополнительные темы и образы, заимствованные из других сур Корана. Анализ показывает: Пушкин при подражаниях Корану переработал почти треть его (более 30 сур). Вот почему Пушкину в немногих стихотворениях удалось дать русскому читателю представление о разнообразном содержании Корана.

Не только содержание, но и другие стороны Корана, в частности его композиция и художественные достоинства, имеют свои соответствия в стихах Пушкина. Русский поэт тонко уловил и блестяще воспроизвел одну из следующих фундаментальных особенностей Корана. В «Подражаниях...» Пушкина, как и в Коране, Аллах непосредственно, от собственного имени, обращается к человеку: Пророку, воинам, путнику, к щедрым и скучным людям...

Вот, к примеру, 8-е подражание, в котором, звучит прямая речь Аллаха, с которой он обращается к Мухаммаду:

«Восстань, боязливый:
 В пещере твоей
 Святая лампада
 До утра горит.
 Сердечной молитвой,
 Пророк, удали
 Печальные мысли,
 Лукавые сны!
 До утра молитву
 Смиренно твори;
 Небесную книгу
 До утра читай!»

Прямое обращение Аллаха к человеку, которое передал Пушкин, было для русского и европейского читателей явлением неожиданным, необыкновенным. Дело в том, что и в Торе, и в

Евангелии (священных книг иудеев и христиан), как правило, кто-то рассказывает о Боге, доводит до верующих его заповеди. В Коране же господствует прямая речь Аллаха. Коран – это слова самого Аллаха, которые слышит каждый. Сердце верующего испытывает яркий эффект непосредственного общения с Аллахом. И это имело, как известно, огромное значение для распространения ислама, для особых (говоря современным языком, демократических) взаимоотношений между верующими и священнослужителями в нем.

Пушкин как европеец, видимо, удивлен нетипичной для христианских религиозных книг формой прямого обращения Бога к человеку, какую увидел в Коране. Как поэт он сразу оценил ее выразительные возможности и очень скоро воспользовался формой прямой речи в своем знаменитом стихотворении «Пророк», написанном в 1826 году (спустя всего около года после «Подражаний Корану») и в той же михайловской ссылке. Заключительные строчки «Пророка», в которых сконцентрирован смысл произведения, содержат прямую речь, обращенную к пророку (поэту).

... *И бога глас ко мне воззвал:*
«*Восстань, пророк,*
и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

«Пророк» занимает особое место в поэзии Пушкина. Это своего рода манифест его творческих взглядов и жизненных позиций. Более того, это программное для всей русской литературы произведение. Но значение Корана в возникновении этого произведения Пушкина все еще недооценивается. В комментариях к «Пророку» в последнем (1977 года) академическом издании сочинений Пушкина отмечается, что поэтом были использованы библейские мотивы, но нет ни слова о мотивах из Корана. Между тем достаточно простого сопоставления «Пророка» с «Подражаниями Корану», рассмотрения того, как и в каких условиях создавалось это стихотворение, чтобы увидеть: Пушкин в исключительно важном для него «Пророке» соединил мотивы из Корана и Библии.

Читая Коран, Пушкин стал чувствовать, что постепенно вступает в необычный для него, русского человека, мир, в котором есть собственная система нравственных, эстетических и других ценностей. Он проникся интересом к этому миру, его загадкам и решил приподнять завесу тайны над исламом и для своих читателей. И это ему в целом удалось.

Следующее своеобразие Корана, которое также имеет фундаментальное значение и мастерски передано поэтом в «Подражаниях...», непросто сформировать в нескольких словах.

Речь идет о способе мышления, структуре взглядов на мир, которые отличают Коран и исламскую культуру в целом. По мысли известного исламоведа Г. Грюнебаума, исламская культура, если ее сопоставить с христианской и попытаться охарактеризовать в современных научных терминах, отличается «атомарностью» мышления. Она рассматривает мир прежде всего в отдельных составляющих его элементах, останавливается скорее на эпизодах, чем на завершенных событиях, располагает предметы и явления окружающего мира, чувства и переживания человека как бы в одном ряду и пространстве. К примеру, добро в исламе – это в первую очередь сумма конкретных добрых дел, а не определение его; красота мира заключена не в отвлеченном идеале, а прежде всего в многообразии окружающих нас предметов, явлений, поступков, воспринимаемых человеком не логически-абстрактно, а конкретно-чувственно и вызывающих чувство совершенства.

Пушкин не был ученым, он не занимался специально сопоставлением исламского «способа мышления» с христианским, но благодаря Корану в удачном переводе Веревкина и своей сильной поэтической интуиции почувствовал своеобразие исламского миросозерцания и сумел дать своим читателям представление о нем.

Примером того, как Пушкин уловил типичную для исламского миросозерцания склонность располагать явления разного рода рядом, без видимых взаимных подчинений, являются воспроизведенные им в 1-м подражании клятвы Аллаха, с которыми он обращается к своему Пророку.

*Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом
и правой битвой,*

*Клянуся утренней звездой
Клянусь вечернею молитвой:
Нет, не покинул я тебя.*

Как следует из примечания, которым сам поэт снабдил это место из подражания, Пушкин обратил внимание на то, что в клятвах Корана в одном ряду стоят совершенно различные, с его точки зрения, предметы и явления. «В других местах Корана, – пишет Пушкин, – Аллах клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, странный риторический оборот встречается в Коране поминутно». Конечно, в этом своем выисказывании Пушкин специально усилил различия между составляющими клятвы Корана элементами, даже подобрал наиболее контрастные из них для того, чтобы заинтриговать русского читателя, возбудить его воображение, обратить его внимание на «странные», с первого взгляда, риторические приемы в Коране.

В «Подражаниях...» мы встречаемся с таким контрастом не только на предметном, но и на духовном уровне. Правда и обман, храбрость и трусость, дар и наказание, щедрость и скупость, скромность и многословие, жизнь и смерть – это из содержания и лексики Корана и одновременно из содержания и лексики «Подражаний...» Пушкина. В последней строфе 1-го подражания противопоставлены обман и правда, здесь же резкий переход от любви к гневу:

*Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.*

Большая часть 6-го подражания – это картина жестокого сражения, полная динамики, движения; но последняя строфа – резкий переход к покою и блаженству.

*Блаженны падшие в сраженье:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденье,
Не отравляемом ничем.*

Пушкин не остановился (и в этом сказалась его гениальная способность проникнуть в сущность Корана) только на перечислении предметов и явлений и их противопоставлении, только на том,

что свидетельствует, если вернуться к определению Грюнебаума, об «атомарности» исламского «образа мышления». Если бы «Подражания...» Пушкина оказались только потоком разнородных явлений, противоположностей и алогизмов, то, читатель согласится, они были бы скорее пародией на Коран, чем отражением его духа. Пушкин же соединил все это разнообразие вещественных и духовных явлений в чудесную гармонию. Соединил ритмами своих стихов и гибкостью русского языка так же, как в Коране, разнородные явления природы и жизни соединены в высокое единство ритмами его аятов и пластикой, музыкальностью арабского языка.

Русский поэт нашел в Коране наряду с новыми поэтическими формами и способом мышления и иную, чем в христианстве (в том числе русском сознании), систему нравственных ценностей. В своем 7-м подражании, опираясь на вторую суру Корана, Пушкин пишет о щедрости и противостоящей ей скучности. Он обращается к центральным для мусульман этическим понятиям. Если храбрость, по исламу, – великое достоинство, то сразу после нее ставится щедрость. Щедрость – это не просто хлебосольство или гостеприимство, которые состоятельный человек оказывает по отношению к равным, а готовность делиться с бедным, помочь тем, кто не имеет пристанища. Щедрость настолько высоко оценивается в исламе, что приравнивается к чести, а скучность как ее противоположность – к низости.

*Торгуя совестью
пред бледной нищетою,
Не сыть своих даров
расчетливой рукою:
Щедрота полная
угодна небесам.
В день грозного суда,
подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный,
Сторицею воздаст она
твоим трудам.
Но если, пожалев трудов
земных стяжанья,
Вручая нищему
скучое подаянье.*

*Сжимаешь ты
свою завистливую длань;
Знай: все твои дары,
подобно горсти пыльной,
Что с камня моет
дождь обильный,
Исчезнут, господом
отверженная дань.*

И в христианстве, как и в других религиях, щедрость почетна, но нигде она не возвышена так, как в исламе, возникшем как религия бедуинов, кочевавших в тяжелых условиях пустыни и, естественно, высоко ценивших взаимную поддержку, без которой они не смогли бы выжить.

Этические темы Корана не просто воспроизводились Пушкиным, они были созвучны нравственным исканиям самого поэта и обострили, усилили их. Именно в Михайловском и в то самое время, когда создавались «Подражания Корану», Пушкин задумывает маленькие трагедии «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» (написанные, правда, несколькими годами позже), в основе которых лежит нравственная проблематика. Уже в названии первой из них заключено противостояние: ведь скопость – это низость, а рыцарство – честь. Центральный герой трагедии Барон (Скупой рыцарь) выступает как своего рода олицетворение восточного афоризма: «Не золото принадлежит скому, а ской золоту». (Афоризм этот русскому читателю пушкинского времени был хорошо известен; в числе других арабских афоризмов он был опубликован в журнале «Вестник Европы», 1811 год, № 6).

Сын Барона Альбер говорит о своем отце:

*Деньги?
О! Мой отец
не слуг и не друзей
В них видит, а господ;
и сам им служит.
И как же служит?
как алжирский раб,
Как пес цепной...*

Читателю нетрудно заметить параллели и даже буквальное совпадение в словах между восточным афоризмом о скромности и стихами Пушкина.

Также в «Моцарте и Сальери» интригой, завязывающей сюжет и ведущей к трагической развязке, является нравственное чувство, которое исламом оценивается как болезнь души, разрушающая человека. Это – зависть.

Можно было бы отметить и другие соответствия между «Подражаниями...» Пушкина и Кораном, но ограничимся двумя примерами. Так, стихи Пушкина пронизаны земной чувственностью, в них мы встречаем изображение живого человека и, естественно, в них нет типичного для христианской религиозной поэзии прославления аскетизма. Это в духе Корана. Хотя в Коране, как в Евангелии, не отдается предпочтения реальному миру, этот реальный мир, в котором живет человек сегодня, не считается абсолютно греховным. Поэтому в исламе больше реализма, он более практичен, и в нем нет монашества. И в стихах Пушкина земная чувственность неожиданным для христианского сознания образом сочетается с высокими религиозными движениями души.

«Подражания...» Пушкина, как и суры Корана, рассчитаны в большей степени на чтение вслух, слушание, чем на чисто зрительное восприятие. Именно ориентация на преимущественно слуховое восприятие Корана давала ему особую силу психологического воздействия на человека. Пушкин повторяет риторические и другие приемы Корана, рассчитанные на слуховое его восприятие, находя для них соответствия в русском языке. В частности, он широко включает в «Подражания...» старославянismы. Благодаря этому стихи Пушкина звучат необычно, как бы трогают слух, соответствуют часто неожиданным для русского сознания темам и идеям Корана.

Одновременно с тем, как в своих «Подражаниях...» Пушкин приоткрывал для русских читателей смысл Корана и знакомил с его художественными формами, способствуя тем самым его объективному пониманию, он развивал новый, не типичный для христианского сознания взгляд и на Мухаммада. Для большинства христиан того времени Мухаммад – это лжепророк, даже язычник, лишь обманом и силой добившийся власти и

популярности. Христианские теологи и проповедники направляли свои усилия на то, чтобы развенчать его, с их точки зрения, лжеучение.

В «Подражаниях...» Пушкин в целом объективно воспроизвел содержание Корана и, если можно так выразиться, его историю. По «Подражаниям...» получается, что Коран – не сотворенная книга, а Мухаммад – пророк, лишь передающий божественное слово, обращенное к людям. Такая концепция, которой следовал Пушкин-поэт, естественно, согласуется с исламской ортодоксией. Подражающий Корану русский поэт как бы перевоплощался в мусульманина и начинал думать так же, как он.

Однако в своих рациональных рассуждениях, когда вдохновение и перо поэта отставлялись в сторону, и вступала в свои права логика, Пушкин был склонен считать Коран книгой сотворенной, а ее автором – Мухаммада. Так в представлении Пушкина пророк становился и поэтом. Совершенно не случайно в одном из писем к П. Вяземскому Пушкин поставил Мухаммада в один ряд с поэтами Саади и Хафизом.

Такое сочетание, когда пророк и поэт оказывались соединенными в одном лице, было близко Пушкину (как и ряду других русских поэтов), отвечало его мировоззрению и не однажды прозвучало в его стихотворениях. Это же сочетание позволяло Пушкину проводить параллели между собой и Мухаммадом. А таких параллелей у него немало. Трудно назвать другого поэта, историческую личность, с которыми Пушкин так сближал бы себя, как с Мухаммадом. Вот один из примеров автографики Пушкина, в которую оказались включенными образ Мухаммада и Коран. В 1820-м году поэт подготовил к изданию первое собрание своих сочинений. Но рукопись, подготовленную к печати, он проиграл в карты своему приятелю Н. Всеволожскому. Случилось так, что в мае того же года Александр I отправил Пушкина в первую, южную ссылку. Тем временем стихи, попавшие в руки Всеволожского, стали распространяться без ведома и согласия автора среди читателей. Перемещенный в 1824 году в новую, северную ссылку в родовое село Михайловское, Пушкин решает выкупить свою рукопись у Всеволожского и издать ее. Всем этим обстоятельствам, связанным с собственной судьбой, с первым собранием своих

сочинений, он нашел аналогии из жизни Мухаммада и в Коране. В письме к П. Вяземскому от 29 ноября 1824 года Пушкин пишет: «...В 1820 году переписал я свое вранье и намерен был издать его по подписке... Я проиграл потом рукопись мою Никите Всеволожскому (разумеется, с известным условием). Между тем принужден был бежать из Мекки в Медину, мой Коран пошел по рукам – и доныне правоверные ожидают его. Теперь поручил я брату отыскать и перекупить свою рукопись, и тогда приступим к изданию элегий, посланий и смеси».

Кроме автохарактеристик, в которых Пушкин устанавливал сходства между собой и Мухаммадом, между Кораном и своими сочинениями, автохарактеристик неожиданных, даже вызывающих, необходимо отметить, что некоторые из друзей поэта, особенно нестандартно, смело мыслящие из них, к примеру, К. Рылеев и П. Чаадаев, подчеркивали связь между Пушкиным и образом Мухаммада.

Характерно, что и Рылеев, и Чаадаев, руководствуясь своими представлениями об особой роли поэта и поэзии в обществе, обращаются к имени Мухаммада, когда призывают Пушкина подняться на уровень высокого гражданского, пророческого творчества во имя высших духовных и общественных человеческих ценностей. В одном из писем Пушкину Рылеев подталкивает поэта подняться над Державиным, перестать подражать Байрону и стать подлинным национальным поэтом. «...Ты можешь быть нашим Байроном, – пишет Рылеев, – но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным».

Особую роль в том, что Пушкину удалось уловить и содержание, и формы Корана, сыграла его поэтическая интуиция.

Пушкин в высшей степени обладал исключительно важной для любого поэта способностью перевоплощаться в предмет своего подражания, изображения, в душу другого народа, даже в явления природы. Когда вышла поэма «Бахчисарайский фонтан», написанная на основе крымских впечатлений, его стали сопоставлять с восточным поэтом Саади. «Наш юный Саади», говорилось о Пушкине в одной из статей о поэме.

Проникая в творчество в душу целого народа, Пушкин ощущал и понимал, что именно через песни мы способны особенно ярко почувствовать «чужой» народ. Так, в «Бахчисарайский фонтан» Пушкин включил «татарскую песню», им написаны также турецкая, чеченская, молдавская, цыганская, грузинская, испанская и другие песни. Было бы неверным пытаться найти к каждой песне, написанной Пушкиным, параллели и тем более точные соответствия в песнях того или другого народа. Они не были переводами, подражаниями в полном смысле этого слова, в них много личного, пушкинского. Но каждой из них Пушкин придавал национальную окрашенность, каждую отличал от других и дал почувствовать читателям, что у каждого народа – свои песни, и велико разнообразие их красот.

Было еще одно обстоятельство, нередко встречающееся у творческих личностей, но особенно заметно приступавшее у Пушкина и позволяющее ему сравнительно легко перевоплощаться в поэтов и дух других народов. Это, если воспользоваться современным научным языком, синестезия – совместное чувствование.

В то же самое время, когда создавались «Подражания Корану» и внимание русского поэта к Востоку росло, Пушкин читает древнеримского историка Тацита и заинтересовывается, как оказалось надолго, личностью и судьбой Клеопатры, последней царицы свободного Египта, и начинает писать о ней и ее времени. При этом для Пушкина становится необходимым не только узнать из книг, но и увидеть глазами, ощутить руками древний Египет. Он беседует с известным египтологом того времени И. Гурьяновым о древнеегипетских иероглифах, о том, как тот пытается их расшифровать. Во время беседы Пушкин рисует пирамиду.

На полях черновиков Пушкина, испещренных многочисленными рисунками, встречаются и надписи арабской вязью, сделанные его собственной рукой, Пушкину опять-таки надо было почувствовать, ощутить телесно, через движения собственной кисти, то, как могли писать, водить пером любимые им Саади и Хафиз. Надо и глазами видеть арабскую вязь, и пером выводить ее гибкие причудливые линии, переплетения, чтобы почувствовать мелодию арабской речи. Не может язык, реализуемый через такой алфавит, такую прекрасную форму, не быть удивительно пластичным и выразительным. Пушкину как поэту

было дано это прекрасно чувствовать. В библиотеке Пушкина было немало французских, английских, русских и других книг, посвященных Востоку, в которых воспроизводились начертания арабского алфавита. В находившемся среди них «Словаре Российско-Татарском» И. Гиганова татарские слова давались как в транскрипции на кириллицу, так и в своем природном написании буквами арабского языка.

О том, из какого переплетения различных чувств, некоторые из которых с первого взгляда кажутся далекими от поэзии, рождались у Пушкина восточные образы, можно увидеть, открыв, к примеру, его «Путешествие в Арзрум», где восточной теме отведено больше места.

В 1829 году Пушкин едет на Кавказ, где в это время шла очередная война между Россией и Турцией. В своих путевых заметках, из которых позже и родилось «Путешествие...», Пушкин относительно немного говорит о военных действиях, о победе России (за что его упрекала официальная литературная критика) и больше пишет о людях, с которыми он встречался, о южной природе, о впечатлениях, оставленных в нем жизнью Востока.

По пути на Кавказ Пушкин останавливается в юрте калмыков, сидит у обеденного очага, говорит с молодой привлекательной калмычкой, отвечавшей ему на ломаном русском языке, пробует «чай с бараным жиром и солью», по словам поэта, настолько гадкий по вкусу, что пришлось срочно его закусить «кусочком сущеной кобыльтины». Все это переплавилось в поэтическом воображении Пушкина и отразилось в его послании «Калмычке», вышедшем в следующем, 1830-м году «Литературной газете».

Во вторую главу «Путешествия в Арзрум» Пушкин поместил грузинскую песню (почти дословный перевод с оригинала). Но она вставлена, можно сказать, в середину текста, который содержит различные описания грузинской жизни.

Попав на Кавказ, в большое разнообразие языков и культур, Пушкин не стал судить о них с точки зрения одной, русской культуры, к которой принадлежал сам, а начал внимательно вслушиваться в другие языки, пытаясь (насколько возможно было) пользоваться ими, начал вникать в другие культуры. Пушкин напряженно вслушивается в турецкую речь своего

проводника, пытаясь угадать ее содержание (в годы первой «южной» своей ссылки Пушкин брал уроки турецкого языка). Во время одной из остановок в своем путешествии он просит воды по-татарски, а при другой – требует лошадей по-турецки. Грузинские, армянские слова также активно вставлены в текст «Путешествия...». В целом языковое разнообразие не только Кавказа, но и как таковое вообще явилось одним из предметов изображения в этом произведении Пушкина. Мы здесь встречаемся также со словами, цитатами на английском, французском, латинском, персидском языках, что придает всему «Путешествию в Арзрум» неповторимый языковой колорит. Пушкин был энтузиастом изучения различных языков и понимал необходимость этого. В этом же произведении он воспроизвел следующую сцену из своего путешествия: «Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! В тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию, он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски».

В «Подражаниях Корану» и других своих «восточных» произведениях Пушкин приподнял завесу над миром Востока, позволил русскому читателю увидеть иную, чем его собственная, культуру. Именно иную, а не чужую. Дело в том, что в христианском сознании, в том числе и русском, в течение столетий (начиная со средневековья, со временем походов крестоносцев на Восток) вырабатывалось представление о Востоке как чужом мире, противостоящем западному. К примеру, взятие Казани русскими в поэме классициста М. Хераскова «Россия», написанной в 1779 году, в эпоху сравнительно недалекую от пушкинского времени, изображалось как победа гуманного христианства над языческим, диким исламом, как совершенно оправданное подавление чужого. Ислам в ней показывался как религия насилия, насаждаемая мечом и обманом.

Хотя уже в XVIII веке были Державин, Карамзин и другие русские писатели иной, чем у Хераскова, духовной направленности и наметились тенденции в преодолении резкого про-

вопоставления Запад – Восток, тенденции, которые в первую четверть XIX века усилились, все-таки именно Пушкин внес решающий вклад в то, чтобы при сопоставлениях христианства и ислама выйти из антиномии «свое – чужое».

Пушкин увидел, что за пределами христианской культуры, европейской цивилизации находится не просто «чужая планета», как представлялось это средневековому сознанию, а просятся иные культурные миры, столь же неожиданные, интересные, какими могут быть, например, только что открываемые земли. И не воевать с ними надо, по Пушкину, а пытаться их понять, вживаться в них, расширяя тем самым мир собственной души и переживая новые эстетические наслаждения от сопричастности к другим культурам. Пушкин решительно отходит от евроцентризма в оценках мировой культуры. И в этом его убеждения оказались близкими к взглядам выдающегося немецкого философа XVIII века И. Гердера, сравнивавшего мировую культуру с оркестром, в котором роли отдельных инструментов исполняют культуры разных народов и вместе создают удивительную гармонию.

Ислам – это единая, с собственными закономерностями, внутренне стройная культура. Отдельное в нем обретает настоящий смысл только в связях с общим. И в то же время, что существенно сейчас отметить, ислам – это открытая диалогу культура.

Диалогические возможности ислама были использованы Пушкиным достаточно глубоко. В «Подражаниях...» он выступает не в роли холодного фиксатора сюжетов и идей Корана; Коран не является для него только объектом, по отношению к которому поэт занимает позицию равнодушного наблюдателя. В Коране Пушкин нашел «свои» чувства и мысли, энергично подхватил, изобразил и развил их. И в то же время в Коране Пушкин открыл новые, представляющие для него интерес образы и идеи, которые вошли в его собственное мировоззрение, стали необходимой, составной частью его дальнейшего творчества. Немало в творчестве Пушкина того, что не могло бы возникнуть в нем, если бы поэт не обратился к Корану.

Диалоги Пушкина с Кораном и восточными поэтами привели к рождению в его творчестве западно-восточного синтеза, который обнаруживается, помимо «Подражаний Корану, в ряде

его восточных песен, стихотворении «Виноград», в «Путешествии в Арзрум» и других произведениях.

Вокруг Пушкина образовалась и постоянно расширялась атмосфера диалогов с Востоком. Поэт вовлекал в орбиту восточных интересов Вяземского, Рылеева, Чаадаева, А. Бестужева, Дельвига и других своих друзей, он энергично поддерживал О. Сенковского в его увлеченности восточной тематикой, оценивал как очень оригинальные этнографические новеллы и рассказы из жизни кавказских народов Султана Газы-Гирея, представив им место в своем журнале «Современник», публиковал произведения и переводы известного востоковеда Н. Бичурина в «Литературной газете»...

Восточные диалоги Пушкина совпали по времени с войнами, которые Россия вела на Востоке – с Турцией, Персией, с народами Кавказа. Во время южной ссылки Пушкин находился в Бессарабии, где непосредственно противостояли друг другу русская и турецкая армии. В 1829 году Пушкин поехал в действующую русскую армию на Кавказе, видел, как была взята сильная турецкая крепость Арзрум. Здесь же, на Кавказе, по пути в Арзрум, он встретил тело убитого в Тегеране Грибоедова, переправляемое в Россию, – свидетельство острейшего конфликта между Персией и Россией. Все это углубляло, обостряло внимание Пушкина к Востоку. Но Пушкин, в отличие от подавляющего большинства русских писателей, не написал ни одного стихотворения, восхваляющего эти войны, хотя успех в них в целом сопутствовал русским войскам. Наоборот, в «Путешествии в Арзрум» он пишет: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены, они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги».

Пушкин, как и большинство людей, не был равнодушен к воинскому подвигу, он мог восхищаться храбростью простых воинов или находчивостью, талантом полководца, своеобразной красотой развертывающегося сражения... Как писатель он подходил к войне конкретно, изображал и драматические, иногда величественные ее стороны и в то же время унижения и страдания, доставляемые ею. Но всякий раз он поднимался над чисто политическим уровнем войны, выводил героев вместе с собой на более широкое поле общечеловеческих интересов, на котором военное

противостояние сторон могло смениться их диалогом. Вот одна из интересных сцен из «Путешествия в Арзрум». Крепость взята русскими. Много пленных турок, среди которых немало и знатных. Один пленный паша, с которым разговаривает русский генерал, заметив Пушкина в гражданском костюме, спрашивает, кто он. Услышав, что перед ним – поэт, как пишет Пушкин: «Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются».

Не все творческие планы Пушкина, связанные с Востоком, осуществились. Он собирался написать большое произведение о жизни и приключениях известного в Грузии и Молдавии разбойника, но ограничился повестью «Кирджали», названной его именем. Начинается эта повесть со слов: «Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удаец. Настоящего его имени я не знаю». Русский поэт интересовался сектой езидов в исламе, писал о них в «Путешествии в Арзрум» и поместил в виде приложения к этому своему произведению статью французского автора о езирах. Но дальнейшие изыскания о езирах не продолжил. Не превратились в значительное художественное произведение и интересы Пушкина к Египту, в частности к личности Клеопатры.

Пушкин не был профессиональным специалистом по Востоку. И написал он о Востоке сравнительно немного. У его современника и приятеля А. Бестужева и большее число произведений о Востоке, и по объемам они часто значительнее.

Но Пушкин превзошел своих современников и опередил свое время тем, что благодаря невероятной своей художественной интуиции и сердечной отзывчивости первым в России открыл для себя и дал почувствовать читателям сокровища восточной культуры, специфику ислама; не только открыл, но и овладел ими, превратив многое из открытого в свое. Он нашел в Востоке одну из сторон проявления, развития общечеловеческого духа и показал, что без этой стороны невозможен диалог в общечеловеческом творчестве, невозможна свобода человека вообще.

Открытия Пушкина не были приняты большинством русского общества. Его «Подражания Корану» не получили в свое время достаточной оценки. Они замалчивались или поверхностно рассматривались не только литературной критикой, но и литературоведческой наукой. Чаадаев, Гоголь, Белинский и позже Н. Страхов, Достоевский составляли из этого правила лишь исключения.

Пушкин надолго определил отношение небольшой, но лучшей части русской литературы к Востоку. Повесть «Хаджи Мурад» Л. Толстого – это продолжение традиции Пушкина, как и некоторые восточные произведения К. Леонтьева; а в XX веке пушкинские начала в понимании и оценках Востока можно найти у И. Бунина, В. Хлебникова, А. Платонова, Вс. Иванова и некоторых других русских писателей.

И все-таки восточные традиции, начало которым так талантливо положил Пушкин, остаются узким ручейком, впадающим в большой поток русской литературы. Ориентированность ее на Запад все еще является решающей.

Достоевский в своей знаменитой речи, которую он произнес в 1880 году по случаю открытия в Москве памятника Пушкину, говорил: «Пушкин лишь один из мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую «национальность». В этой великой способности перевоплощать «свой дух в дух чужих народов» Достоевский видел «предназначение русского человека» вообще. «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите», – говорил он в своей речи.

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ:
АРАБИЦА, ЛАТИНИЦА, КИРИЛЛИЦА
*Алфавитная революция в Советском Союзе
глазами современности¹*

В 20–30-е годы прошлого века в Советском Союзе был задуман и реализован грандиозный проект по алфавитной революции. Цель его заключалась в том, чтобы заменить арабский алфавит, которым пользовались в основном тюркские народы, на латинский, а также наделить латиницей так называемые «бесписьменные» народности. Проектом были охвачены около 80 народов и народностей страны общим числом более 30 млн человек.

Смена алфавитов – редкое явление в истории. Завоевание внешним врагом или экспансия чужой религии, притом далеко не всегда, бывали её причиной. В Российской империи кириллица и арабский алфавит соседствовали в течение столетий. Насильственное, революционное насаждение центральной властью чужого для народов алфавита находилось в полном противоречии с принятой в 1918 году «Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и с Конституцией СССР 1924 года, декларировавшими народам право на самоопределение. Проект был создан при комиссариате просвещения, которым руководил Луначарский, поддерживаемый в этом Лениным. Он должен был явиться начальным этапом в переводе всей письменности в стране на латиницу.

Активная фаза алфавитной революции – это время между Первым тюркологическим съездом, прошедшим в марте 1926 года в Баку, и открывшимся весной 1934 года XVII съездом партии. Итоги латинизации были подведены в сборнике «Алфавит Октября», приуроченном к открытию съезда. Он был составлен в основном из статей-реляций о триумфальных победах латиницы в разных регионах страны.

Но ирония истории: на съезде партии латинский алфавит деканонизируется утверждением, что кириллица ни в чём ему не уступает. В 1939 году этот новый поворот в алфавитной

¹ Казанский альманах: Бирюза. [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. 2017. С. 171–180.

политике завершается постановлением правительства о переводе письменности с латинского шрифта на кириллицу. Уже в 1940 году латиница полностью теряет позиции, завоеванные в столкновении с арабицей и другими формами письменности. Однако роль латинского алфавита в относительно спокойном и быстрым переходе к кириллице оказалась значительной. Он оторвал народы от родных для них алфавитов и с лёгкостью уступил место кириллице.

Алфавитная революция была короткой по времени и динамичной по своему ходу. Теперь она для нас история. Но не для её участников. Для народов, которые дважды, а некоторые даже трижды (к примеру, дунгане) меняли свои алфавиты. Для многих её противников и, что может показаться теперь странным, для части её защитников. Так, семь из девяти татарских делегатов, выступавших на Первом тюркологическом съезде против перехода на латиницу, были репрессированы в 30-е годы. Та же участь постигла и ряд латинистов, в частности, руководителей общества «Яналиф» в Татарстане.

Схожая ситуация сложилась и в других регионах страны, к примеру, в Казахстане, Крыму, Якутии. Подверглись репрессиям и книги, напечатанные арабским алфавитом. Их сжигали, топили в реках, в море (в Крыму, Азербайджане), отправляли в спецхраны при библиотеках. Чтобы сберечь от расправы книги на арабице, люди даже закапывали их в землю. Хранить в доме такую литературу, пользоваться арабской письменностью было опасно.

Алфавитная революция, которая, правда, нигде не называется «революцией», начала формировать одноалфавитное сознание, которое поддерживалось властью в течение десятилетий. Это сознание не кануло в лету. Мы в своём большинстве продолжаем думать так же, как вдохновители алфавитной революции, верим в совершенный, единственный в своём роде и обязательный для всех алфавит. Однако, как показывает опыт, немалое число людей в настоящее время всё-таки интересует: есть ли альтернатива такому сознанию? Возможно ли сосуществование разных алфавитов в одном большом обществе?..

Большевики и письменность

Своим приходом к власти элита большевиков была во многом обязана письменности. Она готовила революцию в основном письменными средствами.

Революционные газеты, журналы, книги, печатаемые, как правило, в подполье или за границей, сравнительно легко проникали через препоны и достигали массового адресата, распространялись по всей России. Ссылки, тюрьмы, эмиграция не могли остановить революционную пропаганду.

Сами вожди революции воспитывались на сочинениях Маркса, западных социалистов-утопистов, русских писателей и публицистов. Они много и с интересом писали. Нередко идентифицировали себя с категорией «писатель». Ленин, заполняя анкету, будучи уже председателем Совнаркома, определил свою профессию: «литератор». Троцкий, Сталин, Бухарин, Луначарский с различиями в тематике, стиле и даровитости, но с увлечением и уверенностью в том, что это необходимо делать, писали и в советское время.

В целом партийная элита в своей дореволюционной и в советское время деятельности опиралась на самый современный ей коммуникационный ресурс – письменность. И совершенно не случайно декрет «О введении нового правописания» (декабрь, 1917) относился к числу первых декретов советской власти. А цензура, конфискация неугодных «буржуазных» газет и случаи демонстративного их сожжения на площадях предвещали методы нового руководства письменностью.

Письмо значительно превосходит устное слово своей нормативностью. И советская «языковая политика» открыто встала на сторону письма. Для этого были серьёзные причины. Строить социализм с людьми, не умеющими читать и писать (они составляли большинство в стране), было невозможно. Как и формировать общее для разных народов мировоззрение. Кроме того, мысли, идеи, чувства, изложенные в их письменном варианте, легче контролировать, исправлять, запрещать и т. п.

Начатое большевиками вытеснение речи письмом в последующем только возрастило. Его масштабы расширялись по мере роста грамотности населения. Становилось нормой учиться говорить по правилам грамматики и фонетики, воздерживаясь

от диалектизмов, приближая свою речь к литературному языку. Вошло в практику выступать в обществе по предварительно написанному тексту. К 60-м годам по тиражу издаваемой на душу населения литературы, числу библиотек и другим показателям письменной культуры наша страна стала ведущей в мире. Это была, по оценкам того времени, великая победа в культурной политике партии. Но, как видится теперь, достигнутая за счёт поражения живой речи. Страна стала самой читающей. И – безмолвной. Говорить публично с ошибками, с акцентом было стыдно, свободно говорить опасно. Теснимая письмом речь уходила в быт, в подполье, в эмиграцию.

Унификация национальных алфавитов

Слово «унификация» (от лат. *uni* – едино, *facere* – делать) имело высокую частотность употребления в языке времени алфавитной революции. Теперь оно встречается реже и, как правило, при воспроизведении истории. Но понятие, которое стоит за этим словом, продолжает жить поныне и имеет название «единство». Различие между этими двумя близкими по значению словами в том, что «унификация» – процесс, «единство» – состояние. Мы теперь в своей письменности едины, и это результат начатой в 20-е годы унификации.

Она проводилась в течение ряда лет целенаправленно и настойчиво. В 1927 году был разработан и предложен как образец «Унифицированный новый тюркский алфавит», состоящий из 33 букв латинского шрифта. Письменность на арабице переводилась на этот алфавит. Вскоре из названия было исключено слово «турецкий»; на его основе стали создаваться алфавиты и для нетюркских, а также бесписьменных народов. Наметившийся вначале процесс перевода письменности чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы, основанной на кириллице, в начале 30-х годов был приостановлен.

Суть унификации различных алфавитов сводилась в основном к тому, чтобы совпадающие в разных языках звуки обозначались одним и тем же знаком, имеющимся в предложенном образце алфавита. Если же в отдельном языке имелись звуки, отличающие его от других языков, то для передачи таких, «своих» звуков предоставлялась возможность использовать

буквы из наличного, унифицированного алфавита, внося при этом дополнения в их графику в виде точек, запятых, коротких прямых линий.

Обозначать один звук двумя или даже тремя буквами, как это встречается в западной письменности, не допускалось. Для всех изменений или дополнений, вносимых в унифицированный алфавит, требовалось согласие «Всесоюзного центрального исполнительного комитета нового алфавита», добиться которого было непросто. Комитет стоял на позиции: чем меньше дополнений, вносимых в унифицированный алфавит, тем лучше.

Не все буквы унифицированного алфавита были нужны всем языкам. Некоторые из них для того или иного языка были «лишними». Например, буквы «о» и «е» не были нужны для татарского письма, так как звуков, которые они обозначали, в татарском языке того времени не существовало. Вначале они стали использоваться при написании заимствованных слов, затем при их произношении и, в конце концов, «лазутчики» обрели права, уравнивающие их с другими буквами татарского алфавита.

И. Бунин, Б. Зайцев, В. Иванов и ряд других русских писателей не приняли декрет Советской власти о новом правописании. Солженицын выступал в защиту буквы «ё», полагая, что её исключение из алфавита нарушит звуковую гармонию русского языка.

Конечно, алфавиты изменчивы, следуют в этом за эволюцией языков, но массовые и вносимые извне изменения в них, что произошло во время алфавитной революции в нашей стране, перевернули естественную направленность взаимодействия языка и алфавита. Алфавит начал первенствовать в этом взаимодействии и разрушать сложившиеся в течение веков звуковые системы в языках, которым он был навязан.

Устанавливались и другие унифицирующие письменность нормы. При написании прописных и строчных букв, при использовании знаков препинания. Унификация вышла за пределы алфавита. Она включила в сферу своего влияния лексику, орфографию и синтаксис языков, формы и методы обучения им, принципы формирования литературных языков.

Какие доводы выдвигались властью в оправдание унификации? В открытой печати постоянно утверждалось, что единый

алфавит, общие правила письма создают новые, по-настоящему благоприятные условия для сближения и взаимодействия разных языков и литератур. На самом же деле, вместо ожидаемого начался обратный процесс. При арабском алфавите активные культурные контакты между тюркскими народами поддерживались не только общей письменностью, но и традиционными для них литературой, философскими, религиозными и другими сочинениями, которые вскоре для большинства читателей перестали быть доступными. Таким образом, традиции, издавна связывавшие тюркские народы, становились менее значимыми для советского времени, отодвигались в историю.

Введённый в нашей стране вариант латинского алфавита считался более совершенным, чем существующие на Западе. Так как каждая фонема в нём обозначается отдельной буквой. Такого нет, к примеру, во французском, немецком и английском алфавитах, где встречаются буквы, которые пишутся, но не читаются, где две или даже три буквы могут обозначать один звук и т. п. Соблюдаемая на Западе традиция писать так, как писали предки, оценивалась у нас как консерватизм, отсталость...

Особенно настойчиво строгий фонетизм новой, принятой у нас латиницы противопоставлялся консонантному арабскому алфавиту. Консонантному – значит основанному главным образом на согласных буквах. В классической арабице, состоящей всего из 28 букв, лишь три были гласными. Чтобы читать на ней, как правило, приходилось «огласовывать» согласные, образовывая слоги, и догадываться о слове в целом. Элемент иероглифики? Да. Но он есть, например, и в английском, однако на другой основе. А китайское письмо, как известно, вообще построено на иероглифах. Оно во время, о котором идёт речь, считалось верхом отсталости.

Следующие доводы, которые приводились в защиту унифицированной латиницы, можно отнести к миру иллюзий, которых в 20–30-е годы было немало. Одна из них – убеждённость в том, что латиница позволит быстрее и без особых напряжений изучить иностранные языки и приобщиться к экономическим и культурным достижениям Запада. Нужно ли заниматься опровержением такой идеи? Нет, конечно. Ясно и так, что роль алфавита в её возможной реализации незначительна.

Наконец ещё об одной, тоже утопической идее, возникшей в сознании получивших власть большевиков и распространяющей ими в народе. Она – в надеждах на мировую революцию. Ленин назвал в 1922 году начавшийся в нашей стране переход с арабского алфавита на латинский «революцией на Востоке». Особенno в начальные годы алфавитной революции существовала уверенность в том, что вслед за Советским Союзом Турция, Персия, Афганистан и, возможно, Китай также перейдут на латиницу и общий алфавит поможет распространить революцию и на них. И эта надежда оказалась утопией.

С-равнивать или со-поставлять алфавиты

В заголовке этого раздела два глагола. В нестандартных написаниях. Приставки в них отделены от основ слов. Обычно эти слова употребляются как синонимы и в словарях так значатся. Но автору статьи близка точка зрения Фердинанда де Соссюра, считавшего, что синонимов в языках не бывает. Сравнивать предметы, расстояния, в том числе языки, культуры и многое другое, значит измерять их по общему показателю (в метрах, секундах, по цвету, удобству). Единицы измерения при сравнении берутся из опыта человека. Изобираются им в собственных интересах. Рабочий выравнивает площадку, садовод стрижёт кустарники в один рост, командир равняет строй солдат.

В гуманитарных науках существует так называемый сравнительный метод исследования, который опирается на отмеченные выше приёмы мышления. Например, пытаются установить праязык как начало всего разнообразия языков, определить типологическое (общее) в различных языках, совпадения и различия в их историях, показать, как доминирующий язык постепенно поглощает «малые» языки, оказавшиеся в сфере его влияния. Литературовед сравнивает разные литературы по общим для них признакам: жанрам, так называемым «методам» творчества, месту и роли авторского «я» в художественном тексте и др.

Сравнительный метод в нашу науку пришел с Запада и «обогатился» в своём содержании. В него была включена история. Культуры стали сравниваться между собой не только по отмеченным выше признакам, но и по тому, какое место каждая из них занимает в движении к общему культурному идеалу.

В культурологию, таким образом, была включена идея прогресса. На её основе стали разделять культуры на передовые и отсталые, ведущие и ведомые.

Короткий итог к сказанному выше. Языки, литературы и культуры в целом можно, сравнивая их, сводить к общему. Преодолевать различия между ними. Находить и поддерживать в их истории стремление к общему идеалу. Мы и теперь в большинстве своем так же мыслим. От разнообразия к единству. Простой и удобный тип мышления. Будущее ясно, определенно и обязательно состоится таким, каким мы хотим его видеть.

Сопоставление иной, чем сравнение, метод как в научном, так и в обыкновенном мышлении. Он менее заметен и распространён. Глагол «поставить» не то же, что «равнять», хотя, как уже отмечалось выше, слова «сравнение» и «сопоставление» принято считать синонимами. Разные языки и культуры можно ставить рядом, в одном пространстве, подобно тому, как предметы и явления располагаются в живописи. Видеть их со-присутствие, не подавлять мыслью различия между ними. Не разделять их на передовые и отсталые, ведущие и ведомые.

Сопоставление мало озабочено «стрелой времени», в нём конструкт «будущее» не имеет места; предсказывать его, чтобы низойти с него к современному, оно, в отличие от сравнения, не берётся. Оно не убаюкивает наше сознание утопиями об уже достигнутой или возможной в будущем гармонии культур. Скорее тревожит его. Сопоставление более всего занято различиями в разных культурах, взаимодействиями на уровне различий. Проблемами взаимной дополнительности. Общее в таком случае не цель, не единство в общепринятом смысле слова, в котором разные культуры должны слиться в одно, а постоянный диалог. Со-участие в этом диалоге и есть единство в обновлённом значении этого слова. Хорошо сказано у К. Ясперса в его книге «Смысл и назначение истории»: «...Единство, доступное нам, людям, в своей истине – только единство в коммуникации».

В каком направлении лучше писать? И какими буквами?

Если мы увидим человека, держащего книгу в левой руке и листающего её правой, то он непроизвольно привлечёт вни-

мание. Удивит и, возможно, даже насторожит. Он, видимо, читает и пишет справа налево. Так, как в древности поступали этруски, монголы, продолжают писать поныне семиты (евреи и арабы), персы, как до алфавитной революции писало подавляющее большинство тюркских народов в нашей стране. У нас же доминирует другая привычка – писать и читать слева направо. Она более позднего происхождения. Её ввели в практику древние греки. Вообще-то направлений письма в мире больше, чем отмеченные выше. Есть, к примеру, сверху вниз и даже такой способ письма, когда его направление меняется на обратное при переходах от строки к строке.

В вопросе о том, почему произошло разделение в направлениях письма, нет общепринятой точки зрения, и здесь не место им заниматься. А то, какое из направлений письма лучше, было ли правомерным в годы алфавитной революции запрещение одного из них, могут представлять интерес для современного читателя.

Направленность нашего письма слева направо – дело привычки, которая, как оказывается, выходит за пределы письма. Взгляд наш, обращённый на картину, перемещается в таком же направлении. Направленность действий слева направо относится к порядку расположения библиотечных каталогов, к построению солдат в шеренгу, к освещению классов в школе и ещё ко многому другому. Так что можно полагать: направленность движений – настоящий культурный феномен. Он, естественно, есть и в культурах с иной, чем в латинице и кириллице, направленностью письма. Нетрудно представить себе, как могут двигаться зрачки человека, привыкшего писать и читать справа налево, при созерцании им картины, как будут располагаться каталоги в родных его письму библиотеках и др.

Всё, что связано с нашей направленностью письма, чтения и других форм движения, для нас привычно и удобно и может выливаться в утверждение её как лучшей и одновременно в борьбу с иной, чем она, направленностью письма, что и произошло в годы алфавитной революции.

На тюркологическом съезде 1926 года различия направленности письма у двух втянутых в конфликт алфавитов практически не обсуждались. Возможно, потому, что большинство её участников и особенно те, кто задавал тон в спорах, почти оди-

наково хорошо владели разными направлениями письма. Без малого сто лет прошло с тех пор и в чём может быть смысл разговоров о разных направлениях в письме теперь? В культуре хронология мало значима. Культура по своей сути вне времени. Однажды растроченное, потерянное в ней далеко не всегда компенсируется новым. Сохранение разнонаправленности в письменности было бы опытом по различному расположению знаков в пространстве письма. Он не состоялся. Попробуем мысленно его воспроизвести.

Положите перед собой лист бумаги и представьте себя пишущим, как при арабице, справа налево. Вы ведёте пером по чистому полу листа, не прикрытому пальцами и ладонью руки. Каждая буква, выводимая вами, располагается на свободном пространстве. Она по своему начертанию (высоте, толщине линий и др.) может отличаться от написанных до неё букв. Арабский алфавит допускает различия в написании одной и той буквы в зависимости от занимаемого её места в слове. Всё это автору письма даёт возможность демонстрировать своё каллиграфическое мастерство.

У письма слева направо свои особенности. Формы и параметры букв, предзаданные алфавитом, выдерживаются здесь строже. Пишущий действует почти машинально. Вместо каллиграфии – почерк.

Другое, также легко наблюдаемое различие в латинском и арабском алфавитах – это формы букв. Оно настолько большое, что общее в их начертаниях трудно представимо. И всё же формы букв в обоих алфавитах заимствованы из одного источника – геометрии.

Буквы латиницы сконструированы в основном из круга, треугольника и прямоугольника. Геометрия латиницы совершенствовалась в течение столетий, демонстрируя, как достигаются гармония, красота алфавита. Латиница рациональна. Её сравнительно легко воспроизводить в печати. Она не поддается асимиляции другими алфавитами. Наоборот, склонна к экспансии, поощряемой европейским образом мышления.

Буквы арабского алфавита тоже из геометрических фигур. Но основные из них – линия и точка. Линия – извилистая, образующая полукруги и узлы, разная по длине, редко прямая. Она выразительна, лирична. То, постепенно утончаясь, сливается с

поверхностью бумаги, то расширяется под нажимом кисти, пера, утверждая себя в густой краске. Линию сопровождает много точек. Преимущественно над ней. Точка в соединении с линией образует фигуру, похожую на запятую. Буквы арабицы не дробят пространство на части, в отличие от большинства букв латиницы, образованных замкнутыми геометрическими фигурами. Они свободно располагаются в нём, подобно рисунку в живописи. И не случайно то, что арабская вязь нередко появлялась прямо на миниатюрах, например, персидского средневековья.

Арабский алфавит в Татарстане в 20-е годы активно реформировался. Упрощались формы его букв, уменьшалось разнообразие в написании одной и той же буквы, вводились знаки для обозначения большего числа гласных звуков. Но тенденция к унификации, насаждаемая властью, была тотальной, и сохранить арабский алфавит в гражданской печати не удалось.

Отдельные народы, общества, индивиды могут заявлять, что принятые ими направленность письма и формы букв лучшие в мире. Однако, по мнению автора статьи, такое представление чревато стремлением силой насаждать своё в других культурах.

Место пунктуации и орфографии в арабской и латинской письменности

Пунктуация разделяет, противопоставляет отдельные слова, создаёт группы из них. Эмоциональные оценки, сопровождающие письмо (вопрошание, восхищение, неприятие и т. п.), также находят пунктуационное обозначение. В речи пунктуации нет. Нет в форме визуального знака. Её замещают пауза, интонация, жесты. Роль пунктуации по мере вытеснения речи письмом росла. И достигла теперь такого уровня, что мы не только читать и писать, но и понимать друг друга без неё не в состоянии. Незнание её непереносимо для так называемого «нормального» существования. Без неё невозможна коммуникация.

Но кто стоит за пунктуацией, кто наделяет её столь большой силой управления нами? Общественное сознание. Абстрагированное, формализованное, превращённое в знаки (точку, запятую, тире...) общественное сознание. Пунктуация указывает на то, как надо мыслить, как превращать хаос слов в отдельные

смысловые сегменты. Она не персонифицирована, и поэтому кажется возникшей из ниоткуда волей, которой дано право контролировать наше письмо.

Пунктуация как инструмент, выдуманный человеком для власти над живой речью, нередко вызывала бунты против себя. Маяковский писал в автобиографии: «... у меня ненависть к точкам. К запятым тоже». Весьма мала и далеко не во всём традиционна пунктуация в прижизненных изданиях его сочинений. В дальнейшем авторская пунктуация Маяковского сводилась издателями к нормативной, что сопровождалось переосмысливанием его стихов. Пунктуация участвовала в деиндивидуализации языка поэта. Вместе с Маяковским и остальные футуристы (В. Хлебников, А. Кручёных, В. Шершеневич...) боролись с узаконенной пунктуацией.

Но их беспунктуационный опыт письма был кратковременным. В советскую эпоху с обязательными правилами пунктуации он не мог быть продолжен. В западном авангарде (к примеру, Г. Аполлинер, Ф. Маринетти – в поэзии, Д. Джойс, С. Беккет – в прозе) практика письма без пунктуации или индивидуализация письменных приёмов продолжались весь прошлый век.

Проводимая в нашей стране алфавитная революция сопровождалась введением знаков препинания в письменность там, где их ранее не было, а также установлением правил пользования ими там, где обращение с ними было относительно свободным.

В большей части своей истории арабский, латинский алфавиты и кириллица обходились без знаков препинания. Они появились в этих видах письменности в разное время. Позже остальных – в письме арабской графикой. Ещё в начале прошлого века в татарской грамматике не существовало правил пунктуации. В художественных текстах, к примеру, дело сводилось к авторскому выбору. В поэзии соседствовали тексты, как со знаками, так и без знаков препинания, а также с вариациями между ними. Стихи Г. Рахманкулова, М. Уметбаева, Тукая, Дэрдеменда, С. Рамеева и других поэтов начала прошлого века различны в своем пунктуационном оформлении. При этом пунктуация не была устойчивой даже в творчестве отдельно взятых поэтов. Но в целом она дрейфовала в сторону установления общих правил. Хотя были ещё живы и употребительны и иные, чем пунктуация, способы формирования смысловых единиц в

художественном тексте. Рифмы, включая внутренние, силлабика как один из способов соединения слов в повторяющиеся единицы, жанры с относительно устойчивым сюжетом.

О том, какой была бы судьба пунктуации в татарской письменности при сохранении арабского шрифта в ней, можно только предполагать. Алфавитная революция прервала её естественный ход. Вместе с правилами и нормами, вводимыми в пунктуацию, изменялась и практика мышления читателей. Она трансформировалась в направлении, отличном от традиционного. Мы теперь делим на смысловые единицы с помощью современной пунктуации татарские тексты, написанные арабицей ещё в старое, предшествующее алфавитной революции время. Всегда ли и насколько правомерно это? Скорее всего, нет.

Мы в пленах навязанной нам пунктуации и регулируемых её форм мышления. В нас всё ещё сильна вера в лучшую пунктуацию, как и в лучшие направление письма и формы букв. Вряд ли мы согласимся уменьшить и число пунктуационных знаков в нашем письме. Между тем, английское письмо обходится скучной и достаточно свободной пунктуацией. Оно не так затруднено правилами и проще в усвоении.

В арабском алфавите не было разделения на прописные и строчные буквы. Всё там состояло из одинаковых по своему масштабу букв. Ни строка, ни имена личные, ни названия городов, событий и т. п. не выделялись при письме прописными буквами. Трудно такое представить в нашем современном письме, исключая узкую область художественных экспериментов.

Мы дифференцируем предметы, живые существа, события, выделяем среди них те, что для нас особо значимы, и маркируем их прописными буквами. Это стиль мышления, фиксированный в письме. И мы, привыкшие к нему, считаем его лучшим и не приемлем ничего другого. Между тем, во время алфавитной революции были острые споры, хотя и продолжались недолго, о том, сохранить ли в латинском алфавите, вводимом вместо арабского, деление на прописные и строчные буквы. Даже среди серьёзных ученых были сомневающиеся в необходимости этого. К примеру, Е. Поливанов считал, что по фонетическим законам звуки не делятся на «прописные» и «строчные». И письмо, основанное на таком делении, привносится в язык извне.

Прописная буква, как и знаки препинания, организует мышление. С неё открывается предложение, она символизирует об особом значении слов, которые с неё начинаются. Личные имена, названия городов, рек, исторические события и др. В этом традиционно сложившаяся её роль.

Но вместе с тем при помощи прописной буквы власть, вторгаясь в язык, о возможности чего писал Е. Поливанов, может создавать целую систему слов, пишущихся с прописной буквы. К примеру, названия различных организаций, органов управления, съездов, исторических событий. Повысшая таким образом их статус, значение в тексте. Однако состав слов с такими правами, как правило, изменчив, зависит как от разных событий, так от рядовой воли власти. Происходят постоянные изменения в правилах пользования прописными буквами. Учиться им, поспевать за ними сложно. У немцев, к примеру, есть тоже не простое в исполнении правило – писать все существительные с большой буквы. Но оно с давних пор в их традиции, и оно простое. К сожалению, наше письмо прописными буквами часто обосновывается не лингвистическими, а находящимися вне языка идеями.

Многое из намеченной темы осталось за пределами статьи. И, конечно же, её автор не думает, что его интерпретации событий 20–30-х годов прошлого века в истории нашей письменности окончательны. Но он уверен в том, что этой письменной революцией было прервано со-существование разных алфавитов в одной стране и естественная совместная эволюция разных культур понесла большие потери. Будет неверным, если кто-то подумает, что автор статьи призывает вернуть арабицу в роли татарского национального алфавита. Он просто не знает, возможно это или нет. История непредсказуема.

ЧААДАЕВ И КАЗАНЬ¹

*След, оставленный Чаадаевым
в сознании русского общества, –
такой глубокий и неизгладимый,
что невольно возникает вопрос:
уже не алмазом ли он проведён по стеклу?*

O. Мандельштам

Две тоненькие книжки. По современным меркам скорее брошюры. В мягких обложках. Изданы в Казани в 1906 году. С непривычными для нас названиями – «Философические письма» и «Апология сумасшедшего». Почему не просто «философские», как теперь? Во времена написания этих книжек, в 20–30-е годы XIX века, в русском языке использовались оба эти слова. Можно было писать и говорить, к примеру, «философский факультет», «философский камень», а тексты, написанные тем или другим автором, называть «философическими». Так, известные по современным изданиям «Философские повести» Вольтера обозначались при их переводе на русский язык как «философские».

Больше вопросов вызывает название второй книжицы. Апология – старый жанр. Устное или письменное оправдание, защита, восхваление. Кого-то или чего-то. Кем-то. Классический пример – «Апология Сократа», составленная Платоном. Существует целая система апологий, защищающих, например, религиозные догмы, и называется она апологетикой. А здесь у нас «сумасшедший», не кем-то защищаемый, а сам защищающийся. Не пародия ли это? И ещё. Обе книжки – переводы с французского. При русском-то, как выяснится позже, авторе?

Издания, о которых пошла речь, – книжные редкости, хотя в своё время они выходили значительными тиражами. В широко известном книжном собрании Н. Смирнова-Сокольского в Музее книги (Российская государственная библиотека) их нет. В Казани же они представлены в библиотеке имени Лобачевского при федеральном университете и в Национальной библиотеке Татарстана.

¹ Казанский альманах: Гранат [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. Казань, 2017. С.113–123.

Автор названных выше книг – Пётр Яковлевич Чаадаев (1794–1856). Величавое имя Чаадаев нам известно со школы. Ему адресовано послание Пушкина, которое завершается словами: «...И на обломках самовластья напишут наши имена!» Пушкин ещё два послания адресовал Чаадаеву. Он называл его «единственным своим другом» и просил в числе «самых необходимых предметов для жизни» прислать ему в Михайловское, куда был сослан в 1824 году, портрет Чаадаева.

Многие обстоятельства способствовали образному восприятию Чаадаева, легендам о нём, возникновению флёра загадочности, связанного с его именем. Резкий профиль, высокий лоб, прекрасная форма черепа. Лицо, излучающее достоинство, силу ума и характера, как бы созданное, по словам Ф. Тютчева, для художественной миниатюры. Участник Бородинского сражения. Талантливый офицер, внезапно отказавшийся от блестящей военной карьеры. «Декабрист без декабря» (во время восстания находился за границей). Православный, симпатии которого были на стороне католицизма. Русский философ с основными своими произведениями на французском языке, с фамилией тюркского происхождения (от Чагатай – «честный», «храбрый», «искренний» – имени, широко распространённого среди тюркских народов). Чаадаева любили даже самые решительные его идейные противники. Тютчев говорил о нём: «Человека, с которым я согласен менее чем с кем бы то ни было и которого, однако, люблю больше всех». Как полагают исследователи, Чаадаев оказался прототипом ряда образов русской литературы (в частности, у Грибоедова, Достоевского).

Личность Чаадаева вплетена в его философию, пребывает в единстве с ней. Философия определила жизненную судьбу Чаадаева, а также место, занятое им в истории. Воздействие Чаадаева на всю последующую мысль оказалось велико. Н. Бердяев называл Чаадаева «первым русским философом истории» и в книге «Русская идея», имея в виду первое из его философских писем, утверждал: «Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чаадаева».

В течение семидесяти лет, начиная с 1836 года, сочинения Чаадаева запрещено было издавать в России. По Манифесту от 17 октября 1905 года цензура с повременных (то есть периодических) изданий была снята, но за книгами – оставлена. Запрет

на издание Чаадаева таким образом не был снят, и всё-таки его сочинения вышли в Казани в виде отдельных изданий, прошедших предварительную цензуру. Как такое стало возможным, кто принимал в нём участие, какое значение для распространения идей Чаадаева это имело? – обо всём этом нам предстоит поговорить подробнее. Но вначале не обойтись без, хотя бы и краткого, рассказа о том, как был запрещён Чаадаев, как складывалась судьба его сочинений до казанских публикаций на русском языке.

В 1836 году в 15-м (октябрьском) номере журнала «Телескоп», издаваемого в Москве, вышла статья «Философические письма к Г-же ***. Письмо первое». Без указания автора и в переводе с французского. Угадать имя автора не составляло труда. Им был Пётр Чаадаев. Писать на французском – значило тогда писать на языке Европы. Он имел, как когда-то латинский, функции международного языка. Философская терминология в нём была достаточно чётко разработанной. Многие русские писатели и философы – к примеру, Тютчев, Герцен, В. Соловьёв – в своих сочинениях и письмах широко пользовались им. Адресат письма, обозначенный звёздочками, – Панова Екатерина Дмитриевна, знакомая Чаадаева с 1827 года. Но письмо ей не посыпалось. Известный в литературе жанровый приём.

Сочинение Чаадаева, написанное в 1829 году, ещё до своего выхода в свет, читалось в обществе по рукописным копиям. Ни автор статьи, ни издатель журнала Н. Надеждин, ни цензор А. Болдырев никак не предвидели, что за состоявшейся публикацией последует. Сомнения Надеждина в её целесообразности Чаадаев развеял уверениями в том, что его статья уже известна власти и не вызовет её недовольства. Болдырев же – востоковед, профессор и ректор Московского университета, доверившись Надеждину и только поверхностно ознакомившись с рукописью, разрешил её к печати.

Но в России того времени существовало заметное различие в формах существования мысли: в бесцензурных рукописях, в виде слов, произносимых в устном разговоре в салонах, кружках и т. п., и в виде печатном, прошедшем предварительную

цензуре и тем самым освящённом властью. Амбивалентность сознания, сохранившаяся до сих пор. Письмо вызвало всеобщее негодование. Даже друзья, которым содержание письма было известно ещё до его появления в печати и в основном разделяли мысли Чаадаева, в большинстве своём отошли от него. Чаадаев подвергал сомнению традиционные и кажущиеся незыблемыми ценности: историю России в изложении и оценках Карамзина, чувство безотчётного и так близкого всем патриотизма, уверенность в превосходстве родных форм жизни над западными и, что оказалось особенно болезненным для общественного мнения, место и роль пассивного православия в русской жизни, которое, к примеру, поддерживало крепостничество, и которому он противопоставлял католицизм, способствовавший, с его точки зрения, социальному прогрессу в странах Запада. Первым против Чаадаева ополчилось общество. Оно жаждало того, чтобы автор статьи был наказан. И строго. По примеру Радищева или декабристов.

Решение, принятое Николаем I 22 октября 1836 года, оказалось неожиданным и по-своему разумным, так как снижало вопрос о возможном обсуждении идей Чаадаева. Он был объявлен сумасшедшим. Ему запрещалось писать, покидать московскую квартиру. Прикреплённый к нему врач должен был ежедневно посещать «больного». Доклады о состоянии его здоровья еженедельно отправлялись в Петербург. Было запрещено публиковать что-либо из писаний Чаадаева и вообще упоминать в печати его имя. Журнал «Телескоп» был закрыт. Из его экземпляров, доступных для власти, вырывались страницы со статьёй Чаадаева. Такая операция была проведена, к примеру, и с номером «Телескопа», хранящимся в библиотеке Казанского университета. Редактор журнала Надеждин был сослан в Усть-Сысольск (Сыктывкар). Болдырев лишился постов цензора и ректора университета.

Уже в следующем, 1837, году большинство из запретов, наложенных на Чаадаева, было снято. Возвратили ему часть арестованного ранее архива. Медицинский контроль над его здоровьем был приостановлен. Он начинает работать над рукописью «Апология сумасшедшего». Восстанавливается круг друзей. Чаадаев становится желанным завсегдатаем московских аристократических салонов. Однако главное – запрет публико-

вать его сочинения и обсуждать в печати опубликованное им – сохранилось. Идеи Чаадаева, как надеялась власть, ожидало забвение. Но этого не произошло.

Возвращение имени Чаадаева в русскую печать началось в 1856 году с извещения в газете «Московские ведомости» о его смерти, наступившей 14 апреля. Затем последовали воспоминания, записки и статьи о нём, публикации некоторых из его писем. Чаадаев включается в главы книг по русской истории, литературе, общественному движению. Но удивляет то, что растущее внимание к Чаадаеву обходится без изданных на русском языке его произведений. Чаадаев по своим сочинениям остаётся известным лишь сравнительно узкому кругу исследователей и читателей. Только революция 1905 года и вызванное ею послабление цензуры привели к возможности издавать Чаадаева. Но о том, как это началось и началось впервые в Казани, речь пойдёт после нескольких слов о судьбе его литературного наследия.

По завещанию архив Чаадаева перешёл к М. Жихареву, его двоюродному племяннику, который пытался, но из-за цензурных препятствий безуспешно, начать издавать оказавшиеся в его руках сочинения. В частности, «Апология сумасшедшего», подготовленная им вместе с Н. Чернышевским к публикации в первом номере журнала «Современник» за 1861 год, была запрещена цензурой. Убедившись в невозможности публиковать сочинения Чаадаева на родине, Жихарев вывозит их за границу и передает И. Гагарину, который с 1835 года был знаком с Чаадаевым, но покинул Россию в 1843 году и жил в Париже. Он издаёт их в книге с названием «*Tchadaieff Pierre. Oeuvres choisies, publiees pour la premiere fois par le Pere Gagarin. Paris-Leipzig*». 1862». В сборнике, составленном Гагариным, были три из известных теперь восьми философических писем Чаадаева, а также «Апология сумасшедшего», статья «Об архитектуре» и часть других материалов, полученных им от Жихарева. Все они на французском языке, то есть на том языке, на котором были написаны Чаадаевым. Именно из этого издания Гагарина брались тексты произведений Чаадаева, которые в переводах на русский язык были впервые опубликованы в Казани.

Казань эпохи революции, начавшейся в 1905 году, сильно отличалась от той, какой она нам видится теперь. Не станем рисовать её в отвлечённом, лишенном жизни воображении. То, что будет сказано о ней далее, основано на исторических и в основном архивных документах. Естественно, в образе Казани того времени отразится прежде всего-то, что, по мнению автора статьи, создавало условия для издания сочинений Чадаева.

Мне, человеку, который большую часть своей жизни стоялся архивов, пришлось, в связи с изданиями у нас Чадаева, вести поиски материалов и в нашем Национальном архиве. Помнится толстый фолиант из прошений, поступивших в канцелярию Казанского губернатора М. Стрижевского в 1906 году. Сотни просьб – разрешить приобрести гектографы, пишущие машинки и другую множительную аппаратуру, издавать газеты и журналы. На русском, татарском, чувашском, мариjsком языках. Открывать книжные лавки, библиотеки. Не только в Казани, но и в Козьмодемьянске, Чистополе, Тетюшах, Мамадыше. Читальные избы в деревнях. Прошения исходили от мещан, купцов, интеллигентии, духовенства и даже от крестьян. Революция сопровождалась настоящим информационным взрывом. Удивительная тяга к просвещению! В разных слоях населения. Романтические надежды на свободное слово.

В «Адресной книге г. Казани», изданной в 1906 году, есть раздел «Книжные склады, магазины и лавки». В нём обозначены четыре книжных магазина на улице Воскресенской (Кремлёвской) и отдельно антикварный книжный магазин на Большой Проломной (Баумана). Кроме того, в Казани были четыре лавки, торгующие книгами. Названо также число лавок с продажей книг на арабском и татарском языках. Их – десять. Перечисляются действующие типографии и литографии – семнадцать. По своей полиграфической оснащённости, по объёму издаваемой печатной продукции, числу газет и журналов Казань входила в первую пятёрку российских городов. А по изданию книг, распространяемых среди тюркских народов страны, она была лидирующим в России городом.

Революционное движение в Казани было особенно активным и организованным в студенческой и вообще молодёжной среде. С конца 1905 по 1906 год в Казанском университете

неоднократно повторялись сходки студентов. С требованиями не только реформировать содержание и формы образования, но сменить и власть в стране. Причём занятия в университете неоднократно приостанавливались. Не стану повторять уже известное по студенческому движению в Казани начала прошлого века. Приведу лишь один пример того, как революционность проникала даже в средние учебные заведения. Казанский полицмейстер А. Васильев 5 сентября 1906 года направил губернатору рапорт: «4 сего сентября ученики 4 класса Казанского Реального Училища после второго урока (в 11 часов дня) заперлись в классе и не допускали преподавателя для занятий, а также пели «Марсельезу» и другие революционные песни. В 12 часов дня названный класс был отпущен домой, после чего ученики тихо и в порядке разошлись по домам». Официальный документ, но, не правда ли, в оригинальном, образном стиле написанный.

Ещё одно обстоятельство, которое возрождало интерес к Чаадаеву, к переводам и публикации его произведений в Казани. Это становление в Казанском университете философской школы, сочетавшей в себе академический рационализм с социальной направленностью. Нечто подобное было и в философии Чаадаева, в которой гармонично переплетались умственное и нравственное начала. Философы университета А. Васильев, Е. Бобров, В. Ивановский, историк М. Хвостов актуализировали свои исследования применительно к реальной жизни, к социальным движениям своего времени.

Выше речь шла о так называемых объективных условиях, при которых издание Чаадаева в Казани стало возможным. Но только их было недостаточно. Возможность была реализована волей и действиями отдельных людей, которые до начатого ими общего дела были практически мало знакомы друг с другом. В том, как такое происходило, немало случайного и интересного. И оно заслуживает, с точки зрения пишущего эту статью, своего изложения.

Что нужно для того, чтобы книга, написанная автором, была издана? Как всегда – финансирование, редактор, издатель и переводчик, в случае его надобности. Сказано верно, но отвлечённо. Если готовится к изданию запрещённая когда-то книга, если продажа её может не окупить потраченные средства, если лица,

причастные к её выходу в свет, могут понести наказание, – это уже конкретная, а не просто стандартная ситуация. Именно в такой ситуации различного рода рисков издавались книги Чадаева. Предварительная цензура, хотя и не отменённая полностью, была сильно ослаблена. Нередко книги издавались, минуя цензуру, в так называемом «явочном» порядке. Но уже после своего выхода они могли быть запрещены «карательной» цензурой, а издатели их наказаны. Решением суда. Власть действовала по афоризму, который любили повторять её представители: «издавайте что хотите, мы будем сажать». Только с 17 октября 1905 по 1 января 1907 года были подвергнуты заключению в тюрьму, штрафам и другим взысканиям более шестисот редакторов и издателей России.

Инициатором издания сочинений Чадаева в Казани и человеком, который финансировал его, был Константин Гронковский. Это имя не встречается в научной и другой литературе о Чадаеве. Его нет в наших энциклопедиях, а также в Википедии. Последующий рассказ о нём строится на сведениях, почерпнутых автором статьи из Национального архива нашей республики. К. Гронковский приехал в Казань в самом начале 1903 года. Родился он в 1868 году в городке Кременец Волынской губернии в семье майора войска русского Болеслава Гронковского. Поляк, католик. Закончил университет в Цюрихе (Швейцария), в котором в 1896 году получил степень кандидата ветеринарных наук. Цюрих того времени – известный центр русской политической эмиграции. Идеи М. Драгоманова и М. Бакунина о федерализме как форме государственного устройства в их приложении к Украине и Польше в составе Российской империи оказали серьёзное влияние на формирование взглядов Гронковского. После Цюриха Гронковский занимался научными исследованиями в университете Тюбингена и зоологическом институте Мюнхена. Судя по отзывам профессоров, руководивших его научной деятельностью, он демонстрировал хорошие способности. Каковы были цели его приезда в Казань, можно только предполагать. Ведь ему здесь многое пришлось начинать заново. Сдавать экзамены за курс гимназии, чтобы поступить в университет. Затем учиться в университете, на двух факультетах одновременно, ни один из которых в конечном счёте так и не удалось ему закончить. Но Гронковский – активный участник революционных сходок студентов Казанского университета в 1906 году.

Ещё до Манифеста 17 октября 1905 года, ослабившего цензуру, Гронковский издаёт в Казани работы П. Лаврова, Л. Мечникова, А. Щапова. В первые же месяцы после Манифеста – ряд запрещаемых до этого произведений Драгоманова, английского поэта XVII века Д. Мильтона о свободе печати и, наконец, Чаадаева. Пик издательской деятельности Гронковского пришёлся на 1906 год. Вскоре после этого она вовсе прекращается. Возможные причины – не только реакция, наступившая после спада революции, но и, по всей вероятности, изменения в его материальном положении. Все свои издания он временно мог финансировать по идейным, а не коммерческим соображениям за счёт доходов от «американского магазина» на Воскресенской улице Казани, которым он, по сведениям полиции, владел.

В октябре 1907 года Гронковский просил допустить его к испытаниям на звание учителя немецкого языка, что говорит о возможном к этому времени его разорении как предпринимателя. Последнее сведение о Гронковском, имеющееся в нашем архиве, относится к марта 1910 года. Он получает свидетельство о завершении курса образования на медицинском факультете Казанского университета и допуске к государственным экзаменам. Этим правом он, скорее всего, не воспользовался, потому что его имя среди выпускников Казанского университета не числится.

Книги Чаадаева печатались в типографии Д. Грана, которая была расположена на Гостино-дворской (Чернышевского) улице. Имя Грана практически неизвестно в литературе. Сведения о нём в Национальном архиве нашей республики тоже очень скучные. Гран, Давид Маркович (до 1906 года значился в документах под отчеством Мордкович), как и Гронковский, был в Казани приезжим. В одном из архивных документов говорится, что он иудей, «происходит от детей Николаевского солдата и приписан в общество Самарских мещан». Приехав в Казань в самом конце XIX века, Гран начинает в 1900 году с открытия фотографического ателье и постепенно становится владельцем одной из известных типографий в Казани. Здесь и были напечатаны сочинения Чаадаева. Около десятка запрещённых ранее книг вышли из типографии Грана с конца 1905 по 1906 годы. Их издание финансировалось, как правило, Гронковским.

Подготовкой сочинений Чаадаева к изданию – подбором переводчиков, редактированием, включением в книгу Чаадаева «Философические письма» дополнительных материалов и другими вопросами – занимался Ивановский, Владимир Николаевич (1867–1939). Его отцом был профессор Казанской духовной академии. Имя В. Ивановского вошло в Большую советскую энциклопедию, а также в Татарский энциклопедический словарь. Это даёт нам возможность ограничиться в этой статье лишь описанием того конкретного вклада, который он внёс в издание Чаадаева.

С 1904 по 1912 год В. Ивановский работал доцентом на кафедре философии Казанского университета. Помимо оригинальных исследований, которые велись им в области философии, Ивановский задумал и начал осуществлять проект под названием «Философская библиотека». Выпуск серии книг и брошюр по философии, предназначенных в первую очередь для студентов. По примеру Московского и некоторых зарубежных университетов. В библиотеку должны были войти как переводные, так и отечественные книги. В план первого выпуска были включены Р. Декарт, Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах в переводах А. Васильева и самого В. Ивановского, а так же К. Гронковского и Г. Денике. В этом же ряду оказались и сочинения Чаадаева, переведённые студентами Казанского университета Б.П. Денике и С.М. Юрьевым.

В. Ивановский допускал сосуществование разных переводов одного и того же произведения. В своём тексте с названием «Философская библиотека», включённом им наряду с другими в книгу «Философические письма», Ивановский писал: «Многочисленность переводов способствует более глубокому изучению писателя, так как каждый перевод открывает в нём всё новые черты, новые оттенки. Поэтому не только совершенно естественно то, что у нас есть два перевода «Критики чистого разума», но жаль, что нет ещё третьего и четвёртого переводов: ведь, напр., 1-й части «Фауста» Гёте существует по-русски, если не ошибаюсь, около десяти переводов. Поэтому мы и включили в нашу серию новые переводы уже имеющихся на русском языке сочинений Беркли и Юма».

Длинная цитата. Но она нашла здесь место, так как содержание её близко автору этой статьи. Различные переводы сочинений

Чаадаева, выполненные студентами Казанского университета и М. Гершензоном, неизвестным автором, и опубликованные в почти одно время (с 1906 по 1908 годы) – свидетельство того, как активно стало осваиваться философское наследие Чаадаева на его родине. Причём с разных позиций. Переводы студентов по лексике, конструкциям фраз, эмоциональной окрашенности, по всему тому, что было в унисон с революционным энтузиазмом молодёжи, заметно отличались от переводов Гершензона, академических по замыслу, рассчитанных на возможно точное воспроизведение оригинала. Если какой-то из этих двух вариантов перевода исключается из поля нашего внимания, в частности, первый из них, как теперь это происходит, то тем самым обедняется реальность того, в каких различиях воспринимался Чаадаев в начале прошлого века.

Реализовать свой проект Ивановскому удалось лишь частично. Вышли только три книги из планируемых десяти. Две из них – сочинения Чаадаева. В марте 1906 года он обращался с письменным прошением к совету историко-филологического факультета поддержать финансирование его проекта. Большая часть профессоров не поддержала инициативу Ивановского. Поэтому он отозвал своё ходатайство и далее действовал как частное лицо. Начал искать инвесторов для издания уже подготовленных к печати книг классиков философии. Но безуспешно. Не вся классика интересовала и Гронковского, которому Чаадаев был ближе актуальностью своих сочинений, возможностью трактовать их в революционном духе. Именно Гронковский, по словам Ивановского, инициировал и оплачивал издание «Философических писем» Чаадаева.

Переводы Чаадаева были поручены В. Ивановским студентам, хотя французский стиль Чаадаева, по его замечанию, чрезвычайно труден для перевода. Но таков был его замысел: поручать переводы книг, включаемых им в «Философскую библиотеку», в основном студентам или бывшим студентам Казанского университета. В их числе оказались братья Борис и Георгий Денике, а также Сергей Юрьев – студенты университета, ещё не завершившие курс образования. Денике Борис Петрович (1885–1941) закончил историко-филологический факультет, получил впоследствии известность как востоковед. Его имя значится в Большой советской энциклопедии. В 1908

году арестовывался за участие в неразрешённой студенческой сходке. Его брат Георгий переводил не Чаадаева, а брошюру немецкого ученого М. Феворна «Современное мировоззрение и естествознание», которая была также издана Гронковским в марте 1906 года. Он закончил тот же, что и брат, факультет и был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию по всеобщей истории. Юрьев Сергей Михайлович (1884–?) – уроженец города Заинска, переводил «Апологию сумасшедшего» вместе с Б. Денике, будучи студентом медицинского факультета университета. В апреле 1906 года он был арестован за активную революционную деятельность и сослан в Астраханскую губернию. Окончить университет ему удалось только в 1912 году.

Казань начала прошлого века – город, полный различий. В нём соседствуют разные нации, языки и религии. Много ссыльных поляков. Особенно в университете. Население города пополняется и множеством тех, кто приезжает по экономическим, культурным и другим соображениям. В Казани высятся православные храмы, мечети и католический костёл. В этом контексте, возможно, не будет выглядеть аналогичным следующее соображение. Первое издание Чаадаева на русском языке, предпринятое в Казани, было осуществлено людьми, представлявшими разные религии: К. Гронковским, В. Ивановским и Д. Граном. Такое именно в Казани оказалось возможным и случилось. Если даже читатель воспримет сказанное только как метафору, то следующее – реальность. Чаадаев был близок к тому, чтобы представлять себя человеком надконфессиональной (общечеловеческой) религии. Вслед за ним это будут делать из известных русских философов и писателей В. Соловьев и Л. Толстой.

Издание сочинений Чаадаева в Казани было приурочено к 50-летию его смерти – 14 апреля 1906 года. Первой вышла «Апология сумасшедшего» в переводе С. М. Юрьева и Б. П. Денике под редакцией В. Ивановского и напечатанная в типографии Д. Грана. Её поступление к продаже анонсировала газета «Казанский телеграф» 2 февраля 1906 года. Почему «Апология сумасшедшего», написанная после «Философических писем»,

была издана первой, можно объяснить тем, как она оценивалась Гронковским. В написанном им предисловии к изданию говорилось: ««Апология сумасшедшего» – лучшее и сильнейшее произведение Чаадаева». Вряд ли с Гронковским можно согласиться, но основания и для такого суждения есть. В «Апологии» Чаадаев кратко и относительно простым языком изложил идеи, прозвучавшие в первом из его писем, и объяснил, почему они вызвали неприятие у большей части общества. К примеру, именно в «Апологии сумасшедшего» он сформулировал следующее и до сих пор вызывающее споры понимание патриотизма: «Любовь к родине – вещь прекрасная, но есть кое-что и повыше – любовь к истине... Я не научился любить свою страну с закрытыми глазами, с покорно опущенной головой, с безмолвными устами. Я нахожу, что можно быть полезным своей стране лишь под условием чуждого предубеждения взгляда на неё; я думаю, что время слепой любви прошло, что теперь прежде всего родине нужна правда».

«Философические письма» в переводе Б. Деникепод редакцией Ивановского и напечатанные также в типографии Грана, поступили в продажу в конце апреля 1906 года. Сообщения об этом появились в газетах. В «Казанском телеграфе» от 27 апреля и «Волжском вестнике» от 30 апреля. При этом «Казанский телеграф» выделил своё объявление укрупнённым шрифтом, отличающим «Философические письма» от других продаваемых книг. А объявление «Волжского вестника» было помещено накануне 1 Мая. На одной странице с лозунгами «Да здравствует 1 Мая!», «Да здравствует социализм!» и др. Оно было повторено в этой же газете 3 мая. Показательно и следующее: произведение Чаадаева было издано в ярко-алой обложке. Маркер «летучей» революционной литературы, выделявший её в массе множества других изданий.

Кроме известных к тому времени трёх философских писем Чаадаева и его статьи «Об архитектуре», в книгу был включён ещё ряд материалов, имевших отношение к его личности и творчеству. Среди них – отрывок из «Былого и дум» А. Герцена. Впервые без цензурных изъятий. Герцен в виде развёрнутой метафоры описал в нём то, каким неожиданным и глубоким оказалось впечатление, произведённое на русское общество первым философским письмом Чаадаева, опубликованным в 1836

году в журнале «Телескоп». «...Письмо Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в тёмную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли то сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет – всё равно, надо было проснуться. Письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это». Чтобы понять метафору Герцена, по которой письмо Чаадаева – «выстрел, раздавшийся в тёмную ночь», – надо представить себе, какой стала страна за десять лет после казни одной части декабристов и ссылки в Сибирь – другой. Она была в молчании, в страхе за свободное слово, в духовном оцепенении.

Другие материалы, вошедшие в это издание Чаадаева, способны привлечь внимание далеко не каждого современного читателя. Но для историка, философа, изучающего личность и философию Чаадаева или готового приступить к этому, они, несомненно, интересны. Статья В. Ивановского о Чаадаеве – короткое, но одно из лучших, по мнению автора этой статьи, исследований начала прошлого века. Переведённое с французского предисловие И. Гагарина, которым открывалось осуществлённое им издание сочинений Чаадаева в 1862 году. «Биографические сведения о П. Я. Чаадаеве». Это список литературы о Чаадаеве, вышедшей с 1836 по 1906 годы. В нём всего сорок три издания. И это за семьдесят лет. Теперь же он трудно исчислим.

Обе книги Чаадаева, о которых идёт речь, прошли казанскую цензуру. Хотя по Манифесту цензура и отменялась, она в Казани в 1906 году продолжала всё ещё действовать. Казанский цензурный комитет возглавлял историк Пинегин, Михаил Николаевич (1865–1935). Выпускник Казанского университета.

В истории книг, вышедших с позволения цензуры, была своя особенность. Часть из них в качестве так называемых «обязательных экземпляров» поставлялась в ряд государственного значения библиотек страны и некоторые другие учреждения. В нашем Национальном архиве есть документы, подтверждающие то, что положенное число экземпляров из сочинений Чаадаева, изданных в Казани, было отослано для этих целей в Москву. Они тем самым получили статус книг, подлежащих хранению в фондах больших библиотек. Ими могли свободно пользоваться как исследователи, так и обыкновенные читатели. Удивительно: оказывается не всё, что делала цензура, имело,

как мы привыкли думать, лишь отрицательные последствия.

Изданные в Казани произведения Чаадаева доходили до массового читателя. Был разомкнут круг их недоступности. «Апология сумасшедшего» была издана тиражом в 2 тысяч экземпляров, а «Философические письма» – в 5 тысяч. Даже по современным меркам это достаточно высокие тиражи. Они продавались не только в Казани, но и в книжных магазинах известной фирмы «Труд» в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и в Москве – на Тверской улице. По дешёвой стоимости. Первая в 20 и вторая в 50 копеек. Они попадали и в частные библиотеки. Следующий пример замечателен. Казанские издания Чаадаева осенью 1906 года поступили и в Яснополянскую библиотеку Л. Толстого, где они хранятся и теперь.

О самой философии Чаадаева в этой статье почти ничего не говорилось. Она – отдельная тема. И о ней так много написано. Передо мной интересный сборник «П.Я. Чаадаев: Proetcontra. Антология», изданный в Санкт-Петербурге в 1998 году. В 877 страниц. В основном – дискуссионный материал, разные интерпретации Чаадаева. А сколько статей другого типа и книг о нём! Их тысячи. В том числе и на иностранных языках. Чаадаеву посвящены целых две книги из серии ЖЗЛ. Редкий случай.

Интерес к Чаадаеву обострялся в переходные исторические для нашей страны эпохи. В начале 1860-х годов, в революцию 1905–1907 годов, во время перестройки в Советском Союзе и начала его распада. Когда пробуждалось общественное сознание, погружённое до этого в сон, когда начинали пересматриваться ставшие традиционными понятия и ценности, когда жизнь вступала в спор со старыми доктринами.

Современник Чаадаева, создатель неевклидовой геометрии Лобачевский (1792–1856) в 1826 году публикует в Казани свой знаменитый трактат «О началах геометрии». Он открывается словами: «Кажется, трудность понятий увеличивается по мере их приближения к начальным истинам в природе...» Лобачевский доказал, что геометрия Эвклида объясняет природу лишь на одном, доступном ей уровне. И он предложил новые, более «трудные» уровни, чем те, к которым мы привыкли, представил понятия, которые, однако, позволяли стать ближе «к началь-

ным истинам в природе». Первое из «Философических писем» Чаадаева было написано в 1829 году, то есть всего на три года позже трактата Лобачевского. Не о влиянии здесь речь. О совпадениях в типе мышления. Чаадаев, как и Лобачевский, но уже в гуманитарной сфере мысли подверг пересмотру такие фундаментальные, но застывшие в своей привычности понятия, как нация, прошлое, настоящее и будущее, придал им движение, приблизив их к природе современного человека.

БЫТЬ ФИЛОЛОГОМ¹

Мне легко помнить Эмилию Агафоновну. Чувство большой утраты проходит. И всё отчётилее в моём сознании то, в чем она была отлична от других, то радостное, что она собой вносила и в работу, и в жизнь. Почти двадцать лет мы были рядом, на одном факультете, виделись чуть ли не каждый день. В разные годы: «советские», «перестроечные» и в «постперестроечные». Но не об этой долгой и по-своему тоже интересной истории пойдёт речь. Стану говорить о современном, о том, что и сегодня дорого в моей памяти о ней. О её личности. А личность больше, чем история, хотя мы и приучены думать по-другому. Образ Эмилии Агафоновны, свободный от повседневности, продолжает полнить моё воображение представлениями о том, каким можно быть в науке и преподавании.

Я литературовед, и мне трудно судить о вкладе Эмилии Агафоновны в лингвистику как науку об общем, отвлечённом «языке». Мне понятнее и ближе «речь», которую Эмилия Агафоновна, по моим представлениям, так любила. Любовью редкой среди лингвистов. Она учила «речи» не только студентов, но, насколько это возможно, и всех, кому дорог живой язык. На лекциях, в выступлениях по телевидению, в печати. Она была профессором, знающим законы эволюции языка, его теперешнее состояние и правила пользования им. И не только. Она к тому же обладала даром увлекательно говорить о жизни языка. Почему тот или другой звук в нём из ряда «гонимых» ранее начинает занимать почётное место? Как слова, подобно людям, животным и растениям, рождаются, живут и умирают? Как язык совершенствуется, чтобы не только угодить человеку, но и формировать его и властвовать над ним? И ещё о многом другом она искусно, трогающим сердца и умы слушателей образом умела говорить. Это возбуждало, особенно в студентах, любознательность, которую она пестовала и всячески поддерживала.

Эмилия Агафоновна представляла Казанскую лингвистическую школу в её реальной эволюции, в приложении к изменя-

¹ Диалоги с учителем: памяти известного казанского ученого-филолога Эмилии Агафоновны Балалыкиной / под общ. ред. И.В. Ерофеевой, Ю.В. Агеевой, Е.Г. Штырлиной. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. С.8–9.

ющейся жизни. Особенно ей удавалось продолжать традиции, связывающие лингвистику с общественной жизнью, что было, как известно, свойственно для основоположника этой школы И. А. Бодуэна де Куртенэ. Разноязычие в Казани, свидетелем чего он в своё время оказался, повлияло на его лингвистические открытия и, в частности, на основное из них – учение о фонеме. По его идее, существование разных языков – показатель органической эволюции культур. И в центре научных интересов Эмилии Агафоновны был русский язык не только в самом себе, но и во взаимодействии с другими языками. Кафедра современного русского языка, которую она возглавляла многие годы, была по-настоящему современной как по содержанию, так и по формам своей деятельности. Особо значительным оказался её вклад в продвижение русского языка в неродные для него сферы культурного общения. Именно при ней Казанский университет стал одним из известных в стране центров изучения и преподавания русского языка как иностранного.

Мы сильны в мечтах и слабы в изобретениях. Нам нередко кажется, что новое время, нашим талантам и склонностям родное, явится чудесным образом само. И ждём его. Эмилия Агафоновна была далека от подобных утопий. Мне, многие годы бывшему деканом филологического факультета в непростое время, приходилось выслушивать, как говорится, обоснованные жалобы, видеть растерянность и апатию в сотрудниках факультета. Она была не из числа пессимистов.

Человек без отягчающего груза сомнений, без раздвоенности в своей личности, без страха, настойчивая, Эмилия Агафоновна подчиняла обстоятельства поставленной цели. Поэтому она так дорожила свободой, которая и в самые трудные годы университета ещё сохранялась как традиция. И в своих учениках она открывала, культивировала ту творческую энергию, что есть в них. Они сравнительно легко узнаваемы теперь по заданной Учителем «матрице» лингвистического мышления, по активному участию не только в исследовании языка, но и в самой его жизни.

То, что природой было дано Эмилии Агафоновне, её трудами и волей возвращено в себе, излучает свет. Она была филологом, каким и нам хочется стать. И более того: её жизнь пример того, как можно на деле становиться им.

ГЕНИЙ, ДЕМОН, ПРИЗРАК?¹

*«История не учительница, а надзирательница.
Она жестоко наказывает за незнание её уроков»*
B. O. Ключевский.

Продаю свою библиотеку. Я уже дважды это делал. Вначале после женитьбы, чтобы наладить новый быт. Затем во время переезда из студенческого общежития в квартиру. И каждый раз по новой начинал собирать книги. Теперь всё. Оставлять библиотеку некому. Детям и внукам она не нужна.

Но среди книг есть одна, которую не продашь. И ничего она не будет стоить. Даже имя её автора вызовет у потенциальных покупателей чувство отторжения. Она была первой в моих увлечениях книгами, и отношение моё к ней особое. Кажется, я не смогу с ней расстаться. Об этом последующий рассказ.

Весна 1943 года. Отец на фронте. Мама и мы, четверо детей, в деревушке Максютово на Южном Урале. Мне восемь лет. Пока мама на колхозной риге, старшая сестра в школе, я должен нянчить младшего брата Фарита. Мы с ним располагались обычно на полу чулана дома. Время от времени, когда он начинал настойчиво плакать, я был обязан давать ему в узелке из марли комочек разжёванного мною хлеба из ржаной муки и картофеля.

Соседский мальчик лет одиннадцати Жавдат часто приходил к нам. Становился, прислонившись к косяку двери, или присаживался на боковую половицу крыльца. Говорить было ни о чём. Мне помнится, в войну дети мало между собой говорили, редко смеялись, или играли. Он, как правило, подолгу смотрел на меня, Фарита, ломтик чёрного хлеба на платочек и, ничего не сказав, уходил. Но один из его приходов запомнился в подробностях и навсегда. Явился он тогда, босой, как обычно, но подпоясанный широким офицерским ремнём, с перекинутой через плечо портупеей и в фуражке со звездой. В амуниции, оставленной призованным на фронт старшим его братом. В руке его была картонная коробка, как оказалось, с книгой. Солнечный свет,

¹ Казанский альманах: Лазурит [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. Казань, 2019. С.191–194.

проникавший полосками в длинные щели рассохшихся досок, из которых был сколочен чулан, освещал его фигуру, причудливо разделяя её на части по горизонтали.

Протянутая мне коробка вся была в солнечном свете. Книга плотно прилегала к её краям, но оказалось легко её достать. Мои пальцы приятно скользили по очертаниям барельефа на переплётё, ощущали остриё её страниц из плотной бумаги, чистых в начале и с широкими полями по всей книге. Как хорошо было бы писать на них! Наши школьные тетради сшивались из газет, и писали мы между печатными строчками в них. Вернуть книгу я не мог. Жавдат повёл глазами на ломтик хлеба, и всё было решено. Я ему его передал. Уходя, он сказал: Линин. Так произносилось татарами слово «Ленин». Они долго привыкали правильно его выговаривать. В языке даже современного татарина с родным для него татарским языком можно заметить, если внимательно вслушиваться, выравнивание по звучанию гласных звуков в произносимых им русских словах.

У истоков моего библиофильства эта книга Ленина. В своём содержании она была мне недоступна, но дорога просто как книга, как искусно сделанный предмет, мне принадлежащий. И такое продолжалось долго. Но слово «Ленин» было рядом. В школе, в армии, в университете. Оно конструировало моё сознание. В компартию я был принят по «ленинскому призыву» в июне 1956 года, после XX съезда партии. В армии, по рекомендации командира батальона, в котором служил. В университете прочитал всего несколько небольших статей Ленина. Как и остальные студенты, «конспектировал» его работы по их пересказам в учебных пособиях. Такое преподавателям было известно и поддерживалось ими: чтение оригиналов могло подтолкнуть студентов к «ошибочным» их трактовкам. На четвёртом курсе я, практически не знавший Ленина, был поощрён за отличную учёбу и общественную работу ленинской стипендией, в несколько раз большей, чем рядовая.

Романтизм в моём восприятии Ленина продолжался до знаменитого «Открытого письма ЦК КПСС ЦК Компартии Китая», опубликованного в газете «Правда» 14 июля 1963 года. К тому времени я окончил университет и готовился к экзаменам в аспирантуру. С газетой «Правда» и с моим томиком Ленина я перелез через ограждение Центрального стадиона Казани и в одиночестве, расположо-

жившись на восточной его арене, лицом к Волге, к солнцу, стал читать это большое (в четыре страницы) письмо. Оказывается, оно было ответом на полученное за месяц до этого и не опубликованное у нас письмо ЦК КПК. Почему неопубликованное? Потому, говорилось в тексте, который я читал, что публикация привела бы к обострению полемики и к разжиганию страстей. Но Ленин-то был страстным полемистом! Из читаемого далее я понял, что и наше, и китайское партийные руководства расходятся в оценках Ленина и каждое из них считает его своим. Кто же он, чей он на самом деле, было не понять. Тогда-то я и начал открывать свой том Ленина, читать, пытаться осмысливать его тексты.

Когда я стал аспирантом, к первой моей книге начали прибавляться другие. Вначале приобретал я их случайно, покупая в букинистическом магазине то, что казалось интересным и было доступным по цене. Постепенно определилось и основное направление в моих увлечениях – русская литература и особенно авангард в ней, русская философия и история. То в них, что запрещалось, издавалось малыми тиражами, отличалось оформлением и др. Вместе с увеличением числа книг росла и необходимость группировать их и располагать в определённом порядке. Установить его оказалось несложно. Но только книге Ленина не находилось постоянного места в нём. Она могла быть везде и нигде определённо. Возможно, футуристическая поэма Маяковского «В. И. Ленин», подтолкнула меня видеть книгу, о которой речь, в литературном авангарде. Я пытался это сделать, начал искать поводы как в книге, так и в самом её авторе.

Во время первой мировой войны, будучи в эмиграции в Швейцарии, Ленин и Крупская жили в Цюрихе. Почти рядом с их домом находился ресторан, в котором собирались дадаисты. Они устраивали поэтические чтения и представления под какофоническую музыку. Но основным их занятием было составление революционных манифестов. Авантюризм – сотни манифестов. На русском языке тоже. Как любили манифестиовать себя и свои идеи наши авангардисты! Выступлениями в Политехническом музее, на различных собраниях, в кабаре. Необыкновенными своими костюмами, нередко геометрическими по форме, вызывающим стилем поведения. В одно, общее движение их объединяло стремление разрушить традиции, каноны, прорваться к новым началам в творчестве.

Большая часть работ Ленина – тоже манифесты: газетные статьи, тезисы, выступления. С типичным и для авангарда разрушающим пафосом. Мне кажется: Ленин на броневике Финляндского вокзала, с краткой и обращённой к толпе речью, – лучшая тому иллюстрация. Он охотно выступал в любой аудитории и манифестировал свои идеи. Но при своём сходстве с авангардом Ленин существенно отличается от него. В нём нет игры в разрушение, которая так сильна в русском авангарде. И в нём вовсе нет характерного для него эпатажа.

Мой том – первый из трёхтомника сочинений Ленина, изданного в 1937 г., к 20-летию Октябрьской революции. С фотографическим портретом автора, с его факсимиле, с гравированным переплётом в три цвета и с золотым тиснением на корешке. Тяжёлый от качества бумаги, толстого переплёта и большого числа (более 500) страниц. В нём и знаменитые «Апрельские тезисы», произнесённые Лениным 17 апреля 1917 года в Таврическом дворце Петрограда. В них его страсть к разрушению достигает апогея. Цель ленинского проекта – разрушить российское государство, армию, войну, чиновничество, полицию, банки, собственность... Как блекнет авангард, замкнутый в художественной фантазии, в игре слов, в экстравагантных движениях, на этом фоне последовательного разрушения! Ленин показал, что есть и может быть за тотальным разрушением, за «Чёрным квадратом». Свобода? Новый диктат? Развалины, от которых веет холодом? Барельеф Ленина в книге, о которой я говорю, – в стиле, изображавшем древнеримских императоров. Иногда Ленин, скуластый, с узкими серыми и острыми глазами и короткими ногами, мчится мне в образе сметающего всё на своём пути блоковского скифа на коне.

Моей «первой книге» в среде сочинений авангардистов одноко. Возможно, ей просторнее в русской литературе и философии, где у идеи «разрушения» тоже своя история? К примеру, в сочинениях П. Чаадаева, Д. Писарева, К. Леонтьева, М. Бакунина, С. Нечаева. Эта же идея образовала целое течение в умонастроениях русского общества начала прошлого века. Она в ожидании апокалипсиса, конца культуры и даже исчерпавшего себя человеческого существования. В дневнике А. Блока есть такая запись: «5 апр. 1912. Гибель *Titanica*, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть ещё океан). Бесконечно пусто и тяжело».

Британский корабль «Титаник», роскошный и недолгий в плавании, был в восприятии Блока и многих его современников символом богатства и власти немногих над остальным миром. И его гибель воспринималась как возмездие самой природы за творимое человеком зло.

Ленин идентифицировал себя, пока не стал Председателем Совнаркома, как писатель, литератор, журналист. Политиком он был по призванию, но стал им благодаря дару слова, оратора и полемиста. Несомненно, он литератор. И опять с отличающими его особенностями. Основная из них – единство слова и дела. То, о чём так было желанно русским писателям, но так редко достигалось ими. Тексты Ленина не просто слова, они – сама история в её трагической и неумолимой поступи. Он как личность растворён в истории и творит её.

У Ленина нет литературного стиля в привычном для нас понимании. В выверенной образности, метафорах и других так называемых «художественных приёмах». Там же, где они есть, они второстепенны для него. Стиль Сталина елейный, Троцкого – декларативный, Луначарского – профессорский, Бухарина – пышный. Они оттачивали слово, чтобы красоваться, производить впечатление, добиться влияния. Для Ленина же стиль как предмет заботы не существует. Хорошо сказал об этом сюрреалист С. Дали: «Местами Ленин пишет лучше, чем какой-нибудь Кокто или Пруст. По крайне мере, он не острит пошло, и у него вы ничего не найдёте о рассыпчатых пирожных, переваренных в детстве. Но зато можете почерпнуть что-нибудь о путях гибели современной действительности».

Я нередко бываю в книжном магазине в «Кольце». В июне в его философском отделе был выставлен репринт книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», впервые изданной в 1909 году. Продержался он на полке недолго. В следующий мой приход его уже не было. Но продолжали оставаться на местах рафинированные Ж. Бодрияр, Ж. Делёз, Т. Адорно, Ж. Батай, представляющие последнее слово в философии. В книге, написанной в остро полемической манере, Ленин предлагал вернуться к самым началам философии вместо терминологических дискуссий и оторванных от жизни абстракций, которыми она в его время была перенасыщена, и начать философствовать по-новому. И теперешний интерес к книге Ленина не знак ли уста-

лости молодёжи от словесной эквилибристики, вымученных философских тонкостей, далёких от её интересов, и желания вновь обратить философию к жизни?

22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина. Он, изменивший историю не только нашей страны, но и мировой, мало читанный и понятый, предаётся забвению. Оттеснён в мифологию: гений – в советское время; демон зла – теперь. Призрак. Я не ленинист, как может показаться кому-то из написанного выше. Я хочу демифологизировать Ленина, понять его. Не как пришельца из ниоткуда или несчастный и подлежащий забытью случай в нашей истории. Он в отечественной истории, в её сути. И в новом возмездии, если мы не станем из нашей истории делать выводы. Что будет с нами, когда сращение власти и денег, ставшее правилом нашей жизни, достигнет своего катастрофического предела? Уже теперь 10% богатых россиян владеют более 80% личного состояния в стране. По этому показателю мы впереди Китая и США? Не сменится ли наше существование очередным, подобным ленинскому разрушением?

РЕВОЛЮЦИЕЙ РОЖДЕННЫЙ И УБИТЫЙ¹

*Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры остриё и усечённый волос –
Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.*
Иосиф Бродский

28 марта этого года исполнилось 100 лет со дня трагической гибели татарского и башкирского поэта Шаехзаде Бабича. Ему было всего 24 года. Как и многие поэты своего времени, Бабич с восторгом принял Октябрьскую революцию. Поверив в обещания большевиков предоставить свободу угнетённым народам, поэт активно включился в борьбу за образование башкирской государственности. Но во время организованного, в том числе и им самим, перехода башкирского ополчения на сторону рабоче-крестьянской красной армии он без суда и следствия, в порыве бессмысленного красного террора был расстрелян. Его тело, привязав к хвосту лошади, убийцы волочили по земле, затем, выколов глаза, оставили на поле. Только белогвардейцы, неделю спустя пришедшие на смену красным, похоронили его.

Большую часть своих стихотворений Бабич написал на татарском языке. Татарский и башкирский – языки близко родственные. Различия между ними незначительные. В фонетике и лексике. Преимущественно на башкирском языке Бабич стал писать после революции.

Единственный прижизненный сборник произведений Бабича «Синие стихи» (объёмом всего в 39 страниц) был издан в Оренбурге в 1918 году. В начале 20-х годов в Казани и Москве выходят пара тоже небольших по числу страниц книжек с его стихотворениями, издание которых было организовано Г. Ибрагимовым. Затем в условиях господства советской идеологии Бабич был надолго «забыт». Возвращение его в литературу началось в конце 50-х годов, в эпоху краткой «оттепели» в политике и культуре, наступившей после XX съезда коммунистической партии. Теперь основное поэтическое его наследие издано. Значительный вклад в это внесли татарские учёные Х. Усманов

¹ Казанский альманах: Коралл [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. 2019. С. 175–183.

и Г. Гильманов. Проведено немало исследований, посвящённых жизни и творчеству поэта. Большинство из них о его участии в социально-политических событиях времени и роли в становлении национальной башкирской литературы.

Однако о природе и сущности таланта Бабича написано очень мало; в частности, о том, что он по мировосприятию, по содержанию и формам своей поэзии был близок к суфизму и исламскому мистицизму. Данная статья, предваряющая мои переводы стихотворений Бабича на русский язык, – попытка начать разговор об этих особенностях его творчества.

В X веке в исламе сформировалось движение против религиозного догматизма, за право личности непосредственно обращаться к Богу. Оно получило название «суфизм» и в первые века своего существования считалось еретическим. Его сторонники преследовались, казнились. Но в XII веке суфизм признаётся в исламе в качестве отдельного течения. С этого времени он интенсивно развивается в философии и литературе и мигрирует в культуру принявших ислам народов. В этот длительный процесс было включено и творчество выдающихся писателей Средневековья А. Газали, Д. Руми, Ш. Хафиза, А. Джами и др.

Поволжья и Южного Урала суфизм достигает в XIV веке. Значительным и оказывающим влияние на татарскую культуру фактором он становится в XVIII–XIX века. Известные поэты-суфии того времени – А. Каргалый, Х. Салихов, Г. Чокрый. В XX веке одним из ведущих центров суфизма было медресе «Галия» (1906–1920), находившееся в Уфе, в котором в 1911–1916 годы Шаехзаде Бабич учился. В его библиотеке имелось богатое для того времени собрание книг по философии и литературе, выпи-сывались журналы и газеты на татарском, арабском, русском языках. Учащиеся там пользовались большими, чем в других медресе, правами, они могли заниматься в городских библиотеках, выпускать рукописный журнал, устраивать музыкально-литературные вечера, ходить в театры, носить костюмы европейского образца... Медресе просуществовало недолго. Но его успели окончить около полутора тысяч человек. В их числе Г. Ибрагимов, С. Кудаш, Х. Туфан, М. Гафури, Г. Нигмати и другие известные писатели и учёные.

О суфизме написано достаточно много и в ряде случаев – языком доступным для широких кругов читателей. Главное в

нём – преодоление границ: между человеком и Богом, человеком и природой, людьми в обществе, религиями, а также в сознании самого человека. Границ, которые догматики ислама чётко устанавливали. Человек, Бог, природа, по их учению, – разные и фиксированные каждый в себе величины, а взаимоотношения между ними неравные, иерархические. Суфизм противопоставил этому учению идею единства мира, в котором его составляющие находятся в постоянном взаимодействии.

По суфизму, человек – универсум, совокупность пересечения природного и духовного начал. Человек может «возвращаться» в природу, чувствовать себя существом, созданным Богом, оказаться другой, более значимой, чем он сам, или, наоборот, гонимой личностью. Бабича вне такого представления трудно понять. Что же за герой, который является к нам в его стихах? Синее небо – его корона, пёстрая земля – его трон; крылья бабочек – его крылья. Он – в голосе скрипки, в солнечных лучах. У него свой ангел-хранитель. Он – божий посланник, искупающий смертью земное зло. Лирический герой, как принято в теории? Нет. Сам автор в разных формах природы, в разных лицах. Находить по привычке только метафоры и другие так называемые «художественные приёмы» в приведённых примерах значило бы обделять творчество поэта. Для него превращение личности в «неживую» природу или растворение её в Боге – реальность. «Мистика», – скажет серьёзный учёный. Да, мистика. Но без отрицательных коннотаций этого слова, которыми оно обросло в нашем сознании.

У Бабича целый цикл стихотворений о музыке. И здесь воздействие суфизма очевидно. В ортодоксальном исламе музыка, танцы, театр были запрещены. Сдержанное отношение к ним в исламе среди татар сохранялось вплоть до начала прошлого века. Но музыка и танцы настолько привлекательны, что даже религия не смогла пресечь их. Для суфия каждый музыкальный звук – частица небесной гармонии. Великий поэт-суфий Д. Руми (1207–1273) написал ставшие хрестоматийными слова: «Дом любви целиком построен из музыки, стихов и песен». Любви – и в обыденном смысле слова, и в её трактовке суфиями как бескорыстного милосердия.

Бабич играл на скрипке, мандолине, хорошо пел, собирал и записывал народные песни. Кроме стихотворения «Скрипка»,

включённого в этот текст, у него есть стихи о мандолине, *кануне*, *курае*. Многое в своей поэзии он написал на мотивы народных песен, подчёркивая тем самым, как музыка может предшествовать слову. Не знаю, есть ли у современных татарских поэтов такие стихи, но в начале прошлого века существовала целая традиция поступать таким образом. У Бабича – объёмное (21 байт) стихотворение, посвящённое Аль-Фараби (872–950) – философи, математику, автору «Большого трактата о музыке».

«Милосердие» было написано Бабичем в самом конце его короткой и трагически оборвавшейся жизни. В нём он предсказал свою мученическую смерть. По жанру оно – своего рода исповедь, завещание, эпитафия… И суфизм здесь в сути своей: Бог и человек. В «Милосердии» заложена известная в суфизме (в христианстве тоже) идея: «Бог создал человека по своему подобию и хочет видеть в нём себя». Его герой – пример становления человека таким, каким он может и должен быть по замыслу Создателя. Без ненависти, прощающим, любящим. С такой же милостью в себе, о которой говорили суфии в другой известной среди них заповеди: «Милость Бога превосходит его гнев».

Говорить о «Милосердии», опираясь на дифференциалы (дескать, вот автор, вот герой, вот жанр и т. п.), значило бы уходить от главного в произведении. У стихотворения – подзаголовок «Подарок моего сердца». Но это сердце не только автора, как можно предположить, но и сердце распятого героя произведения. Как и слеза, и кровь, стекающие по длинному древку копья, – одно для них. Реальность и миф, прошлое и современное разделялись ортодоксами ислама, как и мы привыкли делать. Но здесь это теряет смысл. Над всем – над «героями» и временем, над различиями в религиях – царит Милосердие.

Следующее, что я скажу о «Милосердии», возможно, вызовет удивление или неприятие читателя. Его герой – явная аллюзия (намёк, указание) на Христа. Он распят (слово «янеч» в авторском тексте может переводиться «распни»). Длинное, вонзаемое в грудь копьё, падающая на землю кровь, камень, брошенный под ноги казнённого… Всё это о Христе: в легендах, в литературе, в живописи. Хотя и в исламе Христос был в составе святых, у суфииев существовал более известный им мученик-мистик, философ и поэт Мансур Халладж (858–922), обвинённый

в церковной ереси и приговорённый к смерти. По дороге к месту казни он, как гласит предание, закованный в кандалы, танцевал и декламировал стихи мистического содержания. Этого Бабич не мог не знать. И всё же мученик в «Милосердии» больше указывает на Христа, чем на Халладжа. Почему такое оказалось возможным? Смешение образов в воображении поэта? Не исключено. Но, как мне представляется, вероятнее другое.

Суфизм отличался веротерпимостью, легко заимствовал идеи из эллинизма, иудаизма, христианства и иных источников. Преодоление границ, которое как характерная особенность суфизма была отмечена выше, касалось и религиозных различий. Крупнейший теоретик суфизма и очень известный в тюркоязычном мире философ и поэт Ибн Араби (1165–1240), разработавший учение о единстве бытия, а также о «совершенном человеке», в одном из своих стихотворений писал: «Моё сердце стало способно принять любую форму: оно и пастбище для газелей, и монастырь для христианских монахов, и храм для идолов, и Кааба для ходящих вокруг паломников, и скрижали Торы, и свиток Корана. Я следую религии любви...» Так же, как и Ибн Араби, Бабичу было одинаково дорого Милосердие, будь оно в Халладже или в Христе.

Творчество Бабича пришлось в основном на годы Первой мировой войны, революции, Гражданской войны – на времена долгих страданий и грёз о светлом будущем. Подобно А. Блоку, А. Белому, С. Есенину и другим русским поэтам, Ш. Бабич принял революцию как восхождение на Голгофу – искупление кровью социального зла. Его «Милосердие» написано в один, 1918-й, год, что и поэма А. Блока «Двенадцать» также с образом Христа в ней.

Суфизм в своём многовековом продвижении на север достиг берегов Урала и Волги, приспосабливаясь к новым условиям. Он постепенно становился более социальным, что подтверждается творчеством как Бабича, так и С. Рамиева, С. Сунчалея и некоторых других татарских поэтов. В то же время многое из него, что касается, к примеру, образа жизни (аскетизм, скитальчество, отречение от мирского), среди татар не прижилось.

Бабич – поэт иного, в сравнении с Тукаем, дарования и творческих устремлений. Тукай – светский поэт, перенявшний традиции русской и через неё западных литератур, основополож-

ник новой татарской поэзии. Бабич религиозен, по-восточному философичен, он не оставил традиций, заметных в современной татарской поэзии. Погиб он очень рано, когда в нём только начинался новый этап творчества. Философская лирика, на путь которой он становился, после ранней смерти тоже не имела продолжения. Так сложилась история.

Не старомодно ли то, о чём я пишу? Не лучше ли было опубликовать написанное в научном издании, а не в современном альманахе? Слова «милосердие», «прощение» и даже «любовь» в такой инфляции теперь. Они так желанны! И как мы хотим, чтобы нас бескорыстно любили и прощали! И написанное о Бабиче не только связано с горестной датой его судьбы. Оно и о том, что в нас постоянно и в литературе вечно.

Шаехзаде Бабич

1895–1919

Скрипка

*Подруга стройная, с шеей лебединой,
ты чувства нежные пленишь волшебною игрой.
Мелодий чудных ты родник неистощимый,
и звуков ты – казый¹*, язык гармонии небесной.
И трелью соловья разлейся, свистом, щебетаньем,
и томным лепетом иль ропотом коварным.
Я – в голосе твоём, и трепетном и звучном.
Какой таинственный и дивный он!
То пламенем небесным лёд сердца обжигает,
то, плача и смеясь, болящий дух терзает.
Кто, чутких струн касаясь, сеет звуки?
И радостью взволнован он иль ропщет полон муки?
Посланница небес – пленительная пери²**?
Иль демон зла – лукавый соблазнитель джинн³***?
Души моей царица! Мне радостно и больно,
и ласково с тобой.
Мне без тебя весь мир – пустой, холодный рой.*

1915

¹ Казый – властелин.

² Пери – фея.

³ Джинн – злой дух.

Счастье

Синее небо – моя корона, пёстрая земля – мой трон.
 Белое солнце – бахет¹* мой; я – хан свободный.
 Звёзды и луна – сердечные друзья;
 жаворонок, соловей – птицы певчие мои.
 Выйду в поле: цветы и травы
 меня встречают волной поклонов.
 Бабочки – цветы души моей и крылья,
 стайкой лёгкой вокруг роятся.
 Утренний зефир струится,
 ласково ребёнком тебя целует.
 На гору взойду ... Ax! Взлететь бы!
 Небосклон обнять бескрайний!
 Как безумен я ... в горячем исступлении...
 Свободен, счастлив безгранично!

1916

Душа моя

Душа моя! Только небу поклоняться, лишь красотою
 возгораться перестала ты зачем?
 Ты в венке, из стихов сплетённом, с мольбою к Музе
 обращённой перестала быть зачем?
 Как голубь, большие не воркуешь ты в гнезде
 из солнечных лучей,
 и дифирамбы не поешь в стихах из сладостных созвучий.
 Как ангел, на крылах лазурных не летаешь, источая
 благоуханье рая, стихи лучистые, лучистую любовь.
 Родимая!.. Покинув небо, на землю ты сошла зачем?
 Мир красоты оставил, во тьму страданий погрузилась
 и тело обрела зачем?
 Мечтала и на земле несчастной быть свободной?
 И красотою восхищать, любить и быть любимой?
 Страдалица моя! Разрушь темницы стены,
 в родное небо возвратись.
 Пусть только тень твоя, от розовой зари алея,
 падёт на землю.

1917

¹ Бахет – счастье.

Природы рай
(Любовь)

*В золотом дворце просторном, озеро если,
На берегу его купина с соловьём поющим если.
Под ней Гыйрфан с Мариям, обнявшись,
в поцелуе сладком стоят если.
Вод царица видит их, улыбаясь,
«Будьте счастливы», – говорит если.
Клики лебедей, по лону озера плавающих...
Острокрылых ласточек в лучах солнечных полёт...
Где ж твой рай, о Боже всемогущий, если
Мир земной устроен так?*

1917

Милосердие
(Подарок моего сердца)

*Душа моя от земных страстей свободна.
Милосердия она обитель.
В ней ангел в облике девичьем
беспрестанно слёзы льёт.
Не печали слёзы, не сожалений, надежд разбитых –
горький знак.
Милосердия слёзы, сострадания, любви прощающей
поток.
Ангел чистыми слезами мой болящий дух врачует,
лелеет сердце мне, жемчугами украшает.
Пламень гнева моего милосердием потушен.
Сердце излучает свет. Страстям земным
предел положен.
Гордыня, Алчность, Месть, Жестокость... – духи зла,
словно устыдившись, руки опустив, стоят.
Рабы страстей! Перед вами я – от гнева отрешенный,
посланник неба, искупитель зла смиренный.*

*Я выдержу: иди родной, распни меня, руби секирой,
коли копьём.
Я улыбнусь: жало острое копья грудь с радостью
примет.*

*Слеза моя, по древку длинному стекая,
смоет кровь
и, вспыхнув солнечным лучом, падёт на землю.*

*Голубым цветком взойдёт, к небу обращённым;
к небу – вознесения души моей чертог желанный.*

*Камень, брошенный в меня, к тебе хлебом
возвратится.*

*Пусть он в памяти твоей как милосердия дар
хранится.*

*Милосердие моё как море: бездонно, широко,
безгранично.*

Бремя зла и яд страстей смывает волнами оно.

1918

Перевод Ямиля Сафиуллина

От переводчика:

Любезный читатель! Я представил пять своих переводов стихотворений Шаехзаде Бабича. И хочу объяснить то необычное, что кроется в них и, возможно, трудное для восприятия.

К чему эти длинные строки? Почему так много двустиший? Что за стихотворные размеры? Что значит повторение одних и тех же слов?

Строка, стих – композиционная и смысловая единица стихотворения. Какой окажется её длина при переводе, зависит от природы, встретившихся в нём языков. Слова в татарском языке короче русских. *Су* – вода, *таш* – камень, *кояш* – солнце, *бит* – лицо, *баш* – голова. Не всегда, но в целом короче. Поэтому строка текста, переводимого с татарского языка на русский тяготеет к тому, чтобы оказаться длиннее оригинала. Так же, как и при переводах с английского языка на русский, потому что и английские слова в среднем короче русских. Конечно, строку оригинала при его переводе можно сократить, если она не укладывается в общую форму, «разбить» на две. Мне не хотелось этого делать.

Основная часть стихотворений Бабича в *баитах* (от арабского *бейт* – двустишие). В русской литературе они редкость.

При переводах на русский язык байты часто «перестраиваются» в привычные для читателей четверостишия. Такое тоже трудно принять. В байте – замкнутое в себе содержание. В байтах восточных литератур подобно тому, как из янтарных бусинок собирают чётки, складывались малые жанровые формы. Но и целые эпические поэмы Фирдоуси, Руми, Низами и других восточных поэтов тоже состоят из байтов.

Система татарского стихосложения, особенно начала прошлого века, иная, чем у русского. Она силлабическая (от греческого *syllabe* – слог): построена на соизмеримости строк по числу слогов. Так, в стихотворении Бабича «Счастье» строки по 10 слогов каждая, в «Милосердии» – по 15.

Что делать переводчику в такой ситуации? Переводить татарскую силлабику русским её вариантом, отставленным ещё в конце восемнадцатого века? Интересный был бы опыт, если бы его удалось реализовать. Перекладывать силлабику в размеры русской поэтической классики? Но у каждого русского стихотворного размера есть своё содержание, которое при обращении к нему проявляет себя независимо от того, кто, когда и о чём пишет. При переводе это содержание станет трансформировать оригинал.

Следующее и очень существенное различие в системах татарского и русского стихосложений касается роли ударения в образовании ритма. Она очень высока в русском *силлабо-тоническом* стихосложении. Ударные слоги в нём организуют стопы ямба, хорея и других размеров. Подвижность русского ударения позволяет ему быть сильным и гибким ритмообразующим фактором.

Но в татарском языке ударение фиксированное, как в языках польском, французском и в виде тенденции – английском. Оно не может, в отличие от русского, столь активно участвовать в образовании ритма. Сказанное является причиной того, что в переводах, о которых идёт речь, нет привычной и желанной ясности в стихотворных размерах.

В переводах часто встречаются повторы отдельных слов и их сочетаний. Это, по обычным представлениям, не красит текст: *слеза, луч, жемчужина, сердце, голубь, море, синий*. Но они – в самих оригиналах. Это слова-символы философского, лирического и других содержаний. К примеру, *луч (нур)* – символ

эмансации (нисхождения) божественного в природу, в явления, в человека. Поэтому Бабич и стихи, и любовь называет «лучистыми». *Жемчужина* – капля дождя, упавшая в океан и в раковине сохранившая себя. Она в океане, но не растворена в нём. Символ томления личности по единству. Вот почему ангел-хранитель в стихотворении «Милосердие» жемчугами (так неожиданно для нас) украшает сердце героя. Эпитет *синий* нередок в поэзии Бабича. Его первый сборник назывался «Синие песни». Синего цвета фиалка – символ суфиев. Тёмно-синим было и их скромное одеяние из грубой шерсти.

Не без оснований многие полагают, и с ними я согласен, что стихи непереводимы. Поэтому-то они постоянно и по-разному переводятся. И имеют столько же содержаний, сколько раз переводятся и читаются.

От редакции:

К сожалению, это последняя статья Ямиля Галимовича Сафиуллина. Он написал её специально для альманаха, но увидеть опубликованной уже не смог.

А как радостно и вдохновенно мы начинали! В мае 2017 года в нашем альманахе появилась его первая ласточка под названием «Крутые повороты: арабица, латиница, кириллица». Это была свежая волна в наших публикациях по языкоznанию, научно обоснованная и популярно изложенная, это был уровень! За ней, в том же году, последовала статья «Чаадаев и Казань», книги которого, оказывается, переводились с французского и издавались в первые годы XX века в Казани. Так и пошло, статья за статьёй, публикация за публикацией – Ямиль Галимович превратился в нашего постоянного автора.

Откровенно говоря, мы его в своё время больше знали в качестве декана филологического факультета Казанского университета, интересного преподавателя зарубежной литературы. А тут на страницах альманаха он предстал как философ, как мыслитель самого широкого спектра знаний.

С нестандартным, парадоксальным образом мышления, с дарованием глубоко проникать в исследуемую тему...

Но больше всего Ямиль Галимович удивил, когда прислал для публикации прозу – рассказ из жизни армейского снайпера «Яблоко от яблони», который мы опубликовали в декабре 2018 года. Это был его писательский дебют. На презентации выпуска альманаха он сказал: «Я решил проверить теорию практикой – сам написать рассказ после многих лет чтения лекций о литературном творчестве». Скажем прямо: опыт удался.

Казалось, наше сотрудничество с Ямилем Галимовичем будет успешно продолжаться и радовать читателей. Как-то не бралось во внимание, что нашему неизменному автору шёл ни много ни мало 86-й год. Он был свеж, бодр и полон творческих планов.

Последний наш разговор состоялся в июле с. г., когда Ямиль Галимович уже лежал в больнице. Он сказал: «Это, скорей всего, моя последняя статья». К глубокому сожалению, он оказался прав.

При этом разговоре Ямиль Галимович попросил готовящуюся к печати статью опубликовать по возможности без правок, как есть. Пожалуйста, она – перед вами.

ЖИЗНЬ ПОЭТА В ЕГО СТИХАХ¹*125-лет со дня рождения Ш. Бабича*

*Ничто не уводит от мира вернее, чем искусство,
и ничто не связывает с миром теснее, чем искусство.*
Гёте

14 января этого года исполнилось 125 лет со дня рождения Шаехзаде Бабича (1895–1919). Событие, которое осталось почти не замеченным в нашей печати, науке, издательском деле, в разнообразии и других, популярных форм, посвящаемых литературным юбилеям. Почему же поэт столь высокого таланта недостаточно известен современному татарскому читателю и редко переводится на русский язык? Существует тому несколько объяснений.

28 марта 1919 года Бабич, которому исполнилось всего 24 года, был расстрелян красногвардейцами за причастность к белому движению в Гражданской войне. В советскую эпоху его имя вплоть до начала «оттепели» 60-х годов прошлого века было предано забвению.

В последующие годы был новый тип татарского читателя, для которого Бабич перестал быть понятным и интересным поэтом. Он не вмещался в стереотипы. Даже и теперь Бабич в своей оригинальности мало доступен широкому читателю. Стандартный набор терминов и определений, в которых вообще в школах трактуется литература, а в науке ведётся её исследование, – трудно приложимое к творчеству Бабича явление.

Есть ещё один фактор, сдерживающий рост нашего внимания к личности и творчеству Бабича. Дискуссия о том, к какой литературе его относить: к татарской или к башкирской? Подавляющая часть произведений Бабича написана на татарском языке, и его вклад в татарскую литературу очевиден. Он в то же время ярый защитник свободы башкирского народа, один из основоположников его государственности и новой литературы. По-моему, дискуссия о том, чей он поэт, не разрешима и бессмысленна. Бабич – поэт двух литератур: татарской и башкирской. В истории подобная вариативность в идентификации писателей

¹ Казанский альманах: Малахит [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. Казань: Татар. кн. изд-во, 2020. С.85-103.

встречается. Так, ирландцы по рождению и в значительной степени по мировосприятию Л. Стерн, Д. Джойс, Б. Шоу и другие писали на английском языке. Они теперь нередко определяются и как английские, и как ирландские писатели. Более современный пример: Гоголь сейчас переводится на украинский язык и натурализуется как украинский писатель, что, однако, никак не может вывести его за пределы русской классики.

Это вторая из моих статей о Ш. Бабиче и продолжает первую, которая была приурочена к 100-летию со дня его смерти и вышла также в «Казанском альманахе. Коралл» в 2019 году. Поэтому её содержание иногда просто продолжает высказанное в предыдущей статье. К примеру, в первой публикации говорилось о том, что такое «суфизм» в философии и литературе и в какой форме он достигал берегов Урала и Волги. В этой же – увеличивается и разнообразится число примеров, подтверждающих воздействие суфизма на поэзию Бабича.

Встречаются и повторы. Заметный из них: три стихотворения Бабича в моих переводах на русский язык, вошедшие в этот текст, уже печатались в «Казанском альманахе». Но теперь они – в обновлённых вариантах. Как переводчик я стремлюсь быть ближе к оригиналу, хотя и сознаю, что похож на торговца, который расхваливает покупателю узоры на коврах, но демонстрирует их с изнанки.

Написанное не очень-то похоже на юбилейную статью. В нём нет претензии, как это принято в таких случаях, оценивать жизнь и творчество Бабича в целом. Оно, скорее, эссе: речь о стихах, образах, переживаниях поэта, которые мне близки. И написано с почти единственной целью: возбудить и твоё внимание, дорогой читатель, к этому замечательному, но теперь полузабытому поэту.

* * *

В поэзии Бабича нежданно удивляет и радует её высокая насыщенность так называемыми «действующими лицами» (образами). Дождь, летучая мышь, ангел, сад, тишина, скрипка, дорога, певец, ребёнок, лебедь, книга...

В пятнадцать лет Бабич пишет большое (в 12-ти строфах) стихотворение «Безнең бакча» («Наш сад»). Оно почти всё из перечислений того, что в их родовом саду: вишня, яблоня, черёмуха, ежевика, морковь, арбуз, тыква, огурцы... *Ақ, қызыл, зәң-*

герле чәчкә бакчабызың ғөлләре... // Кып-кызыл бұлып тора салыныл миләш тәлгәшләре. (Белые, красные, синие нашего сада цветы... // В ярко-красном цвете повисшие кисти рябины). (Здесь и далее все переводы с татарского на русский язык – автора эссе – Я. С.). Осинки, сторожащие сад, узкий ручей по его краю. Длинная тропинка. Изредка идущие по ней, чтобы всполоснуть бельё, стройные и излучающие ароматы девушки. Лежащий в траве и скрытый в цветах лирический герой.

Простое описание «предметов», расположенных в соседстве друг с другом, как бывает в живописи. Автор созерцает природу в её разнообразии и в этом находит эстетическое наслаждение. Он будто и не подозревает о традиции, по которой за отдельными предметами должны видеться «высокие» смыслы: «луна» не только небесное тело, «облако» – вода во взвешенном состоянии, «соловей» – птица. Они ещё и «грусть», «свобода», «песня» и другое. И мы приучены к тому, чтобы искать за каждым предметом в поэзии нечто большее, чем он в самом себе есть. Нам думается, что просто располагать предметы рядом или один за другим – лишь элементарное описание, которым может заниматься чуть ли не каждый.

Что значат эти стихи? Неопытность начинающего поэта, не умеющего придавать изображаемому смыслы? Нет. Проявление редкого, особенно в татарской поэзии его времени, дара – открывать красоту в единичном. Почти вся лирика Бабича – утверждение конкретного, состоит из стихов, написанных на случаи из жизни. Сад, о котором речь шла выше, – реальность. В подробностях он описан и в воспоминаниях родной сестры поэта Фасахат Бабичевой. Послания, любовные стихи, эпиграммы Бабича – адресные. Он любил также «встраивать» свои стихи в конкретную жизнь: читать и петь их друзьям и знакомым, о чём говорится в ряде воспоминаний о нём.

Поэт добивается выразительности даже там, где единичное не предметно и потому неуловимо в своей конкретности и существование его можно лишь вообразить. Вот, к примеру, начало его стихотворения «Тын төн» («Тихая ночь»). Тын гына, тын-тымызык бер төн иде, // Чишимәкәй чылтыр, чылтыр, чылтыр иде... // Ерактан ғөлдер-ғөлдер арба кила, // Улда тынлыкны куертыр өчен генә; // Аръякта бер эт өрә, ул шул тынлыкны // Колагыма күп кертер өчен генә... (Тихой тишиною

ночь тиха, // Ручеёк журчит, журчит, журчит, // Вдалеке гремит, гремит арба, // Густит лишь тишину она. //Лай собаки за рекою сторожит // И загоняет в мои уши тишину). Как описать тишину в самой себе, тишину, у которой нет видимых, ощутимых признаков!? В опыте Бабича она является нам – в звуках, контрастных тишине и тонущих в ней.

Не стану далее приводить примеры того, как Бабич в своей поэзии разнообразит мир, и попробую ответить на вопрос, возможно, опытного читателя. Он скажет, что подобное тому, о чём я пишу, было и в русской литературе 10-х годов прошлого века. Да, на самом деле так. Акмеисты (Н. Гумилёв, О. Мандельштам, А. Ахматова и др.) восстали тогда против символизма и начали, в противовес ему, эстетизировать «земное», возвращать словам обычные для них значения. Вошёл в их практику и стилистический приём, построенный на перечислении «всёгда», разнообразящих мир, который, в частности, станет отличительным знаком творческой манеры и футуриста В. Хлебникова. В добавление замечу: в 1907 году в переводе на русский язык был издан сборник стихотворений американского поэта У. Уитмена «Листья травы», вышедший на его родине ещё в 1855 году. В длинных строках стихов, состоящих порою из одних следующих друг за другом существительных, У. Уитмен воспроизводит жизнь в её разнообразии и эстетической привлекательности.

Короткая по времени поэзия Бабича приходится на эти же, 10-е, годы. Рождается соблазн – видеть в творческих исканиях молодого татарского поэта следы влияния акмеизма и даже У. Уитмена. Но свидетельств, дающих поводы так думать, нет. Вообще Бабич ни в одну из литературных школ своего времени не вписывался. Он одинок, традиционалист и новатор одновременно в татарской поэзии начала XX века, находившейся под влиянием русской и через неё и западных литератур. Бабич, в отличие от Тукая, С. Рамиева, Дэрдменда, Сунчелея и других татарских поэтов его времени, стихи с русского языка не переводил; и в его творчестве нет заметных заимствований из русской поэзии или подражаний ей.

И всё же, если попытаться включить Бабича в какое-то из литературных течений, то он окажется близким к арабо-персидским поэтам-суфиям Средневековья (Д. Рудаки, Д. Руми, А. Джами) и частью к отечественным поэтам-суфиям XIXв.

(Каргалыю, Х. Салихову, Г. Чокрыю). Сказанное нуждается в развёрнутом исследовании. Поэтому в этом тексте ограничусь отдельными примерами, дающими возможность такое утверждать. И один из них обозначен выше – воспроизводить в литературе жизнь в её конкретной единичности.

В западной науке (французской – Л. Массиньон, австрийской – Г. Грюнебаум и др.) принято утверждать, что восточное сознание (включая его философию и искусство) по своей структуре «атомарно»: мир в нём дифференцируется на отдельные «кванты», из взаимодействия которых рождается гармония. Мой текст узок в границах, поэтому приведу лишь один пример из ряда типичных в восточных литературах приёмов «атомарного» художественного мышления: распадение стихотворных произведений на *беиты* – строфы из двух строк.

Беит – единица стихотворения с относительно завершённым содержанием. Неслучайно слово это в переводе с арабского означает «дом». Из беитов сложены, как из отдельных бусинок на общей нити чётки, эпические поэмы Фирдоуси, Руми, Низами... И лирика Бабича написана в основном в беитах.

Что же дала Бабичу обозначенная выше и характерная для восточного сознания интенция (направленность мысли, чувств) к конкретному, единичному?

Она разрешилась целыми открытиями в поэзии. В стихах Бабича, как ни у кого ранее в отечественной поэзии, природа оживилась, «заговорила» своим языком. Перестала быть просто объектом каких-то формальных манипуляций, совершаемых автором. У неё – свои «лица» и «характеры». Скрипка ли это, курай, луч солнечный, упрямый ветер, зимняя дорога...

И сам поэт – часть природы. Не в переносном, а в прямом смысле слова. Такое современному читателю, приученному разделять «природу» и «Я», непросто принять. Вот, к примеру, строки из стихотворения Бабича *«Бәхәтәм»* («Счастье моё»): Синее небо – моя корона, пёсткая земля – мой трон. //... Звёзды и луна – сердечные друзья; // Жаворонок, соловей – птицы певчие мои. // Выйду в поле: цветы и травы // меня встречают волной поклонов. // Бабочки – цветы души моей и крылья, // стайкой лёгкой вокруг роятся. // Утренний зефир струится, // ребёнком ласково в лицо целует. // Взойду на гору... Ах! Взлететь бы! // Небосклон обнять бескрайний! Что это? Олицетворение при-

роды, уподобление её человеку? То есть широко известный в поэзии художественный приём? Просто своего рода метафора? Но на деле вовсе не так.

Метафора в русской и западной поэзии – это стремление вернуться (посредством сравнения, олицетворения и других художественных приёмов) к единству (человека, природы, мира разнообразных «вещей», явлений и др.), к тому, что было утрачено в ходе разделения на «объект» (предмет) и «субъект» (автор) в искусстве. В восточных литературах (арабо-персидской, китайской, японской), по мнению многих известных учёных, метафоризации в западном значении этого слова не существует.

Мне также представляется, что природа и человек и у Бабича (по меньшей мере в ряде особо значимых его стихов) предстают в единстве. Вот ещё один, в добавление к приведённому выше и развёрнутому примеру, случай. Редкий по поэтическому мастерству. Начальная строфа из альбомного стихотворения «Сажидәгә» («Сажиде»). *Син әле яшь, син яңа яфрак чыгарган бер бөрлөгән, // Син яңа зәңгәр чәчәкләргә бөрелгән бер үлән...* (Юная ты ещё, ты – ежевика в молодой своей листве. // Ты – трава в бутонах, голубыми цветами готовая расцвести...). И таким, странным для обычного сознания образом, говорится в стихах о новом в мире юном существе.

В философии (в психоанализе, в частности) существует термин *интроекция* (в противоположность *проекции*), которым обозначается тенденция в сознании человека – не различать внешний мир и собственные представления о нём. Такое в поэзии с разной степенью своей выраженности встречается. Но в поэтическом сознании Бабича оно обычное явление.

В целом татарский поэтический язык, в сравнении с русским, мало метафоричен. В нём, к примеру, нет или слабо представлены устойчивые «сравнительные обороты» со словами «как», «словно», «будто», в формах творительного падежа и др.

Система метафоризации русского поэтического языка хорошо исследована и классифицирована. Она позволяет проводить и удерживать границы между природой и человеком, материей и духом. В татарском поэтическом сознании, как уже отмечалось выше, нет столь заметной дифференциации на «объективное» и «субъективное». Природа и человек, материя и дух предстают в нём во взаимопереходах и гармонии. Таково,

по-моему, одно из фундаметальных различий между русским и татарским поэтическими языками.

Как оценивать такое различие? Принимать его спокойно, соглашаясь с тем, что могут *со-существовать* разные способы творчества, или настаивать на превосходстве одного из них над другим? И как переводить поэзию с одного языка на другой, если ты намерен оставаться на уровне различий? Возможно, приведённый чуть выше опыт перевода лишь одной строфы стихотворения Бабича «Сажиде», выполненный с намерением быть верным оригиналу, показывает, насколько сложным может быть такое занятие.

Мир, создаваемый в поэзии Бабича, как я пытаюсь подчеркнуть, разнообразен, и у поэта своё место в нём. Он – его частица; он в круговороте предметов, явлений, событий, существ, ему подобных. Поэтому Бабич чрезвычайно диалогичен. И в этом его заметная в татарской поэзии оригинальность. Его поэтическая дикция разговорная. В ней: обращения, ожидания, сочувствия, отвержения, надежды, интонационные перепады...

В самом конце творческого пути, в разгар Гражданской войны, Бабич пишет стихотворение «Язғы жыр» («Весенняя песнь»). О любви. Но в нём в одном ряду с лирическим героем – ветер, ручей, соловей, цветы, луна. Не символы и олицетворения, как должно было бы по привычной нам логике казаться. Они не просто фон, на котором разворачиваются любовные переживания; они обостряют, поглощают чувства поэта, *со-участники* или бесстрастные свидетели его любовных страданий. *Утырдым мин тауның қукрәгенә; // Жырлар язам, жылкәй, исми тор! // Чии-мәкәй! Тын! Экрен!.. Чу! Шаулама! // Уткән гөмерем, исқә төшими тор!* (На груди горы сижу я. // Пишу песни, ветерок, постой! // Не шуми, родник! Чу! Потише! // Былое в памяти, замри!). Поэт просит цветы, даримые им возлюбленной, передать ему тайну, которую они увидят в её глазах. В 3-х из 12-ти четверостиший стихотворения – соловей, нежный, терзающий песнями грудь лирического героя. Это он, искусный певец, воспевает и возвышает любовь, оставляющую знаки своего письма даже на лице луны. Поэт таит надежду на то, что и гора, на хребте которой он пишет песни-цветы, сохранит их в своей груди.

Во всём сказанном выше я говорил о Бабиче как поэте, который видит мир в его пёстром разнообразии: растительном,

животном, а также в явлениях. При этом он не считает этот «внешний» мир лишь декорацией (метафорами) для выражения «высоких» идей. Он дал «язык» вещному (от слова «вещь») миру: ветру, воде, камню, цветам, скрипке, кураю... Он расковал его, предоставил ему свободу. Вместе с ним освободился и сам. Снял с себя свойственные для поэтов татарской лирики тяготы – быть наставником для читателей.

Предвижу твой вопрос, вдумчивый читатель. Что же, скажешь ты, поэзия на фиксации отдельных, тобою так называемых «единичных вещей», останавливается? И продолжишь: каким бы большим мастером в этом ни был поэт, без выхода за пределы «единичного», без того «общего», что царит над предметами изображения и объединяет их в целостную картину, он скоро нам наскучит. Согласен. Поэзия гармонирует различия, включает их в общие смыслы. Но совершает такое по-разному. Способом стандартного «олицетворения» – наделения «неживого» присущими человеку признаками. Или на основе «пантеизма», допускающего изначальную, в самой себе рождённую одухотворённость природы. Подобно Тютчеву: Не то, что мните вы, природа: // Не слепок, не бездушный лик – // В ней есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть любовь, в ней есть язы...

Суфизм, к которому был близок Бабич, исходил из иного, чем олицетворение и даже пантеизм, положения: природой и человеком говорит Бог. Подобный взгляд бытует и в европейском сознании. При его характеристике нередко ссылаются на образное выражение Галилея о том, что природа – вторая книга Бога (первая – Библия), и мы должны выучить её алфавит, если хотим её читать. Бабич учился этому алфавиту и читал «письмена» Бога. Его поэзия – зримо выступающие черты божественного «порядка» в природе.

* * *

Существует расхожее, но не теряющее от этого своего значения суждение, что все искусства стремятся стать музыкой. Особенно романтиками оно утверждалось: немецкими прежде всего, а также французскими, русскими. В. Гюго даже искусство архитектуры называл «застывшей музыкой». Мне кажется, что нет другого татарского поэта, чьё творчество было бы так сплетено с музыкой, как у Бабича. И об этом последующие заметки.

Бабич по натуре своей был музыкально одарённым человеком. Играли на скрипке, мандолине, кануне и хорошо пел. Музыка сказалась в различных сторонах его жизни и творчества. Поэт собирали народные песни и писал стихи на их мелодии. В расположавшемся в Уфе медрессе «Галия», в котором учился, организовал литературно-музыкальный кружок. И это всё – в условиях критического отношения к музыке и танцу в ортодоксальном исламе его времени.

В суфизме музыка была способом восприятия мира, его толкования и поведения в нём. По заимствованной у античных авторов идеи суфии представляли музыку как выражение небесной гармонии. Широко культивировался в их среде религиозный ритуал, называемый арабским словом *Самá*, состоящий из круговых танцевальных движений, сопровождаемых музыкой. Великий поэт-суфий Д. Руми (1207–1273) написал ставшие хрестоматийными слова: «Дом любви целиком построен из музыки, стихов и песен». Любви и в обыденном для нас смысле слова, и в её трактовке суфиями как бескорыстного милосердия, прощающей любви. Человек, по словам Д. Руми – «инструмент», на котором играет Бог.

Бабич был знаком с творчеством известного в тюркоязычном мире суфия Аль-Фараби (872–950) – философа, математика, автора «Большого трактата по музыке» и, по преданию, изобретателя *кануна*, – струнного музыкального инструмента. Памяти Аль-Фараби поэт посвятил большое стихотворение «*Канун тыңлаганда*» («Слушая канун»).

Бабич – первым из татарских поэтов выделил музыку в отдельный вид искусства, говоря языком теории, в феномен. Музыка – самостоятельный мир; она не на службе у человека. Певец в его стихотворении «*Жырчыны көткәндә*» («В ожидании певца») «заставляет» себя ждать. Скрипка или курай просто есть, они из мира звуков, не чья-то собственность.

Склонность Бабича разнообразить мир в его «вещах», образах, явлениях, о чём я уже говорил, нашла себя и в том, как он представляет себе мир музыки. У него несколько стихотворений о музыкальных инструментах. И каждый из них в своём внешнем облике и голосе: скрипка с «шеей лебединой», в переливах звуков своих подобная соловью; мандолина – таинственная чародейка, подруга поэта в его радостях и печали; канун –

«книга», в которой голоса и утренней молитвы, и чтеца Корана, правителя и мученика; курай – в оригинальном своём «свисте», схожем со звуками флейты, способный передавать красоты природы и зовущий башкир к новой жизни.

Музыка выводит стих в непривычное для него измерение: слова расстаются с устойчивыми в них значениями; функции слов отдаются звукам, их образующим; вместо логических связей между словами – ритм и мелодия. И поэзия Бабича нередко на грани слова, звука и ритма. Из их сочетаний и переходов друг в друга рождаются неустойчивые и трудно передаваемые только словами смыслы. Вот, к примеру, начальная строфа стихотворения «Яңғыр теләгә» («Желание дождя»): *Яу, яу, яңғыр,
яу яңғыр, // Безгә килеп яу, яңғыр, // Имчәкләрең сау, яңғыр, //
Яу, яу, яңғыр, яу, яңғыр!* (Лейся, лейся, дождь, лейся, дождь, // Приди к нам и лейся, дождь, // Из сосцов груди своей лейся, дождь, // Лейся, лейся, дождь, лейся, дождь!)

Как мало слов и как много звука! Они в повторах, в ритмике. Как в молитве. Словно автор, в молении обращённый к живительному дождю, теряет дар ясной речи и повторяет одни и те же слова на языке самого дождя; он – в низких поклонах, умоляет дождь пролиться на жаждущие поля.

В поэзии суфизма туча, капли дождя, молока – символы весны, возрождения жизни. Если в нашем воображении находится место и для таких символов, то звуковые по природе своей знаки выводят нас в более широкий простор возможных содержательных смыслов.

Провести границу между фонетикой и семантикой в приведённом выше тексте и в ряде других стихотворений Бабича почти невозможно. Известно, что и в русской поэзии звуку как выражению нередко отдавалось предпочтение (Жуковским, Фетом, Цветаевой, Есениным...).

Фердинанд де Соссюр в трактате «Курс общей лингвистики» даёт столь образное объяснение такому явлению, что решусь его процитировать: «Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – обратная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезая и обратную. Так в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли...».

О том, что Бабич был музыкально одарённым по своей натуре человеком, говорилось выше. И это оказалось одной из

причин насыщенности его поэзии музыкой. Но существовали обстоятельства и общего характера, которые позволяли поддерживать этот дар и оправдывать его проявление в глазах читателей и слушателей его стихов.

Это прежде всего «встроенность» музыки в религиозное сознание ислама и особенно суфизма в нём. Коран, если воспользоваться филологическим термином, написан в «ритмической прозе». Суры в нём читаются не обычным образом. Они исполняются. У них музыкальный лад. Голос, интонация, напевность, сдержанный артистизм – в арсенале мастеров его чтения. И арабский язык по природе своей мелодичен. Одним своим звучанием он способен доставлять эстетическое наслаждение. Службы на нём у верующих, даже в основной массе своей не знающих его, растят, лелеют их религиозные чувства, подобно тому, как этого же достигают латинский или церковнославянский языки в христианских храмах.

В татарском языке немало арабизмов, но он иного, чем арабский, происхождения. Своей мелодичностью, однако, похожий на него. В нём целых десять гласных фонем, и они в неисчислимых вариантах трансформируются в звуки, которые можно петь. В течение многих веков гласные звуки в органичном для татарского языка арабском алфавите не обозначались буквами. Оставались свободными в долготе и ударности звучаний, в мелодичности. Теперь же ареал гласных звуков – основа музыкальной мелодии, сокращается.

Бабич творил на пограничье между словом и музыкой. Стихи свои он предпочитал определять как «песни». Первый и оказавшийся единственным прижизненным сборник своих стихов, вышедший в Оренбурге в 1918 году, Бабич назвал «Зәңгәр жырлар» («Синие песни»).

В сознании поэта слова «песнь» и «стихотворение» сближены в своих значениях и, более того, Бабич был склонен называть «песнями» не только собственные сочинения. К примеру, в его стихотворении 1913 года, посвящённом памяти Тукая, есть строки: *Тәсбил вә тәхлил кебек жырларга калды жырлары, // Монланып иснәргә калды тәмле исле гәлләре.* (Песни нам его остались – в молитве чётки перебирать. // Запахи цветов душистых – с тоской печальною вдыхать).

И себя, свою жизнь Бабич растворял в музыке. Он был подобен Д. Рудаки (858–941) – поэту раннего суфизма, который

сопровождал чтение своих стихов игрой на лютне. Современники Бабича (С. Кудаш, Т. Ченекай, Ф. Бабичева) вспоминали, как он пел свои стихи, нередко подыгрывая себена мандолине, скрипке.

Музыка, по Бабичу, – ворота в мир чувств человека, мера их глубины и искренности. В стихотворении «Жырчыны көткәндә» («В ожидании певца»), которое упоминалось выше, говорится о лирическом герое, с нетерпением ждущем певца. В надежде, что он развеет песнями «кайғы-хәсрә» (печаль и горе) вдуще поэта, глаза которого нальются до краёв горючими слезами.

Вторая строфа этого стихотворения – речитатив из вопросов и раздумий о том, что значит человек без музыки в душе. *Мәмкинме қызық жырға қызықмаска, // Моңланып мөңлү көйгә боекмаска? // Таң колак, улгән йөрәк, түңгән башилар// Моңлыга мөңаймас та, боекмас та...* (Чудной музыкой возможно ль не увлечься, // Гармонии печальной не предаться? // Ухо-камень, сердце мёртвое, тупая голова // Мелодии никак не покорятся...)).

Прозвучали знакомые мотивы: Лермонтов с его переводом из Байрона: «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! // Вот арфа золотая...»; Шекспир с его строками из драмы «Венецианский купец»: «Тот, у кого нет музыки в душе, // Кого не тронут сладкие созвучья, // Способен на грабёж, измену, хитрость...».

Вопросы о возможном подражании Бабича Лермонтову, который, пожалуй, не менее Пушкина был известен татарским поэтам его времени, или, что, с моей точки зрения, маловероятно, – Шекспиру, требует научных изысканий. Но ясно, что Бабич реализовывал свой вариант общего для восточных и западных литератур мотива.

Есть ещё одна особенность в столь тесно связанном с музыкой творчестве Бабича, которая явно существует, но, как правило, проходит мимо наших глаз и не вмещается в привычные для нас нормы толкования музыки. Она проистекает из античной и перенятой позднее суфиями идеи о музыке как гармонии небесных тел и мира в целом. В отвлечённой форме об этом уже говорилось выше. Приведем примеры в подтверждение сказанного ранее.

В стихотворении «Кышкы юл» («Зимняя дорога») есть строки: *Ак кояш нур жәспләрен сүзган да жәргә нур сибә, //*

Нурлы жәспеләрдән ағып, моңлы күңелгә жыыр килә. // Жырлый башыйм... (Солнце белое землю озаряет лучами – нитью, протянутою к ней. // По нитям лучистым плывёт и в грустную душу песня стекает. // Петь начинаю и я...). Лучи солнца и песни, стекающие по ним! Поэт, вдохновляемый песнями солнца?!

Неожиданный образ не только для русского, но и для современного татарского читателя. Но суфии поэтизировали лучи солнца, как и древние египтяне, а также гностики на Западе. Солнечный луч – символ падения света во тьму, эманации (нисхождения) божественного на землю. В этом значении его частотность и в поэзии Бабича высока. Но сочетание солнечного луча с песней, с музыкой, как мне представляется, – из опыта собственно его поэтических изобретений.

В поэзии Бабича песня – «язык» солнца, ветра, воды, птиц... и – человека. В стихотворении «Весенняя песня» поэт обращается к птицам (символам души в суфизме): *Тыңларсызымы, кошлар, жырларымны? // Тыңласағыз, сезгә жырлармын! // Сез сайрарсыз, соңра мин тыңлармын, // Тыңлан, уксеп-ұксеп елармын.* (Станете, птицы, мои песни слушать? Я спою... // Петь начнёте вы, стану ваши песни слушать и плакать навзрыд).

Подошёл к концу этот раздел моего текста. Как сложно было его писать! Высказать музыку в словах почти невозможно. Она освобождает человека от логики и выносит нас в мир бессловесной свободы. Отвлекает от всего постороннего, уводит в непостижимые дали. Может быть, стихотворение Бабича «Скрипка», которое далее приводится, покажется тебе, мой терпеливый читатель, большей правдой о музыке в жизни поэта и убедительнее моих слов.

*Подруга стройная, с шеей лебединой,
ты чувства нежные пленишь волшебною игрой.*

*Мелодий чудных ты родник неистощимый,
звуков ты – судья, язык гармонии небесной.*

*Трелью словья разлейся, свистом, щебетаньем,
томным лепетом иль ропотом коварным.*

*Я – в голосе твоём, трепетном и звучном.
Какой таинственный и дивный он!*

*То пламенем небесным лёд сердца обжигает,
то, плача и смеясь, болящий дух терзает.*

*Кто, чутких струн касаясь, сеет звуки?
Радостью взволнован он иль ропщет полон муки?*

*Посланница небес – пленительная пери?
Иль демон зла – лукавый соблазнитель джинн?*

*Души моей царица! Мне радостно и ласково с тобой.
Без тебя весь мир – пустой, холодный рой.*

Бабич – выражение единства слова и музыки, которое бытовало в татарском фольклоре, продолжало культивироваться и в профессиональном искусстве начала прошлого века. В советскую эпоху это единство размывается: проза как искусство самодостаточного слова, читаемого в основном про себя, теснит поэзию с её органическими связями с музыкой. То, что мы видим теперь, – много песен, разнообразие мелодий (фольклорных и профессиональных) и сравнительно скромное место слова в них, – не знак ли возвращения к традиции в татарском искусстве, которая так оригинально выразилась и в творчестве Бабича?

* * *

Мы говорили до этого о стиле Бабича, о том, каким он видит мир и как его изображает. Правда, не обходилось и без заметок о нём самом как личности. Теперь же предстоит нам осмысливать Бабича как человека. В его исповеди, в самоанализе. А также в наших представлениях о нём. Не в полном объёме, естественно. Но хотя бы в том, что заметно простым взглядом и не требует особой начитанности в самой поэзии Бабича или серьёзных знаний в философии и искусстве суфизма.

На поэтическое творчество Бабичу было отпущено судьбой менее десяти лет. Но даже за это короткое время в лирике поэта образовалась концепция его «Я», которую мы можем, говоря условно, «реконструировать». Но делать это так, как общепринято, то есть, сводя её к известным нам словам и терминам со стандартными в них содержаниями, вряд ли удастся. Придётся, к примеру, говорить о «душе», «пути», «страдании», «милосердии» и другом, внося коррективы в содержания этих слов или

вообще истолковывая их иначе, чем «полагается».

Возможно, такое, как своего рода словесная игра, позабавит тебя, дорогой читатель, или же ты освободишь своё воображение, что так желательно мне, и станешь представлять себе мир поэзии в большем, чем принято, разнообразии. Как быть? Дело вкуса и индивидуальных оценок. Я же остановлюсь подробнее на одном из примеров того, насколько Бабич оригинален в трактовке очень известного в поэзии (и русской, и татарской) образа «душа».

Найти в современном татарском языке слово, эквивалентное по содержанию тому понятию, которое подразумевается Бабичем в слове «душа», мне не удалось. В словарях есть синонимы *кучел*, *жсан*, *йөрәк*, которыми оно попеременно обозначается, но тщетно. Из них лишь слово *кучел*, если его вычленить из синонимического ряда и восстановить в значении, придаваемом ему Бабичем, может приблизить нас к реальности.

Поэт посвятил «душе» более десятка стихотворений, она и во многих других его произведениях. «Душа» – привычное и для нас слово. Как правило, нам достаточно сознавать, что она существует. Она в нас, часть, признак нашего сознания. Может полниться жизнью, страдать и гибнуть и др.

Но у Бабича, как и в суфизме, иначе. Душа представлена предметно и ясно. Говоря языком естествознания, «дистиллирована», очищена от примесей и пребывает в своей чистоте и определённости. У неё «земные» («вещественные») атрибуты: «крылья лазурные», «полёт голубиный», «голос флейты», свой характер…

Душа – ангел, посланный Богом на землю, чтобы вселиться в человека. Её миссия – быть связующей нитью между Ним и человеком. В Коране словами Бога говорится: «Мы создали человека, и Мы знаем, что шепчет ему его душа, и Мы ближе к нему, чем его собственная сонная артерия».

Оставить человека, покинуть землю душе не дано. Её роль – наставлять человека, «шептать» ему, каким следует быть. Потому и судьба её трагична: она обречена оставаться разделённой между небесным и земным.

Стихотворение «*Жанкаем!*» («Душа моя!»), перевод которого далее следует, было написано Бабичем в 1917 году, когда

война и революция, завладевшие миром, разочаровывали его веру в силу поэзии. Оно – повествование о душе, покинувшей небо и ставшей музой поэта. О несбытиях её надеждах на земле, которая для неё оказалась темницей.

Автор видит лишь один исход из драматического столкновения земного и небесного: вернуться душе в родное небо. Но такое, по представлениям самого же поэта, невозможно.

*Душа моя!.. Только небу поклоняться перестала ты зачем?
Лишь вдохновением возгораться перестала ты зачем?*

*Как голубь, большие не воркуешь в гнезде из солнечных лучей
и дифирамбы не поёшь в стихах из сладостных созвучий.*

*На крылах лазурных не летаешь, щедро источая
благоуханье рая, стихи лучистые, лучистую любовь.*

*Родимая!.. Покинув небо, на землю ты сошла зачем?
Мир красоты оставив, тело обрела зачем?*

*Мечтала и на земле несчастной быть свободной?
Красотою восхищать и быть любимой?*

*Страдалица моя!.. Разрушь темницы стены, в родное небо
возвратись;
пусть только тень твоя, от розовой зари алея, падёт на
землю.*¹

И в русской поэзии: по Тютчеву, душа – «жилища двух миров», «пленница» на земле; у Есенина: «Душа грустит о небесах, // Она нездешних мест жилища...». Об оригинальности же Бабича в трактовке образа «души» можно, судить по тому, что говорилось выше. Она покоится на своеобразии восточного

¹ Могут показаться «странными» некоторые из форм стихосложения в этом переводе. В частности, словесные повторы в конце строк. Но так в оригинале. В татарской поэзии, как и в арабо-персидской, нередко встречается ритмообразующий приём, известный под названием «креди́ф» (арабск. «всадник»): повторяющееся после обычных рифм слово. Как здесь: «ты зачем?», «сошла зачем?», «обрела зачем?» и др. Такого рода слова приобретают в стихотворении особое значение. И ещё: насыщенность текста грамматическими формами слова «луч». То же и в оригинале. Как было выше сказано в основном тексте, в поэзии и философии суфизма солнечные лучи – эманация (нисхождение) солнца на землю.

(в варианте суплизма) мировосприятия.

В татарской критике и науке Бабича, опираясь, в частности, на его посвящённые душе стихи, нередко называют «романтиком». И формальных поводов для подобного определения как будто достаточно. Неприкаянность души, разлад в изображаемом поэтом мире между тем, что есть и тем, что должно быть, живой интерес к музыке и другое, – словно заимствованы из сферы типичного в русском и европейском романтизме.

Но есть различие, которое перекрывает такое кажущееся совпадение. Романтизм замкнут в индивидуализме, в субъектности и культе личности. Поэзия в нём – проникновение в, казалось бы, неисчерпаемые глубины души. Поэт в своём творческом энтузиазме, в поисках дна души упирается в конечном счёте в Ничто. То есть только в своё «Я», за которым более ничего и нет. И случившийся в дальнейшем кризис романтизма – в нарастающем утончении и исчерпании чувств, что в конечном счёте разрушало единство личности.

В представлении Бабича душа укоренена в бытии и связана с Богом. Её глубины не бездонны. И самоутверждение её не бесконечно. Душа разнообразится, развёртывается в своей соотнесённости с реальной жизнью.

Естественно, в сказанном чуть выше речь шла только о романтизме и Бабиче, а не о романтизме в татарской литературе вообще, в которой он, возможно, и существовал, но, видимо, как заимствованное в основном из русской поэзии течение.

* * *

До этого я пытался изложить моё представление о Бабиче как поэте, у которого своя тропа в татарской литературе. Но его лирика полна и самооценок: стихотворений, похожих на «исповеди», сочинений с обращениями к революционным солдатам, к башкирскому народу, в которых он выступает в роли агитатора. Но, как в самом начале этого текста было сказано, я пишу о том в его лирике и перевожу то из неё, что мне интересно, и что, как мне думается, может показаться таковым и современному читателю. Большие поэмы его, стихи-наставления, сатиры и другое – это «пробы пера», опыты молодого поэта в том, как он готовился овладеть всем возможным арсеналом поэтического мастерства. По ним можно судить о том, как и в каком направ-

лении эволюционировало его творчество. То есть ставить иные и более развернутые, чем в этом эссе, задачи научного анализа. Поэтому продолжим разговор в более конкретном и доступном для восприятия читателя стиле.

Вот одно из «исповедальных» сочинений поэта. Не обычный в творчестве Бабича беит, а четверостишие, что выделяет его из ряда других стихотворений поэта. *Ярсынмаса күкрәк яшьнәп, күкрәп, // Телләрендә ялқын яналмый, // Ah ормасаң сыкрап, тетрәп-тетрәп, // Кулларыңнан алтын тамалмый.* (Не содрогнётся грудь с яростью грома, // И в языке твоём не возгорится кровь, // Не станешь трепетать от скорбного стона, // Крупицам золота из рук твоих не течь.) Поэт и в жизни был таким, каким он является в этих строках. Не частый в литературе, даже в лирике, случай.

Для нас привычно иное: поэзия – высокий, идеальный, возможный мир. Другой, чем тот, в котором мы живём. В него можно погрузиться в своём воображении и хотя бы на время предаться вдохновению от прозаичных и ежедневных забот. Поэт сам в себе, как человек нам мало интересен. Корыстолюбив, горд, эгоистичен … он, неважно. Главное – насколько увлечателен в своих стихах.

Не стану осуждать такую позицию. Возможно, она естественна для нашего времени и существуют серьёзные доводы в её защиту. И всё же разделять автора на человека и поэта, по моему, означает: обескровливать поэзию, превращать её в предмет отвлечённой игры воображения, нередко, правда, искусствой, захватывающей, но – бесплодной.

«Крупицы золота» поэзии, говоря словами Бабича, – «ярость» сердца, горение крови, «скорбный стон». И в нашем сознании такой образ поэзии порою всплывает как нечто отрадное, трогающее наше воображение, чтобы вскоре снова потонуть в небытие под грузом прозы жизни.

То, каким я вижу Бабича в его лирике, – в единстве слова и характера, движений сердца и речи, – в философии и поэзии суфизма принималось как совершенная искренность, культивировалось и обозначалось отдельным, имеющим концептуальное значение арабским словом – *ихлás*. Очень мелодичным в своём звучании, как и многие другие арабские слова.

Это слово, ещё в древности заимствованное татарским языком из арабского, продолжает функционировать в нём и теперь,

но только в обычном, рядовом употреблении. Быть в состоянии «ихлас», творить в совершенной искренности, подобно поэтам суфизма или Бабичу, в наше время далеко не обязательно. Пожалуй, и большинство читателей не этого от поэта ждут. Поэтому «ихлас» как обязательная и ценностная категория в суфизме из языка литературной критики и теории в наше время вытеснен на его периферию.

Бабича отличает беспрестанно тревожащая его жажда самопознания, стремление испытывать себя, понять своё предназначение. Он в постоянном движении мыслей и чувств, различных в своей направленности, самокритичен, неровен в социальном поведении и др. Но в его характере и во взглядах, несмотря на короткую по времени жизнь, чётко обозначилась черта, делающая его целостной личностью. Не похожей на современников и сохраняющей своё особое место в татарской поэзии.

Бабич верил в своё призвание как человека и поэта. В то, что в суфизме обозначается словом «*Тарикá*» (Путь). Верил в жизнь как движение к Абсолютной истине. В борьбе с самим собой, в попеременных оценках собственной души и своих деяний. В очищении от эгоизма, в обретении милосердия и в приближении к Богу. Слово «тарика» в современном разговорном татарском языке не удержалось, но понятие, которое им у суфииев и Бабича обозначалось, в татарском культурном сознании продолжает существовать, правда, в лишенном налёта мистицизма своим содержании.

Замечу, что «тарика» – путь к Абсолютной истине, не есть, как может показаться современному читателю, приобщение к догмам ортодоксальной религии. Наоборот, для суфииев начало Пути и его ход не в рациональных канонах. Они – в мистических чувствах, в поэтическом экстазе. Тем самым суфии оправдывали воображение в искусстве и добивались гуманизации самой религии.

* * *

Ведущим лейтмотивом моего предыдущего повествования было желание показать оригинальность Бабича как поэта, творчество которого нередко не укладывается в шаблоны чувств и мыслей, к которым мы приучены.

Если ты, дорогой читатель, продолжишь чтение этого тек-

ста, то я ещё решительнее намерен говорить о «чужом» порою для читателей в поэтическом миросозерцании Бабича. О фантастике, утопиях в нём, которые оказываются ценными и для нашего времени.

Речь далее пойдёт лишь об одном, но занимающем в его творчестве особое место стихотворении. Называется оно «Шэвкатем. Йэрэгем булаге» («Милосердие моё. Подарок моего сердца») и было опубликовано в сборнике произведений поэта «Синие песни», вышедшем в 1918 году. Всего за несколько месяцев до его трагической гибели.

Подобно тому, как закатное солнце поздним, истинным светом заключает прошедший день, это произведение в творчестве Бабича оказалось своего рода эпилогом его Пути. Похожее по жанру на «памятник», «исповедь», развёрнутую «эпитафию». Предвидение скорой мученической своей смерти.

Грудь моя от земных страстей свободна; милосердия она обитель.

В ней ангел в образе девичьем беспрестанно слёзы льёт.

*Не печали слёзы, надежд разбитых – горький знак,
милосердия слёзы, любви, прощающей, – поток.*

*Ангел чистыми слезами мой дух врачует,
лелеет сердце мне, жемчугами украшает.*

Пламень гнева моего милосердием потушен.

Сердце излучает свет. Страстям земным предел положен.

*Алчность, гордость, месть, жестокость – духи зла,
словно устыдившись, руки опустив, стоят.*

*Рабы страстей! Перед вами я, от гнева отрешённый,
посланник неба, искупитель зла смиренный.*

Я выдержу: иди, родной, распни меня, руби секирой, коли копьём.

Я улыбнусь: жало острое копья грудь с радостью примет.

*Слеза моя, по древку длинному стекая, смоет кровь
и, вспыхнув солнечным лучом, падёт на землю.*

*Голубым цветком взойдёт, к небу обращённым;
к небу – вознесения моего чертог желанный.*

*Камень, брошенный в меня, к тебе хлебом возвратится;
пусть он в памяти твоей как милосердия дар хранится.*

*Милосердие моё как океан: бездонно, безгранично;
бремя зла и яд страстей смывает волнами оно.*

Многое в стихотворении удивляет нас. Написано оно от имени автора. Это подчёркнуто в самом его названии («Милосердие моё. Подарок моего сердца») с формами притяжательного местоимения в нём. И в тексте повторяющееся «Я». *Его* (автора) сердце слезами омывает ангел, в *него* он вселяет милосердие. *Он* – «от гнева отрешённый посланник неба, искупитель зла смиренный». Это Бабич. В исламском культурном контексте: ангел в девичьем образе в его груди, очистительные слёзы, жемчуг – символ страданий от одиночества, социальные пороки, в последней строфе стихотворения «океан – символ божественного всемогущества».

Но за этой, начальной частью стихотворения следует нечто неожиданное: явная аллюзия (указание, намёк) на Христа. В картине *его* казни, в *его* словах прощения и любви, обращённых к тем, кто отнимает у *него* земную жизнь, в стекающей по древку копья искупительной *его* крови, в том, как камень, брошенный в него, возвращается хлебом, в воскресении. Кто же повествователь в этой доли стихотворения? По привычной нам логике, им должен быть Христос. Но нет. Бабич остаётся единственным повествователем, «ставшим» теперь Христом. Что это? Художественная неудача или изощрённое произведение, в котором причудливо переплетены явления разного рода и времени? Опять не так.

Значит – мистицизм, предположите вы. И, удивительно, окажетесь правы. Только в одном неправы. В оценке мистицизма. Мистицизм не обязательно ложь, заблуждение, как принято думать. Переход в иную форму существования. И широкое бытование он принял в суфизме. В его философии, искусстве, в образе жизни.

Выше уже говорилось о том, как Бабич мог чувствовать себя частью природы: просить ветер не мешать ему писать стихи, уподоблять своё пение голосам птиц, обращаться к туче с мольбою пролиться на жаждущие поля... Он был склонен преодолевать границы своего «Я», растворяясь во вне, или, наоборот, вовлекая в свою орбиту то, что существует за его пределами.

Это родственно идея суфизма: сокращать или вовсе снимать дистанцию между человеком и Богом. В поэтическом экстазе, в мистическом порыве.

Известный в научной и популярной литературе о суфизме как пример «таухида» (единения человека с Богом) часто приводится Мансур Халладж (858–922) – персидский поэт и философ. Цитируются слова из его стихотворений и изречений, в которых он манифестирует себя как человека, в милосердии и любви ставшего равным самому Богу. Обвинённый в ереси в эпоху, когда суфизм в исламе оставался ещё в запрете, он был казнён и, по некоторым из преданий, распят. Образ Халладжа в персидской и тюркоязычных литературах стал одной из заметных традиций в изображении поэта-мученика.

И всё же, мне думается, именно в Христа (в исламе не Бога, а святого под именем Иса), в своём стихотворении перевоплощается Бабич. Как такое стало возможным, если в исламе существовал свой поэт-мученик?

Первое, что на поверхности и требует лишь некоторой начитанности в русской поэзии годов революции и Гражданской войны. Блок, Андрей Белый, Есенин и другие поэты восприняли революцию как возмездие за творимое человеком зло. И жертвы, которых она жаждала, символизировались в восхождении Христа на Голгофу. Не следовал ли Бабич этой идеи? Не исключено, хотя, как мне представляется и о чём я говорил выше, он не испытал видимого влияния на него русской поэзии.

Второе объяснение отсылает нас к началам мировоззрения суфиев, которые черпали свои идеи из разных источников: из античности, иудаизма, христианства. Лишь бы они позволяли преодолевать границы, разделяющие человека и природу, человека и Бога, а также различия в верованиях. Позволю себе и в этот раз привести цитату из стихотворения видного теоретика суфизма и поэта, очень известного в тюркоязычном мире Ибн Араби (1165–1240), которая была и в первой моей статье о Бабиче: «Моё сердце стало способно принять любую форму: оно и пастище для газелей, и монастырь для христианских монахов, и храм для идолов, и Кааба для ходящих вокруг паломников, и скрижали Торы, и свиток Корана. Я следую религии любви...» (Перевод И. Фильшинского) Так же, как и Ибн Араби, Бабичу было одинаково дорого Милосердие, будь оно в Халладже или в Христе.

Стихотворение своё Бабич назвал «Шэфкатем». Слово *шэвкат* в словарях современного татарского языка ставится, как правило, в один, синонимичный ряд со словами *мәрхәмәт*, *рәхимлек*. Его значение, таким образом, с достаточной ясностью и в высокой, достойной отдельного внимания к своей ценности, не обособлено. Как и в современном русском языке, у слова «милосердие» сравнительно низкая частотность употребления и суженность его значения. Милосердный человек в обществе нашего времени – редкое явление.

Однако в суфизме «милосердие» – гетерогенная (произвдящая и другие) категория духовности; она имеет метафизическую (философскую) роль в конструировании представлений о личности. В содержании своём соответствует арабскому слову *махаббá* (прощение и любовь).

Первая сура Корана, которая мусульманами так же часто произносится в виде ритуальной молитвы, как и «Отче наш» христианами, начинается со слов: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного...» Милосердие в сущности Бога. Он сотворил Адама, движимый любовью к нему, и по подобию своему. Известен повторяющийся в разных контекстах ответ Иисуса на вопрос Пилата «Что такое истина?»: «Истина есть милосердие...». «Любите человека и во грехе его...», – говорит святой старец Зосима в романе Достоевского «Братья Карамазовы».

Но как «прощать и любить» стороннего человека в его грехе и даже во вражде, к тебе обращённой? Рационально, полагаясь на сегодняшний разум, не объяснить. Как и толстовское «непротивление злу насилием». Но в исламе, как и в христианстве, осуждается грех, а не грешник, духовное возрождение которого утверждается возможным.

Известная своей сложностью тема. Она в философии, в искусстве, в нашем обыденном сознании. Разумом не разрешимая. Только бескорыстной любовью к человеку. Выходом за пределы собственного «Я». Продолжаем же мы любить себя, ждать милосердия от других, хотя сознаём свои недостатки и даже пороки в себе. Не могут ли быть прощение и любовь, которые тебе так желаны, обращены тобою и к другим, подобным тебе созданиям? Не часто ли мы, не прощая, казним? Но как хотим, чтобы к нам были милосердны, прощали нас и любили.

И следующее: «сладость страдания» – известный в исламе, христианстве, в искусстве мотив, звучащий и в «Милосердии» Бабича. Он растворён во всём стихотворении. И в словах выражен с определённостью в следующем бейте: «Я выдержу: иди родной, распни меня, руби секирой, коли копьём. // Я улыбнусь: жало острое копья грудь с радостью примет».

Нам не понять страдание как нечто «сладостное» для нас. Нам так не хочется его испытывать в нашей жизни, состоящей из удовольствий и самоутверждения. Страдание – докучный гость, который временами тревожит наше сознание, внося в него горечь сожалений от сотворённого тобою зла, от притаившихся в сердце твоём ненависти, зависти, неправды в любви, в быту и в работе. А страдания, в которые мы бываем ввергнуты силами вне нас, вовсе нам чужды и только мучат нас. Мы их сторонимся.

Нам недоступна сладость смерти, бедности, гонений. В отличие от Христа, который благодарит солдата, готового лишить его жизни, от поэта-суфия Халладжа, по дороге на казнь распевавшего стихи мистического содержания, от героя стихотворения Бабича, слова которого процитированы выше. В чём же истоки столь странной для современного сознания «сладости страданий»?

Суфизм возник как течение в исламе, обращённое к сознанию бедных, отверженных и страждущих. Он выделил, культивировал идею о Боге, любящем страдающих. За страданиями виделся свет Божественного воздаяния. Подобное суфизму течение образовалось в Средневековье и в христианстве. Итальянский священник Франциск Ассизский (1182–1226) основал ставший известным в Западной Европе орден «нищенствующих монахов». Немецкий философ-мистик Майстер Экхарт (1260–1328) в своих религиозных проповедях возводил страдание в состояние души, связывающее человека с Христом.

«Сладость страдания» модифицировалась в разных культурах. Достигла своего философского обоснования, поэтизации, образовала религиозные ордена прежде всего у суфииев. Проповедовалась её адептами, театрализовалась частью верующих (в их нищенском одеянии, в тяжёлых цепях, носить которые некоторые из них вынуждали себя, в запылённых лицах со следами от слёз, стекавших по щекам и др.)

Мне представляется, что и в татарском художественном сознании, под влиянием ли суфизма или по причинам более

общего порядка, родилась тенденция, родственная «сладости страдания» и особенно заметная в песенном искусстве, которую принято называть *моң*. Словом с целым рядом его конкретных значений: *грусть, печаль, забота, скорбь и др.*

Этим же словом, что порождает трудности смыслового характера, обозначается и отвлечённое понятие, в которое включаются отмеченные выше и другие конкретные его значения. Так что слово *моң* – это и категория (способ художественного мышления, этического самосознания, частью и образа жизни). В этом своём значении оно не переводимо на русский язык. Переводить *моң* в «мотив», в «мелодию», как часто это делается и этим ограничиваться, значит редуцировать (сужать) его место и роль в татарском культурном сознании.

Подобные *моң* категории, которые не поддаются конкретному определению в терминах и лишь описательно доступны для понимания, существуют и в других национальных литературах. Так, об особом, не поддающемся рациональному объяснению роде лирического в русском песенном искусстве, придающем ему неповторимость, писал ещё Белинский, идея которого продолжает оставаться до сих пор одним из факторов идентификации русского культурного самосознания.

Продолжавшиеся целые века безысходные страдания трансформировались в сознании татарского народа в «категорию» «моң». Его историческая связь со «сладостью страдания и искупления» в суфизме и в сознании «позднего» Бабича, по-моему, существует, но теперь трудно уловима. «Сладость страдания» потеряла свою прямую соотнесённость с философией «искупления» и трансформировалось в самодостаточное чувство. В задушевный лиризм, в горестную боль от потерянного, в безответный зов, обращённый к судьбе, в гармонию, столь желанную и целительную. Во всём то, что в сознании мало выражимо в словах и подвластно мелодии, музыке. *Моң* – в мироизмерении татарского народа, в его искусстве, в образе жизни.

Мой разговор о «Милосердии» Бабича подходит к завершению. Вновь предвижу твои возражения, мой читатель, если ты реалист в своих убеждениях и критик всего, что не укладывается в рамки привычного сознания. Стихотворение, о котором я вёл речь, ты, назовёшь, возможно, «утопией», «грёзами» или «фантастикой». Скажешь, что автор пытается уверить нас в том,

чего на самом деле быть не может: стать Богом, принять смерть как нечто желанное, сладостное. И не только это, добавлю я, но и многое другое в творчестве Бабича кажется невероятным: слышать себя в голосе скрипки, видеть, как солнце в лучах своих нисходит на землю, отвечать песней на пение птиц...

Но значение идеи в искусстве не в истинности её содержания, а в её ценности. «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины», – писал Ф. Ницше. Сказано категорично, легко запоминается. Но в этих словах есть и правда. Поэзия – не попытка ли уйти от реальности, особенно тогда, когда она становится невыносимой? Не вселяет ли она в нас, вместе с этим уходом от «жизни», и радости видения нового в ней. Не предвестие ли, не предсказание ли иного, чем иссушающая душу проза существования?

Завершается стихотворение Бабича неожиданной по содержанию строфой, в которой поэт, словно из мира мистики, в котором он пребывал, возвращается к тому, что, по нашему пониманию, называется реальностью, и вновь говорит от первого лица, от своего имени: «Милосердие моё как океан: бездонно, безгранично; // Бремя зла и яд страстей смывает волнами оно».

Эти строки мы можем сравнительно легко вставить в ряд известных образов «моря» из Байрона, Пушкина, Лермонтова, Тютчева и находить в них волю, силу чувств и свободу. Несомненно, и этого немало для эстетического наслаждения, которое они могут нам доставить. Но, верный принятой мною манере суждений, скажу, что «океан» в поэзии суфизма – символ всемогущества Бога. И вода, живительная, смывающая страсти и заблуждения, – в ритуалах ислама, в его литературе и образе жизни.

* * *

Разговор о поэзии Бабича завершён. Далее я собираюсь говорить о месте Бабича в татарской литературе, о судьбе его поэтического наследия. То есть о том, что выходит за пределы предпринятой мною аналитики отдельных его стихотворений.

Когда заходит речь о татарской поэзии начала прошлого века, первое, что приходит на ум, конечно же, Тукай. Он – решающая фигура в поэзии его времени и в последующей истории татарской лирики. Тукай канонизирован. Он – мера литературной ценности. Быть в круге поэтов, с ним связанных, оказаться

в числе его учеников – уже само по себе предполагается как достаточное условие значимости твоего поэтического творчества. Нередко и Бабич причисляется к его ученикам. Но без особых на то оснований. Хотя у него и есть стихотворения, вдохновлённые личностью и поэзией Тукая, они, однако, не ученические, не повторение открытых Тукаем мотивов и тем.

И всё же жизненный и художественный опыт Тукая представлял и для Бабича особую значимость. Да, он «учился» у Тукая, но в ином, чем принято, значении этого слова. Учился свободе и мужеству оставаться верным своему таланту. В остальном же Бабич существенно отличается от Тукая.

Бабич и Тукая – поэты почти одного поколения, но жили и творили они в разные эпохи. Бабич, в отличие от Тукая, застал Первую мировую войну, участвовал в революции и последовавшей за ней Гражданской войне. Он поэт нового времени. Времени перелома в общественном строе и культуре, когда стали подвергаться испытаниям традиционные этические и художественные ценности и существование самого человека в его свободе и самоопределении было поставлено под сомнение. Творчество Бабича было ответом на эти вызовы времени. Вместо гармонии, которой вдохновлялся Тукая, в его поэзии – драма и метафизика. И «гармония» тоже, но в философском, ином, чем в творчестве Тукая, смысле.

Не исчерпали ли мы, в меру наших умственных способностей и художественных вкусов, то потенциальное, что есть в поэзии Тукая или вкладывается в неё нами извне, стараясь протянуть её влияние на всю после неё татарскую лирику? Не отрываем ли мы тем самым её от реалий своего времени, обделяя, упрощаем? Думаю, что – да.

Когда я оказался в саду поэзии Бабича, почти не тронутом ножницами учёных, их манией «-измов» и определений, я был восхищён свежестью образов поэта, удивлён их стойкостью против возможных атак научной схоластики. И мне показалось, что тайна идентификации нашей национальной литературы, о чём мы нередко говорим, не только в Тукае, но и в поэзии Бабича. В тех ценностях, противоречиях, поэтическом экстазе и другом, чем она жива, оригинальна и теперь.

Удивительное явление: Бабичу удалось в своей поэзии показать, как традиции арабо-персидской литературы Средневе-

ковья трансформируются (известно: традиция жива пока изменчива) в литературе другого времени, пространства и народа. Суфизм, к примеру, в татарском литературном сознании нашёл своё отражение задолго до Бабича. Но, скорее, не как факт художественного мышления как такового, а как кладезь мудрости, наставничества, предметов для подражаний. Бабич, наоборот, не адепт суфизма, не пропагандист его идей в художественных формах. Он поэт в сфере образов и мысли суфизма, который, подобно Рудаки, Руми, Ибн Араби, обогащает его своей фантазией и поэтическими открытиями.

Осознавать, что творчество Бабича, в частности и суфизм в нём, способны расширить наше представление о том, что такое «национальная литература», – не сложное теоретическое допущение. Но только осознавать эту «национальную» составляющую нашей литературы, выражать, определять её в словах и понятиях, доступных иноязычному читателю, а в ряде случаев, и татарскому, но владеющему родным языком только в современной его модификации, оказалось непросто. Не хватало слов: принятые в литературной теории термины и определения не вмещали или вовсе искажали то содержание, которое следовало перевести на язык науки. Вот почему такое заметное место в моём тексте заняли экскурсы в лингвистику в поисках слов, объясняющих образы Бабича, а также попытки ввести в современную теорию новые слова или возвратить старые, которые прежде имели хождение в роли терминов и понятий.

Что стало в советское время с той связью между арабо-персидской и татарской литературами, которая так оригинально выразилась в творчестве Бабича? Она сошла на «нет» под давлением идеологии, сместившей суфизм, или ушла в тень и теперь трудно видима? Правда, я склонен считать, что поэтические искания и открытия Бабича не канули в Лету, их следы прочитываются и в современной татарской лирике.

* * *

О фотопортрете Ш. Бабича в начале этого эссе. Он в чёрно-белом монохроме, нередком в татарской живописи. Он взят из сборника стихотворений Бабича, изданном в 1922 году в Казани под редакцией Г. Ибрагимова.

Портрет нестандартный. Как он таким мог образоваться, – предмет для предположений, которые не стану строить. Лучше

скажу кратко о том, что Бабич проявлял интерес к физиогномике – известному ещё с глубокой древности чтению человека по его внешности. Вполне понятный для любого поэта, в особенности для Бабича, пример художественного мышления. В одном из дневниковых своих заметок он, не без доли иронии, «разгадывает» свой портрет. Далее привожу строки с сокращениями из его физиогномики.

«Свободный человек чего только не вытворяет! Не находя слов для письма, решился описать самого себя. С ног до головы. Из книг он вычитал или услышал от кого-то, мой брат говорил: «Человек с откинутой назад головой умным и сдержаным бывает; с головой, опущенной вперёд – сметливым и беззаботным, а с заострённой кверху головой – мечтательным и в мысли погружённым. Я верю в последние слова. Когда в мою, заострённую кверху голову вселяются мысли и мечтания, я забываю мир. Затуманиваются мои глаза, и я, словно глухой, не слышу слова.

...Мой лоб и не широк, и не узок. Средний. В народе говорится: «У кого лоб узкий, у того и характер узкий». Мой же характер, можно сказать, средний.

Язык мой большой, плоский. Когда в настроении, говорит без лени. Прикинувшись придурковатым, может смешить людей.

...Волосы мои жёлтые. Удивительно несуразные. Растворятся и лохматятся как помело. Но мягкие как шёлк.

...Уши здоровые и слышат хорошо. Но слишком большие и топорщатся.

«...Эй, журавль!» – обзывают меня мальчишки. ...И шея у меня длинная, как и рост. ...Если бы, как и погруженные в мечты люди, не стал бы я носить галстук, длинную шею скрывать было бы мне трудно».

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ФИЛОЛОГИЯ И ПОЛИЛИНГВИЗМ»

(Казань, КГУ, 2010)¹

<...> Поставленные и другие подобные им вопросы относятся в основном к межлитературным взаимодействиям, при которых роль идентичности как одного из постоянно действующих в них компонентов высока и функционально разнообразна. И, как правило, в большей части отечественной научной литературе слово «идентичность» конкретизируется присоединением к нему определения «национальная». Так, в 2002 году Воронежский университет издал сборник научных трудов под названием «Межкультурная коммуникация и проблема...».

<...> Слово «идентичность» в современной теории литературы встречается гораздо реже, чем в других гуманитарных науках. Его содержание применительно к литературе осмыслено слабо и как термин оно практически не встречается в словарях по литературоведению, справочниках, учебных пособиях и т. д. Пожалуй, словосочетания «кризис идентичности», «смерть автора», пришедшие к нам из западного постмодернизма, для нас более конкретны и понятны, чем литературная идентичность как таковая.

Однако в других (преимущественно гуманитарных) науках интерес к идентичности растет. Образуются центры по ее и ментальности изучению. Одним из таких центров стал Воронежский университет с издаваемыми им монографиями, материалами проводимых там конференций, со сборниками научных статей (например, Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности. Сборник научных трудов. Воронеж: ВГУ, 2002. 648 с.). Нередко журналы организуют круглые столы по ментальности и идентичности как актуальным проблемам. Так, журнал «Философские науки» во 2-м и 3-ем номерах за 2010 год опубликовал материалы по обсуждению темы «Основания и структура российской ментальности». Это лишь отдельные примеры из большого разнообразия форм и методов исследования ментальности и идентичности, а также постоянно

¹ Из архива Я.Г. Сафиуллина.

растущего и уже сейчас трудно поддающегося обозрению числа публикаций его результатов.

Сказанного, однако, недостаточно для того, чтобы транспортировать «идентичность», как и некоторые другие термины, в теорию литературы. В самой последней должна существовать потребность в обновлении, должны возникать задачи, решение которых без новаций, в том числе и терминологических, невозможно. То, что современная теория литературы находится в таком именно состоянии, очевидно. Старая теория литературы в виде достаточно стройной системы, какой она была в советское время, уже не соответствует новому литературному опыту и представлениям о нем. От нее остались фрагменты, связи между которыми потеряны, многие ее категории опустели в своем содержании, другие – основательно переосмысливаются. Особенно пострадал при этом раздел теории, исследующий межлитературные взаимодействия. Причина кризиса – распад единой советской литературы на отдельные национальные литературы с сильными возрожденческими тенденциями в каждой из них. Теперь исследовать отношения между ними, основываясь на старой методологии, постулировавшей преимущество общего над частным, канона над конкретным, цели над реальностью, неплодотворно. Необходимо вернуться к уникальности каждой национальной литературы, участвующей в диалогах с другими литературами, в ходе которых порождаются новые смыслы и достигается взаимопонимание. «Ментальность» и «идентичность» больше соответствуют новой литературной реальности, чем (неразб) бытовавшие в советской теории литературы понятия «национальное своеобразие», «национальная специфика». Последние затушевывают «ментальность» и «идентичность». Они основаны на превалировании общего над единичным. *Национальное как вариант рационалистические формулируемые образы (неразб)*. Специфика – частное преломление наднационального.

Приведенная выше координация двух понятий, из которых одно шире по своему содержанию и первично, а второе – представляет собой конкретное функционирование в области сознания первого из них, достаточно традиционная практика в нашем гуманитарном знании, предпочитающем идти от основ, постоянных констант к конкретному. В конечном счете с такой

же практикой, а также слабым вниманием теоретиков литературы (в сравнении с философами, культурологами, этнологами и др. гуманитариями) к ментальности и идентичности связано и следующее. Рассматриваемые понятия при включении их в контекст литературы представляются в основном как темы произведений, как отражения в образных формах научных дефиниций (например, Попова М. К. Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004). Естественно, ментальность и идентичность могут рассматриваться как соподчиненные по принципу «объективное – субъективное» понятия и литература как сфера, в которой они реализуются, находят особые условия для своей конкретизации.

В то же время существуют и другие исследовательские подходы, при которых идентичность активизирует себя в конструирующей ментальность роли. Так, русское художественное сознание формировалось под определяющим влиянием творчества классиков литературы и искусства [...]. Они идентифицировали себя с нацией и одновременно были вне пределов современного им ее состояния.

Из сказанного выше вовсе не следует, что взаимодействия между литературами постсоветского пространства и России, в которых русская литература всегда играла особенно активную роль и нередко роль посредника, перестали существовать с распадом единого государства или нежелательна. Культурные, духовные связи, сложившиеся в течение десятилетий, а в некоторых случаях и столетий, не могут вдруг прерваться под влиянием даже крупных исторических событий. Только исследование их необходимо вести с новых позиций.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА», «РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА». ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ? ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЯ С ФИЛОЛОГОМ

(Интервью)¹

Ямиль Галимович! Как мы договорились, сегодняшний наш разговор, близкий по жанру к диалогу, пойдёт в основном о «национальной литературе». О том, что это такое вообще и, в частности, применительно к литературе нашей республики. По теме, как известно, вызывающей споры, подчас острые, не только у нас, но и в других национальных регионах страны. Насколько вы готовы к такому разговору и имеете ли опыт в исследовании этой темы?

– Ряд лет я работал в Казанском университете, преподавал зарубежные и русскую литературы, теорию литературы, занимался сопоставлением русской и татарской литератур, подготовкой аспирантов, у меня есть и работы по этой теме.

– Надо полагать, что ваши ответы на мои вопросы будут основательными?

– В полной мере – вряд ли. Но откровенными – да. Наверное, они скорее будут приглашением к дискуссии и обращены к читателю, готовому поразмышлять вместе с нами.

– Хорошо. Попробуем начать с самого простого, без чего наш разговор не состоится. Что же такое «нация»? От этого слова образовано определение в словосочетании «национальная литература». Если мы договоримся по его содержанию, то нам станет проще рассуждать по теме нашего диалога.

– Не знаю, как нам удастся договориться. Удивительно то, что я согласился вести разговор о «национальной литературе», не будучи готовым чётко определить «нацию». Возможно, это моя непростительная самонадеянность. Помогите, пожалуйста, своим определением, если оно у вас есть.

– Есть. Не собственно моё, но распространённое. Общность языка, территории, экономики и психического склада, проявляющегося в единстве культуры. Это определение было

¹ Из архива Я.Г. Сафиуллина.

введено в обращение Сталиным и с некоторыми вариациями использовалось в советское время. Сохраняется в сознании и современного общества. Конечно, известное вам определение, с которым, как я вижу, вы не согласны. Если – да, то почему?

– В нашей стране нации, за исключением русской, не определяются общностью территории и экономики. К примеру, большинство татар проживает за пределами нашей республики, как и евреи – вне своей территориальной автономии; украинцы вообще не имеют территориальной обособленности и т. д. Экономика в ещё большей степени – не признак нации. Термины «язык» и «психический склад» демонстрируют свою неустойчивость. Среди татар растёт число людей, считающих своим родным языком русский; есть в нашей стране нации, в которых большая часть их представителей уже не говорит на языке титульной нации. А понятие «психический склад» имеет долю большой неопределенности. Так что категория «нация» в старой своей трактовке теперь практически не работает. Это в первую очередь касается, как я уже сказал, всех других, кроме русской, наций. К слову, в своём определении нации Сталин указывал на то, что, если в нём нет хотя бы одного из включаемых в него признаков, оно уже не состоятельно.

– *Что же вы собираетесь противопоставить бытавшему долгое время в нашей стране и сохраняющему до сих пор, по вашим словам, свою убедительность определению нации? Все-таки, с вашей точки зрения, что такое «нация»? Мы живём в стране определений, и с этим постоянным фактором нашей жизни приходится считаться.*

– Согласен. В «стране определений» – да. Но всегда ли это хорошо и с ними обязательно надо считаться, – вопрос. Мне же думается, что, то, что стоит за словом «нация», им называется, выразить в виде логической формулы невозможно. По крайней мере, пока. Далее я изложу своё понимание нации, которое может оспариваться. Но мы сегодня в диалоге, который предполагает столкновение разных точек зрения, без претензии на обязательную истину.

В основе нации – нечто первичное, что объединяет людей и не поддаётся логической дифференциации, то есть то, что в философии относят к онтологии. Сказанное не новость, оно существовало в сознании русского и других народов задолго до сталинской

теории нации. В мифах, художественных текстах, в философии и др. Кратко и, как мне кажется, очень удачно передано В. Розановым в метафоре «Судьба». Нация – это судьба (призвание, миссия) того или другого народа в мире. Возлагаемая Создателем на него ответственность. Воля к самоутверждению.

К такому пониманию нации были близки Н. Бердяев, П. Струве, Г. Федотов и ряд других русских философов. К слову, и в татарском интеллектуальном сознании начала прошлого века, когда «национальное» стало отдельным предметом мысли и творчества, оно не столько определялось, сколько переживалось как причащение к энергии духа, творящей и поддерживающей народ. К примеру, в написанной ещё в 1914 году книге Ж. Валиди «Нация и национальность» и других его работах, в статьях и выступлениях И. Гаспринского, Г. Шарафа, Г. Ибрагимова, книгах Г. Губайдуллина. Несколько позже в работах Г. Исхаки, особенно эмигрантского периода его творчества. В 1911 году Г. Тукай издаёт учебное пособие «Уроки национальной литературы в школе» со своим предисловием к нему и с хрестоматией текстов из татарской поэзии и прозы. И здесь «национальное» – литературная реальность, не переплавлено в логическое определение; оно, по сказанному выше, – «энергия» творчества. Потом, в советское время, нас приучили все предварительно определять, чтобы рассуждать и жить по определениям. Не подумайте, что я вообще противник определений. Наоборот, я за то, чтобы они оставались, как и понятия, живыми, постоянно уточнялись, проблематизировались, а не выставлялись в виде обязательных начал и выводов.

– Со сказанным только что вами, особенно в первой его части, нелегко согласиться, хотя вы ссылаетесь на Розанова и Бердяева. Они-то были верующие, и сведение ими нации к судьбе, предзданной Всевышним, приемлемо только при религиозном мировоззрении. Что, вы тоже связываете нацию с судьбой такого рода?

– Не обязательно. О том, что нация есть нечто первичное, что она не сотворена человеком, что она предздана ему, говорили и многие философы, историки, филологи секулярного толка. К примеру, немецкие – И. Гердер, В. Гумбольдт, у нас – евразийцы Н. Трубецкой, П. Савицкий, Л. Гумилёв и другие. При этом они опирались на идею, связывающую образование наций с биоло-

гией человека, с природными условиями его обитания, с образованием этносов, государств и других объединений. Так что в конечном понимании того, что нация в определённом смысле первична, исходна, религиозные и секулярные представления не полностью расходятся. Правда, мне последние ближе.

— Когда вы говорили о «национальном» в татарском культурном сознании и назвали несколько имён его представляющих, то к какому направлению — религиозному или секулярному — могли бы его отнести?

— Чёткое разграничение вряд ли здесь возможно. Религиозное и секулярное в татарском культурном сознании начала прошлого века, о котором говорилось выше, во многом были в синкретизме. И идея о том, что «национальное» как «энергия духа» реализуется в художественном творчестве, допускает обе возможности трактовок: и религиозную, и секулярную.

— Будем считать, что пришло время конкретизировать тематику нашего разговора и перейти от «нации» как таковой к «национальной литературе». Насколько понятие, выражаемое этим словосочетанием, актуально в наше время?

— Не везде и не в одинаковой степени актуально. Есть страны, в которых это словосочетание не актуализируется и не вызывает споров. В США, к примеру, вся литература страны, написанная на любом языке, считается национальной. Нет дискуссий. Там понятие «национальная литература» в одном ряду с понятиями «национальный парк», «национальный банк», «национальная хоккейная лига» и т. п. По-другому в нашей, а также в остальных странах так называемого постсоветского пространства. Здесь понятие «национальная литература» имеет особый, духовного уровня статус и споры по нему приобретают порой очень острый характер.

Как образовалась американская нация. (Отказ. Протест. Провозглашение новой формы объединения. Такая идея тоже в советское время и у нас проводилась. Была совершена гигантская работа по преодолению различий. Но она не удалась тогда. Она кстати продолжается. Но у тех, кто уехал в Америку, была одна земля, одна экономика и преимущественно одна религия. Был совершён скачок. Но в нашей стране и в Европе, другое...).

— Кказанному вами можно было бы добавить, что и на Западе есть страны, в которых понятие, о котором мы гово-

рим, нередко столь же актуализируется, как и у нас. К примеру, в Великобритании, где ирландцы и шотландцы борются за сохранение своих языков и культур. В Испании, Канаде, на Балканах и ряде других регионов.

– Конечно. Не только на Западе, но и Востоке. В Китае, например. Везде, где «национальное» утверждает, возрождает, стремится сохранить себя. И не видно того, когда и как оно может перестать быть предметом споров и борьбы.

– Почему, по вашему мнению, та или другая литература, имеющая своё конкретное название, которое происходит от языка своего написания или от имени народа, страны, которым принадлежит, может называться ещё «национальной»?

– Обходиться без словосочетания «национальная литература», если договориться об этом и ввести в практику, возможно. Но, известно, словами в жизни дело не ограничивается, за ними стоят обозначаемые ими понятия. Они более устойчивы, чем их словесная оболочка, которая может менять своё звучание или письменное начертание. Слово может быть изъято из обращения, но нелегко «вытравить» из сознания само понятие, которое им обозначалось. Так, слово «национальность» из наших паспортов теперь исключено, делаются шаги, чтобы вообще ограничить сферу использования слова «нация» в языке. Но так ли просто на самом деле «избавиться» от того, о чём говорит слово «нация», от «национального» как чувства причастности к обществу подобных тебе людей, от боязни потерять его или стремления возродиться вместе с ним?

– Известно, что слово и понятие, которое им обозначается, не одно и то же. И с вашим объяснением этого, в котором произучал и некоторый лиризм, видимо, можно согласиться. Но могли бы вы предложить достаточно простой и логически звучащий ответ на поставленные выше вопросы?

– Когда мы называем литературу конкретным именем («русская», «татарская», «немецкая» и т. п.), то в своих представлениях о ней ограничиваем себя в основном её пределами, её собственным в себе существованием. Её языком, образами, ментальностью и др. Слово «национальное» в данном случае в своём употреблении не обязательно. Но в современном мире практически нет «замкнутых» в себе литератур, они «открыты» друг другу, находятся во взаимодействии и соперничестве. При-

том каждая из них претендует на собственную идентичность, своё место в общем ряду литератур. Так сложилось в природе, объективно. Как и в жизни отдельного человека, который только условно может замкнуться в самом себе. Вот с этим-то уровнем включенности той или другой конкретной литературы во всеобщий мир литератур, с утверждением себя в нем связано понятие, обозначаемое словом «национальное». Если такое объективно существующее стремление не называть словом «национальное», то придётся придумывать для него иное, подходящее по смыслу и вкусу слово. Не исключено, что слово «национальное» по отношению к литературе выйдет из лексикона, но трудно представить себе, что подобное может случиться с понятием, им обозначаемым, то есть с реальным разнообразием литератур.

– *После того, как мне кажется, вам удалось обосновать, почему словосочетание «национальная литература» возможно и по-своему содержательно, можно задать вам следующий вопрос. Что такое «национальная литература» в сравнительно коротком и понятном для большинства читателей своём определении?*

– Я предпочёл бы вместе с вами пытаться понять, что кроется за этим словосочетанием, какие смыслы вкладываются в него. Они разные, нередко противоречат друг другу. Короткого ответа на ваш вопрос, видимо, не получится.

– *С чего-то мы должны начать, хотя бы с какого-то варианта ответа. Вы можете его предложить?*

– По-моему, проще всего начать с широко бытующего взгляда на «национальную литературу».

– *Что это за взгляд, в чем его суть?*

– Большинство читателей, которых вы попросите ответить на поставленный вопрос, почти не задумываясь, скажут, что «национальная литература отражает жизнь нации». Или что-то очень похожее на это. Такое же представление существует не только в массовом сознании, но и в подавляющем большинстве научных работ.

– *Кажется, вы не удовлетворены подобным ответом. Почему? Не потому ли, что он в «массовом» сознании или в работах учёных, с которыми вы в разладе? Мне же думается, что он краток, прост и понятен большинству общества.*

– В том-то и дело, что он слишком общий и с ним согласны читатели с разными взглядами на национальную литературу. Поэтому-то он «массовый», включая и учёных. В то же время он – заблуждение; его следует основательно уточнить или вовсе опровергнуть.

– *Заблуждение? Не преувеличиваете ли? Как же вы собираетесь это «заблуждение» опровергать и, главное, какое своё определение «национальной литературы» ему противопоставите?*

– Мы договаривались ещё до начала нашей беседы, что в ней поведём речь в основном о спорных, «болевых» точках поставленной проблемы. В дискуссии, особенно короткой, то есть такой, что и у нас с вами, лучше всего чётко формулировать свою точку зрения, если даже она покажется резкой, односторонней. Попробуем внимательнее вдуматься в приведённое выше, как мы его назвали, «массовое» определение национальной литературы. В его составе есть глагол «отражает», связывающий «литературу» и «нацию». Он указывает на их взаимозависимость, при которой превалирует «нация», а «литература» – вторична, её отражение. А в реальности этого нет. Язык, литература участвовали в формировании наций. «Национальное» в литературе – в составе самой нации, оно не есть просто отражение того, что ему предшествует.

– *Извините, что я останавливаю ваше рассуждение. Вы привели распространённое определение национальной литературы, в котором есть глагол «отражает», вызывающий ваше неприятие. Он действительно отводит литературе вторичную, отражающую жизнь нации роль. Но вместо него, по-моему, нередко ставятся и другие глаголы, например, «выражает», «воспроизводит», «изображает». А это уже признание за литературой её творческой природы. Они не то же, что «отражает».*

– Согласен. Названные вами глаголы не синонимы к слову «отражает»; они допускают большую самостоятельность автора от предмета изображения. Но ситуация в целом не меняется: «национальное» в литературе и в таком случае понимается как «выражение», «воспроизведение», «изображение» того, что уже существует, но с примесью авторской интерпретации. Традиционный и поэтому удобный способ мышления: искусство – под-

ражание. По образцу «бытие – первично; сознание – вторично».

– *А конкретнее показать, что представляет собой «национальное» в литературе, если оно не есть, с вашей точки зрения, отражение чего-то уже существующего в самой нации, вы в состоянии?*

– Попробую, и на конкретных примерах, если они вас больше убеждают. Гоголь первым назвал Пушкина национальным поэтом. Ещё при его жизни. В 1832 году в статье «Несколько слов о Пушкине». В ней он писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Национальным татарским поэтом считается, как известно, Тукай. Потому ли, что он в своём творчестве отразил жизнь своей нации, которая в его время возрождалась? Или преимущественно потому, что создал национальные духовные ценности и во многом определил дальнейшую эволюцию татарской нации. Мы скорее ответим «да» второму из этих риторических вопросов.

– *В продолжение предыдущего вопроса: откуда в таком случае берётся «национальное», если оно не отражение жизни нации? Просто из головы писателя, из мифа или из ещё чего-то другого, не имеющего прямой связи с действительностью?*

– Отвечу на ваши и возможного читателя вопросы, неожиданным, но, как обещал выше, «откровенным» образом, что – «да». «Национальное» – из всего, что вы назвали. Из нереляльного в обычном смысле слова. Из желаемого, возможного, творимого. Оно и в так называемом «национальном мифе». В пафосе утверждать свою нацию в среде других. В творчестве, героизме и жертвенности.

– *Не хотите ли вы всем этим сказать, что «национальное» в литературе не может быть кем-то предопределено до самой литературы, что не могут быть установлены общие критерии, по которым будут оцениваться разные писатели с точки зрения их национальной значимости?*

– Именно это вытекает из того приведённого выше утверждения, что «национальное» в литературе не есть отражение, воспроизведение того, что до самой литературы уже известно и, следовательно, может быть сформулировано и обозначено как предмет творчества. Сказанное, конечно, противостоит господ-

ствующей в нашем обществе теории о том, что такое «национальное» в литературе и искусстве. Оно против императива, исходящего, как правило, от власти и обязывающего писать именно об этом и так, а не иначе. Одна из причин того, почему слово «национальное» ассоциируется в сознании писателя нередко с довлеющей над ним идеей быть более значительным, чем он есть на самом деле, с должным, которому он обязан служить, и принимать такое внеличностное за правило собственного творчества и, возможно, тяготиться им, – заключается, с моей точки зрения, в том, что нас долго приучали и в конечном счёте приучили думать, что «национальное» в литературе и искусстве лишь отражение того, что есть, что уже известно кому-то, которому по этой причине дано право указывать писателям на то, о чём и как писать. У нас писатели скорее стремятся угодить власти: получать премии, квартиры, места в парламенте, во властной элите. Между тем литература, русская к примеру, как в Европе или в других даже восточных странах превосходила власть в своём духовном величии.

– Если принять сказанное вами за теоретическую позицию, то слово «национальное», добавленное к конкретному названию той или другой литературы, окажется менее устойчивым определением. Большие поэты, которые «проектируют» национальное самосознание и предопределяют пути его формирования, – редкость. Десятилетия и даже более долгие по времени периоды в истории литературы могут продлиться без явной выраженности в ней национальной идеи. Так ли это?

– Да. У «национального» в литературе свой пульс. Почему в отдельные эпохи он становится более заметным и сильным, в другие – слабым, вам и, надеюсь, большинству читателей, известно. Не стану загромождать наш разговор примерами из истории разных литератур. Подобное наблюдалось и в татарской литературе. В первую треть прошлого века «национальное» как тема и «производство» духовных ценностей – в центре творчества Г. Тукая, Дэрдменда, С. Рамиева, Г. Исхаки. После революции, до первой половины 30-х годов, – Г. Ибрагимова, Х. Такташа. Затем приходят десятилетия, в которые «национальное» существует в литературе в основном как явление «вторичное», производное от наличной жизни и идеологии. То есть в такой своей трактовке, о которой шла речь выше и все ещё бытует в современном созна-

нии. Что же представляет собой вновь возрождающееся «национальное» в татарской литературе сегодняшнего дня – отдельная и заслуживающая особого внимания тема.

– *Вы предпочли не давать определение «национальному» в литературе. Считаете невозможным это сделать вообще? Боитесь навести скуку на читателя? Или оставляете на конец нашего диалога?*

– Определения отнюдь не всегда бывают скучными. Они удобны в пользовании. Студенты их заучивают. Возможно, к концу диалога мы сможем, если захотим это сделать, дать какую-то логическую формулу того, что такое «национальная литература». Но, пока, видимо, нам лучше продолжить разговор о том содержании, которое вкладывается в это словосочетание.

– *Мне тоже кажется целесообразным так поступить. До этого момента мы находились в начале пути. Во второй его части, к которой мы подошли, предлагаю перейти к основному в проблеме, о которой идёт речь, – к теме «национальная литература и язык». Самой дискуссионной, острой и в условиях нашей республики и имеющей особое значение теме. Как соотносятся между собой язык нации и язык её литературы?*

– Язык – фактор, объединяющий нацию. И наиболее устойчивый в сравнении с другими, приводимыми, как правило, признаками нации: территория, формы хозяйствования, духовный склад. Особенно первые из двух названных постепенно перестают быть определяющими для нации. Так что «нация» – историческая категория. Нации рождаются, пребывают в расцвете, деформируются, уходят в небытие, иногда возрождаются и т. п. Если же и язык теряет свою интегрирующую роль в жизни нации, то она, как правило, перестаёт существовать. По крайней мере, в том нашем понимании, которое мы сегодня вкладываем в слово «нация».

– *Что, по-вашему, возможно и другое понимание «нации», без участия в её определении языка?*

– Не исключено, хотя такое нелегко принять и с ним согласиться. Во всяком случае, в жизни, в которой мы живём, есть тенденции, допускающие такое. Нация – это общность людей, претендующая на самодостаточность, своё особое место и даже миссию в мире. То, насколько она окажется способной реализовывать себя в меняющемся мире, будет зависеть прежде всего

от её воли, а не внешних обстоятельств, на которых мы привыкли полагаться.

— *Новые общности людей, заменяющие нации и их функции, — это возможное будущее. Это из области гипотез и далековато от темы нашего диалога сегодня. Поэтому предпочтём, может быть, продолжить разговор в традиционном ключе. Как соотносятся «национальная литература» и «язык нации»? Возможно ли и, если — «да», в какой степени и формах, существование одного без другого? Есть примеры того, что такое имело и теперь имеет место. Такие национальные литературы в нашей стране, как мордовская, удмуртская, чувашская, якутская и некоторые другие начали создаваться на русском языке. Как правило, в большинстве этих литератур и современные авторы, пишущие на русском языке, но на темы национального значения, считаются национальными. Правильно ли такое или нет?*

— У каждой из названных вами наций своё самосознание, и то, на каком языке или языках может быть их национальная литература, их выбор. Только это имеет для них решающее значение. Приведённые вами примеры могут быть приумножены. И в разных вариантах. К примеру, и в таком: национальные литературы могут зарождаться на «чужом» языке, чтобы потом перейти на свой, иметь сравнительно долгую историю на нём, однако, с последующим возвращением снова на «чужой» язык, ставший к этому времени родным для большинства нации. Такая тенденция в нашей стране начала складываться ещё в советское время. Теперь она набирает новую силу. Общегосударственной поддержки национальных языков и литератур, в отличие от прежнего времени, уже нет. Быть или не быть той или другой литературе, зависит собственно от её нации. Возлагать особые надежды на внешние обстоятельства, как это было в советское время, уже не стоит.

— *Если в сказанном вами есть прогноз, то он не особенно утешителен. Дни национальных литератур, с вашей точки зрения, сочтены? Писал же Г. Исхаки в начале прошлого века, что история татарской нации, включая, конечно, и её литературу, завершится в следующие два века. Первый из них уже прошёл. Чего ждать в дальнейшем?*

— Прогнозировать историю, по-моему, невозможно. Она творится. Непредсказуема. Только такое представление об истории

имеет смысл. И это заставляет нас быть активными. Прогноз же, как правило, убаюкивает нашу волю. Порождает в нас склонность к фатализму. Предсказание Г. Исхаки, которое нередко теперь повторяется, имеет все признаки прогноза. Татарской нации дано жить столько, сколько она в состоянии это делать. И её литературе. Сроки не установить. Если вы как редактор альманаха не пожалеете дать место следующему несколько развернутому примеру того, как исторически реализовывалась воля к самоутверждению у одной из европейских наций, которая в течение веков отстаивает свою самобытность и имеет достижения в этом, можно было бы его привести.

– *Попробуйте.*

– Речь идёт об ирландцах, их национальном языке и литературе. Ирландцев относительно немного. Всего около 7 млн человек, из которых почти половина в эмиграции, в США, Канаде, Австралии. Похожая на татар ситуация... В период раннего Средневековья Ирландия была страной с высокой для своего времени культурой. Уникальная по свежести лирика, записи древних ирландских саг, поэтическая школа бардов, рождение прозаических жанров – всё это участвовало в формировании в 8 – 9 веках общеноционального самосознания. Однако в конце 12 века началась активная фаза покорения Ирландии англичанами. В его ходе гэльский язык, на котором говорили ирландцы, был запрещён. Пользование им по королевскому указу середины 14 века каралось смертью. Однако ирландцы упорно сохраняли свой язык. Это им удавалось делать вплоть до середины 19 века. Однако в дальнейшем спад экономики, приведший к массовой эмиграции, растущая экспансия английского языка привели к тому, что теперь только около четверти ирландцев говорят на гэльском языке. Между тем такие всемирно известные писатели, ирландцы по происхождению, воспитанию, католики по религиозным убеждениям или близкие к католицизму по типу мышления, как Дж. Свифт, Л. Стерн, Б. Шоу, Д. Джойс, С. Беккет, поэт и драматург У. Йитс (Yeats), создававшие свои произведения на английском языке, относятся ирландцами к их национальной литературе. Но они получили известность в основном как представители английской литературы. Следовательно, ирландцы нашего времени, которые так заботятся о возрождении гэльского языка, субсидируют литературные издания, выходящие на

родном языке, всячески поддерживают писателей, пишущих на нем, не превращают в то же время «чужой», английский язык в обязательный маркер инонациональной литературы.

— *Интересный и поучительный пример, заслуживающий подражания. Небольшая Ирландия в сердце английской империи, веками притесняемая, но с какой волей к самосохранению! Писатели, вами названные и которых ирландцы идентифицируют со своей национальной литературой, известны во всем мире. «Путешествие Гулливера» Свифта — в высокой степени, «Сентиментальное путешествие» Стерна, пьесы Шоу — в значительной, а Джойс и Беккет — в числе основателей и, если можно так назвать, классиков европейского модернизма. За исключением Йитса. У вас были какие-то особые причины вставить и его незнакомое большому кругу читателей в нашей стране имя в ряд столь хорошо известных писателей?*

— Да, особые причины. У Йитса, действительно, мало знаком нашим читателям. Но он лауреат Нобелевской премии 1923 года. В данном случае, однако, главное даже не в этой премии, а в следующем. Он, ирландец по происхождению и воспитанию, писал только на английском языке, но на ирландские темы. Говорил, что его родной язык — английский, но писатель он — ирландский; был вдохновителем культурного движения «Ирландское литературное возрождение», много способствовал популяризации ирландских сказок и саг, издавая их на английском языке.

— *Теперь я понимаю, почему Ирландия, её поэт У. Йитс оказались нужными для вас в контексте нашего разговора о том, что такое «национальная литература». Вы хотите этим сказать, что проблемы, условно говоря, «малых» национальных литератур в больших государственных образованиях, где есть «доминирующие» языки и литературы, везде примерно, однаковые. Как на Западе, так и у нас, в Татарстане, в Чувашии, Удмуртии, Башкортостане и в других национальных республиках и территориальных образованиях.*

— Именно это хотел сказать. Писатели типа У. Йитса уже есть или могут быть в национальных литературах и в наше время. К примеру, произведения Ч. Айтматова на русском языке с киргизской тематикой, с основами киргизского мировидения в них — явления киргизской национальной литературы. Сейчас на

Украине развернулась кампания по натурализации Гоголя, который писал на русском языке. Это тоже из опыта идентификации писателя по неязыковому признаку.

– После этого несколько растянувшегося по времени эксперимента в ирландскую литературу, который, видимо, не бесполезен, вернёмся к нашей национальной литературе. В какой степени опыт признания иноязычных писателей как национальных в Ирландии, Украине, в Киргизии, других странах и в некоторых республиках России, может быть использован у нас? Например, Р. Кутуй, Р. Бухараев, Д. Валеев – талантливые писатели, татары по рождению, идентифицировавшие себя с татарской нацией, с определённой татарской тематикой в творчестве, но писавшие на русском языке, могут быть отнесены к нашей национальной литературе?

– Не стану спешить с немедленным ответом «да» или «нет» на поставленный вами вопрос. Начнём с простого анализа, с элементарной констатации фактов. Какие литературы, если исходить из языков, на которых они пишутся, в нашей республике существуют? Как ведущие – татарская и русская. Наряду с ними есть ещё один существенный по масштабности и значению пласт словесного творчества, который принято называть «русскоязычная литература». В неё, кроме приведённых вами примеров, включается ещё немало других писателей. Русский язык является для них родным, как и для большинства их читателей, хотя их произведения по причине двуязычия доступны для чтения практически подавляющего большинства татар. В нашей нации образовалась субкультура, состоящая из татар со ставшим для них родным русским языком, но продолжающими идентифицировать себя как татары. В этой субкультуре около одной трети татар, и она имеет тенденцию расти.

– Несколько лет тому назад вы опубликовали статью по термину «русскоязычная литература», в которой подвергали критике его очень расплывчатое, с вашей точки зрения, использование, даже назвали его, мне кажется, фантомом, то есть продуктом фантазии и лишённым самостоятельного содержания термином. Вы писали, что «русскоязычная литература» – это та же русская литература, но в условиях особого своего существования и не может быть выделена в какую-то отдельную литературу. Вы и теперь продолжаете так же думать?

– В основном – да. Но то, что такое «русскоязычная литература», и после написанной несколько лет тому назад статьи продолжало меня интересовать, и за это время мои представления об этом претерпели эволюцию. В частности, я пытаюсь понять то, что может обозначать это словосочетание, кроме того, чтобы являться просто синонимом термина «русская литература». Есть ли в нём доля собственного содержания, которая позволяет его употреблять? Вслед за этим вопросом возникает ряд и других, хотя бы о некоторых из которых нам, возможно, удастся поговорить. Пусть в виде постановки вопросов, предположений и др.

– Да. Нам лучше в дальнейшем разговоре двигаться от простого к сложному, воздерживаться от абстракций, не теряя из виду то конкретное, что может интересовать нашего читателя. Если вы согласны с этим, то, в каких значениях словосочетание «русскоязычная литература» принято теперь употреблять и каково ваше отношение к такой практике?

– Первое простое и ясное значение словосочетания «русскоязычная литература» следующее: «русская литература в «чужом» контексте». В творчестве писателей-эмигрантов, а также писателей, которые в результате распада общего когда-то советского государства оказались вместе с частью своего народа вне «большой» родины, тех, кто родились и стали писателями на «чужой» земле и т. п. Бунин, Набоков, Солженицын, Бродский, Довлатов, Аксёнов и другие русские писатели, оказавшиеся в эмиграции, при определённых условиях могут быть отнесены к «русскоязычной литературе». Например, по защите авторских прав, оказанию помощи в издании и распространении произведений и др. «Русскоязычная литература» в этом случае в одном ряду с «русскоязычными» газетами, радио, школами, культурными учреждениями с их статусом, функциями в «чужом» мире.

– Это понятно. «Русскоязычная литература» – это та же русская литература, но в «чужом» мире. Не будет ли логичным распространить это определение и на русскую литературу в национальных территориальных образованиях нашей страны?

– Мне думается, что нет. Она в своей стране, не нуждается в особой правовой защите, и нет, с моей точки зрения, как собственно литературных, так и социальных причин для того, чтобы называть «русскую» литературу и в этом случае «русскоязычной».

— Не думаю, что с термином «русскоязычная литература» рассстаться так просто, как вы предложили, нам удастся. Он нередко встречается в «большой» русской критике и, возможно, науке, а его частотность в лексике публицистики и науки национальных республик значительно выше. Притом коннотации его значения в этих двух случаях и схожи, и различаются. В русской критике, к примеру, распространено представление о «русскоязычной литературе» как о маргинальной, провинциальной литературе, в общем нерусской, хотя и на русском языке. Её, как правило, не включают в словари, справочники по русской литературе, в программы школьного и вузовского преподавания русской литературы и др. В национальных же республиках «русскоязычную литературу» нередко оценивают как русскую в её миссионерской, ассимилирующей роли, иногда — как часть своей национальной литературы. По-моему, такого рода «разночтения» одного и того же термина делают его недостаточно удобным в употреблении.

— Согласен. Почти невозможным. Поэтому я склонен, как было видно из сказанного ранее, вывести его в условиях нашей страны из обращения. В то же время им, возможно, обозначается какая-то особая литература, которую следует называть если не «русскоязычной», то другим словом. Стоит только вступить в сферу того, что называется «русскоязычная литература», как невольно оказываешься на почве неопределённостей. Что это за литература?

— Мне кажется, что какие-то ответы на ваши вопросы имеются и не всё так безнадёжно, как вы обрисовали. Темы, особенно исторические, быт и нравы, так называемая «ментальность», наконец, национальность писателя — всё это, в зависимости от уровня своей представленности в произведении и мастерства изображения, может явиться достаточным основанием для того, чтобы отнести того или другого писателя, пишущего на русском языке, к «русскоязычной литературе». Так принято считать. Что в такой точке зрения вас не убеждает?

— Многое. В «маленьких» трагедиях Пушкина, ряде поэм Лермонтова, повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», романах Вс. Иванова, современного писателя В. Пелевина есть инонациональные темы и другое, о чём вы сказали, но относить эту и

ей подобную литературу к «русскоязычной» возможно только в узком и приведённом выше значении, а по существу она – русская. Нередко в виде элементарного, но «надёжного» принципа, позволяющего любого писателя, пишущего на русском языке, «вытеснить» за пределы русской литературы, берётся его этническая, инородная принадлежность. Большой опыт самой русской и зарубежных литератур против подобного принципа. К примеру, Д. Конрад – поляк, Ф. Кафка – еврей, Э. Ионеско – румын, но как писатели они представляют, соответственно, английскую, немецкую и французскую литературы.

– *И вы можете предложить иные подходы, позволяющие маркировать национальные литературы, включая и так называемую «русскоязычную литературу»? Если тематика произведения, национальный колорит, ментальность и т. п., воспроизводимые в нём, – недостаточные, с вашей точки зрения, причины для отнесения его к той или к другой национальной литературе, то, что же может этим быть?*

– С моей точки зрения, главным образом язык. Мне близок давний и классический взгляд на определяющую нацию и её литературу роль языка. Литература – явление языка. Форма его существования. В каждом языке своё мировидение. И каждая из литератур образуется по языковой своей матрице. По словам В. Гумбольдта, немецкого лингвиста 19 века, каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, выйти из которого можно, только вступая в круг другого языка. Об этом написано чрезвычайно много лингвистами, философами, писателями.

– *Но просто давность этой точки зрения и её распространённость – недостаточное условие принимать её за непреложную истину. Взаимодействие языков, порой очень тесное, теперь обычное явление. Круги, в которые замкнуты разные языки и переходы от одних из них к другим без сохранения самодостаточности, как казалось Гумбольдту, невозможны, стали преодолеваться. Таким образом, роль языка как определяющего литературу фактора меняется и повышается вероятность существования литератур разных народов на одном и том же языке.*

– Согласен. Есть и иная, чем та, которую я изложил, и тоже имеющая свою историю точка зрения на язык в его отношениях

к народу и к его литературе. В неё укладывается то, что вы заметили. На язык можно смотреть как на инструмент оформления результатов мышления или литературного воображения. То есть исходить из предположения, что существуют внеязыковые акты мышления, интеллектуальные, духовные ценности, как правило, общие для всех народов, которые можно выражать, описывать одинаково как на разных языках, так и на одном из них, достигшем особого совершенства. Своего рода лингвистический романтизм, который тоже имеет своих приверженцев в теории, а также практиков в художественном творчестве. Он вселяет надежду преодолеть разнообразие языков, добиться их единства в искусственно изобретённом языке или путём поглощения одним из них всех других.

— *Если эти обе точки зрения на взаимоотношения языка и литературы существуют в одно время и имеют своих сторонников, добиться согласия в спорах о том, что такая «национальная» или «русскоязычная» литература, вряд ли возможно. И вы так полагаете?*

— Да. В частности, граница во взглядах на то, что такое «русскоязычная литература», проходит там, где решается вопрос о том, как соотносятся между собой понятия «язык» и «литература». Только при соблюдении этого начального условия дискуссия может привести к каким-то результатам. Для тех, кто во взаимоотношениях языка и литературы отдаёт предпочтение языку, слова «русскоязычная» и «русская» будут синонимами. При обратном подходе, когда язык понимается в основном как инструмент выражения свободного от него содержания, каждое из этих слов будет иметь собственное значение. Видимо, я повторяю то, о чём уже говорилось ранее, но это очень существенный момент в нашем разговоре. И, к сожалению, в нередко возникающих дискуссиях о национальных литературах, о так называемой «русскоязычной литературе» начинать с него не принято. И в результате эти дискуссии мало к чему приводят.

— *Вы стоите на первой из упомянутых выше точек зрения о том, как соотносятся между собой понятия «язык» и «литература», по которой получается так, что «русскоязычной литературы», хотя о ней много говорится, на самом деле нет. Но как такое согласуется с вашим же высказанным ранее утверждением об ирландской национальной литературе*

на английском языке? К этому можно было бы добавить примеры существования разных литератур на испанском, португальском, французском языках. Так ли универсален ваш принцип разделения национальных литератур по языковому в основном признаку?

— Принцип, о котором идёт речь, собственно не мой. Он существует издавна; я только придерживаюсь его и опираюсь на него в попытках осмысливать то, что происходит с национальными языками и литературами в нашей стране. Причём в своеобразных условиях, аналоги которым в зарубежной истории нелегко находить. Да, великие ирландские писатели, о которых шла речь выше, писали на английском языке. Но, обращаю ваше и читателей внимание, на трансформированном английском. Лексически, фонетически, синтаксически изменённом. Они «чужой» язык приспосабливали к ирландскому мировидению. Поэтому-то в теории существует словосочетание «англо-ирландская литература». Нечто подобное происходит и с американским вариантом английского языка. Национальная бразильская литература — на португальском языке, который, однако, настолько изменился в Бразилии, что почти непонятен европейскому португальцу. Однако, в отличие от английского, португальского, французского, испанского и ряда других языков, центростремительная сила русского языка, его устойчивость, самодостаточность столь велики, что писатели, особенно так называемые «русскоязычные» из них, оказываются замкнутыми в нём, стремятся строго, даже больше, чем русские, придерживаться его традиций и правил, подчёркнуто демонстрируя уважение к ним. Говорить о «русско-татарской», «русско-чувашской» или других подобного типа литературах, ссылаясь, к примеру, на опыт использования словосочетания «англо-ирландская литература», нет оснований. Доминирующим языком в них в любом случае будет русский, не позволяющий себя трансформировать.

— Ваша склонность к теории естественна. Теория стремится обобщить в себе возможно больший объём практического опыта, но далеко не всегда это ей удаётся. Мне вспоминаются слова Гёте из его трагедии «Фауст», которые воспроизвожу на память: «Наука, мой друг, сера, но вечно зелено древо жизни». То, что вы говорили о «русскоязычной литературе» как о той же «русской», но с дополнительными

значениями, не исчерпывает проблему. В татарской нации, к примеру, образовалась целая субкультура, состоящая в основном из тех, кто уже не знает татарского языка, но относит себя к татарам. В ней есть и писатели с родным для них русским языком, но идентифицирующие себя как представители татарской нации по происхождению, исторической памяти, религиозным убеждениям, мировидению и др. И такую литературу, несмотря на её специфику, самоидентификацию писателей, наличие у неё большого круга своих читателей, вы всё-таки склонны называть «русской»?

– Да. Преимущественно – русской. Это вытекает из той точки зрения о превалировании языка в его связях с литературой, которая мне близка и о чём мы уже говорили. Возможна и иная точка зрения, о которой тоже была речь, но из неё будут вытекать другие, чем я делаю, выводы. Очевидно, та литература, которую вы обозначили, никак не может быть названа «татарской». Конечно, у неё есть своеобразие, придающее ей отличие в среде русской литературы. Она, в частности, имеет отношение к татарской нации в широком значении слова, включающем в её состав всех, кто независимо от языка идентифицируют себя как татары. Эта литература на русском и возможная на других языках (к примеру, узбекском, казахском, английском и др.) составляет часть самосознания татарской нации, драматически разделённой теперь по языковому принципу, но сохраняющей признаки единства.

– *Вы в начале своего ответа на мой последний вопрос употребили слово «преимущественно», выделив тем самым в составе той литературы, которую, с вашей точки зрения, необоснованно называют «русскоязычной», какую-то её нестандартную, сравнительно небольшую и особого значения часть. Что она собой представляет?*

– Чтобы ответить на ваш вопрос более или менее убедительным образом, придётся вернуться, пусть кратко, к «серой» науке. Литература формирует нацию в её уникальности, в том, чтобы она не ассимилировалась какой-то другой нацией, оставалась самостоятельной ветвью в «вечно зелёном древе жизни» разных народов. Не высохшей и ждущей часа своего конца ветвью, а живой, в порыве к свету и тем самым ценной для всего «древа». В формировании такой нации может принимать

участие не только татарская литература, но и та литература, о которой мы ведём речь. Если, конечно, она оказывается способной это делать.

– *Конкретнее. Что вы имеете в виду под «способностью» этой литературы участвовать в формировании татарской нации в её уникальности?*

– Мне будет проще начать с частного примера, что, может быть, позволит легче перейти на теоретический уровень. Большинство произведений Ч. Айтматова написано на русском языке. Но они входят в киргизскую национальную литературу, и во многом определяют её современный облик.

– *Как ему удавалось это делать?*

– Сказать не просто. Процесс творчества труднообъясним. Но о его результатах можно говорить. Когда читаешь произведения Айтматова, проникаешься чувствами и мыслью о существовании иного, чем привычное для тебя, видения мира, которое трогает, удивляет, обогащает тебя. Национальное в той или другой литературе – всегда иное, чем в остальных литературах. И воспринимается оно как открытие, как обязательный фрагмент целостной картины мира, воспроизведимой разными литературами.

– *Насколько я представляю, вы не находитите в нашей так называемой «русскоязычной литературе» писателя, сравнимого по своему значению для татарской нации с тем, что привнёс в свою нацию Ч. Айтматов.*

– Убеждён, что и вы той же точки зрения. Но это не говорит о том, что в ней нет талантов и интересных, значимых для татарской нации произведений. По тематике, сюжетам, мотивам, отдельным образам. По амбивалентности переживаний, вызываемых раздвоенностью татарской нации по языку, по воссозданию истории, которое нередко сопровождается ностальгией. По всему тому, что на самом делеозвучно вкусу и чувствам множества читателей.

– *Таким образом, как вы только что сказали, воспроизвивается жизнь татарской нации в значительной, по крайней мере, её части. Если так, то и эта литература может быть отнесена к национальной?*

– Конечно, если мы будем исходить в своих суждениях из понимания «национальной литературы» как «отражения», «изображения», «воспроизведения» жизни нации. Такое пони-

мание мне кажется суженным в своём содержании, и, как говорил ранее, мною не разделяется.

— *Что же ещё дополняющего её, по вашему мнению, могло бы быть в этой нашей литературе на русском языке, чтобы её считать по-настоящему национальной?*

— Не могу брать на себя роль человека, указывающего писателям на то, как можно стать автором произведений национального значения. Но приведу некоторые примеры из числа писателей такого типа. У того же Ч. Айтматова темы, события, мифы и всё конкретное в его текстах «растворены» в киргизском мировидении, указать на которое конкретно мы не можем; но оно в его произведениях есть как уникальное и тем самым нам, читателям, интересное. В основе творчество известного в мире чувашского поэта-модерниста Г. Айги, который писал преимущественно на русском языке, исследователи находят признаки чувашского народного сознания в его языческих истоках, в котором, как в своего рода эфире, пребывают его поэтические образы.

В теоретической форме можно сказать, что литературное произведение, написанное на «чужом» языке, может быть воспринято как своё национальное, если история, быт и нравы, элементы культуры, топология и другой конкретно обозримый мир того или другого народа подведены в нём под общую для них константу, то есть постоянную величину. Возможно, я недостаточно начитан в нашей так называемой «русскоязычной литературе», что не вижу в ней писателей такого же национального значения, как Ч. Айтматов или Г. Айги.

— *Писатель, создающий свои произведения на русском языке, может содействовать, как вы только что сказали, утверждению и эволюции своей нации в мире других и в качестве примеров назвали имена Ч. Айтматова и Г. Айги. Также вы дали своё обоснование тому, чем их творчество оригинально в своём национальном значении. Но они, как, к примеру, Ф. Искандер, В. Быков и В. Набоков в своих англоязычных романах, — редкое явление. Можно же способствовать «продвижению» литературы своей нации не столько своим художественным творчеством, сколько переводами из неё, лекциями о ней и другими формами её активной, скажем, «пропаганды» в иных культурах. Ранее в нашем разговоре вы заметили, что ирландский поэт И. Йитс писал свои стихи только*

на английском, но много переводил на него ирландский фольклор, был одним из лидеров движения за ирландское культурное возрождение. Он считал себя ирландским национальным писателем, но с родным для него английским языком. Нечто похожее есть и в нашей литературе. Р. Кутуй, Р. Бухараев, к примеру, с вашей точки зрения, могут быть отнесены к татарской национальной литературе своими переводами из неё, участием в её жизни, стремлением быть причастными к её истории?

– Вы «сняли с моего языка» то, что я собирался сказать. Конечно, они и часть из тех, кто пишет на русском языке, – в нашей национальной литературе, которая, однако, разделена, как и татарская нация, по языковому принципу.

– *Тем самым вы придерживаетесь идеи, что понятия «татарская литература» и «национальная литература татар» не синонимы и содержание второго из них более широкое?*

– Да. К такому выводу приходишь, когда в своих взглядах на то, что такое «национальная литература», опираешься на конкретные факты, если даже они противостоят твоему мировосприятию. Татарская нация теперь, как я уже говорил ранее, драматически разделена по языковому и, соответственно, литературному признаку. И открытые дискуссии по осознанию этой ситуации просто необходимы.

– *Наши диалог подошел к своему завершению. Что, с вашей точки зрения, существенное и просто интересное осталось за его пределами? Что вы могли бы добавить к нашему разговору в виде его заключения?*

– Одна из тем появилась в самом конце нашего диалога, но не стала предметом должного обсуждения. Речь идёт о понятиях «татарская литература» и «национальная литература татар». Допустимо их различие или нет? Если – да, то, каким образом. Тема эта, как мне представляется, исключительного значения. За пределами нашего диалога осталось и «двуязычие», о котором так много говорится как в науке, так и в реальной жизни. Его, однако, в нашей литературе, в отличие от ряда других, нет. То есть нет писателей, одинаково хорошо пишущих на татарском и русском языках.

Мы в основном говорили о терминах «национальная литература», «русскоязычная литература» и понятиях, которые за

ними стоят. Но термины, по словам П. Флоренского, – это своего рода «стоянки мысли». В них мыслительная деятельность человека на время останавливается, чтобы увидеть, как бы «подытожить» пройденное и оформить его в словах с устойчивыми значениями. Но не навсегда. Та же мысль на очередной своей «стоянке» может пересмотреть содержания терминов, которые были ею же установлены ранее, дополнить их новыми значениями или вовсе отказать некоторым из них в праве на дальнейшее существование.

Мы также в своём разговоре старались представить то движение, разнообразие, спорное, которое было или возможно в будущем при взглядах на то, что могут значить словосочетания «национальная литература», «русскоязычная литература». И его никак нельзя принять просто за «обучающий», образовательного типа диалог. Возможно, и читатель найдёт в нём приглашение к дискуссии.

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ ВЕНЕРЫ РУДАЛЕВНЫ АМИНЕВОЙ

«Типы диалогических отношений между национальными литературами (на материале произведений русских писателей второй половины XIX века и татарских прозаиков первой трети XX века)»

Очевидна теоретическая направленность диссертации В. Р. Аминевой. Она была задумана как исследование межлитературных взаимодействий и в итоге явилась определенным вкладом в решение связанных с ними проблем.

Я не являюсь специалистом в области татарской литературы и вряд ли смогу что-то серьезное добавить к тому, что было сказано в выступлениях предыдущих рецензентов по проделанному в диссертации анализу произведений татарских писателей. Поэтому попытаюсь дать оценку теоретической актуальности, уровню и качеству проведенного исследования, хотя и об этом было уже немало сказано. Свою же задачу я вижу прежде всего в том, чтобы обозначить место диссертации В. Р. Аминевой в контексте современной теории о межлитературных взаимодействиях. Без преувеличений можно сказать, что это место особое. По следующим причинам.

Межлитературный диалог наряду с другими аналогичными ему категориями (межкультурное взаимодействие, межкультурная коммуникация, межрелигиозная толерантность и др.), актуализировался как научная проблема в последние 10–15 лет по известным, в первую очередь политическим, причинам. Дремавшие в течение почти полувека на книжных полках идеи М. Бахтина вдруг ожили, нашли своих адептов, стали развертываться в глубину и вширь. В то же время рождаются и новые подходы к исследованию межкультурных (включая литературные) коммуникаций. Уже вышли десятки книг, сборников, других материалов, значительную часть которых можно видеть в библиографии к диссертации. Назову некоторые из таких изданий. Мой выбор, как это будет видно из дальнейшего, имеет прямое отношение к рассматриваемой диссертации и одновременно носит назидательный характер. Воронежский универси-

тет издал в 2002 году сборник «Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности» объемом более 600 страниц. Вообще Воронежский университет сумел стать уже в этом, XXI, веке одним из известных центров России по исследованию обозначенных в этом сборнике проблем. Он получает ряд российских и зарубежных грантов. Саранский университет в 2003 году издал материалы проведенной там конференции под названием «Межкультурная коммуникация: язык – культура – личность». И Казанский государственный педуниверситет в 2002 году издал сборник материалов научной конференции «Межкультурная коммуникация и формирование толерантной личности». На этом фоне даже провинциальных университетов, не говоря о столичных университетах и других научных центрах страны, наши успехи выглядят достаточно скромными.

Между тем история, традиции, местоположение Казанского университета благоприятствуют и в известной степени обязывают нас к большему. Серьезным шагом к нему и является рассматриваемая диссертация. Ее защита может стать демонстрацией научного и организующего потенциала ее автора и нашей кафедры в целом.

Есть еще одно серьезное обстоятельство, которое подчеркивает новаторство работы, выполненной В. Р. Аминевой. В названных выше и подавляющем большинстве других исследований по межкультурным коммуникациям речь идет о взаимодействиях русских, славянских, западноевропейских литератур. Тюркские литературы пока остаются, как правило, за пределами научных интересов ученых. Диссертация В. Р. Аминевой является исключением из этого правила и показывает возможность расширения как тематического поля ведения сопоставительных исследований, так и их теоретической оснащенности.

Сквозной проблемой, связывающей все четыре главы диссертации, является проблема литературной идентичности и универсалий, которая силой экстраполитературных обстоятельств оказалась в центре современных научных изысканий и дискуссий. Здесь немало спорного, пока недостаточно разработан и нередко противоречив терминологический аппарат. Но автору диссертации удалось и в этих условиях, как мне представляется, предложить достаточно убедительную концепцию решения обозначенной выше проблемы, подтверждаемую примерами конкретного литературоведческого анализа.

Русская и татарская литературы в значительной части своей истории эволюционировали в общем пространственном, экономическом и социально-политическом континууме, что обусловило образование типологических схождений между ними, которые далеко не всегда были результатом влияний и заимствований. Однако в большинстве работ о русско-татарских межлитературных отношениях, выполненных старым, добротным сравнительно-историческим методом, русская и татарская литература предстают, как правило, в образах ведущего и ведомого. В. Р. Аминева не занимается отверждением такого рода работ, их критикой, у нее иные, чем у их авторов, задачи. Она фиксирует свое внимание более на различиях, характерных для сопоставляемых ею литератур и определяющих национальную идентичность каждой из них. Диалог различий, универсалии как новые смыслы, порождаемые в процессе межлитературных отношений, – вот основной теоретический пафос работы, которую мы сегодня обсуждаем.

Конечно, различия и универсалии (различие и тождество) – своего рода оксюморон. Трудно понять, определить переход одного в другое. Но диалог без различий невозможен, как невозможно и обратное (различия вне диалогических отношений не существуют). Собственному пониманию этой сложной проблемы и возможным путем ее решения и посвятила большую часть своей диссертации В.Р. Аминева. Не исключено, что ее концепция может быть оспариваема, дополняема, изменяема и т. п., но в том виде, в какой она в данный момент представлена в диссертации, достаточно убедительна.

Проведенное в работе В. Аминевой сопоставление русской и татарской литератур, значимо для понимания идентичности каждой из них. Русская литература в большинстве исследований, как и в данном, – это контекст, в котором осмысливается идентичность татарской литературы. Но существует явление и обратного порядка. Идентичность самой русской литературы познаваема только в сопоставлениях ее с другими, в том числе и татарской, литературами. В диссертации есть примеры, иллюстрирующие последнее обстоятельство.

Мои предложения и замечания касаются в основном оформления диссертации. Она может быть существенно сокращена по объему без серьезного ущерба ее содержанию. Прежде всего,

можно было бы, с моей точки зрения, если не устраниТЬ вовсе, то основательно сократить описательные материалы. Например, следует ли в работе такого рода писать о том, что такое символ, метафора, психологический параллелизм и др.? Везде ли обосновано параллельное существование текстов из татарской литературы в оригинале и в переводах на русский язык? Может быть, следует сократить число включенных в обзоры исследований, фиксируя внимание на основных, прежде всего проблемных, из них? Возможны и другие, скорее всего самому диссертанту лучше известные, пути сокращения чрезмерно большой по объему работы. Второе мое замечание касается языка диссертации, который отличается сложностью особенно в теоретических разделах работы. Не исключено, что идеи, в них рассматриваемые, могут иметь более простые варианты своей вербализации. В-третьих, заключение диссертации далеко не в полной мере отражает сущность ее разнообразного и значительного содержания.

В целом докторская диссертация В. Р. Аминевой является завершенным научным исследованием и после технической в основном доработки может быть представлена к защите в специализированный Совет по специальностям 10.01.02. – Литература народов Российской Федерации (татарская литература); 10. 01. 08. – Теория литературы. Текстология.

16 декабря 2009 года

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ¹...

Срок воинской службы у рядового Сазова из роты снайперов в мотострелковой бригаде Приволжского военного округа подошёл к концу. Но он, в отличие от своих сослуживцев, не подал рапорта с просьбой перевести его на контракт. Неожиданный случай.

Подготовка снайперов – «штучное» производство. Обходится дорого. Просто демобилизовать одного из лучших снайперов роты, к тому же хорошо владеющего английским языком, значило бы, что в элитной части бригады с воспитательной работой не всё благополучно.

В основе роты прапорщики и два офицера. Она ежегодно пополнялась всего несколькими рядовыми, которые отбирались по результатам добровольного и жёсткого тестирования из числа прибывших в часть новичков. Преимущественно из меланхоликов, психологически более устойчивых и невозмутимых. Правда, некоторые из них потом возвращались, тоже по своему желанию, в обычное подразделение; кого-то отчисляли по профнепригодности. В конце срочной службы проводился следующий конкурс, но уже среди тех, кто был готов продолжить её по контракту. Как правило, в нём участвовали все, хотя выдерживать его удавалось не каждому.

Снайперы – замкнутые каждый в себе существа, немногословные, приученные к одиночеству. Каждый день, каждое занятие для них – соперничество. Служба Сазову давалась легко, но он не выделял себя среди других. Не демонстрировал своё превосходство, которое у него на самом деле было. Оставалось не завидовать, а лишь удивляться его мастерству.

Вряд ли кто-то из наличного состава роты мог бы повлиять на Сазова. Ждали возвращения из командировки прапорщика Руденко, его куратора, с тем, чтобы он склонил его к принятию положительного для части решения.

* * *

– Что, Сазов, службе конец? Скоро домой?

– Да. Выходит так.

¹ Этот рассказ опубликован в «Казанском альманахе» (Изумруд. Казань, 2018. С. 133-141), здесь печатается в авторской редакции.

Разговор начался в помещении, в котором жил Руденко. Находилось оно в прилегающем к казарме здании. Дощатый стол, покрытый клеёнкой, такие же, как в казарме, стулья и две тумбочки, железная пружинная кровать. Справа от двери, там, где зарешечённое окно, — плита и холодильник. Чисто. У каждой вещи своё место.

Сам Руденко стройный, гладко выбритый, расчётливый в движениях. У него талант инструктора и воспитателя. Ему было дано видеть в каждом из начинающих снайперов то, что в нём есть индивидуального и совершенствование чего возможно, а также то, что может оказаться неодолимым препятствием, пределом в росте его мастерства. Сазова он приметил сразу, и особенно с ним ему нравилось работать. Достаточно было немногих слов, советов и жестов, чтобы тот, как говорится, на глазах улучшал свои результаты.

— Мне полковник дал задание поговорить с тобой. И без него я собирался это сделать. Короче, оставайся по контракту. Говорил Руденко не спеша, чётко выделяя, по привычке командира, каждое слово и прямо глядя на своего собеседника. Сазов, привыкший во всём следовать его указаниям, сегодня не знал, что и как ему отвечать.

— Тебе сколько сейчас? Двадцать. У тебя талант. Надо использовать его. Смотри, что выходит по контракту, — нормальное денежное довольствие, форма и другое. Сначала сержантом на пять лет, а там посмотришь. Можешь пойти в школу прaporщиков или в училище. Уволиться вообще. Женившись — квартира. Уйдешь со службы со временем или на пенсию — будешь нарасхват. Теперь метко и быстро стрелять хотят все. Особенно богатые и кто у них в службе. Но, запомни, сейчас уйдёшь вот так, как, может быть, ты надумал, — мало кому будешь нужен. Самому метко стрелять и быть тренером по этому делу не одно и то же. Здесь становишься настоящим инструктором. И на всю жизнь. Что скажешь, Сазов, что ты думаешь?

Сазову, на самом деле, было нечего сказать, вернее, сформулировать то, что происходило в его сознании. Почему вдруг прaporщик делит жизнь на два этапа, когда она одна? И, главное, почему меткой стрельбе придавать такое значение? В армии ещё понятно, а в жизни вообще? В нём страсть к делу, которому он учился, поддерживаемая честолюбием, столкнулась с проти-

водействием в виде пока не вполне ясных и не связанных с тем, чему его здесь обучали, представлений о смысле жизни.

– Вправду, я не знаю, оостаться мне или нет.

– Конечно, оостаться. Не думай, что моя жизнь и других, кто служит в роте, только здесь. В тренировках и учёбе. Есть выходные, командировки и, как у всех, отпуск. Недавно я стажировался в Солнечногорске, в известной и тебе школе снайперов. Потом почти две недели, ты знаешь, меня на службе не было. Тестирували биатлонистов в их лагере. Ставили диагноз. Отсевали тех, кто, несмотря на хороший ход, никогда не станет нормально стрелять. У него не получится как бы ни тренировался. Рожденный ползать летать не может. О своих и других прaporщиков командировках в «горячие» точки на Кавказе, Донбассе, в Крыму Руденко не стал, как это было принято в подразделении, говорить.

К биатлону, который упомянул прaporщик, Сазов почти потерял интерес, хотя в роте он считался лучшим видом спорта. Были дни и часы, в которые устраивались коллективные прошмотры, приравненные к занятиям.

Биатлон: скорость и выстрел; тела из одних мускулов, доведённые до совершенства в движениях и стрельбе. Радостный рёв зрителей от точно посланной пули, подобный рёву стаи, догоняющей жертву, или её громкий вздох от промаха. Почти одинаковые в своём выражении и без улыбок лица спортсменов. Лишь изредка слёзы радости на глазах победителей.

Сазов переставал следить за соревнованием, слышать громкий голос комментатора Дмитрия Губерниева. Он видел склоны трассы с мальчишками на санках, лыжах или просто играющими в снегу, ухоженный лес, одинокую, полузыпанную снегом хижину, скалы, образующие ущелье, и облака в них. А снег, ветер, туман стали казаться ему протестом природы против человеческой страсти стрелять.

– Приди в себя, Сазов. Вышел из разговора. Устал или что?

– Нет, товарищ прaporщик, со мной иногда такое бывает. Размечтался. Извините.

– Ну ладно. Мы с тобой время ужина пропустили. Так что будем сами готовить его. Сварим картошку.

После того как картошка была вымыта и в кастрюле поставлена на плиту, Руденко повёл Сазова в оружейную комнату,

которая располагалась рядом по коридору. Он имел постоянный доступ в неё.

Снайперские винтовки стояли в трёх пирамидах вдоль стен комнаты. Посередине её – большой, вытянутый в длину стол для осмотра оружия и ухода за ним. Мёртвая тишина. Все винтовки в ожидании своего часа. Но пока они на замке через металлический трос, протянутый в скобы спусковых крючков. Некоторые из них Сазов узнал. Участвовал в их пристрелке, то есть в том, чтобы установить, каким образом стреляя из той или другой из них, добиваться высокой кучности боя. В результате составлялся паспорт каждой винтовки с её тактико-техническими данными. К такой операции привлекались только опытные прaporщики и офицеры. Сазов среди них был исключением.

В двух пирамидах – «драгунки», отечественные снайперские винтовки конструктора Драгунова (СВД). Рядовые в роте тренировались в основном на них. В пирамиде у правой стены – история снайперских винтовок, представленная в разнообразии отдельных экземпляров: немецкого, американского, русского и других. Среди них и знаменитая на все времена винтовка Мосина. В русской армии ещё с 1891 года, прошедшая две мировые войны, до 1963 года стоявшая на вооружении Советской армии. Сазов её узнал, участвовал в её пристрелке. Подошёл к гнезду, в котором она находилась.

Красавица. Совершенная в формах. Вся её ложа, в отличие от других винтовок, из красно-коричневой берёзы с заметными следами годовых колец. Взаперти, как и остальные. Сазов тронул её за накладку на стволе и ... вздрогнул. Ему послышалось, будто она просит его: «Освободи, возьми меня, я так устала ждать». Руденко видел, как взволновался Сазов, как побледнело его лицо и в струнку вытянулось тело.

От картошки в мундире, опрокинутой в большую алюминиевую чашу, местами надтреснутой в кожуре, шел так знакомый Сазову с детства пар с запахами земли и «второго хлеба» крестьян. Вскрытая банка со шпротами. Зеленый лук. Грибы. Хлеб.

Прапорщик из ближней к нему тумбочки достал бутылку водки и два граненых, с ободками стакана. Такие были и у деда Сазова. Ещё от военного времени. Из них он пил чай, аспирин, а в праздники водку. Себе Руденко налил по край стакана, ему – половину. Выпили в один приём.

— Сазов, ты мне почти родной. Останешься — всему научу, всему, что знаю. Мне через полтора года на пенсию. Будешь вроде наследника. Некому, кроме тебя. Ты лучший. Кто тебя ждёт дома? Дед да бабушка.

На каждого из снайперов в роте, как и на винтовки в ней, составлялись анкеты с «тактико-техническими данными». Руденко знал о том, что Сазов вырос и воспитался не в родительском доме. Что он неудачно поступал в университет.

— Дед умер, теперь одна бабушка.

— Так, возьмёшь её к себе.

— Не получится. Она оттуда никуда не поедет. Дед похоронен, родственники и вообще всё такое. Только мне к ней.

Наступило молчание. Наконец Сазов осмелился спросить о том, что ему так хотелось знать.

— Что на гражданке вы сами собираетесь делать, товарищ прaporщик?

— Что буду делать? Мне сейчас 42. Можно ещё жениться и детей рожать. Но уж точно, куплю пекарню. Печь хороший хлеб. Деньги есть.

От неожиданного ответа прaporщика Сазов осмелел и, улыбаясь, продолжил.

— Может, вам и ручной жернов достать, как у моего деда?

— Слышал. Но не видел никогда. Какой он?

— Из двух круглых камней. Один на другом. Ручка на верхнем камне, отверстие в его центре, куда зерно всыпать. Крутишь его — мука на простыню падает. Потом её можно замешивать на хлеб, пироги и всё такое.

— И вы пекли?

— Конечно. Когда дед работал комбайнёром, я ходил у него в помощниках. Что ни на есть из первого урожая и обязательно в печи, топленной дровами. Приходили родственники, ели первый хлеб, хвалили. В общем праздновали.

— Чёрт возьми. Как здорово! Ну и повезло тебе с дедом. У меня так не получится. Да и у тебя тоже. Время ушло.

Черты лица прaporщика смягчились, он опустил глаза, положил ладони на стол. На нём — ломтики заводского хлеба, нарезанные острый ножом, готовые распасться на крошки. Из муки мельчайшего помола, в которой утеряны родовые признаки зерна. С естественной твёрдостью его оболочки, желто-

вато-золотистым цветом, с неповторимым запахом. Сазов видел другого, чем всегда, Руденко. Ни командира, ни наставника, а просто его в себе самом.

– Сазов, ты читал Фенимора Купера?

– Читал. Мне нравится.

– Помнишь, как индейцы называли винтовку?

– «Длинные руки».

– Вот этими «длинными руками» европейцы истребляли индейцев и решали все свои дела в Америке. И мы приросли к винтовке или наоборот, неважно. Без неё теперь как будто никуда. Она тебя тоже не отпустит. Будь осторожнее с ней. Возвращайся, если надумаешь.

В середине мая Сазов, сойдя с поезда в Казани, доехал на пригородном автобусе до посёлка, в котором был его дом.

Густой низовой туман закрыл по пояс Залесную улицу. Он медленно, нехотя уходил вниз по реке, цепляясь клочками за палисадники, деревья, молодую траву. У ворот дома, на лавочке должна была ждать его бабушка Дарья. Он звонил ей накануне и сказал, что приедет первым же автобусом. Сазов всматривался в дом, в его широкие ворота. Но её не замечал.

Вдруг, как будто большая птица взмахнула чёрными крыльями над белым туманом и вновь опустилась на землю. Это бабушка поднялась с лавочки у ворот, сняла платок с головы и накинула его на плечи. Его ещё не видела. Сазов переложил вещмешок на левое плечо, и ускорил шаг.

– Родненький. Вернулся. Не чаяла дожить. – Бабушка ладонями пригнула его голову так, как она привыкла делать, когда он повзрослел. Целовала его, пытаясь сдерживать слёзы. Причитала ласковыми словами, растягивая их, как это случалось у неё при волнении. Сазов тоже растрогался, целовал её руки, лицо. Ощущал губами соль её радостных слёз.

Вошли в просторные сени дома. Слева – велосипед, в глубине – мотоцикл, покрытый брезентом. Стоят так, будто только вчера их оставил. Скинул с плеча вещевой мешок, снял бушлат, ботинки.

В доме – крашеный, из широких досок пол; ему в детстве так нравилось ходить по нему босиком, играть на нем. На столе – самовар, земляничное варенье, сливки, домашний хлеб.

По комнате – идущий из печи аромат так любимого им пирога с луком и яйцами.

Сазов в этом доме вырос, из него ходил в школу, был призван в армию. Когда его родители разводились, ему было тогда около трёх лет, завязался спор о том, с кем из них его оставить. Спросили, между прочим, и его, как ему хочется.

– С бабушкой и дедом, – сказал он. И так упорствовал в своём желании, что родителям пришлось уступить.

Прежде Сазов достал с самого верха вещевого мешка большую кашемировую шаль с бахромой и крупными красными цветами. У старого, почти во всю высоту комнаты зеркала бабушка стала примеривать её, улыбалась, водила плечами.

– Да ты, бабуля, красавица.

– Спасибо, Родя. В семье и родственники называли его, Родиона, так. В школе его звали Сазов, в армии тоже, как принято, по фамилии только.

– А это Насте, – сказал он, вынимая из вещмешка мотоциклетный шлем. Что-то она перестала писать?

Настя – двоюродная его сестра, писала письма от имени бабушки. В конце каждого из них высокими и узкими буквами «Целую. Жду». Когда послания с такими словами перестали приходить, чувство одиночества, в которое Сазов впадал, стало чаще возвращаться к нему.

– Некогда ей теперь. Всё в школе. Сазову показалось, что бабушке почему-то не хочется больше говорить об этом.

Во время завтрака Дарья радовалась тому, с какой охотой он ел из всего, что было на столе.

– Что ты в армии, Родя, делал?

– Служил в роте снайперов, бабуля. Учился стрелять.

– Дед всю войну прошёл и ни разу не стрелял.

– Так он был связистом. За связистов стреляли другие. Им один автомат на всё звено давали.

– Неужто ещё будем воевать?

– Не знаю. Но лучше быть готовыми. Мне, бабуля, предла- гали остаться служить по контракту. Я отказался. Надо учиться. И хочу жить дома, с тобой.

– А куда учиться-то? Опять английскому?

– Теперь нет, я его и так знаю. Пойду в медицинский. На хирурга.

Удивление и внутренняя радость от возможного будущего тронули лицо бабушки.

— Как хорошо ты это надумал. Поступиши ли? Там тоже экзамены. — Поступлю, бабуля. У меня теперь льгота. Вне конкурса. Только экзамены сдать. Пойду на курсы. Время есть. И работать пока стану. Механизатором, шофером, как подвернётся. Так что жить будем нормально. Главное — у меня глаза, пальцы, выдержка снайпера. Как раз то, что нужно хирургу.

— Боже мой, как хорошо бы. Не сглазить. Молиться стану за тебя.

У дома Сазовых, расположенного на верхнем крае улицы, большой двор. В нём летняя кухня, бревенчатый сарай, амбар, погреб с навесом, баня, колодец. Дед отказывался от коммунальной квартиры, которую ему как ветерану войны предлагали получить. Всё возводилось и поддерживалось его и частью Родиона, когда он подрос, руками. Теперь — запустение. Почти исчезла тропинка, которая вела к бане в дальнем углу двора. Сарай пуст. Коровы, телёнка и другой живности нет. Было видно, что дверь в навесе над погребом давно не открывалась. Отныне всё это за ним. Ему стало приятно думать, как он начнёт восстанавливать и содержать своё хозяйство.

— Вначале, бабуля, я схожу к деду. К его могиле. Как ты думаешь, что он сказал бы мне?

— Похвалил бы. Как всегда. Боже мой, как он тебя любил, как родного сына и даже больше.

День был рабочий. На кладбище, где дед похоронен, никого. Его могила на основной аллее. Нарциссы с бело-жёлтыми головками цветов, склонёнными к земле. Несколько завядающих гвоздик. Невысокая стела.

**Сазов
Николай Трофимович
(1923 – 2016)
Ветеран ВОВ,
Засл. механизатор РФ.
Ордена Ленина,
Отечественной войны,
Медали.**

Из своих военных наград дед особо ценил медаль «За отвагу». Ею награждали в основном солдат исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Не просто «за участие» в коллективных военных операциях, как было с большинством других медалей. Когда деда приглашали как ветерана войны в школы, на его пиджаке она была рядом с орденом Ленина, а вместо остальных наград – только планки. Приходила легковая машина. Дед и Родион садились на второе сидение. Он чувствовал приятную тяжесть руки деда на своём плече.

Его рассказы в разных школах и в разные годы сводились в основном к одному – форсированию Днепра в сентябре 1943 года и к награждению его медалью «За отвагу». Надо было установить связь между левым, пологим и нашим, берегом реки и её правым – высоким, немецким берегом, на котором нам удалось занять небольшой плацдарм. Две попытки – без успеха. Плоты со связистами и радиостанциями были разбиты огнём с высокого берега. Дед вместе с ещё двумя добровольцами был на третьем плоту, и только он один достиг цели. Связь между берегами Днепра была установлена.

Сидевший, как правило, за первой партой Родион заранее знал, что будет в рассказе деда. Его однообразное течение он научился дополнять собственными фантазиями, представляя себя участником события, также связистом, рискующим жизнью. Аплодисменты деду пробуждали его от иллюзий.

Дед с войны вернулся молодым, в возрасте немного старше Родиона. О войне в доме не говорили. Она была эпизодом в его жизни, в остальном – мирной. С выращиванием хлеба, крестьянским бытом. В числе лучших механизаторов республики его наградили орденом Ленина. В свободное от школы время, особенно в каникулы, Родион бывал вместе с ним. На пахоте земли, севе, уборке хлеба. Вначале рядом в кабине трактора, комбайна, потом, когда подрос, и его помощником. Теперь он живо вспоминал: пар над вспаханной землёй, стайки грачей, трясогузки на краю поля; обед в тени комбайна и полдневный сон в ёщё теплой копне соломы.

Дед был скончан на слова. Без прямых наставлений.

– Смотри, Родя, пшеница в поле неровная. Видишь, одни колоски – прямые и высокие, другие – поникшие к земле. Первые – пустые, без зёрен. Так и меж людей. Кто говорит много,

держит голову высоко, – так и быть, пустой человек.

Дед бывал на родительских собраниях в школе. Обязательно в белой рубашке и в костюме. Вдвоём с бабушкой ждали его возвращения. Потом пили чай, и он передавал слова, в которых Родиона в основном хвалили.

Мотоцикл, музыкальный центр, современная одежда, дорогие, только что поступившие в продажу кассеты, – всё это покупалось на заработанные обязательно с участием Родиона деньги.

Дом тёти Ольги и Насти такой же, как и у них, у Сазовых, но в другом, вниз по реке конце улицы. В больших сенях его, слева, несколько поодаль Настин велосипед. Со спущенным передним колесом, с высохшим венком из ромашек и ожерельем из речных ракушек на руле.

О том, что Родион возвращается, в доме знали, но встретила его тётя Оля одна. В фартуке поверх платья, с косынкой на голове, закрывавшей волосы, она оторвалась от плиты, на которой готовила ужин, поцеловала его, удивляясь тому, как он подрос и возмужал.

– Садись, Родя. Скоро придут Серёжа и Настя. Будем ужинать.

– Как у Насти, тётя Оля, дела? Она перестала от бабули писать, совсем меня забыла.

Ольга присела на лавку, опустив плечи и держась пальцами за края фартука.

– А мама тебе ничего не говорила?

– Нет. А что?

– Не могла, значит. Насте, Родя, плохо. Ты знаешь Пичугина?

– Пивовара что ли? Конечно, как и все, знаю.

– Он надругался над Настенькой.

Ольга закрыла лицо подолом фартука, сдерживая слёзы. Острая боль от случившегося почти полгода тому назад несчастья, боль, которая со временем притуплялась, вернулась к ней. Молодость Родиона, его бережное отношение к Насте снова делали её невыносимой. У Сазова потемнело в глазах, он не мог представить, как такое могло случиться, и вначале не находил слов в ответ.

– И что же ему за это?

– Ничего. В голосе Ольги – обречённость. Как перед злой

судьбой, которой невозможно противостоять. Бессиление перед случившимся.

– Преступник он. Надо было судить.

– Некому, Родя. Он сам здесь всё. Хозяин. Насильник. Суд. Один во всём. Ничего не докажешь. Найдёт себе любых свидетелей. Только позориться станешь. Не стали мы судиться.

Владелец ОАО «Витязь» Андрей Пичугин для посёлка был действительно всё. Большинство работоспособного его населения трудилось у него. Он помогал содержать больницу, школы, детские сады, ремонтировать дороги. По праздникам ветераны войны получали от его имени поздравления и подарки, которые разносились, как правило, школьниками. Но взамен своих благоденствий Пичугин по аналогии с античным мифическим персонажем Минотавром требовал ежегодных жертв, к которым посёлок приучил себя и сносил как неизбежный рок. Тесей на него не находился.

– Тётя Оля, как же она теперь?

– Всё в школе. Серьёзная. Отличница. Организовала драмкружок. Пьесы ставят. Постоянно занята.

– Что же ёщё?

– Косу отрезала. На велосипеде не ездит. Перестала петь. – Опять – лицо в подол фартука, тихий всхлип от слёз. От того, что на её глазах так рано Настия перестала быть ребёнком.

Молчание. Родион не знал, как можно в горе её утешить.

– Я пойду, тетя Оля.

– Она же скоро будет.

– Мне надо идти.

Вышел из дома, прикрыл калитку ворот. Шёл медленным шагом по вечерней росе. На небе ни облачка. Пустое и холодное, оно начинало синеть.

Тёмные, густые и распущеные по плечам, как у ребёнка, волосы Насти. Когда она откидывала их на спину, обнажалась тонкая, белая, как стебелёк к солнцу, шея, с синеватыми прожилками крови. Ситцевая, с короткими рукавами кофта в горошинку. Острые коленки, ссадины на ногах от падений с велосипеда. Как и о чём она пела?

Время в сознании Сазова остановилось, чтобы разделиться. На светлое невозвратное прошлое и излучающее страдание сейчас.

По обозначившимся, как у взрослого мужчины, скулам на лице Родиона, по сомкнутым его губам и холодным, острым искоркам в глазах Дарья поняла, что Ольга рассказала ему о том, на что она сама не смогла решиться.

– Бабуля, я на сеновал.

– Там же холодно. Может, и сена-то уж нет.

– Проверю, если что не так, вернусь.

При деде с мая до поздней осени Сазов обычно ночевал на сеновале. И сейчас, взяв стеганое одеяло, старый тулуп и подушку, он отправился туда. Долго не засыпал.

Ночью видел сон. Будто он на войне. Как и дед, – связист. Не на плоту, а вплавь и один форсирует реку. С перекинутым через плечо телефонным кабелем. Раздвигает руками льдины на воде. Холодно. Вдруг над рекой повисает ракета-фонарь. Сейчас немцы обнаружат его и откроют по нему огонь. И в этот момент он просыпается. Солнце сквозь щель в крыше сарая светит ему в лицо.

Тропинка от сарая, по которой он до армии ходил к речке, чуть заметна. Идти по ней босиком больно. Переката на реке, к которому она раньше выводила, на обычном месте нет. Он сместился ниже. Сазов слышал его журчание, но из-за разросшихся кустов не видел. И пескари, наверное, там. Они встречали его, когда он входил в перекат. Толпились у его ног, пробовали губами пальцы на них, некоторые, что посмелее, пытались пропасть под ступни. Возможно, подумалось Сазову, у них теперь другой мальчик, тоже по своей тропинке выходящий по утрам к перекату.

Ива справа, которая росла на противоположном, высоком и обрывистом берегу реки сильно накренилась над водой, подмывшей весной её корни. Каким-то чудом ей ещё удавалось цепляться за землю, питать молодые и обращённые к солнцу светло-зелёные свои побеги.

Награды деда, документы на них, письма его с фронта хранились в небольшом чемодане под нарами в передней комнате. Ордена, медали с положенными на них наградными документами были на месте. Справа в чемодане свёрток в старом головном платке. В нём – треугольники солдатских писем деда. Их

много. С одним и тем же, домой, адресом, написанным химическим карандашом, со штампами полевой почты. Родион удержал себя от острого желания развернуть хотя бы одно из них. Знал, что тогда не сделает того, что задумал. Из наград он взял орден Ленина и документы к нему.

Городской «блошиный» рынок – в парке имени К. Тинчурина. В одной остановке до автовокзала. В передней, ближней к автомобильной дороге, части его. Собирается по воскресеньям. В нём свой, почти как в супермаркете, порядок. «Отделы» нумизматики, старинной утвари и посуды, холодного и огнестрельного оружия, антикварной и современной книги, российской, советской, иностранных наград, радиоаппаратуры, кассет, картин, филателии и другого. В центре рынка – недействующий фонтан, вокруг которого располагаются, как правило, пенсионерки со своим устроенным прямо на земле нехитрым скарбом. Альбомами, открытками, книгами, столовой посудой, куклами ... Но всё это только видимый слой рынка. На нём же можно совершать и незаконные операции: договориться о покупке оружия без лицензии на него, продавать порнографические фильмы, дорогие краденые вещи и другое.

Сазов нашёл торговцев небоевым огнестрельным оружием. Они оказались в том же круге, что и пенсионеры. Двое. Старший по возрасту – среднего роста, без особых примет в лице, с военной выпрямкой, скорее изучающий покупателя, чем готовый служить ему. Некто вроде хозяина торговой точки. Другой – долговязый, худой, с заметными гландаами на шее, с мешками под глазами молодой человек, лет двадцати пяти. Покупателей почти никого. Оставшийся один Сазов обратился к нему:

– Снайперская винтовка Драгунова. В полном комплекте. Патроны тоже. Куплю.

– Почему не в магазине? Её можно там купить.

– У меня нет лицензии.

Юноша посмотрел на своего напарника и, видимо, получив разрешение продолжить контакт, подал Сазову номер своего телефона.

– Позвонишь завтра. Лучше с утра. Меня Лёня, а тебя как?

– Родион.

Стрельбище, расположенное на берегу Волги, в которое привёз Сазова на своей машине Леонид, – частное предприя-

тие. На площадке у въезда в него дорогие, в основном легковые машины. В некоторых из них дремлющие в ожидании своих хозяев водители. Рядом со стрельбищем, за невысоким забором – зона отдыха. Ресторан, сауна с плавательным бассейном, медицинский пункт. Там же большой магазин оружия, боеприпасов и обмундирования.

Было заметно, что стрельбище по своей технической оснащенности не уступает военному. Леонид подвёл Сазова к человеку, которого он называл инструктором. Видимо, в прошлом военным, с протезом на месте левой руки. Он без вопросов сразу перешёл к делу.

– «Драгунка» есть. Из консервации. На учёте не стоит. В полном комплекте. Посмотришь в деле?

– Да.

– На какой дальности?

– Сто метров.

По тому, как Сазов занял исходное положение, по слаженности в движениях его тела, головы и рук инструктор понял, что перед ним хотя и молодой, но уже опытный стрелок.

– Мишень на месте. В магазине пять патронов. Можешь начинать.

Четыре пробоины в мишени от выстрелов Сазова уместились в круге диаметром менее пяти сантиметров.

– Отставить. Нечего тратить лишний патрон. Ты, я вижу, стрелок что надо.

Лицо инструктора оживилось. На миг он вернулся в свою молодость, во времена доставляющего сладость соперничества в умении владеть оружием таких же, как и он, честолюбивых юношей. Сазов для него был свой в веренице бестолковых, иногда и недостаточно трезвых клиентов, на которых уходила большая часть его времени.

– Зачем тебе винтовка без лицензии? Ты можешь работать здесь. Платят хорошо. Главное – всё законно. Будешь только учить стрелять. За то, что потом твой ученик станет делать, ты не в ответе. Я поговорю с кем надо. И мне интереснее с тобой, вместе. Согласен?

– Не сейчас.

– Ладно. Тебе решать. Видел номер винтовки, узнаешь её?

– Конечно.

– Остальное с Лёней. Если что, позвони через него. Пока.

Через несколько дней Сазов получил от Леонида винтовку с пакетом патронов к ней и расплатился с ним частью денег, вырученных от продажи, тоже через «блошиный» рынок, ордена Ленина.

Имение Пичугина – на левом берегу Мёши, на её излучине, в нескольких километрах от впадения в Камский залив. Закрытая с трёх сторон водой и с одной – кирпичной стеной просторная земля. Кроме дома, крытый плавательный бассейн, теннисный корт, большая оранжерея, конюшня и другие надворные постройки. Плодовый сад. Молодой, начавший разрастаться парк с беседками и водоёмами.

Мёша пересекает множество балок и оврагов, у неё быстрая вода, высокие берега, нередко обрывистые. Примерно в половине километра от имения Пичугина, вниз по реке, на правом её берегу – небольшая гора с ложбиной посередине, поросшей орешником и мелким кустарником. По верху её проходит проёлочная дорога, по которой дачники тайком свозили в ложбину строительные отходы и бытовой мусор.

В изолированной таким образом и близкой к берегу реки её части Сазов определил маскируемое самой природой место для «лежки», откуда хорошо просматривался дом Пичугина. Для того чтобы поразить цель с такого расстояния, винтовка Драгунова вполне подходила. Но не одна поездка понадобилась ему для того, чтобы установить то, в какое время и в каком месте своего поместья Пичугин может быть сражён его выстрелом.

Поездки совершались Сазовым через Казань, в которой он любил останавливаться у 18 школы на улице Муштари. Её он окончил.

Когда Сазов, ученик восьмого класса, занял призовое место в республиканской олимпиаде по английскому языку, ему порекомендовали перейти учиться в специализированную школу в городе. В семье так и было решено. Он три года из дома ездил в неё в автобусе, изредка на мотоцикле.

Трёхэтажное, из красного кирпича, гармоничное в простоте своего стиля здание школы, построенное ещё в конце 19 века, – в глубине её территории. Вход в неё со стороны улицы Бутле-

рова, по которой Сазов обычно к ней подъезжал, – посередине: слева – баскетбольная площадка; справа – уменьшенное в размерах футбольное поле, по внешним краям которого старые дубы и липы.

В одну из последних своих поездок Сазов задержался возле школы больше обычного. На баскетбольной площадке, залитой бетоном, двое мальчишек пытались забрасывать мяч в корзину. Получалось плохо. Чаще всего он не достигал даже высоты кольца. А футбольное поле: выравненное, покрытое искусственным зеленым полотном; настоящие ворота с сетками; ограждения, не позволяющие мячу выйти за его пределы.

Как всё изменилось за год с небольшим! Уже нет той игры, почти без правил, когда всё на стороне сильного, непреклонного в отношении к другим, когда не всякий в неё включается и любовь к футболу утверждается в жёсткой борьбе. Теперь же большинство игроков в кроссовках, некоторые в спортивных костюмах. Что, подумалось Сазову, они форму приносят или оставляют в школе, а, может, её выдают в спортивном зале?

Ребята играли вяло, без задора и агрессии, под присмотром судьи. Как на уроке. Кто из них сильнее и лучше, не понять.

Поиграть в футбол Сазов, как и многие ребята, оставался после занятий. Иногда для этого особо приезжал на мотоцикле из посёлка. Хороший, по меркам школы, футболист – в почёте, своего рода звезда в ней.

Футбольное прозвище в школе заимела даже преподаватель английского языка Марина Юрьевна. А произошло это так. Когда однажды она, переобутая после занятий в кроссовки, и в джинсах уходила по дорожке к выходу из школы, получила, можно сказать, пас. Выкатился ли мяч сам по себе к её ногам или кто-то из озорства направил его к ней, трудно сказать. Но затем последовало то, что удивило всех. Она остановила его почти с профессиональной ловкостью и сильным ударом направила в ворота, обозначенные ранцами и одеждой, и спокойно, будто ничего особого не случилось, продолжила свой путь.

Игра на время остановилась, и тогда кому-то из игроков пришло в голову назвать её «Манчестер Юнайтед». Сократившись до аббревиатуры МЮ, это её прозвище быстро вошло в лексику учеников, хотя большинство из них не знало того, как оно возникло и как расшифровывается на самом деле.

На уроках МЮ говорили только на английском. Произнесённое на русском слово влекло за собой наказание. Сказавший должен был на время, в знак признания своей вины, вставать. Она в основном учила говорить на английском. Опускать в речи всё, без чего можно обойтись. Важный в разговоре смысл выделять интонационным ударением, а не привычной для нас жестикуляцией, которой у англичан практически нет. Чувствовать свободу английского языка. С переходами в нём частей речи друг в друга, с отсутствием рода и склонений. Освобождала учеников от страха ошибиться, от привычки вспоминать вначале, как надо, и только потом говорить. Учила английской речи, не имеющей надёжных правил и схожей с искусством. И наделённый, подобно музыкальному, даром обучения языку ученик, и лишенный его, одинаково находили интерес в её искусно проводимых занятиях.

Однажды МЮ, видя, как Сазов отвлёкся от урока и находится в собственном воображении, что с ним нередко случалось, обратилась к нему: «What are you, Sazov, do you think?¹

Вопрос застал Сазова врасплох. Он пребывал в словах и музике баллады Боба Дилана «Достучаться до небес» и машинально произнёс строку, звучавшую только что в его памяти: – Mama, put my guns in the ground...² То, что последовало за этим, было трудно вообразить. МЮ на секунду отставила урок, как бы перенеслась в сферу того же воображаемого, в котором был Сазов, и продолжила вторую строку текста: – I can't shoot them anymore.³ Класс замер в недоумении. О чём они говорили? Потрясённый случившимся Сазов никогда после не позволял себе впадать в фантазии на её занятиях и внимал почти каждому её слову.

Учебный день клонился к завершению. Она могла пройти к выходу из школы, увидеть его. Но что он может ответить на её вопросы о себе? Что в университет не выдержал конкурса из-за грамматики, которую, как оказалось, знал недостаточно, и из-за «американизмов» в своём английском? Что он отслужил в армии? К чему всё это теперь.

На заштукатуренной кирпичной башенке ограждения школы, у которой стоял его мотоцикл, висело, чуть держась на

¹ – О чём ты, Сазов, думаешь?

² – Мама, зарой мои ружья в землю.

³ – Я не могу стрелять из них больше.

остатках клея, объявление. В нём – на одном листе: красными печатными буквами – предложение помочи человеку, попавшему в беду; и чёрным фломастером – дописка от руки продавца щенков породистой собаки.

Сазов снял его и положил в свои бумаги. Сам не понимая, почему. Возможно, интуитивно он улавливал то, насколько оно – символ противоречий современной жизни, в которую все включены.

* * *

Около Пичугина постоянно находился один из его трёх охранников. На работе, в поездках, в имении. Но возможности охранника даже при высокой его квалификации ограничены расстоянием. Он может успеть обезоружить преступника, если он рядом, застрелить его в небольшом отдалении, уронить подзащитного на пол, прикрыть его своим телом. И совершать другие варианты действий, в которых охранник-профессионал бывает натренирован. Но они эффективны в ограниченном пространстве. Обезопасить же себя от возможных покушений на большом расстоянии Пичугин не мог. Это бы стало дорого, да и получить разрешение на такое непросто.

Кроме того, как сам Пичугин, так и его охрана не брали в расчёт то, насколько опасными для человека с его положением в бизнесе и обществе могут быть устойчивые привычки. Распорядок в работе и отдыхе. Поездки по одному и тому же маршруту, повторяющиеся во времени деловые встречи в одном и том же месте, привычка находиться в той или другой части дома, сада, спортивной площадки.

В своём имении большую часть времени Пичугин проводил в итальянском дворике, примыкающем к восточной и южной сторонам его дома. Он любил читать в шезлонге, дремать в нём; за столом – писал, листал деловые бумаги, принимал посетителей.

Но его особой страстью было встречать под большим тентом то, что принято называть «непогодой». Вслушиваться в нарастающую дробь дождевых капель по нему, видеть, как ручьями стекает вода по ложбинам мокрой материи. При усилении порывов ветра он вставал с места. Ему хотелось, чтобы тучи были ещё ниже, а ветер, дождь – сильнее и настолько, чтобы заставить реку течь вспять. А буря – сорвала дрожащий от её

напора тент. На него нисходило желание причаститься к разрушающей природной стихии, быть заодно с ней. Сердцебиение его усиливалось; он не мог оторваться от зрелища, участником которого себя воображал.

Одна из поездок Сазова могла стать последней. Отдыхающего в шезлонге Пичугина было легко достать. Он читал газету, временами опуская её на колени, видимо, размышая над чем-то. Следовало выждать именно такой момент. Не было и ветра, который может отклонить пулю от точного полёта.

Всё бы было хорошо, если бы не эта девчушка, возможно, его внучка. Её присутствие Сазов заметил по тому, как Пичугин рукой нехотя отбил подлетевший к нему со стороны мяч. Показалась и она сама. В соломенной шляпке, из-под которой – россыпью длинные по плечам волосы. И почему-то в широком платыше. Она хотела вовлечь в свою игру и Пичугина.

Её прыжки, в которых она ловила подкинутый вверх мяч, и походка показались Сазову странными, пока он не догадался, что она хромушка. Сазов опустил винтовку. Она возвращалась к Пичугину, что-то говорила ему, пыталась оторвать его от газеты, расположившись рядом с ним в шезлонге. Пока не появилась молодая женщина, видимо, её мать и увела их обоих в дом.

Чтобы скрыть следы преступления, Сазов предусмотрел всё. Место «лётки» прикрывал полиэтиленом. Не сломал ни одной ветки, не сорвал ни одного листочка. Никаких биологических следов от своего организма не оставлял. В его планах было, как он подберёт гильзу патрона, затем сожжёт верхнюю одежду, обувь, сменит колёса мотоцикла, где и как, в зависимости от обстоятельств, зароет в землю винтовку или утопит её в реке.

В своей маскировке и действиях он был настолько осторожен, что утка из небольшой заводи на противоположном берегу реки, которая под раскидистой ивой над водой скрывала своих жёлтых, с чёрными клювами и лапками птенцов, не опасалась его. Худая, с потускневшими в своём природном цвете перьями, с постоянными заботами о защите своего выводка с неба от крота, в воде от выдры, на земле от человека, она будто понимала, что ни её птенцы, ни она сама не его цель.

Наступил день, в который, наконец, всё должно было решиться. Сазов приехал в своё укрытие и ждал возвращения Пичугина. Он стал привыкать к месту своего отчуждения и полюбил его. В одиночестве, вне людской суеты, в тишине медленно растущих молодых деревьев. Ему казалось, что он слышит течение речной воды, уходящей в большой залив. Когда он, подобно ящерице, приникал к земле, повторяя её формы и сливааясь с нею в её неподвижности и спокойствии, она была заодно с ним, придавала ему, как Антею, силы. Сазов было жаль, что с местом, к которому он привязался, придётся вскоре расстаться.

Временами он опрокидывался на спину, к облакам, плывущим по небу, или просто без них, такому же, как и он, свободному в самом себе небу. Сегодня в нём – два коршуна. Они бывали и ранее, но Сазов теперь внимательнее присмотрелся к ним. Было видно, как отец обучает охоте своего питомца. Он сам – в нижнем круге вращения, его крылья шире и парение ровнее. Сын чуть выше в небе, подражает отцу, но чаще взмахивает крыльями; круг его полёта меньше и не так ровен. Как с такой высоты видеть мышь, змею, птенца, разглядеть их в траве, в неровностях земли! И успеть атаковать жертву, не позволив ей укрыться в норе, под камнем или и ёщё каким-то иным образом. Недостижимо для человека, как бы он ни тренировался. Просто не дано ему природой.

Сазов видел в прицел висок Пичугина, даже вену, выступающую на нём. Но в первый раз почему-то промедлил с выстрелом. Приходилось ждать следующего момента, когда Пичугин вновь, опустив газету, откроет голову. Он отвёл глаз от прицела, чтобы он отдохнул, и расслабился в теле. И вдруг произошло неожиданное.

Тишина прервалась коротким, сильным порывом ветра. Утка плюхнулась в воду, к своим птенцам и торопливо повела их в укрытие под старой ивой. На реке появилась рябь, идущая против её течения. Поодаль, с юга, со стороны залива, вверх по Мёше шла гроза. Багровая по краям, чёрная туча закрывала идущее к закату солнце. Разряды молнии разрывали потемневшее небо. Впереди грозы – сплошная, тусклобелая пелена дождя.

...Ливень нагнал Сазова, когда он с просёлочной дороги выехал на асфальт. Вначале со спины. Через мгновение он

уже весь был в его потоке. Снял шлем, чтобы видеть дорогу. Ехал, не сбавляя скорости даже на поворотах, оставляя за собой длинный шлейф из брызг. Вода больно хлестала по лицу, стекала по плечам и всему телу, наполняя обувь, и уходила затем на дорогу, в землю. Противостоять ей было невозможно. Сазову становилось приятно быть в ней, хотелось раствориться в ней, вернуться к исходной чистоте души. И он отдался исцеляющей её силе.

Наутро в «Вечерней Казани» в траурном обрамлении появилось сообщение.

Вчера от разряда молнии на 51 году жизни погиб
Пичугин Андрей Свиридович. Генеральный директор ОАО
«Витязь», депутат Городской думы, известный благотворитель.

Редакция выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Обильным дождём прервался в посёлке долгий июньский зной. Дарованную небом большую воду даже страдающая от засухи почва не успевала сразу впитать в себя. Она уносила жаждой до неё рекой обратно в залив. Оставалась частью в бороздах огородов и полей, в лужах на неровностях земли.

Истосковавшиеся по дождю люди, животные, растения вздохнули облегчённо. Стали заметными в садах завязи плодов яблонь и груш. Плотный темно-зеленый ковёр из птичьей гречихи, покрывавшей землю во дворах и устойчивой к вытаптыванию, запестрел мелкими, бледно-зелёными и по краям розовыми цветками. Почернели омытые дождём стволы лип по берегу реки. Бело-серо-зелёные их цветы тяжёлыми кистями свисали на погнувшихся от влаги ветвях.

По центральной дороге посёлка не пройти. К выходу на сухой асфальт в конце улицы приходилось идти по тропинкам вдоль палисадников, освежённых нежданным дождём.

ЕВА НА ПАШНЕ¹

Мою маму звали *Хәлүә*. Редким у татар именем. Оно заимствовано у арабов, которые в свою очередь переняли его у евреев (*Hawwa*). Так семиты называли первую женщину – прародительницу человеческого рода, известную у христиан как *Ева*. В паспорте, однако, мама была записана на кириллице *Халва*. Неожиданное превращение собственного имени в название сладости. Похожее случилось и с моим именем. По свидетельству о рождении, заполненном по-татарски, я – *Жәмил*. Но так как ни в башкирском, ни в русском языках звука, обозначаемого буквой *җ*, нет, в паспорте моё родное имя превратилось в *Ямиль*. В слово без содержания; вместо него могло бы быть и любое число. Таких метаморфоз в мире татарских имён, при написании их на кириллице, предостаточно. Имена теряют свои начальные значения, трудно произносятся и нередко даже носителям своим мало радости доставляют.

В начале прошлого века в России родилось целое философское течение «имяславие». Флоренский, Булгаков, Лосев состояли в нём, В. Иванов и другие поэты и писатели. Они утверждали, что у каждого имени – свой смысл и энергия, что между именем человека и событиями в его жизни существует связь. Не берусь оценивать такую точку зрения, но то, что и в обыденном сознании она имеет хождение, несомненно. Иначе не объяснить, почему так непрост для нас выбор имени для появившегося на свет нового существа и какие споры при этом нередко возникают.

Есть имена-символы. Достаточно их услышать, как в нашем воображении всплывают целые истории. *Ева* в их числе. Бог лишил Еву и Адама за грехопадение бессмертия, изгнал из рая и определил наказание, которое им и их потомству суждено нести. В Первой из книг Библии сказано: «Жена будет обольщать мужа, но останется его рабой и будет рожать ему детей в муках, а человек (Адам) будет смертным, будет в поте лица есть хлеб».

Изгнавший первых людей из тесного рая в земной мир Бог не мог «предвидеть» (если такое слово в данном случае уместно),

¹ Казанский альманах: Лунный камень. Казань: Татар. кн. изд-во, 2020. С.150–161.

сколь изобретательным окажется свободный человек. Преднанчертанной Богом судьбе он не покорится. Изменит границы во взаимоотношениях жены и мужа. Грех преобразит в любовь, муки родов – в радость. Жена станет выращивать хлеб, а муж – убивать себе подобных. Однако человек продолжит верить в жизнь и видеть за тьмой страданий, ниспосланных на него Все-вышним и им самим умноженных, свет радости и надежд.

Моё повествование – лишь попытка быть в этой большой теме. Мне было шесть лет, когда началась Отечественная война, породившая множество страданий. С восьми – я её помню.

Отнести написанное мною к какому-то из известных жанров непросто. Ни рассказ, ни повесть, ни очерк и др. Воспоминание? Но к чему тогда порою неожиданные переходы к давно прошедшему или к современности? Потому, как мне представляется, что воспоминаний в чистом виде не бывает. Деление времени на прошлое, настоящее и будущее очень условно. Война, о которой речь, – в прошлом, за тремя поколениями. Но она в нас и теперь. Не только источник томящей и сегодня боли, но и то, как мы своё будущее представляем и творим.

У сочинения моего метафорический заголовок. Но в основе – рядовая правда. Время, место, имена, события – всё так, как было. Село Максютово Кугарчинского района Республики Башкортостан. Колхоз имени XVIII партсъезда. Самая что не на есть провинция России. 1943–1945 годы.

* * *

– *Хәлүә, вакыт!* – Это Муса, бригадир. На коне, у окна нашего дома. Стучит рукоятью камчы́ по раме. Раздаётся глухой звон стёкол. Вскоре появившаяся в полутьме утра тень Мусы исчезает; слышится топот его коня, скачущего к следующему двору. Мама уже давно на ногах. Выдоила корову, вернулась в дом и теперь, сидя на кровати за пологом, кормит грудью *Фәрита*. Я, мои сёстры *Зәкиә* и *Мәдинә* спим на сәкә. Снова уложив малыша в его люльку, погладив, приговаривая «спи», каждого из нас по спинкам, мама выходит из дома. Перед тем, как вновь уснуть, слышу, как она выводит со двора корову, которую мы звали *Иркә*, говоря ей что-то ласковое, и прикрывает калитку.

Их путь к расположенному рядом с деревней колхозному полю, вспаханному осенью и в комьях оставленному под зиму.

Так оно лучше держит снег и талая вода не стекает с него, а впитывается в землю. Ранней весной поле надо заборонить: разрыхлить его поверхность. Иначе солнце и ветер быстро иссушат почву.

До войны бороны прицеплялись к трактору, или тянули их лошади. Но теперь трактор берегли в основном для пахоты земли. Хороших лошадей забрали на фронт и в «трудовую армию». Часть лошадей подвязывали верёвками, подвёдёнными под животы, к перекладинам в колхозном сарае, чтобы они не ложились. Иначе они, истощённые, не в силах будут подняться на ноги. Между тем боронование – срочная работа, которую надо завершить всего за несколько дней. Поэтому стали подключать к ней как тягловую силу и домашних коров, которые содержались в возможно внимательном уходе за собой. Изготовили ярма, облегчили бороны, заменив металлические зубья в них на деревянные. Запряжённую в борону корову должна была водить по пашне её хозяйка. Позже, когда почва прогреется, поле засеют горохом, подсолнечником, свёклой, картофелем, – культурами, которые, в отличие от зерновых, требуют постоянного ухода: прополки, мульчирования, окучивания. И этим, словно на барщине, будут заняты женщины и дети на закреплённых по отдельности за каждым домом наделах.

Уже на другое утро мама взяла меня с собой. Оказалось, нашей молодой корове трудно тащить борону; она часто останавливалась, и, побудить её к тому, чтобы она решилась идти дальше, было нелегко. Теперь же нас на поле трое, и выстроены мы так: мама впереди, в больших отцовских сапогах и с поводком от узды в руке, затем – корова с бороной, а я, босой и с хвостиной, – на пашне, слева от них. Дело пошло лучше и быстрее. Родилась уверенность в том, что данный бригадиром «наряд» – задание на рабочий день, удастся вовремя выполнить. Однобразная и тяжёлая работа утомляла нас, и изредка мы позволяли себе отдохнуть.

Поле, на котором мы работали, на пологой части горы. Расположенная на равнине деревня ниже. Белый туман с неё сползает к озёрам за огородами, к реке. Первыми обнажаются крыши домов.

Удивительная картина, которую мне позже не приходилось видеть в живописи, в фотографиях или в кино, превращающих

крыши в темы творчества! Под железом ангар машино-тракторной станции и два дома её служащих. Наш – под тёсом. Остальные крыши соломенные. Но много и таких, где вместо покрытых крыш лишь стропила, обрешётка да высокие печные трубы. Солома с них снята в конце зимы и ранней весной на корм скоту. В таких домах их хозяевам придётся жить всё лето, до нового урожая соломы. От слабого дождя хорошо и частью от сильного будет спасать только толстый слой перегноя, который насыпался на потолок дома, чтобы сохранять тепло в нём.

Останки сожжённых немцами или уходящими в партизаны крестьянами деревень, состоящие из печей и труб, которые приходится видеть в кинокадрах времени войны, напоминают мне и мою деревню. Но таких, как наша, было по стране, несомненно, больше, чем сожжённых на фронте и в пограничье к нему.

Работа на поле велась посменно. Сил хватало, возможно, на три или около того часа. Сигналом пересменки бывал приска��авший из деревни Муса, на малорослой, монгольской породы лошади, чёрной масти и с длинной, почти до земли гривой, преданной хозяину и злой. Нам, мальчишкам, не подойти – укусит. На голове Мусы будёновка с опущенными ушками и с красной звездой. В руке камча. Он без правой ноги. Говорили, потерял её в гражданскую, в бою с белыми.

Муса останавливался на краю поля и, ничего не говоря, смотрел на выполненное нами. Вместо слов постукивал рукоятью камчи по деревянной своей ноге. Как нередко знаки сильнее слов внушают, призывают, страшат! Надсмотрщики с рабами в разговоры не вступают. Прошли годы, но Муса – символ власти, безжалостного принуждения, всё ещё в моём воображении. Будёновка, нагайка, деревянная нога, чёрный конь. Не потомок ли он древних гуннов, мигрировавших на Запад через лесостепи Южного Урала?

Домой *Ирка*, медлительная на работе, шла живее, будто в ожидании встречи со своим телёнком. Его, ушастого, с большими чёрными глазами и блестящими, также чёрными копытцами, мама на руках выносила из дома в сарай и подпускала к матери, чтобы к вечеру внести обратно в дом. Весенние ночи холодные. И молоко, кроме него, и нам должно было доставаться. Нас, детей, было четверо, и просто пить его, как возможно теперь, не приходилось. Молоко добавляли в чай.

Баламык, умáч заправляли катыком. Заготовляли на зиму приготовленный из молока *къорт*.

Как мало хороших слов о корове у нас написано! В Древнем Египте были священные коровы, они есть и в современной Индии. Вторая и самая длинная сура в Коране называется «Жёлтая корова». Но для нас она просто кормящая природа. Наше отношение к ней потребительское и с долей высокомерия. Не потому ли, что, в отличие от собаки, кошки, лошади, корова не льстит человеку, которому так приятно быть в пленау лести?

При классицизме слово «корова» было вытеснено в «низкий» литературный стиль. И традиция жива поныне. Длинен ряд одушевляемых в литературе птиц, животных и даже насекомых. Но метафоры со словом «корова» очень редки и с негативным в основном содержанием. Неловкую в своей походке и идущую напролом женщину называем мы «коровой». И большие чёрные глаза будут для нас «коровьи», если в них не находим смысла.

Женщина на пашне, на жатве – известная в русской живописи, особенно в романтической её ветви, тема. У А. Венецианова, к примеру, в картине «На пашне. Весна» стройная замужняя крестьянка в нарядном сарафане и малиновом кокошнике ведёт двух запряженных в борону коней. А ребёнок её на краю поля играет с подснежниками. Идиллия. Особый жанр. Картина написана мастерски. В ней своя правда. Художественная. Но далёкая от реальности, о которой шла речь выше. Правда искусства и правда жизни не одно и то же.

* * *

Последние годы перед войной были урожайными и спокойными. Казалось, судьба вознаграждает за доставленные ранее страдания: Гражданскую войну, два больших голода, которые пришлись на начала второго и третьего десятилетий. В нехитрых крестьянских хозяйствах появился достаток. Женщины нарожали детей. Мама, которой было сорок лет, в 41 году родила шестого ребёнка. Родная наша тётя *Мэгърифэ* родила семерых детей. Двоюродная – *Сэгыйдэ* четверых. И так почти по всей деревне.

Война разразилась неожиданно и как стихия нависла над жизнью, над всем обретённым добром и присущей человеку радостью размножения. Не думали, что она столь долго будет

длиться. К 1943 году, ко времени, с которой она мне помнится, началось обнищание деревни и пришёл голод. Пустели сараи, разбирались на дрова амбары и другие ставшие ненужными надворные постройки. Оживляющие крестьянские дворы овцы, козы, гуси, куры редко в каком из них сохранялись в привычном разнообразии.

Женщины перестали рожать. Люльки, обязательный предмет быта в крестьянском доме, пустые и холодные, снимались с потолочных крючков, выносились в сени или оставлялись на *сэке*, чтобы лишь подушки на них складывать. Перестал слышаться плач только что родившихся и требующих внимания к себе детишек. Смолкли колыбельные песни. У женщин – впадые животы, обвисшие груди. Им некого «обольщать». Они стали похожими на волчиц, дорожащих своим выводком и готовых ко всему, чтобы он выжил. Перестали появляться в деревне и нищенки. Нечего было им подать. Казалось, жизнь как смена поколений подошла к своему концу. На фронте она уничтожалась и в тылу оказалась под угрозой вымирания.

Мне не дано описать все тяготы войны и голод, выпавшие на долю даже одной нашей деревни. Видимо, это и невозможно. И не особенно-то хочется таким трудом заниматься сытому, в тёплом доме и удобно одетому. И написанное, как ни много в нём окажется подробностей, может явиться для чтения лишь тягостным занятием. Не стану я и взывать читателя к жалости и состраданию к героям моего повествования. Пустое дело. Буду говорить об уроках войны и голода, которые во мне и теперь. И в тебе, дорогой читатель, правда, в отфильтрованном временем и уже, возможно, не осознаваемом тобою виде.

Колхоз наш зерновой. И земля – чернозём. Вплоть до середины девятнадцатого века она была просторной лесостепью с башкирскими кочевьями в ней. Распахивать её начали переселенцы, в основном со Среднего Поволжья: татары, русские, чуваши, мордва. Особенно интенсивно со времени столыпинских реформ. Случилось так, по воле истории, что на небольшом пространстве, рядом с нашим располагались сёла: Ардатово – мордовское, Сазово – башкирское, на левом берегу реки *Ик* чувашское – Красный Яр, на восток, ближе к лесу и к горам русское – Алексеевка, за рекой *Ик*, на правом её берегу, – яицких казаков Назаркино, в которое мне начиная с пятого класса

предстояло ходить учиться. И основным занятием в этих поселениях было земледелие – выращивание пшеницы, ржи, проса, овса, ячменя, подсолнечника, овощей и др.

Как бы ни был плох колхоз, как принято теперь говорить и думать, в нём существовало равновесие между трудом и его оплатой. Чем больше трудодней у тебя в книге учёта, которую ведёт бригадир, тем выше твой заработка в виде зерна и частью денег. Война разрушила такое правило.

Убранное с полей, высушенное, очищенное от мякины зерно отправлялось в государственные заготовительные пункты в счёт плана на его поставку, спускаемого колхозам сверху. Лишь небольшая его часть оставалась в собственности колхоза. И этот остаток распределяли по дворам. По справедливости. Не только с учётом того, кто участвовал в его производстве, но и по числу в семьях детей, старииков, больных. Почти поровну, по степени нужды в нём. Муки из заработанного или милостиво наделённого им зерна хватало, при условии острой экономии, до ранней весны. Правда, оставались ещё картофель, тыква со своего огорода, масло подсолнечника, если ты его выращивал.

Человек, отчуждённый от радости труда, плоды которого у него отнимались, не защищаемый от голодной смерти ни властью, ни государством, одинокий, – прислонялся к природе: к земле, растениям, животным. Вставал вместе с солнцем и при его закате уходил в сон, ел растения и, по возможности, любые из них, становился подобием животного. Всему этому он учился или, вернее, всё это воспроизводил из долгой своей истории: собирателя, охотника, скотовода, земледельца.

Голод, за которым стояла война, для меня и моих сверстников был школой – чувствовать, видеть в природе начала жизни и радоваться им. Идти босиком по пашне, тёплой по верху, вязкой и холодной в глубине, которая к лету разродится зерном, овощами; замечать, как сразу после снега, на пригорке пробивается сильными листочками крапива, на приозёрных лугах начинают зеленеть кустики щавели, на лесных полянах вырастает крепкий в стволе и с лапчатыми листьями борщевик.

Детская психология в полноте своей не воспроизводима, хотя мы, взрослые, привыкли думать иначе. Из детства в памяти остаются лишь отдельные эпизоды; и в основном те, что и теперь кристаллизуют наши чувства. И в моей памяти есть

такие. Они являются мне в снах, сказываются в моём поведении, они в основе моей философии жизни.

Мне помнится, как в первый раз мама взяла меня с собой собирать колоски. На пшеничное поле, которое после уборки урожая с него было оставлено на зиму нераспаханным. На стерне, после схода снега, можно было находить перенёсшие зиму колоски пшеницы. Осенью ни комбайну, ни конной косилке, ни жнецам не удавалось проводить уборку так, чтобы весь урожай до последнего колоска был собран. Мама знала, в каких местах поля колосков может быть больше. Я ближе к земле и легче, быстрее их достаю. Среди них и такие, что особо налиты в зерне; они тяжелее и ещё до начала уборки гнут свои стебли и ложатся на землю. Словно ждут по весне бедного человека; спасение ему. На сборы колосьев отводится всего несколько дней: пригреет солнце, потеплеет земля, и зёрна в них начнут прорастать. Тогда их и ни высушить, и ни размолоть.

Мне стало нравиться выходить на поле и одному. Быть под ранним солнцем, на границе тающего снега и чёрной земли, аккуратно укладывать колосья в холщовый мешок и с собранным добром возвращаться домой. Кажется, в то время и родилась моя привязанность к жизни в растениях, желание беречь и лелеять злаки. Какое совершенство колос! На одном стебельке десятки зёрен, и каждое в своём гнёздышке из чешуек и в тонкой кожуре, как в рубашке. Оно готово тронуться в рост, стать началом нового растения. Как давно я не пересыпал пшеницу из ладони в ладонь, чувствуя вес каждого зёрнышка и ту жизнь, что в нём таится!

Чтобы размалывать зёрна, у нас был оставшийся от деда жёнов. Настоящий, из кремневых камней, с наклонным лотком для муки, которая могла по нему падать в подставленную посуду. Пользоваться им приходили также родственники и соседи. С самого рассвета или поздним вечером. Потому что размалывалось «ворованное» зерно. По закону 1932 года, прозванному в народе «три колоска», занятие, о котором говорилось выше, приравнивалось к хищению колхозного имущества и подлежало строгому наказанию. Однако, в годы войны закон этот фактически перестал действовать. Почему? Об этом чуть ниже.

Как бы ни был отстранён человек от выращенного им зерна, которое у него отнималось, он стремился быть рядом, сопри-

касаться с ним. Молотить, как в далёком прошлом, тяжелым цепом снопы, веять, сушить зерно, подбрасывая его при легком ветре деревянными лопатами вверх, насыпать в мешки, грузить в подводы, машину и др.

Но женщин заставлять заниматься такой тяжёлой работой не приходилось. Наоборот, отказать в ней для них – наказание. Зерно можно было есть сырым, как это позволялось когда-то рабам Рима, уносить домой в обуви, в карманах.

Пресечь подобное «воровство» было возможно. Но тогда у работниц исчезла бы, говоря современным языком, мотивация к труду. А власть? Куда она стала бы, к примеру, пристраивать детей осуждённой матери? Вот почему грозный закон «три колоска» в годы войны потерял силу. Подтверждались слова, сказанные ещё А. Герценом: «Русские законы ужасны, и спасает русских людей только то, что эти законы не выполняются». Власть мирилась с мелким «воровством». Стремилась лишь ограничивать его. К примеру, на работы, связанные с зерном, нельзя былоходить в сапогах, резиновых ботах, в которых можно было бы уносить домой больше, чем допускалось, зерна.

Деревня кормила армию и город. Голодала, но уходить из неё было нельзя. Как при Борисе Годунове, который своим указом запретил крестьянам покидать свои деревни. Паспорт колхознику не выдавался. А куда без него?

Труд и хлеб в моём детском сознании и, видимо, почти всех, кто голодал в годы войны, были в явном единстве. Аксиома, истина которой теперь не очевидна. То, что можно есть дармовый хлеб, не заработанный тобою, я узнал в студенческой столовой Казанского университета в начале 60-х годов. В подвале левого крыла главного здания. Со сводами в классическом стиле. Там, кажется, в 1962 году на столах появились горки из нарезанного белого хлеба. Бесплатного. Ешь столько, сколько хочешь. Как хорошо к концу стипендии!

Мы, четверо ребят из студенческой группы, приходили, покупали по стакану чая с сахаром за три копейки и садились за столик с хлебом. Чай можно было периодически разбавлять кипятком. Когда хлеб заканчивался, новую его порцию приносила фея в белом халате, нарезавшая его за занавесью в отдельном помещении. Рай на земле! И директор столовой, в прошлом явно военный, в офицерском френче хорошей сохранности,

прихрамывая, проходил вдоль вытянувшейся очереди студентов, заглядывал в небольшие залы, расположенные анфиладой и, кажется, довольный увиденным, уходил в свой кабинет, чтобы вскоре вновь появиться.

После войны регулярно наедаться я стал только в армии. Перловой кашей, гречкой, мясом, рыбой, картофелем – всем, что положено солдату за службу. Именно за службу, но не за учёбу же. Мне такое не было дано понять. Фантастика, думалось мне, которая не может долго длиться. И на самом деле, вскоре дармовый хлеб исчез. И более того, белый перестал свободно продаваться. Булку можно стало купить только по талону. Позже я узнал, почему так резко всё изменилось. Оказывается, оппозиционеры Хрущёва таким образом рождали в народе недовольство им, чтобы проще было его сместь.

Я так и не привык к современной культуре питания, порою утончённой и обильной. Моё любимое блюдо и теперь перловый суп с мясом, картофелем, морковью и перцем. Я плохой ценитель роскошных столов на банкетах, разного рода приёмах или просто в гостях. Слова «положить вам кусочек из этого ...»; «отличные грибочки, попробуйте»; «почему вы так мало едите?» – меня не трогают и при повторах встречают во мне внутренний протест. Сколько животных, рыбы, птиц, растений человек может поедать! Оставляя на пиршественных столах недоеденное, не соизмеряя и в своём быту потребное с возможным. Я знаю: то, что я говорю сейчас, против огромной пищевой индустрии и её доходов, против культа чревоугодия, которому предаётся сам человек. И может встретить сколь-угодно возражений. Возможно, даже плохо. Но я таков, и здесь ничего не поделаешь.

* * *

Отец наш ещё до революции закончил медресе в селении Каргалы около Оренбурга. Но, в отличие от нашего деда, быть ему религиозным служителем не пришлось. Он участвовал в Гражданской войне на стороне красных, стал председателем колхоза в деревне и как младший наследовал по праву дом и хозяйство своего отца. В 1937 году арестовывался.

По принятому среди татар обычаю маму как жену человека духовного образования называли *абыстай*. Словом, обозначающим не привилегию в обществе, а, скорее, обязанности в нём.

Давать советы, учить молитвам и грамоте, оказывать различного рода помощь.

У нас часто бывали родственники. Их было много, почти половина татар деревни: дед и бабушка вырастили одиннадцать детей, которые в свою очередь нарожали своих. Иногда в нашем просторном доме устраивались посиделки с песнями и танцами.

Более всего мне нравилось видеть, слышать, как мама читает пришедшие с фронта письма и пишет на них ответы. Теперь я понимаю, сколь искусной она была в этом занятии. В войну письмо с фронта для каждой семьи – событие. Вместе с письмом приводили к нам и детей, чтобы и они слышали написанное отцом, его приветы и наставления. Письма большей частью бывали написаны на арабице, запрещённой ещё в 1927 году к пользованию. Мама владела, кроме арабицы, и кириллицей. Лишь на ней и по-русски писались адреса на «треугольниках» писем. Дело для многих трудно исполнимое.

Я пристраивался около мамы, не вступая в разговоры или игры с пришедшими к нам детьми. Как можно писать такими «каракулями», точками, неровными линиями? Как рождаются слова из таких «букв»? В школе учат совсем по-другому. Как затем складывается написанное в «треугольник» и химическим карандашом выводится адрес на нём? Мама, зная о моём интересе к письмам, заботилась о том, чтобы в её занятиях я был рядом с ней.

Приходили и письма – «похоронки». Не «треугольниками», а в конвертах. С типографским текстом и с вписанными в него от руки фамилией, именем и отчеством убитого солдата, местом его захоронения. И с печатью воинской части в конце извещения. Слово «похоронка», трудно произносимое даже по-русски, в татарском языке не прижилось. Не было для него и переведенного слова. Лишь изредка употреблялось целое словосочетание *кара кәгазы*.

В сумке почтальонки «похоронка» носилась не в общей пачке писем и газет, а в отдельном кармане в ней. И замедленные, непривычные движения, в которых она доставалась, подготавливали трагическое известие. Не знаю, было ли это осознанным почтальонкой психологическим приёмом, готовившим адресата к горькой вести, или диктовалось в ней чувствами сострадания и такта.

Не ожидаешь ли того, дорогой читатель, что далее я стану говорить о рыданиях и потоках слёз от «похоронок», о траурных одеяниях и других формах демонстрации страданий? Как это принято писать в современной литературе о войне и кажется естественным для обычного представления. Нет. В войну я редко видел слёзы, редко слышал жалобы. В слезах человек просит внимания, сочувствия к себе; его слёзы больше о нём самом, чем о потерянном человеке. Но к кому обратить слёзы и мольбы, у кого просить помощи? У власти, у Бога, который отстранился от человека, от таких же, как и ты, страдальцев? Война обесценила слёзы.

Приходила похоронка и на мужа Сэгыйдэ-апа, оставшейся одной с малыми дочерью и тремя сыновьями. Событие имело неожиданное своё продолжение. Через несколько дней она пришла к нам, посветлевшая в лице и в радостном настроении. С ученической тетрадью в руке, из которой обычно вырывались страницы для писем.

– Хэлүэ, напиши Фаткулле.
– Как это, Сэгыйдэ, напиши?

– Видела сон. Он живой. Пусть сыновьям скажет построже, чтоб слушались.

– Почтальонка не возьмёт.
– Я попрошу её. – Она нервно водила ладонью по принесённой тетради.

– Не возьмёт. Ей нельзя. И другие начнут писать.

Глаза Сэгыйдэ-апа словно потухли. Она сорвала платок с головы и закрыла им лицо. Тяжёлые чёрные косы пали на сникшие плечи.

– Что это со мною? – прошептала она. Будто стала меньше ростом, ещё худее в теле. Ей было немногим больше тридцати. Осиротел дом, построенный её мужем. Большой, из сосновых брёвен, с полами из широких досок. Как раз напротив нашего, по другую сторону улицы. Не жить в нём им вместе.

Тетрадь, принесённая Сэгыйдэ-апа, осталась сиротливо лежать на столе. В обложке серо-голубого цвета, на которой, по правую сторону сверху, контурные рисунки голов Ленина и Сталина. Рядом, в профиль. В добром прищуре глаз и устах, будто готовых раскрыться в улыбке. Такие тетради были в школе и у нас. По одной на каждого. По чистописанию.

* * *

Мне не нравилось, когда приходившие к нам родственники гладили меня по голове, похлопывали по спине, говорили, как быстро я расту. Быть взрослым, стать им как можно скорее – моя мечта, моё стремление. Из мужчин я старший в доме. Родившийся до меня мой брат умер ещё в младенчестве. Я постепенно овладевал тем, что мужчина может делать в доме. На мне заботы об *Иркэ*: водить её к озеру поить, давать ей корм, содержать сарай в чистоте. Набрать воду в баню и затопить её. Вносить в дом дрова. Очищать дорожки от снега, открывать и закрывать ворота во двор. Моё старание «хозяйствовать» стало расти, когда я увидел, что и мама торопит моё взросление, готовит меня быть мужчиной в доме.

Стояла в нашем дворе небольшая, сложенная из камня ещё при деде кладовая. В ней косы разных размеров, серпы, топоры, большие и малые, сбруя, тачка, ножное точило, цепы для молотьбы снопов хлеба и другое. Она обычно на замке. Мне стало позволяться открывать этот запасник, выносить на свет, рассматривать то, чем, по моим расчётам, можно пользоваться.

Я бывал около, когда мама колет дрова. Собирал поленья и складывал их так, чтобы лучше сохли под солнцем и на ветру. Вместе с мамой мы выходили косить траву на сено. За озёра, ближе к реке, к *тугаю* вдоль неё. Моя коса укороченная, детская, из той же дедовой кладовой. Владеть ею сложно. То втыкается в землю, то просто скользит по траве, не скашивая её. И сил не хватает. Немало времени мне понадобилось на то, чтобы я чему-то в этом деле научился.

Как приятно вечером возвращаться с покоса домой, подобно взрослому с работы! Слушать песни, какие иногда запевала мама. Частью они запомнились мне; и особенно одна из них: в словах, мелодии, содержании. Её она повторяла, любила.

Кара да гынай урман, караңы төн, // Якыны атлар кирәк лә утәргә... (Чёрный-чёрный лес, тёмная-тёмная ночь, // Лишь хороший конь пронесёт тебя...). Песня брала в сладостный плен моё воображение. Лес «чёрный» я мог только представить. Как и «хорошего» коня. Мне были понятны слова «чёрный змей, с головою цвета меди, в камышах». Такие змеи в зарослях камыши по берегам и наших озёр водились. Но к чему вдруг герой срубает в начале песни молодые осинки, потом берёзки и

в конце опять осинки? Почему трижды повторяются слова *Ай, аерылмыйк, дускаем* (Да не расстанемся, мой друг)? Что может значить слово «друг» и как не надо расставаться с ним, – всего этого я не понимал. И, мне казалось, и это впоследствии подтвердились, что герой песни мужчина. Конечно, мама знала об этом и всё-таки решалась петь её. Она, как и мужчины до войны, боронила землю, молотила хлеб, грузила мешки с зерном в машину, рубила дрова... И в роли отца была в моём воспитании. Только она могла увлечь меня этой мужской песней и зародить во мне желание петь её самому?

В своей власти эта песня держит меня до сих пор. Завораживающей мелодией, недосказанностью в содержании, многообразием интерпретаций. У Ильгама Шакирова и целой плеяды его последователей, которые множат её варианты, продлевая её жизнь в современном народном сознании.

Песня, музыка были всё-таки редкостью в деревне. Роскошь. Нищета и голод – это тишина и безмолвие. Чем голод сильнее, тем выше давление гнетущей тишины, родственной небытию и смерти. Мир звуков сужался подобно тому, как зарастали тропинки в проулках между домами и почти безлюдными становились большие дороги.

Был в нашей деревне гитарист. Светловолосый русский юноша, которого вот-вот должны были призвать в армию. Из семьи, живущей при колхозной ферме, совсем рядом, всего в километре от деревни. Он приходил в клуб, где по вечерам собиралась молодёжь. В здание бывшей мечети, в котором до войны хранили колхозное зерно. Когда же такого зерна не стало, превращённом в клуб. Зимой, когда парень в очередной раз возвращался домой, его нагнали и загрызли волки. Остались только части одежды и обуви да разбитая в попытках защититься от волков гитара.

По мере усиления голода беднел мир звуков. Птиц я почти не слышал. Они предпочитали вершины кустарников, деревьев и взлетали при виде человека. Лишь иногда *тургай*, нежданный небесный гость, бывало камнем падёт на гребень вспаханной земли и почти сразу стрелой взлетит вверх и пропоёт звонкую свою песнь, лишь ненадолго разрывающую тишину.

Мы теперь постоянно в мире звуков. В шуме машин, рёве самолётов, в мерном постукивании вагонных колёс по рельсам,

в потоках музыки и песен. Детские голоса, старческий кашель, монотонные речи, грозные возгласы, любовный шёпот... Разнообразие, которое и не перечислить, и не описать.

Порою звуки так назойливы и невыносимы. Особенно в большом городе. Но они же и родина музыки! Гармонии, вырастающей из шума, сора звуков, в которые мы погружены и без них не можем быть.

Мне нравятся не только приводящие в «порядок» и облагораживающие этот нестройный мир звуков гармоничные мотивы, но и современные песенные речитативы. В них – торопливость жизни, простор и теснота, жалобы, сила чувств и надрыв. Всё против тишины и устойчивости, против энтропии звуков. Пусть звуки льются через край, пусть будет больше голоса!

У голода и свой цвет. Бело-серый, холодный. Студня, медузы. В моём представлении – варёного ремня, который при кипении теряет краски, белеет. Студенистый по верху и жёсткий в середине. Трудно его разжёвывать, но он сытный. А, скажете, зелёный цвет травы, овощей? Или бледно-золотистый у пшеничного зерна? Ведь они тоже цвета. Не совсем. Для постоянно голодного – нет. Они – просто знаки, указывающие на то в окружающем, что можно пробовать есть. Как и для животного, столь близкий человеку зелёный цвет – только цвет выживания, не краска в её собственной сути. В войну выцвели, потому что не освежались, типичные в татарских строениях яркие монохромные краски оконных наличников и ставен, ворот и калиток и др. Перестала подкрашиваться в зелёный цвет и тесовая крыша нашего дома, которая к концу войны сгнила.

Правда, в бедном, суженном голодом мире цвета были и исключения. Жёлтый, в частности, цвет. Свободный, не знак чего-то, а трогательный сам по себе. В огороде своём мы сеяли подсолнечник и сажали тыкву. Жёлтая головка подсолнуха – целое соцветие из сотен мелких пестиков и тычинок, встречает солнце на его восходе и, будучи постоянно, словно подданный к своему повелителю, повёрнутым к нему лицом, благодарно впитывает в себя его лучи, провожает его до заката, чтобы назавтра утром снова увидеться с ним. Такие же, в своей собственной красоте, и цветы тыквы, тоже жёлтые. Крупные, с широко раскрытыми, густо опушёнными и длинными лепестками. Любимые шмелём. Он, коричневато-чёрный, входит в него и весь в

жёлтой пыльце вылетает к другому цветку.

Весной Ик затоплял, разливаясь, свою широкую пойму. На ней, когда вода спадала, ненадолго оставались озёра. На их низких берегах, где вода и земля сходятся, вырастал дикий лук. Мы, мальчишки, с охотой собирали его. Думаю, его щипали и дикие гуси, которые, постепенно сужая круги своего вращения в небе, опускались на воды невдалеке от нас.

Подойти к озеру в обуви невозможно. Топь. Проще босиком. Холодно. Но лучшей приправы к пресным травам, картошке, к супу нет. Темно-зелёный стебелёк лука появляется ещё в воде. На воздухе он крепнет, но достать его вместе с луковицей и пушком тонких белых корней просто.

Вода, воздух, солнце – начала жизни. Традиционный в фольклоре, литературе, затаившийся и в моём сознании образ. Он ещё в древнем шумерском эпосе о Гильгамеше, который со дна моря достаёт Злак – древо Жизни.

* * *

Весна 1945 года выдалась ранней и тёплой. Уже к началу мая растаял лёд на озёрах, и мы, мальчишки, стали пробовать купаться: лежать на согретом солнцем песке у озера и время от времени входить, окунаться в холодную воду.

9 мая мне помнится хорошо. Ближайшее к деревне озеро с высокими берегами, глубокое, с небольшим песчаным пляжем у самой воды, с зарослями чилиги на обратной стороне. Время, скорее всего, послеобеденное, к которому вода успела согреться. Вначале мы услышали доносящийся издали голос, повторяющий неясное слово. Это Муса на своём чёрном коне нёсся к нам. Рука с камчой поднята вверх. Белая пена с боков его лошади. – Победа! Победа! – повторяет он осипшим голосом. Видимо, уже обскакал всю деревню, поля, где работали колхозники, и очередь дошла до нас.

Мы бросились к домам. Врассыпную, каждый по меже своего огорода. Не обращая внимания на крапиву и рытвины в земле.

Война кончилась. Но голод в деревне лишь усилился. Достиг он своего апогея весной 1946 года. И в нашей, и в других деревнях случались смерти от него. Сейчас и представить такое невозможно, так далеко от нас. Как это, умереть от голода, когда

ты среди людей и есть общество, должно защищать тебя? Но я видел умирающего от голода. В южной части нашей деревни, где проживали в основном башкиры. Они, привыкшие к мясной пище и мало приспособленные к растительной, особенно тяжело переносили голод.

Когда слух о близкой смерти одного из них прошёл по деревне, мы, мальчишки, ходили смотреть на него. Лежал он на деревянном, приподнятом над полом настиле в веранде дома. В валенках, накрытый старым стёганым одеялом и разной ветошью. С опухшим, серо-жёлтого цвета лицом. С застывшими, немигающими глазами.

* * *

Мама после войны прожила ещё двадцать лет и умерла в декабре 1965 года, на 64 году жизни. Начиная с четырнадцати лет я стал реже видеться с ней. Учился в отрыве от дома, служил в армии, после которой вновь учился, но уже в Казанском университете, остался жить и работать в Казани. Мы редко виделись. Я не спрашивал её о войне, о страданиях, выпавших на её долю, и не пытался видеть прошлое в её оценках.

Она писала стихи. И, мне кажется, в одном из них (газета «Совет Башкортостаны», 13 января 1965 года), коротком, исповедальном, сказано о том, чем была для неё жизнь. Растить детей в заботах и видеть их в ответных к тебе чувствах. Не слишком ли просто? Да. Так же «просто», как основа человеческого существования, растительного и животного мира – воспроизводить жизнь в себе подобных. Нет слов, которыми надо обосновывать эту правду, она – реальность, вне которой нет жизни.

Её испытанием стала война. Можно по-разному рассуждать о том, почему удалось осилить врага. Мудростью ли Сталина, полководческим даром Жукова и других военно-начальников, Божьей волей, нашей географией и климатом? Конечно, и эти факторы могли иметь место, но главное, мне думается, в той силе сопротивления смерти, в той у народа энергии самосохранения, накопленной за века, в инстинкте продлевать жизнь в рождении новых и новых поколений.

Война – против жизни. По словам В. Астафьева: «Мы победили в войне. Война победила нас». В войну мы потеряли миллионы жизней, унесённых на полях сражений, в тылу от голода

и болезней, в лагерях смерти. В войну мы получили и нравственные травмы, живые и теперь.

Откуда в нас недоверие к «чужим» народам, боязнь, что они только и думают о том, чтобы нас притеснить, унизить, завоевать в конечном счёте? От прошлой большой войны, жертвой которой мы стали. Тогда страх быть покорёнными и потерять свободу были в основе сопротивления врагу. Но культивировать такой страх, искать «врагов» сегодня? Даже в тех, кто с тобою вместе воевал против общего врага, в «малых», не способных сопротивляться твоей силе народах?

Мы так любим быть мобилизованными, как и в прошлую войну. В постоянно обновляемых формах: парадах, шествиях, демонстрациях разного рода. Личная свобода, как нам представляется, разрушает единство, ослабляет сопротивление в противостоянии с существующим или с возможным в будущем врагом. Как часто мы, как победители, горды и правы во всём, высокомерны. И не к нам ли тоже обращены слова Достоевского: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость».

Родная моя деревня и теперь небогата. Нераспаханной степи почти не осталось. Озёр тоже. Ик сильно обмелел. Но и такая она близка мне и трогает моё воображение. Здесь, в казанском крае, нет такого высокого неба, как там. Не произрастает серебристая ковыль, нет зарослей бурьяна и чилиги. И не лежать мне на тёплом песке Ика, разгребая ногами его до прохладного в нём слоя. Не слушать свир истение оркестра кузнечиков в высокой траве с редкими красными ягодками земляники в ней. Не вдыхать пряные запахи конопли и полыни.

ПРИМЕЧАНИЯ

В моём тексте ряд татарских слов в их современном написании. В частности, около десятка собственных имён, названия предметов быта, явлений природы и другого. Это – не просто литературный приём, известный под названием «местный колорит». О том, что может происходить с именем собственным при его записи на русском варианте кириллицы, говорилось в начале этого повествования.

Прочитать татарские слова, встретившиеся в этом тексте, даже тому, кто не владеет татарским языком, не так уж сложно.

Звук *ә* очень похож на русский *а* в его безударной позиции (*надежда*). Звук *җ* – на русский *җ* в мягком его произношении (*дожь*). Звук *ү*- на переднеязычный, укороченный *ү*. Как в слове *любовь*.

Но есть серьёзная разница в мириах татарских и русских, особенно гласных, звуков. Так, гласных фонем, то есть различающих смыслы слов, в татарском языке десять, в русском – шесть. Поэтому при транскрипции на русский вариант кириллицы разные фонемы татарского языка нередко объединяются в одной букве. Слова теряют присущие им в родном языке смыслы. Особенно заметным становится это при транскрипции собственных имён.

Далее – переводы татарских слов и выражений. *Вакыт* – время. *Камча* – нагайка, плеть. *Саке* – нары. *Ик* (башк. *Ык*) – текущая вода. *Баламык* – густая мучная болтушка, сваренная на муке. *Умач* – суп с размельчённым тестом. *Къорт* – варёный и высушенный творог. *Абыстай* – жена духовного лица. *Кара кәгазь* – чёрная бумага. *Тугай* – лесные заросли на пойме реки. *Тургай* – жаворонок. *Чилига* – кустарник из жёлтой акации.

**ВОСПОМИНАНИЯ
О ЯМИЛЕ ГАЛИМОВИЧЕ САФИУЛЛИНЕ
КОЛЛЕГ, ДРУЗЕЙ, УЧЕНИКОВ**

ЯМИЛЬ ГАЛИМОВИЧ САФИУЛЛИН: ВЕХИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Вклад Ямиля Галимовича в жизнь университета, в развитие отечественного литературоведения трудно переоценить. Его путь в науку и образование был достаточно ярким, полным знаменательных событий и фактов.

Ямиль Галимович учился на историко-филологическом факультете с 1958 по 1963 гг. С 1963–1964 был аспирантом кафедры русской и зарубежной литературы [1: 188]. Свою кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора Н. А. Гуляева в 1970 году, он посвятил проблемам теории русского романтизма («Н. Полевой как теоретик романтизма»). В качестве рецензентов диссертации выступили известные учёные: В. А. Грехнев, пушкинист, исследователь русской литературы XIX века, и В. А. Бочкарев, доктор филологических наук, заведующий кафедрой советской литературы Куйбышевского государственного педагогического института (ныне Самарский педагогический университет). С этого момента его интерес к вопросам теории литературы возрастает, она становится предметом его размышлений и поисков, определяя своеобразную траекторию движения научного пути: от русского романтизма к вопросам межлитературного диалога и коммуникации, а также сопоставления разных национальных литератур как одного из современных методов филологического исследования. С 1990-х годов круг научных интересов Ямиля Галимовича расширяется за счет включения русского романтизма в контекст зарубежной литературы, в частности, немецкой, а также русской философии (В. Соловьева, Н. Бердяева).

Я. Г. Сафиуллин, в течение длительного времени руководивший филологическим факультетом (с 1980 по 1985 гг. и с 1990 по 2002 г.), кафедрой русского языка и литературы в национальной школе (1992 – 2002 гг.), работавший советником ректора (с 2003 по 2007 гг.) все силы и время отдавал университету, жил его интересами и проблемами. Именно это время позволило запомнить Ямиля Галимовича как талантливого, мудрого и справедливого руководителя. Человек исключительного чувства долга и ответственности, высочайшего благородства и достоинства,

он всегда с большим пониманием и теплотой, проявляя настоящую заботу и поддержку, относился к студентам и преподавателям. Искренне переживая за судьбу факультета и кафедры, он в то же время умел быть очень твердым и последовательным в решении принципиальных для него вопросов и делал все возможное, чтобы филологический факультет КГУ стал одним из самых сильных и престижных гуманитарных факультетов России.

Так, Я. Г. Сафиуллин внес огромный вклад в установление и развитие партнерских отношений между Казанским и Гиссенским университетами, участвовал в разработке российско-германского исследовательского проекта «Немецко-русские взаимосвязи в эпоху романтизма», читал лекции и проводил семинарские занятия для немецких студентов по самым разным темам – русской деревенской прозе, проблеме «маленького человека» в русской литературе XIX века, «эпиграммам А.С. Пушкина» и др.

Ямиль Галимович являлся соавтором (с В.Н. Коноваловым, В.Н. Крыловым) антологии «Возвышенное в русской литературе (XVIII – начало XX веков)» (Казань, 1994), созданной в результате научного сотрудничества между Казанским университетом и университетом г. Фрибурга (Швейцария) [1: 189].

Результаты научных исследований апробировались также на конгрессах МАПРЯЛ (Будапешт, 1986; Москва, 1990), международной научной конференции в Лейпциге (1976), Фрибурге (Швейцария, 1992), Казани (1993, 1998, 2000 и др.) [1: 189].

Ямиль Галимович был глубоко убежден в том, что расположение Казанского университета в поликультурном регионе делает актуальным и представляет достаточно широкие возможности, чтобы исследовать взаимодействия между разными языками и литературами. Справедливо полагая, что именно такое изучение соответствует требованиям времени, имеет теоретическое и прикладное значение не только для Приволжского округа, он определяет стратегию развития кафедры русского языка и литературы в национальной школе (впоследствии она была переименована в кафедру сопоставительной филологии и межкультурной коммуникации). С этого времени Ямиль Галимович начинает уделять особое внимание *диалогу литератур России и Востока*. Так, в 1998 году он участвует в работе Международной юбилейной пушкинской конференции в Казанском

университете, а затем публикует в материалах конференции и журнале «Казан утлары» статью, посвященную источникам «Подражаний Корану» Пушкина. В 1999 году на страницах журнала «Казань» выходит его большая работа «Разговор с Востоком. Коран в творчестве А.С. Пушкина». В них Ямиль Галимович выявляет особенности перевода Корана М.И. Веревкиным (с французского на русский), развивая идею преемственности принципов, на которых строилось восприятия Корана казанской школой переводчиков и исследователей Корана (М. Казем-Беком, Г. Саблуковым и др.).

В этот же период Я. Г. Сафиуллин выступает в качестве инициатора и организатора целого ряда научных проектов и мероприятий. Ему удалось собрать группу преподавателей, готовых заниматься сопоставлением русской и татарской литературы, и создать из них коллектив единомышленников, объединенных научной темой. В конце 1990-х гг. Ямиль Галимович становится руководителем нового направления научных исследований *«сопоставительного литературоведения»*. Оно основано на исследовании диалогических взаимоотношений между разными литературами и культурами. Исходной точкой в истории сопоставительного литературоведения стала вышедшая в 2001 г. под редакцией Я. Г. Сафиуллина хрестоматия *«Сравнительное и сопоставительное литературоведение»*, в которой была предпринята попытка выделить сопоставительное литературоведение в самостоятельный раздел науки о литературе. В дальнейшем в рамках этого направления сложилась своя система терминов: «диалог», «идентичность», «множественность литератур», «со-существование литератур», «принцип дополнительности» смыслов и др., сформировалась самостоятельная теория межлитературных отношений, рассматривающая диалог как явление межлитературных взаимодействий, раскрывающая его сущность, функции, роль в обмене художественными ценностями и в порождении объединяющих разные литературы новых смыслов. В рамках этого научного направления был издан ряд научных работ и учебных пособий: библиографический указатель *«Русско-татарские литературные взаимосвязи (проблемы сопоставительного исследования)»* (сост.: А.З. Хабибуллина, М.М. Сидорова), хрестоматия *«Сравнительное и сопоставительное литературоведение»* (сост.: В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина, М.И. Ибрагимов), сло-

варь для студентов «Теория литературы» (сост.: Я.Г. Сафиуллин, В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина, М.И. Ибрагимов и др.), антология «Лирика А.С. Пушкина в татарских переводах» (сост. Г.Ф. Сафина), указатель переводов произведений русской литературы на татарский язык «Диалог литератур» (сост. Э.Г. Нигматуллин), словарь-справочник «Межкультурная коммуникация: филологический аспект» (сост. Я.Г. Сафиуллин, В.Р. Аминева и др.), монография В.Р. Аминевой «Типы диалогических отношений между национальными литературами (на материале произведений русских писателей второй половины XIX века и татарских прозаиков первой трети XX века)», сборники материалов ежегодной конференции «Сопоставительная филология и полилингвизм», а также «Языки и литературы народов Поволжья: современный концепции и технологии» и т. д.

Различные аспекты сопоставительного исследования разных литератур и культур становятся основным предметом размышлений Ямиля Галимовича, определяя содержание и проблематику его научных работ (статей, монографий, учебных пособий, словарей). В своих многочисленных статьях и выступлениях на научных семинарах и конференциях разного уровня Ямиль Галимович подчеркивал, что сопоставление литератур – самостоятельный метод научного исследования, который существенно отличается от сравнительного: «Сопоставление предполагает сохранение уникальности (самобытности) каждой из литератур, включаемых в круг исследования. Этому может способствовать описание как исследовательский прием. <...> Описание производится без целевой установки как последующее выравнивание литератур, в нем, наоборот, фиксируется идентичность каждой из них» [4: 98]. Эта идея положена в основу словаря «Теория литературы» (2010) [4]. Ямиль Галимович не только определил его концепцию, круг терминов, но и провел огромную работу по научному редактированию входящих в него статей. В словарь включены понятия, как традиционные для теории литературы, но получившие «второе дыхание», переосмыслиенные в аспекте проблематики межлитературных взаимодействий, так и *термины*, относительно недавно вошедшие в научный оборот или вводимые впервые.

Идеи сопоставительного изучения литератур получили естественное развитие в работах его учеников и единомышленников.

В 2010 году состоялась защита докторской диссертации В.Р. Аминевой на тему «Типы диалогических отношений между национальными литературами (на материале произведений русских писателей второй половины XIX и татарских прозаиков первой трети XX века)». Ямиль Галимович определил теоретико-методологические принципы данного исследования, выступил научным консультантом и рецензентом монографии по диссертации. И эта традиция – разделения своего опыта с учениками (студентами, аспирантами, преподавателями), идейная и творческая поддержка в их начинаниях – ценная черта его работы.

На кафедре под руководством Ямиля Галимовича защищили кандидатские диссертации А.З. Хабибуллина, Э.Ф. Нагуманова, А.В. Азбукина, Л.Т. Идиатуллина, И.А. Смирнов, Г.Ф. Сафина. Большинство из этих работ посвящены разным аспектам межлитературного диалога, прежде всего, проблемам восприятия русской литературы иноязычным читателем и имеют преимущественно теоретический характер. Так, в диссертации А.З. Хабибуллиной «Русская литература в восприятии татарских читателей (эстетическая интерференция)» впервые в теорию литературы и компаративистики вводится понятие эстетической интерференции, выявляется ее природа, источники, основные формы проявления в процессе восприятия инонациональной литературы. В кандидатской диссертации Э.Ф. Нагумановой «Поэтическая «натурфилософия» Ф.И. Тютчева и татарская поэзия начала XX века» раскрывается сущность понятия «поэтическая натурфилософия» и делается вывод о том, что татарская поэзия находилась в осознанном, открытом или опосредованном диалоге с Тютчевым. В диссертациях Л.Т. Идиатуллиной и Г.Ф. Сафиной, посвященных истории и поэтике переводных текстов, переводы на татарский язык рассматриваются как особая форма диалога культур, отражающего взаимодействие не только различных национальных языков, но и художественных моделей мира. Таким образом, в работах учеников Я.Г. Сафиуллина актуализировалась главная сфера его научных интересов – сопоставительная поэтика – оригинальная по предмету, замыслу и методу область научных исследований.

Размышления об истоках сопоставительной поэтики закономерно обращают внимание ученого к опыту и идеям евразийцев. Ямиль Галимович принимает активное участие в работе

Всероссийской научной конференции, посвященной памяти Л. Гумилева, выступает с докладом «Евразийство и вопросы межкультурных взаимодействий» на Международной конференции «Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии» (Казань, 27–30 июня 2012 года).

Стремясь к научному объединению сотрудников кафедры общей проблематикой, Ямиль Галимович инициировал работу над созданием учебного пособия «Межкультурная коммуникация: филологический аспект» (2012), в которое вошла его статья «Коммуникация и литература». Основные положения этой статьи, как и многие работы Ямиля Галимовича, имеют теоретико-методологический характер: они раскрывают соотношение литературы и коммуникации, их принципиальные различия и точки соприкосновения, роль в жизни современного общества, в процессах межкультурных взаимодействий.

Ямиль Галимович обоснованно полагал, что Казанский университет должен стать координирующим центром в исследовании национальных литератур Поволжья: такая роль была традиционной для одного из старейших университетов России. Именно здесь, в трудах ученых Казанской лингвистической школы, востоковедов на протяжении двух веков развивались идеи множественности языков, исследовались особенности языков и литератур проживающих в Поволжье народов.

Важнейший аспект деятельности Ямиля Галимовича – изучение поликультурного пространства Поволжья, в котором объективно существует диалог разных литератур и языков. Так, по инициативе Ямиля Галимовича был реализован совместный проект по исследованию национальных литератур республик Поволжья. Ведущие ученые национальных университетов – специалисты по башкирской, татарской, чувашской, марийской, мордовской и удмуртской литературам – объединились по общей для них проблематике и создали коллективную монографию «Национальные литературы республик Поволжья (1980–2010 гг.)».

В настоящее время теория сопоставительного литературоведения, идеи, высказанные Ямилем Галимовичем, стали широко известны среди ученых-филологов Поволжья, литературоведов из других регионов России. Они формируют проблемно-тема-

тическое поле семинаров и конференций, посвященных национальным литературам, во многом определяя восприятие Казанского университета как центра исследований межкультурных и межлитературных взаимодействий в Приволжском регионе.

Свои свободные от устойчивых и привычных представлений размышления о природе национальной литературы Ямиль Галимович высказал в 2013 году в пленарном докладе на Международной конференции «Художественный мир Чингиза Айтматова в контексте взаимодействия культур» и на IV Международной научной конференции «Сопоставительная филология и полилингвизм».

В контексте научных размышлений над содержанием и объемом понятия «национальная литература» органичным стало обращение к одной из самых полемичных проблем отечественного литературоведения – *феномену русскоязычной литературы*. В статье Ямиля Галимовича «“Русская литература” и “Русскоязычная литература” – синонимы?» рассматриваются вопросы об образовании термина «русскоязычная литература», его содержании, реальных и мнимых функциях. По мнению автора статьи, в основе представления о том, что «русскоязычная литература» – отличающееся от русской литературы явление, лежит допущение, что язык и литература разделимы. «Может ли русскоязычная литература, – пишет Ямиль Галимович, – быть не русской, а литературой другого народа, скажем, литовского грузинского, татарского, чувашского и т. д.? Да, если допустить мысль, что язык и литература разделимы. То есть предположить невозможное. Язык – в основе литературы. Он первичен по отношению к ней. Кроме того, именно язык определяет образ мышления народа, формы его самосознания, к которым относится и литература» [3: 9].

Вместе с тем взгляды исследователя менялись. Этому способствовало как движение времени, так и те новые веяния, которые возникали в самой литературе. К ним относится, к примеру, появление произведений талантливых писателей-татар (Г. Яхиной, И. Абузярова, Ш. Идиятуллина), пишущих на русском языке. Так, понятие «национальная литература» в контексте размышлений о творчестве авторов, создающих произведения на стыке культур и воплощающих «пограничное» художественное сознание, постепенно наполнялось другим, более глубо-

ким, сложным содержанием. О нем Я.Г. Сафиуллин размышлял в таких работах, как «Что такое национальная литература? Приглашение к дискуссии» (2018) и «Понятие «Национальная литература»: метаморфозы содержания» (2019). Последняя вошла в сборник материалов круглого стола, посвященного 80-летию создания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (11 сентября 2019 года). В ней автор указывает на то, что в настоящее время «язык и психический склад – наиболее устойчивые признаки нации – постепенно теряют свою роль в качестве факторов идентификации» [2:166]. Ученый допускает возможность «существования общей для всех татар национальной литературы, как на татарском в роли ведущего, языке, так и частью на русском и других языках» [2: 172]. В связи с этим Я. Сафиуллин предлагает новый термин – «национальная литература татар» – позволяющий, по его мнению, преодолеть драматическое разделение татарской нации по языковому принципу.

В последние годы Ямиль Галимович активно сотрудничал с журналом «Казанский альманах», публикуя на его страницах научно-популярные статьи и художественные произведения.

Талант блестящего организатора и глубокого исследователя органично сочетались в личности Ямиля Галимовича с замечательным педагогическим мастерством. Студентам-филологам нескольких поколений посчастливилось слушать его фундаментальный лекционный курс по теории литературы. К этим лекциям он подходил с особой ответственностью, превращая их в своеобразное искусство яркой, самостоятельной и подлинно научной мысли.

Ямиль Галимович учил самостоятельности, умению аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сохранять достойное «Я» в науке.

Литература

1. Сафиуллин Ямиль Галимович // Русское литературоведение в Казанском университете (1806–2009): библиогр. слов. / сост.: Л.Я. Воронова, М.М. Сидорова; науч. ред. Л. Я. Воронова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011. – С. 188–190.

2. Сафиуллин Я. Г. Понятие «Национальная литература»: метаморфозы содержания // Национальные литературы на

современном этапе: научные концепции и гипотезы: круглый стол, посвящ. 80-летию создания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (11 сентября 2019 года): сб. ст. Вып. 1. / сост.: А.Ф. Ганиева, Ф.Х. Миннуллина, Л Р. Надыршина. – Казань: ИЯЛИ, 2019. – С. 157–181.

3. Сафиуллин Я. Г. «Русская литература» и «Русскоязычная литература» – синонимы? // Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Казань, 2011. – С. 7–11.

4. Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и сопоставительной филологии / науч. ред. Я. Г. Сафиуллин, сост.: Я. Г. Сафиуллин, В. Р. Аминева, А. З. Хабибуллина и др. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2010. – 147 с.

ЗАПИСКИ К ПОРТРЕТУ ЯМИЛЯ ГАЛИМОВИЧА САФИУЛЛИНА – ДЕКАНА И ЧЕЛОВЕКА

*Велик соблазн сотворить добро.
Б. Брехт*

Ямиль Галимович Сафиуллин ушёл тихо, естественно, как обычный человек, без пышных проводов и оркестра. Хотя он этого вполне заслужил. И заслужил, чтобы о нём написали. То есть помнили.

Во мне самом в последние годы, даже когда он был жив, и мы вместе работали, присутствовало неотчетливое, но постоянное, не покидающее меня желание то ли написать, то ли просто рассказать о нём людям: какой это замечательный в общем-то человек. Может быть, целую книгу или повесть о его жизни. О чём же могла быть эта книга?

О его способности предчувствовать и соединяться с положительными силами жизни, о мощном запасе созидательных жизненных сил. Об умении вести дела, устремляя их к полезным для общей жизни, для всех людей результатам. О его восприимчивом, тончайшем и мягкотоном (неразрушительном) уме.

Почему он, обладая большими способностями к научной работе, позволил себе защитить лишь кандидатскую диссертацию, но решил не тратить силы на занудные, затратные писания докторской? Московские профессора (О. И. Федотов, С. Н. Кормилов, С. М. Пинаев и др.) наши друзья и коллеги постоянно терзали его этим вопросом. Почему?! И предлагали свою помощь в любом её виде. И Ямиль Галимович, с выражением, в котором одновременно присутствовали и смущение, и виноватость, пожимал плечами, не зная, что ответить. Или так: зная, но не желая пускаться в разговоры на эту каверзную тему.

За него хочу ответить я. Да, как декан, он был очень занят. Но главное – другое: он не хотел отвлекать себя, тратить силы на написание докторской диссертации, потому что это было дело, направленное исключительно на него, связанное узко с его личной жизнью. А он – честно, искренне хотел потратить себя на продвижение факультетских, университетских, наших общих дел. В самом себе он осознавал это как главное, но стеснялся обсуждать.

В 1980 году Ямиль Галимович стал деканом филологического факультета. Показательно, что предшествующий декан, мудрая Д.Г. Тумашева, рекомендовала на эту должность именно его, хотя к тому времени на филологическом факультете уже появились достаточно перспективные молодые доктора (Э.А. Балалыкина, Т.М. Николаева, Н.А. Асанова и др.).

И вот Ямиль Галимович – декан. Представляю себе, как он, закрывшись в деканском кабинете, по-хозяйски, как председатель колхоза (его отец был председателем колхоза в Башкирии), задумался о том, как строить свою работу.

Вначале он представил нам новый принцип жизни на факультете. Всегда считалось правильным «новичку» сохранять достигнутое, продолжать – укреплять имеющийся наличный порядок. Ямиль Галимович сместил акценты. В качестве основного проекта он предложил создание такой атмосферы на факультете, в которой каждый его член мог свободно наилучшим образом реализовать себя. Не «успешно», как всегда было принято, выполнить запланированное (написать столько-то статей, завершить главу диссертации, выступить с докладом на международной конференции и т. д.), а свободно сделать свой выбор, выбрать направление и сферу своей деятельности, распорядиться своими возможностями: заявить грант, написать учебник, получить заграничную стажировку.

Теперь я понимаю, что эти смелые реформы были необходимостью, вызваны перспективами жизни, которые ему были виднее, чем другим. А тогда не верилось, что из его новаций что-либо получится.

Но! Как пошли дела! Как развернулись наши молодые коллеги! Как грибы после благодатного дождя, выросли молодые кандидаты: В.Н. Крылов, В.Р. Аминева, О.Ф. Жолобов, А.Н. Пашкуров. А вскоре они защитили докторские диссертации! И стали известны в России, в Москве, их стали публиковать авторитетные издания, центральные журналы («Вопросы литературы», «Филологические науки»). Последовали приглашения на работу, стажировки (Германия, Англия, Польша и др.). Таким образом, Ямиль Галимович, прорубил большое окно для творческих сил молодых филологов, и они азартно откликнулись на это, ринулись в свободную стихию, свободное пространство мировой науки.

Вот еще некоторые примеры активной деятельности Ямиля Галимовича.

Именно он создал кафедру романо-германской филологии (РГФ).

Как было до этого (все это помнят)?! Плановое уныло-школьное преподавание английского или немецкого. Малопродуктивное. Равнодушие студентов, равнодушие преподавателей. Ямиль Галимович пригласил (из России, из-за рубежа) грамотных, высококвалифицированных специалистов; выделил аудитории, технические средства обучения, необходимую литературу. Из Польши, Германии приехали ученые-лингвисты, носители языка. И РГФ заработала как живой организм. На филфаке заговорили на разных языках. К нам приехали немецкие, польские студенты, а наши – отправились в Лодзь, Краков, Гиссен, Марбург, Манчестер. С других факультетов КГУ к нам «прибежали» десятки студентов, чтобы получить дополнительное языковое образование. Ну и само собой, авторитетные международные конференции, учебная литература, книги, монографии, справочники.

В середине 1990-х годов (как раз в годы «правления» Ямиля Галимовича) на факультете случилось два настоящих филологических «землетрясения»: в 1993 – 250-летие Державина; в 1999 – 200-летие Пушкина. Державинский юбилей отмечался в атмосфере особого подъема, ведь Державин – наш земляк, уроженец Казанского края. Откликнулся весь университет, вся республика. В мероприятиях участвовала вся общественность Казани, был восстановлен, поставлен на свое историческое место памятник Гавриле Романовичу. Участвовали историки, юристы, краеведы, которыми были представлены доклады о его общественно-политической деятельности (губернатор, председатель Сената Российской империи), страницах его личной жизни. Ведь на долгие годы (при Советской власти) фигура Державина была забыта или задвинута на дальние задворки истории (поручик правительственные войск при подавлении Пугачевского бунта, вельможа, царедворец и т. п.).

Еще в большей степени это проявилось при изучении поэтического опыта Державина, пересмотра оценок его творчества. Фактически выяснилось, что мы, идеологически искривленные, урезанные, ничего о нем не знали, о «старике Державине».

А в 1993 году (и нас это потрясло!) к нам приехал весь поэтический мир (поляки, финны, немцы, белорусы). Они впечатляющим образом представили его поэтический опыт, его необыкновенный талант, лирику, полную русского патриотизма.

Особенно поразили немцы. Мы узнали, что они всегда были внимательны к Державину еще и потому, что он сам всю свою поэтическую жизнь был внимателен к немцам, Германии, немецкой речи и литературе. Мы узнали, что самый первый поэтический сборник «русского Советника» был издан на немецком языке, в Германии еще в конце XVIII века, что первая научная диссертация о лирике Гаврилы Романовича Державина (Rosendahl Gisela. Deutscher Einfluss auf G. R. Derzavin) была защищена в Германии (Бонн, 1953 г.), что наш большой друг, Почетный профессор Казанского университета Герхард Гиземанн многие страницы своих исследований посвятил Державину. Можно сказать, что именно немцы открыли нам глаза на нашего национального поэта. А все это говорит о том, как мощно вплетался проект (или призыв) Ямиля Галимовича, направленный на собирание и свободное развертывание филологически-гуманитарных сил в общей перестроечной атмосфере того времени.

Еще более грандиозным было филологическое «землетрясение» 1999 года (200-летний юбилей Пушкина). Сокращая свое повествование, скажу лишь о масштабах казанской пушкинаны, которую вполне можно назвать всемирной. Приехали: чуть не весь Пушкинский Дом из Петербурга, не менее 10 пушкинистов из Китая, представители практически всех польских университетов, большая делегация из немецкого Гиссена, сербы, американцы, среди которых был некий Берроун (выходец из России), который запомнился тем, что щеголял в одежде пушкинского времени: шляпа, жилетка и лакированные сапожки. Был даже представитель Южной Америки (кажется, из Эквадора). Московскую профессуру дополнила группа писателей, представивших не только доклады, но и свои эссе и стихи, посвященные Александру Сергеевичу. Пушкинско-патриотический ажиотаж охватил тогда чуть ли не всю Республику Татарстан. Лайшевский район (имение поручика Державина, ныне село Державино) встречал нашу делегацию во главе с ректором Коноплевым как самых близких родственников.

Еще одним ярким примером организаторского таланта Ямиля Галимовича стало долголетнее и плодотворное сотрудничество филологического факультета с Институтом Славистики Гиссенского университета. Все началось, когда в КГУ пришло приглашение из неизвестного нам немецкого университета г. Гиссена: вначале – профессору Г. А. Николаеву, затем – мне. В начале 1990-х годов состоялись наши первые ознакомительные командировки в Институт Славистики Гиссенского университета. О результатах этих встреч мы рассказали руководству КГУ и, разумеется, декану филфака Ямилю Галимовичу: о многом, но главное об огромном интересе Объединенной Германии к нашей стране. Например, я был приглашен к Президенту университета. На встрече (это был настоящий саммит, на котором собрались не только филологи, но и историки, политологи, теологи и т. д.) обсуждались вопросы об укреплении и развитии немецко-российских политических, гуманитарных, экономических и научных связей, финансовой помощи России.

И как государственно взглянул он на это, как решительно и прозорливо взял немецкую «тему» в свои руки (особенно после того, как нас посетили Директор Института Славистики Х. Йелитте (лингвист) и его заместитель по литературной части Г. Гиземанн). Ямиль Галимович более зорко, чем другие, разглядел огромные перспективы нашего научно-гуманитарного партнерства с немцами и, не откладывая, стал настойчиво и толково внедрять разные формы этой работы. Его идея о российско-немецком филологическом диалоге была развернута на 20 лет и реализована многообразно и интересно.

Более 10 лет функционировал придуманный Ямилем Галимовичем симпозиум «Немецко-русский филологический диалог». Попеременно он проводился в Гиссене или в Казани, в нем принимали участие не только профессора, но и десятки студентов и аспирантов, в последние годы его участниками были известные ученые из Москвы, филологи-германисты, русисты из польских университетов. Их результатом стала целая серия научных сборников «Немецко-русский диалог в языке и литературе», которые были изданы авторитетными издательствами Берлина и Франкфурта-на-Майне. В этой связи нельзя не вспоминать о двух научных монографиях, подготовленных и изданных в России и Германии к 65-летию выдающегося слависта

Герхарда Гиземанна, в которых представлен весь европейский ученый мир и которые нашли европейское признание. Результатом этого партнерства стали многочисленные стажировки в наши дружественные университеты, многие казанские филологи получили работу в Университете Гиссена, и даже – вид на жительство. Был развернут широкий обмен студентами.

До сих пор согревает душу воспоминание об искусанном комарами лице фрау Йелитте на даче у Т. М. Николаевой, или Г. Гиземане, который с таким удовольствием проводил время на даче у Ямиля Галимовича, что забыл туфли и так и вернулся в гостиницу в тапочках...

Это была целая эпоха плодотворного партнерства и дружбы между немцами и филфаком КГУ, и вся она прошла под знаком Ямиля Галимовича.

В начале 1990-х годов Ямиль Галимович пригласил меня к себе и завел разговор об открытии на факультете докторской на факультете образовался необходимый для этого минимум из 5 профессоров (я к тому времени защитил докторскую в МГУ). Эту работу он возложил на меня, и я в течение года жил между КГУ и ВАК, реализуя его замысел. В 1995 году Совет был создан и утвержден на всех уровнях (вначале – как совет кандидатский, а в 2000 году – как докторский). Позже к нам присоединилась специальность «журналистика», и мы стали принимать диссертации к защите по трем специальностям, что было тогда большим событием.

За 25 лет работы Совета были достигнуты большие результаты. Было защищено более 250 диссертаций, десятки из которых – докторские. Наш диссовет стал кузницей высококвалифицированных научных кадров не только в КГУ и Поволжье: в разные годы в Совете защищали свои кандидатские и докторские диссертации коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара, Унты и Владивостока, из Башкирии и Якутии, а также из Белоруссии и Крыма, Египта и Судана, Ирана и Китая.

Совету принадлежит немалая заслуга в подготовке квалифицированных научных кадров для вузов Татарстана: КГГПИ, Института культуры, Елабужского педуниверситета, филиала университета в Набережных Челнах. Благодаря нашему Совету там появились собственные доктора филологических наук.

В нашем Совете защищили кандидатские, а затем – докторские диссертации десятки молодых преподавателей КГУ. Особенно поразительны были результаты по специальности «журналистика», по русско-татарским литературным связям (под руководством Ямиля Галимовича).

Охваченные общие вдохновляющим подъемом, представили и защищили свои докторские диссертационные исследования В.Н. Крылов, В.Б. Шамина, Т.Г. Прохорова, Е.М. Шастина; совсем молодые – А.Н. Пашкуров, А.Э. Скворцов.

Какой огромный авторитет и признание завоевал наш Совет в России! За 25 лет работы – ни одного замечания от ВАК, а в ее рейтинге – самые высокие места (17-е, 11-е и даже 3-е). Какие полные благодарности письма шлют нам до сих пор соискатели из Саранска, Владивостока, Елабуги, Ижевска...

А теперь о Ямиле Галимовиче уже не столько как о декане, сколько – о человеке. Вот, на первый взгляд, локальный, но показательный, запоминающийся сюжет. На филфаке случился пожар. Запах и черный дым распространились по этажу. Вначале тушили своими средствами, затем вызвали пожарные машины, но их шланги не доставали до 10 этажа. Пришлось филологам переквалифицироваться в пожарных: ведра с водой, мокрые ковры, полотенца, шторы, швабры. Ямиль Галимович – впереди в пиджаке и галстуке, затем он вызвал на помощь сына Тимура.

В целом – потушили. Мы с коллегами разошлись, а часов в 12 ночи позвонил Ямиль Галимович из несгоревшего деканата, сказал, что опасность миновала. Его жена Татьяна Александровна потом рассказывала, как отмывала и отстирывала черных от копоти мужа и сына.

Таким же самоотверженным и твердым показал себя Ямиль Галимович, когда пришла опасность общеуниверситетского масштаба. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ямиль Галимович, оставаясь деканом филфака, завоевал огромный авторитет в КГУ (в течение нескольких лет он был секретарем парткома). Ректором в то время был Ю.Г. Коноплев, молодой и прогрессивный. Но постепенно в его работе стало проявляться что-то вроде торможения или застоя (типичное явление для ельцинской эпохи). И Ямиль Галимович решительно вмешался в происходящее (объединившись с академиком А. Н. Коноваловым

и некоторыми другими авторитетными фигурами). Конечно, он отчетливо понимал, чего ему может стоить эта открытая оппозиция. Но не испугался. И вот в КГУ разгорелась предвыборная и выборная борьба. В первом туре Ю. Г. Коноплёв (как и другие кандидаты в ректоры) не набрал необходимого количества голосов. В университете началось «смутное время». Назначили врио ректора, и целый год жили «временно». Потом развернулась новая выборная кампания. (Отчётили помню, как накануне дня голосования Ямиль Галимович сказал мне: «Георгий, мы рискуем, можем потерять не только место работы, но и работу вообще».) Но – можно сказать – в этой схватке победил Ямиль Галимович.

Потом он работал помощником М.Х. Салахова: молодой ректор выбрал себе в советники именно Ямиля Галимовича, думаю, ощущая его дар мудрого аксакала.

В нём органично сочетались жизненная твердость и человеческая мягкость. Ясный, проницательный ум помогал ему налаживать отношения со всяким человеком. Не раз я сталкивался в его кабинете с незнакомыми мне людьми, даже по внешнему виду солидными, авторитетными, о которых Ямиль Галимович после кратко говорил: «Председатель Верховного суда республики», или «Глава администрации президента РТ».

И в тоже время, когда к нему приходила самая отсталая (в смысле учёбы) студентка-заочница, мать троих детей (нередко вместе с ними), он вместе с этой кучей «ходоков» приходил в отдел заочного обучения, лично пытался разобраться, чем ей можно помочь, как спасти от отчисления. Еще был такой случай. Январским вечером какие-то «отморозки» сорвали с другой заочницы песцовую шапку и удрали. В слезах она пришла не в милицию, а к декану. И он выделил ей из факультетского фонда какие-то деньги, чтобы она купила себе головной убор.

А как искренне полюбила Ямиля Галимовича московская профессура (наши коллеги и друзья по Диссертационному Совету О.И. Федотов, С.Н. Кормилов, С.М. Пинаев и др.). Я дружил с ними со студенческих, аспирантских, докторантских лет, а он мгновенно стал их другом. Видимо, он был по-человечески богаче, интереснее.

Из личного. После ухода заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы В. Н. Коновалова и сменившего его

В.Н. Азбукина встал вопрос о новой кандидатуре (Как относительно молодой профессор в качестве одного из основных претендентов рассматривался и я). В итоге выбрали молодого доцента Л.Я. Воронову. Прошло время. И однажды Ямиль Галимович сказал мне (нормальным дружеским тоном): «Зачем тебе, Георгий, взваливать на себя такую огромную ношу? У тебя уже есть одна (он имел в виду председательство в Диссертационном Совете)». Действительно, он был прав: я полностью с ним согласился, и на этом «тема» была закрыта. Но я и тогда, и сегодня подозреваю, что Ямиль Галимович с его проницательностью видел то, что не позволило бы мне на высоком уровне исполнить обязанности заведующего кафедрой: известную прямолинейность, недостаточную расположженность к динамическому лавированию, малую способность «срезать углы», резкость в поступках и словах (это действительно характерно для меня).

Перечитываю то, что написано выше, и рискую получить упрек в идеализации портрета Ямилы Галимовича. Уверяю, он и в реальности был действительно таким: умным, органичным, прозорливым, деятельным, гуманным.

Выше уже не раз говорил о его даре налаживать отношения с людьми. Он легко грамотно уступал собеседнику на грани перехода к резкому разговору. Не помню, чтобы он взрывался, капризничал, делал резкие заявления. И этот дар выбирать гармоничный ресурс в полной мере проявился в его семейных отношениях.

Ямиль Галимович преданно любил свою жену Татьяну Александровну. Не раз, удивляя нас, публично, на самых высоких собраниях, заявлял об этом. Вот микросюжет (я был не только свидетелем, но и участником), который показывает, насколько он уважал ее мнение и суждения.

Однажды случилось так, что мы с Ямилем оказались в немецкой командировке в одно и то же время. Помимо разных учебных, научных дел, естественно, делали выходы в гиссенские супермаркеты, чтобы порадовать свои семьи немецкими подарками, а себя – стильной рубашкой или модным галстуком. В один из таких рейдов Ямиль Галимович стал обладателем двух замечательных пиджаков (супермодных): светло-серого (немецкого) и цвета осенних кленовых листьев (канадского). Как оказалось (он всегда одевался скромно, так сказать, само-

достаточно), в душе ему нравились пиджаки и куртки, на которых было много карманов и карманчиков, медно-бронзовых прибамбасов, пуговиц, заклепок, крючков, молний (в России их тогда еще трудно было отыскать). Вначале он сомневался (российский профессор становился похожим на ковбоя), но я его уговорил, и купленные нами пиджаки были как раз такими.

Потом к Ямилю Галимовичу приехала жена, я уехал в Россию, а они остались. Прошло время, и уже в Казани я однажды спросил его, почему он не надевает те шикарные обновки, которые мы купили вдвоем. Помолчав и, кажется, даже характерно откашлявшись, Ямиль ответил так: «Серый мы подарили сыну, а канадский Татьяна сдала обратно в магазин. Думаю, она права, а то в этом пиджаке декан будет похож на петуха».

Потом Ямиль Галимович сознательно ушел со всех постов, но при этом очень пристально следил за ходом и учебных, и, особенно, научных дел в Институте, много раз призывал объединить силы для выработки новых научных позиций и направлений. Какое-то время он мирился с общим положением дел. Но заметно изменился. В глазах появилась какая-то отстраненность. Изменилась даже походка: он всегда ходил четким шагом, высоко поднимал колени (4 года служил военным летчиком), а в последние годы стал скромно пошаркивать.

И он ушел.

Но в моей памяти он идет твердым строевым шагом. Навсегда.

ГЕОРГИЙ ФРОЛОВ,

Заслуженный профессор Казанского университета

Я. Г. САФИУЛЛИН – ДЕКАН ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Годы работы Я.Г. Сафиуллина в Казанском университете (1965–2014), несомненно, являются одной из ярких страниц в жизни историко-филологического, а затем филологического факультета. Мне посчастливилось слушать лекции Ямиля Галимовича, быть его коллегой по кафедре русской и зарубежной литературы, работать под его началом в качестве заместителя декана по научной работе и заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы. Опираясь на собственные воспоминания, источники по истории университета, отзывы коллег, пытаюсь обратить внимание на некоторые стороны деятельности Я.Г. Сафиуллина как декана филологического факультета.

Должность декана Я.Г. Сафиуллин занимал в течение двух периодов: с 1980 по 1985 г. и с 1990 по 2002 г. [1]. Безусловно, вряд ли можно приписывать всё, что делалось в эти годы на факультете, усилиям одного декана. И всё же, трудно назвать другого учёного, сделавшего столько для развития филологического факультета Казанского университета, сколько сделал Я.Г. Сафиуллин.

Моё первое знакомство с Ямилем Галимовичем состоялось в 1972 г., когда я училась на первом курсе отделения русского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского государственного университета. Он читал нам «Введение в литературоведение». Как известно, этот предмет имеет важное значение в базовой подготовке специалиста-филолога. Лекции отличали академическая серьёзность, информационная насыщенность материала, композиционная чёткость. В них не было внешних эффектов, повышенной эмоциональности и просто лишних слов. Они требовали от студентов большой концентрации внимания. Ямиль Галимовичставил очень высокую планку, не делал никаких скидок на то, что в аудитории его слушали студенты вечернего отделения, пришедшие на занятия после работы. Не все студенты относились к такому типу лекций одинаково, но, тем не менее, никому из нас в голову не приходило нарушить тишину шептанием, переговорами и т. д. А после окончания университета многие выпускники ещё долго бережно хранили конспекты этих лекций.

Начало моей преподавательской деятельности на кафедре русской и зарубежной литературы совпало с периодом реорганизации историко-филологического факультета. В июне 1980 г. Приказом Министерства высшего и среднего специального образования он был разделён на два – исторический и филологический факультеты [2, с. 237]. Я.Г. Сафиуллин стал первым деканом филологического факультета и внёс большой вклад в организацию филологического пространства в Казанском университете.

Благодаря дипломатическим и организационным способностям Ямиля Галимовича отделение «филологов» от «историков» произошло безболезненно; успешно реализовывалась стратегия развития филологического факультета как единого целого трёх составляющих – русской филологии, татарской филологии и журналистики.

Важнейшую роль в объединении филологических кафедр сыграли научные направления.

С 1980 г. формируется общефакультетское научное направление «Закономерности развития и взаимодействия национальных языков и литератур (истоки, современное состояние и перспективы)» (рук. – Н.А. Андромонова), объединившее практически все кафедральные исследования. Факультет стал одним из первых в стране научных центров, где на материале различных языков (русского, татарского, английского) и литератур (русской классической и современной, античной, татарской, немецкой, английской, французской) осуществлялось изучение меж- и внутринациональных связей и взаимодействий в области языка и литературы.

Преподаватели впервые получили возможность участвовать в научных проектах других кафедр. Например, на кафедре русской и зарубежной литературы, велась разработка трёх тем. Одной из них – «Взаимодействие литературы с другими видами искусства и формами общественного сознания» – руководил Я.Г. Сафиуллин (до 1986 г.). Научная группа состояла из преподавателей нашей кафедры (В.Н. Коновалов, В.Н. Азбукин, Д.Ф. Лучинская, Л.В. Пожилова, Л.Я. Воронова) и кафедры журналистики (Л.М. Пивоварова, Т.Н. Карлова).

Оригинальные исследования проводились в рамках направления «Системно-комплексное исследование литературы и

искусства» (рук. – Ю.Г. Нигматуллина). В него входила немногочисленная часть преподавателей и аспирантов с кафедры русской и зарубежной литературы, татарской литературы и татарского языка, представители других факультетов и вузов Казани.

Как руководитель факультета Ямиль Галимович важнейшим фактором эффективности деятельности научных коллективов считал справедливое распределение и признания, и ответственности за выполнение научной работы. Он поддерживал интегрирование научных интересов в рамках двух направлений, большое внимание уделял развитию исследований на кафедрах и координации их деятельности в межвузовском масштабе.

Систематически (раз в два года) стали проходить межвузовские конференции, ежегодной была итоговая научная конференция. Сотрудники факультета участвовали в различного рода форумах филологического сообщества: международных, всероссийских, республиканских конференциях, семинарах, Зональных конференциях литературоведов Поволжья и др. Результаты исследований находили отражение в монографиях, статьях, кандидатских диссертациях. Они свидетельствуют о плодотворности разрабатываемой проблематики, о её научной, прикладной и социальной значимости.

На факультете были созданы очень хорошие условия для творческого и должностного роста молодёжи, что говорит о мудрой кадровой политике декана. Активно работал Совет молодых учёных и специалистов, регулярно организовывались межвузовские конференции молодых учёных, методические и методологические семинары, издавались междисциплинарные сборники научных работ аспирантов и молодых преподавателей, кафедры пополнялись выпускниками аспирантуры. Именно в это время начали свою преподавательскую деятельность Л.Р. Абдулхакова, А.Н. Бастиров, М.Г. Богаткина, Т.В. Бузанова, С.Г. Васильева, Т.Ю. Виноградова, Л.В. Владимирирова, Т.Г. Прохорова, Р.Н. Сафин, Т.П. Трошкина, О.Н. Усова и другие преподаватели.

Перемены коснулись организации и содержания учебного процесса. Коллективы кафедр занимались освоением новых, современных методов преподавания, разнообразных форм научно-исследовательской работы студентов (система авторских спецкурсов, постоянно действующие научные спецсеминары,

курсовые и дипломные работы по специальности, участие в студенческих научных конференциях). О высоком авторитете факультета и сильных конкурентных позициях можно судить по стабильно высокому конкурсу на все специальности, хотя филологов и журналистов готовили во многих вузах.

В разных направлениях велась работа с иностранными студентами, которых год от года становилось всё больше в университете: 1) организация на базе филологического факультета краткосрочных курсов русского языка для слушателей из Польши, Болгарии, Венгрии (например, в 1981 г. на курсы приехало 152 человека!) [2, с. 246]; 2) обучение русскому языку студентов-иностранцев (из ГДР, Лаоса, Вьетнама, Афганистана, Кореи, Кубы, Монголии, Эфиопии и др.) с других факультетов; 3) подготовка иностранных студентов (из ГДР, Кубы, Вьетнама и др.) непосредственно по специальности «Филология: Русский язык и литература» [2, с. 257; 3, с. 48–61].

В 1982 г. на факультете была открыта кафедра русского языка для иностранных учащихся. Ямиль Галимович очень много сделал для формирования коллектива кафедры (приглашение преподавателей со стороны, перевод молодых преподавателей с других кафедр факультета, трудоустройство выпускников аспирантуры) и её материально-технического обеспечения.

Обладая аналитическим умом, Я.Г. Сафиуллин целенаправленно организовывал работу подчинённых, сотрудников деканата, оперативно разрешал сложные ситуации, если они возникали на факультете, всегда готов был прийти на помочь коллегам, аспирантам, студентам в сложных жизненных обстоятельствах, в трудную минуту. Приведу лишь один пример.

В курируемой мною группе была студентка, одно упоминание о которой вызывало негодование у заместителя декана по учебной работе А.А. Роота: она часто пропускала занятия, плохо училась и т. д. Практически каждая наша встреча с замдекана начиналась словами: «А Вы знаете, Людмила Яковлевна, что ваша Звезда (студентку звали Юлдуз) натворила?». Последней каплей для него стал звонок из отделения милиции о задержании Юлдуз по заявлению о нарушении правопорядка в общественном месте. А.А. Роот стал настаивать на её отчислении, я была категорически против и обратилась за советом к Ямилю Галимовичу. Он помог мне урегулировать все вопросы в отде-

лении внутренних дел, поговорил со студенткой и дал ей шанс исправить ситуацию с учебой.

После окончания университета Юлдуз вернулась на родину, стала очень хорошим учителем русского языка и литературы, неоднократно приезжала в Казань со своими учениками на Республиканскую (потом Поволжскую) научно-практическую конференцию школьников, которая проводилась на базе университета. И каждый раз она приводила ребят на факультет, заходила в деканат, неизменно добрым словом вспоминала Ямиля Галимовича.

За пять лет Я.Г. Сафиуллин сумел сплотить трудовой коллектив и направить его усилия на решение актуальных задач. Факультет развивался в соответствии с требованиями быстро меняющегося времени.

В октябре 1985 г. Я.Г. Сафиуллин был освобождён от должности декана филологического факультета в связи с его избранием секретарём парткома Казанского государственного университета [2, с. 276]. Деканом филологического факультета стал заведующий кафедрой журналистики Ф.И. Агзамов.

Возвращение Ямиля Галимовича в деканат приходится на второй этап реорганизации факультета. В июле 1989 г. открывается факультет татарской филологии, истории и восточных языков (татфилфак) [2, с. 307], а в июле 1990 г. постановлением Учёного совета КГУ было принято решение о создании факультета журналистики [2, с. 318].

19 июля 1990 г. приказом ректора Я.Г. Сафиуллин был назначен временно исполняющим обязанности декана филологического факультета [2, с. 318], затем неоднократно избирался деканом, занимал эту должность до 2002 г.

В этот очень сложный период развития, общества, связанный с началом постсоветской эпохи, экономическим кризисом, непрерывными реформами образования, Я. Г. Сафиуллину удалось не только сохранить факультет, но и усилить его научный и учебный потенциал.

Ямиль Галимович никогда не останавливался на достигнутых результатах. Уделяя максимум внимания анализу современных условий, он всегда имел в виду будущее. А перспективы XXI века предлагали быструю смену «набора» знаний и умений, постоянную ориентацию на новое и усвоение этого нового, перенос акцентов в системе преподавания с подготовки узких

специалистов на развитие интеллигенции. В связи с этим открытие новых специальностей и направлений подготовки было для него в то время в числе приоритетных задач.

Если раньше система образования на факультете была унифицирована по видам и формам подготовки (дневное, вечернее, заочное обучение, бюджетное финансирование, специальности «Филология: русский язык и литература», «Филология: русский язык и литература в национальной школе»), то с 1990 г. она развивается в направлении увеличения этого разнообразия, ориентирована на новые специальности.

Так, на фоне увеличивающегося из года в год и вполне понятного (в свете радикальных общественно-исторических перемен в стране) интереса абитуриентов к изучению иностранных языков, в 1992 г. на факультете началась подготовка преподавателей для немецких школ, внедрение образовательных программ, позволяющих студентам отделения русского языка и литературы получить специализацию по иностранным языкам. В 1996 г. 14 выпускников получили диплом по специальности «Филолог: Русский язык и литература, иностранный язык», в 1997 г. – «Филолог: Русский язык и литература, иностранный язык», «Филолог: Русский язык и литература, немецкий язык», «Немецкий язык и литература» [3, с. 72–73].

Однако Я.Г. Сафиуллин определил и более дальнюю перспективу расширения специальностей подготовки филологов: им был разработан план для открытия на факультете романско-германского отделения. Это было необычно для Казанского университета, поскольку до этого подготовка специалистов по иностранным языкам осуществлялась в педагогическом институте. 19 октября 1995 г. Ямиль Галимович выступил на заседании Учёного совета Казанского университета с обоснованием открытия специальности по романо-германской филологии на филологическом факультете и ходатайствовал о её лицензировании. Учёный совет ходатайство поддержал [2, с. 376]. Так, появились на факультете новые специальности: «Филология: Английский язык и литература», «Филология: Немецкий язык и литература».

В октябре 2001 г. в рамках специальности «Филология» была открыта ещё одна очень востребованная специализация – «Прикладное языкознание» [2, с. 482].

Большое внимание Я. Г. Сафиуллин уделял и дополнительному образованию, поскольку оно предоставляло студентам возможность получить дополнительные знания, компетенции, навыки, востребованные на рынке труда, повышало конкурентоспособность выпускников. Соответственно, расширилась номенклатура специальностей, значительное развитие получило контрактное обучение.

Дополнительные образовательные услуги в Казанском университете предоставлялись в рамках факультета повышения квалификации, подготовительных курсов, учёбы по индивидуальным планам, целевой подготовки по договорам с предприятиями. С начала 1990-х гг. эти формы эволюционируют, изменяются, появляются другие формы и виды услуг, как правило, платные. На филологическом факультете крайне востребованными оказались обучение иностранным языкам, стажировки преподавателей иностранных языков по интенсивной методике и т. д. Например, с января 1991 г. по сентябрь 1993 г. прошли обучение в 26 группах 296 человек, в том числе 43 сотрудника и студента университета [2, с. 358].

В марте 1998 г. была открыта подготовка для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» [2, с. 400]. В октябре 2000 г. приказом по университету на филологическом факультете были разрешены уже несколько внебюджетных образовательных программ: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (для студентов 2 и 3 курсов университета); «Русский язык как иностранный» (для студентов филологического факультета); «Английский язык» (для студентов второго курса филологического факультета); «Немецкий язык» (для студентов первого и второго курсов филологического факультета), а также подготовительные курсы для поступающих в Казанский университет по русскому языку, русской литературе, английскому и немецкому языкам [2, с. 444].

Внедрение новых специальностей и специализаций сопровождалось реорганизацией старых и созданием новых кафедр, которые получали статус выпускающих.

Если в 1990 г. в составе филологического факультета было 4 кафедры (русского языка, истории русского языка и языкоznания, русской и зарубежной литературы, русского языка для иностранных учащихся), то в 2003 г. их стало уже 7.

В октябре 1992 г. была образована кафедра современного русского языка (путём слияния двух кафедр – русского языка и русского языка для иностранных учащихся) [2, с. 346].

4 новые кафедры открыты: в октябре 1992 – кафедра русского языка в национальной школе (её возглавил Я.Г. Сафиуллин) [2, с. 346]; в феврале 1997 г. – кафедра романо-германской филологии [2, с. 388]; в июле 2000 г. – кафедра теоретической и прикладной лингвистики [2, с. 440]; в октябре 2003 г. – кафедра зарубежной литературы, кафедра русской и зарубежной литературы переименована в кафедру русской литературы [2, с. 542].

Для организации внебюджетных образовательных программ при филологическом факультете по инициативе Я.Г. Сафиуллина был создан Учебный центр. Его открытия декан добивался очень долго, неоднократно подавал представления и ходатайства в ректорат, выступал на Учёном совете университета. Факультет стал зарабатывать. Ямиль Галимович как рачительный хозяин следил за расходованием этих средств (зарплата преподавателям, издание учебников, учебно-методических пособий, техническое оснащение кафедр, покупка новой мебели, ремонт помещений факультета и т. д.).

Как на экскурсию преподаватели ходили на соседние кафедры, чтобы посмотреть, какой ремонт сделан, какая мебель и оргтехника появились. А вот в деканате долго ничего не менялось, потому что Ямиль Галимович считал, что надо сначала создать комфортные условия для работы преподавателей, а потом уже для себя.

Совместно с заведующими кафедрами декан осуществлял подбор кадров профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, организовывал повышение их квалификации. Тенденции кадровой политики оставались прежними – омоложение состава, укрепление научного потенциала. Но резкой смены поколений Ямиль Галимович не допускал, так как считал, что личность можно воспитать только личностью. Он очень бережно относился к ветеранам факультета, заслуженным профессорам В.М. Маркову, Л.С. Ачкасовой, Л.И. Савельевой, Ю.Г. Нигматуллиной, создавал им благоприятные условия для работы: уменьшение аудиторной нагрузки, предоставление внеплановых научных стажировок для завершения монографий, материальная поддержка, организа-

ция юбилеев. Уход каждого преподавателя он очень тяжело переживал.

Мы никогда не забудем, какую неоценимую поддержку декан оказал нашей кафедре (русской и зарубежной литературы) в очень сложный период 1998 – 2000 гг., когда один за другим ушли из жизни заведующий кафедрой проф. В.Н. Коновалов (1998), доц. В.Н. Азбукин (1999), проф. Н.А. Асанова (2000). Он взял на себя организацию похорон, материальную помощь семьям, оперативно организовал замены научных руководителей у дипломников и аспирантов и т. д. Для обеспечения преемственности в управлении, преподавании и научно-практической деятельности Ямиль Галимович предложил мне, как ученице В.Н. Коновалова, возглавить кафедру, а потом согласился со всеми предложенными кандидатурами (к.ф.н. М.М. Сидорова, Б.И. Колмаков, д.ф.н. О.О. Несмелова) на вакантные ставки. И я всегда чувствовала его дружеское, участливое внимание к моей работе. Советов не избегал, но никогда не вынуждал подстраиваться под себя.

Благодаря созданной Я.Г. Сафиуллиным творческой и доброжелательной атмосфере, улучшились показатели не только учебной, но и научной работы.

Научными группами, сформированными на кафедрах, продолжалось изучение языковых явлений и теории перевода на материале русского, татарского, английского и других языков, развития и функционирования русского языка как языка межнационального общения, литературных традиций и новаторства, истории и поэтики литературной критики, проблем современного литературного процесса в широком культурном контексте и т. д. Определилось новое направление научной деятельности факультета: «Русская и сопоставительная филология: концептуально-семантический, функциональный и культурологический аспекты». А в конце 90-х годов Я.Г. Сафиуллин совершил настоящий прорыв в научной работе факультета. С группой молодых преподавателей с кафедры русский язык и литература в национальной школе он открывает новое направление научных исследований – сопоставительное литературоведение. «Оно основано на исследовании диалогических взаимоотношений между разными литературами и культурами и может оцениваться как инновационное» [4, с. 266].

Новые задачи решала казанская базовая группа по комплексному изучению художественного творчества. Она разрабатывала тему «Теоретические, методологические и методические основы прогнозирования литературы и искусства», которая входила в координационные планы научных исследований АН РФ и АН Татарстана.

Однако декан поощрял и отдельных специалистов, и малые научные группы, проводивших исследования по инициативной тематике.

Благодаря Я.Г. Сафиуллину, я открыла для себя новое поле научных исследований – академическое литературоведение Казани. А всё началось в 1992 г. с вопроса декана: «А что Вы, Людмила Яковлевна, знаете о научном литературном обществе при Императорском Казанском университете?». Честно сказать, знала я тогда немного, что и заставило пойти в архив, в библиотеку, погрузиться в материал. Ко мне присоединились некоторые преподаватели кафедры, аспиранты, студенты. Была заявлена инициативная тема – «Русское академическое литературоведение и критика в Казани: формирование, развитие, школы, традиции (XIX – перв. пол. XX в.)».

Когда результаты исследований группы были уже достаточно апробированы в научных докладах, статьях, в кандидатских диссертациях, Ямиль Галимович подарил мне уникальное издание фундаментального труда профессора Императорского Казанского университета А.С. Архангельского «Введение в историю русской литературы. Т. I. История литературы как наука. Очерки научных изысканий в области истории русской литературы. Из лекций по истории русской литературы» (Пг., 1916). Я храню её как память о Я.Г. Сафиуллине.

Кафедры филологического факультета выполняли функции базовых для родственных кафедр других вузов Казани и региона, поддерживали контакты с АН РФ, АН РТ, профильными кафедрами университетов и педагогических вузов России. Преподаватели принимали участие в деятельности Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Международной ассоциации исследователей и преподавателей английского языка и литературы (ESSE), Зонального объединения литературоведов Поволжья, Международной Чеховской комиссии и т. д.

В зоне особого внимания Я. Г. Сафиуллина всегда были конкурсы научных проектов, информация о которых своевременно доводилась до заведующих кафедрами. Преподаватели чаще стали получать гранты РГНФ, РФФИ, НИОКР АН РТ, международных фондов на научные исследования, организацию конференций, издание индивидуальных и коллективных монографий, словарей.

Практически ежегодно на базе факультете проходили международные и всероссийские научные конференции, собирающие учёных из России, ближнего и дальнего зарубежья. Особо отмечу Международную научную конференцию «Личность и творчество Г.Р. Державина: история и современность» (сентябрь 1993 г., 200 участников, в т. ч. 100 иногородних, из них 12 зарубежных) и Международную научную конференцию «Бодуэн де Куртене – теоретическое наследие и современность», с участием Государственного Комитета по высшему образованию РФ, Российской Академии наук, Академии наук РТ, (24–28 мая 1994 г., 100 участников, из них 15 зарубежных) [2, с. 360, 366]. Они стали предтечей международных Державинских и Бодуэновских конференций конца 1990-х – нач. 2000-х гг. Можно сказать, что это научные бренды университета, Казани, Республики Татарстан.

В условиях крайне низкого бюджетного финансирования вузов, когда даже комплектование книжных фондов университетской библиотеки было приостановлено, Я.Г. Сафиуллин изыскивал средства на издание монографий, учебников, учебно-методических пособий, сборников статей. Он очень строго следил за выполнением факультетского плана изданий научных и учебно-методических работ, составляемого по заявкам кафедр, не допускал срывов графика представления работ в экспертную редакционно-издательскую комиссию. С 1990 по 2002 г. учёными филологического факультета были подготовлены и изданы 25 монографий, 35 учебников и учебных пособий для студентов, 32 сборника материалов научных конференций, а ещё десятки учебно-методических пособий, учебников для школ [5, с. 18–45].

Ежегодно факультет представлял монографии и учебные пособия на конкурсы «Лучшее печатное издание года», «Лучшая университетская рукопись года». Очень часто работы получали высокую оценку, входили в число призеров, авторы получали награды, право издания рукописи за счёт университета.

В кризисный период, который переживала высшая школа и российская наука, на факультете совершенствовалась подготовка кадров высшей квалификации.

Были созданы условия для учебной и научной деятельности наиболее талантливым и увлечённым наукой молодым людям. Проводились конференции молодых учёных и специалистов, возродилась практика аспирантских научных семинаров по актуальным проблемам науки, аспиранты и молодые специалисты участвовали в проектах по грантам РFFИ, РГНФ, НИОКР АН РТ. На всех кафедрах имелась аспирантура.

Фактом безусловного признания значительного вклада казанских учёных-филологов в подготовку кадров высшей квалификации можно считать открытие докторантуры по четырём основным специальностям: 10.02.01. Русский язык, 10.02.20. Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 10.01.01. Русская литература, 10.01.03. Литература народов стран зарубежья (английская литература, немецкая литература, литература США).

Открытие при университете двух Специализированных советов по защите докторских диссертаций по указанным специальностям стимулировало процесс представления преподавателями факультета докторских и кандидатских диссертаций. Филологический факультет стал настоящей кузницей кадров для собственных кафедр и других вузов страны.

Новой страницей деятельности факультета явилось развитие сотрудничества с коллегами из дальнего зарубежья.

Установились научно-образовательные связи факультета с Гиссенским (ФРГ), Пекинским, Шанхайским (Китай), Щетинским (Польша), Фрибургским (Швейцария), Ханойским (Вьетнам), Гранадским (Испания) и другими университетами. Большой вклад в выработку стратегии сотрудничества литературоведов и лингвистов, укрепление научных, учебных и личных контактов внесли Г.А. Николаев, В.Н. Коновалов, Э.А. Бабалыкина, Е.Ф. Арсеньтьева, Н.А. Асанова, Г.А. Фролов и, конечно же, декан – Я.Г. Сафиуллин.

Сотрудничество филологов развёртывалось по трём основным направлениям: 1) научно-исследовательская работа, 2) научно-издательская работа, 3) учебная работа.

На всех кафедрах велись совместные с зарубежными коллегами научные исследования по актуальным проблемам литературоведения и языкознания, результаты представлялись на научных конференциях и семинарах, в монографиях и научных статьях.

Наиболее плодотворно развивалось сотрудничество филологического факультета с Институтом славистики Гиссенского университета. За десять лет было проведено четыре международных конференции, в издательстве «Peter Lang» было издано 12 томов «Beiträge zur Slavistik», в которых опубликованы работы казанских филологов. Были изданы три монографии, 76 научных статей, автором которых являются 36 сотрудников филологического факультета Казанского университета. В Казани выпущено 5 сборников научных работ, где размещены статьи 6 сотрудников Института славистики [6, с. 59].

За годы сотрудничества многие преподаватели факультета прошли научно-исследовательские стажировки в зарубежных университетах. Они не только занимались научными изысканиями, но и читали лекции, вели семинарские занятия, консультировали студентов. Зарубежные стажировки позволили преподавательскому составу познакомиться с достижениями европейской науки, исследованиями зарубежных коллег, освоить новые курсы, совершенствовать методику преподавания.

Преподаватели, приглашённые по линии гостевой профессуры и работавшие в университетах-партнёрах на контрактной основе в течение нескольких лет, проводили большую методическую работу: читали лекции, вели семинары, разрабатывали учебные программы, подготавливали учебные пособия, методические указания, консультировали студентов, стажеров-аспирантов, руководили дипломными работами и кандидатскими диссертациями.

Сам Я. Г. Сафиуллин читал лекции, проводил семинарские занятия по русской деревенской прозе, проблеме «маленького человека» в русской литературе XIX в., «эпиграммам А. С. Пушкина» на отделении славистики в Гиссенском университете. Принимал активное участие в разработке российско-германского исследовательского проекта «Немецко-русские взаимосвязи в эпоху романтизма», в международных конференциях (Германия, Швейцария), семинарах, публиковался в совместных научных изданиях. В соавторстве с В. Н. Коноваловым и

В. Н. Крыловым им была подготовлена и в 1994 г. издана антология «Возвышенное в русской литературе (XVIII – начало XX веков)» (Казань, 1994). Это результат научного сотрудничества между Казанским и Фрибургским университетом [7, с. 189]. Поездки за границу, знакомство с системой филологического образования в зарубежных университетах – всё это способствовало интересу Ямиля Галимовича к продвижению новых форм сотрудничества и направлений развития факультета как учебного и научного подразделения Казанского университета.

Большим достижением международного сотрудничества факультета с зарубежными университетами стал обмен студентами, развивающийся в двух формах – включённое обучение в течение семестра и языковая практика.

Но и в Казани студенты-филологи могли познакомиться с достижениями европейской науки и методиками зарубежных коллег. На филологический факультет приглашались для чтения лекций по спецкурсам и отдельным темам ведущие профессора Щетинского университета (Э. Кухарска), Варшавского университета (М. Корвацка и Р. Сливовски), Гиссенского университета (Г. Гиземанн и Г. Йелитте), Лейпцигского университета (Э. Шенкель), Фрибургского университета (Р. Фигут), Эдинбургского университета (К. Николсон) и др. Каждая такая встреча, как правило, находила живой отклик в студенческой среде, о чём свидетельствовали вопросы, дискуссии после лекций, впечатления самих студентов.

Таким образом, международное сотрудничество филологического факультета с зарубежными партнерами можно признать весьма плодотворным, как в общем плане расширения научных и учебных связей, так и в практических результатах.

Как руководитель факультета Я.Г. Сафиуллин был безуокоризненно честен и принципиален, требователен и справедлив. Он презирал ложь, хитрость, интриги, никогда не переносил своих личных мнений о человеке на общение с ним в процессе работы.

В деканат приходили студенты, аспиранты, преподаватели, Ямиль Галимович всех принимал без записи, внимательно выслушивал, всегда стремился дать совет, а если требовалось, мог успокоить расстроенных, поддержать упавших духом, устраниТЬ конфликт, найти решение возникших проблем. Он оставался спо-

койным даже в сложных негативных обстоятельствах.

Когда в декабре 1997 г. в одном из кабинетов на 10 этаже произошёл пожар, Ямиль Галимович в числе первых бросился его тушить, потом вместе с В.Н. Коноваловым организовал эвакуацию студентов и сотрудников факультета. Они ушли с горящего этажа последними и вернулись на факультет первыми, сразу же после ухода пожарных, чтобы ещё раз проверить все аудитории и помещения кафедр, закрыть их. Ущерб был большой, но Я. Г. Сафиуллин оперативно мобилизовал студентов, аспирантов, сотрудников для расчистки помещений, нашёл возможность провести ремонт и оборудовать кабинет оргтехникой.

Коллеги по кафедре и ученики запомнили Ямilia Галимовича как «талантливого, мудрого и справедливого руководителя», как человека «исключительного чувства долга и ответственности, высочайшего благородства и достоинства» [4, с. 266].

Я.Г. Сафиуллин пользовался заслуженным уважением и признанием не только сотрудников, аспирантов и студентов филологического факультета, но и преподавателей других факультетов, представителей администрации университета.

Более 20 лет Я. Г. Сафиуллин был членом Учёного совета университета.

На заседаниях совета он никогда не стремился выделиться среди окружающих. В отличие от некоторых деканов, которые брали слово практически на каждом заседании по любому поводу, Ямиль Галимович выступал в основном только по конкретным вопросам, касающимся деятельности факультета. Но часто после горячих обсуждений председатель Учёного совета (а это, как известно, ректор) обращался к Я. Г. Сафиуллину с просьбой высказать свою точку зрения. И он выступал, как бы подводил итог дискуссии. Запомнились внешняя сдержанность, скопость жестов, чувство такта по отношению к присутствующим членам Совета, даже если он в чём-то с ними не соглашался. Неслучайно в ноябре 2002 г. Учёный совет избрал Я. Г. Сафиуллина вторым заместителем председателя Учёного совета [2, с. 517].

В 2003 г. Я.Г. Сафиуллин стал советником ректора по общим вопросам, он занимал эту должность до 2007 г.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и

организаторскую работу Я.Г. Сафиуллин неоднократно получал благодарности, почётные грамоты от ректора университета, был награждён знаком «Отличник высшей школы СССР», имеет почётные звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан», «Заслуженный работник университета» [7, с. 188]. Но он не любил говорить о своих заслугах, наградах, потому что все его мысли были о факультете, его успехах и достижениях.

Вклад Я.Г. Сафиуллина в филологию – это не только научные работы, новое направление в исследовании литературного процесса, подготовка высококвалифицированных кадров, но и создание в Казанском государственном университете филологического факультета, одного из наиболее авторитетных, динамично развивающихся гуманитарных факультетов России.

Литература

1. *Балакин Г.А. Сафиуллин Я.Г. // Казанский университет. 1804–2004: Библиогр. слов. /Гл. ред. Г.Н. Вульфсон. Казань, 2004. Т. 3. С. 261–262.*
2. *Исаков А.П., Исаков Е.П. Летопись Казанского Государственного Университета /история в фактах, подтверждённых документами): В 2-х т. Т. 2. 1946–2004 гг. Казань: ООО «Дизайн-студия МИАН», 2005. 576 с.*
3. *Выпускники-филологи Казан. госуд. университета: 1945–2004 / Казан. гос. ун-т, Филол. фак-т; Сост.: К.Р. Галиуллин (отв. ред.), Р.Н. Каримуллина, Э.Р. Гарипова, А.Р. Гизатуллина, Д.А. Мартынов. Казань: Казан. гос. ун-т, 2004. 112 с.*
4. *Аминева В.Р., Хабибуллина А.З., Нагуманова Э.Ф. Размышления об учителе...(к юбилею Ямиля Галимовича Сафиуллина) // Учен. зап. Казан. ун-та. Т. 157, кн. 2. Сер. Гуманитарные науки. Казань, 2015. С. 265–271.*
5. *Филологический факультет Казанского государственного университета. 1980–2005: библиогр. указ. публикаций /Казан. гос. ун-т; Филол. фак-т: Сост.: К.Р. Галиуллин (отв. ред.), Д.А. Мартынов. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2006. – 80 с.*
6. *Николаев Г.А., Йелитте Г., Воронова Л.Я. Десять лет сотрудничества филологов // Границы сотрудничества (к 10-летию Соглашения о сотрудничестве между Казанским и Гессенским университетами). Казань: УНИПРЕСС, 1999. С. 55–65.*

7. Колмаков Б.И. Сафиуллин Я.Г. // Русское литературоведение в Казанском университете (1806 – 2009): биобиблиогр. словарь / Сост. Л.Я. Воронова, М.М. Сидорова / Науч. ред. Л.Я. Воронова. Казань: Казан. ун-т, 2011. С. 188–190.

ЛЮДМИЛА ВОРОНОВА,
доцент Казанского университета

АҚЫЛЛЫ ҢӘМ ЗИРӘК ШӘХЕС ИДЕ¹

[Ямил Сафиуллин – 4. 04. 1935 – 30. 07. 2020]

Вакыт ағышының мәңгелек асылы туу-яшәү-үлем берлеген-нән гыйбарәт. Ул, чордан-чорга, заманнан-заманга дайими кабатланып, өзлексез дәвам иткән аксиоматик хакыйкатькә әверелгән. Әмма бу өч буынның соңғысына Адәм баласы һич күнегә алмый: һәр үлем, һәр югалту аның өчен авыр, газаплы. Ныклас-брак уйлап карасан, бит һәрбер кеше, һәрбер инсаны зат үзе бер дөнья, үзе бер планета-жисем кебек. Аның юкка чыгуы яшәеш, тереклек өчен (олымы, кечеме – анысы башка мәсъәлә) – барыбер югалту, исән калганныар өчен – кайғы-хәсрәт.

Башка елларда да үлем-китемнәр еш булып тора иде. Әмма узып баручы 2020 ел, мәгаен, пандемия-коронавирус афәте аркасындағы, аеруча шомлы, борчулы булды. Фаный дөньядан күченүчеләр бермә-бер артты. Шунысы аеруча аянычлы: китеп баручылар арасында татаррга, аның теленә, мәдәниятенә, мәғърифәтенә, әдәбиятына турыдан-туры хезмәт итүчеләр бигрәк тә күп. Әжәл безнәң арабыздан Резедә Ганиева, Фәрит Хатипов, Гомәр Саттаров, Жәмил Зәйнуллин кебек күренекле профессорларны, Мәдәрисс Вәлиев шикелле игелекле «китапчыларны, рухи мирасны кайтаруга, Гаяз Исхакыйны өйрәнүгә сизелерлек өлеш көрткән фән докторы Әхмәд Сәхаповны, халкыбызының яраткан шагыйре Роберт Миннүллинны һәм күп кенә башка гыйлем, ижат, мәғърифәт әһелләрен сұрып алды һәм бакыйлыкка озатты. Шәхсән, минем өчен бу затларның үлеме икеләтә-өчләтә авыр. Җөнки аларның шактые минем шәкерт-студентларым, осталазларым, хезмәттәш-коллегаларым иде. Ни аяныч, бу исемлеккә мин бик тә хәрмәт иткән, алты дистә ел буена аралашкан Ямил Галим угылы Сафиуллин да килем керде. Ул кинжатлам укучыларга, халыкка, бәлкем, артық билгеле түгелдер. Әмма узган йөзнәң икенче яртысында – яна гасыр башларында Казан университетында укыган, эшләгән кешеләргә бу зат яхши таныш.

Ямил Галим угылы төп чыгышы белән дистәләгән әдәбият-сәнгать, гыйлем әһелләрен биргән [алар арасында әдип

¹ Элеккеге хезмәттәшләре-шәкертләре Я. Сафиуллин хакында истәлекләр жыентыгы чыгарырга ниятли. Бу мәкалә шуларның үтенече белән язылды.

Мәжит Рәфыйков та (1925–1986) бар] Күгәрчен районыннан^{1*}. Аның туган авылы («Максютово») Оренбург өлкәсенә чиктәш диярлек. Булачак галим туган авылында урта белем ала. 1954–1957 елларда Совет Армиясендә («Төркестан корпусы»нда) хезмәт итә. Мөгаен, үзен биредә бик тә уңай яктан күрсәткәндер: 1957 елда КПСС сафларына кабул ителә. Документларда аның «взвод командиры ярдәмчесе» булуы да теркәлгән [Личное «дело» (239 битлек) № 794–07, Казан университетының кадрлар бүлеге]. Хәрби хезмәттән кайткач, 1957–1958 уку урында Я. Сафиуллин Башкортстанның Күгәрчен районындағы Назаркино урта мәктәбендә физкультура һәм хәрби эш дәресләрен алыш бара.

Ямил Гамил угылы – 1958 – 1963 елларда Казан университетының тарих-филология факультеты (рус-татар бүлеге – РТО) студенты. Укуын «бик яхшы» билгеләренә (урсыча әйткәндә, «диплом с отличием»га) төгәлләгән егет шуши елда ук аспирантурага кабул ителә. Житәкчесе – урыс һәм чит илләр әдәбиятлары кафедрасы мөдире, факультет деканы, СССР куләмендә билгеле галим – Н. А. Гуляев. Аспирантның тырыш-үжәтлеген, хәзерлекен күреп, бер елдан соң ук аны житәкчесе мөдир булган кафедрага укытучылык эшенә асистент итеп күчерәләр. 1970 елда кандидатлык диссертациясе якый. 1973 елда доцентлык дәрәҗәсен ала. Яшь галим «XIX йөз чит илләр әдәбиятлары тарихы», «Әдәбият белеменә кереш» һәм кайбер башка предметлардан дәресләр алыш бара. Күп төрле җәмәгать эшләре (куратор, факультетның партбюро секретаре урынбасары h. б.) башкара.

Мин университетка 1959 елда укырга кердем. Ямил Галим угылы инде ул вакытта икенче курс студенты иде. Без бер ук тарих-филология факультетында белем алдык. Ул – урыс-татар бүлегендә, ә мин – татар филологиясе шогъбәсендә. Безнең төркемдә қызлар аз, егетләр күбрәк иде [(һәм аларның да ниндиләре: жырчылар (Кәбир Нигъмәтҗанов, Зөфәр Шәйхетдинов...), әдип-шагыйрләр, журналистлар (Рәдиф Гаташ, Әдхәд

¹ 1968–1973 елларда КДУның татар бүлегендә (Роберт Миннүллин, Гамиржан Дәүләтшиннәр белән бер төркемдә) бик тә тырыш, татар җанлы Нигъмәтулла Вахапов дигән егет укыган иде. Ул инде менә берничә дистә еллар буе үзенең туган ягында – Күгәрчен тәбәгендә укытучы булып эшли, дәреслек-әсбаплар, жирле тарих буенча китаплар яза.

Синегулов, Даут Сөнгатов, Әнүр Исмәгыйлев, Нургали Булатов...) . Ә алар группасында ике генә егет [Ямил; Рим Салихов – соныннан фэн докторы, профессор, Тарих институтының хәзәрге директоры – Радик Салиховның әтисе]. Ә кызлары берсеннән-берсе чибәр! Мөгаен, безнең егетләр магнит кебек тартып торучы ул төркем белән төрле сәбәп-сыйлаулар табып аралашырга ашкынып торалар иде...

Диплом алғаннан соң, миңа өч елдан артык Сармак якларында эшләргә туры килде. 1967 елның ахырларында без фәкыйрегез янә университетка кайтты. Шуннан бирле (инде ярты гасырдан артык!) биредә укытам. Бер үк уку йортында, бер үк факультеттә эшләү Ямил Галимович белән безне еш очраштырды. Гәрчә бик табындаш булмасак та, без бер-бере-безне, холық-фигылъләребезне, эш-гамәлләребезне шактый белдек. Ямил әфәнде – университеттә шактый тормыш тәжрибәсе туплап килгән кеше. Яшкә дә бераз өлкәнрәк. Шуңа күрәдер дә ул студент чакта ук үзенең житдилеге, төплелеге, зирәклеге белән аерылып торды. Университеттә эшләү елларында аның бу төр сыйфатлары арта, тулылана барды. Ул фәнни-теоретик яктан бик хәзәрлекле иде. Аның озак еллар буе студентларга «Әдәбият теориясе»ннән (ә ул гаять житди курс!) лекцияләр укуы да мона билгеле бер йогынты ясагандыр [Ана кадәр бу предметны профессор Н. А. Гуляев алыш бара]. Бу елларда тарих-филология факультетында Л. И. Савельева, Л. С. Ачкасова, Хатыйп Госман, Ибраһим Нуруллин, Йолдыз Нигъмәтуллина, А. С. Шофман, И. М. Ионенко, Дилярә Тумашева, Әнвәр Ахунҗанов, Мөхәммәт Мәһдиев, Миркасыйм Госманов... кебек күренекле филологлар, тарихчылар эшләде. Алар белән аралашу, бер коллективта кайнау да яшь галимнең фәнни-теоретик, шәхси-профессиональ үсешенә нык тәэсир иткәндер.

1980 елда тарих-филология факультеты икегә бүленде. Аларның житәкчеләре итеп бертавыштан Индус Тәһиров һәм Ямил Сафиуллин сайланды. Тарихчылар аерылып чыкса да, филология факультеты университеттә иң зур коллективларның берсе булып калды: дистәләгән кафедра, йөзләгән укытучы-аспирант, хәзмәткәрләр; урыс, урыс-татар, журналистика, татар бүлекләре; көндөзгө, кичке һәм читтән торыш укуда менән якын студент. Ямил Галимович шуши зур, катлаулы коллектив белән уртак тел табып, ақыл белән, уңышлы гына житәкчелек итте.

Мин бу вакытта филология факультетының партбюро секретаре, декан ярдәмчесе булып та эшләдем. Шуңа күрә Ямил әфәнденең эшчәнлеген якыннан торып, «әченнән» белеп-күреп тордым. Ул таләпчән һәм принципиаль дә, кирәк вакытта кырыс та булды, гадел эш йөртте, интрига-гайбәтләргә юл куймады. Шуңа күрә аны студент-аспирантлар да, укытучы-хезмәткәрләр дә хөрмәт итте. Ул мөстәкыйль фикерләве, үзенә һәм үзгәләргә таләпчәнлеге, тыйнаклыгы, каршылыкы мәсьәләләрне хәл итүдәге зирәклеге белән хөрмәт уята иде.

«Үзгәртеп кору» исеме белән тарихка кереп калган 80–90 нчы еллар аралыгында («Горбачев дәверендә»), бөтен ил кебек, Казан университеты да кайнады: императорлык рухы шактый сенгән, элеккеге традицияләр нык сакланган бу уку йортына да милли хәрәкәт дулкыны керә башлады. Жыелыш-митинглар, ижтимагый-мәдәни чаралар, конференция-семинарлар, чит илләр белән бәйләнешләр гадәти күренешкә эйләндә һәм бермә-бер артты. Башка илләрдән, аеруча Германиядән килеп укучылар күбәйде. Ике гасыр аралыгында, гомумән, бу ил, андагы Гиссен университеты белән багланышлар аеруча көчәйде. Ямил Галим угылы үзе дә бу уку йортына берничә мәртәбә барып, лекцияләр укыды. Шуши катлаулы чорда, гәрчә үзе шәхсән теләмәсә дә, Ямил Галим угылын университет партия оешмасы 1985 елда үзенен житәкчесе итеп сайлап куйды [Совет чорында исә партком секретаре бу уку йортында, ректордан кала, аерым очракларда аның белән бер дәрәҗәдәге житәкче иде]. Шуши чорда филологиядән докторлык һәм кандидатлык диссертацияләре яклау советы эшкә кереште (Рәисе – Т. Галиуллин, секретаре – Х. Миннегулов). Шунысы мөһим: Я. Сафиуллин, гәрчә партия-фирканең бик тә жаваплы бер вәкиле булса да, милли-демократик хәрәкәтне яклап чыкты, бу юнәлештә шактый гына саваплы гамәлләр башкарды. Университеттә татар проблемасына, милли мирасны туплау һәм өйрәнүгә, Шәркый традицияләрне торғызуга игътибар артты. Проректор Миркасыйм Госманов, партком секретаре Ямил Сафиуллин һәм кайбер башка милләтпәрвәр затларның тырышлыгы, инициативасы белән татар бүлеге киңәйттәнде һәм шуның нигезендә 1989 елда татар филологиясе, тарихы һәм қөнчыгыш телләре факультеты эшли башлады. Журналистика шөгъбәсе дә шушиңдый ук мөстәкыйль статуска иреште.

«Кадрлар барысын да хәл итә» дигән канатлы сүзләр күпләргә таныш. «Барысын» да булмаса, аларның, аеруча житәкчелек урынын биләүчеләренең роле чыннан да зур. 1988 елдан, партком секретарылыгыннан киткәч, Ямил әфәнде дистә елдан артык яңа декан булып эшләде. Тарих факультетының житәкчесе – Индус Таһиров, журфак һәм татфак житәкчеләре – Флорид Әгъзамов һәм Тәлгат Галиуллин. Милли җанлы, хәзерлекле, абройлы, тыңгызыз, фикердәш, үзара дус бу дүрт декан шуши елларда университеттә, аның гыйльми, ижтимагый-рухи тормышында (һәм өлешчә читтә дә) шактый мөһим роль уйнады. Миңа бу вакытларда факультет һәм университеттагы Зур советның эгъзасы, кафедра мәдире, төрле комиссияләр, жәмәгать оешмалары вәкиле сыйфатында күптөрле җыелыш-чараларда катнашырга туры килде. Шунда мин бу «дүртлек»нен, аеруча Ямил Сафиуллиның ничек итеп чыгыш ясауларын, гамәл кылуларын үз күзләрем белән күреп тора идем.

Шуши гасырның тәүге елларында Мәгъзүм Салахов университет белән житәкчелек итте. Аның нәтижәле эшчәнлегендә 2003–2007 елларда ректорның рәсми «киңәшчесе» дә булып торган Ямил Сафиуллиның да билгеле бер өлеше бардыр.

Университетта шактый гына язылган һәм язылмаган канунар бар. Шуларның иң мөһимнәррәннән берсе – житәкченең фән белән үзенең дә шөгыльләнүе. Син никадәр генә әйбәт кеше, оста, талантлы оештыручы булсан да, гыйльми хезмәтләрең юк икән – коллективта тиешле аброй казана алмысын. Мәгълүм ки, Я. Сафиуллин икесе дистә елдан артык житәкчелек-административ вазифалар башкарды. Әле ул 1992–2002 елларда кафедра мәдире дә булып торды. Аның турыдан-туры житәкчелегендә, ярдәмендә югары квалификацияле галим-филологлар, журналистлар әзерләнде. Әмма ул шәхсән үзе дә – житди фәнни хезмәтләр, уку-уқыту, методик эсбаплар авторы.

Яшь галимнен «Николай Полевой как теоретик романтизма» дип исемләнгән кандидатлык диссертациясе (1970) фәнни жәмәгатьчелек тарафыннан «житди хезмәт» дип бик тә уңай кабул ителде. Анда 1796–1846 елларда яшәгән күренекле урыс әдебиенең ижаты романтизм призмасы аша жентекле тикшерелә, мөһим генә күзәту-нәтижәләр ясала. Шунысын да искә төшерик: Я. Сафиуллин ижат методлары, әдәби-теоретик мәсьәләләр белән шөгыльләнүен алга таба да дәвам иттерде. Үзенең фәнни

эшчәнлеген, нигездә, урыс сүз сөнгатен өйрәнү белән башлаған, шул тематикага үзәк һәм жирле басмаларда шактый гына мәкаләләр бастырган галим әкренләп әдәбиятларны үзара мөнәсәбәттә, үзара багланышларда тикшерүгә күчә барды. Төп игътибар үзәгендә, әлбәттә, – урыс-татар әдәби багланышлары, шулай ук Идел-Урал буе халыкларының рухи бәйләнешләре. Бу юнәлештә Я. Сафиуллин инициативасы белән берничә конференция, гыйльми чара да уздырыла. Әдәбиятларны чагыштырма өйрәнү проблемаларын яктырткан хезмәтләр дөнья күрә. Я. Сафиуллин һәм аның хезмәттәшләре әзәрләп чыгарган «Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и сопоставительной филологии» китабы (К., 2010), мәсәлән, фәнни-педагогик процесста бик теләп кулланыла. Галим соңғы елларда «Жирле әдәби төбәк» («Краеведение») буенча да аерым мәкаләләрен укучыларга тәкъдим итте.

Я. Сафиуллинның кайбер язмалары татар телендә дә басылган. Аның, мәсәлән, Пушкин ижатында «Коръән» мотивларын яктырткан мәкаләсе «Казан утлары» журнальында басылып (1999. № 6), җәмәгатьчелек тарафыннан уңай кабул ителгән иде.

Галимнең татар әдәбиятын киң катлам укучыларга пропагандалавы да игътибарга лаек. Ул тәрҗемә белән дә шөгыльләнде. Аның, мәсәлән, Ш. Бабичның аерым шигырьләрен урысчага күчерүе билгеле. Галимнең гыйльми эшчәнлеге, хезмәтләре докторлык диссертациясе таләпләренә артыгы белән җавап бирсә дә, ул аларны жыйнап, рәсми рәвештә яклауга тәкъдим итмәде. Бу хакта сүз кузгаткач, ул ярымшаяру, ярымҗитди рәвештә: «Миңа кандидатлык та житә», – дип кенә җавап бирә иде. Әмма безнең өчен ул доктор, профессор, хәтта академик югарылыгындагы зат булды.

* * *

Мөхтәрәм Ямил Галим угылы Сафиуллин, 86 яшен тутырый, ничектер, сиздермичә, тыйнак қына бакыйлыкка да күчеп китте. Казан шәһәренең Самосырово мөсельман зиратына жирләнде. Шактый озын бу гомернең зур өлеше (алты дистәсе) Казан университеты белән бәйле: ул биредә укыды, ярты гасырдан артык эшләде, тәрле тармаклар өчен югары дәрәҗәле кадрлар эзерләүгә (аеруча фән, мәгърифәт, ижат әнелләрен тәрбияләүгә), фәнне үстерүгә үзеннән сизелерлек өлеш кертте. 80 яшен

тутыргач, бу зат рәсми рәвештә университеттан китте, әмма андагы тормыштан аерылмады, төрле чарапарда катнашып торды. Аның үлемен без, ягъни аның элекке хезмәттәшләре, зур югалту рәвешендә кабул иттек. Бу уңай белән КФУның Филология институты сайтында (31. 07. 2020) Ямил Галим угылының шәхесе, эшчәнлеге жылды итеп, шактый тулы яктыртылуға куанып та күйдәйк. Әмма, ни кызганыч, бу ақыллы, зирәк шәхеснең үлеме қөндәлек матбуғат чарапарында бик телгә дә алышымады. Шуңа күрә мин Ямил Галим улыгы хакында маҳсус жыентык әзерләп чыгаруны ихлас хуплыйм, бу язмамны шуңа бик аз гына өлеш көртү дип саныйм. Әлеге китапның төзелеп, дөнья күрүе исәннәрнен бу мөхтәрәм затка рәхмәт, хөрмәт билгесе булыр дип ышанам.

ХАТЫЙП МИЦНЕГУЛОВ

филология фәннәре докторы,

Казан университетының аткабанган профессоры,

Татарстанның һәм Россиянең аткабанган фән эшлеклесе,

Татарстанның фән һәм техника өлкәсендә

дәүләт бүләгә лауреаты

БЫЛ ЧААДАЕВЫМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ¹

Просто мистика какая-то. Но я заинтересовался личностью Ямиля Галимовича Сафиуллина ещё в 70-е годы прошлого века, когда был студентом-заочником Казанского государственного университета. В коридорах вуза я увидел вдохновенного человека, довольно высокого роста, подтянутого, с утончённой жестикуляцией и постоянной группой молодёжи вокруг себя, для которой он был, чувствовалось, не просто преподавателем. Я наблюдал за ним и рисовал для себя незаурядный художественный образ, строил фантазии о нём, как о необычном в университетских стенах мыслителе и философе, лидере какой-то оригинальной, всё покоряющей мысли. Была во мне такая особенность – выбирать интересный для меня тип человека и в мыслях творить его биографию, личную жизнь, конфликты, падения на тернистом жизненном пути и подъёмы мужества и духа. Помню брюнета в элегантных костюмах, даже галстуки в памяти, а вот кто он по сути, как его имя, так и не удосужился... Если б я учился на очном отделении, то, безусловно, в первой четверти первого курса я бы узнал, что это один из интереснейших филологов университета (впоследствии – декан филологического факультета) и не надо было бы фантазировать. Однако, повторяю, вымысел для меня был не менее важен, чем реальная действительность. А может быть, и более.

И вот во второй половине 2016 года в Академии наук Татарстана я участвую в конференции, посвящённой русскоязычной литературе республики. Тогда меня особенно заинтересовало выступление на тему арабицы, латиницы, кириллицы и их крутых поворотов. Речь шла об алфавитах не только с лингвистической точки зрения, но и с исторической, политической, философской. Было интересно постичь, как простая графика, геометрические построения букв и манера письма (слева направо, или справа налево) влияют на культуру разных народов не только в письменной области, но и в искусстве, науке, быту, вообще – менталитете, духе, организации мышления.

Сижу, слушаю... И вдруг в почтенном докладчике я начал узнавать того, за кем я, будучи студентом, вдохновенно наблю-

¹ Звезда Поволжья. 2021 № 2. 21-27 января.

дал в стенах университета. Да, это был он. И имя через десятки лет здесь, на конференции, стало мне известно – Ямиль Галимович Сафиуллин. Удивительная встреча с человеком, которого я себе придумал и который юношеские фантазии мои одним своим очным выступлением превратил в реальность. Перед нами был историк, лингвист, философ, мыслитель широчайшего спектра знаний с нестандартным, порой парадоксальным образом мышления, с дарованием глубоко проникать в исследуемую тему.

По завершении конференции мы, наконец, познакомились, и я предложил Ямилю Галимовичу изложить выступление на страницах «Казанского альманаха». При этом у нас сразу завязался живой разговор. Я задавал вопросы по поднятой теме, он охотно отвечал, веско обосновывая каждый свой ответ. Помню, я усомнился, что справа налево писать удобнее. Но не это главное. Жаль было, что в том экспромте-разговоре я не спросил: почему арабская графика письма идёт справа налево, а арабская цифрица в числах наоборот – слева направо? Где логика? Хотя особенностей арабских цифр мимоходом он всё-таки коснулся. Я узнал, например, что существует утверждение: если арабские цифры писать прямыми линиями, то есть сделать угловатыми, то каждая цифра будет соответствовать числу своих углов. Пример: в двойке два угла, в тройке – три. Верно это с другими цифрами тоже или нет, не шутит ли учёный – оставил выяснение на потом, на домашний досуг. Но вот мой вопрос о противоположном направлении написания чисел в арабском письме зародился у меня, когда отвечать было уже некому.

Статья о крутых поворотах разных алфавитов в нашей стране появилась в мае 2017 года и удивительным образом вызвала интерес в самых различных слоях населения, у представителей, совершенно не относящихся к литературе и письменности профессий. Это была свежая волна в публикациях альманаха по языкоznанию, письменной культуре, научно обоснованная и популярно, легко изложенная. Говоря кратко, это был уровень.

За ней, в том же году, последовала статья «Чаадаев и Казань», книги которого переводились с французского студентами Императорского казанского университета и издавались в первые годы XX века в Казани.

И вновь мистика. К этому времени параллельно или, можно сказать, автономно я подготовил по произведениям Петра Чаадаева большую подборку его мыслей и высказываний. Сами понимаете, труд не одного дня. Материал получился впечатляющим. И тут является статья Ямиля Галимовича о Чаадаеве – солидный научно-популярный труд на грани открытия. А у меня на руках изречения «сумасшедшего» философа, автора знаменитых «Философических писем» к нашей рубрике «Классная классика».

Помню, сидим осенним вечером у меня дома, обсуждаем будущую публикацию. Я говорю: «Как хорошо будет вашу статью о Чаадаеве подкрепить в альманахе большой подборкой его мыслей и афоризмов». Неожиданно Ямиль Галимович выступил против. Дело в том, что в моей подборке было немало высказываний мыслителя XIX века, критикующих православие с его социальной пассивностью, смирением перед крепостным правом и возводивших в передовые религии католицизм, явными плодами которого были западно-европейские успехи в области науки, культуры, экономики и предпринимательства. Он напомнил мне об ответственности у нас в стране за «оскорбление чувств верующих». И предостерёг: «Затаскают по судам». Я заторможено внял совету. Но позже послал эту подборку в редакцию весьма независимой и смелой газеты «Звезда Поволжья», где редакторствовал мой хороший друг и идеальный собрат Рашит Ахметов. Естественно, под впечатляющим материалом я поставил имя составителя, то есть своё.

В намеченный четверг раскрываю номер газеты с моей подборкой – о православии ни слова, всё сокращено. «Да, – подумал я, – учёный и издатель одинаково твёрдо знают, в какое время живут и на какой почве находятся». Я не стал ничего говорить Рашиту, понимал, он и так из судов не вылезает.

При всей своей смелости и безбрежности философской мысли, нестандартности мышления, глубине взглядов на литературу, культуру, вообще миропорядок в Ямиле Галимовиче всё-таки сохранялся какой-то остаток *хамо советикуса*, то есть человека своего (советского) времени, заключённого некогда в идеологические тиски царившего политического режима. При каждой новой задумке, при идее новой статьи, он высказывал

сомнение: «Нет, дорогой, это ты не опубликуешь». Это и Чаядаева касалось и, что интересно, В. И. Ленина в рубрике «Твоя первая книга». Да, первой книгой, повлиявшей на формирование личности Ямиля Галимовича, был солидный, краснокожий том вождя пролетариата. И если раньше преследовались малейшие проявления антикоммунизма, то теперь, напротив, ему казалось, что не в чести, – идеи ленинизма.

Статью ту под рубрикой «Твоя первая книга» мы, конечно, опубликовали без малейших купюр. Надо сказать, Ямиль Галимович развернулся в ней во всю силу своего аналитического дарования, открытости и убедительности публициста.

Отвлекаясь, быть может, но всё равно в русле этой статьи замечу, что человек пишущий и редактор, творец и страж порядка – стилистического, политического, правового и пр. – это разные люди. Писатель, журналист, учёный в момент вдохновения зачастую не думает о берегах, его несёт половодье чувств, знаний, невысказанности… Но наступает, как говорится, утро, и в творце просыпается редактор, а порой этот бдительный редактор заранее опасается за вольности своего творческого визави. Оглядываясь на седую историю, вспоминается «бунтовщик хуже Пугачёва» Александр Радищев, для которого вдохновенный вечер создания «Путешествия из Петербурга в Москву» и холодное утро пробуждения от труда праведного оказались разными временами года – половодьем и стужей, буйным расцветом и страшным опустошением.

Один из учеников Ямиля Галимовича кандидат филологических наук Марсель Ибрагимов в послесловии к посмертной статье своего учителя в «Казанском альманахе» задаётся вопросом: «Почему он не печатался раньше? Почему скрывал от нас, своих учеников и коллег, тягу к творчеству, не только научному художественному?» Вот потому-то, дорогой Марсель Ильдарович, и не раскрывался человек в полной мере, что на заре своего творчества попал он в безвоздушное пространство социалистического реализма, службе которого, будучи секретарём партийной организации университета, отдал немало совсем необязательных сил.

Справедливости ради следует заметить, что секретарь партийной организации университета Я. Г. Сафиуллин во второй половине 1980-х годов внёс заметный вклад в демократизацию учебного процесса, в повышение национального компо-

нента как в структурном обновлении вуза, так и в программах исторических, филологических и прочих дисциплин. При его непосредственном участии зародился и стал действовать в университете докторантский совет по филологии. В 1989 году стараниями проректора М. Усманова, секретаря парткома Я. Сафиуллина и др. был открыт факультет татарской филологии, истории и восточных языков. Тогда же отделение журналистики выросло до статуса факультета.

Словом, неоднозначна фигура нашего героя, как неоднозначна и противоречива любая сколь-либо выдающаяся личность из рода *homo cogitans* (людей мыслящих).

Ямиль Галимович, читавший студентам курс по теории литературы, прекрасно знал всю мировую литературу. Но его отдушиной была всё-таки русская досоциалистическая и зарубежная литература, где учёный действительно дышал полной грудью и не оглядывался на всяческие *измы* и прочие инструменты воздействия власти на литературу и искусство. Имена писателей, которых он упоминал в публикациях или разговорах со мной, красноречиво свидетельствуют об этом.

И потом ведь практическое письмо, отображение своих мыслей в строгой, печатной форме требует, как скрипачу со своей скрипкой, постоянной практики. Мысль лекторская, какой бы она оригинальной ни была, и мысль печатная, труд ораторский с амвона и выверенный слог на бумаге, мониторе – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ямиль Галимович, выдвигая интересные идеи, изустно трактуя сложные понятия и явления, много времени упустил, что называется, вне белой бумаги и чёрных чернил.

Марсель Ибрагимов в своей статье о наставнике пишет: «На одной из конференций друг Ямиля Галимовича, профессор Чувашского госуниверситета Виталий Родионов подарил ему библиографию своих трудов. Полистав её, Ямиль Галимович в шутку сказал, что, если его собственные труды собрать в одну книгу, то она по объёму будет как подаренная библиография. Это было произнесено с юмором...» Но я уверен, и не без скрытой горечи. По себе знаю (десять лет вёл на ТВ программу «У зелёного камина»), устное улетает без следа – эфир есть эфир. А печатное остаётся на века.

Тем не менее, как видим, на последней прямой творческого пути естественная потребность учёного в печатном слове вырвалась из-под спуда всяческих тормозов, и он выдал друг за другом подряд целую серию замечательных статей и, как я уже упомянул, заявил, написал и с колёс опубликовал рассказ из жизни армейского снайпера «Яблоко от яблони» (декабрь, 2018). На презентации выпуска альманаха Ямиль Галимович сказал: «Я решил проверить теорию практикой – сам написать рассказ после многих лет чтения лекций о литературном творчестве». Скажу прямо: опыт по большому счёту удался.

Вот что значит полностью раскрепоститься! Свобода слова, свобода творчества, свобода самовыражения – всё-таки не пустые слова. На страницах «Казанского альманаха» Ямиль Галимович неожиданно ощутил не просто свободу, а небывалый прилив творческих сил, особое ощущение воли, полёта, твёрдости крыла. «Это моя эпоха Возрождения – не раз шутил он и добавлял серьёзно: – А может, и подлинного рождения».

На мой взгляд, творчество Ямиля Галимовича в ряду научно-популярной публистики на страницах «Казанского альманаха» наиболее свободно и полно раскрылось в статье «Революцией рождённый и убитый», посвящённой 100-летию со дня смерти татаро-башкирского поэта Шаехзаде Бабича. Судьба поэта трагична. Поверив в обещания большевиков предоставить свободу угнетённым народам, Бабич активно включается в борьбу на стороне Рабоче-крестьянской Красной Армии и во время красного террора от её же рук жесточайшим образом погибает. Учёный сравнивает Бабича с Тукаем и называет главное их различие. Если Турай, по словам автора статьи, является светским поэтом и основоположником новой татарской поэзии, то Бабич религиозен, по-восточному философичен и по мировосприятию близок к суфизму, реформаторскому движению в исламе против закоснелого догматизма и за более широкие права личности в вере.

О природе и сущности творчества Бабича написано ничтожно мало. В условиях советской идеологии поэт на время вообще вычеркнут был из истории поэзии. И вот перед нами колоссальный труд по созданию многопланового портрета Шаехзаде Бабича, сопровождённый переводами его поэзии на русский язык самого автора статьи. Совершенно новая страница в творчестве мэтра!

На статье этой учёный не останавливается. Если говорить спортивным языком, перед нами, оказывается, была просто разминка. В начале 2020 года он предоставляет для печати в альманахе свою, пожалуй, самую внушительную как по объёму, так и по содержательной весомости статью. Она опять-таки была посвящена Бабичу, его 125-летию со дня рождения. Знамок русской и западно-европейской литературы поражает здесь широтой знаний философской и религиозной поэзии Востока, анализирует многогранное творчество поэта, прожившего на белом свете всего 24 года, вновь подкрепляя свои утверждения собственными переводами его стихов.

К сожалению, увидеть её на страницах альманаха ему не довелось. «Это, скорей всего, моя последняя статья», – сказал он мне по телефону в июле 2020-го, когда уже лежал в больнице. И оказался прав.

Статья эта называется «Жизнь поэта в его стихах». Научная и популярная, познавательная и эмоциональная, она производит сильное впечатление. Не буду пересказывать, пытаться анализировать – её надо читать с карандашом в руке.

Но вот какое наблюдение. Немало писателей, критиков, литературоведов, учёных-филологов из так называемых националов в начале своего творческого пути устремляют взор на всемирно признанные литературы больших народов, отодвигая на второй план родную, кровную. Нет пророка в своём отечестве, поищем его за горами, за долами. И вот перед нами вырастают Платон, Ницше, Хайдеггер, Уитмен, Джойс, Тютчев, Блок, Н. Гумилёв... Полёт ввысь, к кронам мировой литературы неуздёжим, прекрасен, романтичен... Однако проходит время, появляется серебро в висках, и незаметно ты начинаешь чувствовать, что постепенно опускаешься из заоблачных высот, эволюционируешь к своим корням, вспоминаешь родной язык, обычаи, традиции, мелодии, поэзию, которая, оказывается, не так уж слаба, если посмотреть на неё внимательно, а зачастую и удивительно близка твоей душе и неповторима; начинаешь понимать, что происходит она и вся культура твоего народа из благородных кровей и имеет знатных родственников по миру.

Это я и о себе тоже, и о многих, кого хорошо знаю. Это закон природы. Это, как сказал один мой старший друг, закон всемирного культурного тяготения. От Уитмена, Джойса, Полевого (кан-

дидатская молодого учёного Сафиуллина называлась «Н. А. Полевой как теоретик романтизма») – к Тукаю, Сунчелею, Бабичу...

Природу-матушку не проведёшь. Ещё одно свидетельство тому – большой материал Ямиля Галимовича о своём колхозном детстве во время Великой Отечественной войны. Она называется «Ева на пашне» («КА», май, 2020). Очерк – не очерк, рассказ – не рассказ... о голодном, безлошадном детстве в далёком тылу, когда землю пахали с помощью домашних коров – лошадей-то на фронт забрали и в «трудовую армию».

«Теперь нас на поле трое: мама впереди, в больших отцовских сапогах и с поводком от узды в руке, затем – корова с бороной, а я, босой и с хворостинкой на пашне, слева от них». Автор сообщает, что ему, конечно же, не дано в полной мере передать все тяготы военного времени и голода, выпавшие на долю одной из многих тыловых деревень. Но немало поразительных, за гранью человеческого понимания фактов и событий Ямиль Галимович сообщает в своём повествовании. Особенно хочу отметить его восприятие голода:

«Нищета и голод – это тишина и безмолвие. Чем голод сильнее, тем выше давление гнетущей тишины, родственной небытию и смерти».

«У голода и цвет свой. Бело-серый, холодный. Студня, медузы. В моём представлении – варёного ремня, который при его варке теряет краски, белеет. Студенистый по верху и жёсткий в середине. Трудно его разжёвывать, но он сытный».

И далее:

«Я так и не привык к современной культуре питания, порою утончённой и обильной. Я плохой ценитель роскошных столов на банкетах, разного рода приёмах и просто в гостях. Слова «отличные грибочки, попробуйте», «почему вы так мало едите?» – меня не трогают и при повторах встречают внутренний протест».

Казалось, Ямиль Галимович сугубо городской человек, эстет и прочее. После прочтения «Евы на пашне» я увидел в нём другого человека, мне, наконец, стало в нём многое понятно. Понятны и корни его, и кроны, и в какой-то мере динамика жизни и творчества.

До последних дней подтянутый, с иголочки одетый, эрудит и оратор, лидер, Чаадаев нашего времени, он в душе и некото-

рых повадках своих по-прежнему оставался тем самым босоногим мальчишкой на пашне с хворостинкой, который после войны стал наедаться только на службе в армии и никак не мог насытиться на ниве познания и творчества.

Возникает, должно быть, вопрос: почему в академической иерархии Ямиль Галимович со своим огромным научным потенциалом остался в степени кандидата наук? Что ж, так бывает, немало людей с большой буквы по достоинству не оценены своими коллегами, современниками... Нередко своеобразные по своей сущности индивидуальности не соответствуют званиям, чинам, должностям карьерной лестницы, царящей в определённой епархии, в том числе – и в науке. Точнее сказать, не втискиваются своими нестандартными габаритами в привычные пазлы. С другой стороны, Ямиль Галимович не испытывал потребности в красивых научных погонах на своих плечах. Он был равнодушен к чинам и титулам, хотя, казалось бы, в университетской молодости он взял крутко в карьер. И весьма удачно, прежде всего, для самого университета.

Несомненно, в формировании личности Ямиля Галимовича большую роль сыграла Казань – этот исторически сложившийся казан, котёл, в котором варились и варятся представители многих народов, где сходятся и смешиваются Восток и Запад. И это многонациональное, многокультурное варево не могло не сказаться на взглядах и работах учёного. Он считал, что нет в мире первостепенных и второстепенных национальных литератур, для него исходным понятием было их равноправие. С годами он всё более углублялся в эту непростую тему. В первой же статье, опубликованной в «КА», Ямиль Галимович *сравнительному* методу исследований в гуманитарных науках противопоставил *сопоставительный*. Сравнивать литературы, разделять их на передовые и отсталые, ведущие и ведомые – не дело науки. Надо ставить их рядом в одном пространстве и сопоставлять. Видеть их полноценное соприсутствие, принимать, как есть, анализировать, а не «подавлять мыслью различия между ними». Сопоставление национальных литератур, различных культур в творчестве мыслителя протянулось красной нитью до последних его дней. В этой теме мэтра особое место занимает художественный перевод, проблемы которого были разносторонние и глубоко исследованы в последней его статье на страницах

«КА», посвящённой творчеству Шаехзаде Бабича. Понятно, без художественного перевода, этой переправы между берегами различных культур, речи о сопоставлении быть не может.

В той же статье Ямиль Галимович рассматривает суфизм не только как философское и поэтическое явление реформаторского ислама, но и как обитель милосердия. Милосердие – одно из главных составляющих веры и поэзии Бабича. По жизни Ямиль Галимович и сам был человеком милосердным. Он не роптал на жизненные неурядицы, был сдержан, щедр и солидарен в милосердии со своим любимым поэтом.

Характерным в этом отношении является стихотворение «Шэвкатем. Йэрэгем булэгэ» («Милосердие моё. Подарок моего сердца»), опубликованное в сборнике «Синие песни» в 1918 году, всего за несколько месяцев до гибели поэта. Вот заключительные строки этого стихотворения в переводе Ямиля Галимовича:

*Камень, брошенный в меня, к тебе хлебом возвратится;
пусть он в памяти твоей как милосердия дар хранится.*

*Милосердие моё как океан: бездонно, безгранично;
брюма зла и яд страстей смывает волнами оно.*

(Перевод Я. Сафиуллина)

Милосердие и щедрость, как известно, ходят рядом. По всему своему жизненному пути учёный, как добросовестный сеятель, пригоршнями бросал зёрна просвещения, одаривал идеями своих учеников, помогал им в продвижении научных трудов. Об этом свидетельствуют его коллеги-современники, а также ученики, сами ставшие ныне светилами в науке и образовании. Я же веду речь о буквально пяти последних годах его жизни, когда мы с ним тесно взаимодействовали, когда у него был мощный творческий всплеск, который необыкновенными по силе и проникновенности материалами опустился на страницы «Казанского альманаха» и открыл для многих нового Ямиля Галимович Сафиуллина, а для издания – новые горизонты познания.

От номера к номеру, от научной конференции к конференции, на которые Ямиль Галимович стал зазывать меня, наши шаги становились согласованнее. Для участия в альманахе под

рубрикой «Академия «КА» он призвал молодые, научные силы. Научно-познавательная часть издания набирала обороты. Казалось бы, наше сотрудничество с Ямилем Галимовичем будет продолжаться и продолжаться. Он был бодр, свеж и полон творческих планов. Как-то не бралось во внимание, что ему уже 86-й год, да ещё эта рыскающая по свету пандемия...

АХАТ МУШИНСКИЙ,

главный редактор журнала «Казанский альманах»

МОЙ ДРУГ И СОБЕСЕДНИК – ЯМИЛЬ ГАЛИМОВИЧ САФИУЛЛИН

Боль неожиданной утраты близкого человека, годами сосущее сердце чувство горечи, досады, обиды от ощущения несправедливости произошедшего, знакомо каждому, кто пережил своих близких, друзей, когда уже ушла возможность встречи, диалога, душевного общения и полного взаимопонимания. Для меня это были мои десятилетиями собеседники, единомышленники, наставники и друзья Е.П. Барышников (1929–1991), П.Г. Паламарчук (1955–1998), Н.П. Розин (1929–2011), В.В. Кожинов (1930–2001), П.В. Палиевский (1932–2019). Светлая их память живет во мне, толкает к действию, работе, продолжению нашего общего праведного созидательного, просветительского дела. Память эта неугасающая: мысленно я отчитываюсь перед моими друзьями в сделанном, причем делание это не имеет права на фальшь и самолюбование. Как-то невольно соотносишь свои труды с их трудами, чувствуешь, как они оценивают то, чем ты занимаешься в данное, свыше отпущенное и быстро пролетающее время... Как эстафету, переданную ими, воспринимаю я свою творческую работу, даже не пытаясь дотянуться до великих по уровню, а просто исполняя то, что могу и как могу, избегая всяческой рисовки и попытки «примазаться» к имени моих известных собеседников. По словам классика: «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется, – И нам сочувствие дается, / К ак нам дается благодать»... Нужно своими трудами, по возможности, облегчать работу тем, кто идет следом, раскрывая и заполняя лакуны в изучаемых темах.

До сих пор я не верю, т. е. не хочу верить, что так неожиданно для меня и для всех, кому он был близок, ушел из этой жизни Я. Г. Сафиуллин – мудрейший собеседник, мыслитель, большой знаток русской, татарской и зарубежной литературы, русской религиозной философии, замечательный библиофил, прозаик, литературовед и философ.

С Ямилем Галимовичем мы познакомились в далеком 1978 году: он – декан филологического факультета Казанского государственного университета, я – аспирант при отделе литературоведения ИЯЛИ КФАН СССР. Удивительно деликатный в

обращении с людьми вообще и с молодежью, в частности, он воспринял мой к нему приход для знакомства совершенно спокойно и без всякой иронии.

К этому времени, благодаря активному эпистолярному диалогу со мной моего учителя и друга Евгения Петровича Барышникова, постоянному обсуждению актуальных гуманитарных проблем эпохи, я уже более или менее ориентировался в современном литературном процессе, истории русской литературы, «деревенской» прозе и поэзии, читал трудно находимые книги Василия Белова и Василия Шукшина, Валентина Распутина и Федора Абрамова, Николая Рубцова и Анатолия Передрева, Федора Сухова и других популярных тогда авторов, изучал труды его друзей-однокашников по МГУ В. В. Кожинова, П. В. Палиевского, С. Г. Бочарова, В. Е. Хализева, Г. Д. Гачева и др., и поэтому пришел к Ямилю Галимовичу, как к собеседнику-единомышленнику, о котором был наслышан как об интеллектуале, читавшем замечательные лекции в университете, о которых ходили легенды.

Ямиль Галимович, действительно, оказался таким, как его охарактеризовали мои знакомые. Но много духовно щедрее и шире, чем он казался мимоходом встречавшимся с ним. Для меня же он стал другом и наставником уже при самом первом и самом трудном для меня вхождении в казанскую жизнь.

Зимой 1978 года я устроился дворником в ЖКХ, с целью заработать служебную комнату, т. к. бесконечно долго обитать у знакомых с маленьким ребенком (сыну Эмилю был один год) было неудобно. К 6 часам утра я приезжал на трамвае от Дома обуви на угол ул. Ульяновых-Маяковского, где мне был поручен к обслуживанию «профессорский» 9-этажный дом с большим двором и подъездами, откуда нужно было выносить большие баки с пищевыми отходами, нужно было грести снег, собирать разлетевшийся за ночь мусор и т. п. Сейчас остается лишь удивляться, как я выдерживал такую физическую нагрузку: был вынослив и жилист, а главное, молод, скорее всего. Проработав с полгода, я начал хлопотать о служебном жилье. Странно, но меня самого направили в полуподвал старого дома неподалеку, дабы я сам освободил для себя комнату. К моему удивлению, дверь открыла молодая женщина с ребенком на руках, как оказалось, жена такого же, как я, аспиранта, который отказался от

работы дворником, т. к. не оставалось времени на диссертацию, а помещение не освобождал, поскольку жить было негде. Выгнать семью с грудным ребенком на улицу у начальства ЖКХ, видимо, не хватило совести, поэтому направили меня, как человека заинтересованного, дав какую-то бумажку-предписание о выселении. Помня из литературы, что на чужом несчастье счастья не сделаешь, я уволился с этой почетной для студентов и аспирантов того времени службы и начал искать более подходящую работу.

В советское время учащуюся молодежь достаточно легко брали на работу, поэтому я довольно быстро устроился воспитателем в 9-этажное рабочее общежитие Казтрансстроя, что на Поперечно-Базарной улице, где и получил комнату для проживания. Помню нашу радость, когда мы заселились в небольшую, квадратов 10, комнатку в новом общежитии. Я пишу об этом достаточно подробно, чтобы подготовить читателя к встрече с Ямилем Галимовичем в этом общежитии. В чужую двухкомнатную квартиру с хозяйкой мы, разумеется, не могли приглашать никого. Здесь же, в общежитии, у меня был даже служебный кабинет на первом этаже, где чаще всего мы и общались с моим другом, обсуждали не только текущие дела, но и творческие планы, книжные новинки, важные статьи в периодике.

Более года продержался я на воспитательской работе (как мне сказали, до меня за год уволились 4 человека), которая оказалась не только беспокойной, но даже небезопасной. Транспортные строители, приехавшие на месяц-другой на работу в Казань, воспринимали командировку как реальную возможность от души поразвлечься и покутить. Попытки «воспитания» молодым человеком воспринимали своеобразно: два раза лишь чудом не был выброшен с балконов 7 и 9 этажей дерущейся друг с другом пьяной толпой, которую я пытался разнять, утихомирить. Ночные дежурства чаще всего заканчивались вызовами одного, а то и двух нарядов милиции, которая забирала дебоширов. Полдня затем уходило у меня на всякие заявления в милицию, докладные в контору Казтрансстроя и т. п. В результате нам пришлось уйти на съемную квартиру, найти которую тогда было очень трудно. Мы поселились в однокомнатной квартире на ул. Воровского, куда более или менее регулярно и приходил наш старший друг.

Ямиль Галимович поразил нас тем, что, приглядевшись к нашему быту, он быстро понял, что у нас нет никаких связей в Казани, что мы не имеем даже самых необходимых вещей, а особенно продуктов. В один из дней он пришел к нам с двумя увесистыми сумками, где, как оказалось, был разный (для нас сказочный) дефицит – индийский чай (со слоном на упаковке), сгущенка, колбаса, сыр, хорошие рыбные консервы, мясо, конфеты «Птичье молоко» и пр. Деньги, разумеется, по магазинному чеку. И так не один раз! Смущение наше он быстро развеивал подходящими слушаю штуками, рассказами о подобных нашим собственных жизненных эпизодов. До конца жизни буду помнить эту редкостную доброту и щедрость его!

Я стал бывать в их гостеприимном доме, сначала в районе телестудии, на ул. Серова, затем на улице Вишневского, а в последние годы на улице Некрасова. Познакомился с его замечательной семьей – женой Татьяной и детьми Наилей и Тимуром, симпатичными двойняшками. Меня никогда не отпускали, не напоив чаем, это был обязательный в их семье ритуал.

Но, главное, конечно же, наши достаточно длительные беседы с хозяином дома. Мы говорили с ним о новинках литературы, о последних приобретениях в книжных магазинах. Здесь Ямиль Галимович был для меня недосягаем, т. к. знал «нужных» людей и покупал дефицитную литературу, о которой я мог лишь мечтать. Домашняя библиотека у него была обширная, профессионально подобранныя. Он имел возможность приобретать почти все подписные издания: собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы, серийные издания классиков мировой философии, античной литературы, роскошные альбомы живописи, книги серии «Литературные памятники», «Библиотека поэта», знаменитую БВЛ (библиотека всемирной литературы) в 200 томах и БВДЛ (библиотека всемирной детской литературы) в 55 томах. Иногда он кое-что покупал и для меня, особенно книги по литературоведению, которые мог брать по 2 экземпляра. Книги были достаточно дорогие, особенно издания по искусству. Я с удивлением разглядывал красочные альбомы мировой живописи, стоимостью по 10 и более рублей. Мне они были не по карману, поскольку наш семейный бюджет был крайне скучен: моя стипендия и зарплата жены составляли чуть более 200 рублей. Из них нужно было платить за квартиру, за детский сад. Основная часть уходила на питание.

Кое-что я выпрашивал для домашнего прочтения. За трудно находимые тогда книги М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой и др. из «Библиотеки поэта» Ямиль Галимович высказывал некоторое беспокойство, просил меня не потерять редкое издание и обращаться как можно аккуратнее, не делать пометок на страницах. Именно от него я научился бережному отношению к книге. У нас не принято широко раскрывать ее, загибать уголки страниц, отчеркивать интересные места.

Мы особенно часто обсуждали, так называемую, «запрещенную» литературу. Взаимно полезными, как я сейчас полагаю, были наши дискуссии, например, о романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», западное издание которого (с большим риском для своей карьеры) я «проглотил» за одну бессонную ночь еще в бытность студентом Елабужского госпединститута. Ямиль Галимович, разумеется, тоже как-то «добыл» и прочитал его, т. к. считал, что литературовед не имеет права таковым называться, если не знает подобных новинок. Говорили о преувеличенной шумихе вокруг романов «Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына, лондонские издания которых я привозил из Москвы, об их публицистичности и т. п. Если бы эти книги напечатали в СССР, вряд ли они получили бы такой международный резонанс. Мы оба прекрасно понимали, что искусственный ажиотаж, создаваемый средствами массовой информации, способствовал получению самой политизированной и как бы самой престижной Нобелевской премии Пастернаком, Солженицыным, Бродским...

Громко звучащее в Елабуге (откуда я только что переехал) трагедийное имя М.И. Цветаевой, ее судьба и цикл стихов «Лебединый стан» также стали предметом наших обсуждений и общего интереса. Судьбы белого движения, трагедия революции и гражданской войны, литература русской эмиграции, боль утраты Родины, боль изгнания и страданий на чужбине – все это, каждый на свой лад, интерпретировалось нами.

Ямилю Галимовичу импонировало мое восторженное отношение к величайшим произведениям мировой литературы XX века – «Тихому Дону» М.А. Шолохова, «Белой гвардии» и «Мастеру и Маргарите» М.А. Булгакова. Мы много говорили о колорите эпохи, его отражении в литературных произведениях своего времени, о бытованиях над временем названных выше

произведений. Мы оба с любовью воспринимали творческое наследие «солнца русской поэзии» А.С. Пушкина и подбирали литературу о нем.

С большим вниманием, как выяснилось в наших беседах, мы оба относились к творчеству таких выдающихся мыслителей начала XX столетия, как Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др., в книгах и статьях которых мы находили много родственных для нас тем. В эти мои аспирантские годы я каким-то образом исхитрялся «доставать», чаще всего в Москве, даже западные издания их трудов, которые на время привозил в Казань, заказывал фотокопии с них и плохонькие копии на РЭМ-600 (в виде рулонов обоев, которые потом разрезал постранично) для себя и своих старших товарищей (Евгения Петровича Барышникова и Ямиля Галимовича). И все мы с упоением читали их и обсуждали при встречах. Каждая такая книга становилась для нас радостным событием.

С конца 1980-х годов книги этих авторов начали массово публиковаться, они перестали считаться «антисоветчиной», и мы с удивлением и некоторым недоверием (а вдруг эти благословенные времена закончатся, и подобная литература вновь попадет в спецхраны) покупали их по два-три экземпляра, для себя и своих друзей. Теперь и в его, и в моей библиотеке десятки когда-то запрещенных книг, которые было небезопасно читать. Ныне полки магазинов ломятся от подобной литературы, и очереди за ней нет. Напрашивается вопрос: а надо ли было запрещать книги русских философов начала XX столетия, создавая вокруг них нездоровый ажиотаж? Вполне возможно, что если бы эти книги были в свободном доступе, они бы были востребованы лишь специалистами.

С интересом и одобрением отнесся Ямиль Галимович к теме моей кандидатской диссертации – Фатых Амирхан и русская литература, которую мне подсказал И.З. Нуруллин, с которым у нас сохранились дружеские отношения вплоть до его ухода. Ибрагим Зиннатович был первым оппонентом на защите работы в спецсовете при Башгосуниверситете в октябре 1981 года, он же настоял на публикации результатов, как он считал, оригинального исследования в Таткнигоиздате в 1985 году. С Ямилем Галимовичем мы активно обсуждали правомерность сопоставительного анализа произведений классика татарской

литературы с конкретными творениями Тургенева, Успенского, Помяловского и др., что нередко давало возможность по-новому увидеть известные факты, дать им свою интерпретацию.

Вспоминаю, как он участливо воспринял мои переживания о проблемах с публикациями. Для гуманитариев это были журналы «Казан утлары» и «Совет мэктэбэ», попасть на страницы которых мечтали все соискатели ученых званий. В «Казан утлары» «притормозили» мою предзащитную статью, сославшись на какие-то формальные недочеты. Ямиль Галимович прочитал статью, подправил два-три предложения в ее начале, и важнейшая для меня публикация состоялась. Такие факты бескорыстной помощи, поддержки навсегда остаются в благодарной памяти, о них приятно вспоминать, радуясь широте души старшего друга.

По окончании аспирантуры я вернулся в родной вуз и продолжил работу на кафедре русской и зарубежной литературы ЕГПИ. Разумеется, в каждый очередной приезд в Казань я навещал своего старшего друга дома или на факультете по предварительной договоренности по телефону. Мы оставались в постоянном диалоге и творческих исканиях, которые с радостью и обоюдным интересом излагали друг другу.

До последнего его дня наш диалог продолжался: довольно часто навещал я своего друга и его семью в их доме на ул. Некрасова. Ямиль Галимович, выйдя на пенсию, активизировал свою творческую работу, изучал татарскую литературу, начал писать прозаические рассказы, выступал на научных конференциях, докладывая конечные результаты своих научных изысканий. У него было множество планов на будущее, о чем он мне постоянно говорил. Но человек предполагает, а Всевышний располагает нашей судьбой, и, видимо, Ему угодно было привлечь нашего замечательного современника к себе.

Думаю, все друзья и ученики Ямиля Галимовича сохранят в своей памяти его высокодуховный образ – мудрого, доброго и светлого человека! Низкий поклон ему за его добрые земные дела!

НАИЛЬ ВАЛЕЕВ,
доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ и РТ, академик АН РТ

НАМ ПОВЕЗЛО БЫТЬ РЯДОМ...

Ямиль Галимович – человек неординарный, прежде всего это тот, что сделал себя сам, никакие знания были для него не лишними. Как мы знаем, первоначально он поступал на физфак, поэтому рациональное и романтическое в нем совмещались; он не был фанатом убеждений, всегда находился в развитии своего «Я», не последовал за своим учителем Гуляевым в Тверь, а, сохранив интерес к романтизму, искал и находил учеников (впоследствии создал свою кафедру).

Библиотека была его вторым домом. Ямиль Галимович был интересен нам и в целом и своими знаниями.

Ямиль Галимович был жестким без жестокости, дипломатичным без лицемерия, душевным без сусальности, всегда готов дать совет без назидательности. Создатель интереснейших текстов («Человек есть текст» – Набоков), в которых не было лишних слов.

Ямиль Галимович был личностью, с которым рядом проходила наша университетская жизнь. Слов, как всегда, меньше, чем эмоций. Но так жаль, что Вы ушли... Ведь для меня Вы были старшим братом.

Из воспоминаний.

Стою на волейбольной площадке, наблюдаю за игрой. Кто-то мне говорит: «Обрати внимание в игре на того молодого человека, он не женат». Я смотрю: худощавый, быстрый, похож на Магомаева. Позже – апелляция в приемной комиссии. Ямиль Галимович мне говорит: Я буду спрашивать, ты молчи. И вот абитуриенту доказано, что он действительно не знает, Ямиль Галимович добился, чтобы абитуриент сказал «спасибо» и ушел.

И вот я секретарь Ученого Совета, Ямиль Галимович учит меня работать с документами и т. д. Но вот важное: этот человек убедил и даже вынудил меня пойти на защиту докторской. И вчера, и сегодня я ему безмерно благодарна.

Ямиль Галимович овеивал нас бесконечным оптимизмом и находиться в его окружении было здорово.

АЛЬМИРА АМИНОВА,
профессор Казанского университета

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Ямиль Галимович Сафиуллин – это блестящий лектор, Учитель, подлинный исследователь, прекрасный человек.

В далеком 1976 году вспоминаю себя на первом курсе Казанского государственного университета. И прежде всего всплывают в памяти замечательные лекции Ямиля Галимовича по «Введению в литературоведение», которые мы слушали с замиранием сердца, внимая каждому слову, каждой идее и мысли Учителя. Причем у Ямиля Галимовича не было никаких записей в руках, он ходил по аудитории и просто рассказывал о литературе как виде искусства, о средствах изображения в литературном произведении... Особенно врезалась в память идея фокуса (центра) в художественном тексте на примере описания глаз Катюши Масловой (из произведения Л. Н. Толстого «Воскресение»), которые сравниваются с черной смородиной... И запомнилось это, вероятно, потому что на экзамене мне попался именно этот вопрос. Ямиль Галимович оценил мой ответ на «хорошо», почему я была несказанно рада.

Когда Ямиль Галимович стал деканом филологического факультета (в 1980 году, после разделения историко-филологического факультета), мы, студенты, могли спокойно войти к нему в кабинет на десятом этаже второго корпуса КГУ, чтобы посоветоваться, обсудить какие-то вопросы. Он всегда присутствовал на наших студенческих конкурсах, собраниях. Это было очень здорово!

Уже позже, когда я стала работать ассистентом на кафедре русского языка для иностранных учащихся (с 1981 года), на собраниях преподавателей нашего факультета выступление Ямиля Галимовича было событием. Все присутствующие ловили каждое слово декана, а в зале стояла абсолютная тишина. Ямиль Галимович никогда не витал в облаках, всегда четко и ясно формулировал и отстаивал свою позицию.

В научно-исследовательской работе Ямиля Галимовича занимали вопросы теории литературы, сравнительно-сопоставительного изучения национальных литератур и культур. Его главным любимым лекционным курсом была «Теория литературы». Конспекты данного курса до сих пор хранятся в моей библиотеке. Иногда с большим интересом перечитываю эти лекции.

Ямиль Галимович был очень доброжелательный и отзывчивый человек. Будучи деканом филологического факультета, он поддерживал молодых ученых. И морально, и материально. Я помню (это было в 1990 году, во время учебы в аспирантуре), как я шла грустная по коридору нашего факультета, а навстречу – заведующий нашей кафедры Эмилия Агафоновна Балалыкина (всегда очень внимательная к людям), которая спрашивала меня: «Что случилось, Геля?» Конечно, я рассказала о предстоящей поездке на защиту кандидатской диссертации. «Пойдемте к Ямилу Галимовичу! Он обязательно поможет». В результате мне была выделена материальная помощь на поездку в размере 90 рублей. В то время это была зарплата ассистента без степени.

Хочу сказать несколько слов о замечательной женщине, супруге Ямилы Галимовича, – Татьяне Александровне, которая была его надежным оплотом и всегда находилась рядом.

Я горда и счастлива, что была причастна к миру Ямилы Галимовича Сафиуллина.

*ГЕЛИНЯ ГИЛАЗЕТДИНОВА,
профессор Казанского университета*

ЖИЗНЕННЫЕ ОПОРЫ

Ямиль Галимович ушел из жизни вечером 30 июля 2020 г. Несколько прошедших месяцев – очень короткий срок, чтобы осознать уровень и масштаб его незаурядной личности, осмыслить идеи и концепции, которые он успел выразить в опубликованных трудах, высказать в публичных выступлениях и в частных беседах. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы понять: этот человек был одной из главных опор в жизни, одним своим присутствием он задавал высокие интеллектуально-духовные и нравственные ориентиры, вызывал ощущение устойчивости и защищенности. Мир с ним был лучше...

* * *

Вспоминаю доклад Ямиля Галимовича, посвященный общему и содержанию понятия «романтизм»: он говорил очень живо и эмоционально, логично и убедительно, не употреблял непонятных слов. На протяжении всей его речи мне, тогда еще аспирантке кафедры русской и зарубежной литературы Казанского государственного университета, хотелось только одного – лишь бы не останавливался, продолжал развивать свою мысль, говорил еще и еще... И не существовало в этот момент в жизни ничего более важного и значительного, чем пути и способы определения романтизма, порождающие в душе волнующую догадку о его принципиальной неопределимости.

Став ассистентом кафедры русского языка и литературы в национальной школе, я с волнением и трепетом ждала итоговые научно-практические конференции преподавателей и аспирантов, проходившие в первую неделю февраля. По заведенной Ямилем Галимовичем традиции в них участвовали все литературоведы кафедры, и каждый из нас в течение года очень основательно готовился к этому мероприятию. Ямиль Галимович выступал обычно в конце, и каждый раз его доклад был для нас потрясением – открытием – прозрением. Тогда я поняла, что источник магнитического воздействия слов Учителя не только в блестящей форме и в мастерском владении искусством красноречия, хотя, безусловно, и в этом тоже, но прежде всего в силе и глубине его мысли.

Ямиль Галимович – человек идей, ярких, оригинальных, прорывных, зачастую революционных, не соответствующих

общепринятым стандартам и схемам, разрушающих стереотипы. Ему как теоретику литературы в высшей степени была свойственна способность проблематизации устоявшихся понятий, категорий, методов, считающихся аксиомами положений: словосочетания «национальная литература», принципа историзма, концепции «ускоренного развития» литературы и др. Он настаивал на том, что единой, как в советское время, теории литературы теперь не существует, на вопросы, с которыми сталкиваются литературоведы, можно отвечать по-разному. И в ответах на большинство из этих вопросов он был человеком, стоящим на пороге двери, открытой в неизвестность, в область дискутируемого и не завершенного, что отразилось, в частности, и в названиях его статей и докладов: «“Русская литература” и “русскоязычная литература” – синонимы?»; «Что такое национальная литература? Приглашение к дискуссии».

Ямиль Галимович не раз цитировал И. Бродского: «Язык не средство поэзии; наоборот, поэт – средство или инструмент языка...». Думается, что такую же творческую власть над самим Ямилем Галимовичем имел мир идей – платоновских «эйдосов». Заключенная в них, в этих так называемых «предельных сущностях бытия», энергия создавала эффект их внеличного существования – возникало ощущение, что они воспроизводят себя из себя же. Поэтому, когда Ямиль Галимович говорил, его нельзя было перебивать, вставлять свои реплики, комментарии, оценки и т. д., он должен был высказать свою мысль до конца и только после этого выслушивал собеседника. И именно поэтому Ямиль Галимович испытывал такое глубокое и полное удовлетворение, когда его ученики, вдохновленные его идеями, развивали их в своих докладах, диссертациях, монографиях.

На наших конференциях и научных семинарах активно обсуждалась категория различий между культурами и литературами как условие расширения и обогащения мира художественных представлений читателей. Это одна из любимых тем Ямиля Галимовича. Из возникшей тогда в дискуссиях мысли о том, что в «диалоге различий» могут рождаться новые смыслы, «толерантные» по своему содержанию и функциям, впоследствии сформировалась концепция моей докторской диссертации «Типы диалогических отношений между национальными литературами...». Ямиль Галимович был научным редактором вышедшей в 2001 году хрестоматии «Сравнительное и сопоста-

вительное литературоведение», с которой начинается история сопоставительного литературоведения в Казани, словаря «Теория литературы» (Казань, 2010), ему принадлежат замысел и структура двух наших коллективных книг: учебного пособия «Сопоставительная поэтика национальных литератур» (Казань, 2018) и монографии «Сопоставительная поэтика русской и татарской литератур» (Казань, 2019).

Отличительная черта Ямиля Галимовича как ученого-филолога – погруженность в контекст отечественной и зарубежной философской мысли. Например, в статье «Коммуникация и литература» он цитирует Ю. Хабермаса, К. Ясперса, М. Маклюэна, У. Эко, Г. -Р. Яусса, в работе, посвященной метаморфозам содержания понятия «национальная литература», – Н. А. Бердяева и Г. Г. Шпета. Ямиль Галимович был *философствующим* литературоведом, стремящимся с помощью философии преодолеть ограниченность научных методов, выйти в сферу свободы от создаваемых их строгой системой условий, пределов, допущений, приблизиться к тому, что принято называть не знанием, а *истиной*.

Ямиль Галимович был последователем В. Гумбольдта, А. Потебни, Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, М. Бахтина в утверждении первичности языка по отношению к литературе и духовной жизни народа. Убежденный в том, что мысль не выражается, а *совершается* в слове, он пристально всматривался в его «внутреннюю форму», много работал над стилистическим оформлением своих текстов, добиваясь максимально точного, предельно лаконичного и вместе с тем сильного выражения мысли. Каждое его слово продумано и наполнено невероятной актуальностью, нет ни одного лишнего. В памяти – блестящие отточенные формулировки, тяготеющие по выразительности к афоризмам: «национальная литература – монада без окон и дверей»; «со-поставление мало озабочено «стрелой времени», в нем конструкт «будущее» не имеет места»; главное в суфизме – «преодоление границ: между человеком и Богом, человеком и природой...». С этим уникальным даром Учителя связаны, как мне представляется, его терминологические поиски и новации, причем не только в области сопоставительного литературоведения, теорию которого он создавал в течение последних двадцати лет, но и в ранних работах по романтизму.

Для меня Ямиль Галимович еще и человек, обладающий тонким эстетическим вкусом, влюбленный в красоту и поэтичность окружающего мира. И к оценке научных текстов и публичных выступлений он подходил в том числе и с эстетической точки зрения. Со студенческих лет запомнилось: «К литературоведческому исследованию не применимы критерии правильности / неправильности, здесь действуют другие силы – красиво, убедительно, талантливо, современно...».

Мне кажется, что Ямиль Галимович как ученый-мыслитель во многом недооценен современниками: каждый черпал из общения с ним столько, сколько мог вместить. Между тем всей своей многогранной деятельностью он формировал новый высокий тип научной культуры, который во многом определил развитие теоретического литературоведения не только в Казани, но и в Поволжье и значение которой с течением времени раскрывается все полнее и глубже.

* * *

Помню Ямиль Галимовича деканом филологического факультета Казанского университета, заведующим кафедрой русского языка и литературы в национальной школе, которую впоследствии по его инициативе переименовали в кафедру сопоставительной филологии и межкультурной коммуникации. Какое это было «золотое» время для филологии в Казанском университете! Открывались новые кафедры, специальности, формировались новые научные направления, устанавливались связи с зарубежными вузами.

Запомнилось одно из заседаний Ученого совета, когда один из заместителей декана в своем докладе с гордостью констатировал, что почти одна треть выпускников филологического факультета заканчивают университет с отличием – это очень высокий показатель, свидетельствующий о профессионализме преподавателей и мотивированности студентов. Ямиль Галимович, напротив, увидел в этом тревожный симптом: отличников не должно быть так много, и не занижают ли преподаватели требования к студентам... И так было всегда. Ямиль Галимович выражал мнение, которое не соответствовало «горизонту ожиданий» слушателей и выявляло внутреннюю сложность и неоднозначность ситуации. За этим просматривается и нечто другое, более глубокое: выдвигаемый им подчас с невероятной

интеллектуальной страстью императив преодоления разрыва между истинным и мнимым, кажимостью и сущностью.

Помню трагические для филологов Казанского университета дни, когда после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Валерий Николаевич Коновалов. Все мы были «придавлены» непомерным горем. Ямиль Галимович тогда сказал, что память о Валерии Николаевиче должна постепенно просветляться. И сам Ямиль Галимович в высшей степени был наделен этой преображающей мир силой света.

Владислав Николаевич Азбукин, читавший нам курс по истории русской литературы последней трети XIX в. и спецкурс по творчеству Ф. М. Достоевского, всем казался человеком эпически спокойным и гармоничным. Ямиль Галимович, наверное, один из немногих, кто чувствовал живущий в нем внутренний драматизм: неслучайно же любимым писателем Владислава Николаевича был Ф. М. Достоевский.

Ямилю Галимовичу важен был конкретный живой человек, единственный и неповторимый, со своим уникальным внутренним миром. Он обладал исключительной проницательностью и даром понимания Другого – с полуслова и полу взгляда «прочитывал» людей и их намерения; в силу бесстрашения и твердости характера неизменно становился опорой для окружающих. До сих пор у меня сохраняется непреодолимая потребность – поговорить с Ямилом Галимовичем, поделиться с ним самым сокровенным, проконсультироваться по научным вопросам, выслушать его размышления и советы.

Ямилю Галимовичу были присущи широта взглядов, точность и одновременно сдержанность оценок, прямота и искренность, необыкновенная чуткость к тому, что современно и актуально, умение ценить в жизни *настоящее*, отрешаться от суеверий повседневности, отделять главное от незначительного, наконец – внутренняя свобода и независимость от обстоятельств, которые достигаются, наверное, на высшей точке духовного развития, преодолением личностных границ, выходом за пределы своего «я».

Он во всем руководствовался своим личным и строгим кодексом жизненных правил (например, говорить то, что думаешь, принимать трудные решения и нести за них ответственность, всегда оставаться верным себе), и вместе с тем был человеком

с живым и теплым чувством юмора. Его скромность, внутренний такт и чувство меры проявлялись в умении «переключать регистры», использовать то, что в литературоведении называется приемом семантико-стилистических словов. Он не любил пафосных речей, «снимал» их торжественность шуткой, остроумным замечанием.

* * *

Эссе «Ева на пашне» заканчивается пронзительными словами. В них – не только тоска по далекой поре детства, матери и родному краю, но и предчувствие своей близкой смерти: *«Родная моя деревня и теперь небогата. Нераспаханной степи почти не осталось. Озёр тоже. Ик сильно обмелел. Но и такая она близка мне и трогает моё воображение. Здесь, в казанском крае, нет такого высокого неба, как там. Не произрастает серебристый ковыль, нет зарослей бурьяна и чилиги. И не лежать мне на тёплом песке Ика, разгребая ногами его до прохладного в нём слоя. Не слушать стрекот кузнечиков в высокой траве с редкими красными ягодками земляники в ней. Не вдыхать пряные запахи конопли и полыни»*. Это одно из последних произведений Ямиля Галимовича дорого мне прежде всего тем, что в нем на поверхность строки пробивается обычно сдерживаемая им стихия лиризма. В живописной силе возникающего здесь словесного рисунка отразилось обостренное восприятие каждой подробности окружающего мира, его оттенков, запахов, красок. Одухотворенное внутренней мелодией, оно сообщает авторской речи поэтическую высоту и проникновенность.

И еще: запомнились неповторимый тембр голоса, широта его диапазона, изменение высоты, характерные интонации, едва заметное растягивание гласных звуков, придающее речи особую мелодичность. И как примириться с тем, что больше не суждено его услышать... И в ответ на привычное: «Здравствуйте, Ямиль Галимович!», не прозвучит искренне заинтересованное: «Как дела, Венера?».

Нет, Ямиль Галимович не ушел. Он остается в памяти, в сердце, в преданиях. В книгах.

ВЕНЕРА АМИНЕВА,
профессор Казанского университета

ЧЕЛОВЕК УХОДИТ – ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ¹

Перечитывая публикации Ямиля Галимовича Сафиуллина в «Казанском альманахе», невольно задаёшься вопросом: «Почему он не печатался раньше? Почему скрывал от нас, своих учеников и коллег, тягу к творчеству, не только научному – художественному?»

Творчество, идёт ли речь об искусстве, науке, общественной деятельности, всегда сопряжено с самоотдачей. Для Ямиля Галимовича это было аксиомой. Как и трепетное, ответственное отношение к слову, которое было одним из его главных качеств.

За три недели до своего ухода он звонил мне из больницы. По голосу было понятно, что ему тяжело говорить. Коротко ответив на расспросы о самочувствии, он заговорил о своей новой статье о поэте Бабиче, подготовленной для «Казанского альманаха». Ямиль Галимович просил по возможности опубликовать её без редакторских правок. Он болезненно относился к вмешательству в свои тексты. Мастер публичных выступлений, Ямиль Галимович строил их как живую, обращённую к своим слушателям речь. В своих публикациях в «Казанском альманахе» он постоянно обращается к своему «дорогому», «любезному», «вдумчивому» читателю, и это не просто риторический приём. Он расстраивался, если его выступление на конференции или «круглом столе» не становилось поводом для дискуссии, впрочем, я не припоминаю таких случаев. Не помню я и выступлений Ямиля Галимовича по мелким, частным вопросам. Темы, наподобие «Образ чего-нибудь в творчестве кого-нибудь», могли заинтересовать его лишь в том случае, если предполагали выход к волнующим его научным проблемам.

В последние годы он увлёкся творчеством Шаехзаде Бабича. Первая его статья о Бабиче – «Революцией рождённый и убитый» – появилась в «Казанском альманахе» в мае 2019 года. Здесь же – отдельные переводы из Бабича. Это первые опубликованные переводы Ямиля Галимовича с татарского (возможно, в личном архиве писателя найдутся и неопубликованные). Проблема перевода была ему интересна. Он давал студентам и аспирантам

¹ Казанский альманах: Малахит [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. Казань: Татар. кн. изд-во, 2020. С. 105–108.

темы по переводу русской поэзии на татарский язык. Под его руководством были защищены две кандидатские диссертации по татарским переводам А.С. Пушкина и В.В. Маяковского. Во многом благодаря его поддержке Э. Нигматуллиным был издан указатель татарских переводов произведений русских писателей. Что касается переводов с татарского, то Ямиль Галимович имел в этом вопросе особое мнение. Он не отрицал таланта известных переводчиков – С. Липкина, А. Ахматовой, А. Тарковского и др., переводивших Г. Тукая, М. Джалиля, С. Хакима. Но при этом его не удовлетворяло то, что в их переводах татарские поэты говорят сплошь ямбами, хореями, дактилями, анапестами. Его переводческие опыты – попытка преодолеть навязываемые татарскому языку ритмы русской поэзии. Об этом он сам пишет в своем послесловии к переводам Бабича. Разделяя идею непереводимости (в первую очередь – применительно к поэзии), Ямиль Галимович полагал, что непереводимость – источник множественности переводов. Стихи, писал он, «имеют столько же содержаний, сколько раз переводятся и читаются».

Я помню, с каким воодушевлением Ямиль Галимович рассказывал о презентации выпуска «КА» с его статьёй о Бабиче и переводами. Поддержка и высокая оценка авторов журнала, среди которых – известные в татарском мире личности, вдохновила его на продолжение работы над этой темой.

Статья, которую вы только что прочитали, одна из самых больших в творчестве Сафиуллина. В ней вдумчивый читатель увидит не только оригинальный взгляд на творчество Бабича, но и характерный для Ямиля Галимовича как мыслителя взгляд на национальную литературу.

Нам, своим ученикам, Ямиль Галимович прививал мысль о том, что ключом к пониманию литературного произведения, творчества какого-либо автора, национальной литературы является их сопоставление с другими инонациональными произведениями, авторами, литературами. Поэзию Бабича Ямиль Галимович включает в самые разные ряды сопоставления, начиная от русских акмеистов и У. Уитмена и заканчивая философией суфизма, которая, в конечном счёте, становится основным контекстом к прочтению Бабича. Татаро-башкирский поэт оказывается погруженным в пространство мировой культуры, в котором автор статьи находит разнообразные точки притяже-

ния и отталкивания с его творчеством: акмеисты, поэты-суфии, Ф. Тютчев, А. Блок, Ибн Араби, Ф. Ассизский... Возможно, кому-то эти сопоставления покажутся субъективными, лишёнными строгих научных оснований. Но в этом и состояла одна из особенностей научного мышления Ямиля Галимовича. Это мысль, устремленная в будущее, светом которого высвечиваются устоявшиеся понятия, обнаруживаются новые смысловые перспективы в них. Прозвучавшее в конце статьи о Бабиче признание о нехватке слов для передачи смысла отдельных её образов и концептов, сказано искренне. Ямиль Галимович был убеждён, что принятые в литературной теории термины и определения не вмещают или порой искажают суть изучаемого явления. Отсюда и столь характерное для него стремление к обновлению словаря науки, введению новых терминов или открытию новых смысловых горизонтов в устоявшихся терминах и понятиях. Так, в одном из своих выступлений он уподобил состояние пребывающих в собственной идентичности национальных литератур монадам без окон и дверей. Запомнился и другой его термин – *неперевод* (как результат непереводимости).

Терминотворчество Ямиля Галимовича проистекало не от его стремления снискать репутацию оригинально мыслящего учёного. Каждый из предлагаемых и обосновываемых им терминов – результат многолетних напряжённых раздумий, которые он не спешил обнародовать в форме научных публикаций.

Я и мои коллеги, ученики Ямиля Галимовича, с ностальгией вспоминаем выступления учителя на итоговых конференциях в Казанском университете. Для нас они были СОБЫТИЕМ именно благодаря его докладам, к которым он тщательно готовился. Эти выступления по сегодняшним меркам были очень продолжительными по времени – полтора, а то и два часа. Но никого из нас они не утомляли, напротив, мы в шутку говорили, что готовы пожертвовать своими докладами в его пользу.

Публичные выступления Ямиля Галимовича, будь то доклады на научных конференциях, круглых столах, лекции в студенческой аудитории, запоминались не только тем, что он говорил, но и тем, как он говорил. Я не имею в виду приёмы ораторского мастерства, которыми он, безусловно, владел. Каждый раз, слушая его, я ловил себя на мысли, что многое, о чём он говорил – мысли, идеи – рождалось в процессе его размышлений. Он был

сторонником знаний, приобретаемых в процессе раздумий, рефлексий, ценил это качество в студентах. И нас, своих учеников, он приучал избегать односторонних, схоластических суждений, умел видеть мир в его многомерности, множественности.

Понятие множественности (литератур, языков, культур) во многом определяло его взгляд на мир. В 2017 году, готовясь к выступлению на конференции, посвящённой 130-летию Г. Ибрагимова, я поделился с ним мыслями о предстоящем докладе. Ямиль Галимович сказал, что работает над статьёй об алфавитах для «Казанского альманаха» («Бирюза», 2017). Ему была близка позиция представителей татарской интеллигенции (в числе которых был и Г. Ибрагимов), которые в 1920-е годы выступали против унификации алфавитов. Об этом он пишет и в своей статье. Но вдумчивый читатель увидит в ней и другое: взгляд автора устремлён одновременно из настоящего и в прошлое, и в будущее. Последнее неизвестно, ибо «история непредсказуема» (этой фразой Ямиль Галимович заканчивает свою статью об алфавитах). Это принципиальная для него позиция. Утверждением о непредсказуемости будущего, невозможности рационалистически спрогнозировать судьбы отдельных явлений культуры он часто завершал свои выступления и статьи. С чем это связано?

Как учёный Ямиль Галимович был противником знаний, выводимых исключительно рационалистическим путём. Его взор был устремлён к иным формам познания, преодолевающим узость *ratio*. Поэтому в литературе, искусстве, философии он всегда интересовался личностями, в мыслях и идеях которых обнаруживался выход за пределы устоявшегося, традиционного. Таким для него, например, был П. Чаадаев, философию которого Сафиуллин сближает с неевклидовой геометрией Н. Лобачевского («Казанский альманах», «Гранат», 2017). Из европейских философов и учёных – Платон, В. Гумбольдт, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Ж. Делез, Ж. Деррида. Из русских – Н. Бердяев, И. Трубецкой, М. Бахтин, М. Мамардашвили, А. Михайлов. Его интересовала восточная философия, суфизм.

В числе последних прижизненных публикаций Ямиля Галимовича – статьи, посвящённые понятию «национальная литература». Сейчас трудно сказать, когда у него зародился интерес к этой теме. Возможно, ещё в период работы над кандидатской диссертацией. Ученик одного из известных советских теорети-

ков литературы Николая Гуляева, Ямиль Галимович в 1969 году защитил под его руководством диссертацию «Н. А. Полевой как теоретик романтизма». Известно, что теоретически осознаваемой темой «национальная литература» становится именно в эпоху романтизма начала XIX века.

Думаю, что определённую роль в его увлечении «национальной литературой» сыграла Казань, город, в котором на протяжении многих столетий существуют во взаимодействии разные национальные культуры. Трудно предположить, как сложилась бы судьба Ямиля Галимовича как учёного, если бы он, защитив диссертацию, отправился за своим руководителем в Тверь (в те годы – Калинин). В одном из разговоров учитель сказал мне, что Н. А. Гуляев, в начале 1970-х годов возглавивший кафедру зарубежной литературы Калининского университета, звал его и ещё несколько талантливых учеников с собой.

Ямиль Галимович мало рассказывал о своём детстве, отроческих годах, родителях. Об этом периоде своей жизни он пишет в воспоминании-эссе «Ева на пашне» («КА», «Лунный камень», 2020). Внимательный читатель обратит внимание на лирический фрагмент, в котором автор размышляет о завораживающей повествователя татарской песне. Музыка, музыкальное в литературе и жизни были интересны ему. С его подачи в коллективную монографию по сопоставительной поэтике русской и татарской литератур (Ямиль Галимович – её идеальный вдохновитель) был включён раздел «Музыкальное». И в своей последней статье он пишет о музыкальности поэзии Ш. Бабича. Истоки её учёный видит в суфизме, мусульманской традиции чтения Корана нараспев, музыкальной культуре татар и башкир, повлиявших на поэтику стихотворений Бабича. Последнее заслуживает внимания: для автора статьи Бабич – «поэт двух литератур: татарской и башкирской». С этой точки зрения он ставит его в один ряд с такими писателями, как Л. Стерн, Д. Джойс, Б. Шоу, И. Гоголь, чья литературная идентичность так же, как у Бабича, была двойственной. Вопрос о том, чего больше в Бабиче-поэте – татарского или башкирского – был для Ямиля Галимовича бессмыслен. Он всегда выступал против любых попыток утвердить монополию на творчество таких писателей со стороны отдельных ревнителей национальной литературы.

В понимании отношений между национальными литературами Ямиль Галимович исходил из идеи их равноправия. Для него не было литератур ведущих и ведомых, он не соизмерял национальные литературы по их вкладу в сокровищницу мировой культуры. Наиболее естественной формой отношений между литературами учёный признавал диалог, в котором каждая литература раскрывается в своей собственной идентичности.

Ещё одна черта, отличающая учителя, – щедрость. Он без сожаления делился своими идеями, дарил их своим ученикам, искренне радовался их успехам. При этом он был противником научного эпигонства, считал, что исследователь должен искать свой путь в науке.

На одной из конференций друг Ямилля Галимовича, профессор Чувашского госуниверситета Виталий Родионов подарил ему библиографию своих трудов. Полистав её, Ямиль Галимович в шутку сказал, что, если его собственные труды собрать в одну книгу, то она по объёму будет как подаренная библиография. Это было произнесено с юмором – Ямиль Галимович обладал этим чувством, его шутки никогда не были скабрезными, они не ставили окружающих в неловкое положение, напротив, зачастую разряжали конфликтные ситуации. Вспоминается история пятнадцатилетней давности. Человек по натуре скромный, Ямиль Галимович не любил повышенного внимания к себе. Не помню, чтобы он праздновал на работе свои дни рождения, юбилеи. В эти дни он имел обыкновение «исчезать» – поздравить его воочию было невозможно. Помню, как спустя некоторое время после такого юбилея, мы обсуждали его кандидатуру в связи с очередным прохождением по конкурсу. Коллеги, ученики говорили тёплые слова, которые, возможно, могли показаться ему немного пафосными. Поблагодарив всех, Ямиль Галимович переключил этот высокий регистр на юмористический: «Коллеги, если бы я знал, сколько хороших слов вы обо мне скажете, то я бы непременно отметил свой юбилей».

В последнем непродолжительном телефонном разговоре Ямиль Галимович говорил о своём сочинении о национальных литературах. Мы, его ученики, коллеги, знали, что он работает над ним, ожидали скорого завершения этого труда, думали, как помочь его опубликовать. Слова Ямилля Галимовича звучали как завещание.

У татарского писателя Мухаммата Магдеева есть повесть «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит – его песня остаётся»). Название её стало крылатым в татарской культуре. Ямиль Галимович, учитель, коллега, друг, отец, муж, брат, ушёл – память о нём, его труды, идеи остались с нами.

*МАРСЕЛЬ ИБРАГИМОВ,
заведующий отделом текстологии
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ*

ОН ЗАЛОЖИЛ ВО МНЕ ВКУС К ТЕОРИИ

Мои воспоминания о Ямиле Галимовиче Сафиуллине – это скорее фрагменты в основном о студенческом и постстуденческом общении с ним, нежели последовательно изложенная и фактически наполненная история. Я не принадлежал к его поколению, не был его младшим товарищем, я был его учеником, как и сотни других студентов.

Когда я в 1981 году поступил на филологический факультет Казанского государственного университета, Ямиль Галимович был уже его деканом. Помнится, что первым человеком, с которым столкнулся, когда поступил на филфак, был именно Сафиуллин, обратившийся к первокурсникам с напутственным словом.

На первом курсе он читал нам лекции по «Введению в литературоведение», а на четвертом курсе – лекции и практические занятия по «Теории литературы».

По прошествии стольких лет, конечно, кое-что забылось, какие-то детали выпали из памяти, но общее впечатление от лекций Ямиля Галимовича осталось до сих пор. Далеко не все университетские преподаватели оставляют о себе живую память, со многими впоследствии почти ничего не оказывается связано. Но не с Я. Г. Сафиуллиным, по крайней мере, в моем случае.

И я ловлю себя на мысли о том, что и теперь, когда сам давно уже читаю «Введение в литературоведение» и у меня сформировалось собственное представление, как преподносить современным студентам основы науки о литературе (например, считаю, что филологи должны понимать, что литература – это не только совокупность отдельных текстов и деятельность писателей, но и особый социальный институт, включающий социальный статус писателя, читателя, критика, и различные механизмы взаимодействия литературы с социальной системой общества), но есть нечто, вошедшее в мое понимание от лекций Ямиля Галимовича. Оно осталось, несмотря ни на какие изменения, и до сих пор я следую его традиции, независимо от новых увлечений и направлений научных интересов.

Ямиль Галимович, как теперь ретроспективно осознаю, заложил во мне вкус к чтению и освоению теоретических исследований. Если привязанностью к истории литературной

критики я обязан Валерию Николаевичу Коновалову, «гуляевскому ученику», каковым являлся и Сафиуллин, неизменным пристрастием к теории обязан именно ему. Когда я говорю и своим студентам, что с первого курса нужно приучить себя осваивать теоретические труды по литературоведению, эстетические тексты и даже получать от этого эстетическое удовольствие, то понимаю, что невольно продолжаю традицию, заложенную своим университетским учителем.

То, что говорил Сафиуллин на лекциях и практических занятиях, было ему самому безумно интересно. И этот интерес передавался пытливым ученикам, нацеленным не на «обладание», а на «бытие» (по Эриху Фромму). Так, к примеру, тексты Аристотеля, Платона, Лессинга, Гегеля отложились в памяти во многом под влиянием Сафиуллина. Нередко бывает так, что мы запоминаем что-то в связи с той или иной личностью.

Вспомнился почему-то В. Розанов: «Да извинит читатель примеры: мне сейчас 55 лет, но хранится у меня, и по временам я взглядаю на нее, тетрадочка гимназиста 3 класса, где я, без буквы «т», переписал его «Литературные мечтания»: слог его, мысли, пафос, этот летучий язык, обернувшийся около стойких предметов и поваливший их, очаровал, обвороожил меня, «начинающего читать серьезно» мальчика... Нельзя, почти без слез благодарности, не вспомнить, что, лишь прочитав Белинского или вообще «вступив в сферу Белинского», мы произносили торжественно и сладко: «я человек»; то есть уже не мальчик, странствующий по степям Америки с Майн-Ридом, а Русский сознательный человек, волнующийся всеми волнениями России, ее будущего, ее прошлого, ее литературы, ее гражданского и политического бытия».

Почти так и у меня. Прошло немало лет, многое истерлось из памяти, но я помню, как Ямиль Галимович проводил с нами, четверокурсниками, практику по «Теории литературы», учил понимать древние философские тексты. До сих пор у меня хранится тетрадочка с рукописными конспектами эстетических трудов. Когда я ее достаю, в памяти оживает Ямиль Галимович в расцвете лет. И ныне, разбирая со студентами диалог Платона «Гиппий Большой», я как бы переношусь в далекие 1980-е годы, когда весной на практике по теории литературы мы учились понимать этот античный текст с его знаменитым заклю-

чительным выводом Сократа: «Итак, мне кажется, Гиппий, что я получил пользу от твоей беседы с ним: ведь, кажется мне, я узнал, что значит пословица “*прекрасное – трудно*”».

Когда Ямиль Галимович доверил мне вести практические занятия по «Введению в литературоведение», а чуть позже и лекционный курс, оставив себе «Теорию литературы, я уже ходил на его лекции не как студент, а как начинающий преподаватель, стараясь вникнуть в секреты преподавательского мастерства Ямиля Галимовича.

Став аспирантом, а затем преподавателем, я много раз приходил к нему в кабинет, чтобы просто побеседовать о книгах. Это был период перестройки, бурных перемен в общественной жизни, а для филологов это время было благодатным еще и потому, что вдруг, как бы прорвав плотину, хлынул нескончаемый поток книжных новинок, в книжных магазинах стали продаваться дефицитные книги, особенно те, что раньше в советской жизни представить себе было невозможно: сочинения В. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева, Ф. Ницше, поэтов Серебряного века, эмигрантской литературы. Я старался следить за этим. Так как у меня как аспиранта было больше свободного времени, чем у Ямиля Галимовича, то нередко я покупал книги и для него. Так я приобрел для нас двойные экземпляры «Литературной критики» В. Соловьева, двухтомник Н. Бердяева, том «Эстетики и поэзии» В. Соловьева, «Бывшее и несбыточное» Ф. Степуна и многое другое. Иногда в благодарность он предлагал что-то из своей библиотеки. Зная о моем пристрастии к истории литературной критики Серебряного века, в обмен на том В. Ходасевича из серии «Библиотека поэта» он предложил дореволюционное издание «Силуэтов русских писателей» Ю. Айхенвальда, объяснив, что в молодости увлекался Айхенвальдом, а сейчас отошел от него.

В последний год пребывания на кафедре, кажется, после одного из последних заседаний, учитывая мою серебряновечную специализацию, попрощавшись с коллегами, Ямиль Галимович подошел ко мне и подарил раритетное издание «Переписки Александра Блока и Андрея Белого» (М., Гос. Лит. музей, 1940) со словами: «Вам она может пригодиться».

В последний раз я видел Ямиля Галимовича в начале 2020 года в вестибюле научной библиотеки имени Лобачевского,

беседующим с Марселем Ильдаровичем Ибрагимовым. Не желая вмешиваться в их разговор, я не решился подойти. До сих пор об этом жалею. Ведь это был последний год его жизни. В августе пришло известие о его кончине.

Ямиль Галимович Сафиуллин останется в моей памяти большим интеллектуалом, мудрым и смелым человеком, прямо и честно выражавшим свою позицию. И редким примером, когда человек, много лет находившийся на руководящих постах, сохранил искренний интерес к научному поиску, живую мысль, продолжал активно заниматься сравнительно-сопоставительным литературоведением, вынашивал планы написания статей, монографий, продолжал щедро делиться с коллегами идеями и замыслами... К великому сожалению, далеко не во всем реализовавшим жившие в нем незаурядные научные идеи.

ВЯЧЕСЛАВ КРЫЛОВ,
профессор Казанского университета

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УЧИТЕЛЕ...

Писать о Ямиле Галимовиче в прошедшем времени очень непросто... Особенno в последнее время часто хочется взять телефон, набрать Учителя и услышать в трубке его голос: «Привет, Эльвира...». Именно так он отвечал, когда я звонила ему. Теперь только поняла, что звонила редко: на праздники, в день его рождения или когда нужна была консультация...

Впервые увидела своего Учителя в далеком 2000 году, когда после окончания школы в маленьком провинциальном городке, пришла на филологический факультет Казанского государственного университета. Тогда я еще не знала, что он декан филфака, человек весьма требовательный к себе и окружающим, но почувствовала глубокую внутреннюю силу его. На собеседовании он задавал мне вопросы по русской литературе, спрашивал, читала ли я произведения татарских писателей (я как сейчас помню, что тогда, перечисляя тех авторов, которых знала, первым почему-то назвала А. Абсалямова, а не Г. Тукая или М. Джалиля...). Я тогда и представить не могла, что он через пять лет станет моим научным руководителем.

Кстати, я его в качестве научного руководителя выбрала уже на втором курсе, когда захотела писать курсовую работу под руководством Ямилы Галимовича, но он тогда уже набрал себе команду (я поздно подошла) и попросил обратиться к профессору Энгелю Галимзяновичу Нигматуллину. Так что в 2001 году не получилось наше сотрудничество в научном плане. Но впереди были прекрасные лекции Ямилы Галимовича по теории литературы, на которые ходили все студенты моей группы. Он никогда не надиктовывал нам, а размышлял, философствовал, его рассуждения всегда вызывали в наших душах отклик.

Только после окончания университета судьба дала мне возможность поработать с Ямилом Галимовичем. Я стала его аспиранткой.

Мы долго тогда выбирали тему диссертации, несколько раз меняли формулировку, искали тех татарских поэтов, которых бы сопоставляли в работе с Ф. И. Тютчевым. Но уже в первую нашу встречу он назвал двух любимых своих поэтов – Дардмента (Закира Рамиева) и Ш. Бабича...

Никогда Ямиль Галимович не давал мне жестких установок. Работа над диссертацией – это творческий поиск. Я искала, но, когда приходила на консультацию в его кабинет, он, выслушав меня, всегда направлял мои размышления в нужное русло: делал это он так незаметно, что иногда я думала, что сама пришла к таким выводам. Годы учебы в аспирантуре мне запомнились именно этими встречами.

Я начала работать на кафедре русского языка и литературы в национальной школе тоже благодаря Ямилу Галимовичу. Услышав, что я после окончания университета начала работать в школе, Ямиль Галимович сказал, что школа и наука вещи несовместимые, и буквально через год я стала ассистентом кафедры (это случилось, когда в мир иной ушел первый мой научный руководитель – Энгель Галимзянович).

Ямиль Галимович научил меня многому, прежде всего – не бояться всего нового, постоянно учиться и постигать новые высоты. Он и сам прошел такую школу, поэтому, когда я начала свой путь в университете с преподавания зарубежной литературы, он сказал, что это прекрасно. Благодаря ему я поняла, что только так можно чего-то добиться в жизни.

Когда Ямиль Галимович ушел с кафедры, он всегда был доступен своим ученикам. Ему можно было всегда позвонить, чтобы посоветоваться по любому вопросу. Он сам много писал, его статьи всегда давали возможность дискутировать, и мне он постоянно повторял: нужно двигаться дальше, развивать идеи сопоставительного литературоведения, не останавливаться на достигнутом (предложил тему докторской диссертации).

Ямиль Галимович всегда останется в моем сердце... Его уроки порядочности, интеллигентности, принципиальности я никогда не забуду.

ЭЛЬВИРА НАГУМАНОВА,
доцент Казанского университета

УРОКИ НАСТАВНИКА

Трудно писать о человеке, который оставил яркий свет в жизни филологического факультета Казанского государственного университета.

Я поступил в университет, на филологический факультет в 1980 году. Ямиль Галимович Сафиуллин был молодым деканом нового факультета. Интеллигентный, подтянутый – таким он запомнился при первой встрече. Запомнилась беседа с деканом, когда он рассматривал кандидатуры старост факультетских групп. Мне не хотелось быть старостой группы. Но я был приглашен на собеседование. Ямиль Галимович убедил, что у меня все получится. И что я владею организаторскими способностями и коммуникативными навыками. Так я стал старостой группы 1006. В нашей группе учились студенты из ГДР: Франке Рита, Кречмар Ирис, Ойленборн Бианка, Нина Науманн, Фалькенхан Беатрикс.

Группа была довольно успешной. Отличалась успехами в учебной деятельности и факультетской, университетской жизни. В деятельности «Снежного десанта» принимали участие Юра Гагарин и Римма Зарипова. Комсоргом в группе была Ирина Кулакова.

Мне как старосте приходилось работать и с заместителями Ямиля Галимовича – Валерием Николаевичем Коноваловым, Андреем Александровичем Роотом.

Ямиль Галимович был очень организованным человеком, интересным собеседником, эрудированным преподавателем и крупным ученым.

На первом курсе он читал курс лекций «Введение в литературоведение», а на четвертом курсе – «Теорию литературы». Сложный, теоретический материал в его интерпретации становился доступным для студентов, интересным для восприятия и осмыслиения. Занятия проводились поточными на втором или первом этажах, в больших аудиториях. Они начинались всегда вовремя. Ямиль Галимович никогда не заглядывал в конспекты лекций, но имел входившие тогда в моду карточки. Голос у него был звучный. Студенты слушали его очень внимательно.

С коллегами-преподавателями он общался очень ровно. Как руководитель, он не повышал голоса на своих коллег.

После окончания университета в 1985 году я работал в Мензелинске. Был период работы в школе, затем в отделе образования и райкоме ВЛКСМ. Встречи с Ямилем Галимовичем были случайные. Он интересовался моей судьбой, спрашивал о работе и жизни.

Более тесными контакты с Ямилем Галимовичем стали в период моей учебы в аспирантуре Казанского государственного университета. После смерти Владислава Николаевича Азбукина научным руководителем по моей диссертации стал Ямиль Галимович Сафиуллин. Тема диссертации: «Лев Толстой и Казанский край: жизненный и творческий путь писателя в восприятии и оценках современников (1841–1910 гг.)».

Тема диссертации была очень интересной. Ямиль Галимович помогал мне своими советами и пожеланиями. Он был не строгим, но очень дипломатичным научным руководителем.

Вспоминается и забавный случай. В 2002 году Ямиль Галимович в своем кабинете на 10 этаже 2 высотки пытался познакомить меня с Наилем Мансуровичем Валеевым. Но к тому времени мы с Наилем Мансуровичем были знакомы по Елабуге. В Елабужском государственном педагогическом институте я сдавал кандидатские минимумы по философии и немецкому языку. А Наиль Мансурович работал проректором. Позднее он станет ректором Елабужского государственного педагогического института (университета), а затем и министром образования и науки Республики Татарстан. Ямиль Галимович был удивлен. Он дружил с Наилем Мансуровичем.

В 2002–2003 годах Ямиль Галимович Сафиуллин заведовал кафедрой русского языка и литературы в национальной школе. К этой кафедре был прикреплен и я как аспирант. На этой кафедре под руководством Ямиля Галимовича сложилась команда молодых, талантливых ученых. Среди них: Алсу Зарифовна Хабибуллина, Алла Владиславовна Азбукина, Марсель Ильдарович Ибрагимов.

После моего переезда в Казань в 2008 году я стал работать в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете, а затем – в Институте развития образования Республики Татарстан.

Мне как молодому ученому хотелось следовать за Ямилем Галимовичем в четкости выбора приоритетов научных исследований, организованности.

Ямиль Галимович советовал мне издать популярную монографию о связях Льва Толстого с Казанью. Пока это мечта. Но я надеюсь, что она осуществится.

Таким остался в памяти Ямиль Галимович Сафиуллин – наш Наставник. Его уроки интеллигентности, порядочности, организованности, служения науке будут являться для нас нравственным ориентиром в жизни и научной деятельности.

ИВАН СМИРНОВ,

*доцент ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ»,
почетный работник общего образования РФ*

ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ...

Трудно писать о Ямиле Галимовиче, осознавая, что его уже нет...

Мой учитель ушел тогда, когда его творческие и научные поиски соединились в одно сложное, яркое и удивительное по своему содержанию целое. Когда он находился на пике своих возможностей и смелых прорывов мысли. Но Ямиль Галимович чувствовал свой уход и часто говорил мне о том, что ему важно успеть сказать главное: успеть написать статью в журнал, выполнить художественные переводы, дописать рассказ, эссе, наконец, завершить работу над монографией. Особенно он дорожил статьей о Бабиче – молодом талантливом татарском и башкирском поэте 20-х годов XX века, который так же был выходцем из Башкирии – родины моего учителя. Статья о нем вышла в свет осенью 2020 года в журнале «Казанский альманах», когда Ямиль Галимович уже ушел в мир «бессловесной свободы».

Странная параллель...

Но она так много объясняет в уникальности духовного мира Ямиля Галимовича, который, наверное, не мог уйти просто так! Он заставил нас мучительно думать о почти невозможном, невероятном для человеческого сознания, обремененного паутиной стереотипов, ложных, но внешне «удобных» представлений о мире. Лирика Бабича и его удивительная короткая биография стала своеобразным кодом к прочтению доселе неизвестного в моем учителе, а именно того, что приближало его к самой вершине жизненного пути. Одновременно – к глубоким, тонким, почти сокровенным и от этого еще более трудно постигаемым размышлениям о смысле человеческого бытия. Через Бабича Ямиль Галимович высказал то, о чем сложно было догадаться в естественном для него человеческом общении. Через Бабича он говорил о себе, заглядывая в самую глубину своих мыслей, прощаясь с нами. Он писал, в том числе о том, что достиг этой самой трудной и красивой вершины, за которой – другой мир... Прекрасный в своей свободе. Мир милосердия и такой большой любви к людям и... жизни!

Я знала Ямиля Галимовича чуть более 30 лет: он был преподавателем курса по теории литературы, затем – научным руко-

водителем по кандидатской диссертации. Долгие годы Ямиль Галимович был деканом филологического факультета, заведующим кафедрой сопоставительной филологии и межкультурной коммуникации. Тогда, в 90-е годы XX века, будучи моим наставником, он виделся мне человеком строгим, сильным, очень надежным и дальновидным. Как лектора и моего руководителя я воспринимала его с большим восторгом! Он никогда не говорил банальных и стереотипных вещей, чего бы этого ни касалось: вопросов литературоведения, моей диссертации, руководства факультетом, жизни университета в целом. Напротив, он поражал меня и других своих учеников, членов кафедры, совершенно неожиданным поворотом научных изысканий, оригинальным и смелым взглядом на литературы, в частности, на вопросы взаимодействия и сопоставления национальных литератур, которые были ему особенно дороги. Он был мудрым руководителем и талантливым ученым.

Хочу отметить, что некоторые его высказывания и научные позиции открывались мне не сразу. Стратегия Ямиля Галимовича состояла в том, чтобы мы, его ученики, самостоятельно, прилагая усилия, выстраивали свой путь, свою траекторию движения в науке. Даже то новое, что открывалось нам в этом поступательном пути благодаря ему, требовало усилий, стараний, погружения в новое видение привычных вещей, категорий, литературных явлений.

Таким уж был Ямиль Галимович! Очень требовательным к себе и другим. К тем, кого любил, ценил, на кого возлагал надежды.

Большим открытием для нас стала теория сопоставительного литературоведения. Она взращивалась им по крупицам, старательно, от самого сердца. Годами. И мы видели, хотя возможно не всегда осознавали ясно, что это – настоящая научная школа! Она – любимое и самое трудное детище Ямиля Галимовича. Через призму времени становится очевидным, что он не просто заложил основы сопоставительного направления в Казанском университете. Ямиль Галимович смог открыть в нас то, что заставляло идти по пути сопоставления литератур. Новое, что неизвестно было нашему прежнему человеческому и филологическому опыту. Он раскрывал в нас необходимые для сопоставления литератур знания и качества.

Прежде всего, он вдохновлял нас своим примером. Ярким, живым, настоящим! Мы оказались рядом с его удивительной энергией, сильной и благородной аурой, через которую ясно чувствовалась эта бесконечная любовь к исследованиям, самостоятельным открытиям, новизне мысли.

Мой выбор в науке был определен личностью моего доброго учителя.

Слово «путь» – частое существительное в словах и высказываниях Ямиля Галимовича. Мне вспоминается его большой доклад, который он сделал на одном из научных семинаров в Казанском университете. В нем проводилось сопоставление концепта пути в русской и восточной литературах. Помню как сейчас: путь – дао – тарика.

О пути, особенном и трудном, одновременно сладостном, подобно творческому страданию, Ямиль Галимович говорил много. Упоминает он это слово и в своей последней статье о Бабиче: «Бабич верил в свое призвание как человека и поэта. В то, что в суфизме обозначается словом «Тарика» (Путь). Верил в жизнь как в движение к Абсолютной истине». Думаю, что, размышляя о пути Бабича, Ямиль Галимович говорил и о себе. Он так же, как его любимый поэт, понимал, что путь у каждого человека должен быть свой, невозможно жить, точно скитаясь, утопая в мелких делах и хаосе жизни. Не погружая свою жизнь во что-то главное, а значит несуетливое, бессловесное...

В одной из наших последних встреч, зимой 2020 года, он высказал свое мнение об этом. Ямиль Галимович говорил со мной о том, что нужно иметь представление о высшей точке своего движения, своего самостоятельного, а значит, выстраданного пути. Иметь цель в жизни и не поддаваться различного рода симулякрам, которые так часто встречаются в наши дни.

Вспоминаю далекое прошлое, когда Ямиль Галимович читал одну из моих аспирантских работ по теме диссертации. Размышляя над содержанием текста, Ямиль Галимович вдруг с улыбкой и какой-то особой теплотой похвалил меня за то, что наконец-то у меня появился свой стиль научного письма. Я и не думала, что это так важно! А Ямиль Галимович обрадовался

этому факту, оценив его как что-то значимое в моей исследовательской работе. В моем пути.

Через призму времени, взрослея и набираясь жизненного и преподавательского опыта, я понимала, что для моего учителя ценным является найти свое, самостоятельное и уникальное начало, будь то научная концепция, или свой стиль, слог письма, так сказать...

Это качество – находить, сохранять и возвращать «свое» в поступательном движении времени – Ямиль Галимович очень ценил и в студентах. Стارался донести им любовь к художественному слову и умение по-своему, в отличие от «чужого» мнения и стереотипных суждений, которых немало в науке, подойти к его анализу, исследованию, интерпретации...

Ямиль Галимович – человек большого доброго сердца и мудрого слова. Именно таким он останется в моей памяти. Зная ценность выраженного слова, Ямиль Галимович как настоящий интеллигент подходил к нему с особым трепетом и смыслом. Кажется, что он не произносил в своей жизни ничего лишнего, ему не была свойственна «болтовня», нарушающая глубину высказывания. В этом проявлялась его давняя любовь к философии, которая упорядочивала речь, воспитывала строгое отношение к слову. Вспоминается, что он даже говорил не так много. Прежде чем ответить на тот или иной вопрос, Ямиль Галимович погружался в смысл того, что хотел сказать. Он всегда выжидал время, наделяя слово особой ценностью. Он по-своему проживал его. В этой связи его открытые выступления перед студентами, преподавательским составом факультета, и особенно – на научных конференциях и круглых столах, для нас имели огромную, почти магическую силу воздействия. Многие из них были прорывными в литературоведении, а поэтому трудно воспринимались стереотипным сознанием.

До сих пор я нахожусь под впечатлением высказываний Ямиля Галимовича. Некоторые для меня и сейчас – загадка.

Ямиль Галимович прожил очень яркую, светлую и красивую жизнь, оставаясь примером того, как нужно ею дорожить. Удивляет и другое: Ямиль Галимович часто был свободным от ее жестких условий и обстоятельств. Кажется, он творил ее сам.

Несмотря на свои высокие ранги и почетные должности, Ямиль Галимович оставался чрезвычайно скромным, но одновременно – сильным, принципиальным, бесстрашным человеком, особенно когда речь шла о судьбе факультета, когда нужно было принимать непростые решения, извлекать трудные выводы.

Его смерть также показатель сказанного. Он ушел, сражаясь с судьбой, вступив с ней в неравный поединок.

Тоскую по Вам, мой дорогой учитель...

*АЛСУ ХАБИБУЛЛИНА,
доцент Казанского университета*

СПИСОК ТРУДОВ Я. Г. САФИУЛЛИНА**Научные труды**

Н.А. Полевой как теоретик романтизма: дисс. ...канд. филол. наук / Науч. рук. Н. А. Гуляев. – Казань, 1969. – 238 с.

Н.А. Полевой как теоретик романтизма: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Казань, 1969. – 28 с.

Об авторстве Н. А. Полевого по отношению к некоторым статьям «Московского телеграфа» // Романтизм в художественной литературе / науч. ред. проф. Н. А. Гуляев. – Казань, 1972. – С. 3–22.

К атрибуции произведений Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» // Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1974. – С. 163–176.

Как работать над сочинением / Л. В. Пожилова, Я. Г. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. – 160 с.

20–30-ые гг. // Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX в. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. – С. 14–29.

Возвышенное в русской эстетике первой трети XIX в. // Литература и язык в контексте культуры и общественной жизни: Тезисы межгосударственной научной конференции (Казань, 26–29 мая 1992 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1992. – С. 108–109.

Державин в оценке романтиков // Г. Державин: История и современность / Я. Г. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1993. – С. 113–125.

Романтики об «особом пути» Державина // Г. Р. Державин: личность, творчество, современное восприятие: Тезисы Международной научной конференции, посвященной 250-летию со дня рождения поэта (Казань, 26–29 мая 1993 г.) / Казанский ун-т. – Казань, 1993. – С. 45–47.

Судьба одной немецкой книги в России // Deutsch-russische Sprach-und Literatur-beziehungen im 18. und 19. Jahrhundert / H. Jelitte, V N. Konovalov, G. A. Nikolaev, Ja. G. Safiullin (Hrsg.) – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1994. – (Beiträge zur Slavistik; bd. 23). – P. 171–186.

О функциях понятия «романтизм» в русской мысли начала XX в. // Учён. зап. Казан. ун-та. – 1995. – Т. 131. – С. 150–153.

Иенский романтизм и русская мысль начала 20 века // Deutsch-russische Sprach-, Literatur- und Kulturbeziehungen im 20 Jahrhundert. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996. – (Beiträge zur Slavistik; bd. 28).

Языковая семантика и образ мира. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 200-летию университета. Кн. 2. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997. – С. 96–97.

Об источниках «Подражаний Корану» Пушкина // А.С. Пушкин и взаимодействие национальных литератур и языков [Текст]: Тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. – Казань: УНИПРЕСС, 1998.

Ранний немецкий романтизм в русском восприятии (10-ые годы 20 в.) // Границы сотрудничества: К 10-летию Соглашения о сотрудничестве между Казанским и Гиссенским университетом = Die Vielfalt der Zusammenarbeit: сб. науч. ст. и обзор. материалов. – Казань, 1999. – С. 156–165.

Об экзистенциальном в поэзии Е. А. Боратынского // Слово и мысль Е. А. Боратынского: тезисы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Е. А. Боратынского, Казань, 21–24 марта 2000 г. – Казань, 2000. – С. 69–70.

София в поэзии Вл. Соловьева // Deutsch-russische Dialog in den Philologien. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. – С. 425–431.

Н. Бердяев и сопоставительное литературоведение (Заметки) // Закономерности развития и функционирования национальных языков и литератур: Материалы итоговой научной конференции. – Казань, ДАС, 2001. – С. 147–151.

К поэтике Е. Боратынского // Поэтическое перешагивание границ: юбил. сб. к 65-летию почётного д-ра Казан. ун-та Герхарда Гиземанна / Сост. и науч. ред. Г. А. Фролов. – Казань, 2002. – С. 68–73.

Национальная идентичность и литература (к теории вопроса) // Сопоставительная филология и полилингвизм. Материалы Междунар. науч. конф. – Казань, 2010. – С. 280–283.

О межлитературном диалоге // Проблемы сравнительного и сопоставительного литературоведения Поволжья: сб. науч. ст. – Чебоксары, 2010. – С. 92–95.

К теории межлитературных взаимодействий // Филология и образование: современные концепции и технологии. – Казань, 2010. – С. 367–369.

Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и сопоставительной филологии / науч. ред. Я. Г. Сафиуллин, сост. Я. Г. Сафиуллин, В. Р. Аминева, А. З. Хабибуллина и др. – Казань: Изд-во Казан ун-та, 2010. – 147 с. *Словарные статьи*: «Идентичность литературная» (С. 29–31), «Межлитературный диалог» (С. 53–55), «Множественность литератур» (С. 58–59), «Принцип дополнительности» (С. 79–80), «Сопоставление литератур» (С. 97–99).

«Русская литература» и «Русскоязычная литература» – синонимы? // Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур. Материалы Всеросс. науч.-практич. конф. – Казань, 2011. – С. 7–11.

Евразийство и вопросы межкультурных взаимодействий // Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии: Материалы Международной науч.-практ. конф. – Казань, 2012. – С. 260–262.

Евразийство и плюрализм в культурологии // Евразийство и проблемы современной науки /сост. Т. В. Сорокина; науч. ред.: Р.М. Валеев, Р.Р. Юсупов. – Казан. гос. ун-т культуры и искусств. – Казань: ИИЦ «Культура», 2012. – С. 188 –196.

Л. Гумилев и начала сопоставительной теории // Языки и литературы народов Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации: сб. тр. I Всерос. интернет-конф. с междунар. участием (1-3 октября 2012 г.). – Казань, 2012. – С. 109–114.

Коммуникация и литература // Межкультурная коммуникация: филологический аспект: Слов.-справ. – Казань: Отечество, 2012. – С. 15–31.

Что такое национальная литература? Приглашение к дискуссии // Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики Урало-Поволжья: сб. ст. и материалов: к 70-летию литературоведа и фольклориста, доктора филол. наук, проф. В.Г. Родионова. – Чебоксары: ЧГИГН, 2018. – С. 132–160.

Понятие «Национальная литература»: метаморфозы содержания // Национальные литературы на современном этапе: научные концепции и гипотезы: круглый стол, посвящ. 80-летию

создания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (11 сентября 2019 года): сб. ст. Вып. 1. / Сост.: А. Ф. Ганиева, Ф. Х. Миннуллина, Л. Р. Надыршина. – Казань: ИЯЛИ, 2019. – С. 157–181.

Научно-популярные статьи

Коран в творчестве А. С. Пушкина // Казан утлары. – 1999. – № 6. – С. 92–99. (На татар. яз.).

Разговор с Востоком. Коран в творчестве А. С. Пушкина // Казань. – 1999. – № 12 – С. 95–103.

Крутые повороты: арабица, латиница, кириллица // Казанский альманах: Бирюза [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – 2017. – С. 171–180.

Чаадаев и Казань // Казанский альманах: Гранат [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – Казань, 2017. – С. 113–123.

Гений, демон, призрак // Казанский альманах: Лазурит [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – Казань, 2019. – С. 191–194.

Революцией рожденный и убитый (100 лет со дня смерти Шаехзаде Бабича) // Казанский альманах: Коралл [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – Казань, 2019. – С. 175–183.

Жизнь поэта в его стихах. 125 лет со дня рождения Ш. Бабича // Казанский альманах: Малахит [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2020. – С. 85–103.

Быть филологом // Диалоги с учителем: памяти известного казанского ученого-филолога Эмилии Агафоновны Балалыкиной / под общ. ред.: И. В. Ерофеевой, Ю. В. Агеевой, Е. Г. Штырлиной. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. – С. 8–9.

Научное редактирование

Словарь-справочник по литературе. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1983. – 208 с.

Возвышенное в русской литературе (XVIII – начало XX веков): антология / Сост.: В. Н. Коновалов, В. Н. Крылов, Я. Г. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1994. – 286 с.

Deutsch-russische Sprach- und Literatur-beziehungen im 18. und 19. Jahrhundert / H. Jelitte, V N. Konovalov, G. A. Nikolaev, Ja. G. Safullin (Hrsg.) – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1994. – 226 p.

Русская литература от «Слова о полку Игореве» до наших дней. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 1995. – 352 с.

Русско-татарские литературные взаимосвязи (проблемы сопоставительного исследования): Библиограф. указатель / Науч. ред. Я. Г. Сафиуллин; Сост.: А. З. Хабибуллина, М. М. Сидорова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1999. – 183 с.

Сравнительное и сопоставительное литературоведение: хрестоматия / Науч. ред. Я. Г. Сафиуллин; Сост.: В. Р. Аминева, А. З. Хабибуллина, М. И. Ибрагимов. – Казань: ДАС, 2001. – 389 с.

Лирика А. С. Пушкина в татарских переводах = А. С. Пушкин лирикасы татар тәржемәләрендә: [сборник / сост. и авт. вступ. ст. Г. Ф. Сафина; науч. ред. Я. Г. Сафиуллин]. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2005. – 135 с.

Художественные произведения

Яблоко от яблони (рассказ) // Казанский альманах: Изумруд [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – Казань, 2018. – С. 133–141.

Ева на пашне // Казанский альманах: Лунный камень [сост. и отв. ред. А. Мушинский]. – Казань, 2020. – С. 150–161.

Литература о жизни и творчестве Я. Г. Сафиуллина

Балакин Г. А. Сафиуллин Я. Г. / Г. Балакин // Казанский университет, 1804–2004: библиогр. словарь / гл. ред. Г. Н. Вульфсон. – Казань, 2004. – Т. 3. – С. 261–262.

Русское литературоведение в Казанском университете (1806–2009): библиогр. слов. / Сост.: Л.Я. Воронова, М.М. Сидорова; Науч. ред. Л. Я. Воронова. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – С. 188–190.

Филологический факультет Казанского государственного университета, 1980–2005: библиогр. указ. публикаций / Сост.: К. Р. Галиуллин (отв. ред.), Д. А. Мартынов. – Казань, 2006. – 80 с.

Аминева В.Р., Хабибуллина А.З., Нагуманова Э.Ф. Размышления об учителе. К юбилею Ямиля Галимовича Сафиуллина // Учен. записки Казан. ун-та. Т. 157. – № 2. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С. 265–271.

«ЖИЗНЬ – ЭТО РОВНОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕЛОДИИ...»

Афоризмы и высказывания Ямиля Сафиуллина

Нация – это судьба (призвание, миссия) того или другого народа в мире. Возлагаемая Создателем на него ответственность. Воля к самоутверждению.

Но в современном мире практически нет «замкнутых» в себе литератур, они «открыты» друг другу, находятся во взаимодействии и соперничестве. Притом каждая из них претендует на собственную идентичность, своё место в общем ряду литературы.

Прогнозировать историю, по-моему, невозможно. Она творится. Непредсказуема. Только такое представление об истории имеет смысл. И это заставляет нас быть активными. Прогноз же, как правило, убаюкивает нашу волю. Порождает в нас склонность к фатализму.

Литература – явление языка. Форма его существования. В каждом языке своё мировидение. И каждая из литератур обращается по языковой своей матрице.

Литература формирует нацию в её уникальности, в том, чтобы она не ассимилировалась какой-то другой нацией, оставалась самостоятельной ветвью в «вечно зелёном древе жизни» разных народов. Не высохшей и ждущей часа своего конца ветвью, а живой, в порыве к свету и тем самым ценной для всего «древа».

Разнообразие языков – божий дар. Вавилонское столпотворение. Разнообразие языков позволяет видеть мир, изучать его с разных точек зрения.

*(Из интервью «“Национальная литература”,
“Русскоязычная литература”. Что значат
эти словосочетания? Диалог писателя с филологом»)*

Конечно, различия и универсалии (различие и тождество) – своего рода оксюморон. Трудно понять, определить переход одного в другое. Но диалог без различий невозможен, как невозможно и обратное (различия вне диалогических отношений не существуют).

*(Из рецензии на докторскую диссертацию В.Р. Аминевой
«Типы диалогических отношений
между национальными литературами»)*

Различие укоренено в национальной идентичности отдельно взятой литературы и демонстрирует ее уникальность.

(Из статьи «О межлитературном диалоге»)

И всё же разделять автора на человека и поэта, по-моему, означает: обескровливать поэзию, превращать её в предмет отвлечённой игры воображения, нередко, правда, искусствой, захватывающей, но – бесплодной.

*(Из статьи «Жизнь поэта в его стихах.
125-лет со дня рождения Ш. Бабича»)*

Не без оснований многие полагают, и с ними я согласен, что стихи непереводимы. Поэтому-то они постоянно и по-разному переводятся. И имеют столько же содержаний, сколько раз переводятся и читаются.

(Из статьи «Революцией рожденный и убитый»)

Литературы на уровне только общих тем не могут существовать, их стихия область конкретного, неповторимого. Общечеловеческое в них достигается не на путях редукции национальных различий, оно представляет собой взаимодополняемость последних.

*(Из статьи «“Русская литература” и
“русскоязычная литература” – синонимы?»)*

Литературное произведение – открытый в прошлое и будущее текст.

(Из статьи «О межлитературном диалоге»)

Множественность этносов, языков, литератур, культур – это изначальная данность, сфера естественного, природного, своего рода объективная сила обстоятельств, с которой невозможно не считаться.

(Из статьи «Л. Гумилев и начала сопоставительной теории литературы»)

Но в современном мире практически не осталось «замкнутых» в себе литератур, они «открыты» друг другу, находятся во взаимодействиях, в сосуществовании, в соперничестве. Так что понятие «национальная литература» находится на границах разных литератур; в нём и то, что разделяет их, идентифицируя каждую из них в контексте общего, и то единое, что существует или возможно между ними.

«Постоянно ностальгировать о прошедшем в своей нации, томиться одиночеством, оторванностью от неё и тому подобным может быть интересным при искусном воспроизведении, но превращаемое в основу творчества, что нередко случается, ослабляет, отрывает «национальное» от современности и от новых, продуцирующих его источников».

(Из статьи «“Что такое «национальная литература”?
Приглашение к дискуссии»)

«Национальное» в литературе рождается в свободном творчестве. Оно – не тема, которую кто-то перед автором ставит и предлагает её интерпретацию. Привычное представление, что «национальное» в литературе есть отражение того, что есть и известно, позволяет власти, ангажированной критике и науке навязывать свою волю в искусстве».

(Из статьи «Понятие «национальная литература»: метаморфозы содержания»)

Идентичность – самореализация литературы. Она целостна и конкретна. Ее можно «видеть», ощутить как «чужое», понять, описать.

(Из словаря «Теория литературы»)

Идентичность можно осознавать и декларировать, можно пытаться быть равнодушным к ней, скрывать ее и т.п. Но она в чувствах, представлениях, поведении и др. подавляющего большинства людей. Она в основе национальной идеи.

(Из статьи «Национальная идентичность и литература: к теории вопроса»)

Бусинки чёток – кварки чувств, отсчитывание их, исчерпание до дна души, отдавание себя, твоей души до последнего грана в ней божьему милосердию».

Быть, оставаться в себе и войти в общее с другим поле – органическое, природное состояние. И обе эти интенции так сильны; каждая противостоит другой. И иное бытие для человека невозможно.

Жизнь – это ровное дыхание. Вроде курая или флейты со всего несколькими отверстиями для создания мелодии.

(Из неопубликованного)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Слово научного редактора	6
Научные труды (1969-2020).....	8
Н. А. Полевой как теоретик романтизма: Автореферат диссертации.....	9
Грехнев В. А. Отзыв о кандидатской диссертации Я. Г. Сафиуллина	34
Бочкарев В. А. Отзыв о кандидатской диссертации Я. Г. Сафиуллина	36
Об авторстве Н. А. Полевого по отношению к некоторым статьям «Московского телеграфа»	39
К атрибуции произведений Н.А. Полевого в «Московском телеграфе»	58
20–30-ые годы: из монографии «Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX в.»..	78
Возвышенное в русской эстетике первой трети XIX в..	95
Державин в оценке романтиков	97
Романтики об «особом пути» Державина	112
Судьба одной немецкой книги в России	114
О функциях понятия «романтизм» в русской мысли начала XX в.	127
Иенский романтизм и русская мысль XX века	133
Из истории слова «романтизм» (начало XX века)	152
Об источниках «Подражаний корану» А.С. Пушкина ..	154
Об экзистенциальном в поэзии Е. Баратынского	156
София в поэзии В. Соловьева: Заметки	159
Николай Бердяев и сопоставительное литературоведение: Заметки	175
К поэтике Евгения Баратынского	178

Национальная идентичность и литература (к теории вопроса)	185
О межлитературном диалоге	191
Из словаря «Теория литературы»	194
«Русская литература» и «русскоязычная литература» – синонимы?	203
Лев Гумилев и начала сопоставительной теории литературы	208
Евразийство и плюрализм в культурологии	213
Евразийство и вопросы межкультурных взаимодействий	223
Коммуникация и литература	230
Понятие «Национальная литература»: метаморфозы содержания	252
Научно-популярные статьи	280
А. С. Пушкин ижатында Коръэн	281
Разговор с востоком. Коран в творчестве А. С. Пушкина	295
Крутые повороты: арабица, латиница, кириллица: Алфавитная революция в Советском Союзе глазами современности	318
Чаадаев и Казань	332
Быть филологом	348
Гений, демон, призрак ?	350
Революцией рожденный и убитый	356
Жизнь поэта в его стихах: 125-лет со дня рождения Ш. Бабича	368
Из неопубликованного	397
Доклад на международной научной конференции «Сопоставительная филология и полилингвизм» (Казань, КГУ, 2010)	398
«Национальная литература», «Русскоязычная литература». Что значат эти словосочетания? Диалог писателя с филологом: Интервью	401

Рецензия на докторскую диссертацию Венеры Рудалевны Аминевой	425
Художественные произведения	429
Яблоко от яблони	430
Ева на пашне	451
Воспоминания о Ямиле Галимовиче Сафиуллине коллег, друзей, учеников	470
Ямиль Галимович Сафиуллин: вехи научного творчества	471
Фролов Г. Записки к портрету Ямиля Галимовича Сафиуллина – декана и человека	480
Воронова Л. Я.Г. Сафиуллин – декан филологического университета	490
Миңнегулов Х. Ақыллы һәм зирәк шәхес иде [Ямил Сафиуллин – 4.04.1935 – 30.07.2020]	507
Мушинский А. Был Чаадаевым нашего времени	514
Валеев Н. Мой друг и собеседник – Ямиль Галимович Сафиуллин	525
Аминова А. Нам повезло быть рядом	532
Гилазетдинова Г. Память сердца	533
Аминева В. Жизненные опоры	535
Ибрагимов М. Человек уходит – песня остается	541
Крылов В. Он заложил во мне вкус к теории	548
Нагуманова Э. Воспоминание об учителе	552
Смирнов И. Уроки наставника	554
Хабибуллина А. Идти своим путем	557
Список трудов Я.Г. Сафиуллина	562
«Жизнь – это ровное дыхание для создания мелодии...»: Афоризмы и высказывания Ямиля Сафиуллина	567

Сафиуллин Я. Г.

От романтизма к сопоставлению литератур

Редактор Д. Р. Галиуллина

Корректор А. А. Давлетова

Компьютерная верстка Д. Р. Галиуллина

Дизайн обложки А.В. Булатова

Подписано в печать 11.10.2021.

Формат 60×84 1/16. Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная.

Усл.-печ. л. 33,48. Уч.-изд. л. 27,71. Тираж 150 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен
в Институте языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова АН РТ
420111, Казань, ул. К. Маркса, 12

Издательство Академии наук Республики Татарстан
420111, Казань, ул. Баумана, 20

Для заметок

Для заметок